

# ВЕЛИКИЕ

**ВЛАСТИТЕЛИ**

*в романах*



**АЛЕКСАНДР  
МАКЕДОНСКИЙ**

**АЛЕКСАНДР  
МАКЕДОНСКИЙ**  
**356 - 323 до н.э.**





Э.Маршалл  
**ПОБЕДИТЕЛЬ**

*исторический  
роман*



АРМАДА  
Москва  
1997

ББК 84.7 США

А 46

*Marshall Edison*  
**THE CONQUEROR**

**Составитель серии**

**В. М. Мартов,**

**С. А. Смирнов**

**Художник**

**В. Н. Любин**

**Перевод с английского**

**В. Е. Калинин**

**ISBN 5-7632-0442-5**

© Сост., художественное оформление,  
АРМАДА, 1996

© Перевод, Калинин В. Е., 1995

© Вступительная статья, перевод,  
Мартов В. М., 1995



Из энциклопедии «Британика».

Издательство Вильяма Бентона,

1968, т. 1

**АЛЕКСАНДР III**, известный под именем Великий (356 — 323 гг. до н.э.), царь Македонии, был сыном Филиппа II из рода Македонов и эпирской царевны Олимпиады, дочери Неоптолема; отец обладал даром выдающегося практика, руководителя и организатора, мать была женщиной с необузданным темпераментом, странной, таинственной, склонной к галлюцинациям и внушающей окружающим суеверный страх; а сам Александр среди людей дела выделяется блеском воображения, которое вело его по жизни, а среди романтических мечтателей — тем, чего он достиг. Родился он в Пелле в 356 г. до Рождества Христова, примерно в октябре. Царский двор, где он рос, являлся средоточием кипучей активности, ибо Филипп путем войн и дипломатии стремился поставить Македонию во главе греческих государств-полисов, и атмосфера царского дворца была буквально насыщена планами и идеями. Объединение греческого народа в войне против Персидской империи стало глобальной целью для честолюбия эллинов, постоянной темой философов-идеалистов.

Греческие достижения в областях литературы, философии, истории V века уже удалились достаточно в прошлое, чтобы носить печать классического благородства: таким образом смыслу эллинистической цивилизации была придана такого рода новая конкретность, которая могла вызвать восторженное отношение к системе идеальных ценностей, освященных традицией. И когда Александру шел четырнадцатый год, в 343 — 342 годах до н.э., в Пеллу прибыл по приглашению Филиппа Аристотель, чтобы руководить образованием его сына. Нам неизвестно, как смог этот выдающийся ум овладеть пылким духом юного Александра; во всяком случае, Александр сквозь всю свою жизнь пронес горячую, страстную любовь к Гомеру. Но не только из книг получал он образование. Посещение Пеллы послами из многих стран, греческих и восточных, дало ему дополнительные знания о действительном состоянии мира. Его рано обучили военному делу. В возрасте 16 лет он в отсутствие Филиппа правил в Македонии и

подавил восстание горных племен на северной границе; в следующем (338-м) году он возглавил атаку на «Священную Ленту» (отборный отряд тяжеловооруженных воинов города Фивы.— *Примеч. пер.*) в битве при Херонее и разбил ее.

Затем пришла очередь семейных раздоров, какие обычно досаждают полигамным царским домам Востока. В 337 году Филипп оставил Олимпиаду, взяв себе другую жену, Клеопатру. Александр уехал с матерью на ее родину в Эпир, и хотя вскоре вернулся и было достигнуто внешнее примирение отца с сыном, внутренне между ними возникло отчуждение. Новая жена царя забеременела, ее родня приобретала все больший вес; возникла угроза праву Александра как наследника престола. Переговоры с Пиксодаром, сатрапом Карики, начатые при македонском дворе с целью связать оба дома брачным союзом, толкнули Александра на новые ссоры с отцом. Но...

В 336 г. в Эгах в присутствии гостей, съехавшихся со всей Греции на праздник бракосочетания его дочери с Александром I из Эпира, Филиппа неожиданно убивают. Ясно, что рука убийцы направлялась кем-то из царского окружения; среди других и Александр не смог избежать подозрения, но такого рода вина вряд ли соответствовала его характеру, каким он вырисовывается в те ранние годы его юности.

**Вступление на престол.** Александр не был единственным претендентом на пустующий трон, но, получив признание и поддержку армии, он вскоре сметает со своего пути всех своих соперников. Преданы смерти новорожденный сын Филиппа и Клеопатры и двоюродный брат Александра Аминта, и Александр принимается за прерванные труды своего отца. Эти деяния стояли на пороге открытия самой блестящей их главы — вторжения во владения великого персидского царя. Была собрана мощная армия из объединенных греческих сил, и ее часть уже отправилась для переправы через Геллеспонт на малоазийский берег и захвата плацдарма для дальнейшего вторжения в Персию. Убийство Филиппа отсрочило нанесение удара, так как это сразу же лишило надежности основную базу армии, Македонию, а в таком предприятии, связанном с углублением в бескрайние территории Персидской империи, надежность тыла решала все.

Устранение Филиппа явилось поводом для всех горных народов севера и запада поднять голову, а для греческих государств — освободиться от своих страхов. Демонстрация силы в Греции, возглавленная новым царем Македонии, моментально отрезвила горячие головы, и на совете в Коринфе Александр был признан главнокомандующим армии эллинистического мира в борьбе против варваров, вместо его отца Филиппа. Весной 335 года он пошел из Македонии на север, перевалил через Балканы и, разбив горные племена, положил конец войне с ними. Его армия проявила при этом невиданные доселе умение и дисциплинированность. Затем он прошел по земле трибаллов (Румелия) к Дунаю и привел эти племена к покорности. Удов-

летворяя собственную тягу к необычному и желая поразить воображение всего мира, он переправился с армией на другой берег Дуная (с точки зрения тогдашнего военного искусства, это невероятно сложная техническая задача.— *Примеч. пер.*) и сжег укрепленный город гетов. Тем временем иллирийцы подняли восстание против власти Македонии и захватили город Пелий, господствовавший над горными проходами к западу от Македонии. Александр с войском прошел напрямую через горы, разбил иллирийцев и восстановил престиж и власть Македонии в этом регионе. В это время к нему пришло известие, что в Греции беспорядки, а Фивы взялись за оружие. Форсированным маршем приведя свою армию под стены города, он застал фиванцев врасплох, и через несколько дней город, который поколение назад занимал главенствующее положение в Греции, был взят. Теперь уж со стороны Александра не последовало никаких полумер: город был уничтожен до основания, за исключением храмов и дома, где когда-то жил великий греческий поэт Пиндар. Теперь можно было верить и надеяться, что какое-то время ошеломленные греки не доставят беспокойства македонскому царю. Возобновилась деятельность Всегреческого (Панэллинского.— *Примеч. пер.*) союза, который все еще игнорировала Спарта, против варваров. К Афинам,— хотя, как известно, власть Македонии была им не по душе и они частенько стояли за спиной многочисленных Александровых неприятностей,— Александр относился неизменно с большим почтением.

**Вторжение в Малую Азию.** Весной 334 г. Александр переправился в Азию с армией, состоявшей из македонцев, иллирийцев, фракийцев и контингентов греческих государств — общей численностью 30 000—40 000 человек. Местом сосредоточения армии стал город Абидос на Геллеспонте. Сам Александр, переправившись, сначала посетил место, где стояла древняя Троя, и там принес жертвы Афине Илионской, взял себе щит, который, по преданию, принадлежал Ахиллу, и оставил приношения великим мертвецам гомеровских сказаний — это красноречиво свидетельствует о том, что в душе молодого царя все это предприятие представлялось в поэтическом блеске, что люди впоследствии оценят по-разному, в соответствии с тем, какую роль они отводят воображению в делах человека.

Чтобы встретить захватчика, у великого персидского царя в Малой Азии имелась армия, не намного превышающая армию Александра, собранная под командованием сатрапов западных провинций у города Зелея. Под их началом находился также отряд греческих наемников — воинов-профессионалов, а они представляли куда более серьезную угрозу армии македонского царя, нежели остальные силы персов. Связь с Македонией, то есть своей базой, у Александра могла осуществляться только через узкое место Геллеспонта, и он, удаляясь от него, рисковал быть начисто отрезанным от своего тыла, своих резервов. Для персидских военачальников разумной была бы стратегия заманивания греческой армии за собой в глубь страны, избегая до

поры прямого столкновения, на чем настаивал командир греческих наемников родосец Мемнон.

**Граник.** Кодекс чести персидской знати, или неприятие всерьез противника, не позволил персам принять эту стратегию, и Александр застал их поджидающими его армию на берегу реки Граник. Это был в основном конный бой, в котором общий кодекс чести заставил македонцев и персов завязать рукопашную схватку, и в конце дня остатки персидской армии спасались бегством, оставляя захватчику открытыми большие дороги Малой Азии. Теперь Александр мог осуществить первую часть принадлежащего ему как главнокомандующему эллинов плана освобождения греческих городов Малой Азии, чего так долго публично требовали энтузиасты панэллинизма: Александр двинулся к старой лидийской столице Сарды, резиденции персидского наместника по эту сторону Тавра, и сильный город сдался без боя. После этого во всех греческих городах Эолии и Ионии пали дружественные Персии правительства олигархов и тиранов и были установлены демократические порядки под надзором командиров отрядов армии македонского царя. Только там, где города защищались гарнизонами, состоящими на службе у Персии, и укомплектовывались в основном греческими наемниками, освободитель мог ожидать вероятность сопротивления. На самом же деле из Эфеса гарнизон бежал, лишь узнав о поражении на Гранике; правда, Милет пришлось осаждать. Персидский флот напрасно пытался снять с города осаду, и Милет не мог долго устоять против штурмующей армии македонцев. Только в Галикарнасе Александр впервые встретился с упорным сопротивлением, куда Мемнон с сатрапом Карики собрали все наземные силы, еще остававшиеся у Персии на западе. С наступлением зимы Александр захватил сам город, но две его укрепленные цитадели еще долго выдерживали осаду.

Тем временем македонский царь ясно давал понять, что он пришел сюда не просто чтобы отомстить персам, не просто чтобы вести карательную войну, а чтобы стать царем Персии. В завоеванные провинции он назначал македонских наместников, а в Карики вернул власть князю местной династии Аде, которая приняла его как сына. Зимой, пока Парменион, его заместитель на посту главнокомандующего, продвигался по центральному плато, подчиняя провинцию Фригия, Александр прошел берегом моря, где ему сдались лидийцы и поклялись в верности греческие города прибрежной Памфилии. Горы в глубине материка были местом обитания воинственных племен, которые персидские власти так и не смогли себе подчинить. Для их завоевания у Александра не было времени, но он штурмом взял некоторые из их крепостей, чтобы держать их под контролем, и прошел по всей их территории, после чего свернул на север от Памфилии в глубь материка.

Весной 333 г. он прошел прибрежной дорогой в Пергу, миновав утесы гор Клаймакс благодаря своевременной перемене ветра. Падение

ние уровня моря во время этого перехода, вследствие чего Александр и смог пройти этой дорогой, было истолковано льстецами Александра, включая историка Каллисфена, как знак божественной милости. Миновав Пергу, он пришел в Гордий, фригийский город, где разрешил знаменитую задачу с Гордиевым узлом, который мог быть развязан только будущим правителем Азии; Александр рассек его мечом. Но этот рассказ, возможно, является апокрифическим или, по крайней мере, искаженным. Здесь до него дошло известие о смерти Мемнона, талантливого полководца персов и командующего их флотом. Александр немедленно извлек выгоду из этого известия и, оставив Гордий, быстро двинулся на Анкиру, а оттуда на юг через Каппадокию и Киликийские ворота. В Киликии его на время задержала лихорадка. Тем временем Дарий со своей огромной армией подошел к восточной стороне горы Аман. Разведка с обеих сторон ошиблась, и Александр уже разбил лагерь у Мириандра, когда узнал, что Дарий находится на его тыловых коммуникациях в Иссе. Повернув сразу же навстречу Дарию, Александр обнаружил его армию растянутой вдоль реки Пинар. Здесь Александр одержал решительную победу. Персы были разгромлены, Дарий бежал, оставив свою семью в руках Александра.

**Завоевание Средиземноморского побережья и Египта.** От Иссы Александр двинулся на юг в Сирию и Финикию, захватывая прибрежные города с целью изолировать, лишить персидский флот его баз и потом уничтожить эту серьезную боевую силу. Финикийские города Мараф и Арад спокойно подчинились, и вперед был послан Парменион, чтобы не пропала богатая добыча в Дамаске, где хранилась часть сокровищ Дария, предназначенная для ведения войны, так называемый военный сундук. В ответ на письмо Дария, где тот предлагал мир и раздел Персии, Александр ответил высокомерно, перечислив все прошлые беды Греции и требуя безоговорочной капитуляции ему, как господину Азии. Взяв города Библ и Сидон, он застрял у островного города Тира, который закрыл перед ним свои ворота. Чтобы взять его, он применил способы осады на плаву, но тирийцы сопротивлялись, продержавшись семь месяцев. Тем временем (зимой 333/332 г.) персы предприняли ряд контратак на суше в Малой Азии, но потерпели поражение от Антигона, полководца Александра и наместника Большой Фригии. Удача сопутствовала грекам и на море, где они вернули себе ряд городов и островов.

Пока продолжалась осада Тира, Дарий прислал письмо с новым предложением: он заплатит огромный выкуп в десять тысяч талантов за свою семью и уступит Александру все свои земли к западу от Евфрата. Говорят, Парменион сказал: «Я бы согласился, будь я Александром». «Я бы тоже, — последовал знаменитый ответ Александра, — будь я Парменионом». Штурм Тира в июле 332 года явился величайшим военным достижением Александра; за ним последовала большая резня и продажа оставшихся жителей, в основном женщин и детей,

в рабство. Оставив Пармениона в Сирии, Александр двигался на север, не встречая сопротивления, пока не подошел к Газе. Город стоял на высоком холме. Яростное сопротивление задержало его здесь на два месяца, и во время вылазки врага он получил серьезное ранение в плечо. Нет никакого основания верить, что он якобы свернул с пути, чтобы посетить Иерусалим.

В ноябре 332 г. он пришел в Египет. Народ встретил его как освободителя, и персидский сатрап Мазак предпочел сдаться. В Мемфисе Александр принес жертву священному быку египтян Апису и был коронован традиционной двойной короной фараонов; в результате местные жрецы были умиротворены, а их религия получила поддержку власти македонского царя. Зиму он провел, занимаясь административным устройством Египта, назначая наместников провинций из местной знати, держа, однако, армейские отряды в городах в постоянной готовности под командованием преданных македонцев. Он основал город Александрию в устье западного рукава Нила, а также отправил экспедицию в верховья реки, чтобы выяснить причины постоянного летнего разлива Нила. Из Александрии он пошел вдоль моря к Паретонию, а оттуда с небольшим отрядом в глубь пустыни, чтобы посетить Сиутский оазис, где находился знаменитый оракул бога Амона. Жрецы Амона встретили Александра традиционным приветствием, как фараона, сына Амона. Александр задал прорицателю ряд вопросов об успехе своего похода, но не получил ответа ни на один из них. Однако все равно использовал это посещение с большой выгодой для себя. Позже этот случай способствовал возникновению истории о том, что он был признан сыном Зевса, и тем самым его «обожествлению». Весной 331 года он вернулся в Тир, назначил наместником Сирии знатного македонца Асклепиодора и приготовился выступить в глубь персидской державы, в Месопотамию. С завоеванием Египта его власти на всем восточном побережье Средиземного моря более ничего не угрожало; она была полной.

**От Гавгамел до смерти Дария.** В июле 331 г. Александр находился в Фапсаке, на реке Евфрат. Вместо прямого пути вниз по реке до Вавилона он выбрал путь через Северную Месопотамию к реке Тигр. Дарий, узнав об этом от своего полководца Мазея, посланного с передовым отрядом к месту переправы через Евфрат, прошел вверх по Тигру, чтобы ему помешать. На равнине у Гавгамел, между Ниневией и Арбелами, произошла решающая битва этой войны. Александр преследовал разбитую армию персов тридцать пять миль до Арбел, но Дарий со своей бактрианской конницей и греческими наемниками скрылся в Мидии.

Александр занял и провинцию, и город Вавилон. Сдавший город Мазей был утвержден на посту сатрапа вместе с македонским военным командующим и в порядке исключения получил даже право чеканить монеты. Такое же поощрение получило в Египте местное жречество. Столица Персии Сузы сдалась без сопротивления, и здесь



Александр захватил огромные сокровища. В столице Александр оставил захваченную еще при Иссе семью Дария. Затем, разгромив горные племена уксиев, он прошел через перевалы хребта Загр в Центральную Персию и, успешно обойдя горный проход Персидские врата, удерживаемые сатрапом Ариобарзаном, захватил Персеполь и Пасаргады.

В Персеполе он торжественно сжег дотла дворец Ксеркса как символ того, что панэллинистическая война отмщения за поруганные ранее греческие святыни подошла к концу: таким представляется вероятное значение этого поступка, который позже предание объясняет как совершенный в состоянии пьяного веселья и вдохновленный афинской куртизанкой Таис. Весной 330 г. македонец двинулся в Мидию и занял ее столицу Экбатаны. Здесь он отпустил многих воинов фессалийцев и греческих союзников домой, щедро наградив их. С этого времени он постоянно подчеркивает, что ведет чисто личную войну против Дария.

Назначение Мазея сатрапом Вавилона говорило о том, что взгляды Александра на империю меняются. Он стал привлекать к управлению огромной захваченной территорией не только македонцев, но и местную знать, персов, и это послужило причиной растущего непонимания между ним и его людьми. Прежде чем продолжать преследования ушедшего в Бактрию Дария, он собрал всю персидскую казну и поручил ее Гарпалу, который должен был, как главный казначей, хранить ее в Экбатанах. Парменион тоже был оставлен в Мидии для охраны коммуникаций: присутствие этого пожилого человека, одного из полководцев Филиппа, стало его тяготить.

В середине лета 330 г. Александр стремительно двинулся в восточные провинции через Раги (ныне Рэй близ Тегерана) и Каспийские ворота, где он узнал, что бактрийский сатрап Бесс сместил Дария с престола. После стычки близ современного Шахруда узурпатор заколол Дария и оставил его умирать. Александр отправил тело Дария для погребения со всеми почестями в царской усыпальнице в Персеполе.

**Поход на восток в Центральную Азию.** Со смертью Дария у Александра не осталось никаких препятствий, чтобы объявить себя великим царем, и в Родосской надписи этого года (330) он именуется «Повелителем, господином Азии» — то есть Персидской империи. Вскоре после этого на монетах, отчеканенных в Азии, с его профилем появляется титул царя. Перейдя горы Эльбрус и пройдя в Каспий, он захватил город Задракарты в Гиркании и принял капитуляцию группы сатрапов и персидской знати; некоторых из них он оставил на прежних местах управлять городами и провинциями. Отклонившись во время этого похода на запад, возможно к современному Амолу, он частично уничтожил, частично покорил мардов и принял капитуляцию греческих наемников Дария. Теперь ничто не мешало ему стремительно двигаться на восток. В Ариане он учинил резню за то, что

арии сначала сдались, но затем по наущению своего сатрапа Сатибарзана взяли за оружие. Сатибарзан бежал. Здесь, в этих землях, Александр основал еще один город — Александрию Арианскую (ныне Герат). Находясь в Дрангиане, в Фарахе, Александр получил известие о заговоре Филота, сына Пармениона. Здесь он наконец решился и принял меры, чтобы уничтожить Пармениона и его семью. Сын Пармениона Филот, командир элитарной конницы «друзей», был якобы замешан в заговоре против жизни Александра, осужден армией и казнен, а Клеандр, заместитель Пармениона, получил тайный приказ убить его, которому он покорно подчинился. Эта жестокость навела много страха на всех критиканов его политики и тех, кого он считал людьми своего отца, но укрепила его положение по отношению к сторонникам. Все сторонники Пармениона были ликвидированы, а люди, близкие Александру, получили повышение. Конница «друзей» была реорганизована и разбита на два отряда по четыре гиппархии в каждом (гиппархия — современный эскадрон. — *Примеч. пер.*). Одной частью командовал старый друг Александра, Гефестион, другой — Клит, младший брат кормилицы Александра.

Из Фразы македонец во время зимы 330/329 г. прошел вверх по долине реки Гельманд через Арахозию и далее по горам мимо месторасположения современного Кабула в страну параламисатов, где он основал город Александрию Кавказскую.

**Бактрия и Согдиана.** Бывший сатрап Дария Бесс пытался в Бактрии и других восточных провинциях поднять народное восстание, присвоив себе титул великого царя. Перевалив через Гиндукуш по высокогорному перевалу, ведущему на север, Александр, несмотря на нехватку продовольствия, привел свою армию к Драпсаку (современный город Андараб). Обойденный с фланга, Бесс бежал за реку Окс (ныне Амударья), а Александр, двигаясь теперь уже на запад, прибыл в Бактры — Зариаспу (ныне Балх) в Афганистане. Здесь он сместил прежних и назначил новых правителей провинций Бактрии и Арианы. Переправившись через Окс, он отправил своего полководца Птолемея вдогонку за Бессом, который тем временем был свергнут согдианином Спитаменом. Бесса схватили, бичевали и отправили в Бактры, где пытали и искалечили на персидский лад (отрубили нос и уши); позже он был предан публичной казни в Экбатанах.

Из Мараканд (ныне Самарканд) Александр прошел к городу Кирополю и реке Яксарт (ныне Сырдарья), границе Персидской империи. Там он сломил сопротивление скифских кочевников, пользуясь превосходством в техническом оснащении своей армии, разбил их на северном берегу реки и прогнал в глубь страны, в пустыню, и основал город Александрию Дальнюю. Тем временем Спитамен за его спиной поднял восстание во всей Согдиане, втянув в него и племена массагетов. Только осенью 328 года Александру удалось сокрушить самого решительного противника, с которым ему пришлось столкнуться. Позже в том же году он напал на Оксиарта и оставшихся

бывших приближенных Дария, которые укрепились в горах Паратасены (ныне Таджикистан); легковооруженные воины-добровольцы захватили скалу, на которой стояла крепость Оксиарта, и среди пленных оказалась его дочь Роксана. Александр женился на ней в знак примирения, и оставшиеся его противники либо перешли на его сторону, либо были сокрушены.

**Движение к абсолютизму.** Случай, произошедший в Маракандах, вызвал еще большее отчуждение между Александром и его македонцами. В пьяной ссоре он убил Клита, одного из своих самых надежных командиров; но его армия и близкие друзья, видя, как сильно он страдает, испытывая чувство вины, принимают постановление, посмертно обвиняющее Клита в измене. Таким образом, трагическое событие послужило ступенью на пути Александра к восточному абсолютизму. Эта растущая тенденция нашла свое внешнее выражение в носимой Александром одежде персидских царей. Вскоре после этого в Бактрии он попытался навязать церемониалы персидского двора, включая падение ниц, грекам и македонцам; но для них этот обычай, привычный для персов, появляющихся в присутствии царя, связывался с богопочитанием и в отношении к человеку был нетерпим. Даже Каллисфен, который своей явной лестью, возможно, подталкивал Александра к тому, чтобы он видел себя в роли бога, с возмущением отказался от этого унижающего человеческое достоинство свободного эллина церемониала. Смех македонцев вызвал провал этого эксперимента, и Александр оказался достаточно умен, чтобы отступить. Вскоре Каллисфена обвинили в том, что он был посвящен в заговор придворных против жизни царя, и казнили. (По другой версии, он умер в заточении.— *Примеч. пер.*)

**Вторжение в Индию.** В начале лета 327 года Александр с новой, более мощной армией, командование которой подверглось реорганизации, выступил из Бактр. Если цифра, приводимая Плутархом, сто двадцать тысяч человек, сколько-нибудь достоверна, то сюда следует отнести все виды вспомогательных служб: погонщики мулов и верблюдов, медицинский корпус, торговцы-разносчики, артисты и художники, женщины и дети. Саму же, собственно, армию надо оценивать в тридцать пять тысяч человек. Повторно перевалив через Гиндукуш, Александр разделил свои силы. Половина армии с обозом под командованием Гефестиона и Пердикки пошла ущельем Хибер, сам же он повел остальную часть с осадными орудиями через холмистую местность к неприступной вершине с построенной крепостью Аорн и взял ее штурмом. Эта вершина расположена в нескольких милях к западу от реки Инд и чуть севернее реки Бунер. При этом македонцы показали чудеса осадного искусства. Весной 326 года, переправившись через Инд близ Аттока, Александр вошел в Таксилу, чей правитель дал ему слонов и воинов, взамен попросив помочь в борьбе с царем Пором, правившим землями между Гидаспом (ныне Джелам) и Акесином (ныне Шенаб). В июне Александр

дал свое последнее великое сражение на левом берегу Гидаспа. После победы он основал там два города: Александрию Никею (в честь своей победы) и Букефалы (в память о своем коне Букефале, павшем в той битве); побежденный Пор стал его союзником. Точно неизвестно, слышал ли Александр о реке Ганг, но тем не менее ему не терпелось идти все дальше. Когда же он подошел к реке Гифасис, армия отказалась следовать за ним под непрекращающимися тропическими дождями: физические и психические силы воинов были на пределе. Недовольных представлял главный военачальник Александра Кен. Непреклонность армии заставила Александра повернуть назад.

**Возвращение из Индии.** На Гифасисе он воздвиг двенадцать алтарей, посвященных главным олимпийским богам, а на Гидаспе построил флот в 800—1000 кораблей. Расставшись с Пором, он отправился вниз по Гидаспу, впадавшему в Инд; половина армии погрузилась на корабли, а другая половина тремя колоннами шла маршем по двум берегам. Флотом командовал Неарх, а собственным кораблем Александра — кормчий Онесикрит; оба впоследствии составили отчет о плаваниях, дошедшие в качестве свидетельств до нас. Этому походу сопутствовало много небольших сражений и безжалостная резня, учиненная при штурме города племени маллов близ реки Гидраот (ныне Рави). Александр получил серьезную рану, которая ослабила его здоровье.

Прибыв в Паталы, он построил гавань и доки и исследовал оба рукава Инда, которые далее, вероятно, впадали в Великое море. Он предполагал повести назад часть армии по суше, а остальные войска должны были на 100—150 кораблях под командованием Неарха совершить исследовательское плавание вдоль берегов Персидского залива. Из-за стычек с местными племенами Неарх отплыл в сентябре 325 года, но, дожидаясь северо-восточного муссона, задержался до конца октября. Александр тоже в сентябре отправился вдоль берега через Гедросию, но из-за непроходимой дикой местности, отсутствия воды вскоре был вынужден повернуть в глубь материка и поэтому не сумел осуществить свой план обеспечения флота продовольственными базами. Еще ранее он отправил под командованием Кратера вещевого обоз, осадные орудия, слонов, больных и раненых воинов, дав для охраны три отряда тяжеловооруженной пехоты. Кратер должен был через проход Муллы, Кветты и Кандагар вести их в долину Гельманда, а уже оттуда через Дрангиану воссоединиться с главными силами армии на реке Аман (ныне Минаб) в Кармании.

Поход Александра через безводную пустыню Гедросии (ныне Белуджистан) оказался губительным: мучила нехватка питья, еды, топлива. К тому же во время стоянки у пересохшего русла реки внезапный ночной паводок, вызванный муссоном, унес много жизней, особенно женщин и детей. В конце концов Александр воссо-

единился с отрядами, плывшими на кораблях Неарха. Флот за это время также понес потери, и моряки испытали множество приключений.

**Политические деяния.** Александр продолжил свою политику замещения старших чиновников и предания казни нерадивых наместников, которую уже начал проводить, еще находясь в Индии. За время между 326—324 гг. он сместил свыше трети своих сатрапов и шестерых предал смерти. В Мидии три военачальника, и среди них Клеандр, брат Кена, умершего чуть ранее, были обвинены в вымогательстве, вызваны в Карманию, где их арестовали, судили и приговорили к казни.

Весной 324 года Александр вернулся в Сузы, где обнаружил, что его главный казначей Гарпал, очевидно боясь расплаты за казнокрадство, бежал с шестью тысячами наемников и пятью тысячами талантов денег в Грецию. В Сузах Александр устроил празднество, отмечая захват Персидской империи и свадьбу — свою собственную и своих восьмидесяти военачальников: в продолжение его политики слияния македонян и персов в единую расу они взяли себе жен — персиянок. Александр и Гефестион женились соответственно на дочерях Дария Статире и Дрипетиде, а десять тысяч его солдат, женатых на местных женщинах, получили от него щедрые дары.

Политика этнического слияния все больше портила его отношения с македонцами, которым совсем не нравилось его новое понимание империи. Их сильно возмущала его решимость включить персов в армию и администрацию провинций на равных с ними правах. Прибытие тридцати тысяч юношей, прошедших македонскую военную подготовку, и включение восточных воинов из Бактрии, Согдианы, Арахозии и других земель империи в конницу «друзей» только раздуло огонь их недовольства; в дополнение ко всему, персидская знать с недавних пор получила право служить в конной гвардии царя. Большинство македонцев видели в этой политике угрозу их привилегированному положению. Этот вопрос крайне обострился в 324 году, когда решение Александра отправить на родину македонских ветеранов во главе с Кратером было истолковано как намерение перенести местопребывание власти в Азию. Вспыхнул открытый мятеж, в котором не участвовала только царская охрана. Но когда Александр все-таки распустил почти всю армию македонцев и на их место набрал персов, оппозиция была сломлена. За эмоциональной сценой примирения последовало грандиозное пиршество (девять тысяч гостей) в ознаменование окончания разногласий и установления партнерских отношений в управлении македонянами и персами. Подчиненные, покоренные народы в это содружество партнеров не вошли. Десять тысяч ветеранов отправились с дарами в Македонию, и кризис был преодолен.

Летом 324 года он попытался решить проблему неприкаянных наемников, тысячи которых скитались по Азии и Греции; многие из

них — политические изгнанники из собственных городов. Декрет, привезенный Никанором в Европу и провозглашенный в Олимпии (сентябрь 324 года), предписывал всем городам Греческого союза вернуть всех изгнанников и их семьи (кроме фиванцев).

Последний год. Осенью 324 года в Экбатанах умер Гефестион, и Александр устроил своему ближайшему другу небывалые похороны в Вавилоне. Греции он велел чтить Гефестиона как героя, и, видимо, именно с этим повелением было связано требование, чтобы и ему самому воздавали божественные почести. Уже давно он лелеял мысли о своей божественности. Греческая философия не проводила четкой разделительной черты между богом и человеком. Их мифы дают не один пример того, как человек, совершив великие деяния, обретал статус божества. Александр не раз поощрял лестные сравнения своих деяний с теми, которые совершили Дионис или Геракл. Теперь он, похоже, становится убежденным в реальности своей божественности и требует признания ее другими. Нет причины полагать, что это требование было обусловлено какими-то политическими целями (статус божества не давал его обладателю никаких особых прав в греческом городе-государстве); скорее это было симптомом развивающейся мании величия и эмоциональной неуравновешенности. Города волей-неволей уступали его требованию, но зачастую делали это с иронией: в спартанском декрете говорилось: «Если Александр желает быть богом, пусть будет богом».

Зимой 324 года Александр осуществил жестокую карательную экспедицию против коссеев в горах Луристана. Следующей весной в Вавилоне он принял посольство из Италии, но позже появились рассказы, что приходили посольства и от более далеких народов: карфагенян, кельтов, иберийцев и даже римлян. Приезжали к Александру и представители греческих городов — в венках, как и положено было появляться перед божественным. Весной же, следуя по маршруту Неарха, он основывает еще одну Александрию — в устье Тигра, составляет планы развития морских связей с Индией, для чего предварительно необходимо было совершить экспедицию вдоль Аравийского побережья. Он также отправил Гераклида исследовать Гирканское (Каспийское) море. Внезапно, занимаясь усовершенствованием ирригационной системы Евфрата и заселением побережья Персидского залива, он после длительной пирушки заболел и через десять дней, тринадцатого июня 323 года, умер, на тридцать третьем году жизни. Он царствовал двенадцать лет и восемь месяцев. Тело его, отправленное Птолемеем, впоследствии ставшим царем в Египте, было помещено в Александрии в золотой гроб. В Египте и Греции ему воздали божественные почести.

Наследник на трон указан не был, и его полководцы высказались в пользу слабоумного незаконнорожденного сына Филиппа II Арридея и сына Александра от Роксаны, Александра IV, родившегося уже после смерти отца; сами же после долгих споров разделили сатрапии



между собой. После смерти Александра Великого империи не суждено было сохраниться как единому целому. Оба царя были убиты: Арридей в 317 году, Александр IV в 310—309 гг. Провинции стали независимыми государствами, а военачальники, следуя примеру Антигона, провозгласили себя царями.

**Достижения Александра, личность и характер великого македонца, его военное искусство.** Мало достоверной информации сохранилось о планах Александра. Если бы он остался жив, то несомненно завершил бы завоевание Малой Азии, где все еще существенно независимыми оставались Пафлагония, Каппадокия и Армения. Но в последние годы цели Александра, похоже, сместились в сторону исследований окружающего мира, в частности Аравии и Каспия.

В организации своей империи он во многих сферах импровизировал и приспособлял найденное к своим нуждам. Исключением была его финансовая политика: он создал централизованную организацию со сборщиками налогов, возможно независимую от местных сатрапов. Частично неудачи этой организации объясняются слабостью руководства со стороны Гарпала. Но выпуск новой монеты с определенным фиксированным содержанием серебра, основанным на афинском стандарте, вместо старой биметаллической системы, распространенной в Македонии и Персии, везде способствовал развитию торговли, и это, вместе с притоком большого количества золота и серебра из персидской казны, послужило очень нужным и важным стимулом для экономики всего Средиземноморского региона.

Основание Александром новых городов — свыше семидесяти, — согласно Плутарху, открыло новую страницу в истории греческой экспансии. Несомненно, многие колонисты, вовсе не добровольцы, оставляли города, а браки с коренными жителями Азии приводили к растворению греческих обычаев. Однако в большинстве городов влияние греков (более, чем македонян) осталось сильным. И поскольку наследники власти Александра в Азии Селевкиды продолжили этот процесс ассимиляции, распространение эллинистической мысли и культуры на значительную часть Азии, до Бактрии и Индии, явилось одним из самых замечательных результатов завоеваний Александра.

Его планы расового слияния потерпели неудачу: македоняне единодушно отвергли эту идею, и в империи селевкидов четко доминирующим был греческий и македонский элемент.

Империя Александра скреплялась его собственной динамической личностью. Он соединял в себе железную волю и гибкий ум со способностью доводить себя и своих воинов до высшего напряжения сил. Он знал, когда нужно отступить и пересмотреть свою политику, хотя делал это очень неохотно. У него было развитое воображение, не без романтических импульсов: личности, подобные Ахиллу, Гераклу и Дионису, часто приходили ему на ум, а приветствие жреца у

оракула Амона определенно повлияло на его мысли и честолюбивые устремления, на весь последующий период жизни. Он быстро поддавался гневу, и тяготы долгих походов все резче обозначали эту черту его характера. Безжалостный и своенравный, он все чаще прибегал к устрашению, без колебаний уничтожая людей, вышедших у него из доверия, причем его суд не всегда претендовал на объективность. Долго после его смерти сын Антипатра Кассандр не мог без содрогания пройти мимо его статуи в Дельфах. Однако Александр, несмотря на эти качества своего характера, пользовался любовью у солдат, в верности которых не приходилось никогда сомневаться, без жалоб прошедших с ним долгий путь до Гифасиса и продолжавших верить в него, какие бы трудности ни выпадали на их долю. Единственный раз Александру не удалось настоять на своем, когда, измотанное физически и психологически, войско отказалось следовать за ним далее, в незнакомую Индию.

Александр — величайший среди известных миру полководцев — проявлял необычайную гибкость как в комбинировании различных видов вооружения, так и в умении приспособить свою тактику к тем новым формам ведения войны, которые противопоставлял ему противник, будь то кочевники, горцы или Пор со своими слонами. Его стратегия была искусно подчинена богатому воображению, и он знал, как воспользоваться малейшими шансами, представляемыми в любом сражении, которые могли бы сыграть решающую роль в победе или поражении. Он также, победив никогда не останавливался на достигнутом и безжалостно преследовал бегущего врага. Александр чаще всего использовал для нанесения сокрушительных ударов конницу, и делал это настолько эффективно, что ему редко приходилось прибегать к помощи своей пехоты.

Недолгое царствование Александра явилось решающим моментом в истории Европы и Азии. Его поход и личный интерес к научным исследованиям во многом продвинули знания о географии и естественной истории. Его деятельность привела к перенесению великих центров европейской цивилизации на восток и к началу новой эры греческих территориальных монархий. Она способствовала распространению эллинизма по всему Ближнему Востоку широкой колонизаторской волной и созданию — если не в политическом смысле, то, по крайней мере, в экономическом и культурном — единого мира, простирающегося от Гибралтара до Пенджаба, открытого торговле и социальным взаимоотношениям. Справедливо будет сказать, что Римская империя, распространение христианства как мировой религии и долгие века существования Византии явились в некоторой степени плодами трудов Александра Великого.

Э.Маршалл  
**ПОБЕДИТЕЛЬ**



## ПЕРСОНАЖИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В РОМАНЕ

Реальные исторические лица:

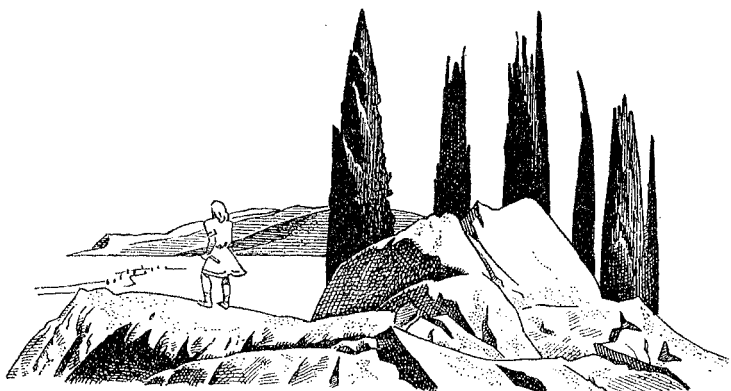
- Александр Великий*;  
*Филипп из Македонии* — отец Александра;  
*Олимпиада* — мать Александра;  
*Роксана* — бактрианская принцесса, первая жена Александра  
и мать его последнего сына;  
*Таис* — афинская куртизанка;  
*Аристотель* — учитель Александра на протяжении 3 — 4 лет;  
*Клеопатра* — сестра Александра;  
*Клеопатра* — вторая жена Филиппа;  
*Ланис* — няня Александра;  
*Клит* — младший брат Ланис, друг детства Александра;  
*Птолемей Лаг* — товарищ Александра по играм, а впоследствии военачальник в его армии;  
*Леонид* — дядька и наставник Александра;  
*Лисимах* — воспитатель Александра;  
*Антипатр* — регент Македонии в отсутствие Александра;  
*Парменион* — один из лучших полководцев Александра;  
*Аттал* — военачальник;  
*Филот* — сын Пармениона;  
*Барсина* — вдова Мемнона;  
*Мемнон из Родоса* — талантливый полководец армий персидского царя, грек;  
*Каллисфен* — племянник Аристотеля;  
*Бесс* — сатрап одной из областей Персии; убийца Дария;  
*Гефестион* — близкий друг Александра, способный военачальник;

*Статира* — вторая жена Александра в полигамном браке;  
*Парисатида* — третья жена Александра в полигамном браке;  
*Гарпал* — друг детства Александра;  
*Верховные жрецы в Додоне, в храме Зевса-Аммона.*

Возможно, существовавшие, но оставшиеся истории неизвестными лица, которые поэтому можно считать вымышленными персонажами по праву поэтической вольности. Что касается последней сцены с Роксаной и Александром, когда он лежал в лихорадке, возможно малярийной, ничто не свидетельствует ни в пользу ее, ни против. То, как она происходила, зависело бы от характера Роксаны, в моем понимании, благородного. То же самое относится и к вопросу — была ли Таис его любовницей или нет. Некоторые историки полагают, что была, исходя при этом из ее действий в Персеполе, которые, по всей вероятности, входили в тайный политический план Александра. Стихотворение Драйдена, хоть и основывается на правде, в целом является вымыслом. Прекрасная опера Массне основывается лишь на одном вероятном факте. Встреча Роксаны и Александра в детстве вымышленна, хотя вполне могла и быть. Эта книга — роман с множеством вымыслов, ни один из которых не противоречит известным фактам.

Вымышленными являются следующие персонажи:

*Элиаба (Абрут)* — личный летописец Александра;  
*Шаламарес* — дядя Роксаны;  
*Сухраб* — первый муж Роксаны;  
*Клодий* — шпион Александра;



## Глава 1

# НЕБЕСНЫЕ ЗНАМЕНΙΑ

### 1

Я, Александр, сын и наследник Филиппа из Македонии и Олимпиады, дочери царя Эпира\*, написал эту первую главу своей тайной истории, нечто вроде предисловия к ней, своей собственной рукой.

По греческому летосчислению шел 433 год, или год 108-х Олимпийских игр\*. Прошло сто тридцать семь лет с тех пор, как греки в битве при Саламине заставили персидские флотилии повернуть назад. Стоял день осеннего равноденствия, и только семь дней назад отмечалась годовщина этой незабываемой победы.

Возле дороги в торговом городе Пелла в Македонии тринадцатилетний отрок — его четырнадцатый год пребывания на земле стремительно приближался — наблюдал за партией пыльных и грязных рабов: мужчин, женщин и детей, гонимых по древней караванной дороге. Эта дорога от Фракии тянулась на запад вдоль северных берегов Эгейского моря до Фермы. Здесь она поворачивала на север, чтобы, коснувшись Пеллы и старой столицы Эги, через горные проходы извилистым путем пробраться к верховьям реки Апис и затеряться в богатых городах иллирийцев на Ионическом море.



Сей отрок был я, Александр. Тем, кто читает эту хронику, будет ли интересно взглянуть на меня, когда я стоял там, уже не мальчик и еще не мужчина, крепкого сложения, как и большинство македонских юношей, с рыжевато-золотистыми волосами, нередко встречающимися у моих сверстников. Голубые глубоко посаженные глаза смотрели на мир внимательно и зорко. Одежды мои были, несомненно, богаче, чем у большинства юных македонцев, ибо даже сыновьям зажиточных коневодов полагалось придерживаться свойственного Македонии старомодного образа жизни, простых и строгих манер.

Случилось так, что я остался один, если не считать друга детства Клита, младшего брата Ланис, бывшей мне когда-то няней. Даже строгого Леонида, наставника, более известного моим высокородным сотоварищам под кличкой «Каменнолицый Старик», услали прочь с каким-то поручением, и в тот момент я не был под его неусыпным надзором. С любопытством глядя на бредущих людей, я испытывал странное возбуждение, которое с каждой минутой все возрастало. Грубые одежды и несвойственные нам цвет и черты лица — все это давало пищу воображению. Вдруг меня осенила мысль, от которой защеко-тало под кожей, что эти рабы идут из земель, лежащих далеко за Фракией, что на самом востоке Греческого государства, возможно, из-под Геллеспонта и самых западных окраин Персидской империи. А эта империя, как всем известно, охватывала добрую половину знакомого человечеству мира.

Один из рабов привлек к себе мое особое внимание. Юноша моего возраста, с четко очерченным орлиным носом, он был, как и большинство фракийцев, рыжеволос. Но нет, он не фракиец — не та посадка глаз, не тот в них блеск, когда он бросил на меня изучающий и испуганный взгляд. Вид его обожженной загаром кожи наводил на мысль, что он из какой-то страны в пустыне неподалеку от устья Нила.

Вскоре он должен был удалиться за пределы досягаемости моего голоса и затем исчезнуть за поворотом дороги. Тогда ничего бы не вышло из моего страстного желания поговорить с ним, вступить с ним в какие-то очень важные деловые отношения, хотя я лишь смутно догадывался, какие именно. Эта возможность быстро уплывала, как случалось и со множеством других, частью из них

благородных, которые дразнили меня своей досягаемостью только для того, чтобы потом исчезнуть. Разве не предупреждали меня постоянно то мать, то Каменнолицый Старик, чтобы я не поддавался первому побуждению, а действовал с трезвым расчетом?

Несомненно, они были правы...

И вдруг на сердце у меня polegало. Я и забыл об источнике питьевой воды совсем неподалеку от того места, где стояли мы с Клитом. То ли у охранника пересохло во рту от дорожной пыли, а может, он не поил свой двуногий скот с наступления полуденной жары, только он выкрикнул распоряжение, и рабы, с трудом волочившие ноги, остановились. Я замер на месте, опасаясь спугнуть судьбу. Конечно, я мог подбежать к охраннику и велеть прекратить шествие, что вправе был сделать в своем государстве как царский сын. И если этот малый не знает греческого, я все же смог бы заставить его понять меня, и он непременно бы узнал царевича по богатому плащу с застежкой в виде льва, украшенной драгоценным камнем. Но я избежал досадного промаха и был весьма благодарен манящей прохладе живительного источника, предотвратившей мою ошибку. Возможно, Гермес, бог странствующих, именно с этой целью и поместил здесь родник.

— Я собираюсь поговорить с молодым рабом,— сказал я Клиту, быстро трогаясь с места.— И не суетись, я не приму возражений.

Да, я желал порасспросить загорелого до черноты юношу и теперь точно знал, какие задам вопросы. Даже если он почти не говорит по-гречески и изъясняется на каком-нибудь диковинном диалекте, я был уверен, что все равно мы поняли бы друг друга. Но что для меня оставалось загадкой, так это собственный интерес к чужеземцу. Отчего меня так разбирало любопытство? Ведь толпы рабов проходили здесь через каждые несколько дней. Я смотрел, как они идут, скованные цепями и с ярмом на шее, и, ощутив только легкий укол быстро проходящей жалости, спокойно возвращался к своим трудным играм: бегу, прыжкам и другим упражнениям по военной подготовке, предписанным Филиппом и осуществляемым на деле Каменнолицым Стариком, которые поглощали большую часть моего времени между едой, сном и учебой.

Между тем где-то в глубине моего сознания уже созрел план. Не могу сказать определенно, что это был за план и почему я так верил в его осуществимость. Он возник из чего-то неясного, но волнующего, что я разглядел в лице молодого раба.

Наверняка голова моя склонилась слегка влево, что всегда случалось, если меня занимало какое-то дело. Не доходя пятнадцати футов до группы рабов, я встретился с Клитом взглядом и тихо сказал:

— Побудь здесь. Я хочу побеседовать с ним наедине.

Несмотря на приглушенность, голос мой сохранил властный звон металла. «Даже Филипп не бывает столь убедителен», — подумал Клит. Царь отдавал свои распоряжения сильно рокочущим баритоном или, случалось, пьяными выкриками.

Я медленно приближался, и губы сами складывались в вопрос: «Твое имя и племя?» Но прежде чем он прозвучал, юноша-раб заговорил на чистом аттическом греческом языке, которым, восседая на троне, пользовался Филипп, принимая послов от других царей. И я владел им исправно, как требовал от меня в учебные часы выживший из ума Лисимах, но слишком уж часто сбивался на македонский диалект, на котором в то же время говорили во всех украшенных колоннами городах Греции и в деревнях.

Юноша произнес негромко, но твердо и без нытья, часто свойственного рабам:

— Молю, юный господин, купите меня.

В тоне его я ясно расслышал нотки мужества, но чувствовалась и такая глубина горя и страстного желания, которые мне редко доводилось слышать.

— Кто ты? И прибыл откуда?

— Я родом из Палестины. А имя мое Элиаба. Я сын ученого еврея, который вызвал немилость нашего сатрапа.

Говоря это, он прижимал руки к бокам, очевидно желая скрыть от охранника умоляющий жест, но густые рыжие брови поднимались и опускались, подкрепляя слова. Эта манера говорить казалась несколько странной, но каким-то непонятным мне образом внушала мысль, что предомной мальчик с глубоким и сильным умом.

— Я знаю о Палестине под Тиром, — сказал я. — Ты умеешь писать по-гречески?

— О, да. Рука моя так же проворна, как ваш благородный язык. Я пользуюсь тайнописью собственного изобретения, поэтому шпионам прочесть ее нелегко.

— Куда вас ведут, Элиаба? Как трудно произносить это имя, если...

— Господин, я прежде работал на плантации в Византии, а теперь нас ведут в Эпидамн в Иллирии. Бог отца моего свидетель, это долгий путь! Жена одного благородного господина заказала у работорговца несовершеннолетнего мальчика, который стал бы слугой ее сына и научил его языку, дабы тот избежал эпитета «варвар». Помощник работорговца выбрал меня и купил по дешевке. Но наш охранник как раз из тех, кто с радостью положит в карман горсть золотых монет. Он не моргнув глазом солжет госпоже, что я умер в пути, к чему я был очень близок. Купите меня, благородный господин, я согласен стать вашим летописцем, чтобы выразить всю глубину вашей мысли.

— Когда я стану царем, у меня будет несметное число и писарей, и историков. Впрочем, мне и теперь нужен хоть кто-нибудь, кто записывал бы самые потаенные мои мысли, о которых ты говоришь, мои планы и цели, чтобы ученые, когда я стану всего лишь прахом, размышляли над ними и расшифровывали их для людей. Ладно, я переговорю с охранником. Ты же останься среди последних, кто будет пить из источника. И молись богу отца своего!

Я подошел к человеку с лукавым лицом и окладистой черной бородой. Держа в руке плетку, он сидел на зеленом берегу в некотором отдалении от источника, но, заметив мое приближение, тотчас вскочил на ноги.

— Я — Александр, сын и наследник царя Филиппа.

Прижав локти к бокам, растопырив пальцы и выгнув спину, что на Востоке выражало полную прострацию, он отвечал хнычущим голосом просителя:

— Чем могу услужить тебе, Александр, сын великого Филиппа?

— Я хочу приобрести мальчика Эли... Элиабу, если цена не будет слишком уж высока.— К этому времени я уже догадался, что он армянин, чья родина находится к востоку от Таврических гор.

— О, прекрасный царевич, хоть лет ему и не больше, чем тебе, он самый ценный раб в этой партии. Мой господин выбрал его в наставники своему сыну...

— Да хоть бы и в любовники своей дражайшей супруге, которая, как всем известно, томится по незрелым мальчикам. Так какова же будет цена?

— Как насчет десяти статов в монетах из желтого металла горы Пангея, которую захватил великий Филипп? Но чтобы одинакового веса и пробы...

— Дороговато. Я предложу тебе пять.

— А семь дашь?

— Тоже большая цена. Во столько обходится девственная танцовщица самому персидскому царю. Впрочем, в моем кошельке есть семь монет, и я готов отдать их тебе.

— Тогда попрошу, сунь их незаметно мне в руку, когда никого не будет поблизости, и прикажи Элиабе спрятаться в зарослях за источником. Предатель из их же среды — ведь у рабов нет чести — расскажет мне об этом за сикель ячменной муки, но клянусь, что отправлю мерзавца на каторгу в соляные копи, где у него живо усохнет и отнимется язык. Вот, я протягиваю тебе ладонь. Умоляю, загороди ее своим телом, чтоб не увидели эти проныры.

— Лови кошелек. Он из серебряной ткани и сам по себе стоит уже полстатера.

— О, Александр, я еще не раз услышу о тебе, — бормотал изумленно охранник, в то время как кошелек исчезал в складках его одежды.

— Да, услышишь! И впрямь услышишь, если только солнце не провалится в море до того, как я сяду на трон.

## 2

Мой новый раб широко раскрытыми испуганными глазами внимательно следил за каждым моим движением, и мне было достаточно лишь указать пальцем на заросли кустарника, чтобы он тотчас же растаял подобно тени, покинув толпу теснившихся у источника рабов. Возможно, некоторые из них заметили этот маневр и догадались об истинной его причине, но если кое-кто и хотел забить тревогу, дабы извлечь из этого выгоду, то вовремя передумал, взвесив, насколько это рискованно. Большинству же послужила прибежищем мысль, — почти единственная, в которой раб находил утешение, — что судьба других рабов

не стоит и малого клочка кожи с собственной спины. Да и охранник уже спешил отдать приказ двигаться дальше. Я смотрел и слушал до тех пор, пока они не скрылись за поворотом дороги. Ни переполоха, ни возмущения я не заметил в их жалких рядах. Это была всего лишь очередная партия рабов, перегоняемых с одной плантации на другую по воле неведомых им богов и людей и по велению неблагосклонной к ним судьбы.

Я отыскал еврейского юношу в зарослях кустов. Глаза его светились отчаянной надеждой. Но я знал, — не зря же меня учили, — как следует обращаться с только что купленными рабами.

— Я заплатил за тебя немалые деньги, — сказал я сухо.

— Моему господину угодно, чтобы я знал свою цену? — спросил Элиаба, нервно вскидывая и опуская рыжие брови.

— Да, и это не прихоть, а твердое намерение. Я отдал семь золотых статеров и кошелек из серебряной ткани в придачу.

— Вас не надули, клянусь Иовом, богом отца моего и моим собственным.

— Ба! Еще одно имя, которым варвары называют Зевса. Впрочем, может статься, что ты говоришь правду. В таком случае удел твой не будет тяжелым. Но если меня обманули, ты будешь выводить свои письма острием железной кирки на стенах соляных копей. Следуй за мной и держись от меня в трех шагах. Хочу показать тебя матери, царице Олимпиаде. Царской дочерью она была когда-то сивиллой в храме бога Виноградной Лозы\* в Самофракии. Она точно скажет, что предвещает мне эта покупка: добро или зло.

Мы отправились во дворец моего отца, царя Филиппа. Так грубые македонцы называли царские палаты, потому что они значительно превышали размеры жилищ его подданных, выстроенных из гранитных глыб, и украшались портиком и террасой наподобие роскошных домов знати в центрах столиц, находящихся к югу от нас: в Фивах, Коринфе, Олимпии, даже в Спарте, ставшей с закатом ее мощи мрачной и угрюмой, в Дельфах и некогда надменных Афинах, низведенных теперь до размера лапы персидского льва. Пелла располагалась в приятном местечке с видом на чистое озеро, но сам город не блистал ни благородством, ни красотой и до недавних пор служил посме-



шищем для посторонних, не находивших в нем ни высоких стен, ни просторных храмов, ни прекрасных садов, ни уличных колонн, возведенных в честь каких-либо великих событий.

У нас отсутствовала старая аристократия — окружение Филиппа состояло исключительно из богатых владельцев огромных табунов лошадей и иного скота. Ничтожество наших рынков было под стать коринфским, а наши праздники больше напоминали пьяные разгулы. Все это было мне хорошо известно и без обличительных речей моей матери, презрительно адресовавшей их городу, который она именovala не иначе как «постоялый двор». Но я знал и то, что имена «Пелла» и, в особенности, «Филипп» стали влиятельнейшими именами в моей собственной жизни и жизни других македонцев и греков.

До прихода к власти Филиппа казалось, что боги наложили проклятье на царствующий дом Македонии. Доживая здесь свои последние дни, старый озлобленный Еврипид мог бы вплести его печали в одну из своих гениальных трагедий. Незаконнорожденный сын убил своего дядю и братьев, родного и двоюродного, чтобы завладеть тронem; царица отравила царя Аминту из-за кровосмесительной любви к мужу собственной дочери, а чуть позже и дочь постигла та же судьба. Но Филипп был сделан из другого материала. Вместо того чтобы оставаться мелким царьком над пастухами овечьих отар и табунов с номинальной властью над дикими горными племенами и грызущимися кланами, он в свои пятнадцать лет объединил всю Македонию под своей единоличной властью, сколотил великолепную армию с прекрасно вымуштрованной пехотой, конницей и самой непобедимой фалангой в истории. С ними он завоевал Амфиполь с богатыми рудниками Пангейской горы, Пидну и Потидею, Абдеры и Маронею во Фракии и вассальный город Афин Метону. После двух чувствительных поражений он разбил фокейцев, после чего стал повелителем всей Фессалии с ее щедрыми пастбищами и виноградниками. Главный город севера Олинф пал, сраженный его мечом, за одиннадцать лет до того, как жена-колдунья Олимпиада родила ему сына. В следующем году после того, как Фракия стала его провинцией, он двинулся в центральную Грецию, и вскоре афинский оратор Демосфен произнес свою первую филиппику\*.

Требовалось кое-что посильнее бури, чтобы остановить завоевателя — порывистого, сильного, крепко пьющего, грубо обтесанного македонца. Он объявил себя победителем всех эллинов, защитником панэллинизма\* и гробницы бога Аполлона в Дельфах — так кто же смог бы противиться ему?

— Мой царь-отец идет бодрым маршем, — говаривал я своим друзьям детства, — и руки у него загребушие. Боюсь, когда вырасту, мне уже нечего будет завоевывать.

Но это были всего лишь слова, которые только отражали вечное недовольство моей матери; в сердце же у меня упрямо горел огонь.

И вот я стоял, по привычке склонив голову набок, и думал. Как утверждает Каменнолицый, я трачу слишком уж много времени на размышления и чтение разных книг. В особенности доставалось моей любимой «Илиаде», которая и ночью лежала у меня, спящего, под подушкой. Ко всем моим приобретениям — будь то купленный раб, рог с чернилами или простое перо — он относился с неодобрением, считая, что эти «забавы» лишь отвлекают меня от главного. А главным он называл умение управлять и вести безжалостные войны. Да и моя мать при всей ее склонности к таинственному и сладостному, болея душой за меня, страстно желала, чтобы я поскорее вырос, взялся за оружие и позаимствовал у Филиппа хоть часть его славы. Но я не мог расти так уж быстро, даже в угоду Олимпиаде. И все же я полагал, что она одобрит покупку, хотя бы лишь для того, чтоб насолить Филиппу. Ведь будь царь здесь, он с яростью возражал бы. Оставив иудейского юношу в коридоре, я приблизился к ее покоям и отодвинул занавес из плотной ткани, закрывавший вход.

Она занималась тем, что убирала в серебряную клетку пятнистую змею длиной в двенадцать футов, которая в объёме превосходила руку тяжеловеса от плеча до локтя. Принес эту гадину, купив ее на рынке диких зверей, что на побережье Понта Эвксинского\*, один из родственников Олимпиады. А называлась змея питоном. Поскольку пифоном назывался также и священный табурет высшего жреца в Дельфах, а жрица, читавшая пророчества, звалась пифией, нетрудно было догадаться, что эта змея примет участие в оргиастических ритуалах Олимпиады, посвященных культу Диониса, бога Виноградной Лозы. А иначе зачем же еще понадобилась ей змея? Я не верил пьяной

шутке Филиппа, что питон заменяет ей мужа в его отсутствие. И все же нельзя было не заметить, как ласкает она томным взглядом эту мерзкую гадину, как предается восторженным речам, когда змей кольцами обвивается вокруг ее стройного прекрасного тела. Перед тем как она захлопнула дверцу клетки, стреляющий язычок питона скользнул по ее губам. Затем царица повернулась, пристально поглядела на меня, и колдовской взгляд ее сменился любящим, материнским.

— Ну, чем занимался? — ласково спросила она. — Конечно же, ничем путным.

— Я купил раба.

— Рабыню? — быстро переспросила она. Последнее время она то и дело намекала, что мне пора занять собственную служанку — это ускорило бы мое возмужание.

— Нет, секретаря. Думаю, что могу называть его именно так. Он иудей. Правильно говорит по-гречески и умеет бегло писать.

— Что ж, совсем неплохо. Он пригодится тебе, когда ты станешь царем или регентом. В особенности если способен запоминать и быстро записывать обрывки разговоров, услышанные им при дворе. Может быть, он поможет выловить шпионов и предателей и разоблачит заговоры против твоей царской персоны; и тогда древо виселицы принесет обильный урожай фруктов, свисающих с его ветвей на железных черенках.

— Нет, я купил его не для этого.

Я был откровенен. Мне нужен был не согладатель, а верный и преданный друг, товарищ по играм и по охоте, а придет срок — и в военных делах. А все эти разговоры об изменах и хитрых уловках мне нисколько не нравились.

— По крайней мере, он будет тебе полезен. А где ты взял золото, чтобы заплатить за него? Того, кто умеет бегло писать на правильном греческом, не купишь за белые или червонные деньги — только за желтые.

— Я заплатил семь статеров.

— Почему бы и не заплатить, коль он тебе нужен? Разве ты не Александр, наследник трона Филиппа и много чего еще, происходящий от самого Ахиллеса по моей линии, а по линии Филиппа — от Геракла Железнорукого! Клянись Дионисом и Адонисом, которые любят меня неземной любовью, это, должно быть, золото, накопленное тобой

на покупку у старого Пармениона большого скифского лука.

— Да, оно самое. Ах, этот лук из рога и слоновой кости... Таких в Греции еще не видали. Бьет на двести шагов, если его согнуть до упора. Представь только, охранник запрашивал десять статеров — вдвое больше, чем стоит красивая рабыня-девственница.

— Я не нахожу в этом ничего предосудительного. Пора бы уж золоту Пангейских гор послужить тебе, ради твоего удовольствия и пользы, а не Филиппу, который разбазаривает его на оружие и лошадей, на содержание македонских олухов, которых он называет своими воинами. Я уж не говорю о женщинах, которых он наряжает в шелка и усыпанные драгоценностями платья — можно подумать, что я об этом не знаю. Ха!

Мать замолчала, задумалась. Лицо ее оставалось спокойным, в нем не было ни злобы, ни ненависти, но было нечто более страшное, чему я не мог подобрать названия. Я называл это твердой решимостью, в которой она находила тайное удовольствие.

— Но ведь он еще не взял себе второй жены, чтобы та нарожала ему кучу наследников.

— Лучше уж и не брать ее, если ему дорог солнечный свет.

И тут лицо ее осветилось пугающе-дивной красотой. Темнобровое, как у египтянок, с огромными ясными глазами, светящимися жемчужно-голубым блеском, оно было красивым всегда, за исключением редких моментов ярости. И тело ее было роскошно, оно отличалось изысканной утонченностью форм; а дивные груди, которые она любила обнажать предо мной, думается, для того, чтобы разбудить во мне чувственность, были прекрасны, как у Афродиты Праксителя\*.

— Александр, помнится, я рассказывала тебе, как в день твоего рождения сгорел дотла большой эфесский храм богини Артемиды и зарево пожара было заметно с острова Самос.

— Да, и не раз.

— Задумывался ли ты над этим? Я-то размышляла, да толку мало. Никак не пойму, зачем Зевсу понадобилось сжигать храм своей дочери, сестры-близнеца Аполлона, зачатой им под видом лебедя, возлежащего с прекрасной Ледой... Ах да, она же враг Афродиты, богини любви, от

которой Зевс без ума. Забудь об этом. Как-нибудь, не в столь отдаленном будущем, я поведаю тебе о другом чуде, куда более замечательном, которое произошло в ночь твоего зачатия. Теперь поскорей уходи. Малейшее воспоминание об этом жжет меня как огонь.

С трудом подавив волнение, неизменно пробуждаемое во мне необузданными речами Олимпиады, я неохотно удалился.

Пора было приступить к делам, и первое, чем я намеревался заняться, это проверить способности моего нового раба, Элиабы. Приведя юного иудея в свое жилище, я процитировал ему отрывок из «Илиады», который он записал с той же быстротой, с какой произносились эти бессмертные слова.

— Прекрасно! — похвалил я, глянув мельком на странного вида письмена. — Теперь выслушай мои требования. Прежде всего, я дам тебе тайное имя — «Мой Дневник». Многие дети царей, не говоря уже о самих царях, ведут дневники, но пишут в них скудно, а зачастую и вовсе бесчестно лгут. Имя у тебя слишком длинное и не подходит моему языку...

— Оно означает «Мой Бог Явился», — вставил Элиаба.

— Мне безразлично, что оно означает у варваров. Отныне для других и для меня самого твое имя будет Абрут\*. Так вот, запомни мои слова: если я укажу средним пальцем правой руки вверх, для тебя это будет знак, что не стоит писать о том, что я говорю и делаю, будь мы наедине или в компании, пока я снова не прижму его к указательному пальцу. Затем снова описывай все — каждый поступок, каждое мое слово, обращенное к тебе или к другим. И не забывай проставлять дату. А кстати, какого календаря мы будем придерживаться? Мой воспитатель считает, что греческий календарь — это нагромождение ошибок. А что скажешь ты, Абрут?

— В моей стране сейчас 2418 год с сотворения Вселенной.

— Ба! Тогда война титанов с богами произошла за тысячи лет до этого. Греки ведут счет времени от первых Олимпийских игр. В Персии это год двести с чем-то — я точно не помню — Заратустры. Он знаменует рождение первого великого мага, которого у нас называют Зороастр.

И тут меня осенила идея — нет, проблеск, сияющий и прекрасный.

— Абрут, я знаю! Конечно же, вот он — единственно подходящий календарь, сверяясь с которым мне и следовало считать все эти годы, годы стремительно наносящей удары Судьбы. Если младенец доживает до первого дня рождения, он начинает свой второй год жизни на земле. Мой тринадцатый день рождения миновал, и значит, Абрут, сейчас год четырнадцатый о.А.

— Я слушаю тебя, господин, но не понимаю.

— За семь статоров мне следовало бы купить более живой ум. Надеюсь, придет время, и он будет соображать побыстрее. Четырнадцать о.А. означает четырнадцатый год от Александра. Не говори об этом с другими, но не забывай.

### 3

То, о чем я рассказываю и что записывает Абрут, в некотором смысле и есть моя биография. Здесь я поведаю о своих сомнениях, скрытых поражениях и неприятностях; о победах, которых я добивался, как это задумано мной, победителем, а не вульгарной толпой. Все важные события, происшедшие в отсутствие моего секретаря, я непременно изложу ему подробно или же вкратце, чтобы он придал рассказанному литературную форму и записал все в должном порядке и соответствующей последовательности. Словом, это будет книга о том, каким Александр видит самого себя.

Да, я говорю дерзко, неподобающе дерзко для историка, пишущего о себе. Описывать происшедшее не в конце пути, когда все уже свершено, а в самом его начале считается неприличным; но есть уже знаки того, что нить моей жизни, которую спряла одна из трех Парок, Лахезис\*, многоцветна и весьма необычна. Мне неизвестно, что они там решили, но одно я вижу ясно — указание на большие события, в которых я сыграю далеко не последнюю роль. Это признание моей души, которое я не берусь оспаривать и до умаления которого я не снизойду.

Когда холодными зимними ночами я смотрю в небо на многочисленные звезды, я вижу, что они своим взаимным расположением составляют причудливый узор, таинственный и необъяснимый. Они не движутся, но могут говорить, и, когда я останавливаю взгляд на одной из них, она перестает мерцать и горит чистым пламенем,

будто чувствует, что я ее созерцаю и что у нас есть общая тайна.

Но внешне мало что говорит о моей редкостной судьбе. Меж тринадцатым и четырнадцатым днем рождения, то есть на четырнадцатом году жизни, я достаточно рослый, хотя, должен признать, найдется немало юношей-македонцев моего возраста ростом повыше меня. Когда я повзрослею, во мне, возможно, будет четыре локтя, что примерно равняется двум огромным шагам, но все же я покажусь коротышкой рядом с рабом-кельтом, которого я однажды увидел на рынке. Он был слишком высокомерен, чтобы демонстрировать свою мускулатуру возможным покупателям, он даже не смотрел на них, и, чтобы увидеть его великолепные зубы, приходилось разжимать ему рот железным прутот. У меня крепкие мышцы, но не хватает еще ловкости и должной координации для достижений в спорте и для искусного владения мечом. Я недостаточно опытен в искусстве метания копья и диска, но, правда, могу бегать очень быстро и в этом виде спорта мог бы с честью выступить на Олимпийских играх. Когда я заявил о своей готовности соревноваться, но только с сыновьями царей, мой бесстрашный и язвительный друг Птолемей заметил, что истинная причина заключается в моей боязни проиграть. В высоту и длину я прыгаю красиво и точно, но в плавании вечно борюсь с течением, вместо того чтобы ладить с ним, тогда как мои соперники с выгодой пользуются его движением и всегда побеждают.

Все македонцы, равно как и фессалийские юноши, отличные наездники. Увы, пока я не вправе считать себя одним из лучших. У моего друга Гарпала, сына крестьянина, косолапость, и, когда, соревнуясь с Птолемеем, я проигрываю, он подсмеивается, что у меня тоже что-то вроде косолапости, будто к лодыжке привязана толстенная книга, вполне вероятно, что «Илиада». Да, я чересчур увлекаюсь чтением — мой наставник Леонид не устает твердить об этом, и мать с ним соглашается. Им непонятно, почему я держу при себе этого рассеянного, неотесанного старика-деревенщину Лисимаха, вместо того чтобы взять в педагоги кого-нибудь, кто был бы более в курсе современных событий. Они и не подозревают, что этот седовласый книжный червь — знаток военной истории, которому известны все памятные битвы со времен первой Олимпиады. Его методика, может быть, необычна, но учит

мыслить: сообщив об особенностях местности, о маневрах враждующих армий, он предлагает мне назвать победителя, а затем просит рассказать, каким образом побежденный мог бы стать победителем.

Судя по тому, что я вижу в зеркале, мой мальчишеский вид быстро уступает место зрелости. Македонцы представляют собой костяк старой Греции до вторжения дорических племен. Они высокого роста, белокурые, голубоглазые, шире в кости, нежели ослабевшие сограждане к югу от нас, и, как говорят, и, возможно, не без оснований, большие тугодумы. Кое-кто желал бы назвать нас варварами, несмотря на то, что мы истинные греки, потомки Аргоса. Был случай, когда оспаривалось наше право на участие в Олимпийских играх на том основании, что мы чужаки. Мы доказали наше истинно эллинское происхождение. Играли. А иногда и выигрывали.

Мои рыжевато-желтые волосы с некоторых пор растут надо лбом тяжелой копной, и я, пожалуй, помогаю этому, когда энергично орудую расческой и щеткой, добиваясь схожести с львиной гривой. Мой классически правильный нос, хотя ему и недостает смелого размаха, с каким был вылеплен нос чудесного изваяния Праксителя, все же коренится меж бровей, слегка расширяясь в ноздрах. Носовая перегородка коротка и сильно вогнута. Чувственные губы, особенно нижняя, без сомнения, достались мне по наследству от Олимпиады. Подбородок тяжелый, за что я благодарен богам, ибо греки склонны верить, впрочем, без достаточных на то оснований, что тяжелый подбородок говорит о силе характера его обладателя. На подбородке уже появился первый пушок, и, как только он станет заметным, я сбрею его, как это сделали Ахилл и другие герои нашей незабываемой войны против троянцев. Их величали объездчиками лошадей и за это почитали в бессмертной поэме Гомера, но, да будут свидетелями те же боги, я считаю, что они как объездчики не лучше, чем мы, с диких северных пастбищ.

Примерно в тот же год случилось так, что я, похоже, добился звания объездчика лошадей. Не так давно Филипп вернулся в Пеллу, подавив мятеж во Фракии и расправив всех его зачинщиков. Тогда от правителей Фессалии пригнали на продажу табун лошадей, а Филипп редко отказывался раскошелиться при виде коней, подходящих для его тяжелой конницы. Но когда мы прогоняли их на равнине, только



немногие оказались стоящими. Самый же красивый, самый гордый и сильный артачился, производя впечатление строптивного и плохо обученного жеребца, так что царь резко взмахнул рукой в знак того, что этот конь ему не нужен.

— Отец, могу я сказать? — обратился я к нему.

— Ладно, говори, если твои слова будут разумны.

— Ты совершаешь ошибку, отвергая это прекрасное животное.

— Царь не делает ошибок. А коли и так, то не признается в них. В особенности если обвинение исходит от отрока тринадцати лет. Александр, не следует ли нам опасаться того, что ты слишком много берешь на себя?

— Может, и так, но я прав насчет этого жеребца и докажу свою правоту, если ты мне позволишь.

— Клянусь Посейдоном, богом лошадей: тех, что пасутся на сочных лугах, и тех, что дыбятся и играют на своих морских пастбищах! Разве ты не видел, как он крутился и бил копытами, злобно скалясь, когда его пытались оседлать объездчики? Или ты лучше всех управляешься с лошадьми? Неприлично твое хвастовство, тебе слишком много давали воли, и, похоже, ты больше, чем этот конь, нуждаешься в крепкой узде.

Голос Филиппа противно задребезжал, а единственный глаз — вражеская стрела лишила его второго — загорелся сердитым блеском, но еще не налился кровью, как это бывало в минуты ярости, которую я не желал пробуждать в отце.

— И все же позволь оседлать его. По крайней мере, ты вдоволь повеселишься, когда я свалюсь с лошади.

— Что ж, посмеемся. Да только удар о землю — недостаточное наказание за такую самонадеянность. Какой штраф ты заплатишь золотом?

— Цену лошади.

Объездчики засмеялись над этим глупым ответом, а Филипп возмущенно хмыкнул.

— Думаю, что хороший удар о землю будет тебе на пользу, юный Ахилл! — проговорил он с большим презрением.

Этот последний выпад вызвал во мне безрассудную храбрость. Я не хотел, чтобы кто-нибудь знал о моих мечтах, которые можно было бы назвать преклонением перед Ахиллом, и, особенно, о моем самоуподоблении этому

герою, о мистическом чувстве, возникающем каждый раз при чтении моей обожаемой «Илиады». И впрямь, я полагал, что об этом никто не знает, за исключением няньки Ланис, которая все еще оставалась моей ближайшей наперсницей. Птолемей же, друг и соперник во всех играх, зачастую превосходящий меня в ловкости, лишь громко расхохотался — не из лести царю, а насмехаясь надо мной. Меня бросило в жар. Теперь я был просто обязан испытать себя, пусть даже здоровенный черный жеребец переломает мне ребра.

Я обошел вокруг, внимательно присматриваясь к нему. Это был очень крупный экземпляр. Наверняка он уже покрыл кобылу, но в силу молодости и неопытности вряд ли пробил брешь в девственнице. У него были массивная грудь и изящные ноги. Красиво выгнутую шею венчала голова, показавшаяся бы необычной и без белой — в форме быка — отметины на лбу. Да и сама голова больше напоминала бычью — огромная, с широко расставленными ушами. Глаза, темно-карие, почти без белков, предупреждающих о ярости к человеку, смотрели вокруг настороженно, и мне подумалось, что его норовистость — это простая нервозность: становясь на дыбы, он видит на равнине собственную удлиненную и дерзкую тень и нервничает.

Доводилось мне любоваться скакунами с фессалийских пастбищ, где земля плодородна и трава растет сочная и шелковистая, но ни разу не видел я лошади со столь лоснящейся кожей такой необычной масти.

— Опомнись, и я помогу тебе с честью выйти из игры, — крикнул отец. Вот уж не ожидал подобной уступки от этого твердокаменного человека. Однако затем, словно бы пожалев о своей маленькой слабости, он съязвил: — Услуги хирургов и костоправов школы Гиппократы нынче безбожно дороги.

Я взял коня за поводья и отвел его в тень, подальше от зрителей. Все повернулись, внимательно и серьезно следя за моими действиями. Жеребец следовал за мной довольно-таки спокойно, и мне даже показалось, что он стал чуть покорнее после того, как я погладил его по шее. Все ускоряя шаг, я заставил его перейти на бойкую рысь. Теперь мы бежали рядом, и я чувствовал, что ему это нравится — он двигался ритмичным галопом легко и с таким изяществом, что оставалось лишь удивляться, как

это хозяин или хозяйева решились расстаться с ним. Возможно, я пойму, в чем тут дело, когда попытаюсь его оседлать. Это испытание было не за горами, и я все с большим трудом подавлял растущий во мне холодный постыдный страх. От людских насмешек меня спасало лишь то, что взгляды всех были устремлены только на скакуна, с каждой минутой набиравшего скорость. Ему явно не терпелось побегать, причем в таком темпе, из-за которого мне, возможно, придется влачиться за ним в пыли. Не оставалось ничего другого, как сбросить плащ, закинуть поводья ему за шею и, ухватившись за длинную соболиную гриву, вскочить на него.

Он тут же сорвался с места, да так внезапно, что я опрокинулся и полетел кувырком. Едва коснувшись ногами травы, я рухнул на землю.

Я поднял голову и увидел, что мой здоровенный черный жеребец летит, будто вышел на последнюю прямую на скачках. «Ну все,— подумал я с мрачной уверенностью,— пари проиграно, и сраму не миновать». Я глядел на него во все глаза и вдруг заметил, как скакун наступил на волочащиеся по земле поводья, отчего его голову резко дернуло вниз. Он снова помчался вперед и вновь наступил на веревку и на этот раз, сильно споткнувшись, упал на колени. Поднявшись, он уже не так резво снялся с места, а едва разогнался, как веревка опять попала ему под переднее копыто, и снова голову резко рвануло книзу.

Теперь он ступал очень осторожно, и я окриком заставил его взглянуть в мою сторону. Он остановился и уставился на меня. Не знаю, способны ли животные думать, но в какой-то момент мне показалось, что мысли его работают весьма исправно. Очевидно, он припомнил, что, пока я был рядом, пока сидел у него на спине, ничего неприятного с ним не происходило. Нет, он не питал ко мне злых чувств, напротив, со мной у него было связано самое приятное — разрешение на первый с тех пор, как его забрали с фессалийских равнин, хороший пробег. К моей глубочайшей радости, он пошел ко мне, время от времени встряхивая волочащимися по земле поводьями.

Мне показалось, что он с удовольствием позволил мне взять веревку и нисколько не возражал, когда, свернув ее кольцами в правой руке и ухватившись за гриву левой, я вскочил ему на спину.

Ласково потрепав жеребца по шее, я мягким ударом веревки подстегнул его к бегу, и вскоре он уже несся вскачь, сперва мелким, а затем крупным галопом. Я чувствовал, как ветер путает мои волосы и звенит в ушах. Вряд ли я был бременем для его широкой спины и потому позволил себе ослабить поводья, затем снова натянул их, и, действуя так попеременно, я сумел-таки заставить жеребца быть покорным. Ему же так приятна была эта забава, возможность дать выход накопившимся силам, что он вовсе не возражал против управления. Проскакав на нем далеко по равнине, я развернул коня и начал свое триумфальное возвращение. Приблизившись к смотревшим на нас во все глаза зрителям, я остановил его. Он подчинился натяжению поводка. Теперь я уже не хватался испуганно за конскую гриву, а ласково похлопывал его по спине, блестящей от легкой испарины, и был почти уверен, что конь признал мое право не только давать ему волю, но и прерывать его радостный бег.

Он остановился в каком-нибудь шаге от Филиппа, и я соскочил на землю. Меня так и подмывало похвастаться, но, вовремя спохватившись, я вместо этого нежно погладил жеребца по бархатистому черному носу.

— Ты выиграл пари,— проговорил Филипп, словно бы и не веря этому.

— Это была нечестная игра, царь,— отвечал я.— Я вызвался заплатить за него, если проиграю, но теперь-то я знаю, что истинная цена слишком велика для моего кошелька. Сколько бы за него ни запросили, это будет все равно что даром, и я готов пожертвовать чем угодно, лишь бы этот замечательный жеребец стал моим.

— Не стану в этом препятствовать, хотя, клянусь моими богами, я сам жажду его иметь. На таком красавце и я бы не прочь проехаться по украшенным колоннами улицам Афин, когда — надеюсь, что скоро,— я укрошу их гордыню. Однако он твой, если тебе хватит сообразительности назвать его добрым именем.

— Взгляни, у него на лбу белое пятно в форме быка, да и сама голова больше походит на бычью. Почему бы не назвать его Букефалом?

— Бычьеголовым? Пусть будет так. Мне нравится простота имен у могучих людей или животных. И вот что еще, Александр. Если ты станешь всадником под стать этому скакуну, думаю, он может понести тебя далеко.

«Объеду на нем полмира,— подумал я.— А поскольку мы оба молоды, то будем вместе расти и мечтать о приключениях и победах, ждущих нас впереди». Мне уже чудилось, как он, возбужденный сражением, мощно храпит и оглашает воздух яростным ржанием.

#### 4

Возможно, потому, что я легко справился со здоровенным черным жеребцом — легко, если не считать одолевавшего меня перед схваткой с ним страха,— Филипп призвал меня к себе и в присутствии Олимпиады сделал необычное для него заявление.

— Мой сын Александр прилежен в учебе, во всяком случае, так утверждает этот выживший из ума старик Лисимах,— начал он, обращаясь к Олимпиаде так, словно меня не было с ними,— и, полагаю, он для своих лет прекрасный наездник.

— В первом я и не сомневаюсь. А еще кое-где поговаривают — не знаю, может, слух этот ложный,— что он укротил черного жеребца, которого оседлать не решился сам македонский правитель,— отвечала мать самым что ни на есть сладким голосом.

— Не стану этого отрицать, но Леонид сообщает мне, что в других делах он не столь старателен: в искусстве владения мечом он выдерживает экзамен только на «хорошо». Он должен им овладеть, если хочет иметь хоть половину шансов на победу в сражении.

— Филипп, отец мой, можно мне слово?

— Если с умом, то да.

— Говорил ли тебе Леонид, как я владею большим скифским луком и метательным дротиком?

— Лучше, чем прежде, но все же недостаточно. И если начистоту, он восхищается тем, как сильно ты можешь согнуть лук, но только в том случае, если кипишь от злости или полон уязвленной гордости. Тебе следует больше практиковаться — но как это сделать, не пренебрегая учебой? Я не позволю необразованному олуху восседать на троне, даже если для этого мне придется вернуться из царства Аида\*. Тебе выпадет иметь дело и с хитрыми персами, и с заносчивыми афинянами. Единственный ответ — тебе нужен лучший учитель в Греции.

— Но Платон умер в прошлом году, — заметила Олимпиада невинным голосом. — Может ли грохот сражений Филиппа пробудить его от вечного сна и призвать к нам, оторвав от спокойного уединения?

— Разумеется, нет. — Филипп раскраснелся. — Как, впрочем, и дикие заклинания неких безумных полуголых особ, все эти кровавые жертвоприношения и извивающиеся змеи на праздниках Диониса. Но я могу вызвать умнейшего человека Греции для службы у меня во дворце.

— Кого же?

— Аристотеля.

— Филипп, кто из нас безумен?! Ты думаешь, Аристотель оставит свою высокую науку и покинет прекрасный город, украшенный колоннами, чтобы прибыть на этот грубый постоялый двор, в Пеллу? И захочет ли он обучать будущего повелителя народа, который все греки и до сих пор считают варварским племенем?

— Пусть варварским, но их царь умеет крушить города с колоннами одним ударом кулака. Отец Аристотеля был лекарем у моего отца. Держу пари, что придет, и ставлю колесницу с золотыми колесами против вон той змеи, чтобы переломить ей хребет, если выиграю. Что скажешь?

— С тобой, Филипп, никаких пари. Может, кровопролитием ты и завоевал любовь бога войны Ареса, и он настоящий бог Олимпа, тогда как мой милый Дионис — получеловек... И все же я поверю этому, только когда увижу своими глазами, как сказал грубый возница твоему предку Гераклу, когда тот похвастал, что за одну ночь лишит девственности пятьдесят царских дочерей.

— Тебе не придется долго ждать, — заверил он.

И это пророчество в точности сбылось. Казалось, стоило Филиппу лишь поманить пальцем — и великий философ тут же примчался. Позже мне стало известно, что тут не обошлось без громкого звона золотых монет, и в придачу царь дал согласие восстановить Стагиру, родной город великого мыслителя. Будучи скромным человеком, Аристотель прибыл в сопровождении немногочисленной свиты помощников и рабов. За его колесницей следовала повозка, груженная книгами. И все же его приезд взбудоражил весь город, отчасти потому, что наш неотесанный народ так и не отделался от чувства ревливой зависти к культурным Афинам, и был в чем-то прав, полагая, что мы

одержали над ними верх, хотя и не побеждали их в битве и не громили их Парфенона\*.

Я тоже боролся с чувством жгучей ревности, глядя на то, как восторженно его встречают, как девушки украшают его венками, как осыпают цветами, пока не взглянул на него вблизи. В чувствах моих моментально произошел переворот. За всю мою жизнь мне никогда не приходилось видеть такого человека. Мне показалось, что это лицо — самое прекрасное в мире, хотя по моим прежним меркам оно не было даже красивым: худое, с глубоко запавшими щеками; лоб в обрамлении седеющих волос; длинный острый нос. Возможно, впервые я тогда ощутил покалывание в шее, когда вгляделся в его удивительно красноречивые глаза; а затем я различил окружающие их морщины — сказывались двадцать с лишним лет напряженных исследований, великого умственного труда и мук, которых я не знал и не понимал.

Он приветствовал Филиппа как равного, и я оценил справедливость этого так же, как и царь, к моему удивлению, покрасневший застенчиво, словно мальчишка, когда великий ученый наградил его дружеским поцелуем в память их близости в детские годы. Когда подошла моя очередь, он и меня приветствовал как равного. Этой чести я был недостоин и знал, что это только естественная снисходительность великого человека, и в сердце прокрадось мало мне знакомое чувство, доводящее почти до слез, чувство, название которому — смирение.

Аристотель организовал свою школу в Лесу Нимф, вдалеке от дворца Пеллы. Здесь, стоя на каменном возвышении, он беседовал со мной и моими соучениками из числа избранных Филиппом благородных мальчиков, включая острого на язык Птолемея. Он говорил нам о единстве всей Природы, несмотря на многообразие ее форм, указывал на их взаимосвязи и различия, вследствие чего тот или иной вид мог подразделяться на большие общества, такие, как нации, эти общества на семьи, семьи на кланы и кланы на виды, уникальные сами по себе. Из ручья и близлежащего пруда мы вылавливали рыб, лягушек и черепах с целью анатомирования их и изучения, ставили ловушки на птиц и змей и сети на жуков и бабочек. Все живое, растительного или животного происхождения, заслуживало нашего пристального внимания, и ничто не отбраковывалось как нечто слишком

обыкновенное или низменное. Иногда он указывал на нити, неуловимые для различия, но, когда нужно было обобщать и делать выводы, он приучал нас думать самостоятельно.

Больше всего удовольствия нам доставляли прогулки с нашим учителем по тенистым тропинкам леса, где, как казалось, прячутся, наблюдая за нами, нимфы и где мы выискивали формы жизни, еще не отнесенные нами к тому или иному классу. И как велика была радость ученика, который, найдя что-нибудь, правильно определял вид своей находки. Мы с увлечением познавали мир, учились видеть и делать выводы, и Аристотель помогал нам в этом. Он не предлагал готовых ответов, а задавал вопросы, которые поначалу казались нам нелепыми. Например, рога в известное время года носят благородные олени и круглый год — дикие представители крупного рогатого скота; почему же тогда они не спариваются? Который из этих двух ближний родственник змее: угорь или морская черепаха? Все наши ученики дружно кричали: «Угорь!» — радуясь случаю решить такую простую задачу. Но, вскрыв под наблюдением Аристотеля оба эти существа, мы обнаруживали, что полностью заблуждались. Оказалось, что морская черепаха — самая настоящая рептилия, а угорь — обычная рыба с жабрами.

Был случай, когда вопрос, заданный учителем, поставил в тупик его самого. Как-то раз мы отправились на большой пруд, чтобы понаблюдать за птицами, и увидели там два семейства диких уток: одни, крякая, рылись на отмели, а другие ныряли на глубине в поисках сочных кореньев. Внезапно два красногрудых сокола — за каждую из этих великолепных птиц не жалко было бы отдать золотой статер, и, по словам Аристотеля, они переселились сюда из района Понта Эвксинского — налетели на них быстрее ветра и стали преследовать утиный клан. Тут мы заметили, что утки подразделяются на более мелкие кланы: на короткокрылых, способных летать с большой скоростью, но не очень увертливых, и длиннокрылых, летающих помедленнее, но в мгновение ока способных изменить направление и рассеяться. Хорошенько запомнив их окраску, на другой день мы с Птолемеем смогли с близкого расстояния подбить по одной утке из обоих кланов.

— Вчера мы видели, как налетели соколы и убили уток той и другой разновидности, — сказал наш учитель. — Мы



заметили, что эти хищники способны летать так же быстро, как короткокрылые утки, и маневрировать так же ловко, как длиннокрылые. Так почему же наша мать-Природа создала сокола с этими двумя качествами, а не утку?

— У чирка они есть,— возразил Птолемей.

— Да, верно, чирок очень быстр, но он не спасется от сокола, летя напрямик. Он может ловко увернуться, и все же многие чирки становятся добычей этих превосходных мастеров полета — соколов и ястребов. Утки достигли бы равной удали, если бы не физиологическое препятствие в них самих, некое неизменное качество. Что это за качество, кто знает?

Мы, ученики, стояли онемев, чуть ли не высунув языки, словно уличные мальчишки. К нашему удовольствию, самому учителю пришлось поломать голову, чтобы ответить на им же поставленный вопрос. Анатомировав уток, мы не нашли никаких существенных различий в структуре крыла. Разница была лишь в длине, мышцы же казались одинаково сильными. Учитель довольно хмыкнул, что мы слышали от него и прежде, и сверкнул своей удивительной улыбкой.

— Взгляните-ка на внутренности обеих птиц,— предложил он нам.

Мы так и сделали, но не нашли никакой разницы.

— Помните, мы как-то вскрывали обычного серого сокола, тоже хорошего охотника на уток? Кто мне скажет, чем его кишки отличаются от утиных?

— Кишки сокола умещаются в ладони,— отвечал Гарпал.— А у этой утки они тяжелее и длиннее.

— А почему наша мать-Природа не сотворила их легче и короче, чтобы весили они не больше, чем кишки их врага сокола? У кого есть какие-нибудь догадки на этот счет?

— Может быть, дело в том, что они едят...— осмелился я предположить после затянувшегося молчания.

— Остроумная догадка. Пойдем немного дальше. Мы как-то сравнивали внутренности хорька и зайца. Животные обладали примерно одной и той же массой. А в чем заключалось различие между ними?

— У зайца кишки тяжелее, а у хорька легче.

— В отношении пищи — чем заяц похож на утку, а хорек — на сокола?

— Ну, заяц и утка едят растительную пищу, они травоядные. Хорек же и сокол — плотоядные, они питаются мясом.

— Вот в этом-то все объяснение. Пищеварение сокола — процесс несложный и быстрый, нуждающийся в небольших и легких органах, тогда как переваривание растительной пищи является сложным процессом, требующим крупных и тяжелых органов пищеварения. Что легче тянуть волю: легко или тяжело нагруженную телегу?

Это была типичная задача из тех, что задавал нам учитель с целью заставить нас думать. Но моя мысль в тот день уносила далеко и я видел, как применить этот урок на практике. Когда я стану командовать большой армией, в значительной части она будет состоять из летучих отрядов конницы, легковооруженной и одетой в легкие доспехи, с тем чтобы можно было быстро передвигаться и легко маневрировать. Эти соколы рассеют стаи уток — неповоротливых персов. А уж затем мои орлы — тяжелая конница — разгромят их наголову и перебьют.

Итак, если подытожить принесенную мне Аристотелем пользу, я бы сказал, что он научил меня внимательному взгляду на все, с чем я имел дело, будь это вещи высшего или низшего порядка; научил стремиться видеть причину каждой из них и то, как извлечь максимальную пользу из одной и исправить другую, если на то было мое желание. Он применил к нашей обыденной жизни и обычным проблемам свое великое учение о динамической вселенной, подверженной изменению и росту, в которой то, что мы называли цивилизацией, содержало огромную потенциальную возможность развития. От нас требовалось только одно чудо — упорная работа мысли. Великий Аристотель был таким же практичным человеком, как проницательный скотовладелец на македонской равнине.

## 5

Миновал мой шестнадцатый день рождения, и я оказался в году 17-м о.А. Хотя учение Аристотеля и пошатнуло былую веру, я все еще верил в богов, которые, если их умиловить, а проще говоря, дать им взятку, могли бы прямым вмешательством успокоить разбушевавшееся море или погубить вражеский город чумой, пожаром или

потопом. Я готов был принять на веру разные заклинания и знамения, которые, если они сбывались, требовали беспрекословного признания неумолимого Рока. Но с болью и ужасом отшатнулся я от гадания, виденного мной в храме Диониса на острове Самофракия, что лежит от материка на расстоянии одного дня плавания в полугалере. Именно в этом храме впервые, в год, предшествующий моему рождению, встретились мои родители, полюбили друг друга и поженились.

В тот вечер, о котором я собираюсь рассказать, в жертву возле мечущегося пламени алтаря принесли не козу, не овцу, не голову коровы, а человека. Правда, он был злодеем, пролившим кровь собрата на территории храма. И я возблагодарил неизвестного бога за то, что это не прекрасный безгрешный юноша, каких не раз, как об этом шептались люди, приносили в жертву во время осенних ритуальных мистерий. Когда его кишки вывалились из вспоротого живота на камень и взбешенный жрец ткнул в них своим жезлом, стремясь отыскать в их извивах и сплетениях некое предзнаменование, я сбежал в свой шатер, несмотря на протесты Олимпиады, созерцавшей это зрелище со странно горящими глазами.

Здесь я пробыл, не смыкая глаз, далеко за полночь — после жертвоприношения начался оргиастический праздник с варварской музыкой, криками и дикими танцами; участники передавали друг другу чаши со священным вином. Заглянув в храм ненадолго, я увидел их, полуголых, нередко в похотливых объятьях друг друга; пары то исчезали в темных углах помещения — ради чего, догадаться было нетрудно, — то появлялись снова. Участвовала ли моя мать в общем распутстве, я постарался не замечать, хотя супружеские измены на празднествах в честь Диониса не признавались за таковые — ведь благодаря им в будущем году щедро заколосится посеянное зерно и низко под тяжестью богатого урожая прогнется виноградная лоза.

Когда мать, бледная и изнуренная, взошла на палубу нашего судна, чтобы плыть домой, ни я, ни она и словом не обмолвились о том, что произошло этой ночью.

В тот год я все еще был учеником Аристотеля, и мне предстояло оставаться им, по крайней мере, до наступления моего семнадцатилетия. К этому времени круг наших интересов значительно расширился. Классификации жи-

вых существ, будь то птицы, насекомые, обитатели водной среды, рептилии или млекопитающие, мы отводили теперь меньше времени, в основном изучая медицину. Этот предмет, можно сказать, пленил меня. Эта область науки до сих пор оставалась малоизученной; даже учитель порой терялся, не зная, почему какое-либо из лекарств обладает тем или иным лечебным эффектом. И нередко мне в голову приходила мысль, что, если мне не суждено было бы стать великим завоевателем, я непременно захотел бы стать умелым лекарем. Мы, ученики, испытывали лекарства на больных рабах; кроме того, мы проводили опыты с множеством различных химических веществ — смешивали их, нагревали на заправленной маслом горелке с небольшим узким пламенем, усовершенствованной Аристотелем. Говорят, это было изобретение великого Гиппократы. Мы узнали кое-что о том, как вправлять сломанные кости и очищать гноящиеся раны.

Столь же увлекательны были и догадки, высказываемые учителем насчет формы Земли. Не вызывало сомнений, что она круглая, о чем свидетельствовала ее тень, отбрасываемая на Луну и вызывающая лунное затмение, но диск это или шар — он затруднялся сказать. Здравый смысл подсказывал мне, что, скорее всего, это диск, но Аристотель был склонен согласиться с мнением ученых прошлых времен, считавших, что наша планета — огромный шар и мы ходим по его поверхности наподобие мух, ползающих по большому мячу, обтянутому искусно сшитой кожей и набитому тряпьем, каким мы играем в игру, которую ребята прозвали «Тосс энд скрамбл» («брось-и-борись»). Тогда почему же мы не падаем с Земли в пустое пространство? Это, возможно, и случилось бы, если бы мы жили на нижней, а не на верхней половине шара, но ни в истории, ни в мифе ни один путешественник никогда не видел эту нижнюю половину, равно как и не доходил до края дискообразного мира. Почему при вхождении судна в порт мы видим сперва верхушку мачты, затем паруса и уж потом весь корпус, будто судно взбирается вверх по склону холма? Почему далекие горы видны нам только вершинами, а не всей своей массой?

Он озадачивал нас, ставя эти и подобные им вопросы, он заставлял нас думать, не принимать ничего на веру, он будил в нас мысль. Почему уровень воды в Ниле возрастает год за годом не в сезон дождей, заливающих поля;

каков источник столь полноводной реки и какова ее протяженность? В любом случае, мир, будь он диском или шаром, был бесконечно больше того, что мы могли себе представить в самых ярких фантазиях.

Обучаясь у Аристотеля, я и сам стал, можно сказать, воспитателем. Моим воспитанником был Букефал, которого я учил разным трюкам, не забывая при этом совершенствоваться в искусстве верховой езды. Говорят, в Азии верблюдов и слонов приучают опускаться на колени, чтобы наездникам легче было сесть на них. Мне захотелось, чтобы и мой черный скакун выказывал мне такое же почтение. Разумеется, мне не стоило труда оседлать его, когда он стоял и даже на скаку — для чего, правда, пришлось бы бежать рядом с ним; но это стало бы невозможно, будь на мне шлем и панцирь с нагрудником. К тому же такой фокус мог бы оказаться полезным в битве и произвести впечатление на моих товарищей по оружию.

Чтобы осуществить свой план, я вырыл в земле ямку, достаточно глубокую, и влил туда для приманки пойло из отрубей — излюбленное лакомство Букефала. Он подошел, понюхал приманку и, сообразив, что стоя дотянуться до нее невозможно, медленно опустился на передние бабки. Пока он ел, я сидел у него на спине, а потом дал ему порезвиться. Постепенно я стал приучать его к жесту, который он должен был запомнить: каждый раз, когда конь приближался к угощению, я слегка хлопал его по передним ногам, добиваясь того, чтобы он по этому сигналу опускался на землю всякий раз и в любом месте, где бы я ни захотел. Этот трюк мне удался. Букефал в удивительно короткое время приучился вставать на колени, когда, под седлом и в узде, видел, как я приближаюсь к нему, помахивая кнутовищем; и теперь я садился на него только так.

Много бегая и взбираясь по крутым склонам, я развил и укрепил свои мышцы, и тело мое стало крепким и ловким, но все же, несмотря на старания Леонида, в схватке на мечах я уступал Птолемею. Об этом свидетельствовали не только бесчисленные зазубрины на деревянных щитах, но и свыше десятка шрамов у меня на боках и конечностях. Стоило Леониду отвлечься, как Птолемей, делая быстрый выпад мечом вниз или вбок, пускал мне кровь. Время от времени воспитатель пору-

гивал его, но только для виду, при этом в глазах его загорался озорной огонек, ибо он считал, что легкие царапины мне на пользу.

Бывало, Леонид, разгневанный тем, что я никак не могу сравняться с Птолемеем в искусстве владения мечом, жестоко корил меня, в своем раздражении начисто забывая, что я первенствую в метании дротика, беге и, уж конечно, в стрельбе из лука. Он искренне недоумевал, почему тот, кто в схватках на мечах легко одолевает других своих товарищей, никак не может справиться с Птолемеем. Причина же моих поражений была достаточно проста. И лучшее объяснение этому — дружеское расположение, которое я испытывал к юному македонцу. Стоило мне оказаться с ним лицом к лицу, как я терял свое мастерство: моим атакам не хватало ярости, а обороне — прочности. Должно быть, происходило это оттого, что из всех благородных друзей Птолемей нравился мне больше других, как, впрочем, и я ему, несмотря на все его насмешки. И мне было не по силам прикидываться его смертельным врагом, даже если это требовалось во время учебных поединков.

В тот год произошло событие столь удивительное, столь важное для моего будущего, что трудно было приписать его случайности, и я поневоле подумал, уж не привлек ли я внимание какого-нибудь из богов; и для его ли забавы, во вред ли себе или на пользу, но я сделал маленький шаг ему навстречу.

Справедливости ради должен заметить, что, хотя я и назвал это событие удивительным, ничего необычного в нем в общем-то не было. Вряд ли кому-нибудь могло показаться странным то, что персидский царь Артаксеркс, учитывая победы Филиппа, направил к нам из своей столицы в далеких Сузах послов, чтобы, вероятно, заключить нечто вроде договора в отношении торговых путей или перевозок товаров по Геллеспонту. Великолепно одетые, они прибыли верхом на лошадях либо в повозках, а их помощники — на двугорбых бактрианских верблюдах; там было множество верблюдов, груженных шатрами, нарядами и провиантом. Филипп отсутствовал, поскольку все еще вел одну из своих нескончаемых войн. Не было даже старого Антипатра, регента, чтобы встретить гостей. Не зная, как обратиться к ним, я чувствовал свое косноязычие и неловкость, хотя и старался делать все, что мог,

побуждаемый к тому моей матерью. На некоторые их вопросы я умудрялся отвечать не заикаясь, а после со свойственным мне любопытством, разожженным занятиями с Аристотелем, и сам стал расспрашивать. Они, внимательно меня выслушав, отвечали весьма охотно и, я бы сказал, с удовольствием. Не стану гадать, в чем была истинная причина такой их словоохотливости,— тоска ли по дому сыграла здесь свою роль, или тот факт, что они видели перед собой наследника Филиппа, с которым со временем Персии придется вести дела,— но отвечали они вдумчиво и обстоятельно, так что в целом я заслужил одобрение матери. А заодно и жгучую зависть своих друзей, особенно Птолемея. Что ж, у меня оставалось достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим до того, как я сяду на трон.

После столь долгого предисловия пора наконец перейти к самому событию, ставшему для меня поистине знаменательным. Группа магов с помощниками решили отправиться в путешествие — прежде всего для того, чтобы посетить наши великие святыни, поскольку полжизни они посвящали овладению мудростью, другую же половину проводили в странных церемониях и занимались практической магией, благодаря которой составляли гороскопы и творили чудеса. Это были мужчины крепкие и высокие, в белых одеждах; они носили эмблемы, каких прежде я никогда не видел. «Как удивительно красивы и чисты их лица! Точно такой же свет был в глазах Аристотеля!» — подумалось мне невольно. До возвращения в чудесные страны Востока они намеревались посетить великую святыню, сооруженную в честь Зевса и Додоны, которая располагалась неподалеку отсюда, в Эпире.

Да, лица их были светлы и прекрасны, так светлы, что хотелось пасть на колени и плакать или молиться. Но не это, вернее, не только это меня взволновало. Было нечто еще более пленительное, что поистине ошеломило меня.

Один из магов приходился братом сатрапу Бактрии Оксиарту. Бактрия теперь находилась на северо-восточной окраине Персидской империи, примерно на том же расстоянии к востоку от Вавилона, что и Греция к западу. С этим магом шла девушка; лет ей было не более тринадцати, и я сначала предположил, что это его юная наложница — обычное явление в восточных царствах, особенно

в далекой, как звезды, Индии. Но я никогда не слышал, чтобы такое было принято у магов, верных учению великого Зороастра.

Когда я впервые увидел ее рядом с человеком в возрасте Филиппа, волна гнева захлестнула меня. Возможно, это чувство было вызвано ревностью. Лицо и фигура девушки обещали стать даром — если уже не были им — потрясающей красоты. Волосы ее, цветом напоминавшие ячменную солому, казались пышнее и золотистее, чем у наших македонских девушек, и были заплетены в две тяжелые косы. Ресницы и выгнутые дугой брови, как и волосы, были светло-золотистого цвета. Только серые с синей окаемкой слегка раскосые глаза позволяли догадываться, что родом она с далекого Востока.

В отличие от моей матери, которая вышла уже на террасу к послам, ее стан не обтягивали шелка. На ней был теплый капюшон, шерстяной халат по колено, чулки, отороченные светло-коричневым мехом, и грубые кожаные башмаки. Этот наряд, догадался я, защищал ее от зимнего холода и летней жары, а обувь, наверное, не позволила бы ей промочить ноги, если бы пришлось преодолевать вброд холодные горные потоки. В первый раз я увидел ее, когда она только что слезла с косматого пони, невеликого ростом, но зато отважного и крепконового, как горный козел. На неровной местности в скорости и выносливости он не уступал, на мой взгляд, породистым жеребцам, на которых ехали послы царя. Наездница его, если не лгали мои глаза, тоже отличалась отвагой, ведь ей, должно быть, пришлось проехать полных тридцать тысяч стадий от дикой Бактрии до Македонии, не считая заездов в различные святые места, так что весь путь, по моим расчетам, равнялся расстоянию от Тира до «Ворот Геракла»\*. Но отважные купцы одолевали этот путь на судах, а не верхом. Тем не менее она резво спрыгнула на землю, не являя никаких признаков усталости, и буквально вприпрыжку подбежала к своему господину, чтобы взять его за руку.

Меня охватило яростное пламя ревности. Видимо, маг заметил это. Пристально посмотрев на меня, он, не дожидаясь, когда я, выполняя свой долг, подойду к нему с приветствием, сам неторопливо приблизился ко мне, все еще держа за руку девушку.

— Царевич, я родом из Мараканды\*, что за рекой Окс, и зовут меня Шаламарес,— представился он мне.



Он говорил на непривычном мне греческом, на диалекте, которого мне еще не приходилось слышать, но не на таком уж искаженном, как диалект Соли, по вине которого в языке появилось слово «солецизм», или просто «грамматическая ошибка».

— Маг, я Александр, сын и наследник Филиппа.

Видя его учтивость, я изо всех сил старался не выказывать затаенную в сердце враждебность.

— Это моя племянница Роксана, дочь брата моего, Оксиарта, сатрапа Бактрии.

И тут вся злоба моментально выветрилась у меня из сердца, и мне захотелось кричать.

Девушка сложила ладони так, что кончики пальцев обеих рук соприкасались, и поднесла их к опущенному лицу в знак приветствия, виденного мной всего лишь раз: так делал раб, схваченный близ Герры на Персидском проливе, которого продавали и перепродавали, пока он, наконец, не попал в ту же партию рабов, из которой я выкупил Абрута.

— Приветствую тебя, княжна Роксана. Но меня удивляет, Шаламарес, не слишком ли она молода для паломничеств по святым местам, разбросанным на полсвета?

— Боюсь, ей недостает должной почтительности к великим святыням. Она скакала через веревку у самого входа в храм Аполлона в Ксанфе. Она здесь по моей настоятельной просьбе — мне нравится общество этой дерзкой девчонки — и еще из-за своей собственной любви к приключениям. Когда она отдаст поклон царице Олимпиаде, не удостоишь ли ты ее чести показать ипподром Филиппа, который называют лучшим в Северной Греции? Она обожает лошадей, и, кажется, те отвечают ей взаимностью — показывают перед ней всю свою прыть.

— Княжна, и вы тоже говорите по-гречески? — поинтересовался я.

— Немного учила в храмах магов в Мараканде. Так же плохо, как и мой дядя, — весело ответила девушка. — И мне не мешало бы подучиться, ведь во всех городах от Синопы до Пеллы — а это два месяца дороги — купцы говорили только по-гречески.

— Синопу основал мой предок, Геракл, — заметил я.

— Ты не похож на его изображение, которое я видела там, в его храме.

— Боюсь, это правда, ведь мне не дано разорвать льва голыми руками — по крайней мере, так говорят. Но я сразил из скифского лука леопарда, который задирает овец.

— Ты можешь натянуть скифский лук? — Неожиданно в ее голосе прозвучало уважение.

— И лучше, чем ты говоришь по-гречески, — ответил я с жаром, и это, кажется, понравилось великому магу.

Когда ее повели на ипподром Филиппа, кроме которого в Пелле и смотреть-то больше было не на что, она намекнула, словно бы невзначай, что македонские скакуны и в подметки не годятся бактрианским. Я тотчас же приказал своему конюху вывести из конюшни славного Букефала. К моему удовольствию, глаза ее расширились, в лице появилась жадная зависть, дыхание перехватило.

— Не сомневаюсь, что бактрианские скакуны — или, может, я ослышался, ты сказала верблюды? — могут доказать этому жалкому недоноску, что он им и в подметки не годится, — съязвил я.

— О, Александр! Я сдаюсь. Откуда же такой красавец? Неужели к западу от царских конюшен могут рождаться такие жеребцы?

Она приближалась к нему, не испытывая ни малейшего страха.

— Больше ни шагу, Роксана, — предостерег я. — Ему неприятен запах незнакомых людей, и если он хватанет тебя своими зубищами...

— Вот еще! Да ему понравится, как я пахну, ведь я недавно ездила на кобыле, у которой течка.

— Но он даже конюху не позволяет себя оседлать...

— На что поспорим, что я справлюсь с ним и он станет меня слушаться? Но не на скифский лук. Я не хочу, чтобы ты потерял его. Ведь если тебе под силу натянуть его да еще как следует выстрелить, значит, ты не такой уж мальчишка, как кажешься. Нет, я не хочу лишить тебя возможности доказать свою удаль. Я заметила, что ты носишь золотой медальон с головой Геракла на одной стороне и, кажется, с героем Греции Ахиллом на другой. У меня в жемчужной шкатулке есть такой же. И на нем выгравированы слова Заратустры.

— Ты хочешь сказать — Зороастра?

— Нет, Заратустры. Там с одной стороны сфинкс, а с другой — высказывание учителя на авестском языке.

— И что оно значит по-гречески?

— Дай подумать. На авестском\* это звучит коротко и довольно просто, но на греческом... «Дай душе говорить — и она решит любую загадку». Ну как, будем держать пари?

Букефал уже обнюхивал ее с пристрастием, пока она щекотала его меж ушей.

— Если бы я не боялся, что это животное сбросит тебя, переломав твои тонкие кости...

— Мои кости — моя забота.

— Хорошо, я прикажу, чтобы его взнуздали и оседлали.

— Этого недоуздка будет вполне достаточно. Дай-ка мне лучше плетку да подставь свою руку мне под ногу — этот скакун будет повыше строевой лошади у персидского царя.

Я посадил ее, и она ловко устроилась на широкой спине жеребца. Он даже не закатил глаза и пустился легким галопом, радуясь столь невесомому всаднику и отсутствию стального мундштука. Он заржал от удовольствия, чувствуя, как напрягаются его могучие мышцы. Потянув за поводья, девушка слегка повернула его голову вбок, держась одной рукой за гриву, и затем они пустились по всему пастбищу к глубокой расселине, служившей ему границей. Легчайшим ударом кнутовища по боку она дала коню понять, что он может дать волю своим резвым ногам.

Она ехала мягко, как ездят наездники на фессалийских лугах, и толчки от конской поступи принимала не основанием спины, а всем телом.

Когда расселина оказалась уж слишком близко, я обеспокоился. Но тут она попридержала коня, не торопясь немного проехала вдоль ущелья, развернулась и, к моему великому облегчению, легким галопом поскакала в мою сторону. И снова остановилась и повернула назад. И вот опять они двинулись к крутому обрыву, все набирая скорость по мере того, как ритмические удары хлыста становились понемногу все резче и резче. В сотне футов от впадины она крепко хлестнула скакуна, и тот, похоже, разъяренный, погнал во весь опор. «Нет,— подумалось мне,— не ярость ощутило его большое сердце, а прилив радости. А я и не знал, что он способен на столь стремительный бег». Она подалась вперед, распласталась на нем, почти касаясь головой его шеи, подстегивая при этом его хлыстом и неслышными мне словами.

И конь не отказался от прыжка через это препятствие. Она позволила ему увидеть и оценить глубину и устраша-

ющую ширину ущелья, но жеребец был уверен в своих силах.

На самом краю он взмыл в воздух, как, вероятно, взлетал Пегас на высокогорных пастбищах, и я увидел, как лошадь с всадницей летят по пологой дуге, резко вырисовываясь на фоне низко нависшего облака, на одно краткое, но яркое мгновение вырвавшись из цепких объятий земли. И вот они уже благополучно приземлились на другом берегу.

Сдержав безудержный бег коня, девушка развернулась и переехала расселину в нашем обычном месте, там, где она была проходима. Затем подскочила ко мне, с раскрасневшимся лицом, с прыгающими за спиной косами. Букефал же храпел, явно хвастаясь и выражая свое лошадиное торжество. Яркими жемчужинами показались мне светло-серые с синей каймой глаза девушки. Не будь она с гор лежащей в глубине материка Бактрии, я бы решил, что это морская нимфа, разъезжающая верхом на огромных конях Посейдона\*.

Глядя на это прелестное создание, я готов был рыдать от восторга, но, заставив себя вспомнить, что я — Александр, сын Филиппа, и мне судьбой предназначено проявить нечто большее, нежели искусство верховой езды, бесстрастно заметил:

— Ты рисковала не только собой, но и костями моего бесценного жеребца. Слава богам, все обошлось. Но и в самом деле, это было прекрасное зрелище.

Выражение ее лица изменилось, и за этим последовало презрительное «Фу!». Потом небрежным тоном, который звучал для меня музыкой, она стала рассказывать:

— В Бактрии ребенка, независимо оттого, мальчик это или девочка, принято сажать на лошадь, едва он начинает ходить. А иначе как бы нам удавалось разъезжать по нашей гористой стране, где мчатся стремительные потоки, и по кручам, где пасутся большерогие овцы Памира\*? Что же касается переправы через вон тот ручей... Знаешь, это не так уж трудно, как кажется. У моего отца в телохранителях есть новообращенные, — признаюсь, они лучшие наездники во всей Азии, — так вот, и в полных доспехах они способны совершать такие прыжки!

— Буду остерегаться их, когда перейду через ваши горы, чтобы расквитаться по старому счету — мы, греки, кое-что задолжали вашему царю.

На следующий день регент царя, старый Антипатр, возвратился из военной экспедиции, предпринятой с целью наказания дикого племени, обитающего в северной области. Теперь уже он мог играть роль гостеприимного хозяина, принимающего послов, и представлять Филиппа на переговорах с ними. По странной случайности я никогда еще не был в святилище Додоны, великого оракула Зевса, куда теперь намеревались идти маги. Случай был подходящий, и Олимпиада, без всякого намека с моей стороны, предложила оказать им любезность и сопровождать их; возможно, она надеялась, что там мне приоткроется тайна и будет предсказан знак моей будущей судьбы.

— И может статься, — заметила она как бы вскользь, разглядывая роскошный пояс, который вышивала, — что на пути туда тебе не придется спать в холодной постели.

— Мать, Роксана — княжна, дочь благородного и знатного человека. И ей от силы тринадцать лет.

— Значит, она уже расцвела. К тому же на Востоке при выборе невесты не принято поднимать шум из-за потери невинности. Наоборот, известная искушенность в любви является, скорее, достоинством в глазах их незрелых женихов, а некоторые их религиозные ритуалы, особенно в честь богини Исиды, мы, греки, считаем сладострастными. Мне сейчас вспомнилась поговорка: «Негоже печным щипцам возмущаться тем, что труба черная».

Если и были в Азии ритуалы сладострастней, чем во Фракии и Эпире, то я о таких не слыхивал; зато пьяный разгул в Самофракии с отвращением вспоминался мне и до сих пор.

Однако я только сказал:

— Сомневаюсь, знает ли Роксана об Исиде вообще. Как мне известно, Исида первоначально была богиней Египта и культ ее распространился только на семитские народы, такие, как финикийцы, а не на далекую от Египта Бактрию.

— Гм! Да у нее почитатели аж в самих Афинах! Это ты первый заговорил о Роксане, а не я. И эти маги вовсе уж не такие неземные, как кажется. Уверяю, под белыми

одеждами — совершенно плотские человеческие существа. Видала я в их караванах и красивых наложниц. Да ладно, как бы там ни было, думаю, совершить паломничество к Додоне тебе сейчас самая пора.

## 7

От Пеллы по долине Галиакмона путь в Додону был приятен. Там, где роскошная река поворачивала в своем течении на север, дорога по холмам, а затем по высоким горам приводила в город Халкиду, затем следовала за течением быстрых вод реки Арахос до побережья озера Памбот. Немного погодя она пересекалась со старой тропой паломников, приводившей от Иллирии и северного Эпира прямо к святилищу Додоны.

Лебедь на трепетных крылах, возможно, любящий Зевс под видом этой птицы, мог покрыть это расстояние часа за полтора. По прямой это составляло примерно тысячу того, что мы, влачащие свои ноги смертные, называли стадией, но мы не могли идти по прямой, нам приходилось обходить кручи, поворачивать, петлять, и в целом путь для нас растянулся примерно на тысячу двести стадий. Для неторопливого путешествия, когда можно полюбоваться видами, спокойно поест, нам требовалось около шести долгих дней позднего лета.

У нас не было никакого конвоя. Шайки разбойников, затаившихся в теснинах, не посмели бы тронуть и пальцем одетых в белое магов, а не то пожухли бы травы и на их скот напал бы ящур. Будучи самым достойным из этой группы как по рождению, так и по числу совершенных паломничеств, а также благодаря приобретенному запасу священных знаний и сведений, Шаламарес шел впереди отряда, проводниками которому служили только местные пастухи. Казалось немного странным то, что наследник македонской короны позволяет всем этим мудрецам шествовать впереди себя, и мне бы досталось за это от скорого на язык Птолемея. И все же надменная моя душа не жаловалась, а скорее даже утешалась этим, как если бы на этот раз в виде исключения я подчинился ее истинному велению.

Там, где дорога была достаточно широка для двух верховых, рядом с размашисто шагающим Букефалом

семенил косматый пони, и на нем восседала девушка с золотистыми косами и удивительно живым лицом. В узких теснинах я уступал ей дорогу и ехал сзади, соблюдая правила приличия в отношении равных мне по высоте положения царских детей, которым в детстве меня учила няня.

Роксана была тремя годами моложе меня, к тому же незнакома с этой местностью, поэтому мне вполне подходила роль заботливого наставника. Если я и подражал манерам Аристотеля, среди моих сверстников вряд ли нашелся бы хоть один, кто посмеялся бы надо мной. На юную княжну, похоже, моя образованность произвела впечатление. Она с интересом слушала, когда я называл встречавшихся на пути птиц, змей и зверьков; я говорил ей также об их родственных видах, которые были ей известны у себя на далекой родине.

Не было нужды обращать ее внимание на красоту природы Греции, с которой для нас, греков, никакая другая земля не могла сравниться. Она и сама зорко подмечала и буйное цветение среди камней, и ежевику, и шумную радость жизни наших прозрачных рек, и божественный вид наших далеких гор в сосновом оперении, хоть они и казались не более чем скамеечками для ног в сравнении с упирающимися в небо великими вершинами Памира — родины гигантских овец величинной с наших ослов. Даже наши лучшие овцы казались невзрачны и малы по сравнению с толстохвостыми особями далекой Азии; и все же при виде небольшой отары на сочном лугу, заботливо охраняемой древним пастухом, глаза ее тепло заблестели.

Нередко мы вдвоем засиживались после ужина у костра в долго тянущихся бледных сумерках, когда маги уже скрылись в своих шатрах для молитв или медитаций или чтобы дать покой старым костям. Шаламарес весьма охотно оставлял ее в моей компании, возможно, потому, что, как это свойственно более пожилым людям, считал ее еще ребенком, а может, и вполне способной защитить себя от домогательств похотливого обожателя. В такие минуты мы были доверчивей, то и дело поверяли друг другу свои секреты; а когда костер догорал до рубиновых углей и спускалась прохлада ночи, она просовывала мне в ладони свои нежные пальцы, чтобы я мог их согреть. Они были тонкие, шелковистые, однако твердые и сильные. И когда, наконец, ей приходилось расставаться со мной и я просил

поцеловать меня на ночь, она целовала без всякой неприязни, по-детски невинно и очаровательно. Мне еще не доводилось касаться губ теплее и мягче.

Затем она живо вскакивала на ноги, будто кто-то ее подстегивал, и это мог быть наш греческий бог Эрос, сын великого вора Гермеса и его единокровной сестры Афродиты, которая обожала наблюдать за юношами и девушками, забавляющимися играми ее собственного изобретения, а не за состязанием колесниц.

Что до меня, то я заставлял себя помнить, что Ахилл впервые познал любовь с Брисеидой, своей прекрасной троянской пленницей, лишь одержав победу в ужасной битве. Я же еще не окровавил конец своего копья, если не считать крови зверей, и поэтому, подчиняясь древнему обычаю, носил кожаный пояс, который каждый македонский юноша обязан был носить до тех пор, пока не убьет врага. Как сына Филиппа меня бы могли избавить от этого знака незрелости, но я все равно носил его — к удовольствию воинов, которым нравилась честная игра. Именно по этой причине я не искал близости с Роксаной, а вовсе не потому, что она молода и невинна. Мне было хорошо известно, что молодость и неискушенность не всегда идут рука об руку, недаром на рынке наибольшую цену давали как раз за тринадцатилетних, а то и двенадцатилетних рабынь.

Мягкая постель и приятные мечты, полагал я, скоро успокоят ее и даруют ей сон. Я же на своем жестком соломенном тюфяке, навязанном мне Леонидом, долго ворочался, задаваясь вопросом, отразится ли на моей жизни эта случайная встреча с девушкой из таких далеких краев. Не отразится, думалось мне, если оставить это на волю случая, ведь случай — вещь непостоянная и ненадежная, как коварная сводня. Филипп, величайший из признанных полководцев нашего времени, стремился просчитывать все наперед, чтобы избежать случайности, хотя бывало — играл наугад и выигрывал.

Стоило мне подумать о Филиппе, как мысли тотчас же поменяли направление, и теперь я предавался размышлениям или, лучше сказать, мечтам о собственных военных походах, которые предстояли мне в будущем. Я представлял, как пройду по следам его окованных броней сапог, а возможно, и дальше. И в суматохе воображаемой мною битвы, под грохот копыт, я наконец заснул.



По мере приближения нашего каравана к местности, откуда до Додоны рукой подать, появились милые сердцу желтоватые нивы, и утопающие в виноградниках дома, и пастухи с отарами овец, усеявших белыми точками необозримые дали. Вскоре с вершины холма нам открылся вид на храм, вовсе не столь грандиозный, как я ожидал, без величественной колоннады, которая окружает и менее славные храмы. Видны были преддверие и прилегающая к храму территория, огороженная галереями значительных размеров. Шаламарес что-то быстро залопотал по-персидски, указывая на нечто такое, что вызвало у его спутников трепетное благоговение. Я озирался кругом, не понимая, чем было вызвано их возбуждение, но ничего, кроме дубового леса, окружавшего храм, там не приметил. Хотя нет... Рос с краю леса гигантских размеров высокий дуб, с ветвей которого свисали золотые или бронзовые котелки, сверкающие в солнечном свете.

Мы подъехали ближе и перед галереями увидели скульптуру. И все же самым захватывающим зрелищем был этот гигантский дуб. По моим соображениям, он пустил первые корни несколько веков назад, возможно, еще до того, как Ахилл отправился в плавание к Трое. Все остальные деревья, сами по себе превосходные и вызывавшие почтение, по сравнению с ним казались просто карликами.

Мы разбили свой лагерь неподалеку. После обеда маги уединились, чтобы поразмышлять о Зевсе, о его возможном родстве с Ахурамаздой, величайшим из персидских богов, или об их единосущности, чтобы совершить омовление тел и подготовить души к возвышенному общению с ним.

Спустя какое-то время они покинули свой шатер и, все еще в трансе, выстроились в ряд. Возглавляемые Шаламаресом, медленно и смиренно зашагали они к воротам храма с высокими башнями. Там их примут жрецы и жрицы Зевса. Ни их слуги, ни мы с Роксаной не могли быть участниками этих обрядов, поэтому, обойдя стороной территорию храма и лишь украдкой взглянув на скульптуру, мы углубились в лес.

На своем пути мы не встретили ни одного живого существа, не считая голубей, которые пугливо перелетали с дерева на дерево, издавая свойственный им мелодичный крик, похожий на звуки флейты. Стоя на опушке леса, я

проследил за небольшой стаей, стремительно взлетевшей и исчезнувшей в ветвях гигантского священного дерева, чтобы оттуда подавать знаки грядущей судьбы: жрецы храма, оценив их движения и прислушавшись к тихому печальному клекоту, смогут прочесть в них ответы на вопросы магов и предскажут, куда влечет неумолимый рок. Жрецы и жрицы умели также различать вести о грядущих событиях по шепоту листьев громадного дуба-оракула. Зная об этом, мы чутко прислушивались к каждому звуку, но легкий ветерок над нашими головами, едва прикасаясь к листве, доносил до нас лишь слабое и монотонное шуршание. Нам не дано было познать тайну, и все же тихий таинственный шелест будил воображение, рождая странные фантазии. Мне вдруг почудилось, что эти священные кроны над нами с их грациозными крылатыми гостями, возможно, также священны для Зевса и, если к ним обратиться с должным почтением, могли бы предсказать будущее юноши и девушки.

— Знаю, о чем ты думаешь,— прошептала Роксана.

— А если попытаться, вреда не будет?

— Не вижу никакого вреда. Попробуй. Ты первым задашь свой вопрос, а я после. Что молчишь? Или думаешь, что мне не подобает знать о твоих секретах?

— Дубы-оракулы, после того как я расстанусь с Роксаной, увижу ли я ее снова?

Схоронившиеся в кроне голуби не пошевелились, но от дуновения ветерка чуть громче зашелестели листья.

— Теперь твой черед, Роксана. Спрашивай.

— Что будет, если мы все-таки встретимся: тут же и разойдемся или как-то повлияем на жизнь друг друга, изменим ее?

Еще сильнее оживился ветерок, задрожали листья, беспокойно засуетились голуби, завертели своими изящными шейками.

— Будешь ли еще спрашивать, Александр? — донесся до моего слуха благоговейный шепот Роксаны.

— Пожалуй. Дубы-оракулы, каковы будут влияния и перемены, ждущие нас с Роксаной: будут ли они незначительными и преходящими или, наоборот, важными?

Едва прозвучали эти слова, как сильным порывом ветра повалило высокое дерево, погибающее от какой-то болезни. Почти голое, оно, падая, ударилось о дубок, росший по соседству. Крепкий и стройный, покрытый густой сочной

зеленью, он был моложе, чем остальные, и, видимо, радовался своей молодости, представляя, как станет таким могучим гигантом с глубоко уходящими корнями и мощными ветвями, когда его старшие соплеменники рухнут и сгниют. И вдруг от удара ствол его раскололо надвое, он весь как-то сморщился, сник под тяжестью дерева-убийцы, мертвые ветви которого издали зловещий вопль. Чуть помедлив в объятьях живого собрата, гнилое дерево глухо ударилось о землю, покрыв ее щепками, словно кучей старых костей.

В неожиданно наступившей тишине я увидел медленное движение губ Роксаны и догадался, что она, втайне от меня, пытается задать еще один вопрос. К ее огорчению, на этот раз попытка не удалась. Деревья оставались молчаливы, ни один листочек не шелохнулся на их ветвях. Девушка тихо заплакала, а стоило мне взять ее за руку, как она зарыдала в голос: бурно заволновалась молодая красивая грудь. Настигнутый внезапным желанием оградить ее от горя, я обнял нежные плечи, и так случилось, что наши губы встретились. У Роксаны они были влажные, горячие и чуть солоноватые от слез. Мы жадно поцеловались, а потом еще и еще, и эта страсть, не имеющая ничего общего со сладострастием, зародилась у нас в душах, за пределами нашего понимания.

Мы осушили глаза и вернулись к воротам храма. И как раз вовремя: маги уже выходили оттуда, завершив церемонию и выразив свое почтение. Роксана, как ей и подобало, задержалась у одной из колонн, и я вошел в храм один.

Беспрепятственно приблизился я к алтарю, бросил в его огонь фимиам и преклонил колена, дабы произнести молитву. Помолившись, я поднялся и положил в серебряный ящик, предназначенный для пожертвований, драгоценный камень. Затем вместе с почтенным жрецом мы пошли к раскидистому дубу-оракулу, тому самому, что рос неподалеку от ворот храма. Здесь мы остановились, и этот служитель богов сосредоточил на мне взгляд своих старых и мудрых глаз, видевших так много неземных вещей, столько всяких предвестников над головами просителей, вникавших в смысл предвещаемой ими судьбы, но не способных изменить ее ни на йоту. Затем сморщенные губы его, выговорившие столько переданных ему оракулом предсказаний, — одним они сулили торжество победы, другим смерть и сердечные муки, — раздвинулись и заговорили:

— Александр, сын Филиппа, желаешь ли ты задать вопрос Громовержцу, Собирателю облаков, тому, кто мечет ужасные смертоносные молнии, Господину небес, Зевсу Олимпийскому?

— Да, желаю.

— Тогда спрашивай.

— Через сколько лет стану носить я корону Филиппа Македонского?

Жрец коротко взглянул на сидящих в ветвях голубей, прислушался к шелесту вновь ожившего ветерка.

— Сын мой, ответ ясен. Когда у самого последнего родившегося в этом лесу потомка благородного оленя появятся красивые, широкие и ветвистые рога.

— Могу ли я задать еще один вопрос?

— Да, ибо ты, Александр, потомок Пелея и его супруги Фетиды — дочери морского старца Нерея, а следовательно, и великого Ахилла, вправе задать три вопроса.

— Будет ли мое царствование более значительным, чем царствование Филиппа, или менее славным?

На сей раз жрец дольше выслушивал шепот листьев, которые, зашелестев, смолкли и снова затрепетали. Внимательно посмотрел он на черного голубя, взлетевшего и примостившегося среди серых ветвей и беспокойно крутившего головой в разные стороны.

— Теперь знаки не так ясны; боюсь ошибиться, но, кажется, твое правление в какой-то степени будет более славным.

— Ответь же, отец мой, жрец Зевса, в какой степени будет оно более славным: в малой или великой? Или в той мере, как это рисуется мне в мечтах?

С сосредоточенным выражением старого изможденного лица, с потускневшим взором, жрец долго молчал. Тем временем маги вереницей медленно обходили галереи, разглядывая множество скульптурных изображений. Ветер, задувая сильными резкими порывами, то затихал, то усиливался, чтобы снова затихнуть. Черный голубь, из тех, что, по словам насмешника Птолемея, вырастали в голубятнях и отпускались на волю, взлетел и стал парить, вычерчивая широкие круги так высоко, что казался на фоне неба лишь быстро движущейся точкой. А жрец со страдальческим видом прислушивался к журчанию бьющего неподалеку родника, и мне показалось, что в тот момент душа его вознеслась вслед за голубем в небесные

дали, дабы различить тайные знаки: добрые или нет — мне было неизвестно. Наконец, описав три громадных круга, черный голубь стремительно полетел вниз, а все остальные птицы беспокойно защебетали. Мне не терпелось увидеть, куда он опустится: на самую ли макушку, на средние ветки или на нижние.

Падая камнем на землю, голубь вдруг забил крыльями и вновь устремился ввысь, чтобы устроиться на одной из веток у самой верхушки, намного выше серых своих собратьев. Темная густая листва заслонила его от моего взора.

Жрец, закатив глаза, пристально посмотрел вверх и прижал обе ладони к вискам. Постепенно лицо его вновь оживилось, и он заговорил низким голосом, с трудом выговаривая слова, как бегун, закончивший факельную эстафету, взявшую все его силы до последней капли.

— Почему он прячется в листьях? — тихо пробормотал он.

— Ты толкователь знаков, а не я.

— В моем видении мне предстал смертный, соревнующийся с Аполлоном в игре на лютне. Я узрел стремящегося к полету Икара — крылья его крепились не хрупким воском, а стальными надкрыльями — и, поистине, он летел близко к солнцу, пока полет его не оборвался, а как — этого я не смог или не захотел увидеть. Мне грезились золотые короны, которым не было числа, но в той же дали я видел реки, красные от пролитой крови, и рушащиеся высокие стены. Сквозь победные возгласы мне слышались крики страданий и боли. Ни разу за время служения в храме я не слышал, чтобы листья оракула издавали такой странный шелест, а ручей сменил свое сладкое пение на мелодию безысходности и печали. О Александр! Мне не разгадать этой тайны. Весть оракула мне непонятна. Ступай к пифии в Дельфы. Поищи святилище Аммона — он же и Зевс — в далекой пустыне. Теперь оставь меня, сын мой. Я удаляюсь к себе: хочу прилечь, успокоиться и постараться снять боль, вызванную этим пророчеством. Сердце волнуется, но я не могу понять — добро оно предвещает или зло.

— Я повинуюсь, отец мой, сейчас я уйду. Лишь скажу на прощание, что, как мне кажется, смысл этих предзнаменований, не разгаданный тобой, жрецом, понятен мне, просителю. Думаю, не ошибусь, если скажу, что смерть я приму в сражении — да и где можно встретить более

милосердную смерть?! Но до этого еще далеко и нужно пройти большой путь, чтобы достичь той цели, к которой я стремлюсь; и мне открыт широкий простор для множества побед.

— Я не скажу ни да, ни нет. Возможно, тебе пригрезились собственные юношеские мечты, а не то, что выпало по жребию. Но скажу напоследок: в добрый путь!



## Глава 2

### ЗНАМЕНΙΑ И СОБЫТІЯ

#### 1

На другой день маги отдыхали, ибо были уже почтенных лет, к тому же главная и самая дальняя цель их путешествия на запад была достигнута, и им требовалось восстановить силы прежде, чем идти в Дельфы. Было решено отправиться в путь на рассвете следующего дня. Роксана оставалась со своим дядей, мы же с Клитом, взяв пару выючных лошадей и трех помощников, должны были возвращаться назад, в Пеллу.

После скромного ужина накануне отъезда мы с Роксаной так долго засиделись у костра, что его угли почти погасли, издавая лишь бледное мерцание. Но это был теплый вечер конца лета, и нам не нужно было спастись от холода в своих шатрах; и хотя солнце давно уж село, полукруглая прибывающая луна позволяла мне смутно различать прекрасные черты ее лица. Я не рассказал ей о том, что поведал мне старый жрец, и не собирался доверять эту тайну никому, кроме своего «живого дневника» Абрута, который занесет мой рассказ в летопись, выбрав подходящее место. Однако ее глубоко тронуло то, что произошло между нами в священном лесу, и эти чувства придали ее лицу новую, более зрелую красоту, по-новому задевавшую меня за живое.

Возможно, ее коснулась тоска по дому, но мне показалось, что нечто иное заставляло ее говорить о родине с таким страстным воодушевлением, а вовсе не с печалью. Она сперва объяснила, что Бактрия не является частью Персидской империи\*, не управляется сатрапом, и отец ее, Оксиарт — почти самостоятельный царь. Но факт остается фактом: он принял защиту персидского царя против свирепых скифов, могучего племени, обитающего к северу от Бактрии, которые в своих немыслимых ритуалах пожирали собственных мертвецов. И в качестве платы за эту защиту Оксиарт ежегодно отправлял в Сузы, столицу Персии, шестьдесят талантов золотой пыли, что было, конечно, данью, хотя и могло бы принять форму благодарственного приношения. Кроме того, он платил царю неизменной верностью и снабжал его могучую армию вооруженными отрядами всадников на косматых пони.

Но теперь она рассказывала мне в основном о Бактре, столице, где правил ее отец, и о Мараканде, лежащей на границе Бактрии, где у магов был большой храм и где она проводила лето. Эти чудесные города появились в далекие времена, и строили их высокие светловолосые люди, которые, по мнению одних, прибыли на юго-восток из района, называемого Оксиан, а по мнению других — с далекого Кавказа. В давно брошенных храмах стояли изображения богов, неизвестных народу, а высеченные на камне надписи никто не мог прочесть. На тучных землях паслись выносливые лошади, красный густошерстый скот и курдючные овцы. В особо плодородных долинах стояли сады миндаля, персиков, слив, гранатов; и под легким дыханием ветерка шелестели листвою рощи, в которых росли приятные на вкус серповидные орехи, а также другие орехи, известные в Греции как фисташки. Были здесь также и бахчи с дынями, неописуемо нежными, и грядки с горохом и луком, и высокие хлебородные нивы. А подсолнухов росло столько, что не счесть. Их семена, сырые или обжаренные, не только ели, но изготавливали из них масло, как и из восточного кунжута.

В диких пустынях бродили стада двугорбых верблюдов, газелей и диких ослов, с которыми в скорости не мог сравниться ни один породистый жеребец с ипподромов Греции. Бесчисленные реки изобиловали съедобной рыбой, а пруды — водоплавающей птицей. В высоких горах на юге, с вершинами, вечно покрытыми снегом, обитали



не только гигантские овцы и каменные козлы, но и белые леопарды с богатым мехом, а в лесах рыскали звери, осанкой и свирепостью похожие на львов, но с черными и желтыми полосами на теле. А повсюду на холмах охотники гонялись за небольшим оленем-самцом со странно растущими рогами, потому что в сезон спаривания его гениталии напминали стручковидные железы, полные черного зернистого мускуса со странным сладким запахом, который нужен был старикам для поддержания силы своих чресел. Он мог использоваться также как самое сильное стимулирующее средство, как добавка к стойким духам для шелковых одежд и для умащения тела и продавался на вес золота.

Мать Роксаны, скифская княжна, отличалась несравненной красотой, а старший брат ее, бесспорный престолонаследник, был отличным наездником и метким охотником.

Обо всем этом поведала мне Роксана, и речь ее напоминала веселое журчание ручейка солнечным утром. Но тон ее изменился, когда она заговорила о персидском князе Сухрабе, сыне сатрапа, которого Оксиарт прочил ей в мужья либо с ее согласия, либо насильно, самое позднее, до того, как ей исполнится семнадцать лет.

— Да хочешь ли ты вообще выйти за него замуж? — спросил я.

— За этого изверга — ни за что! Он забил насмерть свою лошадь кнутом, когда та проиграла скачки. Но он приходится царю двоюродным братом, и мой отец Оксиарт ищет его благосклонности. Его рабыня рассказывала мне, что сам Митра\* не сравнится с ним, когда он восплает огнем страсти, и все же он чудовище, и я бы скорее убила его, чем стала его женой.

Я поймал себя на том, что мне трудно ей поверить, несмотря на эту внезапную вспышку ненависти в ее раскосых глазах.

— Роксана, а есть ли у меня тот огонь, о котором ты говоришь?

— Наверное, есть, но ты не даешь ему разгореться. Твои мысли заняты великими походами, тайнами богов и скучной учебой. Ты целовал меня, как брат младшую сестру, к которой он испытывает греховное вожделение и желает его подавить.

— Роксана, по греческим понятиям ты еще мала. Правда, и у нас случается, что крестьянских дочерей выдают замуж

в тринадцать, а то и в двенадцать лет; а высокие господа берут девушек такого нежного возраста к себе в наложницы или в служанки.

— У каждого народа по-своему. В Бактрии девушка созревает для любви, как только она расцветет. По правде сказать, моя пора цветения запоздала. Это случилось только в конце нашего путешествия на запад, но даже теперь мое тело подает мало признаков жизни, а в одном отношении — совсем никаких. Но я почти полжизни прожила в гаремах или около них, и мне известно все, что происходит между любовниками.

— А на деле?

— Нет, если не считать того, что я несколько раз украдкой поцеловалась с двоюродным братом. Теперь он далеко и женат.

— А что, если нам поцеловаться — с душой и жаром, который так удлинняет твои глаза, наполняет их влагой и темнотой, с тем огнем, которому, как ты говоришь, я не даю разгореться?

— В этом нет ничего плохого. — Это выражение, должно быть, широко бытовало в арабских странах и к востоку от нас, ибо я уже слышал его из уст восточных рабов и торговцев.

Мы качнулись друг к другу, словно движимые двумя ласковыми, но непреодолимыми ветрами. Наши рты, юные и неопытные, встретились и прильнули друг к другу. И тут вступили в игру иные стихийные силы, развязанные или сдерживаемые богами. Природа их — тайна для великих умов. Порой они потрясают ничтожных смертных до самого естества, и эти силы вынесли нас из самих себя. Никогда еще я не испытывал такого возбуждения — колдовство овладело мною; и луна с зачарованным видом висела у нас над плечом. Несмотря на то, что наши пути должны были разойтись, мне чудилось, что я физически ощущаю, как связаны наши жизни.

Но краткое ощущение тайны поблекло, исчезло, остались только юноша и девушка, жадно ищущие друг друга под луной; и на волне этого чувства нас неудержимо влекло соединиться телами. Если бы хоть на мгновение один из нас раскрыл свои объятья, покоряясь порыву страсти, этому суждено было бы сбыться. Но ощущение реальности уже возвращалось. Между нами и нашими желаниями встали старые назидания, предупреждения и увещевания, и наши

«я» не были уже растворены в единой личности. Дрожа, мы отстранились друг от друга. И ночь окутала нас своим молчанием, и немота сковала нам языки.

— Ты приедешь в Бактрию? — наконец спросила она, как мне показалось, подбирая слова с большой осторожностью и произнося их с огромным усилием.

— Приеду.

— А скоро?

— Как только представится случай. Все мы во власти рока.

— Это бессмыслица. Может, ты приедешь через три года?

— Как же я смогу это сделать? Вам с магами понадобилось два года, чтобы прийти сюда. Вы не спешили, но мое продвижение будет еще медленнее, ибо на пути у меня воздвигнут много препятствий, которые придется устранять мечом.

— А разве ты не можешь прийти как паломник, у которого было видение, заставившее его пуститься в дорогу?

— Не могу. Ведь я — сын Филиппа Македонского; и у жреца уже было видение, как рушатся стены и текут багровые от крови реки. Может, за эти три года он сделает меня полководцем своих армий?

— Наверное, я разбудила великое зло.

— Если ты имеешь в виду войну, то нет. Это декретировано сто сорок лет назад, когда Ксеркс вторгся в Грецию, осквернил наши алтари и назначил нашими правителями сатрапов, а получил только то, что греки уничтожили его флот при Саламине и разбили его армию при Платеях. Теперь новый царь Артаксеркс восстановил мощь Персии, снова захватил греческие города в Малой Азии и натравливает один греческий полис на другой. Греции остается одна надежда: объединиться под властью царя Македонии и победить саму Персию. Филипп, возможно, удовлетворится своей властью над всей Грецией и над греческими полисами, прилегающими к Эгейскому морю. Но для нашего будущего требуется больше, чем просто возврат своей собственности. Змею бы это поранило, а не убило. Царь Македонии — это орудие судьбы.

— Никто не может быть рабом судьбы. Так мне сказал Шаламарес. Люди могут изменять или строить свою собственную судьбу. Ты просто хочешь оправдать свои завоевательные мечты — вот для чего ты все это говоришь.

— Ты просила меня приехать в Бактрию, и я приеду.

— Обязательно приезжай. Может, то, что я говорю — большое зло, достойное наказания смертью. Я буду ждать тебя четыре года. Если ты не приедешь, тогда я выйду за Сухраба, но я буду только разыгрывать из себя его жену и скоро отделаюсь от него.

Глаза ее казались еще более раскосыми, чем прежде и поблескивали в свете луны.

— Я убью его и возьму тебя как свою добычу, — сказал я, чувствуя покалывание в коже. — Не хочу, чтобы твоя рука запачкалась кровью или чтобы ты передавала ему отравленную чашу.

— Я сделаю то, что нужно, хотя это может и разгневать вашу богиню Артемиду — нам на Востоке она известна под другим именем. Я тебе говорила, что любовью еще не занималась, но знаю ее ласки. Дай мне руку.

Я протянул ей руку, и она медленно завела ее себе под юбку, затем под плотно облегающий пояс для чулок, к мягкому шелковистому бугорку, дала ей немного полежать на нем, и мной овладело страстное желание. Но когда я коснулся теплой и влажной ложбинки и она почувствовала напор моих бедер и выброс жизненных соков, которые прежде истекали только в эротических видениях, она поспешно убрала мою руку и с кружащейся головой лихорадочно вскочила на ноги. Я тоже поднялся, но с некоторым усилием.

— Вот где ждет тебя награда за победу, и будет она дарована со всей сердечной любовью, — пообещала она. — Завтра я уезжаю, и если мы встретимся опять, то будет это в Бактрии, за снежным Памиром. Так что спи допоздна, Александр, чтобы не видеть мне, как ты все уменьшаешься в серой предраассветной дали. Привет и прощай.

Она стрелой бросилась в сторону своего шатра, как убегает газель в пустыне от подкрадывающегося к ней льва.

## 2

Долго мы возвращались с Клитом назад в Пеллу. Весь первый день я находился в состоянии какого-то ошеломления, почти ничего не говорил, несмотря на сумятицу мыслей, а когда заснул, меня одолела беспорядочная вереница снов, не серых, как обычно, а в ярких цветах.

Проснувшись, я не смог вспомнить ни одного и решил, что они были ниспосланы мне какой-то богиней из царства сновидений.

На следующий день ошеломленность прошла, придоморожные виды приобрели знакомые формы и очертания, а мысли упорядочились, хотя временами я еще поглядывал вверх, ожидая увидеть девушку на косматом пони. Четыре года? Если только Филипп не оставит Антипатра своим регентом и не поведет в поход свою армию, где я буду по крайней мере командовать отрядом всадников, у меня не было ни малейшей надежды, что предложенное Роксаной свидание состоится; и в случае исключительного везения это было почти неосуществимо.

Отвечая на мой первый вопрос, храмовой жрец в Додоне предсказал, что я обрету корону, когда у последнего новорожденного олененка в лесу вырастут прекрасные ветвистые рога. А долго ли ждать? Некоторые благородные олени увенчивались такими рогами за четыре года, но мне приходилось видеть могучие раскидистые рога с множеством отростков, которые, по словам охотников, говорили о десятилетнем возрасте оленя.

У Филиппа было мало шансов прожить еще десять лет, но радовался ли я этому или нет? То, что я вдруг задался таким вопросом, значило, что у меня в груди вылупился василиск, ибо суровость обрел я, а не жестокость. Сам Филипп убил одного единокровного брата и отправил в изгнание еще двоих, чтобы обезопасить свой трон. На кровавом пути нашего рода это было последнее кровопролитие, но считалось, что убийство единокровного брата — это детская шалость по сравнению с убийством родного брата, а последнее было — чуть ли не пустячный грешок по сравнению с убийством родного отца, которое тяжелым неумолимым проклятием ложилось на четыре поколения потомков, обреченных на горестный путь к гибели, и фурии слетались со своих отвратительных гнезд, чтобы творить это страшное наказание, и не питали земли этой освежающие дожди, и не слышно было там больше ни певчих птиц, ни сладкого журчания ручьев, и только вороны Зевса каркали на ветках сохнувших деревьев.

Пожелать ему смерти и принести ему смерть было не одно и то же. На первое у меня было право, ведь он дурно поступил с Олимпиадой, больше не разделяя с ней постель, но, покопавшись в себе, я признал себя виновным

в том, что это радует меня, а не гневит. И все же он мог дать ей как царице отставку и жениться на более молодой, причиняя моей матери большое зло и подвергая опасности мое законное право на трон, если бы та, что узурпировала ее место, родила царю мальчика.

Если бы это произошло, всем троим грозила бы смерть. Примером такого чистого выметания послужили мои предки, и к тому же многих из них смела с трона одна и та же метла. Вероятней всего, судьбы войны решат мой вопрос. Филипп приобрел множество сильных врагов, вел бесконечные войны против мятежных племен, а на этих войнах брошенное из кустов копье, метко пущенная стрела, даже камень с вершины какой-нибудь кручи могли бы распорядиться его жизнью не хуже, чем масса мечей, окруживших его в сражении. Скоро предстояла война с Фивами, и под угрозой срыва было его перемирие с Афинами. Но факт оставался фактом, что смерть приближалась к нему не раз — и проходила мимо. Не исключено, что этот храбрый, яркий и нередко жестокий человек был любимцем Ареса, нашего бога войны, которого римляне, чья мощь уже распускалась первыми цветами, называли Марсом.

Тайно ходили слухи, что у него есть незаконнорожденный сын моего возраста, которого он сильно любит, — и это больше всего тревожило меня. Поэтому в тот вечер, когда племянница Аттала, военачальника, которому он доверял, налила ему вина и поцеловала чашу, я заговорил о мучившем меня вопросе с Олимпиадой. Племянница Аттала была не старше Роксаны, но царь пожирал ее глазами, а упившись, поцеловал — чем сильно разгневал мою мать. Я был разгневан не менее ее, хотя и по другой причине: меня не пригласили на этот пир, и я должен был есть вместе с воинами.

— Мать, верно ли, что у Филиппа есть незаконнорожденный сын, угрожающий моему престолонаследованию?

— Если нет, то это было бы чудом, — отвечала она, сверкая глазами.

— Коли так, то знаешь ли ты, кто он?

— Нет, но придет время — узнаю.

Но мне показалось, что, отвечая на последний вопрос, мать соврала.

В приближающемся октябре мне исполнится семнадцать лет, а в легкой кавалерии Филиппа насчитывалось

немало илархов и лохагов, начальников из благородных юношей, именно этого возраста. Не пройдет и года, как мне поручат командную должность, и, возможно, это будет первым слабым шагом на пути в Персию, уже теперь собирающую свои армии. Я знал одно: мне следует прекратить мечтать о далекой звезде и устремить свои мысли к более неотложным делам — подумать, например, о своем праве престолонаследия.

Да, светловолосая Роксана с серыми глазами в голубой окаямке, доблестная наездница, смелая искательница приключений, девушка несравненной, все прибывающей красоты, придет время — и я приду за тобой! Но как долг путь до этого часа, как томительно ожидание и сколько надо одержать побед!

### 3

Иногда великие испытания или кризисы в жизни людей видны издалека, и хотя еще точно неизвестно, в какой момент, но они неизбежно настанут, когда пересекутся пути времени и событий. Ко мне, а также и к моему противнику это не относилось — так я полагаю. Этот день был сродни бесчисленным осенним дням северной Греции, с прохладным, отменно свежим и чистым воздухом, принесенным ветрами с гор, бодрящим, но не холодным. Ветер рябил прозрачные воды озера за южными пределами города, и на них — чтобы отдохнуть и покормиться, перед тем как продолжить перелет на юг с холодных северных болот, где они родились, — уселось множество яркооперенных, способных глубоко нырять и стремительно летать уток, но не так уж много гусей: им было не дотянуться клювом до слишком глубокого дна озера и не попить. Их сбившиеся в клинья братья, не задерживаясь здесь, пролетали мимо, держа путь к дельте Нила, и долго еще не смолкали в воздухе их одиночные крики. Я только мельком смотрел на них, ведь для осенних небес это была обычная картина, но порой то ли более мелодичный, то ли более жалобный крик заставлял меня взглянуть вверх, чтобы увидеть стаи лебедей и переливы солнца на их великолепных крыльях.

Этим утром Аристотель ограничился кратким рассуждением, потому что накануне всю ночь промучился голов-

ной болью, и мы, его ученики, еще задолго до полудня отправились восвояси. Прекрасная фессалийская кобыла Птолемея не могла тягаться с Букефалом, и я дал ему большую фору; но все равно в трудной скачке на расстояние около пяти стадий я взял верх, и мой черный жеребец заржал от ликования. Впереди еще был весь день, и Птолемей остался со мной; а поскольку свежий воздух, сытная еда по пути домой и свойственное юности приподнятое настроение вызвали у нас прилив кипучей энергии, мы пустились в такие тяжкие состязания, как прыжки с шестом, в высоту и длину, метание диска и импровизированные скачки с препятствиями.

Когда к нам пришел Леонид, мы взяли свои мечи и деревянные щиты и под его ревностным взглядом принялись фехтовать, подстегиваемые его колкими замечаниями при каждом неудачном выпаде или отражении удара. Птолемей все еще превосходил меня в этом, хоть и казалось, что я стараюсь изо всех сил, и часто, когда, желая застать его врасплох, я неожиданно переходил в стремительную атаку, он быстрым контрударом отбивал конец моего меча, когда тот почти уже коснулся его щита. Эти четверть часа стоили нам большого пота: мы — восьми новых зазубрин на щите, ему — четырех, поэтому мы с радостью освежились ячменным пивом. Леонид, вызванный во дворец по делу, оставил нас остыть и отдышаться в приятном одиночестве.

— Мне кажется странным, что я все время побеждаю тебя, — недоуменно заметил Птолемей.

— Что же поделаешь, если ты лучше меня фехтуешь.

— Ну, это как сказать. Меня часто побеждают парни, которых победил ты, и тебе хорошо известно, что ты превосходишь меня как атлет. Может, ты немного сдерживаешься, чтобы только не поцарапать меня? Я ведь сколько хитрил, чтобы оставить свой след на твоей царской коже, а ты все лупишь по щиту. А что, если мы пофехтуем без щитов?

— В этом нет ничего плохого, — сказал я, вспомнив Роксану.

— Может, и есть. Например, проигрыш крупного пари, которого я тебе не советую заключать, или, что похуже, если один из нас или мы оба получим не такие уж пустяковые раны. При первой крови мы не остановимся — это может оказаться счастливой случайностью. Победите-



лем будет тот, кто первый пустит кровь другому два раза подряд.

— Ты говорил о пари? На сколько статеров? — спросил я.

— Я думал о пари куда покрупнее. Если ты выиграешь, я даю слово перед богами служить тебе верно, пока мы оба будем живы, кем бы ты меня ни назначил: простым ли командующим маленького отряда или одним из своих военачальников. Кроме того, по смерти Филиппа я буду помогать, а не препятствовать твоему восхождению на трон вопреки всем остальным претендентам. Но если выиграю я, эта клятва недействительна и, возможно, я сам стану претендовать на корону как один из достойнейших наследников царской крови, фессалийских правителей и прочих искателей приключений. Если ты победишь и убьешь их и тем самым завоюешь трон, в твоих руках будет только гражданское правление. Ты расскажешь мне о своих устремлениях и поставишь меня полководцем всех своих армий, чтобы я мог защищать и приумножать твои владения.

— Это немыслимо, Птолемей. Филипп командует всеми своими армиями, водит их в сражения, и я собираюсь делать то же самое. Ты бы не сделал такое нелепое предложение, если бы не был твердо уверен, что превзойдешь меня в воинских делах. Что привело тебя к такому убеждению?

— Я долго и упорно размышлял и внимательно приглядывался. Александр, ты слишком импульсивен, чтобы быть на высоте в холодной науке войны. Даже в шахматы ты не можешь играть как следует. Кто же так безрассудно рискует своими фигурами! По правде говоря, характером ты больше в Олимпиаду — такой же страстный и необузданный, — чем в Филиппа с его предусмотрительностью. Что же касается сообразительности, то я больше похож на него, чем ты.

Я начал было говорить, но придержал язык, пораженный невероятно странной мыслью, волной прокатившейся в мозгу. Наверное, я побледнел. Наверное, дико оглянулся вокруг, ища успокоения в знакомых перспективах, ибо внезапно мне показалось, что я затерялся в каком-то совершенно неизвестном, враждебном мире — где мне приходилось бывать во снах, которые я считал навсегда забытыми. Я взглянул в горящие глаза Птолемея и увидел его как бы в новом свете. А затем ощутил прилив новых

сил — возможно, я почерпнул их из собственного неизвестного мне источника, они прихлынули ко всем моим мышцам, укротили бешено бьющееся сердце, и я почувствовал себя спокойным, как в те моменты, когда размышлял над вопросом, поставленным Аристотелем. И теперь я мог говорить.

— Птолемей, почему это ты похож на Филиппа больше, чем я, его сын?

— А разве ты еще не догадался, Александр?

— Возможно, я и догадываюсь, но твердой уверенности нет.

— Олимпиада тебе ничего не говорила?

— Нет.

— Ты знаешь, что моей матерью была Арсиноя, куртизанка, одна из самых красивых и совершенных женщин во всей Греции. Теперь она жена Лага, но кто устроил этот брак? Филипп. Это когда он очаровался Филинной, фессалийской танцовщицей, от которой у него родился сын. А до этого всеми его мыслями владела Арсиноя. Она забеременела от него и в должный срок родила ребенка — он тоже сын Филиппа.

— И ты — это он?

— А как же иначе я бы осмелился предложить тебе такое пари? Ведь я бы заслуживал казни как зарвавшийся ублюдок — впрочем, каким я и являюсь на самом деле.

— Ты старше меня на год.

— Да, но мою мать так и не признали, иначе я был бы коронованным наследником вместо тебя. И конечно, ты помнишь, что Архелай, незаконнорожденный сын царя Александра, сам после цепи убийств стал царем, и при этом великим. А вспомни еще одного незаконнорожденного, Ясона, чьи победы на севере остановило только его убийство. Александр, я был бы сильным соперником в борьбе за корону Филиппа, но я не стану домогаться ее или какого-либо иного высокого поста, если не смогу победить тебя в честном состязании. Я совсем не уверен, что буду лучшим фехтовальщиком, если ты будешь бороться за такую высокую награду. Клянусь богами, мое предложение благородное и честное.

— Я тоже так считаю. Я принимаю его. Если я выиграю, ты будешь верно служить мне, на какой бы пост я тебя ни поставил, и, несомненно, это будет превосходная служба. Если выиграешь ты, то поступишь как тебе заб-

лагорассудится, и, если я все же отниму корону у всех претендентов, я назначу тебя главнокомандующим своих армий, чтобы осуществить высокие замыслы, которые роятся у меня в голове.

— Это немного меньше того, что я предлагал, хотя все равно: ты будешь лучшим стратегом, а я — лучшим тактиком. Я согласен.

— В этом случае я все же буду иметь в своей власти гражданское управление и, в силу своего высокого положения, получать все доходы и пышные почести, и потому ты никогда не обратишься ко мне как к равному, несмотря на твой высокий командный пост.

— Да, мой господин.

— Ты можешь называть меня Александром до того, как я стану царем, а я им стану. Чтобы занять это величественное место, мой друг Птолемей, у тебя нет ни единого шанса, даже если ты победишь на дуэли. Позволят ли старые соратники Филиппа восседать на троне сыну шлюхи? Кроме того, меня любят отцовские телохранители, которые не входят в состав вооруженных сил государства, и я сохраняю их как необходимое приложение к трону. Если же я выиграю дуэль, я могу поставить тебя распоряжаться повозками, запряженными волами.— Но мне не удалось придать своему голосу достаточную убежденность.

— Можешь, но не поставишь; ведь не станешь же ты бросаться хорошими мозгами, которые пригодятся тебе в твоих походах. Ты сумасброд по натуре, но нужного тебе богатства не упустишь.

— В этом ты прав. Теперь возьмем мечи, отложим щиты в сторону и начнем.

#### 4

Я отбросил все сожаления, всякую мысль, что поступаю глупо, когда мы с Птолемеем скрестили мечи. Я знал, что подчиняюсь велению своей натуры, а также, возможно, и своих высоких мечтаний, и, невзирая на их истинность или обманчивость, я поклялся, что выиграю. На мгновение мелькнуло предчувствие, что клятву я дал правильную. До сих пор судьба как-то очень странно склонялась то в мою, то в его сторону, а то и сразу в обе, но сейчас я чувствовал ее одобрение, а пожалуй, и расположение богов.

Концы наших мечей стали прошупывать друг друга. Я не думал больше о том, что он фехтует лучше меня: это состязание покажет. Если бы я нашел время обдумать это, я бы удивился переполнявшей мое сердце радости. Я ли был почти равен ему, он ли мне, но только глупец мог сомневаться в нем как в моем самом серьезном противнике. Когда я немного увлекся, он едва не поранил мне правую руку.

Мы сражались на траве, и у нас под ногами, вытанцовывающими столь замысловато, шуршали опавшие листья. Солнце стояло уже невысоко, и каждый из нас старался повернуться так, чтобы солнечные лучи не падали ему в глаза. Лицо Птолемея оставалось спокойным, если не считать блестящих прищуренных глаз; мое, насколько я чувствовал, мало чем отличалось от его своим выражением. Вскоре стало ясно, что мы лучше, чем мне когда-либо мечталось, соответствуем друг другу. Примерно одного роста, при одинаковой длине руки, мы оба располагали обычным для Македонии подвижным мускулистым телом и оба были в расцвете нашей первой возмужалости. Мне было семнадцать, ему — восемнадцать лет. Он дрался с большей хитростью, чем я, часто делая выпады без надежды на неминуемый успех, но рассчитывая на то, что я откроюсь на долю секунды и он нанесет мне молниеносный удар, выиграв очко. Но, соблюдая предельную внимательность или яростно нападая, я пока парировал его удары, нарушая его тонкий расчет. Я еще не строил никаких замыслов, а только зорко следил за ним, дожидаясь того момента, когда он откроется.

Мне казалось, что мы одни, и не только на этом участке территории, но и во всем мире — настолько сильно мы были поглощены друг другом. И только звон наших мечей да сухой шелест и треск листьев у нас под ногами нарушали тишину. Я потерял ощущение времени, чувствовал только, что оно тянется уже долго. Когда мы развернулись, глядя друг на друга в новой позиции, я заметил человека, стоящего у галереи, и в голове мелькнула тревожная мысль, что это Леонид, и он, исполняя свой долг перед царем, остановит наш поединок; но в следующий момент понял, что это старый Антипатр, наш регент, и страшно обрадовался.

Забыв на мгновение о мече Птолемея, я дал ему возможность сделать моментальный выпад, слишком поздно

отразив его, и почувствовал, как острое лезвие коснулось плеча. Он отступил назад, опустив меч, и я сразу понял, что у меня кровавый порез.

— Тебе сильно досталось? — донесся крик Антипатра.

— Пустяки, — отвечал я, тоже опустив свой меч. — Сокол клюнет — крови бывает больше.

— Все же тебе лучше немного отдохнуть, чтобы восстановить силы, — чрезвычайно любезно предложил Птолемей. — У тебя кровь течет по голой руке и просачивается через рубашку, так что я с радостью дам тебе передохнуть, пока мы будем смачивать губы пивом.

— Отклоняю это великодушное предложение, — отвечал я. — Мне не нужно собираться с силами. Теперь припоминаю, что, когда мы взбирались на крутые утесы, ты выдыхался первым.

— Это правда. Мое почтение, Александр. Считаю до трех и начинаем.

— Но пока я вызову царского лекаря, — крикнул регент. — Не ради этой пустяковой царапины. Пусть стоит наготове с губками, пластырями и бинтами, а то следующая рана может быть совсем не шуточной.

— Ладно. Только ни слова Олимпиаде. Итак, могучий мой соперник Птолемей: раз... два... три!

Птолемей напал на меня еще до того, как полностью прозвучала последняя цифра. Атака была яростней прежних, и первый ее напор не принес ему успеха, иначе бы он выиграл поединок, поэтому я защищался с одинаковой яростью. Я провел контратаку, весь сосредоточившись на острие своего широкого меча, жаждущего крови моего противника, и видя, что он приоткрылся на долю секунды, равную той, что разделяет падение двух капель, которой бы хватило осе, чтобы юркнуть и ужалить его, но чуть-чуть запоздал с выпадом, и Птолемей отскочил назад.

Он снова бросился на меня, как леопард на овцу из темных зарослей — прежде, чем отара уляжется спать и вспыхнут сторожевые костры. И мы оба сражались отчаянно, ибо ему, чтобы выиграть, а мне, чтобы проиграть, нужен был всего лишь еще один меткий удар. Я не помню, какие удары мы наносили друг другу и отбивали; лязг стали, звуки скольжения одного лезвия о другое — все это тянулось и тянулось, словно целая жизнь проходила во сне, где резкий звон металла то бешено разгорался, то затихал, так и не прекращаясь, и от этого сон принимал

характер ночного кошмара. Кое-как сохраняя ориентацию, я понял, что он хочет оттеснить меня назад, к невысокому монументу из камня с выбитой на нем древней надписью, который мой дед Аминта похитил из вражеского храма и установил здесь по возвращении из военного похода, предпринятого с целью усмирения варварских племен.

Я притворился, будто не понимаю, чего он добивается, а его напор все нарастал, пока я не оказался в двух шагах от западни. Я это понял не потому, что помнил точное местоположение камня, а потому, что натиск Птолемея достиг высшей точки, и еще по блеску глаз — он выдавал в нем нетерпеливое ожидание очень скорой победы, когда через три-четыре секунды я переваюсь через камень. В его потном лице, отражающем низкие лучи солнца, я мельком заметил, как он уже мечтает увидеть острие своего меча, рассекающего мою плоть, почувствовать ее еле заметное сопротивление, перед тем как обagrиться кровью. Я был благодарен богам за то, что этого не видит Олимпиада, иначе она бы закричала, предупреждая меня, и тогда моя собственная западня захлопнулась бы впустую.

На краю пропасти поражения я дождался того момента, когда он отведет плечо для резкого броска вперед. На мгновение открылся крошечный просвет, когда мой клинок отбить было нельзя. Я сделал выпад подобно смертоносной гадюке, с острием меча вместо ядовитых зубов, и ужалил его в правую грудь, которая моментально окрасилась кровью.

Ловко отскочив в сторону, чтобы не споткнуться о камень, я опустил меч, упершись его концом в землю. У Птолемея не было иного выбора, как сделать то же самое со своим, и, пожалуй, он обрадовался этой возможности: ведь для достижения своей цели он призвал себе на помощь всю свою силу и выдержку, и теперь, когда все сорвалось, его охватила внезапная слабость. Однако очень скоро он уже снова заговорил с прежней своей энергией.

— Александр, когда я выиграл один удар, я предложил тебе краткую передышку, хотя я ничего от этого не выигрывал и многое терял. Теперь, когда счет равный, может, предложишь то же самое и мне? На твоем месте твой герой Ахилл поступил бы именно так.

— Нет, Птолемей. Считай до трех и...

— Подожди! Это же не проверка дыхания, это испытание искусства владеть мечом.

— Нет, это испытание всего человека, меня и тебя. Может, попросим Антипатра сосчитать до трех?

— Ладно, сам сосчитаю. Только учти, у меня ведь есть и второе дыхание. Раз... два... три!

Словно видя продолжение сна, я снова вступил в бой со своим единокровным братом.

И вот мой меч подчинил себе все мои силы, ранее до конца еще не востребованные, и я пошел в наступление. Птолемей устал гораздо больше меня и в основном держался за счет железной воли, а она была крепка, как у отца его, Филиппа. Ослабь я свой натиск хоть на малую толику, он бы это заметил — не даром он так отчаянно следил за мной — и выиграл бы последний и решающий удар. В низких лучах солнца наши мечи уже не сверкали, как отполированное серебро, а горели, как желтое золото. Рядом присел и закаркал ворон, нередко бывающий предвестником близкой смерти; он был также священной птицей для двух греческих богов. Когда бог войны Арес творил свой ужасный пир, вороны очищали поле. Зевсу же птица смерти придала мудрости. Но я не полагался на его расположение, данное мне как предзнаменование в Додоне, а бился с полным накалом, похоже, достигшим уже высшей точки перед тем, как смениться физическим утомлением. У меня обострилось зрение, и я заметил, что Птолемей и впрямь обрел второе дыхание, и еще я, кажется, улавливал заранее его намерения нанести удар — вероятно, потому, что его движения слегка замедлились.

Я должен был теперь победить — или оставался риск потерпеть поражение. Если бы это случилось, изменилась бы вся моя жизнь и я бы познал горький вкус еще многих поражений прежде, чем встретил ужасную смерть где-нибудь в далекой земле. В памяти людей не я, а Птолемей был бы завоевателем Персии. Боги, чем я только не рисковал, приняв вызов брата! И все же в глубине своей души, охваченной смятением чувств, я был рад своему поступку — им я почтил кровь Ахилла, ставшую во мне жиже за несколько поколений, но все же сохранившую могущественную силу.

Я придумал уловку и стал ее осуществлять. Нужно было только притвориться ослабшим, то есть перейти в оборону, не нападая, а только отбиваясь от его все более дерзких атак. Наступил долгожданный момент, когда он стал делать слишком долгие, слишком смелые броски и в про-

межутке между ними на долю секунды ослабил свою бдительность. И вот наконец он вдруг сделал мощный выпад, чтобы сокрушить мою защиту и довести дело до конца, но я из последних сил напряг свою руку, принял удар и вдруг заметил, что сбоку он остался незащищен. Я сделал стремительный выпад. Удар концом меча пришелся ему под левые ребра. Будь он чуть правее, я бы рассек ему сердце. Как бы то ни было, я нанес ему опасную рану. Он выронил меч и повалился на землю.

К нему сразу же поспешили Антипатр с врачом. Врач опустился на колени возле моего павшего врага и принялся останавливать кровь. Для этого он засовывал в рану куски расщепленной ткани, смоченные уксусом, и наложил на нее тугую повязку. Постепенно кровотечение ослабло, и по лицу Птолемея я понял, что страшная смерть прошла совсем рядом, продолжив свой мрачный путь.

Антипатр взглянул мне в глаза и заговорил:

— Почему вы вступили в схватку без щитов? Клянусь богами, это была не тренировка, а настоящий бой, который едва не кончился смертью! И чего ты добился своей победой? Ради чего стоило так рисковать?

— Ставки, Антипатр, были выше, чем ты себе представляешь. Если Птолемей умолчит о них, я тоже не буду распространяться. Могу только сказать, что для будущей службы я приобрел надежного и способного полководца. Приняв его вызов и победив, я избавился от сильнейшего претендента на трон Филиппа, которым он мог бы стать, когда пробьет час борьбы.

## 5

Мои неожиданные успехи в искусстве фехтования, причина которых крылась в перемене, происшедшей у меня в сердце и голове, а не в мускулах, проявились весьма кстати, если старый Антипатр не преминул понять, в чем дело. В некотором смысле я стал его доверенным лицом. После моей победы над Птолемеем его отношение ко мне совершенно изменилось. Филипп заварил здесь, в Македонии, большую кашу, говорил он, и скоро она потечет на крупные полисы, что лежат к югу, и во всей Греции начнутся беспорядки.



— А Филиппу только этого и надо, — продолжал Антипатр. — Как раз теперь он ищет предлог, чтобы выступить с армией на юг, и ты ни в коем случае не должен недооценивать его хитрости. Этот модный болтун Демосфен достаточно умен, чтобы понять честолюбивые замыслы Филиппа, но он способен только болтать, будоражить людей и толкать их на грубые ошибки; а когда дойдет до драки, ему ли тягаться мозгами с Филиппом, заранее просчитывать его шаги и уворачиваться от его ловушек.

Царь как раз обдумывал ситуацию, сложившуюся на северном берегу Коринфской гавани, которая давала возможности для нанесения крупного удара. В земли, принадлежавшие храму Аполлона в близлежащих Дельфах, хлынули толпы народа из Амфиссы. В качестве главы Дельфийской амфикистии\* Филипп являлся также защитником великих святынь. И, наказывая захватчиков земель, он мог легко разжечь войну между Фивами, союзником Амфиссы, и Афинами, которые из всех греческих полисов упорней всего сопротивлялись его власти.

Прежде, чем он мог что-то предпринять, заварилась каша в самом дворце, в Пелле. Сатрап Карики\*, союзник Филиппа, задумал укрепить их узы, выдав свою дочь замуж за моего слабоумного единокровного брата Арридея, сына фессалийской танцовщицы, которая когда-то была любовницей Филиппа. Я попытался воспрепятствовать этому браку, думая о его возможных последствиях, если у Филиппа появится внук с нормальной психикой и он захочет сделать его престолонаследником. Когда у меня самого голова была не в порядке, я сделал опрометчивое брачное предложение — величайшую глупость в моей жизни, о которой мне трудно говорить. Она не имела далеких последствий, хотя на какое-то время пятеро моих друзей — кривоносый Птолемей, косолапый Гарпал и трое других, уму и честности которых я доверял и которые также служили послами в этом печальном деле, — были изгнаны из Македонии. Так велика была ярость Филиппа.

Перед тем как мне исполнилось восемнадцать лет, я искупил свою глупость участием в осаде Перинфа в звании небольшого военачальника. Там я познал вкус войны и что такое настоящая схватка на мечах, когда наградой победителю служит не будущая слава, а непосредственно жизнь. Моим противником был дюжий парень. Чуть старше меня по возрасту, хороший рубака, он отчаянно размахивал

мечом, и мне стало немного не по себе, когда я глубоко вонзил в него свой клинок. Живое до этого лицо парня стало пустой маской, и он с глухим стоном замертво повалился на землю. Он не был варваром: те, о которых рассказывал нам Аристотель, повторяя своего учителя Платона, годились только для рабства или истребления. Это был фракиец и, наверное, хорошо играл в наши игры и был славным товарищем в застольях и веселье. Мне больше не нужно было носить повязанный вокруг бедер пояс — знак того, что я еще не отнял жизнь у врага. Но какое-то время честь освобождения от него казалась мне вряд ли стоящей такой цены.

Вскоре после этого я был назначен регентом: Антипатр жаждал сменить дворцовые сплетни и административные заботы на звон мечей. Хотя, по правде говоря, я только числился на этой должности, а настоящим регентом была Олимпиада, мольбам и интригам которой я легко уступал. А Филипп все пропадал в походах.

Впрочем, так было не всегда. Бывало, в промежутках между походами он устраивал пьяные кутежи и любовные игры. Однажды он занялся самым опасным видом любви — любовью в трезвом состоянии, что с его стороны было гибельной, если не сказать фатальной, ошибкой.

Клеопатра была племянницей его приближенного военачальника Аттала. Мало было Филиппу лишить ее девственности, несколько недель спариваться с ней по всем углам и закоулкам. Его фантазия разыгралась не на шутку, и он предложил ей сочетаться с ним браком. То ли пьян он был не в меру, то ли, скорее всего, она сама, обладая достаточной твердостью характера, настояла на этом условии, прежде чем разделить с ним ложе. Назначая себе такую высокую цену, она вызывала во мне уважение, и, по правде говоря, она была одной из самых прелестных женщин во всей Македонии. Светлыми тонами красок она напоминала мне Роксану, что теперь затерялась в бескрайних просторах могучей Азии, и лицо ее выражало ту же силу характера. Она не была такой же живой и веселой, как утраченная возлюбленная моего детства, но трогательно нежная улыбка смягчала ее лицо, и, если бы я попытался ее ненавидеть — за то, что она заняла место Олимпиады, — у меня бы это не получилось. Так или иначе, у меня было предчувствие, что придет время и моя мать восторжествует — не над Клеопатрой — над Филиппом.

Это время пришло, пожалуй, скорее, чем я ожидал.

Филипп велел объявить, что отстраняет Олимпиаду, что она больше не царица и что вместо нее царицей будет Клеопатра. Затем они отправились в наш маленький храм Афины Паллады, богини супружества, и посему обладающей большей властью, чем Афродита, которая являлась богиней только эротической или посторонней любви. Я не сопровождал их, чтобы стать свидетелем их брачных обетов, и не хотел быть на свадьбе в большом зале дворца, но Антипатр настоял на моем обязательном присутствии по той единственной причине, что Филипп был царем.

Филипп подошел к двери, ведущей в покои Олимпиады, постоял немного, прислушиваясь к ее разгневанным воплям, затем прокричал грубым голосом, чтобы она его услышала:

— Ложись в постель со своим питоном и любись с ним сколько хочешь. — В глубине своей ненависти он ей не уступал. Заперев дверь, чтобы не слышать ее завываний, и спрятав ключ в кошелек, он устроил пир.

Со своего места на кушетке, недалеко от царской — возле каждой из них стоял накрытый стол — я все еще улавливал приглушенные вопли отвергнутой царицы. Но вскоре они уже потонули в шуме и гаме застолья, где крепкое вино лилось рекой, и мало кто из собравшихся гостей вспоминал об Олимпиаде, помышляя прежде всего о том, чтобы польстить Филиппу и его прекрасной невесте ради обеспечения большей надежности своих собственных мест. По правде говоря, я не видел в этом большой их вины, ведь милость царя вещь ненадежная; да к тому же военачальники и «товарищи» Филиппа никогда не одобряли его брака с дочерью царя Эпира, лежащего за пределами Греции, да еще помнили ее вакханалии в святилищах бога вина.

Шум голосов нарастал. С покрасневшим лицом Филипп орал и хохотал, настроившись на большую попойку, в то время как Клеопатра едва прикасалась к бокалу. В разгар пира ее дядя Аттал, чья кушетка примыкала к царской, добился тишины в зале, постучав по столу рукоятью меча. Он встал и высоко поднял свою золотую чашу.

— За Филиппа Македонского, повелителя всей Греции, и за новую царицу! — провозгласил он, самонадеянно гордясь своими новыми почестями. — И да сделают боги

плодотворным этот брак, чтобы царица Клеопатра родила своему супругу мальчика — достойного и законного наследника своего царства; и за все короны, которые он завоюет впредь.

Это изобилие пышных фраз вызвало во мне ярость. Я даже не пытался подавить ее, напротив, дал ей волю, вскочив на ноги и прокричав:

— Аттал, ты, лживый плут! А я, по-твоему, что — незаконный? — И швырнул в него тяжелой серебряной чашей, едва не попав ему в голову. Вино растеклось по его одежде.

Я ощутил хрупкую напряженность зала. Не будь я таким разгоряченным, я бы мог со страхом почувствовать, что этот пир, как и многие другие в нашей полудикой Македонии, приведет к убийству и кровопролитию. Филипп, похоже, предвидя такой конец, в бешенстве поднялся со своей кушетки и бросился ко мне с обнаженным мечом в руке, но, будучи в стельку пьяным, споткнулся и упал: не иначе как внутренний враг — предательский дух виноградной лозы подставил ему ножку. Тогда, обратившись к гостям, — в основном это были воины с обожженными солнцем лицами — я выкрикнул злую колкость, которая, вполне вероятно, могла бы стать моим смертным приговором.

— Соратники царя, взгляните на человека, который хотел вести вас в далекую Азию! Куда там! Он даже не может перейти с одной кушетки на другую, не свалившись на пол!

Наступило тягостное молчание, нарушаемое только бормотанием и поступью слуг, помогающих растянувшегося на полу царю встать на ноги и вернуться на свою кушетку. Один из них поднял оброненный им меч и, видя, что Филипп не делает попыток схватить его, убрал в ножны. Я выждал еще немного, весь настороже и готовый к прыжку, как загнанный собаками леопард. Никто не двинулся, никто не проронил ни слова. Я повернулся и вышел из зала.

## 6

К моему большому удивлению, эта мрачная сцена не имела никаких видимых последствий. Старик Антипатр рассказал мне, что Филипп посидел немного, как сын,

мрачно выдерживая смехотворное приличие, и, когда хмель почти выветрился, церемонно, насколько позволяли не-твердые ноги, встал из-за стола, приветственно поднял руку — в ответ раздались прощальные возгласы — и, поддерживаемый под руки слугой и Клеопатрой, вышел, слегка пошатываясь, из зала. Новобрачные удалились в свои покои, а воины оживленно стали биться об заклад, сможет ли он до утра исполнить свой супружеский долг. Сомневающихся было немного: люди знали своего предводителя, его неугасимую мужскую силу, знали также о его способности быстро приходить в себя после попоек.

Антипатр полагал, что в большинстве старые вояки остались довольны тем, что я сумел постоять за себя и свои права и даже пошел на то, чтобы задеть своего отца и царя язвительным замечанием. «Это по-македонски, — сказал он. — Пусть эти подхалимы с востока кланяются и выклянчивают милость, когда их оскорбят; мы, крепкие и стойкие горцы, вытесаны из другого камня!»

Филипп не напоминал мне о происшедшем и не пытался как-то отомстить. Я обдумал его поведение и понял, что и это соответствовало его характеру. Трезвый он не был высокомерным, хотя в состоянии опьянения склонен был к ссорам, а мог и убить. Его предусмотрительность советовала ему, что лучший способ избежать разобщения в своем непосредственном окружении — это не придавать значения безобразному происшествию, пока оно само собой не забудется. Я не мог бы назвать Филиппа мстительным, по крайней мере, он не прибегал к мщению, когда это могло повредить его планам. Как бы там ни было, но он был страстно влюблен в свою молодую жену, отчего мое престолонаследие оказалось в еще большей опасности, чем прежде.

Поэтому я решил, что, поскольку Олимпиада возвращается во дворец своего отца в Эпире, будет лучше всего сопровождать ее в Иллирию, пока у Филиппа не пройдет первый приступ влюбленности. Когда я подошел к нему, чтобы проститься с подобающим почтением, в его единственном глазу зажегся веселый огонек, и он озорно улыбнулся, словно нашкодивший мальчишка, попавшийся на шалости.

— На что поспоришь, — спросил он, — что Клеопатра — ну, мягко говоря — не с ребенком?

— Так скоро?

— Не так уж и скоро, если, конечно, в постели с ней настоящий мужчина. Я познал ее девственницей, Аттал не обманул, но я не уверен, что она не понесла после первой же ночи. Помню, как закричала она от боли, как тяжело дышала и корчилась — и вовсе не из притворства, как афинские куртизанки за большие деньги, а потому, что природа победила ее стеснительность. А когда наступил финал, она вскрикнула не один раз, а два — говорят, это к двойне. Если не сейчас, то скоро. К тому же у сорокалетних мужчин семя поактивнее, чем у двадцатилетних обожателей. У тебя будет брат, Александр; и его могут признать, в отличие от других. Так что, когда вернешься из Иллирии, отложи-ка в сторону свои книги. Отдавай богам то, что им причитается, но не слишком усердствуй, и учись тому, что нужно для войны — а она уж непременно будет. Если я доживу до шестидесяти пяти, тебе уже будет за сорок и придется подсуетиться, чтобы справиться с юным наследником, у которого тот же отец, да мамочка получше. Я тебя вызову, когда ты мне понадобишься. А теперь прощай.

Но я был уверен, что Филипп не доживет и до шестидесяти — теперь-то, когда он развелся с мстительной Олимпиадой, жаждущей его смерти. У многих оленят, родившихся в тот год, когда я посетил Додону, росли красивые рога.

Хотя скучно тянулись мои дни в Амбракии, одном из главных городов Эпира, но не столичном, я не охотился на оленей, опасаясь, как бы случайно не затравить гончими именно того, чьи рога, согласно предсказанию, могли бы великолепно разрастись. К счастью, в царской библиотеке мне попались четыре тома по искусству государственного управления, замечательно написанных Ксенократом из Халкедона. Из них я почерпнул много знаний, которые позже могли бы мне пригодиться. Одновременно кое-какие странные уроки мне преподала и Олимпиада; и я не знал, чьи наставления сыграют большую роль в будущей моей жизни.

Приблизилась пора, когда я должен был ехать в Иллирию: меня пригласил незаконнорожденный брат Олимпиады, верховный вождь приблизительно пятнадцати племен — Филиппу хотелось включить их в свои растущие армии, я же на всякий случай желал заручиться поддержкой этих дюжих парней. Но выбранный для поездки

день выдался таким ненастным, что я отложил свой отъезд до следующего утра. Во второй половине дня тучи сгустились и стали еще тяжелее, по поросшей лесом равнине гулял беспокойный ветер, а по черепичной крыше хлестали шквалы дождя. Затем разразилась невиданная до селе гроза. Зевс метал бесконечные стрелы огня, похоже, с единственной целью — созерцать их неистовство, и оглушительные раскаты грома сотрясали дворец. Когда молния ударила совсем рядом, только тогда мрак раскололся и в небесную трещину брызнул свет. Заиграли дождевые капли, и стали видны мечущиеся деревья.

Только я начал зажигать свечи, как раздвинулись занавеси арочного проема и вошла Олимпиада.

Я разглядел в полутьме, что ее темные волосы заплетены в косы и уложены кольцами вокруг головы и что одета она в белое. Когда она приближалась, ее одеяние, хотя различал я его еще не совсем отчетливо, показалось мне тем же, что я уже видел на гибких телах персидских танцовщиц: прямоугольный отрез тонкотканого шелка, создающего иллюзорное впечатление прозрачности на фоне сильно раскрашенного тела. Концы этой ткани скреплялись двумя блестящими застежками у нее под левой рукой, откуда она ниспадала до ее колен. За исключением сандалий, на ней не было ни одного знакомого предмета одежды.

Но самым любопытным показался мне схватывающий ее талию пояс, один конец которого уходил вверх и, пройдя меж грудей над обнаженным плечом, исчезал за спиной. Другой же конец, сильно сужающийся, спускался к нижнему краю ее одеяния. Пояс был пестро разрисован и казался необыкновенно тяжелым. Вглядевшись попристальней, отчего по спине у меня поползли мурашки, я увидел, что это живая змея, по объему туловища и длине уступающая только тому здоровенному питону, которого она на моих глазах убирала в клетку, и другого вида. И все же змея была очень крупной по сравнению с большинством виденных нами в Северной Греции.

Позади матери шел слуга. В одной руке он нес золотую или позолоченную клетку с мелкими ячейками, а в другой — ящик, на одной стороне которого была ручка и запертая на крючок дверца.

— Не зажигай свечей, Александр, — сказала она мне. — Вспышек молний Зевса будет нам достаточно. — Эти вспышки отделяли друг от друга всего несколько секунд.

Было сразу же заметно, что Олимпиада сильно возбуждена: в голосе звучали глубокие, теплые нотки, лицо было по-особенному красиво, глаза горели.

— Эта змея — твоя любимица? — поинтересовался я.

— Не в том же смысле, что Кришина, мой огромный питон, но родилась и выросла в моей змеиной яме.

— Я вижу, она не ядовитая — у нее короткие, скошенные назад резцы. Скорее всего, какая-то разновидность удава. Вряд ли это самец. В школе Аристотеля мы изучали подобную ей змею; думаю, не ошибусь, если скажу, что это самка.

— Ошибаешься.— Олимпиаду явно задели мои замечания, и она хмуро замолчала.

— Сильная гроза,— сказал я.

— Это больше чем гроза.— Голос ее зазвучал значительней — она снова становилась жрицей.— Это сам Зевс посылает мне знак того, что пробил час, которого я так долго ждала. Вспомни, я обещала тебе рассказать, что произошло в ночь твоего зачатия. Теперь я это сделаю.

Она подождала, пока слуга не поставит рядом с ней клетку и ящик, не отвесит нам низкий поклон и не покинет комнату. Ярость грозы, гибкость тела матери, очертаний которого не скрывал кусок тончайшего шелка, ее странный пояс, голос и взгляд — все это взволновало меня, и мне почудилось, что сейчас она откроет что-то чрезвычайно важное. Олимпиада заговорила; удары грома служили как бы ритмическим сопровождением ее рассказа, и голос ее возвышался над эхом его раскатов.

— Окончился брачный пир... Филипп отвел меня в свою опочивальню... Он сильно отяжелел от вина... Пытался раздеть меня... Руки все больше запутывались в моих одеждах... Вдруг он все бросил и потащился к ложу... Рухнул на него и моментально погрузился в глубокий сон... Я продолжала раздеваться... Появилось захватывающее чувство ожидания... Я легла, не укрываясь, так как ночь вдруг стала теплой и влажной... Постепенно меня обуяла страсть... Нет, не к пьяному скоту рядом со мной, а к какому-то неизвестному возлюбленному, лица которого я никогда еще не видала... Я широко раздвинула ноги... Я задыхалась — волны эротического желания захлестывали меня.

Мать говорила отрывисто, тяжело дыша. Грудь ее высоко вздымалась, и едва подвластная мне греховная страсть незаметно овладела всем моим существом.



— Затем я ощутила, как невидимый палец коснулся моего лона... Не твердый и тычущий палец, как у Филиппа... Он был одновременно и мягким, и вибрирующим... От него вибрации вошли в мягкую плоть... С быстротою солнечных лучей они пронеслись по моим бедрам, ногам, вошли в ступни... Устремились вверх по бокам... По всей груди... По рукам... По голове... Острая тоска мешала мне прийти в иступленный восторг... Мне так и хотелось окликнуть моего невидимого любовника... Я бы умоляла его больше не медлить и совершить акт любви, но чтобы говорить, у меня совсем не было дыхания... Палец дошел до моих девичьих врат... Осторожно испробовал проход, пока не убедился в моей девственности... Наступила краткая пауза...

И вдруг мощная вспышка огня осветила комнату чудным сиянием... В ту же секунду мое тело вспыхнуло пожаром... Пламя занялось в промежности и оттуда распространилось глубоко по всему телу... Моя девическая боль была почти невыносима... Она утихла и сменилась невыразимым блаженством... В ответ на многократные толчки внутри меня я закричала от восторга... Мой муж немного очнулся и забормотал... Я страстно желала, чтобы этому не было конца... Но медленно угасло и это... Сияние в комнате померкло... Я впала в забытие.

После продолжительного молчания я заговорил. Пока длилось это молчание, могучие удары грома постепенно перешли в протяжное гроыхание, совсем неярко вспыхнула молния, у меня по коже пробежали мурашки, и наступила тишина.

— Что бы это значило, Олимпиада? — спросил я.

— Да что бы это могло еще значить, кроме как не самое очевидное? Я не первая женщина, которую так осчастливили. Была еще Алкмена, из твоих предков, мать Геракла. Была Леда, которая потом стала матерью Клитемнестры, чьей дочерью была Электра. Семела, мать моего милого Диониса. А сколько еще? И вот теперь я, Олимпиада, мать Александра!

Снова мне пришлось ждать, пока я не смогу говорить — кружилась голова, глухо колотилось сердце. Наконец, кое-как взяв себя в руки, успокоившись, я спросил:

— А Филипп в ту ночь пришел в себя, чтобы выполнить свои супружеские обязанности?

— В ту ночь — нет. Он тогда видел сон, который рассказал мне на следующий день. Ему снилось, что он пытается совокупиться со мной, но мое тело было опечатано печатью с головою льва. Заметь, пустой сосуд не затыкают пробкой! Позже я ему уступила, ведь я была ему законной женой, и, несмотря на неземное блаженство, испытанное брачной ночью, я нашла в грубом соитии с ним телесное облегчение и в положенный срок родила ему ребенка. Но никогда больше я и близко не испытывала того блаженства, о котором тебе поведала. Тогда я еще восхищалась им, в каком-то смысле даже любила — пока эта любовь не превратилась в ненависть.

— Что мне делать? Откуда мне знать, что ты тоже не раз мечталась о том, чтобы сбылось какое-то твоё страстное желание, которое было всего лишь фантазией?

— Делай то, что велят тебе твоя судьба и твоё право в силу рождения. Если тебе нужны ещё доказательства, ступай к Зевсу-Аммону в пустынях Египта — там он говорит яснее, чем в Додоне. А сейчас я совершу ритуал, который жрице Диониса разрешается в любое время и в любом месте. Иногда так можно прочесть будущее.

— Олимпиада, у меня не осталось сил! Нельзя ли отложить до другого случая? Хватит с меня и того, что я уже услышал.

— Мой сын, это не может ждать. Зевс — собиратель туч, и теперь он скрыт в темных несущихся облаках. Ты ведь видел и слышал знаки — разве не так? Если мы сейчас не примемся за дело, он отвернется от нас. Ты не будешь принимать в обряде никакого участия, только смотри и, если сможешь, читай.

Нежно, с любовью она взялась за змею обеими руками, освободила талию от ее объятий и, пока та медленно извивалась, будто желая снова вернуться на прежнее место, открыла клетку, поместила туда змею и захлопнула дверцу. С молчаливым благоговением она подняла деревянный ящик, снова открыла клетку и просунула в открывшийся проем конец ящика с маленькой дверцей. Сняв пальцем крючок, она нажала на расположенный наверху ящика маленький рычажок, которого я до этого не заметил — и тут же раздался пронзительный писк боли. Из ящика в клетку перебежала очень большая белая крыса с красными глазами. Олимпиада быстро убрала ящик из клетки и заперла ее дверцу.

— Жертва испытала всего лишь булавоочный укол, — пояснила Олимпиада, — ее проворство не снизилось, и зубы ее остры. Теперь смотри внимательно.

Я уже смотрел — с неприязнью, близкой к отвращению. На какое-то мгновение мое внимание приковал к себе тот вроде бы незначительный факт, что змея-то все-таки самка, а крыса — самец; доказательством последнего служили как размер крысы, так и мельком замеченные мною яички. Вскоре мне все-таки пришлось увлечься тем, что происходило в клетке.

Змея и крыса заметили друг друга одновременно. Подняв верхнюю часть туловища, змея начала свиваться в кольца. Грызун же отчаянно забегал вдоль дальней стенки в поисках лазейки, повернулся и устремился к дверце — но та была заперта. Змея, шурша чешуей по полу, двинулась было в ту сторону, но крыса вернулась в свой прежний угол и отважилась на пробежку вдоль стенки, противоположной дверце. Охотница снова развернулась, вся заряженная хищнической страстью, с горящими в полумраке глазами.

Тучи явно рассеивались, мрак в комнате поредел, и я прекрасно видел все перипетии этого первобытного состязания. Вот змея сделала свой первый бросок, так широко разинув рот, что челюсти образовали почти вертикальную прямую линию. Она не промахнулась, но намеченная ею жертва, взвизгнув от безумного ужаса, юркнула под нее с бешеной скоростью и бросилась наутек. Змея же только ударила головой об пол.

И вот началось самое захватывающее зрелище: быстрота и изворотливость крысы против неустанных и безжалостных нападков змей. Крыса не могла выбраться за пределы ограниченного пространства клетки, но та же решетка мешала развернуться и преследовательнице, ограничивая ее фланговые маневры, не давая воспользоваться всей ее гибкостью. Змея снова нанесла удар и снова промахнулась. В ярости, созерцание которой вызывало благоговейный страх, столько в ней было неумолимой жестокости, она забыла о своей змеиной мудрости и стала преследовать крысу, крутясь и крутясь вдоль стенок клетки. Под блестящей кожей мышцы ее ходили ходуном, и за непрерывным шуршанием чешуи топот крысиных лап был едва различим. Сперва крыса оглушительно пищала, давая выход своему страху, но вот заметила, что враг ее

уступает ей в догонялки, и стала экономить дыхание, потом даже немного замедлила бег — чтобы унять бурное сердцебиение, так мне подумалось.

— Сдается мне, у твоей любимицы маловато шансов, Олимпиада. Крысы высоко прыгают и сильно кусают. Если этой хватит сообразительности, она подпустит змею к самому кончику хвоста — ведь змее, чтобы сделать бросок, нужно свиться для опоры в кольцо; без этого она, измотав свои силы, не нападет. И тогда крыса сделает прыжок ей на спину, ближе к голове, и ее острые зубы глубоко вопьются в змеиную шею. Вот и будет конец состязанию.

Я видел, что Олимпиаду огорчили мои слова — главным образом потому, что в них была правда, хотя отчасти, возможно, еще и по той причине, что в ее глазах эта крыса была уже не просто крысой, а воплощением человека, который мог бы услышать меня и прибегнуть к предложенной мною тактике.

Вскоре змея поняла, что бешеная погоня ничего ей не даст. Она затаилась, пытаясь совладать с безрассудной яростью, глаза ее теперь не горели, а только мерцали холодным блеском, и она медленно свилась в кольца в углу клетки. Остановилась и крыса. Но была наготове, вперив влажные бусинки глаз в своего врага. Хвост змеи шевельнулся, крыса отпрыгнула, но, не видя других движений, снова остановилась. Теперь змея лежала в инертной позе, глаза заволокло пленкой, погасившей их блеск, и казалось, что она уснула. Крыса в напряженном ожидании припала к земле.

— Неужели эта дуреха отказалась от погони? — Голос Олимпиады дрожал от беспокойства. — Разумеется, эта крыса в моем садке самая крупная и подвижная, но они должны быть стоящей друг друга парой, иначе в гадании нет никакого смысла.

— Я не верю, что змея сдалась. Во всяком случае, не стоит ее подстрекать. Смотри и жди.

Все еще следя за своим внешне вялым врагом, крыса пошевелилась. Змея оставалась спокойной и безразличной. Крыса, несколько осмелев, робко двинулась, выискивая в стенках клетки лазейку для бегства, но действовала очень осторожно, держась на почтительном расстоянии и не теряя бдительности. Случилось так, что она все же чуть приблизилась к змее. Затем, должно быть, приняв небольшую тень за дыру, помедлила, глядя попеременно то на

тень, то на свившуюся в кольца змею, приблизилась к ней еще немного, отступила, выждала, продвинулась еще и снова отступила. И тут я явственно увидел, как по кольцам змеи пробежала рябь, вызванная напряжением мышц, не изменивших своего расположения ни на йоту. Очень медленными, крадущимися шажками крыса двинулась вперед. Не было слышно ни звука, кроме тяжелого дыхания Олимпиады. Крыса прокралась к своей цели и не обнаружила выхода — безжалостная решетка по-прежнему ограничивала ее свободу.

Наверное, душа грызуна не выдержала такого удара: крыса пришла в бешенство, стала грызть прочную проволоку, забыв о бдительности. В этот момент змея и нанесла удар.

Самого броска я не заметил — он был слишком стремителен для моих глаз, но мне удалось-таки уловить, как пружинисто развернулись ее передние кольца. Разинутые челюсти сомкнулись на крысиной спине, и в мгновение ока страшные кольца обвились вокруг зверька — видны были только его голова, передние лапки и хвост. И в тот же миг он издал протяжный писк, невыносимо пронзительный для слуха — визг ужаса. Постепенно он утих, и, как мне думалось, я знал почему. Боль не уменьшилась, а возросла, оставался неопиcуемый страх. Но зверек все еще тужился, стараясь воздухом легких помочь ребрам и грудной клетке выдержать давление страшных объятий. И вот охотник с добычей замерли в полной неподвижности, не издавая ни малейшего звука.

— В природе нет никакой жалости,— сказал я Олимпиаде.

— Нет — когда боги распорядились о смерти,— отвечала она.

— А я считаю, нет жалости вообще. Волчица будет сражаться за своих волчат, но это только инстинкт, данный ей для сохранения своего вида.

— Ты читал слишком много книг, Александр, слишком долго размышлял о причине вещей, а в дальнюю синь небес не заглядывал.

— Тише! — Я услышал слабый звук, не громче треска сухого листа под ногой. Звук повторился. Не требовалось особой догадливости, чтобы понять его происхождение. В смертельных объятиях удава ломались крысиные ребра. Должно быть, этот звук услышал и удав; вероятно, он

почувствовал, как крепкие косточки поддаются его напору, потому что издал резкое шипение, какое издает внезапно вырвавшийся из бурно кипящего котла пар. Тиски все сжимались, пока острые концы сломанных костей не пронзили легкие и сердце зверька, пока он без всяких признаков жизни не замер в кольцах удава.

— Ты узрел, Александр, символический смысл исхода этого поединка?

— Нет, но я видел, как змея схватила крысу и убила ее.

— Змея посвящена Дионису, а значит, и Зевсу, его отцу. В этом ритуале удав стал орудием Зевса. Божественности преисполнились его прекрасное извилистое тело и широкие челюсти. В этом обряде белая крыса стала Филиппом, а удавом — ты.

— Если ты всерьез полагаешь, что я способен убить Филиппа, ты неверно прочла предсказание — если таковое было дано. Я никогда не подниму руку на своего отца, разве что защищаясь. Я стану лишь наблюдать, дожидаясь своего часа. И если в твоём гадании змея олицетворяла человека, то человек этот не Александр, а Олимпиада. Мне противно, меня тошнит от всех этих действий. Я должен выйти на свет.

## 7

В конце зимы, в восемнадцатом году о.А., когда прошло уже несколько месяцев, как мне исполнилось семнадцать лет, царь Филипп послал гонца, чтобы вызвать меня из Иллирии.

Долго же мне пришлось прохлаждаться по его милости. Я догадывался, что его план вторжения в Грецию под предлогом наказания осквернителей дельфийского храма натолкнулся на препятствия; возможно, Афины и Фивы раскусили его хитрость.

Не исключалось также, что ему хотелось внушить мне мысль, будто мое присутствие во дворце Пеллы не имело значения.

Теперь, когда пришел вызов, мне было грустно покидать этих гостеприимных, суровых и горячих людей, живущих кланами. С ними я часто с упоением мчался верхом, охотился в диких лощинах и зимних лесах, предварительно поставив условие, что нельзя убивать самца

благородного оленя на третьем году жизни, потому что согласно моему гороскопу, составленному магами, это дурной знак. К тому же, говорил я, такие самцы еще незрелые и мясо их не придает сил человеку, одолеваемому врагами, независимо от того, кто является этим врагом — человек, зверь или буря. На четвертом же году олень — прекрасная дичь, и мясо его полезно.

Члены клана слушали мои наставления с трезвым вниманием, и их жрецы, в основном посвященные Артемиде, богине охоты, обнаруживали путем гадания, что предупреждение мое имеет все основания. Но при этом они со всем пылом охотились на медведей, несмотря на свою посвященность богине охоты, а поскольку это были крупные бурые медведи, всегда раздражительные и предрасположенные к приступам бешеной ярости, мы чувствовали особое возбуждение, когда наши пути пересекались. Однажды, когда здоровенный самец напал на вождя клана, сбил с ног и стал месить его своими когтистыми лапами, я стрелой из скифского лука удачно угодил зверюге в мохнатый бок и, несомненно, спас жизнь этому крепкому парню.

Иногда у меня возникало желание, чтобы мы втроем — я, Абрут и Клит — остались жить в этой северной стране, вдали от дворцов и великих дел, уж не говоря о мечтах о далеких походах. Мы бы здоровели от простой пищи, охоты и рыбной ловли, вели бы маленькие войны с еще более северными племенами и переженились бы на их светловолосых большегрудых дочерях. Мне часто предлагали этих дочерей — чтоб теплее была постель в холодные ночи, но я отказывался. Возможно, не желал рождения сына, который со временем мог бы стать претендентом на мой трон, соперничая с сыновьями моей настоящей царицы.

Филипп послал ко мне самого Леонида. Он прибыл вечером и сообщил мне, что из всех царских яиц вылупились цыплята. На совещании совета, хитро нашипигованного людьми Филиппа, который по удивительной глупости игнорировали Афины и Фивы, он наконец был «приглашен» двинуться маршем в Грецию и наказать осквернителей дельфийского храма. Теперь вся Македония бурлила от мобилизации в армию Филиппа, готовую нанести важный стратегический удар. Ранней весной ожидается поход на юг.

— Кем поставит меня Филипп? — спросил я Леонида.— Во главе отряда конницы?

— Я в угадках не лучше тебя. Знаю только одно: его личное отношение к тебе — за то, что ты на стороне матери, за то, что ты уязвил его, когда он свалился на пиру,— не повлияет на это совсем. Мысли Филиппа настроены только на победы в битвах. Так что его решение будет зависеть от твоих бойцовских способностей, как он их понимает. Для поля битвы ты еще новичок, но старый Лисимах говорил Филиппу, что ты хорошо постиг науку войны из книг и на бумаге и хорошо проявил себя в Перинфе; а царю как раз сейчас не хватает молодых честолюбивых и изобретательных военачальников. У него есть старик Парменион — его правая рука, и старик Антипатр — спокойная голова. Так что ты мог бы подняться выше, чем думаешь.

Я подступил к Филиппу с этим делом, улучив момент, когда он был склонен отвечать на вопросы; а это случилось, когда вино только слегка подогрело его, еще не приведя в раздражительное состояние.

— Царь, получу ли я чин, достойный моего высокого аристократического положения? — спросил я.

— Скажи лучше, достойное моих достоинств. Личное высокое положение я не ставлю ни в драхму, хоть оно сначала и производит на людей впечатление. Затем, если военачальник имеет большие способности, люди чувствуют, что он на своем месте, но если маленькие, то тем более катастрофично его падение в их глазах. По вине высокородных тупоголовых полководцев проиграно больше сражений, чем по всем остальным причинам, вместе взятым.

Ну, царевич, что скажешь насчет командования моими гетайрами\*?

— Ты шутишь, царь.

— Почему ты так думаешь? Конечно, такой пост не пустяк для юнца, которому нет и восемнадцати, а? Это всадники и пехотинцы несравненные в бою, в совершенстве обученные, верные до смерти...— Филипп замолчал, сделав вид, что ему нужно подумать.— А, понимаю. Ты хочешь сказать, что не стремился подняться так высоко.— Филипп действительно шутил со мной, и мне было неизвестно, где шутка началась и где она окончится.

— Я хотел сказать, что и не мечтал...— Но это была ложь.



— Ладно, как бы то ни было, командные знаки отличия будет носить Букефал, а не ты. Этот боевой конь вдохновит всех других строевых лошадей, поведет их сквозь сталь, тучи дротиков и смертельный град стрел. Ей-богу жаль, что в тот день, когда ты купил его, я был так слеп, а теперь никто, кроме тебя, не может его оседлать. Да и что мне еще остается делать, как не отдать тебе командование над моими отборными отрядами? Меня немного утешает то, что на коне ты будешь выглядеть красавцем. Эти белые доспехи, купленные тобой у старого вояки в Иллирии — наверняка они ограбили караван из Византии — хорошо оттеняют то, что дано тебе природой. Если бы о тебе пел Гомер, он бы даже мог назвать тебя богоподобным — вон какие у тебя золотые кудри; сейчас-то они старательно зачесаны в гриву, а как разовьются по ветру... Откуда у тебя этот цвет лица — белый с розовым, да и влага в глазах, как у влюбленной резвухи? Явно не от Олимпиады и не от меня. Постой, уж не от того ли красавчика, мальчишки-слуги, которого она купила в Аркадии? Если бы я раньше догадался об этом, я бы его кастрировал; но теперь уже слишком поздно.

— Доволен ли ты, царь, командирами отдельных отрядов гетайров? — осмелился я спросить, чтобы изменить тему разговора.

— Все они хорошие воины. Твоя тактика будет проста, если все пойдет как обычно: нападаешь с фланга на амфиссианскую фалангу.

— Отец, я никогда не слышал, чтобы у амфиссианцев была фаланга. Может, ты оговорился — хотел сказать, афинская или фиванская фаланга?

— Может, и так. Судьбы войны непредсказуемы.

Все военачальники в нашей армии и большинство солдат догадались о намерениях Филиппа, когда, вместо того чтобы выйти на прямую дорогу в Амфиссу, он повернул на восток, к Фермопилам, имя которых было священным для каждого грека. В этой области он заменил фиванские гарнизоны своими собственными и начал укреплять Элатею как базу для продвижения на север. И теперь он стал виновным в одном из самых циничных поступков в своей карьере: он направил в Фивы послов, прося город трусливо изменить его союзу с Амфиссой и примкнуть к нему в священной войне против осквернителей храма!

Фивы и Афины забили тревогу. Оба города стали готовиться к войне, тогда как Филипп изображал из себя невинного голубя. Он явно хотел, чтобы они первыми выступили против него, и тем самым избежать обвинения в агрессии.

— Какое это имеет значение? — удивился Парменион. — Мы раздавим и тех, и других.

— Не обязательно, старый друг, получится именно так. Если они будут настолько неблагодарны, что нападут на нас, — при том, что я сделал все возможные шаги для достижения дружбы, — они могут легко одолеть нас. Афиняне мягки, но фиванцы тверды как железо, а Священная Лента Фив\* — это сейчас единственная на земле самая непобедимая военная организация. К тому же, мой славный Парменион, мне небезразлична моя собственная судьба, когда я сойду в Аид. Греция должна быть едина, но мне бы хотелось добиться этого по возможности самой малой кровью.

— Едина под твоей властью! Клянусь богами, это похвально! Что ж, думаю, твое желание сбудется: враг выступит первым. Этот старый крикун Демосфен накалил страсти народа до предела — ей-богу, он не иначе как сын бога ветров Эола — так мастерски он владеет дыханием!

Продолжая дипломатический обмен с охваченными паникой городами, Филипп прибегнул к характерной уловке. Он написал Антипатру в Пеллу письмо, в котором объявил, что готов выступить в поход на север для подавления мятежа во Фракии. И подстроил так, что письмо попало в руки Хареса, все еще охраняющего проходы. Сторожевые отряды Хареса ослабили бдительность; Филипп, разумеется, совершил форсированный ночной бросок и яростное нападение на его войска. Разгромив Амфиссы, он обошел Дельфы и принялся изводить объединенные армии в тылу.

Союзники уже больше не могли защищать свою выгодную позицию близ Элатеи, поэтому они отошли по долине и развернули свои силы на равнине близ Херонеи. Филипп пока что воздерживался от нападения, он все еще предлагал дружбу, а Демосфен в громовых речах призывал народ к битве. И в начале сентября, спустя чуть меньше месяца после моего восемнадцатилетия, Демосфен в полной мере получил то, чего добивался.

Равнина близ Херонеи отличалась тучностью и красотой, славными оливами, жирным молоком коров, богатыми пастбищами. Местные жители убирали урожай ячменя и свозили его домой. Это были простые миролюбивые люди, которые возносили молитвы главным образом Деметре, богине урожая, и Афине Палладе, покровительствующей вместе с Артемидой беременным женщинам. И вдруг к ним шумно вторгается огромная армия фиванцев, афинян и союзников помельче со всей бесцеремонностью солдаты. Трубы напугали скот с кормящимся молодняком, а скачущие взад и вперед курьеры разогнали стада овец.

И все же они молились, чтобы не было никакой войны. Ведь еще на их земле не развернул своих знамен светловолосый одноглазый завоеватель, чье имя было у всех на устах. Но думаю, надежда их пошатнулась при виде поднимающихся вдаль, еще не совсем отчетливо различимых клубов пыли. Они становились все плотнее, росли вширь и вверх. А вскоре юноши с острым зрением уже могли видеть верховых и пеших солдат, блеск мечей и наконечников копий фаланги.

Мы остановились в двадцати пяти стадиях от врага. Наши солдаты прошли долгий путь, и дело близилось к вечеру, поэтому Филипп распорядился стать лагерем на ночной отдых. Союзникам же ночь не сулила покоя. Они бы удивились, если бы Филипп не преподнес им сюрприза и не напал неожиданно. Но это и был тот сюрприз, стоящий им хорошего сна и аппетита, — наши лазутчики донесли, что половина их армии не спит, находясь в дозоре. На правом фланге они развернули тяжелую фиванскую фалангу с Фиванской Священной Лентой посредине. Слева от них располагалась афинская фаланга, а еще левее — ахейцы и другие союзники с лучниками, метателями дротиков и пращниками на самом левом фланге.

Только стемнело, Филипп созвал совет всех крупных военачальников. На правом крыле он думал разместить фессалийскую конницу, свою фалангу — в центре, с тяжелой пехотой наемников справа от нее и отборной македонской пехотой под командованием Пармениона — слева; Филипп со своей почетной охраной хотел расположиться еще левее, а на самом крайнем левом фланге перед мощной фиванской фалангой предполагалось поставить несравненных «конных друзей» под моим командованием. Обратись я с мольбой к Зевсу, прося дать мне позицию,

где было бы больше возможности доблестно проявить себя в тяжелом бою, я бы не осмелился просить о лучшей. Она была лучшей на всем нашем фронте.

— Это будет отчаянное сражение,— сказал нам Филипп низким хриплым голосом.— Когда история будет написана, я не сомневаюсь, что его занесут в разряд наиважнейших. Оно решит, останется ли Греции кучкой слабых, вечно грызущихся между собой полисов, разорванных гражданской войной, неспособных защитить себя от внешнего нашествия или хотя бы усмирить варварские племена на своих границах, или же она станет единым государством, возглавляемым Македонией, и сможет справиться со своими внутренними и внешними врагами. Конечно, таким мощным полисам, как Афины и Фивы, придется уступить кое-что из своих свобод: у демоса и его вождя Демосфена больше не будет власти. Но, во-первых, это ничтожная потеря по сравнению с потерей всего, если к ним вторгнется тиран, а во-вторых, когда поутихнут ораторские ветры, погода наладится.

Завтра вы будете биться с греками, но в то же время помните, что вы бьетесь за Грецию — Грецию будущего, способную не склонять головы перед Карфагеном, Римом с его прибывающей силой, даже перед могущественной Персией. За Грецию будущего, более великую, чем она была во времена Геракла, или Ахилла, или Перикла; ибо она станет одним неделимым львом с головой в Македонии и хвостом в Спарте, цельным и неделимым государством с одним правителем, владыкой Ионического и Эгейского морей. Теперь ложитесь спать. Трубы разбудят вас на рассвете.

Я полежал, не засыпая, размышляя над тем, что мне предстоит совершить в завтрашней битве, моей первой на пути... К чему и куда? Я не знал. Может, моей первой большой битве и последней — на пути к Реке Скорби. Затем я незаметно заснул и впервые за многие месяцы видел во сне Роксану: она стояла в слезах, и я не знал, в чем их причина.

Трубы зазвучали властно и настойчиво. Часть наших телег прибыла ночью, и рабы приготовили горячий завтрак для нескольких высокопоставленных военачальников, но я ел ту же пищу, что и мои солдаты: сушеные мясо и рыбу, лук и кукурузные лепешки. Потом Леонид помог мне облачиться в доспехи: шлем, кожаный панцирь, покрытый

металлической чешуей, и высокие сапоги. Когда Букефал опустился передо мной на колени, чтобы я мог сесть на него, мой старый учитель подал мне меч и копье — он не дал мне ни дротика, ни щита.

В этом сражении цельная армия Филиппа должна была встретиться со сборной армией Фив, Афин и других полисов. У последних не было никакого прочного взаимодействия, их ничто не сплачивало воедино, кроме ненависти к господству Македонии. Сидя на громадном Букефале и ожидая сигнала атаки, я думал о старом робком, как мышь, Лисимахе и о военных играх, разыгрываемых нами на бумаге, о том, как он настойчиво показывал мне, как меньшая, но единая армия побеждает намного большую, но разрозненную, пользуясь прорехами в состыковке ее сил, которые разрывались при быстром натиске. Старик рассказывал мне, что, когда пара львов вторглась на пастбище, вызвав панику в стадах и отарах, все же овца бежала бок о бок с овцой, корова с коровой, а лошадь с лошадью.

Плотная фаланга фиванцев первой начала сражение. Она пошла в наступление, чтобы связать македонскую пехоту, состоящую в основном из ветеранов войн Филиппа, хорошо обученных и стойких воинов. Это была настоящая война, кровопролитная и безжалостная, между двумя стоящими друг друга врагами, и многие мои храбрые соотечественники погибли в столкновении с этой ошестившейся копьями стеной, но многие ворвались в небольшие щели, пробитые метателями дротиков и лучниками, и поработали мечом и копьем прежде, чем их сбили с ног и затоптали. У вражеской фаланги все-таки была одна слабость: она стремилась быть непобедимой за счет слишком большой глубины и плотности, проигрывая при этом в мобильности.

В это же время афинская фаланга, состоявшая из легковооруженных гоплитов, атаковала фалангу наемников Филиппа, прорубила себе путь сквозь нее с такой легкостью, что ее воины потеряли голову и считали, что победа в этот день осталась за ними. Пробившись на свободное пространство, афиняне рванулись вперед, крича: «Вперед! В Македонию!» Увы, это была пиррова победа, забава враждебных им богов, танталовы муки перед поражением. Зоркий как орел Филипп увидел брешь в рядах и бросил в нее свою собственную фалангу. Я просигналил своему горнисту, и медное горло запело: «В атаку!»

Я коснулся Букефала холодным лезвием меча. До этого он стоял совсем неподвижно, несмотря на нервное поведение других жеребцов гетайров, но когда он большим скачком вырвался вперед, за моей спиной раздался грохот копыт устремившейся за нами конницы. Целью нашей атаки был фланг фиванской фаланги, неспособной высвободить свои копья, развернуться и встретить наши пики.

Я мечтал о таких минутах, но реальность оказалась слаще мечты. Бешеная скачка, освежающий ветер, и вот, наконец, расправа с почти беспомощным неприятелем — это было несравненное блаженство, и я радовался, что такое блаженство редко выпадало мне прежде и острота его не притупилась. Обычно я в своих мечтах вступал в схватку со свирепо сопротивляющимся противником, почти равным мне во всем. Теперь же, куда бы я ни погружал пику, я пронзал вражескую грудь, тогда как враг не мог броситься на меня со своими длинными тяжелыми копьями. Я познал восторг, какой, должно быть, испытывает волк, проникший в овчарню. Но действия мои и чувства были хуже волчьих, ведь принадлежали они человеку.

Затем произошло событие, начало которого мне неясно. Стоял чудовищный рев, крики победителей смешались с предсмертными воплями павших, ржанием лошадей и топотом копыт. Каждый, кто был в моем подчинении, старался отнять чужую жизнь или спасти свою, и я уже не мог уследить за тем, что происходило где-то еще. Чтобы восстановить то, что случилось перед моим вмешательством, я могу полагаться только на рассказанное мне позже: между македонцами и наемниками фаланги, которая распалась под натиском афинян, началась жестокая ссора. Вдруг я заметил скакуна Филиппа — без всадника, — рвущегося вперед, и, присмотревшись, увидел распростертого на земле царя, которому грозила неминуемая опасность быть растоптанным. Пока Клит ловил жеребца за удила, я спрыгнул на землю и поднял Филиппа на ноги: он был в крови и ссадинах, но ни одной серьезной раны я не заметил. Он тут же снова вскочил на коня и, не сказав ни слова, не взглянув на меня, поскакал на свое место впереди отборной гвардии. Он сразу же стал отступать — медленно, в полном порядке, — пока афиняне не заняли низменность, только что оставленную им, он же сам удерживал склон холма.

Не мешкая, он приказал контратаковать. Тем временем налет «конных друзей» здорово потрепал фиванскую фалангу. Оба наших крыла сошлись, взяв в клещи и мощным ударом разбив центр союзников.

Священная Лента Фив билась и пала до последнего воина. То, что осталось от союзных армий, обратилось в бегство, и не избежать бы резни, если бы Филипп не отдал переданный горнистами приказ отставить преследование и убийство врага. Филипп остался хозяином положения на равнине Херонеи и тем самым — на всех равнинах и горах, во всех полисах древней земли Греции.

## 8

Как обычно после сражения, Филипп в первую очередь позаботился о раненых соратниках, затем о почетных похоронах погибших, большинство которых составляли цвет нашей пехоты, отразившей первый натиск фиванской фаланги. Я вспомнил, что эта страшная орда, бывшая когда-то как правой, так и левой рукой Фив, больше не существует. Их длинные копья лежат там, где их выронили из рук. Поле усеяли их гордые щиты. Лежат в пыли и крови, растоптанные, с открытыми невидящими глазами доблестные мужи Фив.

Я подъехал к Филиппу и спешил. Он еще несколько минут отдавал распоряжения подчиненным, затем без особого интереса взглянул на меня.

— Спасибо, Александр, что помог мне снова сесть на коня, когда в меня врезался какой-то беотийский буйвол и выбил из седла, — заметил он мимоходом.

— Не стоит благодарности, царь.

— Ты немного поздно заметил незащищенный фланг фиванской фаланги, но атаковал ты прекрасно, особенно если учитывать, что для тебя это первая настоящая битва.

Меня так и подмывало сказать ему, что именно атака гетайров решила исход сражения и именно мы с Клитом спасли жизнь этому неблагодарному. И я непременно сделал бы это, если б не Клит, предупредительно ткнувший меня локтем в бок. И тут меня, словно обухом по голове, ударила мысль, что Филипп предпочел бы, чтобы его спас какой-нибудь самый чумазый и засаленный поваренок из обоза, нежели я, Александр, сын Олимпиады.

Когда прибыли послы побежденного войска с просьбой о выдаче убитых, Филипп заставил их ждать, пока не устроил роскошный пир победителей. Вино лилось рекой, подавались целиком запеченные туши овец и свиней, и, что поразило меня больше всего, неизвестно откуда появилось множество молодых женщин. На войне я был совсем новичок, чтобы знать, что женщины всегда присутствовали на победных пирах, особенно там, где было много добычи; и я бы не удивился, если бы даже на поле битвы в обширных аравийских пустынях они бы вдруг появились, подобно стервятникам в чистом небе, слетевшимся на свое мрачное пиршество.

В начале празднества Филипп вел себя наилучшим образом, стараясь произвести благородное впечатление на афинских пленников. Солдатам не позволялось приставать к ним, насилие или совокупление скрывалось или допускалось в ограниченном виде. Но это благоразумие оказалось преходящим. В полночь к нему, перегруженному вином, вернулись упоенность победой и вспыльчивость, а на рассвете он пошел бродить, шатаясь из стороны в сторону, выкрикивая проклятья и непристойности, хуля Демосфена. Но все же один афинянин, оратор по имени Демадес, отважился посмотреть ему в лицо и сурово упрекнуть его.

— Царь, когда судьба даровала тебе роль Агамемнона, неужели тебе не стыдно подражать этому нечестивому дураку Терситу?!

К моему удивлению, Филипп устыдился. Он сорвал с себя и растоптал венки и гирлянды, которыми украсили его сопровождавшие армию гражданские, приказал, чтобы отважного пленника отпустили, и завалился спать.

С Фивами Филипп обошелся круто. Он освободил враждебные им города, восстановил власть их старых врагов Орхомена и Платеи, изгнал их руководство, заменив его своими ставленниками, вызванными из изгнания. Чтобы унижить их окончательно, он поставил в фиванской цитадели македонский гарнизон.

К Афинам, наоборот, он проявил великодушие. Пока город лихорадочно готовился к войне не на жизнь, а на смерть, вооружая своих рабов, отбирая у храмов их сокровища, он делал дружеские предложения и в подтверждение своих серьезных намерений вернул полису три тысячи пленных, захваченных в битве при Херонее. Он не требо-



вал никакой контрибуции и даровал Афинам статус пограничного полиса, на который претендовали Фивы. Афинам, чтобы стать его клятвенным союзником, нужно было только признать его право верховного владыки всей Греции, кем фактически он уже стал.

Гордые Афины не желали быть в подчинении у грубой Македонии, и требование Филиппа вызывало у них отвращение. Но был ли у них другой выбор? Они не осмеливались пробуждать гнев царя Македонии, у них не было силы, без которой гордость пуста.

Личными его послами на этих переговорах были Антипатр и, так уж случилось, я сам. Впрочем, это решение не было случайным. Филипп никогда не полагался на капризный случай. Он мог воспользоваться подвернувшимся ему случаем, как нередко это бывало в сражении, когда враг делал ошибку. Он выбрал меня для выполнения этой высокой миссии, в то время когда моя близость к трону, если не само мое существование, раздражали его больше всего на свете. Солдаты уже поговаривали, что не он, а я одержал победу в решающей битве. Хуже этого было то, что я спас ему жизнь, которую прежде он защищал и поддерживал своей собственной отвагой. Когда он смотрел на меня, я полагаю, он видел самое ненавистное ему лицо — лицо Олимпиады.

Можно только предположить, что выбор его диктовался победой честолюбия над личной злобой. Победа над Афинами здорово тешила его тщеславие, но то, что они задирали так свои красивые носы и свысока смотрели на Македонию, называя нас варварами, все еще глубоко задевало его за живое. Я учился у Аристотеля. Моя начитанность, которую он презирал, выработала у меня умение непринужденно вести беседу. Олимпиада, желая хоть чем-то компенсировать наше положение новых богачей, настояла на том, чтобы я учился хорошим аттическим манерам у разных наставников. Я играл немного на флейте, не часто на пирушках валился под стол и мог вести с самыми культурными эллинами пространные беседы на тему «Илиады» — излюбленную у всех образованных греков. И наконец, держась с таким царственным достоинством, чему я в основном обязан материнским наставлениям, я почувствовал, что ко мне привились манеры и вид царского наследника, несмотря на скрытые под ними дикость и жестокость.

Филипп выбрал меня своим личным послом в Афины потому, что, приложив усилия и пользуясь своим внешним багажом, я мог сойти за афинянина.

9

В Афинах я только и делал, что раскланивался и обменивался комплиментами с людьми высокого звания, присутствовал на церемониях в храмах и осматривал достопримечательности. Разумеется, величайшей достопримечательностью в Афинах был Парфенон с его колоннами, украшенный божественной рукой Фидия и увенчанный огромной статуей Афины Паллады, богини — покровительницы города, в честь которой он и получил свое название. Удивляло, почему эта статуя не входила в число семи чудес света, как, например, «висячие сады» Вавилона\*, и вскоре был намерен сам решить для себя, какое из этих двух чудес лучше.

Самым приятным и, вероятней всего, важным для моего будущего переживанием в Афинах явился для меня пир, устроенный в честь послов Македонии Медием Младшим, чрезвычайно богатым человеком и сыном старого врага Демосфена, в богато украшенном зале его частного дворца.

Никто из приглашенных молодых государственных мужей, полководцев и флотоводцев не привел с собой своих благородных жен и дочерей; однако все кушетки в альковах вдоль стен были двухместными. Из занавешенного алькова несколько минут лилась тихая и мелодичная музыка флейт и арф, хотя вина еще не наливали. Затем зазвучали фанфары, резко распахнулись тяжелые занавеси и через арку в зал ступила стайка смеющихся, щебечущих юных женщин; все они были в роскошных одеждах, а некоторые — с драгоценными украшениями. Каждая из них знала свое место. Трое направились в мою сторону: средняя из этого «трио» выглядела совсем юной — ей можно было дать не больше тринадцати, — просто одетой и ослепительно красивой. Две ее подруги оказались на скамьях слева и справа от меня. Та, что слева, принадлежала хозяину дворца Медию; шедшая в центре девушка робко приблизилась ко мне.

Я поднялся, приветствуя ее — этого требовали хорошие афинские манеры независимо от нашего положения

в обществе относительно друг друга, и тем временем внимательно ее разглядывал. Красота ее не вызывала никаких сомнений, красота утонченная, обволакивающая ее с головы до ног. Мне подумалось, что, возможно, она самая красивая девушка в Афинах, специально подобранная мне в подружки на этот вечер. И удивляться тут было нечему, ведь я — сын Филиппа. Но как бы то ни было, я все-таки был поражен. В моей жизни личность Филиппа настолько подавляла своей величиной, что я сам себе казался чем-то малозначительным. Я старался скрыть эту приниженность за властными манерами и прочими жестами и непрестанно стремился избавиться от нее любым путем, каким бы трудным он ни был. Победы мои были незначительными, если не считать историй с Букефалом и Птолемеем. Тому, что мне предсказывали, и мистическим толкованиям моей судьбы матерью не хватало прочной фактической обусловленности, чтобы завоевать мое доверие. Но в последнее время произошли два события — все это было на глазах у людей, и вся Греция знала о них как о случившихся фактах, которые отличались своей необычностью: это атака гетайрами фиванской фаланги и помощь, которую я оказал распростертому на земле Филиппу. Кто среди гостей Медия, кто даже во всей Греции, за исключением самого Филиппа, заслуживал больше, чем я, этой почетной награды?

Красота — это отвлеченное понятие, которое трудно определить словами. Мои глаза, не ослепленные предрассудками и не затуманенные женоненавистничеством, видели, что эта девушка прекрасна. Чем возвышенней ум глядящего, чем больше красоты он уже видел и осмыслял, тем чудесней будет вновь увиденная. Праксителю хватило одного взгляда, чтобы захотелось запечатлеть ее в вечном мраморе. Если Апеллес\* еще не написал ее в красках, он неизбежно скоро сделал бы это или предал бы свое небом данное искусство. Я ошибся, когда предположил, что ей около тринадцати. Теперь я знал, что ей шестнадцать, а то и семнадцать лет, и секрет ее красоты, возможно, кроется в тайне, в чуде вечного девичества, которому никогда не перейти в юную женственность. Афина Паллада, возможно, хотела уязвить своего врага Афродиту, говоря о маленьком ребенке не более чем пяти лет от роду, которого воинственная богиня увидела в колыбели, что в должное время эта девочка превзойдет красотой саму богиню люб-

ви. Но когда Афродита разыскала девочку, намереваясь удушить ее, то увидела, что они никогда не смогли бы стать соперницами, что бывает красота и иного рода; и богиня, наклонившись, поцеловала малышку в нежную щечку, прошептала благословение и пошла своей дорогой.

Она вскармливалась в безвестной колыбели, размышлял я, в незнатном доме или лачуге. Ее появление здесь определенно доказывало то, что она училась в известной афинской школе куртизанок, а может, уже и окончила ее. Впрочем, посещение этой школы еще не говорило о скромном происхождении. Многие дочери афинских аристократов, узнав по достижении брачного возраста, что их приданое потеряно или размотано, искали в этом выход из положения. Немало и других прибегало к этому средству, видя в нем возможность утолить свою страсть к приключениям.

В школу не допускались девушки непривлекательные, с изъянами, тупоголовые и косноязычные, неспособные играть на арфе, с акцентом, оскорбляющим тонкий слух афинянина. Почти всегда они были веселыми и жизнерадостными, любили шутку, умели пить, не напиваясь, и служили в первую очередь для развлечений, а уж потом для любовных утех. По своему желанию они могли отказаться от предлагаемого за их услуги золота, могли становиться любовницами своих избранников, но при этом лишались покровительства своей гильдии и вынуждены были сами устраивать свою жизнь. Стоили они по-разному, в зависимости от красоты и очарования, но не меньше одного статера за ночь. Считалось неэтичным, когда они отдавались понравившемуся им прохожему без вознаграждения, если это не было почетной наградой герою Олимпийских игр или прославленному наследнику короны. Так что это учреждение по праву можно было бы назвать дополнением к афинской демократии.

— Я Александр, сын Филиппа,— сказал я девице, когда мы раскланялись.

Она хихикнула самым очаровательным образом.

— Как будто мне нужно об этом говорить,— отвечала она.— Это все равно что Сфинксу представляться паломникам в пустыне. Твое описание уже известно не меньше, чем одноглазого Филиппа, который последние двадцать лет был страшным пугалом афинян. Не присест ли молодому царевичу?

— Если ты сядешь со мной.

— Об этом услышат мои внуки — если я доживу до этих лет. Александр, ты с виду странный, но смотреть на тебя чрезвычайно приятно. Чем дольше я это делаю, тем больше твой вид удивляет меня. Уж не Ахилл ли ты, который родился заново?

— Нет, я Александр, но мальчиком я поклонялся Ахиллу. Если бы я не смог быть Александром, я бы предпочел быть Ахиллом, родившимся заново, и никем другим из греков в истории или живущих сейчас.

— Тогда, царевич, со вчерашнего утра ты изменил свое решение. Говорят, ты пошел засвидетельствовать почтение старому цинику Диогену, который наслаждался досугом у себя во дворе. На твой вопрос, что ты для него можешь сделать, он ответил: «Мне от тебя ничего не надо, только, будь любезен, скажи своим спутникам, чтобы не загораживали солнце». И вместо того чтобы оскорбиться, ты сказал, что из всех греков ты бы предпочел быть Диогеном.

— Этот слух верен. Быстро же он распространился. Но все же я себе не противоречил: оба моих заявления истинны и соответствуют моменту, когда я их сделал. Вчера утром я позавидовал крепости ума и возрастному величию великого мизантропа, бесстрашному, как немолодой уже волк в последней схватке за власть над своей стаей. Но сегодня вечером я люблю юность, которую я разделяю с Ахиллом перед его преждевременной смертью. Иначе я бы не мог ухаживать за тобой.

— Достоинно вышел из положения, царевич. Не сомневаюсь, что на войне ты способен выпутаться из многих трудных ситуаций.

— С твоего разрешения, не будем говорить о войне. Не скажешь ли мне, как тебя зовут?

— Я полагала, ты знаешь, или, по крайней мере, хозяин этого дома сообщил тебе мое имя, когда указывал, куда тебе сесть. Заявление старого Леохара, что я послужу ему моделью Гебы, богини юности, завоевало мне некоторую известность. Я возглавляла многие процессии к храму Афродиты. А если спуститься немножко на землю, меня избрали царицей Сыновей Гедона\* на их празднике в Коринфе.

— Ты все же не сказала, как тебя зовут.

— Таис.

Она произнесла свое имя с грустной улыбкой. Я не знал, что за этим скрывается: возможно, досада оттого, что для меня ее имя ничего не значит — ведь, насколько мне известно, прежде я никогда его не слышал. Однако в свое время я его еще услышу. Все, что она говорила или делала, игра выражений на ее лице, ее теплый мелодичный голос не могли объяснить ее невыразимого обаяния. Нет, не я, а какой-нибудь царь с громким именем, который целиком унаследовал свое царство и которому нет нужды с кем-то бороться, который не испытывает никакого давления извне и не одержим обитающим в его груди демоном — именно такой царь позволит ей править его рукой, держащей скипетр. Если я и мог сопротивляться ее тонкой вкрадчивости, в чем я был вовсе не уверен, так только по двум причинам: в безжалостном честолюбии, доходящем до безумия, и в пробужденной во мне и созданной мной самим мечте, фантазии — когда я узнал юную с волосами цвета соломы малышку из далекой Бактрии.

— Ты говорила об Ахилле,— прервал я затянувшееся молчание.— Ты читала Гомера?

— Мне следовало прочесть, иначе меня бы признали темной невеждой. Один зеленый юнец, командир конницы, у которого молоко еще на губах не обсохло, из тех, кого мы развлекаем в школе на практических вечеринках, который не знал, что ему делать со своими красными ручищами, посмотрел на меня как на пресмыкающееся, когда я спутала Хрисеиду и Брисеиду. Естественно, я ошиблась, ведь обе были блестящие троянские красавицы, и Ахилл поссорился с царем\* из-за того, кому какая достанется...

— Это не совсем так...

— Во всяком случае, Брисеиде повезло больше. После того как царя заставили отказаться от Хрисеиды, так как она была посвящена Аполлону, царь отнял у Ахилла Брисеиду, чтобы не чувствовать своей потери, и Ахилл дулся на него в своем шатре. Но царь так и не призвал Брисеиду разделить с ним ложе... Интересно, как себя чувствуешь, когда тебя призывает на свое ложе настоящий царь... Наверное, царь вспомнил, каким вспыльчивым может быть Ахилл, и решил быть осторожным. Как бы там ни было, а все же Ахилл со временем получил назад свою девушку, перестал дуться, пошел на войну и завоевал Трою.

— Прекрасная аннотация всей «Илиады».

— Мне не понравилось там одно место — скорее, оно не вызвало у меня доверия.

— Какое?

— А ты на меня не рассердишься? Ведь я должна удовлетворять все твои прихоти. Хозяин этого дома сказал, что ситуация весьма... щекотливая. Афины, затаив дыхание, ждут, что случится сегодня вечером между мной и тобой. Это льстит, но и пугает.

— Я не рассержусь.

— Ну, тебе меня не убедить, что доблестный шлемоблещущий Гектор, укротитель лошадей, сын Гекубы и Приама, единственный поистине благородный мужчина в этой книге, мог пуститься наутек от Ахилла и три раза обежать стены Трои. Он бы не захотел пробежать и шага! Но хуже всего, если хочешь знать, вот что: я просто ненавидела Ахилла за то, что он исколол его всего уже мертвого! И только тогда, когда он уступил старому Приаму его тело, снова свежее, как роса, с зажившими ранами, только тогда я перестала его ненавидеть.

Зажегшиеся огнем глаза Таис снова обрели свою детскую мягкость.

— Нет жалости в природе, — сказал я ей. — Зачем было Ахиллу возвращать тело, вместо того чтобы скормить его собакам? Ведь это собственный сын Приама, Парис, похитил Елену. Так почему же Приам не вынудил Париса отослать ее назад и не предотвратил войну? И все же — все же доброта Ахилла к старику заставила меня испытать некоторое удовольствие.

— Разве ты не был доволен также и тем, что муж Елены принял ее назад?

— Не понимаю, к чему ты клонишь?

— Это свидетельствует о том, как действительно прекрасна была Елена и как человечен был царь.

В этот момент слуга принес кувшин вина, столь же драгоценного, что и содержащий его сосуд, украшенный золотыми и серебряными фигурками сатиров и нимф; верхом на козле во главе триумфальной процессии ехал Пан\* с большим и жестким фаллосом, который легко можно было принять за седельный рог. Вино из далекой Умбрии имело золотистый оттенок.

Слуга наполнил мой кубок, и я передал его Таис. Сам же попросил Клита принести мне чашу нашего фессалийского вина.

— Выпей его на свой страх и риск,— предложил я Таис, когда слуга не мог нас слышать.

— По-моему, тут нет никакого риска,— ответила девица.— Не тебе, а Филиппу следует сейчас опасаться чаши с ядом. Ты — надежда Афин. Горожане верят, что ты пощадишь священный город, если царь даст тебе разрешение. Мы думаем о тебе не как о македонце, а как об афинянине, с рождения оказавшемся в изгнании.

— Я македонец до последнего волоска на моей голове. Однако я чрезвычайно счастлив быть в одной компании с дочерью Афин, хотя и должен выполнять жесткие требования и воздерживаться от вина, если оно не налито моим собственным слугой.

— Может, ты поцелуешь мой кубок, чтобы я смогла выпить за твоё здоровье и долголетие.

Я выполнил её просьбу и, чтобы прозондировать глубину ума своей случайной подруги, поинтересовался, есть ли у неё какие-нибудь претензии к «Одиссее» Гомера, составляющей, как известно, пару «Илиаде».

— Никаких, если не считать того, что она слишком часто бывает скучна. Одно чудо, нагромождаемое на другое, вскоре утомляет читателя. Как ты думаешь, Александр, а не написана ли она более поздним поэтом — гораздо меньшего таланта, чем автор «Илиады»?

Собственно говоря, такая мысль приходила мне в голову. Но для меня было бы непростительной ересью сказать подобное нашим ученым; от других я тоже ничего похожего не слышал. Поэтому меня очень удивило, что я слышу это из ненакрашенных детских уст этой красивой девчонки — такой она мне представлялась, а вовсе не торговкой своими услугами.

— Тебе не хочется рассказать мне о своем происхождении, детстве и о том, что у тебя скрыто глубоко внутри? — спросил я.

— Да что говорить о моем происхождении и воспитании... В городе об этом знают все. Мой отец Гермаполлон полагает, что его род восходит к Тезею. Моя мать приходилась ему троюродной сестрой и была очень красива. Отец разбогател, торгуя рабами. За несколько недель до моего рождения он в битве с Филиппом под Харетом получил кастрационное ранение и с тех пор торговал только рабынями, отыскивая на рынках самых красивых. Похоже, поставляя их в благородные дома Греции и соседних



стран, он испытывал удовольствие, которое сам не мог уже испытать с женщиной,— даже не удовольствие, а страсть: после продажи рабыни он не мог уснуть до тех пор, пока не получал от покупателя сообщение о том, что она стоит вдвое дороже своей цены. Когда он стал замечать меня, он думал обо мне только как о любовнице какого-нибудь богатого отпрыска царского рода или аристократа, если уж мне не суждено будет стать знаменитой куртизанкой.

— Чем ты и стала.

— Еще нет. Меня приняли в школу, и теперь я обучилась почти всему, что должны знать ее питомицы: манерам, музыке, танцам, играм, научилась читать многие стихи и немного сочинять, вести беседу.

— Я грубый македонец и хочу задать грубый вопрос: вас совсем не обучали искусству любви?

Девушка слегка покраснела — совершенно искреннее проявление стыдливости, которое вряд ли можно было бы имитировать.

— По правде говоря, пожилые женщины иногда секретничали с нами.

— Разумеется, и речи не было о всяких там номерах, о которых я слышал...

Таис с негодованием прервала меня:

— Такое можно увидеть в борделях, а не в салонах госпожи Леты. Ну вот, я нарушила главное правило нашей профессии: никогда не прерывать собеседника. Ты, царевич, должен узнать, что за потерей девственной плевы следовало немедленное исключение из школы. Но если девушка мечтала обзавестись когда-нибудь семьей, на ее проступки смотрели сквозь пальцы. Такой позволялось все и ее не наказывали за потерю невинности, поскольку желающие выйти замуж почти никогда не становятся хорошими куртизанками. Мы жили в просторных комнатах, питались изысканной и дорогой пищей, одевались в роскошные одежды. Время от времени госпожа Лета устраивала для нас, собрав всех вместе, приемы, длившиеся до полуночи. За все это — за содержание и обучение — мы отдавали один статер в залог каждых пяти, вырученных нами потом. И так до тех пор, пока нам не исполнится двадцать и не истечет срок договора.

— Госпожа Лета, должно быть, весьма состоятельная особа, раз согласилась на такие большие расходы.

— Нет, она не очень богата. В ее дело вложили средства кое-кто из известных афинян. Мой собственный отец владеет половиной школы. Но не по этой причине я получила более широкое образование, чем большинство девушек, а скорее потому — я нисколько не хвастаюсь, — что я была более одаренной в танцах, умении вести беседу и, как считала госпожа Лета, в искусстве пробуждения желания.

— Значит, ты начинающая.

— Нет. Я еще не посвященная.

У меня перехватило дыхание и пришлось немного помолчать. Таис говорила очень тихо, едва различимо, подперев подбородок рукой, с задумчивым взглядом на прекрасном лице. Мы сидели совсем близко, и я ощущал тепло ее тела. Шум голосов в зале возрос, но не сильно, живее забегали слуги, потчuya гостей винами, кое-где в альковах задернули занавески. Не было явного сходства между этим благородно-изысканным пиршеством и пьяными оргиями, которыми Филипп имел обыкновение отмечать победу. Сходство появлялось только в последний момент.

— Можно я спрошу тебя, Таис?

— Ты, Александр, сын Филиппа, а я должна тебя развлекать.

— Спрошу тебя напрямик, грубо, по-македонски. Насколько я понял, ты еще девственница?

— Ну конечно. Неужели ты думаешь, что страшась за свою жизнь Афины, этот цветок цивилизации, принадлежащий всем странам, выходящим на Внутреннее море, могли бы предложить тебе меньшее?

— О, великий Зевс Олимпийский!

— Отчего ты так поражен? Или ты настолько еще новичок в завоеваниях, что не успел пока ощутить вкус власти, которую они дают?

— Нужно еще столько завоевать, что мой дух остается смиренным. Я боюсь говорить об этом — боюсь показаться грубым, — но каково вознаграждение за то, что ты отдашь-ся в первый раз?

— Отец упоминал о большой сумме золотых талантов.

— За которую у тирийцев можно было бы купить одну из их лучших трирем!

— Конечно, ты понимаешь, что, если ты хочешь меня сегодня вечером, я приду к тебе как дар. Это будет по-

четной наградой за смягчение условий перемирия с Афинами после их тяжкого поражения.

— Сами условия не были такими уж мягкими. И они оговаривались Филиппом, а не мною.

— Ты также понимаешь, что госпожа Лета и мой отец получают вознаграждение из городской казны.

— А как ты сама относишься к этому, Таис?

— Можно сказать, я польщена, хоть и смущаюсь немного. Я афинянка и с радостью готова отдаться даже и козлоному сатиру, если это принесет ощутимую пользу моему родному городу. Многие, с кем я танцевала на наших праздниках, погибли в Херонее. Ты не козлоногий сатир, а юноша, на которого приятно смотреть, прекрасный наездник, и ты покори́л меня своей вежливостью. Царевич, неизбежный час моей зрелости наступил уж давно, и могу ли я желать большего, если меня просит отдаться ему прославленный отпрыск царского рода?

— Может, наклонишься немного ко мне, чтобы я мог тебя поцеловать?

— Задернуть занавеску?

— Не надо.

Она исполнила мою просьбу, и это чудное соприкосновение с ее губами позволило мне ощутить радость погружения в обволакивающую ее красоту.

— Я хочу тебя сегодня, Таис, но есть одно условие, которое необходимо выполнить.

Мягкий свет в ее глазах моментально погас. Страх в них не было — только чуткая настороженность.

— Ты мне скажешь, что это за условие?

— Да. Ты примешь мой дар золотых талантов.

Она отпрянула от меня, глубоко задетая за живое. Не заплакала, не произнесла ни звука, но было видно, что ей очень больно. Наконец губы ее пошевелились; она заговорила:

— И это говорит Александр, сын владыки всей Греции, сам победитель, разбивший великую фиванскую фалангу и уничтоживший Священную Ленту.

— Так и должен говорить, будучи пленником этих деяний и этого наследия, тот, кто действует и побеждает.

— Значит, иного выбора у меня нет. Я должна принять твое условие.

— Но только с радостью. Иначе я не согласен. И вот что еще. Не знаю, почему или каким образом, но то, что

я скажу, могло бы уменьшить преграду, которую воздвигают между нами троны, короны и победы. В этом нет никакой логики. Я только смутно чувствую, может, только мечтаю, что, когда ты будешь об этом знать, в другом свете предстанет союз наших тел, эта ночь любовной взаимности. Мы с тобой, Таис, в некотором смысле находимся в одинаковом положении. Я слегка приласкал одну девушку, но она осталась девственницей, так что я тоже остаюсь непосвященным.

Она резко вздохнула, словно ей не хватало воздуха.

— Царевич, мне в это как-то не верится.

— Не заставишь же ты меня клясться, Таис.

— Конечно, нет! Я только поплачу. Тогда этот союз, эту взаимность благословят боги, даже строгая Афина Паллада, наша божественная покровительница. Моя судьба — стать куртизанкой, но как мало горечи в моем первом падении! Александр, сердцем я уже с тобой. Страсть моя разгорается, твоя тоже: я вижу, как пылает твое лицо и сверкают глаза. Если ты желаешь, мой господин, пойдем со мной. Я вытру слезы и буду улыбаться любопытным, когда мы пойдем к выходу — здесь все будут радоваться нашему уходу, зная его причину. Уменьшится их беспокойство за судьбу Афин. А что до нас с тобой, мы предадимся таким радостям, что тебе позавидует бог войны, обвитый прекрасными руками Афродиты, а мне, Таис, позавидует та, что в наших культах зовется Киферой. И если меня за мое нечестивое хвастовство не поразит гнев Божий, нас ожидает чудесная ночь.

## 10

Размышляя над встречей с Таис, я пришел к единственному определенному заключению, что она дала мне много земного и в то же время возвышенного счастья и что я недаром потратил свои золотые таланты. Отныне свидание с Таис принесет богатую награду любому поэту, философу, путешественнику или царю, каковы бы ни были его возраст и любовный опыт, — если, конечно, у него будет при себе туго набитый кошелек. Да что там — даже тупейшему олуху будет доступна жизнь, полная чувства и мысли.

Я не мог этого объяснить; мне только казалось, что все это очарование Таис — ее внешность, манеры, ее голос и

мысли — проистекает из одного источника, имя которому эротичность, и в этом состоит главная ее гениальность. Я не мог сравнить ее с другими девицами, не обладая ни одной из них в полном смысле слова. Интуитивно я чувствовал, что, если смерть пощадит ее достаточно долго, она, наравне с Аспазией, станет второй знаменитой куртизанкой в истории Эллады.

Составив проект договора, который предстояло ратифицировать Филиппу, я вернулся в Пеллу. Там я исполнял функции регента, тогда как Филипп устроил что-то вроде демонстрации на дальнем юге, сперва захватив Коринф и нанеся заключительные штрихи, как скульптор на прекрасно выделанную статую, на свой греческий доминион, фактически укрепляя базу для предполагаемой экспедиции в Малую Азию с целью захвата греческих колоний, находящихся во власти Персии. Антипатр готовил запасы и обучал солдат для нового похода. Тем временем на западе жужжали пчелы, в основном в уме Олимпиады, — она подбивала к восстанию горные племена. Это не предвещало ничего хорошего для меня как наследника македонского трона: чем больше между нею и Филиппом расширялась трещина, тем выше поднимался невидимый опасный барьер между Филиппом и мною.

Олимпиада возлагала свои надежды на брата Александра, могущественного царя племени молоссов, живших в Эпире, но Филипп нанес один из своих внезапных, коварных и могучих ударов, расстроивший все ее планы.

Мне не представилась еще возможность упомянуть в этой летописи мою единственную законную сестру, Клеопатру, тезку молодой жены Филиппа. Между нами было мало симпатии и понимания. Даже Клитя я знал вдвое лучше, чем ее. Она была хорошенькой, хрупкой и нерешительной и идеально подходила для той роли, которую ей отвела судьба, — роли пешки в играх Филиппа. Чтобы привлечь на свою сторону потенциально опасного врага, Александра, он предложил ему жениться на моей сестре Клеопатре, приходящейся ему племянницей. К ярости Олимпиады, царь молоссов живо откликнулся на это предложение, отказался от сговора с сестрой, и в октябре, за несколько дней до моего двадцатилетия, была назначена свадьба.

Этому событию надлежало быть праздничным и великолепным, ибо повелитель всей Греции выдавал замуж свою

дочь Клеопатру за вождя могущественного племени. Филипп разослал приглашения, по сути — настоящие приказы, не только членам своей марионеточной лиги, но и всем подчиненным ему царям, государственным деятелям, ученым, поэтам, драматургам, художникам и скульпторам. Собирались самые известные актеры и музыканты. Победителям Олимпийских игр предстояло выступить в состязаниях, должны были разыгрываться театральные представления и пиры сибаритов\* следовать один за другим.

Но Филипп был не из тех, кто пренебрегает более серьезными делами ради таких мелочей. Он оставался грубым и твердым, одноглазым и хромым старым воякой. Пока дворец в Эги драпировали для свадьбы, он послал Аттала с десятью тысячами солдат в Малую Азию для захвата тактически важных населенных пунктов и подготовки их для прибытия основных сил осенью. Вслед за ним вскоре должен был отправиться Парменион.

И вот на исходе лета Олимпиаде был нанесен второй смертельный удар. Жена Филиппа, моя приемная мать, занявшая место Олимпиады, затяжелела. Она не умерла в родовых муках и родила не девочку, как предсказывали гадания Олимпиады, а крепкого мальчика, получившего имя полулегендарного царя Македонии Карана, которого Филипп почитал как героя.

Меня немного напугало, но вовсе не удивило, когда Олимпиада оставила свое жилище в Эпире, чтобы появиться на свадьбе.

Среди больших кипящих горшков недовольства царем Филиппом был один совсем небольшой, из которого выбивалась струйка пара, вроде бы и не стоящая внимания. Я все-таки прислушался к этой истории, ибо в ней принимал участие Аттал, которого я так и не мог выбросить из головы из-за того тоста на свадьбе Филиппа и Клеопатры. Он, без сомнения, нанес молодому родовитому командиру отряда грязное оскорбление. Этот командир, Павсаний, не очень-то подходил для своей командирской роли, будучи слишком напыщенным, и ходили слухи, что он гермафродит, о чем якобы говорили его манерность и высокий голос. Аттал отказался извиняться за свое оскорбление, и Павсаний обратился с жалобой к Филиппу, но безрезультатно. Теперь, когда Аттал отплыл в Малую Азию, молодой человек не находил себе покоя от мрачных мыслей.

Случилось так, что однажды лунным вечером в заброшенном саду дворца я приблизился к ажурной беседке, увитой зеленью. В ней разглядел я парочку, очевидно, назначившую тайное свидание. Первой беседку оставила женщина. Ее походка, фигура и смутно освещенное лицо показались мне очень знакомыми. Конечно же, это могла быть только Олимпиада.

Минутой позже наружу вышел мужчина. Я тихо отступил с тропинки поближе к тени и, приглядевшись, узнал в нем без всякого сомнения оскорбленного Павсания.

Вернувшись к себе, я задумался над трудной моральной проблемой: враги Филиппа уединились для тайной беседы — сообщать ли отцу об этой встрече? Не сообщить — значило бы причинить ему вред, а если бы я сообщил, это поставило бы под удар мою мать. Филипп был бы только рад обвинить ее в заговоре и убрать со своего пути, а я бы стал невольным убийцей матери. Я не мог предвидеть будущего развития событий и поэтому решил не вмешиваться.

На рассвете дня бракосочетания собрались толпы людей, чтобы полюбоваться на движущуюся к театру свадебную процессию. Вдоль колоннады первыми шли жрецы, несущие изображения двенадцати олимпийских богов; тринадцатый жрец нес небольшую статую Филиппа. За ними на значительном расстоянии шел сам Филипп, одетый в белую мантию и с лавровым венком на голове. Ни близкой к нему знати, ни телохранителям не было позволено следовать за ним — Филипп хотел показать всему греческому миру, как он великолепен в своем одиночестве, хотел напомнить, что он один, без помощи какого-либо другого царя, овладел всей Грецией.

Сам не зная того, он неумолимо приближался к перекрестку времени и событий. Спрятавшись у ворот, его поджидал Павсаний. Он выскочил с обнаженным мечом в руке и вонзил острый клинок в тело царя, издав при этом нечленораздельный крик, после чего бросился к взнузданной лошади, дожидавшейся всего лишь в нескольких шагах с поводьями, зацепленными за сломанную ветку.

Дорогу меж колонн моментально запрудили перепуганные хозяева праздника, и убийца мог ускользнуть. Но случилось так — возможно, это было угодно богам, — что за одну из его сандалий зацепилась виноградная лоза, и

он упал. Прежде чем он успел вновь встать на ноги, с десяток копий приковали его к земле.

Именно Я своим криком утихомирил толпу. Не знаю, как удалось мне перекрыть шум и почему охранники и побледневшие жрецы обратили на мой окрик внимание, если не предположить, что я как стоящий ближе всех к трону являлся в их глазах представителем короны или ее наследником. Подобно сложенным крыльям, на толпу опустилось молчание. Я медленно — ибо не было нужды торопиться — подошел к тому месту, где лежал мой отец. Побывав в сражении, я достаточно насмотрелся на мертвых и сразу понял, что свет жизни в его глазах окончательно угас; понял я и то, почему Гомер часто пользовался выражением «его глаза покрыла тьма».

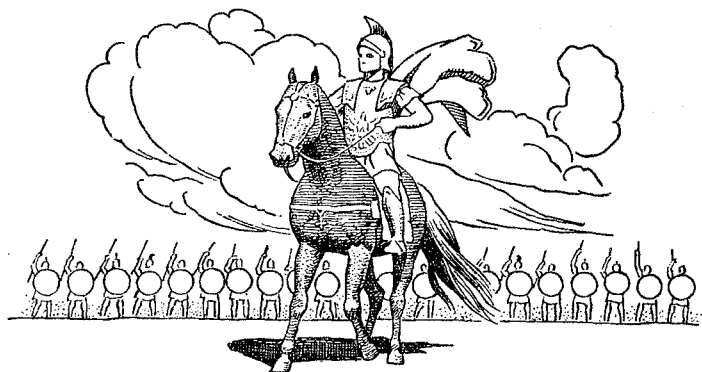
Отец упал головой вперед, слегка повернув ее вбок и распластав руки. Его мантия белого цвета стала ярко-красной; куда-то исчезло его царственное величие, и он казался таким маленьким! В этом не было никакого чуда: просто вдруг стерлись все приметы его личности. Казалось невозможным, чтобы кипучая энергия Филиппа, его грубость и сила улетучились сквозь рану, пробитую в его теле вражеским мечом. Но увы — остался только прах.

Перехватив взгляд Пармениона, я нарушил жуткое молчание, сказав: «Царь мертв».

Он тут же прогремел в ответ:

— Да здравствует царь!





### Глава 3

## ПОБЕДА И ОПАСНОСТЬ

### 1

Я не мог «здравствовать» долго, если бы не приступил немедленно, прямо сейчас, к стремительным действиям.

Назначив родственника моей матери, Леонида, распорядителем останков и похорон отца, я тут же объявил о сборе македонского войска в ближайшей долине Вардар. Мне надо было заручиться его верностью, без которой я был ничто. В белых доспехах на черном жеребце я проехался вдоль выстроившихся рядов, и солдаты с радостью в сердцах вспомнили, как впереди доблестных гетайров я обрушился на страшную фиванскую фалангу с фланга. Я ел с ними их грубую пищу, парировал их грубые шутки. Этот элитарный отряд разразился овацией, решившей, буду ли я иметь поддержку армии: они салютовали мне мощным ревом голосов и поднятыми вверх пиками. Их рев подхватили пехотинцы, стуча по щитам рукоятками мечей, а фаланга построилась знаменитой стеной, сомкнув щиты и ошетилившись копьями. Позволив им накричаться сколько душе угодно, я велел трубить сигнал возвращения в казармы.

До того как уехать с поля, я отправил пять лошадей в сопровождении двух быстрых всадников в город Пидну, где томились в изгнании Птолемей, Гарпал и другие мои

юные друзья. Они мне здорово понадобятся, думал я, пока я еще жив.

Одной только поддержки армии было недостаточно, чтобы обеспечить мне преемственность царской власти, но она придала мне уверенность в борьбе с противниками моего престолонаследия. У нас сильна была партия шовинистов: они ратовали за то, чтобы на троне Македонии восседал македонец, а не сын варварки, которую сам Филипп обвинял в измене,— а посему я не законный его наследник, а безымянный ублюдок. Много было также и тех, кому не нравились мои «греческие» манеры и иностранные понятия, кто возмущался тем, что я не живу по-македонски. Наибольшая угроза для меня как наследника короны исходила от моего двоюродного брата Аминты, настоящего македонца, и новорожденного сына Клеопатры.

На пир по случаю моего избрания собрались все члены Совета и множество посланцев других государств. Им я ясно дал понять, что намерен остаться на посту стратега всей Греции и главы Совета. Все присутствующие пообещали сохранить мне верность, которая, я знал, превратится в пустую труху и разлетится по ветру в тот самый момент, когда проявлю слабость.

Я никак не мог позволить себе быть слабым. Перед короной должно было скатиться немало голов, прежде чем она прочно утвердится на моей собственной голове. Я стал думать, кому из своих ближайших друзей мог бы доверить это мрачное кровавое дело, и остановил свой выбор на косолапом Гарпале. Я видел, как при Херонее он ехал по полю и добивал копьем всех раненых врагов на своем пути. На листе бумаги я написал несколько имен и против некоторых из них сделал пометку. Первыми шли имена двух царских отпрысков из Линкестиды, товарищей Павсания по пирушкам, разделявших его гнев против Филиппа, который не желал исправлять своих ошибок. Если бы я не действовал стремительно и безжалостно против всех, подозреваемых в том, что он знал о заговоре, меня бы самого обвинили в причастности к нему. Возле имени третьего я поставил знак вопроса: он поклялся в верности мне сразу же после убийства Филиппа.

Что было делать с Атталом, дядей Клеопатры? Я приказал, чтобы его арестовали, а если это не подействует, чтобы его сослали туда, откуда он бы не смог больше

оспаривать мои притязания на корону в пользу своего племянника. Это нажило мне сильных врагов в клане Аттала, родовитых, имеющих большую власть, и у меня не оставалось никакого выхода, кроме одного. Ведь даже такой человек, как Платон, открыто признавал, что оправдывается зло, сотворенное ради пользы и безопасности государства; и Аристотель повторно выразил это убеждение. Таким образом в Македонии строго соблюдалась традиция большого кровопускания при восхождении на трон нового царя — та же самая, что и в Персии, да и в любом другом монархическом государстве, завоевавшем себе имя и широкое признание. Я не сомневался, что после моей смерти в бою или от меча заговорщика эта традиция не умрет.

К счастью, мне не нужно было лично разбираться с Клеопатрой и ее новорожденным. Роксана рассказывала мне об обитающих в далекой Азии львах с черными и желтыми полосами, которых в Индии называли «ба». Они были пострашней серовато-коричневых львов и куда более коварными. Один такой был и среди моих домашних. Олимпиада ненавидела Клеопатру и ее отпрыска такой лютой ненавистью, какой не знал ни один дикий зверь. Я бы предпочел не слышать о том, во что она выльется, но это было трусливое желание и лицемерное — ведь не запретив, я разрешил. И все же я думал, что никогда больше не поцелую мать, не ощутив на ее губах вкус крови.

Невинного младенца закололи на руках у его матери; сама же она, разбитая горем, в трогательном страхе за свое юное и прекрасное тело, которое искалечит сталь, выбрала смерть от веревки. Больше я ничего не знал.

Пока происходили эти жуткие события, вся Греция радовалась смерти Филиппа и кажущемуся падению его власти в Македонии. Эти новости подтвердили правильность избранного мною кровавого пути к укреплению безопасности и усилению мощи моей власти. Будучи в трауре по своей умершей неделю назад дочери, Демосфен все же выступил перед Советом в своем праздничном платье, объявил Павсания героем-мучеником и попросил Совет издать декрет, устанавливающий день общественного благодарения за избавление страны от тирана. Его спросили, каким образом эта новость так быстро дошла до него. Он отменно солгал, будто эти славные вести

принесла, явившись ему во сне, Афина Паллада и что, более того, она сообщила по секрету, будто я, Александр, не более чем набитый соломой лев, который не осмелится покинуть свою золотую клетку в Пелле. Его красноречие повлияло на Совет и было услышано далеко за пределами Афин: фиванцы взяли за оружие и изгнали из цитадели македонский гарнизон, амбракиоты тоже; другие полисы совершили враждебные акции. Вся Греция была в беспорядке. Филипп лучше меня знал бы, что делать. Нет, мне бы не хотелось, чтобы Филипп вернулся из небытия и приказывал мне, но я бы с удовольствием выслушал старого тактика Антипатра, который мог бы дать мне несколько советов — скорее всего, как проявить выдержку и умеренность. Кое-какие из наставлений я бы принял, но большинство бы отверг. Я решился выступить в тайный поход с большими силами.

Солдатам не дали попрощаться с женами и возлюбленными. И вот двадцать пять тысяч уже оказались в пути. Каждый пехотинец нес свое собственное оружие и ранец, так как при наибольшем количестве лошадей под седлом мы взяли с собой как можно меньше вьючных и только крайне необходимое число рабов. Первое препятствие нас поджидало в конце второго дня пути в устье реки Пеней, как только мы миновали долину Темпе. Мы не могли войти в проход, пока начальник фессалийского отряда в Пидне с несколькими помощниками не получит разрешения от старшего начальства в Лариссе. Его можно было бы и подкупить; без сомнения, можно было бы взять этот проход стремительным приступом. Вместо этого, к печали чиновников и радости моих солдат, я приказал прорубить тропу вдоль горы Осса, выходящей к морю. Они живо исполнили мое приказание — все молодые ребята под предводительством также молодого человека, при отсутствии седобородых стариканов с их ворчанием и неодобрительным показыванием голов.

Преодолевая пересеченную местность, карабкаясь на кручи, перебираясь через теснины, мы овладели вратами Лариссы еще до того, как гонцы из Пидны принесли новость о нашем прибытии.

С испуганными лариссианцами я быстро и уверенно вступил в дружеские отношения. Они поставили меня архонтом Фессалии, не прибегая к долгим церемониям, и избрали гегемоном Лиги, где я занял место Филиппа. Для

меня эти любезности мало что значили, разве что давали право призывать под свои знамена превосходных фессалийских всадников, уступающих только моим несравненным гетайрам. Я представил себе кислое лицо Демосфена, когда с первым гонцом из Лариссы придут к нему эти новости, и пришел в мальчишеский восторг. Тем временем мы за три дня проделали семьдесят миль и были в Фермопилах, где я сразу же собрал Совет. Убедившись в их лояльности, мы поспешили в Фивы, стали лагерем у их стен, рядом с цитаделью. К этому времени Афины, в пятидесяти милях от Фив, были охвачены волнением. Сельские жители сбежались в город, под защиту его стен; созвали городское собрание, избрали послов и готовы были согласиться на любые угодные мне условия мира. Вырвав листок из записной книжки Филиппа, я письменно заверил афинян в моих мирных намерениях, в почтении и любви ко всему эллинскому и пообещал предоставить им самоуправление. За такую политику, проводимую в моих же лучших интересах, я удостоился двух золотых венков и звания благодетеля города.

Наука матери или, скорее, ее внушения о пользе мистицизма все еще цепко жили в моем сознании, и я физически не мог взяться за осуществление своих широких планов, не посоветовавшись с дельфийской жрицей, самой знаменитой в эллинском мире, предсказания которой, как было известно, всегда сбывались. Да, уже прошла осенняя пора, убрали урожай и не положено было давать предсказаний; зимой в храме поклонялись богу Виноградной Лозы Дионису и богине Урожая Деметре. Но все же я разыскал прорицательницу в ее келье и совершил кощунство: когда она отказалась садиться на треножник, я схватил ее за руку и потащил к нему силой. «Тебе невозможно сопротивляться!» — вырвалось у нее.

Я услышал от нее то, что хотел, и ни в каком другом предсказании я больше не нуждался — иначе мог бы услышать нечто совсем противоположное. С легкостью убедив себя в том, что ее устами говорил сам бог Аполлон, как будто бы она сидела в исходящих из скалы парах, я не стал испытывать судьбу, сделал храму приношение из золотых монет и удалился.

Я еще не воевал в качестве царя Македонии и главнокомандующего ее армий, но знал, что время не заставляет долго ждать: горные кланы и племена, которые

вечно не давали покоя Филиппу, снова, тайно или открыто, выражали свое недовольство. Старый одноглазый царь умер, думали они, возможно, у сына его не тот характер. Эти дикари, что жили на севере, ничего не желали делать — только охотиться, воевать, роптать да расхищать чужое. А наши недавно покоренные соседи, фракийцы и иллирийцы, подшучивая над своим ярмом, весело смотрели на их грабежи. Если бы я действительно был набитым соломой львом, как назвал меня Демосфен, и не нанес бы им прямого удара, они бы тоже взбунтовались. Да, не следовало мне предпринимать задуманного мной великого похода на восток, не обезопасив всю древнюю Элладу и ее границы; кроме того, царю Македонии должны были заплатить по старому долгу трибаллы, один из самых воинственных кланов. Это они, застав Филиппа врасплох, отняли у него добычу, захваченную им в Дунайском походе.

Ранней весной я после своего коронования отправился с сильным войском к границе трибаллов — живших не более чем в неделе пешего пути к западу от Эвксинского моря. Там нам пришлось выдержать сражение, в котором бывалые воины увидели для себя что-то новое. Проходя по длинному ущелью, мы вышли на племя фракийцев, которые в союзе с горцами занимали возвышающиеся над нами горные кручи. Их главным оружием были тяжелые телеги, которые они держали наготове на краю крутых обрывов. Ясно, что они намеревались столкнуть их на наши головы, когда мы будем проходить внизу, и под этой страшной лавиной нам бы не поздоровилось.

Чтобы перевалить через гору без тяжелых потерь, я составил хитрый план, который старый Антипатр, будь он командующим, наверняка отверг бы как безрассудно рискованный. Я отдал своим гоплитам приказ идти как можно более разреженным строем, чтобы телеги не могли задеть людей, а в узких местах, где раздвинуться нельзя, пусть они ложатся, прижавшись друг к другу, и укроются тесно сомкнутыми щитами, наподобие крыши.

Загремели, устремившись вниз, страшные снаряды, набирая скорость с каждым поворотом колеса, порой взлетая над землей, переворачиваясь и разбиваясь вдребзги. Какое там рискованное, — думал я о своем предприятии, — эти телеги перемелют кости десяткам храбрых моих соратников. Но результат был настолько поразитель-

ным, что этого я не забуду до конца своих дней. Солдатам удалось избежать всех телег, кроме четырех, которые, ударившись о щиты, отлетели далеко в сторону, так что ни один человек серьезно не пострадал и ни одна кость не была сломана.

Я тут же протрубил сигнал атаки, в которую воины бросились с устрашающими криками. Если бы слабо вооруженные варвары смекнули, что после неудачи с телегами им лучше обратиться в бегство, большинство из них смогли бы остаться в живых, но, будучи не трусливого десятка, они продолжали сопротивляться, и наша сталь косила их рядами. Их пало около полутора тысяч — замертво или со смертельными ранами. Помимо прочей добычи мы захватили множество женщин и детей, чтобы отослать их в города на побережье Эвксинского моря, где они будут проданы в рабство. Народ этого племени отличался необычайной красотой, почти все женщины были яркими блондинками, так что вряд ли их ожидала тяжелая участь. Многие красавицы, размышляя, станут наложницами или рабынями в роскошной обстановке гаремов.

Моя хорошо обученная армия быстро расправилась с вооруженными варварами у подножья гор. Те, кто остался в живых, сбежали на остров посреди могучей реки. Мы упорно преследовали их, но наши наспех сколоченные суда не смогли причалить к крутым берегам острова. На противоположном берегу собралось большое племя гетов, видимо, ожидая, когда им преподадут хороший урок. На челноках и плотах из мехов, набитых сеном, я с наступлением ночной темноты с сильным отрядом переправился через реку. Высадившись на поле, где колосились высокие хлеба, мы крадучись подобралась к их лагерю и с первыми лучами рассвета напали. Застигнутые врасплох геты в основной своей массе пустились в бегство, оставив убитых и раненых лежать там, где они пали.

Я надеялся, что эта карательная акция успокоит волнения у моих северных границ и обезопасит их, ибо когда мы снова переправились в свой лагерь, к нам отовсюду стали прибывать послы, чтобы отдать мне дань уважения и просить о мире. Многие обещали прислать солдат для моей армии: крепких метателей дротиков, лучников и превосходных наездников. Но стоило мне отправиться в обратный путь на родину по землям агриан, как гонец

принес весть о восстании вождя племени трибаллов, который носил любимое мной имя, принадлежавшее другу моего детства Клиту. Клит вступил в союз с другим вождем по имени Главкий. Получив подкрепление от кланов, я подступил к цитадели Клита на македонской границе. Дрожащие туземцы говорили нам, что нас непременно побьют, так как Клит принес в жертву всемогущему богу трех мальчиков, трех девочек и трех черных баранов.

Наш первый же ложный выпад заставил гарнизон скрыться за стенами города. Прежде чем мы установили осадные орудия, мои лазутчики сообщили, что Главкий ведет на помощь своему союзнику сильное войско. Наперехват ему выехала моя тяжелая конница, но заблудилась в теснинах и чуть было не попала в ловушку, что явилось бы для нас неизмеримым бедствием. Я поспешил ей на выручку, собрав все силы, которые у меня были под рукой, — пестрое воинство из агрианских лучников и копейщиков и тысячи моих ветеранов, с которыми Главкию вряд ли бы захотелось вступить в бой. В тот день пехотинцы торжественно окрестили мою элитарную конницу «заблудшими овцами», но тем было не до обид — с таким рвением возносили они благодарственные молитвы Зевсу и Посейдону, богу коней, за то, что им чудом удалось спастись.

Три ночи спустя мы напали на неохраемый лагерь Клита. Многие из его горцев, едва пробудившись от одного сна, навеки заснули другим, более глубоким. И теперь, подавив все открытые восстания, уж почти полгода не видя, как течет Аксий, мы собрались с силами для обратного похода в Македонию.

Тем временем за горами время и события не стояли на месте. В день похорон Филиппа пришло несомненное свидетельство смерти царя Персии Артаксеркса, хотя слухи об этом дошли до нас еще раньше. Он был убит убийцей своего отца, евнухом Багосом, который теперь посадил на трон одного из наследников царствующего дома Ахеменидов Кодомана. Последний взял себе имя Дарий III. Все сообщения говорили о том, что как личность и полководец это могущественный человек. Непосредственно под его начальством служил Мемнон из Родоса, прославленный военачальник, остановивший вторжение Пармениона в Малую Азию и гнавший его назад до Геллеспонта. Таково было положение дел в далекой Персии. А что же в мое долгое отсутствие происходило по соседству?



Об этом я узнал как раз вовремя. Грецию облетела молва, что я погиб в битве в Иллирии. В своем стремлении принять желаемое за действительность фиванцы и афиняне решили, что так оно и есть. Демосфен представил свидетеля, клявшегося, что он видел мой труп. Дарий III послал сотни талантов персидского золота, чтобы подкупить греческую верхушку и вооружить греческих солдат, которые должны были восстать против власти Македонии.

Они решили, что теперь, когда Филипп лежит в своей гробнице, а Александр стал добычей воронов на какой-то одинокой скале, все у них пройдет гладко. Повторялась старая история: элейцы изгнали моих сторонников, Афины превратились в военный лагерь. Фиванские изгнанники вернулись в родной город, что послужило еще одним доказательством моей смерти. На улицах стали убивать моих воинов, Кадмейскую цитадель окружили блокадным кольцом. Трезвые граждане, те, что настаивали на осторожности, подвергнулись избиениям. С караваном телег прибыло оружие, купленное на персидское золото. Поскольку Коринфский договор явно потерял силу, всенародно было объявлено об освобождении Фив из-под власти Македонии. Под звон колоколов отслужили благодарственный молебен и отпраздновали это событие пирами.

По всей Греции из Афин помчались гонцы, провозглашая вновь обретенную свободу. Войско из Аркадии вышло на воссоединение с афинским. Во всех отношениях государство, оформившееся при Филиппе и консолидировавшееся под Херонеей, разваливалось на части.

Я услышал эти новости, преследуя мятежных иллирийцев. Собрав все свои полки, я повернул на юг — к общей радости солдат, хотя они еще не знали, куда мы идем. «Дело пахнет жареным», — поговаривали они; и эта старая поговорка очень хорошо подходила к данному случаю, когда я приказал им пройти форсированным маршем долину реки Галиакмон. На седьмой день пути мы достигли северной Фессалии, а на восьмой вышли на равнину. На следующий день мы прошли Фермопилы и вступили в Беотию. Весь поход занял у нас тринадцать дней, причем последние сто двадцать стадий мы отшагали за шесть дней. Мы догоняли и обгоняли беженцев из северных городов, видевших, как мы проходили мимо. Мы были в Амфиссе,

что рядом с Фивами, прежде, чем там узнали о нашем приближении.

Фиванские власти отказались этому верить. Некоторые считали, что карательным войском командует старый Антипатр или же Александр из Линкестии. Разбив лагерь у южных ворот Фив, я облачился в свои белые доспехи и проехался на Букефале перед толпой вытаращивших на меня глаза зрителей. Все сомнения отпали. Доказательством тому служили войсковые ополчения из близлежащих полисов, которые питали ненависть к Фивам и спешили, надеясь поживиться добычей. Я дал фиванцам срок одуматься и сложить оружие без ущерба для своей чести. Вместо этого они выслали всадников, чтобы пощекотать мои передовые посты — но их быстро рассеяли. На следующий день я перенес лагерь поближе к цитадели и стал выжидать, надеясь снискать себе славу терпеливого и миролюбивого человека, хотя, по правде говоря, мне не терпелось услышать звон оружия.

В ответ на мое требование открыть ворота и выдать главарей восстания я получил от этих же главарей наглое письмо с требованием выдать им Антипатра и командира Кадмейского отряда. Последней каплей, переполнившей чашу моего терпения, явился герольд на городской стене, призывавший всю Грецию сплотиться вокруг Фив и с помощью персидского царя уничтожить узурпатора, грабителя и тирана почище собственного отца, Филиппа.

Мой старый товарищ Пердикка, несший охрану лагеря и стоявший со своим отрядом впереди него, ударил первым. Историки будут полагать, что сделал он это, не дожидаясь моего приказа, — эта шутка чрезвычайно потешала моего веселого друга. Он кинулся на частокол, разметал его, и тут же вслед за ним повел свой отряд Птолемея, еще один «ослушавшийся» воли своего миролюбивого полководца начальник. Тогда фиванцы подтянули к месту прорыва все свои силы и выбили вторгшегося противника, который понес потери. Как я и предполагал, фиванцы сели отступающим на хвост, и когда большое их войско оказалось за воротами, моя фаланга, как ни странно, уже выстроенная и готовая к бою, нанесла им сокрушительный удар. Они бросились в беспорядочное бегство, преследуемые по пятам моими всадниками, и не успели закрыть ворота, которые тут же оказались в наших руках. Сквозь них основные мои силы ворвались в город, и к ним

присоединился сделавший вылазку гарнизон — солдаты его так и кипели от ярости. Фиванцы попробовали было в последний раз закрепиться на площади народных собраний, но бесполезно — их смела моя фаланга, и сражение окончилось скверно: вражеские солдаты убегали и прятались в узких улицах и переулках, забегали в дома и магазины, забивались в углы, где их находила холодная сталь и, не зная жалости, убивала и убивала.

Около шести тысяч погибло в тот день, а наказание не свершилось еще и наполовину. По моему приказанию весь город, за исключением святынь и дома поэта Пиндара, был скрыт до основания. С какой радостью принимали участие в избиении фиванцев жители близлежащих полисов, давно уже стонавших под жестокой властью Фив. Осталось, однако, в живых тридцать тысяч; и все они, кроме нескольких сторонников Македонии, были поделены на партии и проданы в рабство на большом рынке в Коринфе.

Работоторговцы жаловались, что такой избыток рабов привел к затовариванию невольничьего рынка. Это было единственное недовольство, которое возникло у них в связи с разрушением Фив. Вот какой мрачный конец постиг древний и величавый город, где родился мой предок Геракл. Против Фив ходила в бой Бессмертная Семерка\* в великой трагедии Эсхила. Когда-то ее правящим домом был великий Дом Кадма\*, откуда происходил терзаемый богами Эдип.

Воистину жестокая судьба постигла город, но невозможно было как-то иначе объединить Грецию под моим знаменем, не было иного урока, чтобы научить ее покорности, пока я буду топтать земли старого врага Эллады и всего эллинского мира — Персии.

И вот еще что: разве фиванцы не нарушили своей клятвы — клятвы верности мне, своему царю, Александру?

## 2

Весной года 22-го о.А. я повел свою армию из Пеллы на восток, по первому отрезку пути, протяженность которого знали только боги, да еще могли предсказать мне мои смутные и невероятные мечты. Я знал, куда хочу идти: сначала до Геллеспонта, а там все дальше и дальше

по не отмеченным на карте просторам Персидской империи, совершая по пути завоевания, и вторгнуться в Индию, чтобы отдать дань уважения шаху. От Океанского моря, я полагал, она будет всего лишь в нескольких днях пути.

О таком мероприятии до меня еще не помышлял ни один завоеватель. Геродот, опубликовавший свое великое произведение за сто одиннадцать лет до моего рождения, ни о чем равном этому не упоминал. Когда я обратился с этим вопросом к Шаламаресу, дяде Роксаны, он сказал, что ничего не знает о таких завоеваниях, хотя сам склонен верить в тот морской путь, на который ссылался Геродот. Если это факт, а не вымысел, путь был пройден за триста пятьдесят лет до моего рождения и был протяженной предполагаемого мной пути, хотя и имел целью исследования, а не завоевания.

Согласно этой ссылке, смелые купцы из Тира и Сидона оснастили флот на Красном море и, обогнув Африку, вернулись путем Геркулесовых Столпов. Вполне возможно, что мореплаватели дошли до Индии. Храбрецы, несомненно, побывали на Оловянных Островах\* и на Азорских, исследовали север и часть западного побережья Африки и берега Аравии. Большинству греков наша колония в Массилии\* представлялась почти концом света.

Я осмотрел собранный мной в Амфиополе флот и двинулся дальше, к Сесту, где предполагал переправиться через Геллеспонт и вторгнуться в персидские владения. Здесь в туманном прошлом Ксеркс переправлялся на связке судов, влюбленный Леандр переплывал к жрице Геро, чтобы поухаживать за ней. Туда же прибыл и мой флот. Персидского флота, слава всевышним богам, там еще не было, и только боги знали почему, ибо с этого места было бы естественней всего прервать наше вторжение еще до того, как оно началось. Должно быть, командующий персидским флотом только что купил себе такую прекрасную и обольстительную наложницу, что никак не мог оторваться от ее ложа.

Мои разведчики разыскивали вражеские суда, но безрезультатно. Я нашел время и совершил краткое паломничество к месту высадки греческих сил в войне против Трои. На полпути через Геллеспонт я принес жертву богам моря Посейдону, Фетиде, которая была матерью Ахилла, Протею и остальным. На берегу я поставил алтари Зевсу,

покровителю высадок, и Афине Палладе, а также возложил венки на могилы павших на войне великих эллинов и троянцев. В небольшом храме на месте Трои я умилился душой павшего здесь Приама, оставил почетный дар и унес оттуда щит, желая, чтобы его во всех сражениях носили перед моим войском. Сюда же прибыл Харес, командующий афинян при Херонее. Он раскаялся в своем отпадении от меня и был прощен.

Теперь мои войска были готовы выступить в поход. Разведывая местность, мы направились в Зелею, находящуюся менее чем в четырех днях пути, где стояла лагерем персидская армия. Приняв, почти на бегу, послов из приморских городов, мы выслали вперед разведку и отряд легковооруженных всадников, следовавших за нашими главными силами вне поля их видимости. Наши быстрые «бегуны» обнаружили персидскую армию на противоположном берегу небольшой реки Граник. Когда я смог хорошенько разглядеть противника, то ничего особенного, с нашей точки зрения, не заметил, если не считать того, что командовал ею великий военачальник — Мемнон Родосец. С точки зрения же персов, все было не так как надо.

Внедренные мною в персидские ряды лазутчики сообщили, что место выбрано, вопреки упорному сопротивлению Мемнона, по воле сатрапов, высших представителей администрации, назначаемых царем. Мемнон предлагал отступать по выжженной земле, пока мы не окажемся в глубине Персии, а затем нанести нам удар с такой позиции, которая бы обеспечила им победу. Словно глубоко возмущенный тем, что отвергли его совет, он позволил сатрапам развернуть свою армию самым невыгодным образом, недостойным такого способного полководца. Когда я впервые четко разглядел их позиции, то едва поверил своим глазам. Персидская конница стояла так близко к крутому берегу, что просто не могла совершить броска; а его эллинские наемники, отменные воины, были слишком удалены, чтобы препятствовать нашему наступлению.

И все же этот старый перестраховщик и трещотка Парменион стал меня уговаривать оставаться лагерем на этом берегу реки и дать отдохнуть солдатам до рассвета! Да ведь задолго до этой поры какому-нибудь простому начальнику конного отряда станет заметна невероятная

глупость позиции персов, и он делает все возможное, чтобы голос его услышал один из высокопоставленных сатрапов; войско перестроит, и мы потеряем великолепный шанс. Парменион еще говорил, а я уже приказал армии строиться в боевые порядки. Выбрав атаку строем наискосок, так хорошо послужившим Филиппу, я занял свое место перед правым крылом, с тем чтобы персы могли ожидать, что наш главный удар придется на их левое крыло. Они, как послушные дети, стали именно там концентрировать свои силы, а когда увидели Аминту, возглавлявшего легкую конницу, отряд тяжеловооруженных пехотинцев и одно подразделение фаланги, смещение сил влево стало еще интенсивней, отчего центр становился слабее. Все шло хорошо. Мои горнисты протрубили сигнал атаки, и я со своими гетайрами ринулся в реку, держа строй наискосок к течению.

С некоторым трудом переправившись через реку и после небольшого замешательства на крутом берегу, мы ударили в полную силу. Персы тем временем сдерживали свою конницу, ограничиваясь метанием дротиков.

Внезапно я оказался в разгаре рукопашной схватки с обломком копья в руке. Один из друзей отдал мне свое — сломалось и оно. Мне в руку сунули третье. Я выбрал себе особую цель — зятя Дария, Митридата\*, и этот храбрец, поскакав мне навстречу, получил удар копьем в лицо, который сбросил его на землю. Тут на мой шлем обрушился сильный удар кривой саблей. Казалось, у меня разошлись кости. Но прочный металл выдержал, отлетел только большой осколок, и я поразил нападавшего в грудь. Но вот и еще одна из этих страшных кривых сабель занеслась над моей головой. Я увидел ее слишком поздно, чтобы спастись от смертельного удара. Но не столь медлительным оказался взгляд моего друга Клита. Он на мгновение определил знатного перса и одним махом отсек ему от самого плеча руку вместе с саблей.

Я приказал Букефалу встать на колени. Пока я приводил в порядок сбрую, в голове у меня прояснилось, мои мысли и чувства вернулись в прежнюю колею. Снова поднялись в атаку мои верные гетайры, чьи сердца бились в унисон с моим, и, размахивая смертоносными копьями, мы со всей силой врезались в гущу персов. Старый Парменион, который в разгаре битвы совсем не принимался в расчет, переправился через реку с подкреплением из

фессалийских всадников и отразил опасную атаку противника. Теперь центр персов оказался под мощным давлением. Он уже понес серьезные потери от длинных копий фаланги и теперь стал ломаться под ударами наших пик и коротких копий тяжелой пехоты. В рядах персов началось бегство; они напоминали уток, бросающихся врассыпную, когда на них сверху падает сокол. Из всего персидского войска оставалось справиться только с эллинскими наемниками, опытными воинами, которых царь кормил и щедро осыпал своим золотом.

Иногда вспышка раздражения одного-единственного высокопоставленного человека может изменить ход истории. Сдавалось мне, что какой-то приближенный к царю советник так разгневался, когда Мемнон настаивал на том, чтобы завлечь нас в Персию, чтобы в конце концов свернуть нам шею, а заодно и на его презрительное отношение к плану развертывания войск Дария, что приказал арестовать этого талантливое военачальника или нарочно препятствовал его приготовлениям и исполнению всех его распоряжений. Как бы там ни было, лучший корпус персидской армии еще не вступал в сражение, не обагрил своих мечей и копий и не пострадал ни от одной раны. Они стояли в ровном строю, как топчущиеся на отмели утки, которые видят, как носится над ними коршун, пронзительно свистя и готовясь напасть.

Видимо, им приказали стоять до тех пор, пока нас не разгромят или не возьмут в окружение, а там навалиться и нанести смертельный удар. Может быть, эта важная персона пожелала, чтобы честь разбить нас и поставить на колени осталась за персами, а их непосредственный командующий не осмелился послушаться приказов своего начальника — возможно даже, самого брата царя. И вот, видя, как смыкаются наши войска, с развевающимися знаменами, сохраняя образцовый порядок, греческому военачальнику захотелось отдать приказ — но какой? Ни один из них не имел бы смысла для этих греков-перебежчиков, кроме одного: умереть, как подobaет эллинам.

Наша конница ударила им в лоб, наша фаланга — сбоку. Ни одна армия на земле не могла бы выдержать такого натиска, и это великолепное войско из пятнадцати тысяч солдат было сразу же разбито наголову. Уцелело только две тысячи пленных — те, кто неминуемой смерти пред-

почел цепи. Среди груды мертвых тел я увидел человека, который пошевелился, искоса понаблюдал за другим, не похожим на мертвеца; но, когда я взглянул на него в упор, глаза его были полузакрыты и казались остекленевшими. Я не стал вытаскивать этих двоих, чтобы отправить их на тот свет, как не стал выискивать и других, прячущихся среди погибших. Каждый из них расплатился позорной ценой за свою жизнь, и я решил: пусть живут.

Среди убитых мы не нашли брата Дария; а его ближайшим родственником был убитый мною Митридат — его зять. В одной из жутких груд лежал внук Артаксеркса и двоюродный брат Дария, а также его шурин, сатрап Лидии и Ионии и предводитель наемников. Но самого опасного из них, Мемнона, нигде не было видно. Возможно, он ушел в отставку и уехал из страны, когда отвергли его добрый совет.

Я потерял только двадцать пять своих товарищей: статуи их я приказал поставить в святилище в Македонии. Жены и дети всех остальных погибших солдат моего войска были освобождены от налогов. Несмотря на эти и другие благородные жесты, я все же с тревогой задался вопросом: если Ахурамазда, как я когда-то думал, действительно является Зевсом, но под другим именем, доволен ли он этими знаками искупления вины.

С поля сражения наше войско двинулось в древний город Сарды, принимая присягу верности лежащих на пути городов. В Сардах мы наполнили сокровищами наши пустые сундуки и проследовали в Эфес, где в ночь моего рождения сгорел храм Артемиды. Здесь я надеялся схватить Мемнона, но он успел ускользнуть. Мне пришлось ввести в городе военное положение, так как народ стал заниматься убийствами и грабежом своих бывших хозяев. Когда я предложил отстроить святилище заново, один старый циничный эфесянин, который жизнь свою и в грош не ставил, заметил: не подобает одному богу возводить храм для другого. Совершенно очевидно, против кого был направлен его сарказм, но у меня были связаны руки, поэтому я ответил ему спокойно и вежливо и отвернулся.

Не знаю, что меня толкнуло на это, но я устроил большой военный парад в честь Артемиды, которая в сознании персов имеет удивительное сходство с богиней Иштар.



Крупный город Милет выслал послов, обещая сдаться, но, получив известие о том, что к нему на выручку идет персидский флот, отрекся от этого обещания. Я не боялся наспех сколоченных армий, но бывший где-то поблизости персидский флот внушал мне полное уважение, поэтому я поспешил захватить гавань.

Наконец мы узнали, что вражеский флот стоит на якоре у острова Самос. Парменион — что было восхитительным исключением из привычных правил — высказался за то, чтобы немедленно напасть на него, тогда как я предпочел захватить его береговые базы, без которых флот был бы скован. Сначала нужно было разрушить прочные стены Милета. Мы подтянули наши осадные орудия и приступили к делу. За несколько дней мы проделали в них зияющие дыры, после чего на улицах и дворах завязались упорные кровавые сражения, и хотя многим удалось спастись вплавь или на плетеных щитах, как плотах, множество храбрецов погибло и было похоронено в неизвестных могилах или стало добычей акул. Теряя время и людей, я предложил щедрые условия сдачи, которые были приняты. Тем временем я подумывал о расформировании своего собственного флота, поскольку на его содержание требовалось так много средств, а вся история побед Македонии писалась на суше.

Многие города сдались, но вскоре на пути у нас возникли прочные стены Галикарнасса — их защищал сам Мемнон. Печально закончилась вылазка против Минда, города, расположенного в семи милях от Галикарнасса в глубь полуострова, но стены самой столицы начали рушиться под ударами таранов и крупных камней наших катапульт и других осадных машин. Понимая, что скоро конец, Мемнон приказал уничтожить город огнем, а сам со своими сильно потрепанными силами укрылся в двух цитаделях. Когда мы почти потушили пожар, я, хоть и добивался пленения Мемнона, на удивление ему и себе тоже решил: пусть он сидит себе на своем бесполезном насесте над разбитым, выжженным, бесполезным городом.

После этого я вернулся в город Траллы в долине реки Меандр, который взбунтовался против меня, и сровнял его с землей, изгнав из него население или продав его в рабство. Я совершил эту жестокость без угрызений совести, теперь уже сообразив, что тактика примирения никогда не дос-

тигнет своих целей — их достижение куда труднее, чем мне это представлялось вначале, куда удаленней во времени и пространстве.

Первый год моего похода приближался к концу. Мы захватили по меньшей мере пятьдесят городов — часть из них сдались без боя. Я добился всего, о чем раньше мечтал Филипп,— и даже большего: освободил из-под власти персов все греческие города, которые стали членами Лиги. К западу от Киликии персидскому флоту стало уже затруднительно предпринимать военные операции, и теперь я мог приступить к завоеванию Армении. А пока я послал Пармениона через Фригию на подчинение непокорных областей Малой Азии, договорившись встретиться с ним в Гордии — городе важного стратегического значения, там, где находился известный во всем мире Гордиев узел. Для этого мне пришлось бы уклониться со своего идущего вдоль моря пути далеко на север, и я намерен был это сделать в том месте, где горный хребет Тавр выступает над морем, и здесь установить восточную границу моих владений.

Я сказал «моих владений», а не греческих, и тут я не оговорился и не допустил перекоса в мыслях. Я только что вступил в Персию, и моему сознанию пришлось расти вместе с расширяющимся видом на эту страну.

Великолепная дорога царя царей с почтовыми станциями, отстоящими друг от друга на сто шестьдесят стадий, проходила мимо Гордии, а оттуда за шесть дней марша по ней можно было попасть в Византию на берегу Пропонтиды\*. Говорили, что в восточном направлении дорога имеет фантастическую протяженность в двадцать две тысячи стадий. Маленькая Греция просто затерялась бы в таких обширных пространствах; ее армиям никогда бы не осилить такой дали — если только это не армии завоевателя мирового масштаба, целиком подчиненные одной лишь его воле, продиктованной ему богами.

Это мало меня тревожило. Моей теперешней заботой был Сагалас, с крыш которого мы слышали бросаемые нам страшные угрозы. Чтобы взять этот незаметный городишко, все-таки понадобилось подвести осадные орудия и выдержать жаркое сражение.

Холодной зимой я двинулся на север, все еще идя берегом моря, и на этом пути занял обширную царскую область, Ликию. Солдаты срочно нуждались в отдыхе,

поэтому мы повернули назад и дошли до Фигелид. И здесь ожили прежние слухи: они появились с письмом от Пармениона, где сообщалось, что третий царский отпрыск Линкестии, тот, которого я пощадил, под начальством которого находилась моя фракийская конница, тайно замышляет меня убить. Доказательств его вины было еще недостаточно, чтобы приговорить его к казни. Я отправил к Пармениону своего человека, который должен был на словах передать ему мой приказ, чтобы этого стратега, моего тезку, арестовали и взяли под стражу.

Это могла быть простая случайность, думал я, но моей охране следует строже относиться к подобным случайностям, а мне самому быть не столь доверчивым и управлять безжалостной рукой. За доказательство моей смерти заплатили бы столько золотых талантов, что жадности не хватило бы, чтобы представить в своем воображении. Никому не известный человек мог бы одним махом стать сатрапом царя, зажить во дворце с гаремом, полным прекрасных персиянок, с придворными, простирающимися у его ног. Поистине роскошным призом было то, что я носил на своих плечах под своей якобы львиной гривой.

Под горой с трудно произносимым названием Тахтали-Даг, где море омывало утесы, узкая полоса отмели была проходима, только когда сильный ветер с севера отгонял бурное море. Так случилось, что именно сейчас необходимо было нанести смелый удар. Слух о заговоре просочился в войска, а восточные ветры принесли вести куда посерьезней — о том, что со всей Персии стекаются добровольцы, чтобы в будущем году создать огромнейшую в мировой истории армию в количестве тысячи тысяч солдат, что мне казалось невероятным. Но я все же не забывал об этом, как и мои военачальники, и у некоторых от испуга отвисали челюсти.

Вместо того чтобы повернуть в глубь материка, я решил на рискованный бросок через захлестываемый волнами проход под Тахтали-Даг. Если бы мне пришлось повернуть назад, это бы для меня было равносильно серьезному поражению, способствующему дальнейшему падению и без того уже низкого духа в стане моих соратников, находящихся далеко от возлюбленной Македонии. Но если бы я добился успеха, легенда о моей непобедимости всколыхнулась бы снова, захлестнув сердца мощным

приливом веры, и тогда мои солдаты стойко встретили бы мощную армию Дария.

Приближаясь к этому суровому месту, я следил за ветром, обращая внимание на раскачивание верхушек горных сосен и наносимые на суживающийся берег массы жалящего лица песка. Прямо с юга дул сильнейший штормовой ветер. Бешено мчались кони Посейдона, не облегчая, а затрудняя мою задачу. Накануне вечером я допустил глупость, приказав войскам становиться лагерем после часового похода, и теперь, спустя два часа после восхода солнца, я не мог допустить разбивки лагеря ни под каким предлогом, ибо солдаты сразу же догадаются о моем намерении дожидаться более приятной погоды, чтобы преодолеть этот проход. У меня таилась слабая надежда, что ветер ненадолго изменит направление на западное и задует сильными порывами.

Лучшим пловцом в нашей армии считался невзрачный на вид пехотинец Солон, который уже не раз демонстрировал свою доблесть в наших переправах через реки. Его давно уважали за ум, но мне казалось, что сегодня в этом разбушевавшемся прибое может рискнуть своими костями только глупец. Чем дольше я наблюдал, тем безнадежней представлялось мне задуманное дело. Высокие волны разбивались о подножья отвесных скал — а это был твердый камень, а не земля, которую мы срывали, чтобы обойти гору Осса. Однако я все же вызвал к себе Солона, приказав тем временем собирать лес, прибитый к берегу, и разводить костры, без которых нельзя было отправлять людей принимать холодный душ.

Наконец прибыл Солон — небольшого роста, но жилистый. Он прямо, по-мужски, взглянул мне в глаза, затем обвел внимательным и хладнокровным взглядом пенящиеся отмели.

— Думаешь, переправишься? — спросил я.

— Царь, я родился на острове Эолия, как говорится, на родине ветров, но мальчишкой сколько я ни бродил, так и не нашел того места, где они родились. Но все равно мы с ветром старые знакомые. У нас в телегах есть веревки для штурма вершин длиной в сто морских сажений. Может, царь Александр обратит внимание на ту длинную отмель в форме пастушьего крюка, которая выступает к нам навстречу шагов на сто?

— Да, вижу.

— А еще заметь то место, где берег резко поворачивает на юг, сразу же за скалами.

— Отлично различаю.

— Веревки легкие, но крепкие. Если три из них сцепить вместе, я могу переправить один конец со стрелки на тот берег. Конец будут держать шесть здоровых парней, а когда я буду вон там, пусть они прикрепят к ней канаты длиной в пятьдесят шагов — те, что мы используем в осадных орудиях. Их я буду перетаскивать в связке через воду, пока не получится надежного веревочного моста. Вода будет еще глубже, прибойные волны длинней и мощней, но веревки, если их натянуть, не дадут людям удариться о скалы. Теперь я знаю, как переправить и телеги.

— Они могут подождать северного ветра. Теперь командуй — ты начальник.

Дело быстро двигалось вперед. Через час наши веревки и канаты были собраны в бухты на краю стрелки, и Солон, голый, как только что вылупившийся птенец, бросился в прибой, держа в руке конец небольшой веревки. Он плыл, странно извиваясь телом, делая медленные круговые движения руками, по-лягушачьи отталкиваясь ногами и почти все время держа голову под водой; но всегда, когда нам, лихорадочно следящим за ним, казалось, что его навсегда захлестнуло волной или что какое-то морское чудовище схватило его своими щупальцами, голова его по-тюленьи вырывалась на поверхность, и мы ликовали. Чтобы удержать веревку, людям приходилось тянуть изо всей силы — с такой яростью мчались гонимые ветром волны.

Наконец мы увидели, как он вышел на сушу, сверкая белизной, на несколько защищенной от ветра береговой полосе, загибающейся в сторону моря. Здесь он прикрепил веревку к большому камню, а с нашей стороны к концу ее прицепили канаты. Теперь ему понадобилась вся сила жилистого тела, чтобы перетянуть к себе связку канатов, а затем прочно их закрепить. Я вызвался первым последовать за ним, но мое намерение было встречено общим недоброжелательством.

— Умоляю, не делай этого,— взмолился мне на ухо горбоносый Птолемей.— Если ты утонешь или тебя сожрет рыба-дьявол, солдаты взбунтуются и уйдут домой. Пусть первым пойдет отряд моих всадников с упряжью на спине, без лошадей, а за ним уж и ты. И на той стороне прикажи трубачу дать сигнал сбора. Тогда Букефал бросится в воду,

а за ним наверняка и все другие кони. Без груза они удержатся на тропе Солона, только несколько ослабевших разобьются об утесы — ведь лошади плавают лучше самих рыб.

Пока, цепляясь за канат, переправлялись эти великолепные всадники, выкрикивая непристойные шутки каждый раз, когда у них во рту не было соленой воды, я следил за волнами. Мне казалось, что сила их, пусть и невыносимо медленно, но убывает, а ветер, хоть и ужасно лениво, но смещается к югу. Мне представилась картина спора между Эолом, богом ветров, и Посейдоном, богом моря, насчет того, кто чьи права ущемляет. Эол приказал ветру дуть в южную сторону, а Посейдон распорядился иначе; последний же — брат Зевса, а у Эола нет такого могущественного родственника. Поэтому я решил пока что не следовать за людьми, а подождать, чем кончится этот спор.

Он кончился с поразительной неожиданностью. Все ветры улетучились, слышались только ослабевшие удары затихающего прибоя о скалы. И вот на севере зародился ветер-ребенок, он рос быстрее, чем легендарный Гермес — тот вор от рождения, который сбежал на второй день жизни, угнав скот Аполлона; и прежде чем мы это осознали, появился легкий бриз, который быстро крепчал и стал настоящим ветром, задувшим вдруг с такой силой, что птицы на голых скалах не удержались и взлетели, кружась в беспорядочном полете. Чувствуя покалывание в спине, я в сопровождении Клита покинул край стрелки и направился к главному берегу.

Под ударами Борея\* по гребням волн море стало отступать от скал, и люди, несомненно, видели в этом чудо, ниспосланное свыше. И я решил воспользоваться этим и пройти по узкому проходу под скалами. Я свистнул Букефала, и он примчался, ведя за собой всех остальных лошадей. Конечно, нам не удалось переправиться так, чтобы совсем не намокнуть. Еще оставались мелкие заводи, по которым пришлось шагать, поднимая фонтаны брызг, а в одном месте воды было по пояс. Букефал, как его тому учили, приближаясь ко мне, замедлил шаг, а за ним и другие лошади, потому что проход был узким. За нами тянулись и скрипели телеги и осадные машины.

Скопившись на открытом берегу и на склоне холма, солдаты разразились мощными криками ликования. И теперь, уже слишком поздно, меня поразила неожиданная

мысль: ведь я бы мог проехать по этому проходу на Букефале во всей своей царской славе. Еще одно небесное знамение, подумалось мне, заключается в том, что я к своей конечной цели не ехал верхом на своем могучем жеребце, а значит, это можно бы истолковать так: он умрет от болезни либо погибнет на поле брани молодым, и довольно скоро. Но можно было истолковать и иначе — что эта цель чудовищно далека.

Когда я вызвал к себе Солона, крики прекратились: всем хотелось услышать, что я ему скажу. Он отдал мне воинский салют, я ответил тем же.

— Твоей матери следовало бы назвать тебя не Солоном — Почитателем древних книг, а Посейдоном.

— С твоего позволения, царь, — отвечал он, — я, не бог морей и никакой другой. Я хороший пловец — только и всего.

И это тоже, не знаю почему, заставило меня задуматься.

### 3

В Перге меня встретили полномочные послы из Аспенда с предложением сдать мне город, но на определенных условиях. Я согласился и пошел на Силлий. Но когда я готовился взять его штурмом, пришло сообщение, что аспендийцы отреклись от нашего договора, и я вернулся, чтобы проучить их. Когда мы окружили их цитадель, они, пораскинув своими ветренными умишками, запросили мира на прежних условиях. Понимая, что предстоит длительная осада этой мощной крепости, и не желая тратить времени даром, я согласился, но условия выдвинул более жесткие. Непрístupные Келены угрожали втянуть нас в жаркую схватку, но мне на радость сдались без единой стрелы, пущенной с зубчатых стен. После десятидневного отдыха мы за шесть дней пути дошли до знаменитого Гордия.

Здесь, в храме Зевса, давно уже стояла повозка крестьянина Мидаса, которого сделало царем предсказание оракула. Веревка из лыка дикой вишни, которая связывала ярмо с дышлом, была завязана в огромный узел, концы которого были спрятаны где-то в нем самом. Согласно народному поверью, завязал его сам Зевс, приняв облик тележного мастера, а тот, кто его развяжет, будет владеть всей Азией.

Я внимательно осмотрел узел, но убедился только, что сплетен он хитрее, чем те мережи, которые мы мальчишками ставили на шуку, судака и угря, наживив их лягушками и прочей мелюзгой, на озере Бортур или на нашей вялотекущей речке. С другой стороны, я не мог уйти из храма, не найдя какого-нибудь решения этой загадки.

Я сразу же вспомнил про свой меч. Он был длинным и тяжелым, и один из моих рабов заботился о том, чтобы он с обеих сторон оставался острым как бритва. Этот раб когда-то ковал кривые персидские сабли, и мой меч был предметом его гордости, а для меня большим подспорьем в сражениях, где зачастую тупой меч пускал лишь кровь, не выводя противника из строя, тогда как прекрасно заточенное лезвие сразу же рассекало и мышцы, и ткань, и артерию. Внезапное, непреодолимое желание вызвало во мне радость, и жар бросился мне в лицо. Я вытащил меч и со всей силой обрушил его на узел. Он ровненько, как дыня, раскололся на две части, и ярмо упало на пол.

Жреца храма, надо полагать, подрасстроило столь своевольное решение головоломки с развязыванием узла, который стал уже почитаться священным и привлекал в святилище множество посетителей, оживлявших приятным звоном монет ящик для сбора пожертвований. Однако он не осмелился высказать мне недовольство, а только набожно воздел руки к небесам. Мои же спутники, свидетели этой сцены, не теряли времени даром: они живо пересказали все солдатам, чем сильно их позабавили.

Из почтения к сатрапу провинции я принял приглашение погостить у него во дворце, вместо того чтобы жить рядом со своими солдатами в своей просторной палатке, обогреваемой снаружи жаровнями. Его гостеприимство насторожило моих слуг, и они стали более внимательны к тому, что я собирался есть или пить, а также к моей постели. Известно, что в такие постели, в поисках тепла в прохладные ночи, заползали василиски и аспиды. А еще я слышал, что иногда в Египте простыни посыпали настолько мелким порошком, что он вызывал лишь слабый зуд, едва заметный во время глубокого сна, но, если почесаться, наступало заражение крови, кожа чернела, и человек умирал.

В этой постели во время последней поездки по своей империи спал царь Артаксеркс; здесь же возлежал и его



кратковременный преемник Арсес. Но я все же приказал убрать ее, объяснив сатрапу, что из суеверия не сплю на чужих постелях. Он отлично понимал, в чем корень этого суеверия — в трезвой осторожности.

Палаты были поистине великолепны. В афинских дворцах я не встречал таких изящных вещей — наверное, их привезли с далекого Востока. Воздух пропитался сильным запахом ладана. Даже вода в ванной была насыщена ароматами. Хорошо еще, что меня не видели и не чуяли носом мои лишенные лоска друзья детства: из них всех один только Гефестион научился не давать воли своему языку. Впрочем, ему и не нужно было заботиться о своем языке — ведь он один знал, что причитается царю, покорившему обширную Малую Азию. Справедливости ради надо сказать, что и прочие мои друзья перед посторонними выказывали мне подчеркнутые знаки уважения.

Пока я дожидался позднего ужина, будучи в компании одного лишь Клита, взволнованный слуга сатрапа попросил разрешения поговорить со мной.

— Великий царь! — обратился он ко мне. — Пришла посетительница, которая ищет встречи с тобой. Она сказала, что если я прогоню ее, не сообщив о ней тебе, то ты, когда узнаешь об этом, непременно прикажешь меня распять.

— Эта женщина назвала свое имя?

— Не женщина, а почти ребенок. Ей лет четырнадцать. Когда я осведомился о ее имени, она сказала, что имя ее Кифера — а потом рассмеялась мне в лицо.

Киферой в древности звали Афродиту, богиню любви. Что ж, возможно, таково и было ее первоначальное имя, ведь она родилась на острове Кифера, далеко на юге, когда там жили финикийцы. Аристотель склонялся к тому, что она являлась семитской богиней, возможно, идентичной Иштар, прежде чем Греция присвоила ее себе.

— В каком она одеянии — богатом или бедном? — поинтересовался я.

— В очень богатом, мой царь. И на лице ее прозрачная чадра, которая не скрывает ее красоты.

— Пустил ли ты ее в переднюю?

— Да, мой царь. Но она желает пройти в твои покои.

— Клит, ступай со слугой, поговори с девицей. Если мы раньше были знакомы и ты уверишься, что вреда от нее не будет, то допусти ее ко мне.

Клит отсутствовал совсем недолго. Он впустил кого-то в дверь, но сам не вошел, а тихо прикрыл ее за собой. Я взглянул на приближающуюся ко мне девушку и сразу же понял, что не ошибся в своем предположении. Она сняла чадру и опустилась на одно колено.

— Как поживаешь, Таис? — спросил я хорошо управляемым голосом. — Сейчас зима, и просто чудо, что ты не отморозила свой хорошенький носик. Ну-ка вставай.

— Было бы глупо спрашивать, как поживаешь ты, царь Александр, — отвечала она. — Где бы мне ни меняли лошадей, везде только и разговоров что о тебе. Рада видеть, мой господин, что ни дороги, ни войны на тебе не отразились. Ты выглядишь все таким же, как тогда в Афинах, когда ты был еще просто царевич и мы вместе пили вино — из разных чаш.

— Если память мне не изменяет, мы не только пили вино.

— Я тоже смутно припоминаю, что между нами было что-то еще, какая-то незначительная случайность. Разумеется, если бы ты был царем...

— И было это, кажется, в постели.

— Клянусь всемогущим Зевсом, именно так все и было!

— Ну а теперь, когда я царь, разве тебе подобает шутить со мной?

— А что же, царь, мне остается делать еще? Я просто не знаю, как мне спрятать свой страх и маленький позор, которых я стыжусь.

Вместо ответа я внимательно посмотрел на нее. Она сидела совсем неподвижно, не глядя прямо мне в глаза, но держа голову высоко. Теперь откинутый назад меховой воротник не скрывал уже ее прекрасной шеи. Эта поза и впрямь наилучшим образом выявляла ее красоту. Если Апеллес написал с нее портрет, он изобразил ее именно такой.

— Писал тебя Апеллес? — поинтересовался я.

— Да. И двух недель не прошло, стоило тебе предположить, что он может это сделать.

— Что стало с картиной?

— Он нанял меня натурщицей и оставил картину у себя. Сказал, что не расстанется с ней даже за пять талантов золота.

— Если увидишь его снова, скажи ему, пожалуйста, что я дам шесть талантов. Не думаю, что он откажется.

— Может и отказаться. Великие художники — цари в собственных владениях. Но он с радостью сделает тебе копию.

— За копию я заплачу один талант — она вряд ли сможет сравниться с оригиналом. Он ведь писал и меня. Некоторые из эллинских царей захотели получить копии с моего портрета: не потому, что жаждали лицезреть мое изображение, а скорее затем, чтобы проткнуть его ножом — ведь до моей спины им было не добраться. Впрочем, своим заказом они хотели польстить Александру, верховному повелителю Греции. И должен сказать, ни одна картина не могла сравниться с первой.

— Может, я никогда больше не встречу с Апеллесом, ну а если и встречу, то это будет не очень-то скоро. Но я непременно скажу ему о твоём желании. Значит, либо шесть талантов, либо один. По-моему, ты все же получишь оригинал. А если к тому же он тебе понравится, ты будешь очень доволен.

Она замолчала и, почувствовав на себе мой заинтересованный взгляд, постаралась принять прежнюю позу. С того самого вечера, когда она впервые вышла в свет, ее красота ничуть не потускнела; она все еще казалась девственницей, и неудивительно, что слуга ошибся в определении ее возраста. В ее красоте была какая-то неопределенность: она была сильнее, чем у Роксаны, но не такой яркой. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы определить, какого цвета у нее глаза. Их синева сгустилась так сильно, что напоминала свод небес холодной зимней ночью при совершенно полной луне в окружении света далеких звезд.

И вновь ощущение тайны коснулось моей души: ведь в этом женском обличье выражала себя какая-то основная первобытная сила. И имя Кифера, которым она назвалась сегодня, показалось мне выбранным ею очень удачно.

— А почему Кифера — ведь так мне сказал слуга? — Я старался говорить очень спокойно, чтобы не помешать ее настроению.

— Прошлой ночью я видела сон, будто я — это она. А в общем-то это всего лишь глупая фантазия — то, что я назвалась ее именем. Умоляю тебя, забудь.

— Ну нет, по-моему, не такая уж глупая фантазия. Для меня ты не Таис — это имя ничего мне не говорит — и не Афродита, в которой потом проявила себя финикий-

ская богиня. Все великие божества выступают или же выступали во многих лицах. Кифера... Это имя подходит тебе как нельзя более, в ней я узнаю тебя.

— Мы знали друг друга до нашей встречи в Афинах?

— Не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Я тоже.

Теперь настала пора задать вопрос, который с самого начала казался таким очевидным. Я словно бы расспрашивал нимфу, которую встретил у горного ручья. Когда встречаешься с чудесами, лучше всего принимать их целиком на веру и не искать им объяснения. Однако другого выбора у меня не было.

— Не скажешь ли мне, где ты провела прошлую ночь?

— В хане, персидской гостинице на царской дороге, в тридцати пяти стадиях к западу отсюда.

— А что делает Кифера так далеко от родных Афин?

— На это я могла бы ответить по-разному. Первый ответ — потому что ты здесь — прозвучал бы самонадеянно: будто я смею надеяться видеть тебя снова после сегодняшнего вечера. Другой же — а это и есть мой ответ — потому что ты указал мне сюда дорогу. Как ты мне подсказал, так я и поступаю.

— Видимо, у меня сегодня не все в порядке с мыслями, ибо я не понимаю тебя.

— Разве не ты отказался от дара, что я предлагала тебе тогда: моего тела, красоты, любовной ночи?

— Да, так и было. Я не принял его, одарив тебя золотыми талантами.

— «Одарил» — не то слово, царь. Ты хотел сказать: «Заплатил». Разве это не могло напомнить мне о моей профессии? Если я иногда и чувствую себя Киферой, я все же Таис, афинская куртизанка.

— Однако...

— Есть ли для такой лучшее место, чем в обозе победоносной армии?

#### 4

Ни того ответа, который я мог бы дать, ни того, который Таис хотела бы услышать, на ее вопрос не последовало. Она была профессиональной куртизанкой точно так же, как я — профессиональным воином. Если бы я взял ее к себе в любовницы, то нарушил бы принятое

мною ранее решение. В отличие от многих молодых мужчин, я редко страдал от острых приступов эротического желания — видимо, потому, что был глубоко погружен в дела войны, с первых минут пробуждения на рассвете до того часа, когда я с наступлением темноты валился без задних ног на свой соломенный тюфяк и почти мгновенно засыпал.

Арес, греческий бог войны, известный римлянам как Марс, нередко, согласно нашей легенде, бывал супругом Афродиты. Но в этой легенде редко случалось, чтобы он спал с другими богинями, уж не говоря о смертных женщинах. Афродита, уже сочетавшаяся браком с хромым закопченным Гефестом, богом-кузнецом, не отличалась такой верностью. И по-моему, это было вполне естественно, поскольку единственное, чем она могла заниматься, это любовными утехами и их поощрением, отчего бывали хорошие хлеба и тяжелые виноградные лозы, словно их связывала с ней какая-то мистическая симпатия. Так что времени и сил у нее хватало, и в наших сказаниях полно историй ее любовных походов. От своего единокровного брата Гермеса она родила Эроса, а имена обоих родителей составляют наше слово «гермафродит», означающее «двуполый человек». И ведь это Эроса обвиняли юные девицы в том, что у них распухли животы — по той причине, что он завлекал в укромные уголки не только девственных девушек, но и молодых обожателей.

Часто ее имя звучало рядом с именем Адонис. И он родился от кровосмесительного союза — союза отца и дочери, которых толкнула на это Афродита. Втихомолку поговаривали, что она пленила самого Зевса. Согласно «Илиаде», он неоднократно становился на ее сторону против ее сестры Афины Паллады с вечно суровым лицом.

В связи с этим кажется любопытным тот факт в жизни эллинов, что, считая инцест между смертными ниже своего достоинства, мы принимаем его без сомнения или оскорбления для себя, если дело касается наших богов и богинь. Аристотель говорил нам, что это атавистические следы бездумного начального периода нашей истории, когда кланы строго придерживались эндогамии, высшим выражением которой был брак между царями и их дочерьми, сыновьями царей и их сестрами с целью сохранения чистоты их божественной или царской крови. Даже в наши времена царские семьи греков не поднимали никакого шума по

поводу браков между дядьями и их племянницами, тетками и их племянниками. Моя собственная сестра вышла замуж за брата моей матери.

С другой стороны, Абрут, еврей, смотрел на такие союзы с ужасом. И это несмотря на существующую в общем во всем его народе довольно строгую эндогамию. Всем, разумеется, известно, что египетские фараоны должны были жениться на своих сестрах. В племени, живущем недалеко от наших границ, существовал обычай, согласно которому первое половое сношение юноши должно было состояться с его матерью. Этот обряд в переводе на греческий язык назывался «блаженным возвращением в материнское лоно». Дочь же, по их мнению, должна посвящаться в тайну пола ее отцом. Это называлось «восстановлением семени».

Во всяком случае я намеревался поспорить в воздержании с богом войны и даже превзойти его в этом до той поры, пока не найду женщину древних царских кровей, которая вместе с этим обладала бы для меня неотразимой привлекательностью, достойной, чтобы стать матерью наследников империи.

Тем не менее я признавался самому себе в желании приласкать Таис и ощутить ее ответные ласки. Я снова в своем воображении рисовал ее себе раздетой, худенькой, но сложенной в совершенстве, ее прелестно сужающиеся ноги и руки, грудь, как у нимфы, маленькую плотную окружность талии. Все это превосходно венчалось красотой ее лица. С приятно разгорающимся возбуждением я припоминал наш восторг в пропитанной духами слабо освещенной царской горнице дворца Медия в Афинах. И тут, подобно холодному дождю с ветром в жаркий летний полдень, мне в голову пришла мысль о том долгом пути, пройденном ею после той ночи, о множестве прибывающих и убывающих лун. Я посвятил ее в женщины. Много с тех пор она занималась любовью, возможно, каждую ночь, зачастую в холодных мрачных спальнях гостиниц для путешественников (персы называли их ханами) — и с мужчинами неизвестно какого имени и звания, грубыми парнями-толстосумами. Кроме того, по рождению она была дочерью, и к тому же очень верной дочерью, Афин — по сути, извечного врага Македонии. А так как теперь, когда Фивы были стерты с лица земли, мы стояли на разных полюсах, Афины стали нашим единственным могуществен-

ным врагом в Греции. Откуда мне было знать, чью сторону примет Таис, мою или Афин, в последний час ожесточенной схватки между нами?

— Ну как, оправдала ли жизнь куртизанки твои ожидания? — поинтересовался я, стараясь говорить небрежным тоном.

Выражение ее лица изменилось, став тем же, что я видел тогда, когда просил принять ее, еще девственницу, золотой талант за ночное приключение со мной.

— Ты великий завоеватель, царь Александр, — ответила наконец она. — Я думала, что это естественно обязывает быть и корректным человеком. Но я ошибалась.

— Действительно ошибалась. Непонятно, как при твоём уме ты могла думать как ребенок. Если слово «корректность» является не более чем бессмысленным синонимом, означающим «мягкий, добрый человек». Как можно быть завоевателю мягким и добрым? Он живет грабежом и жестокостью. Но если ты хотела сказать, что он мог бы быть тактичным и внимательным к людям в общественных отношениях, то ты права, что осуждаешь меня. Снимаю свой вопрос.

— Подожди, с твоего царского позволения я желаю ответить на него. Прошло уже около четырех лет с тех пор, как мы сошлись с тобой в Афинах. Из них три я была куртизанкой с хорошим положением среди лиц моей профессии. Клиентов мне подбирала наша хозяйка, Лета. Это прежде всего были богатые люди — иначе они не платили бы полсотни золотых статеров, что вдвое больше цены высокосортного раба или красивой девушки-рабыни, хоть это и далеко до золотого таланта, который, как помнишь, ты мне тогда заплатил. Часто это были члены посольств в Афинах из других греческих полисов или иноземных государств, таких, как Рим, Карфаген и Египет. Был один вождь большого клана варваров, который обращался со мной, как ты говоришь, с большим тактом и вниманием. Был один высокий военачальник из твоей армии, очень уважаемый.

— Ради всех богов, скажи кто! Я требую, чтобы ты сказала!

— Не требуй, не скажу.

— Клянусь богами, я это узнаю!

— По какому праву, царь Александр? — Она говорила очень спокойно.

Кровь, ударившая мне в голову, отхлынула. Я не мог ответить на ее вопрос. Мне было стыдно, что я задал его.

— Возможно, по праву царя, в чьей власти я теперь нахожусь,— высказала она сама единственно возможный ответ на свой вопрос.— Применив пытки, ты мог бы заставить меня назвать его имя: мне ведь не хватит большой стойкости, чтобы вынести боль. Но тогда тебе потребуется калечить мое тело, а для тебя это зрелище будет не из легких, ведь ты его хорошо знаешь и сам говорил мне, что готов заплатить шесть золотых талантов, чтобы иметь его чудное подобие в исполнении Апеллеса.

— Сразу же после разрушения Фив у меня в Афинах было несколько представителей из военачальников и близких союзников. Среди них был Птолемей. Мне не хотелось посылать его — из-за тебя, но я поборол это чувство, так как считая Птолемея способнейшим дипломатом из тех, кто подчиняется мне. Да, наверное, это Птолемей. Боги знают, что я не могу винить его, если он видел картину, где ты изображена как Геба, богиня юности. Я сглупил, прости.

— Даже высокие боги иногда снисходят до глупости, Александр,— сказала она, и при этом в ее лице и голосе было столько очарования.— Сам Аполлон дошел до этого, когда помогал своей сестре Артемиде убить детей Ниобы\*, и запятнал свое великое имя так, что никогда ему не очиститься.

— Наверняка среди твоих клиентов были поэты, художники, скульпторы.

— Что правда, то правда. Бывали и важные господа из Афин и других больших городов. Был один крупнейший математик — слишком старый, чтобы соединить свое тело с моим, но я целовала его почтенную голову и чудесные руки и слушала его рассуждения по тригонометрии, хотя и не понимала ни одного предложения. Спустя некоторое время меня потянуло на острова Эгейского моря — не могу объяснить почему. Сначала я посетила остров Кифера и отдала должное богине, которую теперь называют Афродитой, хотя для моей души она, как и прежде, Кифера. Оттуда я направилась на Мелос, где видела еще одну Афродиту с драпировкой на ногах. Ее стан, грудь, лицо невообразимо прекрасны. Эта Афродита работы молодого ученика Скопаса; я забыла его имя, оно очень трудное. Родился он в Фивах, и Апеллес



говорил, что проживи он подольше, он затмил бы славу своего учителя.

— Как он умер? — Я тут же пожалел о заданном вопросе, поняв, что Таис умышленно навела меня на это.

— Он родился в Фивах и пал в последнем бою фиванцев на агоре, когда они дерзнули восстать против Александра III из Македонии.

— Много молодых людей, обещающих быть великими, погибают в битвах, — ответил я после долгой паузы. — Ему бы следовало точить мрамор, а не бросаться с мечом на сторонников верховного владыки Греции.

Она раздумывала, тогда как из водяных часов уже вытекла половина воды. Я заметил, что задумчивость придает ей особую прелесть. Красота всегда была при ней, но она незаметно менялась в зависимости от ее мыслей. Я не заметил, чтобы мое резкое, властное замечание вызвало в ее лице какое-либо возмущение, которое, наверное, даже хотел бы видеть, и, не увидев, несколько растерялся.

— Царь Александр, — заговорила она задумчиво, — а тебе не приходила в голову мысль, что работа рук этого скульптора — ученика, имени которого я даже не могу вспомнить, — может пережить дело рук твоих?

— Такое не может прийти мне в голову, потому что это просто невозможно.

— Разве? Ведь были и другие великие завоеватели — позначительней тебя, если ты сейчас вдруг возьмешь да и прекратишь свои походы. Кир Великий. Дарий Великий. Но ты не намерен бросать свое дело сейчас. Ты стремишься прибрать к рукам все, что они завоевали. И не только это. В таком случае твое имя громче их прогремит через многие века, но сохранится ли твое дело? Варварские орды — разве они перестали размножаться? Разве они прекратят свои нашествия? В Египте может объявиться новый Рамзес Великий. А кто встанет у власти в богатом Карфагене? Рим еще младенец, но что, если он создаст великого полководца, равного твоей царской персоне? Он расположен посреди Средиземного моря, может наносить удары во все стороны света и стать центром известного нам мира. А теперь вернемся к нашему ученику скульптора. Великие города опять и опять станут ареной сражений, рухнут храмы с их божественными творениями, сами города будут похоронены под обломками, снова поднимутся и снова будут разрушены. А вот Мелос — малозна-

чительный остров: правитель морей удержит его одним таксисом, а если это римляне, то одной когортой. Станут ли они уничтожать свою прекрасную Афродиту из белого мрамора? Они, наверное, изменят ее имя, назовут Венерой — ведь так ее знают в Риме. Империи — это насильственные объединения отдельных государств и племен, а Венера из Мелоса — по-латински будет из Мило? — это один цельный кусок мрамора, пользы от которого никакой, кроме той, что это предмет красоты, способный восхищать глаза и восторгать душу.

Она замолчала. Мне стало стыдно своего замешательства.

— Ты пытаешься внушить мне мысль, Таис, что святилище этого изваяния из мрамора посетит больше паломников, чем могилу Александра Великого?

— Нет, беру свои слова обратно. Это было бы только счастливой случайностью судьбы. От Мелоса наш корабль поплыл на Парос и Наксос, Скарию, а там и на Хиос. Потом заходили в прибрежные города, которые недавно были под властью Дария, а теперь освобождены царем Александром. К тому времени рассказы о твоих победах прожужжали мне все уши. Мне с трудом верилось, что я, Таис, знала Александра так, как не знал его никто другой. И когда корабль пристал к Смирне, мне неожиданно пришла в голову мысль, что, судя по расстоянию, измеряемому по полету кричащих стай диких гусей к Евксинскому морю, я нахожусь недалеко от самого Александра.

— Откуда ты могла знать? Моя армия всегда на марше.

— Слухи не отставали от тебя и летели почти так же быстро, как дикие гуси. Последней новостью было то, что ты вступил в Ликию и наверняка оттуда пойдешь на Киликию. Но я была уверена, что без захода в Гордий ты дальше по побережью не двинешься. Той давней ночью в Афинах ты говорил о Гордиевом узле — что кто развяжет его, станет властелином всей Азии.

— Ты знаешь меня слишком хорошо, Таис.

— Ты не таишь своих мыслей, царь Александр.

— А ты, Таис, скрытничаешь. Как ты платила за столь долгий путь?

— Я отвечу тебе, хотя вопрос этот бестактный. Его бы не задал ни один благородный афинянин. Я покинула Афины с тяжелым кошельком золота, тратила его, не скупясь, и время от времени пополняла свои запасы. В

сущности, я больше не была куртизанкой — только иска-  
тельницай приключений. Я плыла на прекрасной триреме.  
Персидский флот, если бы мы встретились с ним, не стал  
бы нам докучать. Персия в хороших отношениях с Афи-  
нами — она все еще надеется, что при первой твоей неудаче  
они вернут себе то, что потеряли. Жажда приключений —  
это в моей натуре, это страсть, которая захватывает меня  
целиком. Я не стремилась к обеспеченности и спокойной  
жизни в браке, с детьми. Может, лет через десять мне  
этого и захочется, но не сейчас. Я все еще посылаю гос-  
поже Лете один статер с каждых пяти из своего заработка,  
но, мне кажется, слово «заработок» сюда не подходит. Эти  
золотые статеры скорее похожи на дань, которую платят  
моей красоте мужчины, возбуждившие во мне, часто сама  
не знаю почему, желание быть с ними. Я хотела, после  
того как корабль дойдет до Византии, вернуться на нем  
в Афины, но во время остановки в Смирне — пока ты  
занимался осадой Далиана — я встретила с греком-из-  
менником, который мне не понравился.

— Не понимаю, в каком смысле.

— У него дворец в Смирне и жалование от Дария.  
Когда мы встретились, он был пьян и хвалился, что знает  
не только то, что сейчас происходит, но и то, что еще  
будет впереди, о чем до меня не доходило никаких слухов.  
Например, он говорил мне о делах Мемнона родосского,  
которого среди персидских военачальников ты опасался  
больше всего и который при Минде ускользнул из твоих  
рук и бежал на остров Кос. А еще он намекал на то, что  
знает, каковы планы Дария на эту весну.

— Не знал, что Мемнон на острове Кос. Не пожалел  
бы десяти талантов, чтобы этот греческий шпион оказался  
у меня в руках, и железо развязало бы ему язык.

— У тебя есть нечто получше золотых талантов и железа.  
У тебя есть друг. Да-да. В отличие от большинства афинян  
я друг тебе, царь Александр. У меня в жизни две любви:  
любовь к самой жизни и любовь к Афинам. Не думаю,  
что благо Афин заключается в установлении связей с  
Персией. Если нам нужен верховный правитель, я бы  
выбрала грека — почти любого грека, а не персидского  
царя. Век с четвертью до моего рождения Артаксеркс сжег  
Афины, но сохранилась маленькая обуглившаяся арфа из  
дворца моих предков, на которой я научилась играть. Я  
сочиняла песенки и мелодии, моля в них Зевса, чтобы

Афины были отомщены. Звали этого грека-изменника Фокион. Я выпила с ним вина в хане, а потом мы пошли к нему во дворец, в спальню. Я не приняла от него никаких денег, платой мне было нечто другое. Он никогда не слышал пословицы: «Ты можешь верить обещанию пьяницы отказаться от чаши, клятве игрока воздержаться от игры в кости, обету волка не задира́ть овец, но не верь клятве сводни»\*. В сумерках рассвета я оставила его и направилась в Сарды по царской дороге, проходящей мимо Гордия.

Я во все глаза глядел на афинскую куртизанку Таис. Мне бы не описать того, как изменилось ее лицо, ее осанка. Я даже не видел ее во всех деталях, сознавая только, что предо мной новая Таис, что кое-чего я прежде в ней не заметил. Ее темно-синие глаза светились каким-то совершенно необычайным огнем. Глубокое дыхание выдавало тревогу. Не беспечной Гебой и не соблазнительной Киферой казалась она теперь, а скорее некой древней финикийской богиней, возможно даже, жестокосердной Ашторет. Красота ее не потускнела, но стала другой, и я почувствовал настойчивое желание обладать ею.

— Говори, я приказываю! — потребовал я.

— Я не нуждаюсь в твоих приказах. Я здесь, чтобы говорить, и мне хватит для этого нескольких слов. Великий Мемнон снова завоевал доверие царя. Его план — во-первых, захватить с помощью персидского флота все острова Эгейского моря. Часть из них станут военно-морскими базами, с которых он сможет нападать на все греческие города и на те, что ты недавно захватил на берегах Малой Азии. Предатели сдадут ему остров Хиос, если это уже не случилось. Оттуда он сможет захватить Лесбос. Хоть это и достаточно скверная новость, но худшая еще впереди. Вместо огромной, беспорядочной, многотысячной орды солдат он намерен создать отлично обученную и дисциплинированную четырехсоттысячную армию с тяжело- и легковооруженной пехотой, могучей конницей с севера и фалангой, которая способна мгновенно перестраиваться из шестнадцатирядной в восьмирядную, как у Филиппа и у тебя самого. Потом он выберет идеально подходящее для своих сил место сражения, где-нибудь к востоку от Тавра, откуда нельзя спастись остаткам твоей разбитой армии. Фокион просто ликовал, когда рассказывал мне все это. Я не стала расспрашивать более подробно, боясь возбудить

его подозрения. Надеюсь, я правильно сделала, что поспешила к тебе с этой новостью,— если это действительно правда, а не пустые выдумки Фокиона.

— Увы, это не выдумки Фокиона, а как раз то, чего мне и следовало ожидать от Мемнона. В сущности, я этого и ожидал, но потом старался разуверить себя, полагаясь на то, что сатрапы снова встанут между ним и царем, или на вмешательство богов. Жаль, что я так торопился, когда запер Мемнона в цитадели, вместо того чтобы уничтожить и увидеть его мертвым у своих ног. Это грубейшая, а возможно, и фатальная моя ошибка в этой войне.

Я отлучился, извинившись, и послал гонцов к двум своим самым способным в ведении войны на море стратегам. Им надлежало тотчас отправиться в Понт, чтобы собрать новый флот, поскольку старый я расформировал. Кроме того, я послал нескольких гонцов к Антипатру с приказом двигаться на юг со всеми войсками, которые он сможет собрать, хотя я почти и не сомневался, что он уже на марше. Я отсутствовал вряд ли больше часа, а когда вернулся к Таис, то решил сказать ей кое-что очень важное. Но прежде мы поцеловались долгим и сладостным поцелуем.

— Таис, ты не останешься со мной?

— Сегодня на ночь — ты это хочешь сказать?

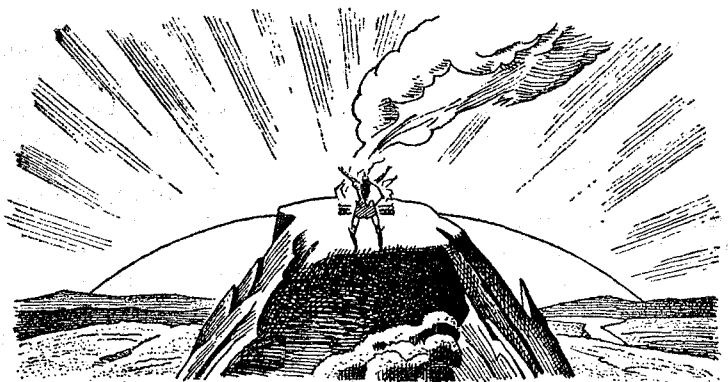
— Нет, сколько пожелаешь или сможешь. Пойдем со мной и будь моей супругой в военном лагере, на марше или когда я буду вести осаду. Я чувствую, что с твоим характером ты не долго пробудешь со мной; мой казначей ежедневно станет платить тебе пятьдесят золотых статеров, и ты увеличишь свои накопления, которые привезешь домой, в Афины. Более того, ты заслужишь мою вечную благодарность. В твоих объятиях приятен будет мой отдых, сладкими сны, и я, отдохнувший, со свежими силами, всегда буду готов встретить самого лихого врага. Ты всегда уверена в своих желаниях. Говори.

— Я пойду с тобой, Александр. Я не люблю тебя — сомневаюсь, что в мире много таких женщин, которые могут тебя любить, хотя очень многие хотели бы сделать из тебя идола. Сердце мое не хочет выдавать мне свои секреты; я не могу сказать, что ты для меня значишь и в каком смысле. Я знаю лишь, что тесное общение с тобой будет мне по душе и доставит огромную радость. И всегда помни, мой повелитель, я искательница приключений. Разве

могу я позволить себе отказаться от доли величайшего приключения наших, а может, и всех на свете времен?

— Немалой доли, Таис.

— Возможно, и так. Может, я и в самом деле Кифера, одно из проявлений Афродиты, как ты мне однажды сказал. А почему бы и нет? Ведь общаться с богами и богинями — это и есть твоя судьба. Когда я рядом с гобой, я чувствую их близость.



#### Глава 4

### ИСС И ДРЕВНИЙ ТИР

#### 1

Устроив свою жизнь с Таис, я ни в чем не прогадал, находя тихое счастье, стоило мне только подумать о ней; к ней устремлялись мои мысли, когда я ненадолго освобождался от докучных военных проблем. Подобное же счастье лежало в основе всех моих ночных сновидений, какими бы беспокойными они ни были, а телесная любовь повергала меня в экстаз. Я не раз пытался понять или определить, в чем секрет ее неизменного очарования, но ничего удовлетворительного для себя не открыл, кроме того, что источником его является эта странная абстракция — красота. Я заметил, что до сих пор не знал никого, кто бы мог быть так откровенен со мной, исключая Абрута. Тогда почему же сердце ее и душа оставались для меня непроницаемой тайной?

По сути, я не знал женщину, с которой жил бок о бок, не считая разве что тех моментов наибольшей близости, когда каждый из нас достигал самореализации и некоего мистического взаимопонимания. Все, что она делала или говорила, казалось мне восхитительным, но тут же в голову приходила мысль, что именно этого я и ожидал, ведь это так отвечает ее глубинной природе. Сомневаюсь, смогла ли бы она мне солгать, даже если бы и захотела. В отно-

шениях со мной она не прибегала к маленьким лживым ухищрениям, которые столь очаровательны и естественны для большинства женщин. Было непонятно, как ей удалось заморочить голову изменнику Фокиону, бывшему на службе у Дария.

Через три дня гонцы доставили мне информацию, в основном подтверждающую то, что сообщила мне Таис. Однако планы Мемнона простирались дальше того, что было известно Фокиону. В действительности часть из них уже приводилась в исполнение. Он заполучил остров Хиос, воспользовавшись предательством его правителей. Он напал на большой остров Лесбос, захватил его весь, кроме защищенного стенами города Митилена, подвергнув его жестокой осаде. Спарта готовила свои силы к мятежу. Чтобы подперчить блюдо, и так уже чересчур острое для моего вкуса, Афины праздновали и служили благодарственные молебны в честь этого нового поворота событий, и Демосфен провозглашал мое неминуемое падение — мол, попался македонский лев в свою собственную западню. Он даже держал пари на золото, присланное ему его хозяином, персидским царем, что моя голова скатится еще до разгара лета.

Я в бесполезной ярости сожалел о том, что не попотчевал Афины тем же лекарством, что и Фивы, и не похоронил их под развалинами величавых дворцов, зданий судов, колонн и галерей. Но если бы я это сделал, то кто бы тогда таращил в изумлении глаза, когда вся Персия распростерлась бы у моих ног, как и должно было случиться, если высшие боги сдержали бы свое слово?

Изменник Фокион сделал одну любопытную ошибку, или же Таис неправильно его поняла. Собранная Мемноном армия насчитывала не четыреста, а сто тысяч, что для меня явилось пусть слабым, но утешением. Весьма сомнительным утешением, ибо под командованием такого талантливого полководца, каким я считал Мемнона, этой армии обеспечивалась высокая степень маневренности, взаимодействия частей, и ей было легче действовать в условиях сильно пересеченной местности Персидского плато, между долинами рек Евфрат и Инд, где четырехсоттысячная громада застряла бы, лишенная боеспособности. Где-то на этом обширном плато или на его неровных участках, вдающихся в Армению и Малую Азию, должно было произойти сражение из сражений, решающее состоя-



зание в военной мощи между Александром и персидским царем.

Таис своими новостями дала мне трехдневную отсрочку, и я был благодарен ей за это. Мое войско сильно поредело в сражениях и от болезней. Многие ветераны с незначительными ранениями были отправлены домой, получив соответствующее вознаграждение. Я вовремя спохватился и отменил свое распоряжение о длительных отпусках для тысяч отслуживших долгий срок или недавно женившихся солдат. Кроме того, я отправил распоряжение захваченным мною городам о формировании ими войсковых контингентов для охраны наших лагерей и обозов и тому подобных задач, пока они не будут готовы занять свое место в действующих войсках.

На следующий день после прибытия гонцов Парменион встретился со мной в Гордии. Его армия не только не поредела, но и разрослась за счет воинов из варварских кланов, охочих до добычи, но отличных наездников, лучников и прашников. Пока мы готовились к походу, к нам на радость вернулись отправленные мною в отпуск ветераны, по своей воле не догуляв положенное им время.

Похоже, я чувствовал легкое изменение ветра, которое могло бы принести нам добро вместо зла. И действительно, на следующий же день, когда мы с Парменионом готовы уже были выступить, прибыло устное сообщение, настолько замечательное, что я отказывался верить своим ушам.

По царской дороге из Сард ехал гонец на измученной лошади. Лошадь под ним споткнулась и упала, всадник вывалился из седла. «У меня новость», — процедил он сквозь зубы сопровождающему солдату, но какая именно, не уточнил. Он не сказал о ней никому, даже моему военачальнику Птолемею, который оказался рядом.

— Я передам ее только самому царю, — заявил он.

Я услышал его через открытую дверь павильона, и, клянусь, мое сердце екнуло. Я никогда не сомневался в своих предчувствиях и потому-то был так уверен, что принесенная мне весть очень важная, хотя и не осмеливался гадать, добрая она или нет.

— Перед тобой царь, — объявил я запыхавшемуся гонцу. — Говори.

— Царь, Мемнон умер.

Удар сердца у меня в груди был так силен, что, казалось, оно на миг остановилось — у меня закружилась голова,

и я ощутил предобморочную слабость. Мне трудно было скрыть свое состояние от гонца, смотревшего на меня круглыми от удивления глазами. Я переключил свое внимание на людей, занятых неподалеку осадной машиной, делая вид, что оцениваю их работу. Мне нужна была передышка, чтобы хоть как-то успокоиться. Затем повернулся к посланцу то ли Небес, то ли Аида.

— Прости, друг,— сказал я,— кажется, я отвлекся. Так кто, говоришь, умер?

— Мемнон, твой самый серьезный враг!

— Скорее всего, это просто слухи...

— Царь, поверил бы ты слову Дикта, которого оставил начальником в Пергаме?

— Не знаю никого, чье слово было бы верней.

— Так знай, что он нанял шпионов, когда персидский флот вошел в северные воды Эгейского моря. Один из них был хозяином смэка (одномачтовое рыболовное судно), крепко сколоченного, с парусом, чтобы ловить толстое пузо ветра. Он скрывался под видом простого парня с Хиоса, которому до войны нет никакого дела, и персы, осадившие Митилены, с радостью покупали его улов. Когда в день новой луны он в последний раз побывал там, осаждавшие оставили свои машины; там, где раньше он слышал мощные удары таранов и дикие крики тех, кто стрелял из катапульт, все было тихо, а солдаты горевали, сбившись в молчаливые группы. Он робко спросил одного механика, нужна ли сегодня лагерю рыба — у него, мол, хороший улов морского окуня.

— Нам больше не потребуется твоя превосходная рыба,— ответил начальник.— Сегодня мы оставляем лагерь и завтра уходим в море. Война окончена.

— Быстро отвоевались,— заметил рыбак.— С победой уходите или с поражением?

— С поражением? А ну-ка скажи мне, дорогой друг, что есть душа твоего рыбацкого смэка: мачта, парус, корпус?

— Ни то, ни другое, ни третье, мой господин. Это руль. Судно прокладывает себе путь, когда кладешь руль направо или налево.

— Сломан наш руль. Когда станешь дедом, расскажи своим внукам, что ты был первым из всех рыбаков, кто услышал весть о смерти и уходе в царство Аида великого Мемнона, который, если б жил, победил бы Александра

Македонского. Он был единственный полководец в армиях нашего царя, достойный стоять у штурвала великого корабля, имя которому Персия.

— Шпион поклонился вокруг, наблюдая, — продолжал свой рассказ гонец, — и увидел, как в огромную палатку с желтым солнцем и золотыми лучами, изображенными над входом, вошли люди с носилками, а затем вышли, неся на них тело плотного светловолосого мужчины с квадратно подстриженной бородой. Пока тело несли к небольшой галере, солдаты рыдали; потом корабль ушел в море.

Я глубоко вдохнул и заговорил:

— Откуда у шпиона могла быть такая уверенность, что это Мемнон? Ну да, это сказал механик, но иногда ложный слух... — Тут я замолчал, не желая и дальше выглядеть идиотом.

— О царь, шпион знал его в лицо. Еще раньше, когда он побывал на острове, один маркитант направил его к нему.

— Отчего он умер? От яда или оружия?

— Ни от того, ни от другого, мой господин. Шпион знал, что чем больше он выведает, тем больше серебра зазвенит в его кошельке. Он немного поболтался, осмелел и заговорил с рабами, которые варили черное питье из коричневых бобов — их привозят из Византии. Один из рабов был эллин, а царь Александр знает, что эти любят поболтать. Он сообщил, что Мемнон корчился от боли, но это не могло быть действием какого-нибудь из ядов, ведь тогда он схватился бы за живот; боль же была в груди, в верхней части. Мемнон схватился руками за горло и в муках свалился на пол. Должно быть, у него перекрыло дыхательный канал, потому что он пытался хватать воздух ртом, а потом почернел лицом, как будто его душили, и тут же умер.

Ко мне живо вернулось веселое расположение духа, кровь снова прилила к лицу.

— Ты верный гонец, но слаб от голода и усталости. Назови моему казначею свое имя и воинское подразделение и скажи ему, пусть набьет твой кошелек золотыми статерами, я приказываю, а потом плотно наешься, но не до рвоты, и выпишься как следует.

Солдат отдал мне головокружительный салют и в ответ получил такой же. Затем я, как сомнамбула, не помня себя

от радости, пошел к Пармениону и поведал ему эту новость.

— Как, по-твоему, это правда? — спросил я сурового старого вояку.

— Конечно, правда. Надежней Дикта у нас никого нет. К тому же наши шпионы сообщали, что у Мемнона как раз перед Граником уже был приступ: он сам думал, что из-за колики. Каким же я был глупцом, что отругал того гонца — мол, нечего занимать мое время такими пустяками.

— Кто теперь у них остался ему в замену?

— Перебежчик Харидем, старый наш враг. Стратег он первоклассный и будет хорошим советчиком Дарию, если его божественное величество захочет слушать его советы. Как бы там ни было, нам пока придется смириться с мыслью, что лично сам царь возглавит свое войско. Это может изменить ситуацию. По правде говоря, солдаты почитают его как бога. Да и урок, полученный ими на Гранике, теперь уж небось глубоко запал им в душу. Но даже если это так, у меня на душе легче, как и у тебя — я вижу это ясно по твоему лицу. Сегодня ты будешь спать лучше, чем многие ночи до этого известия.

Я отдал распоряжения, чтобы Дикту было ясно, чего я хочу, и удалился к себе в палатку. Там меня встретила Таис. Она была оживлена сверх меры и рассказала, что прекрасная фессалийская кобыла Птолемея разрешилась от Букефала жеребенком, обещающим стать превосходным конем. Таис уже считала его подарком себе на день рождения. В своем нынешнем настроении трезвой радости, близкой к торжественному восторгу, я не мог сказать этому счастливому ребенку, что намерен был подарить Граника — так я еще заранее называл жеребенка, зачатого в месяц моей первой большой победы, — другому счастливому ребенку в далекой Бактрии. Тут я вдруг вспомнил, что ни Таис, ни Роксана уже не дети, хотя Таис, а возможно и Роксана, выглядела почти что девочкой. Таис было двадцать, Роксане примерно столько же. Вспомнил я и обширные просторы Азии: Букефалу хватило бы времени породить еще одного жеребенка до того, как я переправлюсь через Гиндукуш.

Парменион ошибся, предсказав, что я буду спать крепко. Я спал, то и дело просыпаясь; Таис спросила, что за новая напасть гложет меня, а затем заставила теснее

прильнуть к ее теплой шелковистой спине, как поступают жены. Может, и она недоумевала, почему мы еще не предались любви — впервые за эти ночи, пока она была здесь, я отказался от неземного наслаждения. Единственная причина этого, как и моего беспокойного сна, объяснялась моим восторженным настроением, приведшем меня к созерцанию богов и тех чудес, которые они сотворили.

Однако я проспал достаточно крепко в целительном блаженстве ее ароматного тепла до двух часов после полуночи. Проснувшись, я стал доискиваться причины досады, кольнувшей меня, когда Парменион рассказал о первом приступе у Мемнона той же болезни, что привела к его смерти. Вскоре я обнаружил, что это сообщение ослабило мою веру в то, что Мемнона поразил сам Зевс как препятствие на моем пути к скорейшему обладанию обещанным им мне царством. Я все же полагал, что этот предыдущий удар Зевс нанес с тем, чтобы никто не догадался, что последующий, смертельный удар — дело его рук. Возможно, он хотел скрыть от ревливой Геры — богини Небес и своей жены — свое посещение покоев Олимпиады в первую ее брачную ночь, если такое действительно было; иногда я этому осмеливался верить, а порой и сомневался. Возможно, никто не должен был знать, что он снова внедрил свое божественное семя в лоно смертной женщины, до тех пор, пока я многими победами не докажу своей божественности.

Вновь обретя уверенность, я пролежал в блаженно-бодрствующем состоянии почти до рассвета, затем, не будя Таис, встал, оделся, положил в карман трутницу и шкапулку с фимиамом, пристегнул меч, закрепил плащ застежкой в виде львиной головы и, прихватив с собой древний щит, который привез из Трои, вышел наружу в этот холодный сумеречный час. В небе нарождалась новая луна, еще слишком слабая, чтобы спорить со светом звезд, которые вновь зажгли свои лампы. Я направился к холму, лежащему неподалеку от моей палатки, насчет которого накануне отдал особые распоряжения.

У подножия холма меня окликнул часовой:

— Аид.

— Душа Мемнона, — ответил я.

— Проходи, о царь.

Холм окружали невидимые в темноте часовые. У них был приказ стоять спиной к вершине, чтобы они не видели того, что там произойдет, и чтобы я мог пребывать в

состоянии, равнозначном полному одиночеству, в котором мне подобало находиться именно в данном случае. И еще я не хотел допустить, чтобы какой-нибудь любитель ночных отправок осквернил священную землю.

На вершине холма были в два яруса сложены сухие бревна около двенадцати футов в длину, шести в ширину и двух в высоту. Между бревен нижнего яруса была набита лучина для растопки. Но пока я был еще не совсем один на возвышенности. Там же стоял привязанный к пню бычок без единого пятна, с широко расставленными рожками и тяжелой мошонкой.

Я обнажил меч и одним скользящим ударом перерезал ему глотку. Он был вдвое тяжелее меня, и, чтобы только подтащить его к бревнам, мне потребовалась чуть ли не вся моя сила, не говоря уж о том, чтобы взгромоздить его наверх, — тут мне пришлось задействовать резерв, к которому прибегают мужчины в случае крайней необходимости или в состоянии очень сильного возбуждения.

Затем я подул на слабо тлеющий кусочек трута и положил его под сухую траву, подстилающую сосновую лучину. Я дул и дул, пока не появилось пламя, после чего загорелась и вся лучина.

Тем временем на восточном горизонте появились первые признаки рассвета, переходящего от бледного свечения к красному сиянию. В прежние далекие времена крестьяне, направляющиеся к своим полям, сказали бы, что это Эос, богиня утренней зари, встает рядом с Тифоном, своим мужем, которому она подарила бессмертие, но не смогла при этом дасть вечной юности, отчего он составил и стал горой; и хотя она смотрела на него с божественным состраданием, вернуть назад свой дар она уже не могла. И вот теперь она уже облачалась в пламенные одеяния, свет становился все ярче по мере того, как встающее солнце приближалось к горизонту.

Пламя уже охватывало бревна, и я бросил на них фимиам. И как раз в тот момент, когда над восточными холмами засияла первая малая арка солнечного диска, все бревна вспыхнули в едином порыве пламени, в мистическом единстве, которое росло вместе с поднимающимся солнцем. Я распластался перед погребальным костром, творя бессловесную молитву.

Так я принес благодарственное приношение Зевсу, который сам есть Солнце, Повелитель Высоких Небес.

Правда, в большей части Греции Сыном Солнца часто называли Аполлона, а также менее значительное божество, Гелиоса. Но мы, македонцы, северный народ, представляющий самую древнюю и чистую ветвь эллинской расы, никогда не обманывались. Старейший оракул в Греции был на севере. Там стоял храм еще до того, как Афродита вышла из морской пены, еще до рождения Гермеса и Диониса; храм дряхлел, частью разрушался, снова отстраивался, чтобы вновь развалиться и восстать из руин. Велики были все боги, но все они подчинялись величайшему из них — Зевсу, Собирателю Туч, Громовержцу, ниспосылающему огненные стрелы, которые раскалывали горы.

— Приветствую тебя, отче Зевс! — вскричал я в пылу молитвы, обращенной к востоку, где в небо грозно врывалась громада солнца.

— Привет, Александр, сын мой! — протрещал Священный костер.

## 2

Когда три дня спустя мы выступили на Анкиру\*, впереди, как обычно, были застрельщики. В этой области можно было почти не опасаться засады: с тех пор, как я покорил все прибрежные города, сопротивление здесь прекратилось; но я хотел, чтобы эта группа хорошо обученных всадников не теряла своей сноровки и чтобы воины сохраняли чувство своей значимости и ответственности перед всем войском. Не все они были греками. Немало было и вступивших под мои знамена варваров из фракийских и иллирийских кланов, с детства лихих наездников, учившихся сидеть в седле в скачках по гористым дорогам своих родных мест и отражать внезапные нападения враждебных кланов. Их лошади выросли на горных пастбищах. Твердо держащиеся на ногах, косматые, малорослые, они напоминали мне того резвого жеребца, которого из-за его малого роста язык не поворачивался назвать конем и на котором Роксана проехала весь долгий путь из Бактрии. Эти конники свободно передвигались, подчиняясь только мне и своему начальнику.

Сразу же вслед за ними выступали мои несравненные гетайры, а я на Букефале ехал впереди, окружаемый по-

четом. В нарушение обычного правила я позволил Таис и хмурой особе, которая была ее единственной служанкой, следовать за элитарными силами в своей кибитке, укрепленной на прочных пружинистых шестах, прибитых гвоздями меж осей. В этой повозке были занавески, которые можно было опустить в случае ветра или дождя, или вновь поднять, чтобы дать доступ воздуху и позволить себе отчетливее видеть окрестности. В этом положении она и расстоянием, и мысленно была отделена от людей, сопровождавших наш лагерь.

На полпути от Анкиры до нас дошли первые вести, что Дарий со своей армией тоже находится на марше. Я насторожился: уж слишком скоро гонцы успели ко мне с этими вестями, ведь, согласно их сообщениям, вражеская армия только что вступила в Сирию; что-то тут не вязалось. Кроме того, мне как-то не верилось, что Дарий со своими военачальниками мог за такой короткий срок собрать и обучить четырехсоттысячное войско.

За первыми новостями последовали другие того же содержания, если не считать значительно возросшей оценки численности вражеских сил. В Анкире все мои сомнения сразу же разрешились. Я зашел к Клодию, сыну греческих рабов, родившемуся в Персии, говорившему по-персидски, на языке медов и по-гречески, который легко мог сойти за перса, но ненавидел Персию всю свою жизнь. Самый надежный шпион, состоящий у меня на службе, он уже знал о моем прибытии и встретил меня в хане.

— Совершенно верно, Дарий вступил в Сирию, — сообщил он.

Я задал вопрос, который бы в первую очередь задал любой уважающий себя военачальник и не относящийся к мощи армии:

— Захватил он Киликийские Ворота?

Через этот древний проход семьдесят пять лет тому назад Ксенофонт со своими бессмертными Десятью Тысячами ускользнул из Персии. По нему могла шагать колонна в четыре ряда в окружении отвесных скал. Здесь небольшой, но решительно настроенный отряд мог бы остановить целую армию.

— Нет, царь Александр. Любой из твоих рядовых предполагал бы, что он поступит именно так, и я тоже, а поскольку у меня есть брат, пастух, Несс его зовут,



который живет в Киликии в пяти днях езды от ворот, я велел ему, как только он услышит, что Дарий развернул свою армию, смотреть в оба и, если персы приблизятся, купить быстрых лошадей на то золото, что я послал ему, и, гоня их по очереди, привезти мне новость. На лошадей я выделил ему золото из присланного тобой мне. Воистину, без него я бы не мог послужить тебе как следует, но я служу не за золото, а потому что ненавижу персов. От Несса не было никаких сообщений. Ворота остаются неохранными, если не считать небольшого патруля из старых ветеранов, отпущенных на деревенское житье.

— Этому трудно поверить, Клодий. Если бы они перекрыли ворота, мои линии коммуникации и подвозы были бы перерезаны.

— Царь, по-моему, Дарий уверен, что его огромная армия сокрушит тебя одним ударом и ему нет нужды думать о Киликийских Воротах.

Какова его армия? Ты можешь приблизительно оценить ее численность? — Не дыша я ждал, что ответит Клодий.

— Царь, в этом отношении новости плохие. Если разделить пополам ту цифру, о которой сообщают наблюдатели, то остается пятьсот тысяч.

Клодий наблюдал за моим лицом с великим беспокойством. Видя, что оно не вытянулось, а наоборот, осветилось радостью, он уставился на меня в недоумении.

— Но ведь у тебя нет и сорока тысяч! — воскликнул он.

— Здесь еще лучше было бы тридцать. Клодий, если не ты, так твой брат видел, как стая волков — а для сильной стаи хватит пяти-шести, не больше, — как голодной зимой стая волков нападает на его стадо крупного скота. Общая масса волков не больше, чем весит один из его матерых быков. Тем не менее они прыгают, хватают за горло и убивают полдюжины гладких телок, пока быки беснуются и понапрасну пытаются поддеть волков на рога. Но хватит об этом! Должно быть, шах не прислушался к совету Харидема, продажного вояки, но толкового военачальника.

— Нет, не прислушался, царь.

Клодий сказал это так странно, что я пригляделся к нему повнимательней и догадался, что он выложил еще далеко не все.

— И отчего же? — поинтересовался я спокойным тоном.

— Царь, что может сделать солдат, чтобы его голос слышали из темного и мрачного царства Аида?

— Ты, Клодий, хочешь мне сказать, что и Харидема — последнего из этих двух самых страшных для меня соперников, больше нет среди живых?

— Смерть — обычное явление во дворцах царей. Послушай меня, царь Александр. Харидем советовал то же, что и Мемнон, то есть чтобы армия не превышала ста тысяч, куда включались бы тридцать тысяч греческих наемников. И все равно это войско было бы в три раза больше, чем твое, его можно было бы хорошо обучить, сделать высоко маневренным в любой местности, не нуждающимся в длинных обозах, его можно было бы легко обеспечить продовольствием и снаряжением. Он советовал, чтобы солдаты отступали перед тобой, сжигая поля и житницы — до тех пор, пока ты, с истощившимися запасами, не оказался бы в глубине вражеской страны. Тогда они выбрали бы позицию, чтобы нанести тебе смертельный удар.

— И Дарий его не послушался! Истинно, жертва моя моему, то есть нашему, богу Зевсу принята с благодарностью!

— Выслушай конец этой короткой истории. Сатрапы Дария обвинили Харидема в нарушении своего слова — у них были свои корыстные цели — и сказали, что он сам желает командовать этой малочисленной армией. Харидем восхвалял доблесть греческих наемников, сравнивая их с персами, и это разозлило их еще больше. Конечно, он говорил правду, но правда — штука опасная в ушах повелителя Персии. И наверняка говорилось это слишком горячо, а советникам царя положено говорить тихо.

— Слава небесам, я не таков! — Сказав это, я подумал, а действительно ли это так.

— Царь разъярился, собственноручно ударил Харидема и приказал казнить его. И вот рассказывают — не знаю, правда это или нет — когда его вели на казнь, он дерзко кричал: «Ты безмозглый осел, — так он назвал Дария. — Из-за этой своей чудовищной глупости ты потеряешь все: империю, трон и жизнь!»

— Спасибо великому Зевсу! Я докажу, что Харидем — великий пророк. Хоть и был он пиратом и изменником,

все же в храбрости ему не откажешь... В храбрости старого льва, загнанного в угол. За это я поставлю ему памятник. Прямо посреди пепла самого имперского дворца в Вавилоне.

### 3

Тем же вечером я созвал военный совет.

На рассвете войска построились и ранним утром двинулись в поход на юг, в сторону гор Тавра. От подножия гор мы проследовали старой караванной дорогой до Киликийских Ворот. Небольшой заградительный отряд персов был предан мечу, и теперь, находясь на их месте, я ощутил силу, непреодолимую для любого персидского подразделения, которое, слишком поздно, попытается захватить этот проход. Я с легкой конницей двинулся на город Тавр, что на Киликийской равнине, и его гарнизон бежал, не выдержав нашего беспощадного наступления.

И тут какой-то бог, не любящий Македонию, ополчился на меня. В Тавре я серьезно заболел. Меня одолевали боли, жар, бессонница, и мне не помогали лекарства моих чудных лекарей, учеников Асклепия. Они, с постными лицами, перешептывались между собой, и это еще больше подрывало угасающие силы моего духа. Я слабым голосом распорядился доставить ко мне Филиппа-акарнанца, лучшего из лекарей, который остался с войском у Киликийских Ворот

Гонец отбыл туда на восходе солнца. Я не надеялся на прибытие Филиппа раньше, чем до следующего восхода, а ночью болезнь достигла кризиса. Зная, что жизнь моя висит на волоске, я прогнал своих растерянных врачей и попросил пригласить ко мне Таис. До этого момента я отказывался с ней видеться, ибо опасался, что и она заразится этой ужасной немощью. Она явилась и была этим вечером уже не Киферой, а сестрой сына Аполлона — бога медицины, вокруг жезла которого свилась змея. Послав за ароматным бальзамом, она натерла мне им лоб, но лучше, чем мазь, на меня действовали ее нежные пальцы. Клянусь, что боль немного утихла, но жар все еще не прекращался. Всю ночь я пролежал, держа голову у нее на груди или на коленях, и, когда забрезжил рассвет, я увидел, что глаза ее заволокло влагой.

Ее тепло, ее близость ко мне — а такого рода близости мы еще не знали — расслабили мои напряженные, страдающие нервы; я неоднократно забывался в полусне, и наконец чудища бредовых кошмаров оставили мое ложе, и на смену им пришли сладкие сны.

Она часто целовала мои пылающие губы, остужая их своими, мягкими и нежными, и этим ослабляла чувство страшного одиночества, преследовавшего и терзавшего меня с тех пор, как со мной случилась эта напасть. Раз, где-то в послеполуночные часы, поцеловав меня, она, трепеща от радости, сообщила, что жар спадает и что внезапно выступивший обильный пот — тоже хороший симптом.

Филипп, прибывший с восходом солнца, пощупал мой пульс, внимательно всмотрелся в глаза, задал несколько вопросов, на которые, учитывая слабость моего голоса, ответила Таис, и принялся смешивать принесенные им лекарства. В этот момент гонец вручил мне письмо от Пармениона; я хорошо знал его печать, но теперь на нем стояла маленькая пометка: согласно нашей договоренности она означала высшую степень срочности. Я попросил Таис вскрыть письмо и поднести к моим глазам.

В нем прямо сообщалось, что Филипп в сговоре с Дарием и любое его снадобье не только не вылечит, а уробит меня.

С тяжелым сердцем я передал письмо Таис. Она прочла его и тихо заговорила:

— Царь Александр, кому-то ты ведь должен довериться. Покажи письмо Филиппу.

Так я и сделал. Пока он читал, я внимательно следил за его лицом. Оно опечалилось, но страха в нем не было.

Собравшись с мыслями, он заговорил со мной прямо и открыто:

— Прими лекарство, Александр. Уже наступил перелом в лучшую сторону, но естественные каналы забиты и отравляют все тело, один орган давит на другой, даже на сердце. Если не произвести быструю очистку организма, может наступить новый кризис, уже в худшую сторону, и ты умрешь.

— Поверь ему, мой царь, — прошептала мне на ухо Таис.

Я осушил чашу и, когда лекарство начало действовать, попросил Таис оставить меня — в этом отношении я

испытывал стеснительность. Ухаживать за мной позвали мужчину. Вскоре лекарство стало действовать с мощной силой, и Филипп, с удивительно просветленным лицом, засмеялся от радости. Потом он сказал мне, что это снадобье не какой-нибудь редкий и ценный эликсир из дальних стран, а некая соль, содержащаяся обычно в известняковых водоемах.

Я быстро выздоравливал, но Филипп запретил мне на несколько дней интимную близость с Таис. Я должен был экономить прибывающие силы. В ночь, когда ограничение было снято и мы заключили друг друга в объятия, когда взаимная страсть, достигнув высшей точки блаженства, затухла, оставив чудное свечение, когда Таис лежала, положив свою головку мне на плечо, а я, опершись на локоть, взглянул в ее раскрасневшееся юное личико, красноречивое свидетельство ее красоты, тогда-то я наконец смог заговорить с ней о том, что глубоко засело в моей душе.

— Не лекарство Филиппа, а твои заботы спасли меня от ужасной смерти — и именно теперь, когда только начались мои великие дела. Если бы не твоя нежность, которая излечила меня от мучительного одиночества и смягчила боль, было бы слишком поздно лечить меня любыми снадобьями. Ты пришла ко мне на помощь не потому, что любила. Ты когда-то давно говорила мне, что могла бы быть моей любовницей, но ни в коем случае не супругой. Тобой двигало только сострадание, ведь ты видела, что я, тот, что стоял так высоко, вдруг так низко упал. Но если и тебе потребуется когда-нибудь мое сострадание, ты его получишь. Если ты когда-нибудь причинишь мне большое зло — или то, что моя страдающая гордость назовет большим злом, — я этого не забуду. Только ты одна можешь сильно ударить и больно ранить меня, и при этом все же остаться в живых.

#### 4

Было очевидно, что во второй раз Дарий уже не допустит той губительной ошибки, которую он допустил на реке Граник, вступив в сражение со мной на равнине, слишком тесной для того, чтобы он мог развернуть свою огромную армию. Вступив в Сирию, он стал лагерем у

города Сохи на равнине, где ему хватало простора. Это заставило меня подумать о защите своих баз не только от горцев, но и от нападения с занятых, но еще не покоренных мною земель. Приходилось считаться и с мнением греков, долго живших в подвластных Персии городах, приспособившихся и поэтому не хотевших перемен. Золото персов застило им глаза. Поэтому я решил — пусть мстительный царь со своей знатью поскучают пока в бездействии, это скажется на воинском духе его армии, а я тем временем закрою двери овечьих загонів, чтобы в них не проникли волки.

Парменион отправился на восток, к проходам в Ама-никских горах, а я на запад, к Анхиалу, а оттуда к Солам, основанным ионийцами, чьи потомки говорили на таком испорченном греческом, что в их родном языке появилось новое слово «солецизм»\*. На этот город я наложил штраф в двести талантов, так как они предали своих предков, подражая образу жизни персов и своим верноподданничеством; к тому же я нуждался в средствах для продолжения своего похода. Оттуда я взял севернее и вторгся в горы. Встретившись с горными племенами, я постарался внушить им, что случится с их крошечными полями, их деревнями, женщинами и детьми, с ними самими, если они посмеют вмешаться в сражение, которое скоро произойдет, и особенно если они будут скатывать со скал камни и метать дротики в мою охрану у Киликийских Ворот. Чтобы вдолбить им это, потребовалась целая неделя.

Тем временем мои военные строители при поддержке пехоты, оставленной мной, чтобы подавить сопротивление в городах, все еще способных беспокоить мой тыл, делали свое суровое дело, сокрушая с помощью технических приспособлений укрепления сопротивляющихся персидских гарнизонов. Мои адмиралы вновь захватили острова Триотий и Кос, уступленные Мемнону, тем самым сильно ослабив персидский флот в восточных водах нашего Внутреннего моря. Чтобы отпраздновать эти победы и мое выздоровление, а главным образом чтобы поднять дух в войсках, мы совершили жертвоприношение богам, в частности, богу медицины, устроили большой пир и игры, доставившие солдатам огромное удовольствие, такие, как бег с факелами, борьба, метание диска и тому подобное. Я надеялся, что рады были не только мои

соратники, но и боги. Думать иначе было бы кощунственной ересью.

Мы повернули назад к Тавру, а конницу я отправил с Филотом, велел ему идти через долину Алейя, чтобы умиротворить ее многочисленное население в этот час уготованных нам испытаний. А он стремительно приближался. К нашим основным силам снова примкнул Парменион. Дольше оттягивать встречу с персами было бы равносильно моральному поражению — в моем войске упал бы воинский дух. Оно поредело из-за понесенных в битвах потерь и болезней и насчитывало уже не тридцать тысяч, как на реке Граник. А насколько меньше, я даже не спрашивал, не решался. Я собирался сделать то, что горше желчи для любого большого полководца в истории — напасть на значительно большую армию на выбранной ею территории, где количественное преимущество может склонить чашу весов к победе. Тут опять я больше всего надеялся на раздробленность персидского войска и, насколько мне было известно, на отсутствие у него военачальников с большим военным талантом — что часто бывает там, где они только любимчики или родственники царя, а не ветераны суровой школы войны. Но был еще Аминта, хоть и предатель интересов Греции, но далеко не дурак. Если Дарий станет прислушиваться к его советам, мои и без того уже куцые шансы на победу уменьшатся вдвое.

Никогда я еще не готовился подвергнуться такому серьезному риску — не только риску потерпеть поражение, что было бы поправимо, но, главное, риску полного истребления моей армии и угасания звезды Александра, которая только что взошла и сияет в лучах славы на небесах. Я уж не мог бы бежать и снова сражаться. К северу от нас возвышался большой Таврский хребет, к западу — Имбарские горы, а на востоке — высокий Аман. К югу от нас плескалось море, находившееся частично под надзором персидского флота. Не грозило ли мне это смертельной ловушкой? Теснимый чувствующим близкую победу войском, я бы не мог улизнуть, как Ксенофонт со своими Десятью Тысячами, через Киликийские Ворота.

Мне на пользу было одно обстоятельство (впрочем, я на него особенно не рассчитывал), которое заключалось в свойстве человеческой природы: склонности большой

массы людей верить тому, во что им хочется верить, а не тому, о чем неопровержимо свидетельствуют факты. Это было очень заметно даже теперь. Я шел от Анкиры почти четыре месяца, не нападая на персов, занимаясь только запугиванием городов Киликии, умирением горных кланов, посещением святилищ, устройством праздников и игр; часть этого времени я проваливался в бреду. Но для высокомерной персидской знати эта отсрочка означала только одно: я хочу избежать столкновения. Я понимаю, думали они, что мою относительно небольшую армию разгромит их многочисленная конница, насчитывающая, согласно надежным сведениям, свыше пятидесяти тысяч, и прикончат копья и кривые персидские мечи. Несомненно, в среде знатной персидской верхушки росло нетерпение увидеть мое обезглавленное тело, поднятое на копья, воронов, кружащихся над моими бездыханными соратниками и садящихся на их удивительно неподвижные тела. После этого они могли бы спокойно вернуться в свои дворцы, гаремы, ароматизированные бани, к запахам мирры и ладана.

А почему бы, вопрошали они, не двинуться нам на Александра, а не наоборот? Ведь мы можем разбить его на любом поле, где бы ни пришлось встретиться двум армиям. Может, Аминта и поднял бы свой голос, не соглашаясь с таким доводом, но он не был так прост, как Харидем; он не хотел разъярить Дария и умереть медленной, мучительной смертью, как обычно в Персии умирали приговоренные в камерах пыток. Наверное, какое-то время весы склонялись то в ту, то в другую сторону, и царь, наконец, принял свое высочайшее решение: он сам пойдет войной на этого выскочку Александра.

И вот сложили огромные шатры, больше похожие на дворцы, чем на палатки; в Дамаск потянулись гаремы полководцев и знати помельче, и загромыхали длинные караваны повозок, груженных сокровищами и багажом. За колесницей царя последует лишь сотня повозок, и среди них те, на которых будут ехать славящаяся своей красотой царица Статира, а также его мать, две дочери, мальчишка сын и гаремы самых влиятельных его приближенных. Оставшийся вещевой обоз был невелик: все необходимые для удобства его любимчиков вещи и существенный провиант для солдат. Вот так, со спартанской экономностью, вел он свое войско в Львиный Проход и



далее на равнину Исса, где хотел застать Александра и стереть его с лица земли вместе с ничтожно малочисленной армией.

Моя армия была на пути в Сохи, когда мы получили это известие. Мы уже взяли и только что оставили Мириандр, лежащий в тридцати пяти милях к югу от города Исса. Мы тут же свернули со своего пути, и я, сидя на высокой спине Букефала, задыхаясь, вознес молитвы Зевсу. С новостями подоспели и другие гонцы; сомнений не было: Дарий оставил избранное им ранее место сражения, обширные пространства которого являлись мне в мучительных снах, и решил напасть на меня на узкой равнине, запертой между морем и горами. Затем мы узнали, что он овладел городом и устроил там оставленным мною больным и раненым македонцам кровавую резню.

Мы стали спускаться вниз и, насколько позволяла местность, разворачивались в боевые порядки. Моя фаланга построилась уже внизу, на равнине; справа от нее возвышались горы, слева тянулись песчаные берега моря. Когда Дарий не застал меня в Иссе, он, несомненно, тут же решил, что Александр, испугавшись его мощного войска, бежал. Но как только его разведчики увидели мою армию, готовящуюся к сражению, его заблуждению быстро пришел конец. Выйдя на широкий участок равнины, я справа от фаланги выстроил своих гетайров, затем великолепных фессалийских всадников, далее отряды легковооруженной пехоты и на самом краю крыла — отряды закаленной в боях тяжеловооруженной конницы. Левое крыло, которым командовал Парменион, состояло из союзников Македонии: лучников из Фракии и Крита, пращников и копьеносцев из горных кланов, вставших под мои знамена. Пармениону было приказано не отходить от моря, чтобы не допустить удара с фланга, а перед фалангой, тяжелой и легкой конницей справа от меня стояла задача нанести первый сокрушительный удар по персам.

И все же крайний левый фланг казался мне уязвимым, и в последний момент я послал ему в подкрепление фессалийскую конницу, уступающую только моим великолепным гетайрам.

Наша армия в целом насчитывала от силы тридцать тысяч человек, армия Дария — вовсе не полмиллиона: лучше всего было бы предположить, что сто пятьдесят тысяч, то есть пять к одному. Однако у нас были все территориаль-

ные преимущества за исключением одной детали. Высоко на склоне холма, над рекой Дарий поставил разношерстное войско, рассчитывая, что оно ястребом слетит и накроет мой правый фланг, и это я намерен был исправить в первой стадии сражения. Кроме того, царь намного разумней расставил свои силы, чем его военачальники на реке Граник. Его хорошо обученные наемники стояли ближе всех к реке, его лучшие персидские подразделения — в центре, а на правом крыле, ближе всех к морю — его тяжелая конница. И вот засвистели стрелы — это мои горцы, желая согнать с их насеста на вершине холма смешанные отряды Дария, заиграли прелюдию к сражению.

Но на узкой равнине царю негде было развернуть всю свою армию. За передовой линией скопились массы пехотинцев, лучников, прашников и второразрядной конницы, совершенно бесполезных до тех пор, пока он не сломает наш строй — такого же сорта толпу мы перебили во время большого поражения персов на Гранике.

Я объехал весь наш строй верхом на рослом Букефале, окликая по имени многих предводителей. Я увещевал воинов вспомнить наши многочисленные победы, большие и малые, и обещал им, что сегодня мы навсегда сокрушим врага и Персия со всеми своими богатствами будет нашей. Один храбрый старый конник отважился прокричать мне в ответ:

— Александр, славный будет денек для царя Аида!

Солдаты засмеялись, уверенные в том, что именно персы целыми стаями отправятся в нижнее царство мертвых к его царю в черном колпаке. Но я-то знал: перед нами полный решимости противник, предводительствуемый самим Дарием, а потому полный высоких надежд; и нам не отделаться только малыми потерями. Я отдал приказ к наступлению.

Мы держали безукоризненно прямую линию фронта. Фаланга двигалась мерным шагом, скорее напоминающая машину смерти, а не скопище смертных людей с сомкнутыми щитами и выставленными вперед копьями. Когда полетели первые вражеские стрелы и несколько человек упало замертво, я приказал вдвое ускорить атаку. Пока фаланга в полном порядке выстраивалась в эшелон, блестящая конница моих гетайров пошла в наступление. И что же тут происходит? Перспектива легкой победы, пол-

ного разгрома ничтожно малой армии, которая с нетерпимой наглостью осмелилась бросить вызов царю, больше уж не кажется такой неоспоримой в умах лучших предводителей. Даже высшие должностные лица из знати с удивлением вытаращили глаза. Сражение идет не так, как они предполагали и притом с такой уверенностью. А какие мысли встревожили самого Дария, абсолютного монарха половины мира, при виде македонцев на храпящих и ржущих конях, несущихся подобно ровному горному обвалу, сметающему линию фронта персов? Она поворачивает назад, неуверенно пытается удержать натиск, снова поворачивает назад. «Меня зовут Кодоман — для меня был создан мир. Тогда почему же левое мое крыло обратилось в бегство?»

«Но, — подумал он, — я все равно выйду победителем». Это было только испытание его веры в Заратустру, первого великого мага, приравненного теперь к божеству. Македонская фаланга оказалась в трудном положении: сомкнутые щиты устояли перед градом дротиков, но, переправившись через мелкую реку, у крутого противоположного берега она подверглась яростной атаке эллинских наемников царя. Копья фалангистов были длиннее, но наемники занимали позицию на более высоком уровне, поэтому схватка была отчаянной. Вода все более багровела от крови по мере того, как эллинские защитники падали и скатывались в реку.

И Дарий не знал, что его страшный соперник, Александр, ранен мечом в бедро.

Я не слезал с коня, глаза мне не застилало, и я тут же замечал и то, что грозило смертельной опасностью, и то, что внушало блестящую надежду. В реке сомкнутый строй моей фаланги распался, отчего правый ее фланг стал доступен для успешной атаки; но из-за прорыва, образовавшегося вследствие бегства персов на левом фланге, я оказался на правом, занятом наемной эллинской фалангой. Я сделал круг налево, поднял руку, и мой трубач протрубил сигнал атаки. Снова я услышал за собой гром копыт конницы гетайров, и мы ударили по стройным рядам подобно ревущему циклону — по каравану в азиатской степи. Наши жаждущие крови пики вонзались в незащищенные сталью участки тел, и солдаты падали такими же стройными рядами, а идущая вслед за нами конница по лодыжки увязала в мягкой бурой жиже.

Вдалеке перед собой я увидел Дария на золоченой колеснице, запряженной серыми лошадьми из его знаменитых на весь мир конюшен. Я во весь опор поскакал к нему, и несколько человек из его личной охраны и доверенных вельмож выскочили, чтобы перехватить меня. Их сшибали пиками и топтали конями увязавшиеся за мной гетайры, но брат Дария Оксиарт\* стойко встретил меня лицом к лицу, и нити наших жизней оказались в одинаковой близости к ужасным ножницам Атропос. Но, обрезав его жизнь, мрачная сестра пощадила мою. Ускользнувший от меня в Тавре Арзамес пал под ударом моего копья, и пришлось с силой выдергивать его, чтобы высвободить острие. Другие известные сатрапы и вельможи пополнили груду мертвых тел. От острого запаха льющейся крови лошади в колеснице Дария заволновались, а фонтан крови из почти перерубленной шеи ударил царю в лицо. Тень призрака смерти холодом обдала душу правителя Персии, заставив его отдать приказ колесничему. Тот с большим искусством повернул упряжку из четырех коней и погнал их прочь с поля сражения, давя и разрезая тяжелыми колесами мертвые тела. За ним последовала многочисленная свита из оставшихся в живых телохранителей.

На дальнем левом фланге, ближе к прибрежной полосе, все еще продолжался жаркий бой превосходной персидской конницы с нашей фессалийской. Враг теснил наши силы до тех пор, пока по его рядам не прошел слух, что Дарий бежал, и странно было видеть, как сцепившиеся в ненависти и жажде крови бойцы вдруг прерывают свои страстные объятия, как гаснет пыл в сердцах персидских всадников и они обращаются в постыдное бегство.

И вот уже все персидское войско охватила паника, за исключением небольших групп, судя по одежде и вооружению, простолюдинов, которые не могли заставить себя повернуться спиной к врагу и поэтому умирали лицом к захватчикам. Мне сообщили, что Дарий все еще здесь, что его колесничий остановил взбесившуюся четверку, и царь пересел из колесницы на оседланного коня. Я тут же устремился в погоню, и со мной рядом Птолемей; отряд гетайров последовал за нами. Это верно, что нам пришлось переправиться через узкую долину по мосту из мертвецов. Но этот славный день победы уже подходил к

концу, и слишком мало времени оставалось до темноты, чтобы мы могли победить в скачках с убежавшим владыкой Персии. Уже опустились вечерние сумерки, способные укрыть его бегство от наших глаз, но гуще были сумерки той ночи, в которую ушли тысячи и тысячи бойцов его когда-то кичливого войска с несколькими тысячами моих соратников; и если наша нынешняя ночь окончится закатным солнцем, то их черная ночь смерти — без луны, плывущей в сияющей красе, без мерцания звезд — не окончится никогда.

## 5

Оставив на время погоню за Дарием, мы с Птолемеем и небольшой группой гетайров поскакали к его лагерю недалеко от Исса. Множество невоенного люда, в основном рабы, слонялись вокруг, не зная, куда податься, и мы увидели около сотни женщин и девушек, высоких и гибких персиянок с очень приятной внешностью, ибо это были жены, наложницы и служанки персидских вельмож. Мы также обнаружили там моего казначея Гарпала с секретарем, у которого имелись все письменные принадлежности: перо, рог с чернилами и папирус; он быстро что-то писал под диктовку своего хозяина. При нашем неожиданном появлении в свете горелок Гарпал немного смутился и бросил косой взгляд на наши запыленные лица и окровавленную одежду. Сам он избежал этих кровавых пятен войны, потому что я не разрешил ему ходить на поле боя, учитывая его косолапость и измотанность тяготами похода.

— Царь, я делал первую приблизительную оценку брошенных здесь ценностей, — с готовностью доложил он. — К сожалению, основную их массу Дарий еще до сражения отправил в Дамаск. И все же осталось, чем поживиться.

— Нам они очень кстати, — отвечал я. — Ты ведь знаешь, что у нас в сундуках почти пусто.

— Для того чтобы вести победоносные войны нужно много золота. Я не считал денег в его казне; на это бы ушла неделя труда, если бы у меня было несколько надежных людей. Но, судя по весу, здесь примерно пятьсот талантов.

— Золотом или серебром?

— В золотых византийских монетах и статерах. У него также есть несколько кованых сундуков, полных золотой пыли. В покоях царя и в шатрах знати много золотых изделий: кувшины для воды, фляги для мазей, бутылки для духов, подсвечники, таз из литого золота, кушетки с золотыми ножками, чаши, блюда, тарелки и тому подобное — общей ценностью, я думаю, еще в пятьсот талантов.

Эта новость меня порадовала, хотя еще оставалось немного досады на Гарпала за то, что он вошел в царский шатер до меня. Только слава победы, одержанной с благословения богов, о чем я еще не раздумывал, но отчего душа моя ликовала, помешала мне пожурить старого верного друга.

— Я еще не был в шатрах его вельмож и родственников, а также в просторной палатке, где женщины оплакивают смерть царя Дария.

— Дарий не умер. Он бежал, и сейчас к нему сбегаются все больше и больше его соратников, тысячи три или четыре, судя по следам. Это основная сила персов, избежавших смерти во время сражения.

Эти новости, кажется, здорово его напугали и раздосадовали.

— Как же так? Я слышал, что ты убил его собственноручно.

— Ложное сообщение. Надо немедленно довести эту весть до его жены и детей.

— Думаешь, царь, это разумно?

— Иначе я бы этого не предложил.

— Мне кажется, что царица... понимаю теперь: благородство требует, чтобы мы как можно скорее облегчили ее горе. Желает, чтобы я сообщил ей эту новость?

— Нет, я пошлю Леонната. Он знатного рода и больше подходит для этой роли.

Это было довольно откровенным напоминанием Гарпалу о его крестьянском происхождении, но меня все больше раздражал жадный огонек в его глазах, хоть эта алчность и служила моим интересам.

— И может, скажешь, какая была бы польза — хоть ты и изменил свое мнение по этому делу — оттого, чтобы скрывать от царицы хорошие для нее новости?

— Конечно, мой царь. Я так подумал: если царица поверит, что тело ее мужа в твоих руках, она в обмен на

него предложит свои украшения. Ну разумеется, они принадлежат победителю, это его право, но ведь она может знать и о других сокровищах, которые иначе и не найдешь.

— Леоннат! — позвал я.

Он сразу же отделился от группы моих людей, стоявших неподалеку, и вошел в шатер. Он был не только превосходным наездником и копейщиком, но и юным красавцем с тихим, проникновенным голосом и манерами не хуже, чем у афинянина, что резко выделяло его среди грубых македонцев.

— Слушаю, мой царь, — сказал он, отдавая честь и поспешая ко мне.

— Попросишь разрешение войти вон в ту большую палатку. Скажешь, что у тебя для Статирь, супруги Дария, есть сообщение. Передай ей, что ее господин в бегах и на время она с детьми останется в моем распоряжении, но что ей будут оказаны все почести, причитающиеся ее высокому положению: свита, знаки почтения и прочее. Никто не дотронется до нее и ее детей, никаких приставлений к ней не будет, и она может оставить у себя личные украшения. Если с ней вдова Оксиарта, брата Дария, передай ей те же заверения в личной безопасности и скажи, что ее господин будет похоронен так, как заслуживает его высокое звание. Со всеми женщинами царской крови будут обращаться как с царицами. И наконец, если представится такая возможность, передай Статире, что я не питаю к Дарию ненависти, а империю его захвачу по праву победы — таковы суровые правила войны.

— Слушаю и подчиняюсь, мой царь. — Леоннат отсалютовал и направился в женскую палатку.

— Царь, ты можешь пожалеть о своем обязательстве, когда увидишь Статиру собственными глазами, — заметил Гарпал. — Говорят, она первая красавица Персии. Я только мельком видел ее и готов согласиться с таким утверждением.

— Я смотреть на нее не буду и тебе с этих пор запрещаю.

— Да я же только глядел на ее украшения — это моя обязанность как царского казначея. Хочешь узнать, какова ценность остальной добычи? Например, рабов и рабынь? Или даже наложниц? Или персов помимо царской семьи?

— Не сейчас. В голове путается. Подожду Леонната, а потом отправлюсь к себе в палатку.— Внезапно я почувствовал себя вконец изможденным и телом, и душой и при этом не понимал, в чем дело.

В лагерь мы ехали в молчании. Прибыв туда, мы узнали, что Парменион вывел на поле сражения большинство невоенных и несколько сотен солдат, добровольно вызвавшихся помочь раненым товарищам, которые еще не были совсем безнадежны, собрать тела наших погибших для почетного погребения. Таково было мрачное последствие битвы, и, кроме того, нам придется покинуть это жуткое место сразу же после похорон, так как для персов не будет ни погребения, ни пения труб, ни почестей, причитающихся доблестному врагу; только хищные птицы слетятся сюда на рассвете со всех сторон. Остальные мои солдаты разошлись по своим тыфякам или молча сидели вокруг сторожевых костров. Было удивительно тихо и спокойно. И в голову приходила мысль, что каждая одержанная в бою победа есть также и поражение для человечества, но я поскорее отделался от нее — мне непозволительны были подобные мысли. К тому же, что бы ни говорила мне когда-то давно, будучи совсем еще ребенком, Роксана — разве человек не игрушка судьбы?

## 6

В просторной палатке с цветной львиной головой над входом меня дожидалась Таис. Хотя по сравнению с роскошным шатром Дария, скорее похожим на дворец, палатка напоминала деревенскую лачугу, по македонским нормам она являлась верхом роскоши: площадью примерно в двадцать шагов, на дощатом полу пушистые ковры из Тавра; пять комнат, задернутых тяжелыми шторами; а также у входа и в глубине — по небольшой прихожей. Самая крайняя принадлежала Вере, хмурой служанке Таис, и отсюда в нашу спальню с примыкающей к ней ванной тянулся шнур колокольчика. Кухня, где хозяйничали два персидских раба, соединялась с нашей столовой, где стояли четыре кушетки и стол из слоновой кости с инкрустацией из жемчуга, золота и серебра, приведший меня в восхищение во дворце сатрапа в Милете. Одна из передних комнат служила мне приемной, где я принимал послов,



устраивал совещания с военачальниками — Парменионом, Птолемеем и другими; сюда никогда не ступала нога Таис. Соседняя комната служила нам для совместного отдыха и общения. Таис читала здесь, писала или вышивала, рисовала маленькие картинки, играла на лютне, развлекала меня, как гостя.

Она встретила меня у занавешенного входа, взяла за руку. Видимо, хотела усадить на кушетку, сесть рядом, держа мою руку, разговаривать или слушать — как я пожелаю.

— Не могу составить тебе компанию, пока не вымоюсь,— сказал я ей.— И вид у меня, и запах, как у того поля.

— Ты такой уставший и бледный. Да ты ранен! У тебя кровь на одежде.

— Без крови войн не бывает. Если бы на Земле появился пришелец с другой планеты, он бы, наверное, предположил, что обильное кровопролитие и есть конечная цель войны. Врачи говорят, что время от времени полезно делать человеку кровопускание. Этот пришелец, возможно, решил бы, что мы, хитрые существа, нарочно изобрели войны как средство общего кровопускания — ну, разумеется, избыток лечения приводит к множеству несчастных случаев, но зато мы все чудесно проводим время, до тех пор пока...

Я заметил, что говорю как пьяный.

— Позволь я взгляну на рану.

— Рана пустячная, уверяю тебя. Из пореза больше не течет, кровь подсохла. Рана неглубокая, не задело ни артерии, ни одной крупной вены, но все же смотреть неприятно.

— Я все же хочу на нее взглянуть.

Я показал ей порез с запекшейся кровью. По правде говоря, я вовсе о ней забыл. Таис вызвала слугу и попросила его принести горячей воды, губки, таз, мазь для очистки и заживления и пластырь. Приняв все это из его рук и велев ему идти, она обработала рану своими легкими и красивыми руками.

— Останется великолепный шрам,— сказал я ей.— Какой полководец может считать себя ветераном, если у него нет ни одного шрама? Они — наглядное доказательство того, что он побывал в настоящем бою, а не сидел, словно насадка, в палатке. Однако я нанес своему луч-

шему другу рану почище этой — когда мы в юности с ним фехтовали.

— Кто же был в ту пору твоим другом?

— Птолемей.

На мгновение она прекратила работу, затем спросила:

— Он все еще твой лучший друг? Я думала, его заменил Гефестион.

— Ни один человек никогда не сможет заменить Птолемея. Но Гефестион держится со мной с большим почтением, нежели другие македонцы, которым не хватает ума, чтобы понять одну простую вещь: мы уже не дети и не в игрушки играем.

Таис хотела что-то сказать, засмущалась и, поймав мой заинтересованный взгляд, спросила как бы из праздного любопытства:

— Когда вы занимались фехтованием, ты его побеждал?

— А ты как думаешь?

— Наверное, так и было. Ты одолевашь все, за что бы ни взялся. Если бы ты захотел стать поэтом, в Греции тебе не нашлось бы равных. То же самое относится и к скульптуре, живописи, строительству, математике, вполне возможно, и к философии. Тебе бы только пришлось включить другую трубу. Но ты выбрал самую опасную деятельность, и самую яркую. Наверное, это отвечает твоему характеру. И все же меня как-то удивляет, что ты смог побить Птолемея. Это, должно быть, сильно задело его за живое. Видишь ли... он такой одаренный... такой искусный... Он бы всех превзошел, если бы не было тебя.

— Похоже, ты знаешь, хоть я и не говорил об этом, что он мой сводный брат.

— Это всем Афинам известно. Он сам никогда не говорил о вашем родстве, но ведь Арсиноя была знаменитой куртизанкой, и старики еще помнят, что она вынашивала ребенка, когда Филипп женился.

— Ты думаешь, что, если бы я, ему на беду, не родился на белый свет, он бы достиг того же и так же скоро?

— Нет, я этого не думаю, хотя он мог бы стать царем Македонии. Птолемей всего лишь очень одаренный человек. А ты — ты чудо природы.

— И не орудие осуществления замыслов богов?

— Я чувствую, что это опасный разговор. Опасный для меня. Может, переменим тему?

— Как хочешь, но не раньше, чем ответишь на мой вопрос.

— Отвечу, коль велишь, царь Александр. Я сомневаюсь, чтобы у богов было много замыслов: они творят или приводят в движение могучие силы природы. Те, в свою очередь, создают виды животных и растений. Ты заглядывал в калейдоскоп — при каждом повороте возникает новый узор. Они в основном одинаковые по красоте, но один из десяти может быть прекрасней, а уж один из тысячи просто потрясаяще красив. А если один из миллиона или из сотни миллионов? Число комбинаций безгранично. Конечно, это весьма примитивное сравнение. Для рождения гения в среде людей требуются неперемненные условия, чрезвычайно и исключительно благоприятные. Если бы Арсиноя была твоей матерью, ты бы, несомненно, стал знаменитым человеком с превосходными способностями. Но вместо этого матерью тебе стала эта необузданная ведьма Олимпиада. Склонность к безумию наряду с бессчетным множеством других факторов, исключительно благоприятных для случившегося, вызвали рождение Александра Великого.

— И это титул, которым я буду отличаться от множества других Александров?

— Это лишь одно из различий между тобой и всем человечеством в целом. Александр, у тебя такая прекрасная кожа — бело-розовая. Жаль, что приходится закрывать ее этим безобразным пластырем. Телом и лицом ты тоже поистине прекрасен. Пракситель мог бы изваять с тебя великого Гермеса.

— У тебя лицо дивной красоты и прекраснейшее тело.

— Это мне известно. То же самое мне говорили многие скульпторы и художники, славящиеся острым чутьем, и я не могу усомниться в этом. Но в то же время я сознаю и свои слабости и недостатки.

— Может, ты дашь мне сына или дочь? Я хочу, чтобы ты заглялась от моего семени. Не понимаю, почему этого не произошло до сих пор.

— Сядь рядом со мной на кушетку, и мы поговорим об этом. Вернее сказать, я дам тебе объяснение.

Мы сели рядом, она оперлась рукой на мое колено и нежно поглаживала мою ладонь; пальцы ее слегка дрожали.

— Я бы предпочла заняться чем-нибудь еще, что в моем характере, а не давать объяснений.

— И все-таки объяснись, прошу тебя. Я сгораю от любопытства.

— Ладно. Ты когда-нибудь слышал об Артамании? Это был маг, учившийся в Египте. Он проделал целый ряд опытов.

— Не думаю, что мне известно это имя.

— Он жил очень давно — вскоре после Троянской войны. Он, разумеется, умел писать египетскими иероглифами. Его опыты привели к следующим результатам: исключая необычные обстоятельства, нормальная женщина может зачать только на двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый день после появления у нее «цветов». Это учение мало кому известно, но нам, воспитанницам школы госпожи Леты, это преподавали по вполне очевидным причинам. Ты заметил, что в определенные дни я под разными предлогами не принимаю твоих объятий?

— Я заметил только, что где-то в середине своего месяца ты страдаешь от головных болей. Но дней я не считал.

— Потому-то я и не зачала.

— Клянусь богами, Таис, я не понимаю. Ты не хотела от меня ребенка?

— Не хотела, царь Александр.

Я долго не мог ничего сказать. Может, Таис чувствовала, что недостойна этого? Если так, ей следовало бы признаться. Ведь понятно — она же куртизанка. Но мне как-то не верилось, что в этом причина. Наконец я спросил, стараясь казаться спокойным:

— Может, скажешь почему?

— Скажу, коли на то пошло. Я и сама немного сумасшедшая — не такая одержимая, как Олимпиада, но я ощущаю себя вновь рожденной Киферой, поклоняюсь ее красоте и думаю, что это моя собственная, выбираю любовников по своему вкусу, чтобы черпать страсть из самых потаенных глубин желания. Если бы я зачала от тебя, особенно если бы это был мальчик, боюсь, он бы слишком был похож на Александра Завоевателя.

Мой внутренний голос — возможно, это был голос здравого рассудка, если таковым я обладал, — посоветовал мне больше ничего не говорить. Я не мог послушаться его, хотя знал, что не услышу никакого утешительного для себя ответа. В Таис меня, пожалуй, больше всего восхи-

шала ее детская откровенность — по сути, источник основательной и многогранной честности. Когда-то давно было сказано: величайшая опасность для царей кроется в том, что они вечно окружены лжецами. Сегодня я понял, насколько это верно. Ахеменид Дарий приговаривал к смерти за неудобоваримую правду и тем самым упустил свой шанс одержать надо мной победу.

— Тебе бы не хотелось, чтобы наш сын продолжил мое дело, когда я перестану им заниматься? — спросил я.

— Ты никогда не перестанешь заниматься своим делом — до самой смерти. Если нашему сыну и останется завоевать что-то еще, то это потому, что ты умрешь молодым. А я не выношу и мысли о том, чтобы ты мог лежать мертвым. Такая чудовищная потеря! Я отвечу тебе так: не хочу быть матерью завоевателя. Великие завоевания влекут за собой потоки, море крови. Не хочу, чтобы у моего сына руки были в крови. А еще опустошение земель, разрушение городов, превращение множества людей в рабов. Я хочу быть тебе любовницей — не на всю твою жизнь, но все же надолго. А матерью твоего сына я быть не желаю.

Она наклонилась и поцеловала меня.

— Придется принимать тебя такой, как ты есть, — проговорил я, чувствуя, что этот нежный поцелуй возбуждал нас обоих.

— Почему бы не сейчас? Спасибо моей богине, сегодня не запрещенный день. Ты не слишком устал? Вели своей старой рабыне Ионе вымыть тебя, но только не Алфее: она молода и красива. Скажи Ионе, чтобы не намочила пластырь на ране. Ты сегодня одержал великую победу и наверняка захватил большие сокровища. Даже сам царь спасается бегством от твоего меча. И все же нет ли какой-нибудь награды за победу, которой тебе еще недостает?

— И верно, есть такая. Если я ее завоюю, это послужит мне искуплением за все твои горькие признания мне, и вместо них я получу твое мягкое чудесное тело с его разнообразными красотами, которых не перечесть и не описать. Да, я устал. Но просто возьми и сунь свою руку мне под тунику, за воротник, пусть она пройдет по моей груди, спустится к бедрам, потом меж них; легчайшее прикосновение — и снова я буду свеж.

Когда наш восторг постепенно утих, Таис тотчас заснула. Впервые мне пришла в голову мысль, что, прислушиваясь к отдаленному шуму битвы, душой и телом она переживала то же самое, что и мы — те, кто, оказавшись в самой гуще этой схватки, остался в живых. Мы могли видеть, что творится на нашем участке поля, Таис же было дано только рисовать это в своем воображении. Пока жизнь солдата была в нем ключом, он ощущал ее таинственное существование. Таис же не имела никаких вестей о сражении, кроме тех, что приносит ветер, она не знала, продолжают ли сражаться дорогие ей люди, взяты ли в плен или полегли костями в молчаливых рядах павших.

Я лежал в полусне, блаженно-счастливый оттого, что страшное испытание уже позади, что с восходом солнца я вспомню о нем как о дне вчерашнем. Вскоре после полуночи мы полностью очнулись от сна, облачились в персидские наряды и кликнули хмурую служанку Таис, чтобы она принесла нам вина. Выпив, мы принялись за обильный ужин из перепелов, кунжутных пирогов, дикого меда и ароматного шербета, который часто подают на персидских пирах. Мы ели с одинаково завидным аппетитом, потом, зевая и сонно моргая, встали из-за стола и поспешили снова в постель.

Еще до восхода солнца я был уже в седле и выслушивал новости о Дарии. Его преследователи хмуро сообщали, что он бесследно исчез и они не знают, на каких горных тропах искать его.

В это утро мои соратники закончили похороны наших павших бойцов; прозвучали трубы, и мы попросили богов смилостивиться над их душами. Затем поспешно оставили это место, над которым собирались стаи крылатых вампиров. Как только поле сражения осталось позади, я послал Пармениона с легкой конницей в Дамаск, приказав ему перекрыть царскую дорогу, сообщающуюся с Эмесой, и раздобыть свежих лошадей на почтовых станциях. Я не мог пригласить Гарпала участвовать в этом рейде — он бы не поспевал за всеми, — и его это сильно задело, а возможно, и оскорбило.

Со временем я получил сообщение, что экспедиция удалась: Парменион догнал обозы Дария и взял город. Я

представил себе, как этот старый, закаленный в боях вояка исследует свой улов, разинув от изумления рот, как какой-нибудь деревенский простак. Он описал это в письме, посланном мне с большой поспешностью, и, похоже, особое впечатление на него произвело огромное число флейтисток у царя — триста двадцать девять. Скажу по правде, меня тоже это не оставило равнодушным. Можно ли прослушать столько флейтисток, если, конечно, они не играют хором? Парменион уверял меня, что поваров было двести семьдесят семь: нечетное число говорило о том, что он сосчитал их по носам с величайшей тщательностью. Семьдесят процеживали вино, сорок составляли духи, но только тринадцать делали сыр. Когда я прочел это кое-кому из своих военачальников, они просто взвыли от хохота. В Македонии мы очень нуждались в составителях духов, так как много потели и редко мылись, но во дворце Филиппа их было только двое. И напротив, мы вряд ли могли прожить без сыра, изготовлявшегося из коровьего, кобыльего, а случалось, и из верблюжьего молока — эти животные с резким запахом давали лучшее молоко для всех видов ароматного сыра.

Согласно первым сообщениям, в царской сокровищнице лежало пятьсот талантов серебра и двадцать шесть сотен талантов золотых монет. Этой баснословной суммы денег, поделенных среди моих солдат, хватило бы, чтобы набить кошелек каждого из них сотней золотых статеров. Но я подозревал, что эта оценка несколько преувеличена, и оказался прав. В добычу также входило свыше пяти сотен лошадей, мулов и ослов, тридцать тысяч рабов, всевозможные ценные вещи и столько молодых женщин, что ему было трудно их пересчитать — глаза слепило от их красоты.

Я же тем временем продвигался на юг и в память о сражении основал город Александрию — для защиты Киликийских Ворот. Два острова, до этого захваченные персами, были, словно на золотом блюде, преподнесены мне послом их бывшего царя.

Восемь моих кораблей захватили десять персидских, прохлаждавшихся возле Сифноса, тем самым разбив надежды адмирала на восстание в прибрежных городах. Но у нас на родине царила смута: там снова распространилось ложное сообщение, будто я убит, а моя армия разбита.

Хмурая маленькая Спарта попыталась было начать собственную войну, но в разгар подготовки к ней пришли вести о моей победе при Иссе. После этого в Греции установилась успокоительная тишина.

Наконец я получил от Дария письмо, в котором он предлагал дружбу и союз, если я немедленно верну его прекрасную жену и любимых детей. Тем вечером, когда я проявил беспримерное благородство души, у меня было намерение вскоре так и поступить, но потом я передумал, сообразив, какую ценность они могут иметь для меня как заложники. Решив с этим не торопиться, я отвечал Дарию с холодным высокомерием, предупреждая его, чтобы впредь он не думал оспаривать мое право на его империю.

— Я рада, что Дарий ускользнул, — заметила Таис, когда я показал ей его письмо.

— Не понимаю твоей радости, — холодно ответил я.

— Я радуюсь за тебя. Если бы Дария захватили или убили, сатрапы тут же сцепились бы из-за того, кому быть его преемником. Никто бы не признал твоего права, царь Александр, потому что ты покорил только Малую Азию и все еще находишься в девяти тысячах стадий от Вавилона, за которым его империя простирается на восток, кончаясь на полпути до восхода солнца. Тот, кому достанется его трон, так вознесется в собственном мнении, что наверняка соберет армию, чтобы постараться вернуть утраченное. Дарий же уже дважды испил из той горькой чаши, которую ты ему подносил, а это заставило его присмиреть. Я не сомневаюсь, что он предложит тебе не только сатрапии, которые ты уже захватил, но, вполне вероятно, и все обширные территории отсюда и до долины Тигра и Евфрата, если ты позволишь ему мирно царствовать над остальной территорией.

— Не вступаю в союз ни с одним персом. Мне нужны только его смирение и покорность.

Ничто из того, что раньше говорила Таис, не уязвило меня так сильно. Казалось немыслимым, чтобы она до сих пор не осознала моей неумолимой решимости завоевать всю обширную Персидскую империю — завоевать или, пытаясь сделать это, умереть. Это было больше чем решимость. Сами боги, я твердо верю, внушили мне свою волю и заставили посвятить свою жизнь этой высокой цели. На большее я бы не претендовал. Но почему Дарий отказался



прислушаться сперва к мнению Мемнона, затем Хариде-ма? Какие силы притупили его слух и острый ум, чтобы заставить совершить губительную ошибку и завлечь в мои сети?

Я не забыл: Таис не хватает веры в божественность моей миссии. Не равнялось ли это нарушению верности мне? Вскоре я намеревался двинуться в Дамаск, там поговорить с вдовой Мемнона Барсиной и, если возможно, выяснить обстоятельства его смерти: была ли в самом деле болезнь ей причиной или что-то еще. Ни один из встречавшихся на моем пути не вызывал у меня таких сильных опасений, как Мемнон. Никто другой не мог так близко сравниться со мной в смысле военного гения: если в действительности он и не был таковым в полном смысле этого слова, то каждый из нас превосходил друг друга в одних отношениях и не дотягивал в других. Если бы его не убрали... Впрочем, мне не хотелось взвешивать за и против в этом темном деле. Никогда не забуду, как он выгнал опытного, талантливого вояку Пармениона из района Геллеспонта. Сам я ни разу не одержал серьезной победы над Мемноном. Да, он был мне настоящим соперником, и в одном отношении я жалел о его ранней смерти: она не дала мне возможности подвергнуть свои силы высшему испытанию — испытанию его силой.

Совершенно справедливо: мое предприятие в истории человечества было самым честолюбивым. Ни Ксеркс, ни Рамзес Великий, ни Кир, ни наш Геракл — даже в тех, облаченных в миф, легендах — не достигли столь многого, как я. Таис не нужно было мне напоминать, что это только начало. В результате какого-то духовного процесса, который был для меня незаметен, я пришел к решению, которое не мог полностью переварить своим умом. Труднейшим узлом в дереве, которое я собирался срубить, узлом, самым неподатливым моему мечу, являлся город Тир, с незапамятных времен и до недавних пор могущественнейшая сила, сопредельная нашему морю. Когда Греция была только горным пастбищем, населенным грубыми пастухами, Тир противостоял ей богатством и культурой. Никогда в своей невероятно древней истории этот город не уступал захватчику. Время от времени он подвергался осаде, но стоял до тех пор, пока осаждающие не падали духом. В стенах его никогда не пробивали брешь, ворота никогда не брали штурмом.

Сначала я намеревался покорить соседние Тиру города, Библ и Сидон, и лишить персидский флот баз в этом районе, а потом собственным флотом взять его в блокаду до тех пор, пока моему мечу не покорятся две большие персидские столицы, Вавилон и Сузы. Но теперь я пришел к иному решению. Где найти еще лучшее испытание сил, как не здесь? Я снесу девятиметровые стены Тира, пройду маршем по его улицам, на которые никогда не ступала нога вражеского солдата, уничтожу его гарнизон и захвачу трон наместника.

Дарий вскоре услышит о великой победе, затрепещет его сердце и потемнеет в душе, и, если только не воспламенится какой-то новой надеждой, он больше никогда не пойдет войной против непобедимого Александра. Куда как гладкой ляжет мне дорога в Индию. А в близлежащем Дамаске вдова Мемнона уж никогда не будет рассуждать о ходе событий в том случае, если бы был жив ее супруг, никогда не будет гадать, кто из нас гениальней. И не с гордо поднятой головой будет она стоять, а падет ниц предо мной.

## 8

В этом древнем районе на восточном берегу нашего Внутреннего моря, являющемся на протяжении двадцати веков родиной семитского народа, я прежде всего направился к Библу, вассальному городу Тира. Библ сдался еще до того, как натянули македонский лук. Сидон, когда-то соперник Тира, а теперь ненавидящий его пленник, с радостью приветствовал меня: Мемнон однажды с помощью предательства овладел им и чуть ли не сжег дотла. Мы не тешили себя надеждой на быструю капитуляцию самого Тира. Верхом мы провели первый тщательный осмотр местоположения города и его фортификационных сооружений.

Город стоял на острове, примерно в четырех стадиях от материка, где лежали руины родственного ему города. Хирам, современник Соломона из Иудеи, построил между двумя городами дамбу, но ее с тех пор размыло волнами. Я сразу понял, что должен построить еще одну дамбу между руинами и живым городом, чтобы можно было подвести под его стены осадные машины и устроить базу для своей армии. Чтобы порадовать солдат, я вывалил в

воду первую корзину земли и взял на заметку дату: вскоре после зимнего солнцестояния, года 26-го о.А., спустя несколько месяцев после моего двадцать пятого дня рождения.

Старею, подумал я. А Таис еще нет и двадцати трех, она в расцвете своей юной красоты. И Роксане в далекой Бактрии, по моим подсчетам, года двадцать два. Я не видел ее около девяти лет. Она наверняка уж отчаялась меня ждать или, может, забыла, что когда-то желала моего прихода.

Роксана, далекая искательница приключений, наездница, обладающая красотой не такой мистической, как у Таис, но более живой, ты не забыла мое имя, хотя я слышал, что в Центральной Азии меня зовут Искандер. Туда, в твое далекое горное царство на пронзающем небо Памире, доходят обо мне слухи — их в основном разносят медленно тянущиеся караваны, а еще, наверное, быстро мчащиеся гонцы царя Дария, зовущие на войну бесстрашных всадников на косматых и малорослых лошадях, чтобы они могли пополнить его ряды. Но если какие-либо бактрианские конники и вступали в схватку с моими силами в Иссе, то шпионы мне об этом не сообщали. Не видишь ли ты иногда в своем воображении дубовый лес близ храма Додоны? Когда ты в постели со своим мужем Сухрабом, не является ли тебе во снах воспоминание о тишине и тьме у догорающего вечернего костра, когда ты положила мою руку к себе на мягкий шелковистый холмик, называемый у нас холмом Афродиты, пообещав, что он будет мне наградой победителю, если я в твоём далеком царстве дойду с победой до Мараканды? Ты не думала, что краткая моя ласка кому-то во зло, хотя она могла бы оскорбить целомудренную Артемиду, но ты предполагала, что приглашение, возможно, обернется большим злом, наказуемым смертью, ибо с тех пор мне только мечом приходится прокладывать себе дорогу!

Потерпи, малышка, теперь уж мужняя жена, я скоро приду.

Развалины каменоломни на континенте обеспечили нас всем необходимым материалом для засыпки илистых отмелей около берега. Чтобы облегчить переправу осадных орудий на остров, мы вбили по границам его сваи. Вражеским судам до нас было не добраться, но, достигнув глубоких вод, мы оказались в пределах досягаемости их

стрел и камней, и пришлось построить переносные деревянные баррикады для своей защиты и башни, с которых и мы могли посылать в ответ свои стрелы и камни.

Но умудренные жители Тира знали и другие способы ведения войны. Нагрузив дровами большую шаланду, обычно служащую для перевозки лошадей, и установив на палубе фок-реи, с которых свисали железные котлы с маслом и смолой, они готовились сжечь наши баррикады и башни. Будучи опытными моряками, они нагрузили корму пожарного судна, с тем чтобы выше поднялся нос, отчего воспламененные жидкости изливались бы с катастрофическим для нас результатом.

Так и случилось. Да к тому же бросившиеся тушить пожар солдаты становились легкой добычей лучников и пращников, выстроившихся у борта, и мы потеряли немало людей. За каких-то пятнадцать минут наш пятнадцатинедельный труд полностью пошел насмарку.

Тир не ронял своей репутации города, способного дать отпор любой осаде. Все мои военачальники, за исключением Птолемея, были обескуражены до тех пор, пока я не съездил в Сидон для поиска кораблей, способных схватиться с вражескими судами. И там боги снова улыбнулись мне. Морские капитаны Арада и Библа, узнав, что эти города у меня в руках, и ненавидя тиранствующий Тир давнишней ненавистью, покинули на своих кораблях персидский флот, чтобы присоединиться к моей нарождающейся эскадре. Корабли Сидона также стали на мою сторону, Родос и Ликия дали по десять кораблей, а Солы, говорящие на извращенном греческом, три. Даже Македония прислала одну небольшую воинскую галеру. А там и правитель Кипра, узнав о победе при Иссе и будучи другом Дарию, когда тому везло, в этот бедственный для него час быстро стал перебежчиком и отдал под мое знамя свой великолепный флот из ста двадцати кораблей. Итак, в целом у меня оказалось свыше двухсот кораблей.

Тем временем мои люди укрепляли насыпь. Пока суда готовились к осаде, я не мог терпеливо ждать и поэтому с легким, но сильным войском из пехотинцев и лучников предпринял десятидневный рейд против итуреанских племен, воины которых, едва завидев, как мы размахиваем оружием, поспешили сдаться. Мы убедились, что можем безопасно передвигаться вдоль берега, и гарантировали свои фланги и тыл от всяческих нападений.

В Сидоне четыре тысячи греческих наемников под командованием Клеандра — его четыре месяца назад я отправил для найма добровольцев — восполнили то, что я потерял в сражении при Иссе и в других мелких баталиях после него, но их количество разочаровало меня.

Завидев мой новый флот, левое крыло которого было под началом Кратера, а правое под моим, тирийский адмирал изменил план морского сражения. Он и его капитаны поняли, что Тиру предстоит выдержать опаснейшую и упорнейшую осаду за все века его господства на Внутреннем море, а иначе он будет разрушен. И все же его флот, занявший подходы к гавани, нельзя было атаковать, не понеся серьезных потерь, поэтому я удовольствовался тем, что сковал его подвижность своими плавучими силами.

Затем я послал в Финикию и Сирию за опытными инженерами, лучшими в мире, и они приступили к строительству осадных машин, размеры и мощь которых были македонцам в диковинку. Одни устанавливались на связанных вместе шаландах, другие на дамбе, а те, что полегче, на самых больших кораблях. Но когда мы построили башни для своих катапульти, то убедились, что тирийцы в этом отношении посильнее нас: с их возносящихся со стен башен можно было посылать стрелы и большие дротики с горящей смолой, а их катапульты забрасывали камни в мелкий канал, делая его еще мельче и не позволяя нашим плавучим средствам подходить близко к стенам города.

Мы, установив ворота на кораблях, поднимали эти камни со дна, что было делом не только долгим и трудоемким, но и опасным, ведь работать приходилось под градом стрел, камней и дротиков. Верно, эти тирийцы в прошлом заключили союз с Посейдоном, судя по тому, что они знали все хитрости, как отбиваться от флота. Они посылали на стоянку наших кораблей свои с фалыш-бортом, защищенным растянутыми шкурами, и перерезали нам канаты, чтобы корабли уносило в море или сажало на каменистые отмели. И когда мы платили той же монетой, посылая корабли, таким же образом защищенные, чтобы таранить беспокоящие нас суда, их пловцы, умеющие долго держаться под водой, продолжали перерезать канаты, и нам оставалось только заменить их железными цепями.

Наконец можно было приступить к штурму этих на-мозоливших нам глаза стен. Наши осадные корабли вошли в расчищенные каналы, а установленные на дамбе тараны принялись долбить стену. Смотреть, как они раскачиваются на своих стрелах взад и вперед, было одно удовольствие, и, я полагаю, от этих мощных ударов весь Тир охватило дрожью. И все же его защитники так и кишели на стенах, отбиваясь всевозможными метательными снарядами: камнями, зажигательными ядрами, гигантскими дротиками и стрелами.

Горожане молились своему богу Мелкарту, чтобы он не допустил вторжения, но тот, как и Геракл, по рождению эллин, верен был эллинам и, думаю, мало прислушивался к мольбам тирийцев, занимаясь своими любимыми делами: охотой, войной и соблазнением девиц. Я узнал, что правитель Тира обратился за помощью к Карфагену, тоже семитскому городу, но Карфаген ответил, что поглощен киликийскими войнами и может выделить только одну триеру в знак родственной привязанности и любви. Так что осажденный город понял, что должен полагаться на свои возможности и суровую решимость — все еще серьезный камень преткновения для нашего успеха.

Правители Тира приказали вступить в бой с кипрским флотом, стоящим у Северной гавани. Они наметили налет на полдень, время, когда большинство моряков сходит на берег за водой и провиантом, а я обычно отдыхаю в своей палатке. Но боги в этот критический час заставили меня бодрствовать, и, хотя не было слышно барабанов, под бой которых боцманы добиваются ритмичной гребли весел (на этот раз они обходились голосами), я выскочил из палатки, когда налетчики миновали мыс и кинулись в атаку.

За несколько сумасшедших минут успеха они натворили много дел. Их тараны погубили пентеру\* кипрского царя, а вместе с нею и еще два судна. Другие корабли враг взял на абордаж, и, прежде чем киприоты сумели организовать оборону и отбить атаку, их экипажам пришлось понести тяжелые потери. Мои воины со всех сторон бросились к дамбе, чтобы сесть на корабли и провести контратаку. Я же взобрал на стоящую у южной стороны дамбы пентеру, управляемую небольшим экипажем, и все мы поплыли вокруг острова Тира. Еще до этого я приказал

блокировать вход в гавань, чтобы стоящие в ней на якоре корабли врага не смогли бы соединиться с теми, что напали на киприотов, а те, в свою очередь, не смогли бы вернуться после сражения на свои якорные стоянки.

Люди на моей и других триерах гребли как сумасшедшие. Вода так и пенилась под носами наших кораблей, и мы прошли дугу в двадцать семь стадий прежде, чем из часов вытекла треть воды. Достигнув места сражения, мы бросились таранить корабли налетчиков, и немало их нашли свою смерть на дне морском. Другие разбились о камни, о дамбы или о городские стены, а две самые большие триеры спустили флаги у входа в гавань.

Хотя мы тогда еще того не знали, но эта битва знаменовала конец морского владычества Тира — бича морей с незапамятных времен.

Что пользы рассказывать о последней битве за овладение городом? Мои осадные корабли с нарастающей яростью штурмовали восточную стену, которая оказалась неприступной, как каменная гора, затем северную и после нее западную. Только со штурмом южной стены мои воины обнаружили признаки слабости осажденных. Били и били тараны, метали камни наши огромные катапульты, и для прикрытия их персонала от метательных снарядов защитников стены туда переправлялись полные триеры лучников. Одновременно, чтобы распылить и ослабить силы гарнизона, был предпринят единый штурм всех остальных стен города.

Возникла небольшая брешь, и тут к стене приставили лестницы, но атака была отбита.

На третий день после первой атаки ветер утих, море успокоилось, легче стало маневрировать, и во всех стенах стали появляться и расти трещины, одна за другой. Под самым большим проломом две триеры солдат поставили лестницы и пошли на штурм, возглавляемые храбрым Адметом. Адмет пал, но его солдаты продолжали наседать. Трубачи собрали мою охрану, и мы, овладев верхушкой стены, стали с боем пробиваться к задней части примыкающего к стене дворца. С тридцатиметровой высоты мы могли лишь изредка, меж схватками то с тем, то с другим защитником, бросить беглый взгляд на море, чтобы увидеть взятие в плен или гибель остатков знаменитого Тирского флота. Безветренный, промытый недавним дождем воздух казался огромным стеклом для чтения, сквозь ко-

торое все было видно удивительно отчетливо; люди и корабли казались крошечными, но резко очерченными. Наши триеры мчались на врага с какой-то бешеной скоростью. Солнце ритмично вспыхивало на взлетающих в унисон лопастях весел. Они казались многочисленными ножками какого-то быстро семяющего мерзкого водяного жука, хотя в действительности это были всего лишь деревянные метлы, причесывающие спину лениво лежащему морю.

Каждое столкновение между одной из моих триер и вражеской казалось неестественно коротким, как, возможно, часто бывает в сражениях; похоже, прекратилось движение времени вперед, ибо здесь, на стене, повторялось одно и то же: нападение или бегство противника — и событие быстро и внезапно прекращалось, как только он падал, сраженный насмерть. Это был уже не тот враг. Он знал, что после долгой и стойкой обороны город быстро теряет силы; надежда на победу угасла, и воинственный дух сменился отчаянием и слабостью, явно ведущими к поражению.

То же самое происходило на триерах. Две — своя и чужая — сцеплялись, словно их влекла друг к другу какая-то неодолимая сила. Мы не видели подводных таранов с их страшными зубцами, и почти сразу же одна из этой двойни начинала тонуть, кренясь на нос или корму, или иногда просто опускаясь на киль до тех пор, пока вода не захлестывала палубу, и она исчезала. И почти всегда именно тирийской, а не моей триере приходил такой быстрый конец. Солдаты прыгали за борт, но мало кто из гребцов успевал это сделать, к тому же многие из них были прикованными к скамьям рабами. Затем с ближайших триер в барахтающихся пловцов летели стрелы или дротики.

Но на страшный пир явился еще один налетчик ужасней, чем эти. Рыболовы Тира имели привычку очищать свой улов недалеко от дамбы и выбрасывать за борт не только внутренности, но и целые рыбыны, если они не годились для продажи на рынке. Поэтому здесь собирались большие стаи акул, в основном мелких, но бывали и крупные особи. Сюда же спешили и длиннозубые хищницы, такие, как барракуда. С тех пор как началась осада, рыбацьи шаланды держались подальше или удалились в дружественные воды; однако стаи хищников не покидали прикормленное место и становились



с каждым днем все прожорливей и свирепей. Они пожирали тех, кто падал со стен и башен, убитых, выбрасываемых за борт по той причине, что на оспариваемой территории похороны были фактически невозможны. Это был их праздник: разрезая воду острыми плавниками, они устремлялись к каждому только что затонувшему кораблю. Даже маленькие акулы, в большинстве случаев не осмеливавшиеся нападать на плывущего человека, теперь брали его в кольцо и, делая молниеносные выпады, кусали и тут же отступали назад. Повсюду были видны круги и воронки, вода в которых из лазурно-голубой превратилась в розовую, красную, алую.

Корабли можно было построить заново. Но мореходное искусство тирийских моряков, с каким они отваживались заплывать за Ворота Геракла в Океаническом море и там соперничать с ветрами, неизвестными на нашем море посреди суши, и ходить в далекие страны за оловом, их знание маршрутов, опасных отмелей, рифов и губительных приливов, которое нам, жившим на Внутреннем море, было недоступно — это искусство с гибелью носителей таких знаний терялось, и, чтобы вновь обрести потерянное, возможно, потребовались бы века. Все это тысячелетиями устно передавалось от отца к сыну, и так, как знал это тирийский моряк, не знал ни один другой.

То был их хлеб, их гордость, и именно этим они отличались от всех остальных. Но их древний островной рай уступал вражеской силе, и, возможно, они предпочитали умереть.

Мои соратники обнаружили спуск, ведущий на крышу примыкающего к стене дворца, и я повел их вниз, к арке, через которую мы без сопротивления проникли во внутренние покои. По всем признакам, это был дворец вассального правителя Тира, но, за исключением сбившихся в небольшие группы плачущих женщин, он оказался брошенным, и мы, ни разу не применив оружие, пройдя коридорами, спустились по величественной лестнице на улицу.

Защитники стен уже обратились в бегство, преследуемые моими солдатами, которые хлынули в город во все пробитые бреши. Те, что избежали смерти, собрались в святилище Агенора, чтобы оказать последнее сопротивление, но моя охрана, подкрепленная со стороны, атаковала с величайшей яростью и быстро их рассеяла.

Над местом битвы уже опускалась тишина, и я совсем было собрался вложить в ножны свой окровавленный меч, когда ко мне подбежал Гефестион. С красивого лица его еще не сошла ярость битвы, на щеке — кровавый порез от меча.

— Царь, мы заперли в узкой улице около двух тысяч этих собак — отборные части, подчиненные непосредственно наместнику. Они отправили в Аид множество наших братьев и никогда не смирятся с пленом. Чтобы их наказать и преподать урок всем другим, кто осмелится не признать твоей власти, мы хотели бы отвести их в соседний парк и прибить гвоздями к деревьям.

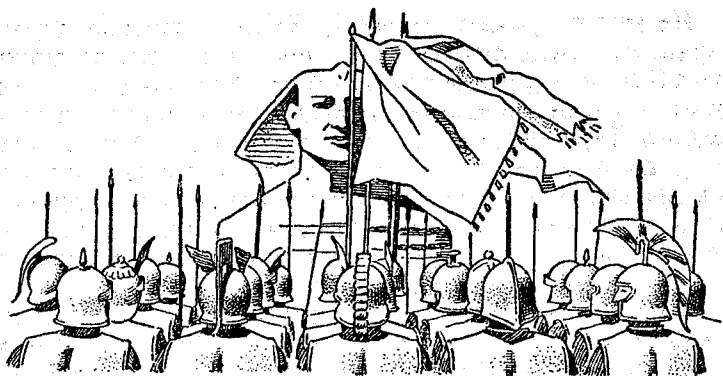
Злясь на долгую осаду, которая, наконец, окончилась разъяренной битвой, наполовину лишившись рассудка от потоков пролитой крови и ее тошнотворного запаха, я ответил ему сам не знаю что. Но Гефестион со зверски оскаленными зубами в суетливой спешке бросился прочь, и тут я догадался, каков был мой ответ\*. Он уже исчез в толпе, и я не смог бежать за ним, чтобы отменить свой приказ. Летели минуты, и этот шаг стал казаться невозможным без того, чтобы я не выказал своей слабости. Я вытер руки от крови и занялся делами, служащими закреплению нашей победы.

Я даровал прощение тем, кто искал убежища в храме Мелкарта, а также жрецам из Карфагена. Остальное население — около тридцати тысяч человек обоих полов и всех возрастов — обрекались на продажу в рабство. Я принес жертву святилищу Мелкарта, после чего приказал устроить смотр всем своим войскам, а затем игры и торжественное факельное шествие. В храме я оставил также таран, пробивший первую брешь в стене, и старинный корабль, считавшийся у народа священным, посвятив их богу, который являлся Гераклом, хоть и носил чужое имя.

Вот так и прекратил существование древний город, целое тысячелетие господствовавший на море. Возможно, со временем он, с его выгоднейшим для торговли на всем восточном побережье местоположением, и будет восстановлен, но никогда уж ему снова не быть самым драгоценным камнем персидской короны, ибо морская мощь его в основном перейдет к Греции, частично к Карфагену, а остальное достанется молодой энергичной нации, обитающей на «сапоге» Европы, — Риму.

Не много пройдет недель — ведь по царской дороге Дария, от одной почтовой станции до другой, всадники ездят быстро — прежде чем во дворец Ахеменидов в Сузах будет допущен дрожащий гонец, чтобы сообщить царю о падении Тира от руки врага его, Александра. И не исключено, что вестника замучают насмерть: такая судьба часто поджидала тех, кто приносил восточным монархам дурные вести, тогда как за добрые гонцов возносили к почету. И опечалится сердце царя, и помутится в уме его, и одолеют его во сне ночные кошмары.

Было сказано, что сонмы мертвых в царстве Аида не помнят своей земной жизни и бродят по сумрачным залам бесцельными молчаливыми толпами. И когда к ним вниз, в жертвенные ямы, проливается кровь, только тогда их ослепшие души чувствуют смутный испуг и губы их ненадолго остаются открытыми. Но мне представилось, что от пылающих факелов нашего шествия у Мемнона перед остекленевшими глазами заплескали искры и крохотные вспышки, и он как-нибудь догадался, что снова царь Александр поразил его Персию в сердце.



## Глава 5

### ПРИБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ

#### 1

Казалось бы, лекарство, которым я попотчевал Тир, заставит поморщиться правителя Газы — города, лежащего на перекрестке караванных дорог, в семи днях пути на юг, там, где восточный берег Внутреннего моря круто сворачивает на запад. Но вместо этого он, похоже, только еще больше рассвирепел.

Его правитель своей известностью не уступал самому городу, древнему и многолюдному. О нем, сидя у костра с готовящейся пищей, любили посудачить караванщики везде, от Синопы на Эвксинском море до великого Карфагена на северном берегу Африки между мысами Аполлона и Гермеса. Лицом и статью он был мужчина как мужчина, за одним исключением. Нумидиец по рождению, он лицом был черен, как Букефал, полон и красив, гигантского телосложения. Исключение, о котором я упомянул, можно было вывести путем дедукции, ибо в городе он один мог похвастаться такой торфянисто-черной кожей — там были загорелые и обветренные, но ни одного желто-коричневого по праву смешения его предков со светлокожими семитскими женщинами. Дело в том, что в детстве его кастрировали для обслуживания гарема — или, лучше сказать, для охраны женщин гарема, чтобы их не могли обслуживать посторонние. В народе его звали Бетис.

Осмотрев местоположение города, я понял, как воинственно этот малый, должно быть, настроен ко всякому чужаку, ступившему в его владения. Город стоял на высоком крутом холме, и стены его поднимались на головокругообразную высоту. Негде было поставить наши осадные машины. Если мы построим под стенами террасы, то станем легко уязвимыми мишенями для кипящей смолы, стрел, дротиков и всевозможных метательных снарядов. В городе были запасы продовольствия, рассчитанные на долгую осаду. Когда я обратился к верховному жрецу близлежащего Иерусалима с просьбой прислать дополнительные силы, тот ответил, что Дарий — его господин и он никогда не станет перебежчиком.

Я немедленно привел в действие план, созревший в моей голове при первом осмотре города: насыпать у южной, наиболее доступной стороны города свой, еще более высокий вал, начав строительство с самого южного конца территории, которую он займет, при этом находясь вне досягаемости для метательных снарядов, помимо самых мощных катапульти. Вал рос перед нами, служа нам щитом по мере того, как мы продвигались вперед, к самой стене. В основании ему предстояло стать больше Великой Пирамиды Египта — две стадии, но значительно уступать ей по высоте и опираться не на вечный камень, а на грунт.

Его сооружение было долгим и утомительным предприятием, требовавшим мобилизации всех сил. За это время не произошло ничего примечательного, если не считать вылазки гарнизона, против которого я повел своих щитоносцев. В этой схватке мощная стрела, пущенная со стены из легкой катапульты, поразила меня в плечо, пробив насквозь щит и панцирь и вонзившись на несколько дюймов в тело. Пока у меня заживала рана, по морю на баржах прибыли тяжелые машины. Тем временем мои машиностроители, люди на таранах и другие, ведущие подкоп, не бездействовали, расшатывая стены и ослабляя их фундамент. Три раза мы шли на штурм и трижды с потерями отступали, но в свирепой четвертой схватке мои солдаты пробились в город и овладели им.

И на этот раз я сурово обошелся с захваченным населением, продав его в рабство и вновь заселив город окрестными жителями. Впредь ему предстояло управляться моим наместником, под началом которого я оставил гарнизон

своих солдат. Иначе не было способа заставить города, лежащие на моем пути, понять, какой ценой обойдется им отказ от моего требования сдаться. Огромного евнуха Бетиса привели ко мне без единой раны на теле, и я задумался, какой смерти предать его. Как это часто бывало в моих размышлениях, я вспомнил «Илиаду» и героя ее Ахилла. В жестоком бою Ахилл убил Гектора, после чего приковал мертвое тело ступнями к оси своей колесницы и протаскивал по каменистой земле, сильно его изуродовав. Но богиня, любившая Гектора, златокудрая Афродита и отец ее Зевс, заделали все рваные, а также все колотые раны, во множестве нанесенные мертвому телу копьем Ахилла, так что на похоронах оно казалось «свежим, как роса».

Я мог бы посоревноваться с Ахиллом и в то же время ввести кое-что новенькое. Я приказал живого и еще целого Бетиса приковать ступнями к оси моей колесницы и хлестнуть лошадей. На протяжении порядка тысячи локтей Бетис орал, заглушая своим ревом грохот колесницы и топот копыт. Затем замолчал, и я подумал, что он мертв. Но он снова ожил и до тех пор орал, пока голова его не треснула, ударившись о камень.

Когда колесница вернулась, на тело было страшно смотреть, и ни один бог или богиня не заделали на нем рваных ран и не вернули на свое место волочащиеся за ним кишки. Я приказал выставить его на обозрение проходящих караванов, чтобы караванщики рассказывали о виденном на далеких привалах, и тем самым одна кровавая жестокость могла бы в будущем спасти жизнь бесчисленному числу жителей городов, лежащих на моем пути, чьи правители или сатрапы, не сделай я этого, не стали бы со мной считаться. Одновременно я предотвращал серьезные потери среди своих солдат, которым пришлось бы сокрушать упрямых глупцов.

Затем мы двинулись на Иерусалим, и к этому времени его верховный жрец уже желал, и к тому же с большой охотой, переметнуться на мою сторону. Евреев даже их собственные пророки называли «упрямым племенем», и я не сомневался, что моя расправа с Газой уже принесла плоды. И впрямь, у стен нас встретили развевающиеся знамена, громкий звон цимбал и народ в праздничном одеянии; по правде говоря, они питали отвращение к власти персов, и их столь приветливая встреча освободителя порадовала мое сердце.

Но гораздо больше, чем мое, обрадовалось сердце Моего Дневника, Абрута. За эти несколько дней он обрел свое настоящее лицо, включая и имя Элиаба. Он отыскал родственников, пировал с ними, веселился и плакал и посещал службы в храме, посвященном их богу, каковым, несомненно, являлся Зевс, только под другим именем. Теперь путь в Египет был для меня открыт.

Было бы неизмеримой глупостью не присоединить к моим владениям Египет. Египтяне, без сомнения, ненавидели власть персов, однако сатрапы и военные силы Египта вели себя, как флюгер, и при первой же моей неудаче в глубине Азии они раздули бы пламя восстания по всему восточному побережью Внутреннего моря. Похоже, они хорошо поразмыслили над судьбой Тира и Газы, и город Иерусалим сдался, даже не сделав и вида, что сопротивляется. Тем самым большой его гарнизон остался целым, я избежал больших потерь, а жители города — цепей рабства. Акт сдачи не был проявлением слабости: тот же гарнизон уничтожил войско Аминты, этого дважды предателя, который со своей свитой бросил Дария в Иссе. Этот акт был проявлением благоразумия, ради сохранения себя и своего народа.

Из Иерусалима мы быстро отправились к дельте Нила, где в храме Птаха меня объявили фараоном. Птах был греческим богом ремесел, нашим закопченным хромым Гефестом, и номинально, а раз в сто лет, возможно, и на деле — мужем прекрасной Афродиты, поэтому я не чувствовал, что предаю истинных богов. Кроме того, я отдал должное Апису, священному быку Птаха, признаваемому также священным и в культе Митры, распространенном кое-где в Греции и Риме. Египетский бог Гор являлся не кем иным, как нашим Аполлоном, а Озирис — Дионисом. Так что, отдавая должное этим божествам, я не только выказал почтение нескольким нашим, но чрезвычайно обрадовал население и жрецов Египта. Прежде чем покинуть эту страну, я твердо решил навеститься к оракулу Амона в далекой пустыне, как наказал мне жрец в Додоне, и там с горячим сердцем совершить жертвоприношение этому богу, а по сути — именно Зевсу.

Там, рядом с Нилом, меня объявили Гором, с добавлением титула, означавшего «сильный завоеватель», и Александром, сыном Ра. Так что в отличие от своего предшественника Артаксеркса, вызвавшего в народе жгучую

ненависть, я завоевал его поддержку, и он не причинял мне никаких хлопот, пока я преследовал Дария до Вавилона. Подтвердилось то, о чем говорил мне замшелый старик Лисимах: когда чужак вмешивается в дела религии и оскорбляет богов покоренного народа, он ворошит осиное гнездо.

В Мемфисе наши полные сундуки уже распирали от золота — с добавлением в них еще восьмиста талантов.

И вот я предпринял одно дело, доставившее мне больше всего удовольствия в моих походах. Мне для флота нужна была база на северном берегу Египта, куда бы с Нила не попадали илистые наносы, но только не восточнее Пелусия — именно в этом направлении береговое течение несло ил. Следовательно, базу нужно было расположить к западу от него. Я поплыл из Мемфиса вниз по Нилу и вошел в самую западную часть его устья. Со мной была Таис, сияющая от восторга по поводу затеянного мною дела, немного войска и незначительное количество слуг. От торгового города Навкратиса, лежащего близ устья, я направился в Каноп и повернул на запад.

Я знал, что в этом направлении находится рыбацкая деревня под названием Ракотис, на полосе суши между пресноводным озером и морем. Сюда доходил Менелай из «Илиады».

— И здесь, — сказал я охваченной радостью Таис, — я построю город, стоящий моего имени.

Место было чрезвычайно подходящим: вместо заболоченной земли здесь залегал сухой известняк. Оно возвышалось над дельтой и в изобилии обеспечивалось пресной водой. Можно было бы провести канал, чтобы соединить Нил с озером, и сделать насыпь между островом и материком. При богатстве и большой населенности Египта, этот город мог бы без труда затмить Карфаген.

Мы с Таис представляли себе город две на четыре мили с двумя перекрещивающимися широкими улицами. Сам по себе план этот не был оригинальным: более чем столетие до меня Гипподам и Милет построили портовый город Афины, Фурии в Италии и новый Родос в основном по тому же проекту. С обеих сторон параллельно этим улицам проходили бы другие, делящие город на кварталы или площади. Примерно спустя месяц после зимнего солнцестояния, в год 26-й о.А., состоялась церемония закладки. Дамба между островом Фарос и ма-



териком станет волноломом с надежными гаванями по обеим сторонам. Почему-то Таис очень привлекала мысль о безопасности защищенного порта.

— Не хочу думать об Александрии как о будущем убежище для военных кораблей,— призналась она.— Надеюсь, сюда не будут заходить военные триеры. Пусть ремонтируются и снабжаются провизией в каких-нибудь других портах. Здесь найдут убежище от общего врага и опасностей торговые суда, везущие ячмень из Египта, вино из Галлии, кедр из Ливана, мрамор из Липы, оливы из Иберии и Греции, шерсть из Палестины — в общем, все нужные людям плоды полей, лесов и земных недр со всего света.

— О каком это общем враге ты говоришь? — настояжился я. Нечего было делать из меня олуха: я желал посмотреть, хватит ли Таис дерзости сказать откровенно, кого она имеет в виду. Если бы она отделалась какой-нибудь двусмысленной фразой вроде «то, что подстерегает в море», я бы тоже не стал настаивать на дальнейшем объяснении.

— Я говорю, и ты это прекрасно знаешь, о сильных штормах, которые обрушивают на корабли волны высотой с дом и часто срывают с мачт паруса, рвут их на куски и, что еще опасней, несут их на рифы и скалистые берега, где они бьются о камни до тех пор, пока не развалятся окончательно, и все их матросы гибнут; а бывает, их так искалечит, что родная мать не узнает.

Прошлой ночью я плохо спал и все еще страдал головной болью в висках. Ей, так же, как и мне, было хорошо известно, чье могучее гневное дыхание вызывает сильные бури, проносящиеся над морем и над землей. Также ей было известно и то, что вмешательство этого величайшего из богов расстроило направленные против меня планы Мемнона и Харидема. Если бы не он, она вполне могла бы стать рабыней Дария, а не возлюбленной Александра.

— Строить гавани для того, чтобы корабли могли стоять на якоре, а не уноситься на всех ветрах Эола, это одно,— сказал я ей.— Но давать убежище кораблям от ярости Бога всех богов — это совсем другое. Если бы я хоть на минуту допустил мысль, что Зевс видит мою цель в этом, я бы ни за что не согласился строить здесь город и разрушил бы все волноломы, которые попались бы мне в гаванях других городов. К счастью, он знает, что это не так.

— А разве Зевс прежде всего не бог людей? Не одних царей и завоевателей, а всего простого люда, который рождается без спроса, трудится всю жизнь за кусок хлеба для себя и своих близких и любимых, а затем сходит в безвестные могилы? Это очень древний бог, нередко злобный и вспыльчивый, иногда, похоже, капризный, как ребенок. И все же я не думаю, чтобы Зевс разрушил целый мол за грехи одного человека или даже просто разбил корабль за отсутствие набожности у одного из моряков.

— Разве так уж невозможно, чтобы он разбил флот или целую армию по просьбе сына, которого он любит — например, Диониса или Геракла?

— Надеюсь, что нет. В противном случае я обращусь к Зороастру, который любит всех людей, высокого и низкого происхождения, учит быть милосердными и сражается с человеконенавистником Ариманом.

Я закипел от тихого бешенства: как могла эта куртизанка, которую я взял под свою защиту и которая благодаря моей благосклонности набила свой сундук золотом, — как могла она стоять здесь, предо мною и хулить богов, которым я поклоняюсь? В ее рассуждениях угадывались клеветнические выпады также и против меня. Но тем не менее я строго держал себя в руках. Я говорил себе, что в этих делах она понимает не больше ребенка, каковым она и казалась: юбка и волосы развеваются на морском ветру, руки и плечи отполированы солнцем — нимфа да и только, в этой безлюдной местности, на известняковой косе между озером и морем. По причине жары доступная глазу кожа поблескивала от пота; я знал, что под одеждой она поблескивала влагой, особенно в ямках и впадинах ее тела. Во мне проснулось желание, отчего я вдруг разозлился и на себя, и на нее. И все же, заговорив, я не изменил твердому тону, оставив гнев при себе.

— Надеюсь, Таис, что Зевс не слушает тебя. Частенько он располагается где-то рядом со мной, но сегодня у него дела и он далеко отсюда, а иначе мы бы слышали, как он грохочет от гнева. Знаешь ли ты, что просто цари считают своим долгом разрушить город, опустошить все вокруг него — только бы не позволить существовать одному врагу своего царства или одному препятствию на пути, предназначенному ему судьбой? Я не следовал этому правилу, а иначе я бы не пощадил Афины. Но если это можно сказать о царях, то о богах и подавно, ведь ца-

ри — это наместники богов на земле, и тем более о таком боге, как Зевс, Верховном боге Олимпа, Собирателе облаков. Разве не мечет он в ярости стрелы молний, о чем есть свидетельства с тех пор, как под его рукой появилась Эллада? К тому же разве не он устраивает сильные штормы на море и вихревые шквалы на суше? Разве не говорят они о его могучем гневе?

— Это великий Аристотель говорил тебе такие вещи?

Вопрос застал меня врасплох. Я испытывал к Аристотелю величайшее почтение, большее, чем к любому другому смертному. Мне не хотелось, чтобы Таис заметила мою растерянность.

— Нет, он говорил не так, — отвечал я. — Он говорил, что все явления природы присущи самой природе. Он хотел сказать, что они вызываются естественными силами, которых мы еще не понимаем. Даже землетрясения, приливы и горные обвалы — все это результат действия этих сил.

— И молния?

— Кажется, и такое он говорил. Но разве не разумней предположить, что Зевс приходит в ярость оттого, что люди не приносят ему жертв и не оказывают ему почестей, достойных величайшего бога во вселенной? Разве не наказывает он людей за их непочтительность? Разве Артемида не лишила греческие суда благоприятных ветров, когда они шли к Трое, из-за того, что ей не принесли жертву?

— Какую же жертву принес царь Агамемнон, чтобы неблагоприятные ветры подули в нужную сторону? — спросила Таис.

— Любимую дочь Ифигению. Благодаря этой жертве он отмечен печатью великого царя.

— Это не спасло его от кинжала его жены Клитемнестры, который она всадила в него, чтобы продолжать спать со своим любовником. И Артемида тоже его не спасла, несмотря на то, что ради нее он убил собственную дочь.

— Таис, ты кощунствуешь над всем, что для нас свято.

— Так опасно говорить, я знаю. И все же я не могу молчать.

— Ты веришь, что в тот день в Тире Зевс для того успокоил море, чтобы я мог подвести осадные машины и разрушить крепкие стены?

— Нет, царь Александр, не верю.

— Тогда ты не можешь поверить и в то, что Зевс убрал с моего пути Мемнона и Харидема, чтобы я одержал победу при Иссе?

— Надеюсь, ты простишь меня за то, с чем я ничего не могу поделать. Нет, Александр, не верю.

— Я-то, возможно, тебя и прощу, но смогут ли простить боги? Разве я не особое орудие в их руках? Разве не велит мне долг перерезать тебе горло?

— Возможно, и так, не знаю. А может, это вовсе и не долг, а твое непомерное тщеславие, которое я ранила. Мое горло доступно твоему мечу — достаточно будет легкого прикосновения с любой стороны у моего подбородка. Да и кто я такая? Всего лишь куртизанка. Кое-кто считает, что моя жизнь не стоит жизни усердного раба.

Если она испугалась, то и вида не подала. Ее синие глаза цвета ночного неба бесстрашно смотрели прямо в мои.

— Таис, ты навлекаешь на себя смертельную опасность.

— Знаю, царь Александр. Я вижу в твоём лице желание убивать. И я, как подобает верноподданной, буду служить твоему делу, а не своему. Я всего лишь куртизанка. И все же в этом качестве я добилаcь заметного успеха. И даже немного славы. Хотя никто, кроме Абрута, этого не знает, но я была первой женщиной Александра Великого, а он был моим первым мужчиной. Немало месяцев я жила с ним как любовница, почти как наложница. Значит, Зевс мог бы счесть меня стоящей жертвой и дать свое благословение на строительство здесь великого города. Мы наедине, если не считать Абрута, который в такие моменты не посторонний человек, а проекция тебя самого. Его перо летает взад и вперед по папирусу; он видит, слышит и записывает; он не судит; он не выдает секретов; он не более реален, чем твоя тень. Царь, ты наедине с жертвой — как на холме, когда ты перерезал горло бычку без единого пятнышка, одному из истинно невинных, тогда как я знала многих мужчин и, возможно, прогневила целомудренную Артемиду. Мы стоим на том месте, которое будет главной площадью Александрии, где вырастет величественный храм, посвященный Зевсу. Моя кровь зальет и, в твоём представлении, освятит эту в будущем священную землю. Вытащи свой меч!

Моя рука потянулась было к рукояти, но тут же бессильно опустилась вниз. Только после долгого молчания я обрел дар речи.

— Ты прекрасная куртизанка, а потому пользуешься любовью Афродиты, дочери Зевса, которую он любит. Так пускай он и наказывает тебя. Надеюсь, это не пустая отговорка? Снимаю ли я с себя ответственность как, по сути, сын Зевса или, во всяком случае, любимый им смертный? Не могу сказать. А может, его рука удерживает мою от кровавой расправы. Возможно, я узнаю ответ на поле битвы где-нибудь неподалеку отсюда, когда ускользнувший от меня Дарий снова соберет армию. И может, тогда, лежа со смертельной раной от вражеского клинка или копья, прежде чем испустить дух, я сподоблюсь прозрения. Но сейчас я представляю себе только одну картину: твоя кровь уходит в землю, глаза потемнели, навсегда пропала твоя красота. Не могу себе позволить, чтобы это произошло.

Прелестные глаза Таис медленно наполнились слезами. Она подошла ко мне и поцеловала в губы, поглаживая мне щеку нежной рукой.

— Ну ладно, ладно,— проворковала она, как мать, которая утешает ребенка.— Бедняжка Александр! Хотелось бы мне тебя любить. Хотелось бы мне, чтобы когда-нибудь женщина, не такая, как сумасбродная, готовая убить Олимпиада, любила бы тебя. Но я все же буду твоей женщиной, буду делить с тобой ложе, буду утешать тебя, пока ты верен мне. Таис, афинская куртизанка.

— Я не могу говорить, Таис.

Она тут же заговорила свойственным ей мягким красивым голосом, одновременно проводя рукой по глазам и смахивая слезы:

— А есть ли бог рыбаков, царь Александр?

— Что за вопрос! Не сомневаюсь, что есть, но не знаю, как его имя. Рыбаки часто приносят жертву Посейдону и Эолу, эллинскому богу ветров, но, возможно, есть божество и помельче, которое дорого именно им. А почему ты спросила?

— А ты не мог бы посвятить один уголок какой-нибудь гавани, где слишком мелко, чтобы там могли стоять торговые суда, богу рыбаков? Как бы мы жили, если бы они не преодолевали все превратности моря и не привозили нам свой улов? Представь себе — что ни день, у нас ни утром, ни днем, ни вечером нет на еду жареной скумбрии. Разве такое возможно? И еще я хочу знать, что их крепкие суденышки, в которых намного больше благородства, чем в этих жестоких носатых галерах, будут здесь бросать свои

якоря. Я вижу, как из какого-нибудь дворцового окошка в Александрии я смотрю на их храбро горящие судовые огни. Ну как, царь, прислушаешься к моей маленькой просьбе?

— Обязательно прислушаюсь, потому что в сердце у меня как-то сразу и беспокойно, и удивительно легко.

## 2

Самая надежная дорога к храму Амона в пустыне начиналась в Мемфисе. Старый караванный путь, что был намного короче, шел сначала вдоль берега моря, затем сворачивал к югу. Его-то я и выбрал, поскольку по нему можно было попасть в Кирену, город великого богатства и роскоши, который я желал покорить. В этот поход я решил не брать своего любимого спутника Букефала, так как по этим глубоким горячим пескам мог пройти только караван верблюдов. Вдобавок я решил не брать и Таис, к которой испытывал противоречивые чувства, спутавшиеся в клубок столь же сложный, как и Гордиев узел, но распутать его было не просто и ударом меча не перерубить. Кроме того, я не осмелился взять Таис в свою компанию после того, как посоветовался с древним оракулом, чьи предсказания всегда сбывались — в этом отношении он был столь же велик, как и оракул в Додоне или даже в Дельфах, и являлся голосом самого Зевса, носившего египетское имя. Я не мог забыть его непочтение к Зевсу, оставшееся без наказания. За мной последовало сильное войско, включая гетайров, пересевших на верблюдов, но в основном пехотинцев. В них могла возникнуть потребность, когда я обложу Кирену.

Первые дни пути были утомительными, но сносными. Пехотинцы шли, утопая по лодыжку в мягком песке, что их сильно изматывало и замедляло наше продвижение. Недалеко от Кирены мне навстречу вышло посольство; сразу же было предложено сдать город, а также обещано, что впредь мне будет послушно выплачиваться дань. Вдобавок послы предложили мне в дар бесполезных, если не сказать хуже, в этих песках лошадей. За эту передышку от войны и кровопролития я поблагодарил высоких богов. И только когда дорога свернула на юг, к храму, мы узнали, что такое египетская пустыня с ее неумолимой жестоко-

стью — молчаливая и неподвижная, но свирепая и смертельно опасная.

Водные русла, где мы надеялись найти небольшие озера горячей и вонючей воды, пересохли, превратившись в камень. Запасы воды в наших мехах стали подходить к концу, и я распорядился выдавать ее по rationу — солдатам, их предводителям и их царю: мне хотелось, чтобы они знали, что я так же вынослив, как и они. Скоро в бурдюках почти ничего не осталось, а безлюдным пескам не видно было конца и края, когда мы открывали глаза, страдающие от ослепительного тропического солнца. Когда-то давным-давно персидский царь послал войско, чтобы уничтожить могущественного оракула, но оно не дошло, полностью погибнув в песчаном буране. Я стал молиться, но по всему было видно, что мне и моим солдатам, как и тем неудачливым святотатцам, суждено умереть от жажды и лежать, пока вороны не склюют все мясо с костей, пока их не выбелит солнце и не развеет ветер.

И тут на северном горизонте мы увидели небольшую туманность. Я больше не отваживался глядеть на нее, боясь, чтобы она не исчезла, зато поднял глаза к мучительному блеску солнца и взмолился, прося, чтобы Зевс ненадолго явился, завернутый в облако, и дал пролиться живительному дождю. Когда я снова взглянул на север, облако потемнело и выросло. Видимо, его несло на юг сильными высокими ветрами, потому что мы не чувствовали ни малейшего дуновения. Вскоре померк и этот жестокий свет — благословенная туча наполнила на солнце. Постепенно она расползлась по всему небу от горизонта до горизонта, и вот, наконец, хлынул живительный ливень.

Это время не было тем кратким сезоном, когда легкие дожди ублажали это излюбленное демоном место. Люди кричали от радости и прыгали под изумительно прохладными струями, но я сошел со своего храпящего верблюда и в молчаливой покорности и священном страхе отошел в сторону, ибо явно мне на помощь пришли небесные силы. Перед глазами у меня прошли видения. Они клубились и в основном были непонятны: меня пронзила пророческая боль и на мгновение показалось, что я узрел Диониса и Геракла, смертнорожденных, восседающих на тронах под суровыми, мощными фигурами, облаченными в туман; однако эти двое были в одной компании и пристально гляделись, будто кто-то еще приближался, чтобы при-

соединиться к ним, и я безотчетно порицал этого новичка. В его внешности было что-то знакомое, и все же у меня не было полной уверенности, что я узнаю его: ведь я тогда не знал, кто я такой и как меня зовут.

Видение скоро исчезло. Неподалеку лежал неглубокий овраг, несколько минут назад абсолютно сухой; приблизившись, я услышал журчание бегущего по нему ручья. Он наполнил небольшую впадину и выливался через край. Выкрикнув приказ, я упал на колени и выпил не больше горсти воды, потому что нас предупредили, чтобы мы не пили вволю, когда нас одолеет жажда. Когда я вновь взглянул на своих людей, они снимали вялые меха с верблюжьих спин и принимались бегать взад и вперед по берегам этого и другого, сходящегося с ним чуть дальше, потока. Дождь все еще лил так, словно тучу прорвало, как мы называли это явление, и теперь не оставалось сомнений, что мы сможем наполнить все бурдюки и нам не суждено высохнуть и почернеть в безжалостных песках, и я буду жить, чтобы в бессловесной благодарности пасть ниц в храме отца моего, ибо так велика моя благодарность, что невыразима никакими словами.

### 3

Теперь у нас не было недостатка в воде, но на своем нелегком пути мы встретились с еще одним духом пустыни, почти таким же ужасным, как и жажда. Это был самум, ветер пустынь, налетевший на нас после того, как мы вышли из области осадков. Иначе, до тех пор пока солнце не высушило бы землю, он не причинил бы нам вреда. Заклубились, слепя глаза, пыль и песок, верблюды издавали горловые булькающие звуки и отчаянно кричали; они помчались бы, куда гнал их ветер, если бы крепкие погонщики не держали их за поводья, сами подвергаясь шквальным ударам. Лица их были незащищены, лишь слегка прикрыты кусками ткани. Остальные сбились в длинной ложбине, но, несмотря на это, несущиеся крупницы песка жалили обнаженную кожу, забивались в одежду. Я смотрел, как медленно бледнеет солнце, и постарался запомнить его положение относительно кое-каких наземных вех; затем, взглянув на песочные часы, хорошенько заметил время.



Целых три часа мы не способны были двигаться в спустившихся на нас странных сумерках, где совсем размылась граница между поверхностью земли и насыщенным песком воздухом, слыша только низкий, почти не меняющий тона вой ветра и свистящее шипение несущегося песка. После долгих, томительных часов, показавшихся задыхающимся людям бесконечными, когда клубы песка то оседали, то снова неслись и снова оседали, ветер стих; солнце уже прошло зенит. И когда все это желтое оперение над морем песка улеглось, люди оглянулись в испуганном удивлении, переходящем в глубокое уныние. Дорога, как по мановению волшебной палочки джинна, исчезла — и та ее часть, по которой мы шли, и та, что вела к святилищу.

И тогда я возрадовался тому, что боги надоумили меня заметить положение солнца перед бураном, и теперь, спустя несколько часов, сверяя его положение с теми вехами, что я выбрал, я смог ориентироваться в пространстве. К западу от нас пролежала песчаная дюна с растущим у ее основания кустарником, пищей для верблюдов, а к юго-западу, на милю или две влево вдоль этой метки, тянулся пробившийся сквозь песок утес.

Я уже было собрался отдать приказ о выступлении, когда заметил двух пролетающих именно в этом направлении воронов: они, несомненно, держали путь к Сиутскому оазису, чтобы там воровать финики и зерно и освежаться водой из проточных колодцев после долгой отсидки во время сухой пыльной бури.

— Царь Александр, не кажется ли тебе, что, видя нашу дорогу занесенной, боги послали нам этих двух жителей пустыни — чтобы они указали нам путь? — обратился ко мне Гефестион. — Прошу тебя вспомнить, что вороны — священные птицы Ареса, бога войны, а также и Зевса, ведь ему они даровали мудрость.

Гефестион и здесь был самым собой: он всегда преуспевал в желании сделать мне приятное и раздуть мою славу. В этом он намного превосходил всех остальных моих друзей детства из Пеллы. Возможно, в отличие от тупоголовых македонцев, он, видя приближение самума, догадался заметить вехи и теперь ориентировался не хуже меня.

— Может быть, и так, — отвечал я. — Ты заметил, что эти вороны были побольше и почерней множества тех, что

встречались нам раньше. — Это была чистая выдумка, чтобы произвести впечатление на наших соратников.

— Зевс проявляет к тебе, царь Александр, особую заботу, чтобы ты смог благополучно встретиться с великим оракулом, я бы сказал, большую, чем к любому паломнику, ходившему туда со времен Геракла, чтобы поклониться Зевсу-Амону. Доказательство этому — чудесный дождь, когда в наших мехах почти не осталось воды.

Эти слова вскоре облетели мое войско, но все же некоторых не покидала настороженность, когда мы шагали по ровному песку. Но вот тем же путем над нами полетели и другие вороны, с той же миссией, что и предыдущие, и вскоре солдаты стали приветствовать каждую пролетающую птицу громкими криками; мудрых птиц, должно быть, радовал этот рев — не от ветра, дождя или грома, а восходящий от обычно молчаливых песков. Раз, когда пролетела большая стая, вызвав особо шумную радость, Птолемей настолько забылся, что подмигнул мне. До наступления темноты я снова заметил ориентиры, а также концом ножен оставил длинную черту на земле. За ужином люди веселились вокруг костров, теперь уже не сомневаясь, что мы дойдем куда нам нужно и тем самым все они будут вознаграждены. Возможно, они не задавались вопросом, каким именно образом. Они знали только то, что их царь и полководец хочет сделать жертвоприношение в знаменитом храме Зевса и просить совета у оракула.

Этой ночью я выставил часовых, как если бы мы стояли лагерем, вторгшись в чужую землю. Главное, я хотел, чтобы солдаты не расслаблялись; а кроме того, в пустыне были шакалы, которые могли ночью подпортить кожаную сбрую. Не исключались и вылазки льва. Однако небольшие костры, сложенные из сушняка, находимого по руслам пересохших речушек или у основания дюн, наверняка, как новое и чрезвычайно любопытное зрелище, привлекали шакалов, газелей и маленьких, но очень ядовитых змей, которые находили в пустыне скудное пропитание. Этим маршрутом редко ходили караваны, и если останавливались на ночевку, то разводили совсем немного костров и на большом расстоянии друг от друга. Этой ночью подаренные мне послами из Кирены лошади, привязанные к палаточным колышкам, глубоко вбитым в песок, обезумели от жажды, оборвали привязь или вырвали из песка колышки и умчались прочь. Возможно, они почуяли запах

воды какого-то отдаленного источника, рядом с которым львы поджидают в засаде газелей и прочих обитателей пустыни. Не всем этим сбежавшим лошадям суждено было добраться до источника или, добравшись, избежать стремительного нападения хищников как раз в тот момент, когда их морды в лихорадочной спешке погрузятся в этот эликсир их жизни — и внезапная смерть так и не даст им напиться вволю.

Вся накаленная за день пустыня остыла еще до наступления полуночи: песок не удерживал дневной жары в этом сухом воздухе. Солдаты просыпались от холода и закутывались в длинные накидки, которые в полуденную жару они проклинали только за то, что приходится их тащить с собой.

На следующий день мы обнаружили признаки караванной дороги, которой редко пользовались, ведущей от прибрежного города в южную сторону. Не исключалось, что этим городом был Карфаген, крупнейший на Внутреннем море, хотя со временем ему придется уступить Александрии. Главному богу Карфагена Ваалу-Амону, иногда называемому Молохом, в жертву приносили сжигаемых заживо детей. Астарта требовала человеческой крови; Изида являлась богиней пророчества. Позже все-таки их стали затмевать некоторые истинно эллинские боги, особенно Аполлон и Геракл, известный здесь под именем Мелкарт, тот же, что и в Тире. Зевса, несомненно, начинали признавать как верховное божество, поэтому поклоняющиеся его еще незначительному культу, наверное, и проложили путь паломничества к храму Зевса-Амона.

На другой день мы увидели низко на горизонте что-то похожее на зеленые перья. Как верхушка мачты корабля на голубом море, они с нашим продвижением вперед все росли и становились изумительно красивыми; мы уже могли различить крышу какого-то высокого здания посередине и поняли, что приближаемся к Сиутскому оазису — цели нашего похода.

Источники, прекрасные ручьи, прохладная тень и колышущиеся на ветру листья пальм — все это приободрило моих солдат, заставив их забыть тяготы утомительного пути. Из храма подали знак, что моя свита должна помыться и сменить одежду. Только мне одному позволялось явиться, не снимая военной формы. Меня встретил верховный жрец и предложил подойти к изображению Зевса-Амона одно-

му, без сопровождения; последний был облачен в такие же одежды, что и эллинский Зевс, воплощенный в статуе. Хотя и Озирис, которого я видел в Египте, также был одет во что-то похожее. Самое интересное в нем было то, что к его рукам и голове прикреплялись бечевки, которые приводил в движение верховный жрец, стоящий сзади. Все было без обмана и совершенно открыто. Жрец заставлял его то утвердительно кивать головой, то качать ею в знак отрицания — как это было желательно духу Зевса — а то и двигать рукой, чтобы подчеркнуть согласие или несогласие.

Но прежде чем жрец занял свое место, он спросил меня, какой дар я принес храму, и я ответил: талант золота. И вот что мне вдруг подумалось: в отдаленные века или в далеких странах люди не будут пользоваться этой мерой или знать ее эквивалент в отношении их собственной. Мне в моих походах иногда приходилось встречаться с племенами, у которых были другие единицы измерения, что затрудняло наши с ними сделки.

Аристотель рассказывал, что общая для всего известного нам мира единица длины — подес, или по-другому фут (ступня). Три фута составляют шаг. По его словам, кубическая емкость, длина, ширина и высота которой полфута, является общепринятой мерой объема жидкостей, таких, как вино, вода и масло, а масса одной восьмой части от этого объема воды также принята за общую меру — многие кубки, а также чаши для ладана, использующиеся во время важных ритуалов жертвоприношения, изготавливаются с тем расчетом, чтобы они могли содержать именно это количество жидкости. Примерно ту же массу имеют четыре апельсина обычного размера или одна большая гроздь винограда.

Странно, что для этой удобной меры массы у греков не было названия, хотя ее легко можно было вычислить, пользуясь общепринятой единицей в один фут. У нас имелась еще одна мера, ока, близкая трехкратному содержанию вышеупомянутой массы воды; она содержалась в контейнере — полфута на полфута в основании и три больших пальца в высоту.

В любом случае, талант золота весил две оки, а серебра — двадцать четыре оки.

— Это щедрый дар, царь Александр, — сказал мне жрец и сразу же занял свое место за изображением оракула.

— Сразится ли со мной Дарий еще раз? — поинтересовался я.

Голова фигуры утвердительно кивнула.

— Когда и где?

Рука фигуры указала на северо-запад. Одновременно я услышал странно измененный голос жреца — глубокий, звучный, каким я мог себе представить голос могучего бога.

— Когда опадают листья.

Неопределенный ответ, подумал я. Он может означать не предстоящую осень, а какую-нибудь в отдаленном будущем.

— Кто победит, я или Дарий?

Фигура не шелохнулась, но голос прозвучал в полную мощь:

— После той битвы Дарий больше никогда не пойдет на тебя войной.

Я не осмелился настаивать на более определенном ответе, боясь рассердить Зевса.

— Суждено ли мне попасть в число богов?

— Люди, которые придут царствовать после вас, сочтут тебя за такового. Тебе воздвигнут храмы и будут приносить жертвы. Я, как и всегда, говорю голосом самого Зевса. В этот момент преображения я становлюсь Зевсом.

— Как я буду зваться?

— В некоторых царствах — Аммоном-Ра. За горами тебя будут звать Искандер.

— Стану ли я таким же великим богом, как Дионис и Геракл?

— Твоему образу будут поклоняться во многих землях, где эти два бога неизвестны.

— Завоюю ли я всю Персию и подчиненные ей государства?

— Ты не пойдешь покорять государства далеко на север, но Персидская империя, даже вдающаяся в Инд, будет твоей империей, и ты сядешь на троны Суз и могучего Вавилона. Но не малой ценой. Ты уже задал шесть вопросов, позволяется задать еще один, чтобы стало семь — священное число. Большого Зевс не разрешает даже своим любимцам.

— Еще только один. Являюсь ли я родным сыном Зевса?

— Точно так же, как им был Геракл. Теперь, сын Зевса, прощай.

Я снова пал ниц перед образом, после чего прошел сквозь лес могучих колонн в наружный двор храма, а оттуда — в наружную галерею. Я чувствовал приятное тепло в сердце, голова кружилась от острого приступа счастья. Это состояние длилось не менее часа, и конец ему положила нечаянно пришедшая мне в голову мысль.

Ведь жрец говорил на испорченном греческом. Я вдруг вспомнил, что на греческом языке выражения «сын Зевса» и «мой мальчик» очень схожи\* и, чуть оговорившись, можно было произнести одно, имея в виду другое.

Но он же сказал: «Точно так же, как им был Геракл». Мог ли я просить о большем? Кроме того, у меня было ясное свидетельство моей матери, а она мне не лгала даже в мелочах, уж не говоря о деле такой величины. И наконец, я был Александром, уже завоевателем доброй части Персии; я дважды разбивал Дария, и он только еще раз встанет у меня на пути; мне суждено было восседать на тронах Суз и Вавилона, чего еще никогда не удостаивался ни один завоеватель со стороны. По подсчетам наших географов, эта территория равнялась всей Европе. Ее богатства были неизмеримы по сравнению с богатствами Креза, которые были столь велики, что стали притчей во языцех по всей Элладе. Какой смертный, какое существо ниже бога могло бы достичь всего этого?

Странно, но я жалел, что мне было позволено задать семь, а не восемь вопросов. Этот восьмой касался не такого уж важного дела и его незначительность могла бы разъярить величайшего из всех богов, чье ухо снизошло до моего голоса. Мне только хотелось спросить, найду ли я княжну Бактрии, женюсь ли на ней и буду ли ею любим — ту самую девочку, которую я встретил на дороге в храм Додоны, оракула Зевса, уступающего только оракулу Зевса-Амона, рядом с которым я дал клятву.

#### 4

Когда я вернулся в Мемфис, появились и другие доказательства того, что я и впрямь прихожусь Зевсу родным сыном. Лучшее и самое волнующее поступило ко мне из Милета, города на восточном берегу нашего Внутреннего моря. Когда-то там стоял знаменитый храм Аполлона, оракул которого никогда не ошибался. Стремясь во что бы

то ни стало навязать персидский культ всем покоренным странам, Ксеркс сжег это замечательное сооружение за век с четвертью до моего рождения. Оракулом там был источник, чьи бульканья и журчание передавали жрецам ответы Аполлона на вопросы прихожан и паломников. Ксеркс пришел с огнем и мечом, и этот источник перестал течь. Он все это время не подавал признаков жизни, и вдруг — о, чудо! — снова заворковал, журча днем и ночью; и когда жрецы прислушивались, они улавливали один и тот же, звучащий не переставая, мотив, и невозможно было ошибиться в том, какую несет он весть. «Александр, освободивший меня от персидского сапога, — урожденный сын Зевса!»

Когда Аполлон увидел, что сообщение понято, оракул снова заговорил, отвечая на разные вопросы, интересующие тех, кто приходил за советом.

Во время этого пребывания в Мемфисе я стремился к знаниям с таким пристрастием, что удостоился бы улыбки и похвального слова от бывшего своего учителя Аристотеля. Египтяне не могли понять, почему Нил разливается летом, а не весной или осенью, в дождливые сезоны. Поэтому я послал вверх по Нилу исследовательскую партию, возглавляемую Птолемеем, для изучения этой тайны. Они проделали рискованный путь далеко за Элефантину, обогнули первый водопад, перетащив снаряжение волоком, затем второй — в центре Нумидии, славящейся своими многочисленными львами с черной гривой, затем третий и вышли к месту впадения в Нил большого притока, текущего на север и чуть на запад. Эта река стекала с могучего черного хребта, большую часть года покрытого снегами, несмотря на тропическое солнце. Но летом белая его мантия таяла, сбрасывая в реку целое море воды, которое отсюда устремлялось непосредственно в Нил. Вдобавок они слышали, что в пятистах стадиях от места этого слияния существовало еще одно, куда более полноводное — слияние двух одинаковых рек, образующих верхний Нил, обширность которого не поддавалась оценке на глаз. Во всяком случае, восточная из двух рек-близнецов сбегала с того же обширного горного хребта и в середине лета сплавляла вниз огромное количество талого снега.

С этой партией я послал черного раба, который был схвачен арабскими охотниками на рабов на берегах Крас-

ного моря и куплен Гефестионом на рынке в Андрополисе. Он мог общаться с людьми, живущими в районе первого притока, на их языке. У них кожа была светлей, чем у нумидийцев, волосы были прямые, а носы правильной формы, и они говорили, что родственны евреям, нации Абрута. Многие из них поклонялись тому же богу; и еще они рассказывали о том, как много лет назад их береговые племена торговали с Тиром и Иерусалимом; они хорошо помнили Хирама из Тира и прекрасную царицу по имени Шеба, которая стала возлюбленной великого Соломона из Иерусалима.

Птолемей рассказал мне, что на полупустынных землях слонов насчитывалось больше, чем лошадей, коров и овец на Фессалийской равнине. Кроме того, львов там было без числа, стада газелей тянулись на целые мили, причем разных размеров и формы рога: были величиной с буйвола, а были и крошечные, как весенние ягнята.

Когда поздней весной египтяне сняли урожай хлеба, засеянного предыдущей осенью, я приготовился загрузить трюмы своих кораблей и отчалить. Новости из моего новорожденного города Александрии радовали: под руководством моего архитектора и под плетями его десятников работало множество рабов, и, хотя на его территории еще не появилось ни одного дома, улицы и площади прокладывались согласно моему плану, успешно приступили к строительству мола и заложили основание великого храма Зевса на центральной площади. Пришлось серьезно подумать о том, каким будет правление Египтом, пока я буду осуществлять великую миссию дальнейшего завоевания Персии. В случае восстания его нельзя было бы отбить назад без помощи мощной армии, которую я бы не мог выделить, поэтому оставалось одно — обеспечить постоянное довольство народа. С этой целью я назначил двух популярных в народе египтян править одному Верхним, другому Нижним Египтом; и эта парочка знала, кто намазал маслом их ячменные лепешки. Но, доверяя, проверяй, и чтобы их правление было действительно справедливым, я оставил греческих военных для контроля за ними. Затем я отправился в Тир, а там, по суше, в Дамаск, где находилась гряда сокровищ Дария, захваченная в его обозе после Исса. Тут пришлось устроить правительственную чистку — сменить строптивного правителя на более покладистого.



Здесь же до меня дошел неприятный слух о Филоте, сыне моего надежного Пармениона. Он был начальником отряда тяжеловооруженной конницы, который я оставил там, и, как многие другие из воинов, он взял себе наложницу — персиянку — одну из многочисленных красавиц, содержащихся в гаремах крупных персидских военачальников и второстепенной знати, чьи белые кости усеяли поле битвы при Иссе. В общем, я был доволен этими союзами: я хотел, чтобы Греция вместе с обширной Персией составили одну великую империю, в которой не было бы расового раскола. Но, как следовало из сообщения, Филот высказал своей любовнице нечто похуже обычной глупости, у той же язык был без костей, а для города закулисные тайны — главная пища для толков. Так вот, Филот, говорят, похвалялся, что если бы не он, я бы не одержал победу на Гранике или при Иссе — короче, моя великая слава по праву принадлежит ему, а не мне. Мне не хотелось верить этому слуху, ведь Филот всегда казался таким же преданным, как и его отец, но это отложилось в моем сознании. Тем не менее я не снимал его с поста командира.

В Дамаске мне предстояло разобраться еще в одном очень важном для меня деле. Я незамедлительно направил Гефестиона разузнать, не стала ли вдова Мемнона Барсина наложницей какого-нибудь отрядного начальника. Вскоре он сообщил, что такого не произошло, хотя двое-трое из моих военачальников домогались ее; ей было только тридцать, она отличалась несколько странной и оригинальной, но вполне реальной красотой. Итак, размышляя я, она была второй женой великого стратега, который считался способным военачальником еще за семь лет до моего рождения.

— Почему же она отвергла эти домогательства? — спросил я Гефестиона.

Он не знал того, с какой жадностью я ждал его ответа.

— Она сказала претендовавшим на ее благосклонность, что за всю жизнь любила только одного мужчину — Мемнона, что никогда уже не полюбит другого и не разделит ни с кем ложе, ибо поклялась в этом своему мужу перед самой его смертью.

Итак, оказывается, Мемнон был не только могучим полководцем, чей гений не давал Александру спокойно спать, он был способен не только командовать солдатами,

но даже из могилы распоряжался чувствами и мыслями своей прекрасной жены.

Я навел справки о том, где она живет, и узнал, что живет она у знатных родственников в роскошном доме. Я послал ей записку, сообщая о своем намерении зайти к ней и засвидетельствовать свое царское почтение вдове уважаемого врага, и чтобы она ожидала меня спустя два часа после захода солнца того же самого дня. Я жил во дворце покойного сатрапа и мог бы пригласить ее к себе, но не сделал этого из-за Таис, которая жила там со мной, — я не хотел, чтобы она знала о моих отношениях с Барсиной.

Посланец вернулся с ответом, написанным на безукоризненном греческом языке. В очень вежливых выражениях она сообщала, что будет ждать меня в назначенный мною час.

Я отправился туда верхом на Букефале, облаченный в царские одежды, в сопровождении небольшого почетного кортежа охраны. Меня провели в просторную, хорошо обставленную приемную, где, быстро поднявшись с персидского кресла, Барсина отвесила мне низкий поклон.

Я преднамеренно не стал сразу же обращаться к ней с разговором, а сначала оглядел ее с головы до ног. Она, несомненно, отличалась какой-то особой, незнакомой мне красотой, но при этом вполне реальной. Остров Родос лежит рядом с Критом и, конечно же, был заселен минойцами, как мы называем народ древнего Крита, и, возможно, в некоторых его обитателях сохранились еще следы минойской крови. Минойская культура приходится матерью греческой, но иногда поговаривали, что в некоторых отношениях наша культура осталась ниже родительской, о чем явно свидетельствовал пример грубой, неотесанной Македонии. Я видел статуэтки женщин, принадлежавшие древней утонченной аристократии Крита. Эти женщины также отличались изысканной, уникальной красотой. Характерное для них платье оставляло обнаженными округлые полные груди замечательной красоты. Женщины стояли с высоко поднятой головой, и эта поза говорила о том, что они гордятся своей расой и высоким положением; и современные царицы уже не могли соперничать с этой гордостью, на которую минойцы знатного происхождения действительно имели полное право, поскольку среди всех островов и побережий Внутреннего моря их цивилизация была самой

высокоразвитой. Своей позой и неподвижностью прекрасного точеного лица Барсина напоминала эти статуэтки.

Мой продолжительный властный осмотр несколько ее не смутил. Она просто стояла и ждала, когда я заговорю. Ее спокойные, неподвижные глаза не изменили своего выражения и не потупились, даже когда встретились с моими. Неудивительно, подумал я, что кое-кто из моих военачальников домогался этой красавицы. Они бы, помимо прочего, и гордились бы ею; а если не были женаты, то готовы были бы взять ее себе не в наложницы, а в жены. Она произвела на меня впечатление спокойствия, уравновешенности, возможно, даже царственности, только не холодности. Я не сомневался, что под ласками Мемнона она загоралась сильной страстью и вызывала в нем такую же пылкую страсть.

И тут я почувствовал, если уж давно не догадывался об этом, что ненавижу Мемнона даже мертвого.

— Барсина, ты можешь присесть, — сказал я ей. — Я тоже сяду.

— Благодарю тебя, царь Александр, — спокойно ответила она.

Возле стены стояла красивая персидская тахта, и, если бы она села на нее, для меня это было бы приглашением последовать ее примеру. Но вместо этого она снова села в свое величественное кресло, а я выбрал то, что стояло напротив него на расстоянии семи шагов.

— Есть ли у тебя какая-нибудь просьба ко мне? — спросил я.

— Нет, царь Александр. Я живу с братом и его женой. Они родосцы, так же, как и я; обращаются со мной радушно и полностью удовлетворяют все мои бытовые нужды.

— Есть, разумеется, одна нужда, которую никогда уже не удовлетворить, — заметил я, наблюдая за ее лицом.

Она могла бы ощутить какую-то боль, но на ее лице это никак не отразилось.

— Да, царь, это правда.

— Ты вдова очень большого человека.

— Это общеизвестная истина, царь Александр.

— Я полагаю, он делился с тобою планами, с претворением которых надеялся — и не без причины — победить меня на Гранике и при Иссе.

— И это правда, мой повелитель.

— Однако его планам не суждено было осуществиться, потому что вмешались родственники Дария, его военачальники и льстецы.

— Думаю, царь Александр, что это всем известно.

— Предположим, что такого вмешательства не было бы. Изменило бы это исход тех двух сражений?

— Я не знаю, царь Александр.

— Конечно, ты не знаешь. Есть у мудрых египтян старая поговорка, которую я процитирую в приблизительном переводе: «Только боги могут видеть, куда ведет дорога, по которой мы не пошли». Поэтому когда мы говорим: если бы случилось то-то и то-то, результат был бы таким-то и таким-то,— это утверждение не обязательно соответствует истине и, очень даже вероятно, является ложным, ибо непредвиденные обстоятельства могут изменить то, что заранее кажется определенной последовательностью событий. Я иначе поставлю свой вопрос. Если бы Дарий последовал совету Мемнона, считаешь ли ты, что я потерпел бы поражение?

— Царь Александр, я должна отказаться отвечать на твой вопрос. Ответ на него может обязать меня сделать заявление, которое я не желаю делать. Оно звучало бы неприличным в словах вдовы большого врага царя, обращенных к этому царю.

— И все же я настаиваю на ответе.

— Если ты настаиваешь, у меня нет выбора. Я плохо разбираюсь в стратегии, но та, на которой настаивал Мемнон, казалась разумной. Ты, возможно, еще не ощутил огромных размеров Персидской империи.

— Извини, что прерываю. Правильнее сказать: то, что когда-то было Персидской империей. Теперь это империя Александра Македонского.

— На это я ничего не скажу, с твоего царского разрешения. Ты все еще настаиваешь, чтобы я ответила на твой вопрос?

— Да, настаиваю.

— Я считаю, мой повелитель, что если бы события развивались по плану Мемнона, твоя армия оказалась бы в безнадежном положении, и ты был бы побежден. Это ни в малейшей степени не подразумевает того, что Мемнон был более великим полководцем, чем Александр. Это подразумевает только то, что в этих условиях обстоятельства были против тебя.

— Барсина, по-моему, это все же подразумевает, что, с твоей точки зрения, Мемнон, был из нас двоих более выдающимся полководцем. Позволь я втянуть себя в беззащитное положение, я бы продемонстрировал огромную слабость своей полководческой мысли. Значит, я пошел бы на непростительный риск, за что заслуживал бы поражения.

— Я полагаю, царь Александр, ты истолкуешь мои слова согласно своему царскому желанию или как велит тебе твой ум

— Они допускают только одно толкование. Дело в том, что я прекрасно сознавал, какую ловушку уготовливал мне Мемнон, и все же я твердо решил напасть на персидскую армию. Я ничуть не сомневался, что выйду победителем, что бы там Мемнон ни предпринимал.

— Как бы там ни было, ты действительно победил. Это бесспорный факт. Люди должны принимать факты как они есть, а не фантазировать о том, что могло бы быть.

— Не ожидал в такой молодой красивой женщине обнаружить столько ума.— Сказав это, я солгал. Кому не известен был миф о том, что физическая красота обычно несовместима с блеском ума. И почти всегда бывало наоборот. Таис бесспорно обладала блестящим умом. Многие некрасивые женщины имели яркие умственные способности, но красота, если попытаться найти ей точное определение, обычно является вопросом хорошего телосложения, костяка, и если в наследство дается хороший костяк, то, вероятно, это можно сравнить с унаследованием хороших мозгов. Но последние мысли появились уже потом, а в данный момент философ из меня был никудышный. Я видел красоту и ум Барсины, но еще острее я сознавал, что она — вдова Мемнона, убежденная в его превосходстве надо мной, и что она сама осталась непообежденной.

— Благодарю тебя за комплимент, царь Александр,— спокойно сказала она.

— Как ты совершенно справедливо заметила, факты есть факты, и победа досталась мне. Но это не причина, почему бы нам не быть хорошими друзьями.

— Я благодарна тебе за великодушное предложение, царь.

— Ты примешь мою дружбу?

— С радостью.

— Мы могли бы стать больше чем друзья. Разве это невозможно?

— Царь Александр, если ты имеешь в виду то, что написано на твоём лице, это было бы невозможно.

— Позволь спросить тебя — почему?

— Одна из причин — это обет, который я дала мужу незадолго до его смерти.

— Такие обеты недействительны после смерти одного из супругов. Тот, кто умер, прекращает существовать, так нас учили. Или только существует как бессловесная тень в сумеречном царстве Аида, лишенный памяти о своём пребывании на земле. Его бы это никак не задело, если бы ты провела со мной эту ночь.

— И все же, царь Александр, я не могу этого сделать.

— Ты хочешь сказать — не желаешь.

— Как, мой повелитель, я могу этого желать? Я сильно любила своего мужа. Да, он бы не узнал о нарушенном обете, но я бы об этом знала. И если бы я сошлась с тобой помимо своей воли, тебе бы это не доставило удовольствия.

В этом она ошибалась. Те, кто умер от моего меча, погиб помимо своей воли — потому что они были побеждены.

— Барсина, ты одарила своего мужа детьми? — спросил я.

Минутные часы сочились и сочились крупинками песка, а она все не отвечала. Впервые, пока мы говорили, выражение ее лица изменилось. Я не мог уяснить смысла этой перемены, охарактеризовать ее, я только почувствовал, что в ее сознании что-то произошло, и сердце мое подпрыгнуло.

— Я не понимаю, Барсина, твоего молчания. Разумеется, ты была бы горда, если бы родила детей своему мужу и господину, великому Мемнону.

— Да, я действительно горжусь этим. У нас родилось трое детей.

— Все они живы и здоровы?

— Да, мой повелитель.

— Дерни, пожалуйста, за шнур звонка и попроси слугу привести их и представь мне.

Она дернула за шнур, и тут же появилась девушка-гречанка, которой она спокойным голосом отдала распоряжение. За этим недолгим ожиданием мы сидели молча. Изредка Барсина украдкой заглядывала мне в лицо, но

прочитать в нем что-то было невозможно. С испуганно вытаращенными глазами вошли дети: девочка лет двенадцати, мальчик лет девяти и совсем еще крошка — трехлетка.

— Ничего не скажешь, красивые дети, — заметил я. — Ты имеешь полное право гордиться ими. Дочь похожа на тебя. Я видел Мемнона только издали, но, полагаю, мальчик похож на него и, если у него будет возможность, он тоже станет великим полководцем. Теперь ты можешь их отпустить.

— Идите, милые. Вам уже давно пора спать.

Дети поспешили покинуть комнату.

— И я сейчас уйду — при определенных обстоятельствах. Но я уйду с таким ощущением, что не получил причитающееся мне как победителю Персии. Ты, Барсина, моя подданная. Если бы тебя представили Дарию в те дни, когда он был царем, ты бы пала ниц пред ним?

— Да. Таково было требование для всех, кто предстал перед ним.

— Но ты не пала ниц предо мною.

— Если желаешь, я это сделаю. Я подойду к твоему креслу, которое сейчас служит тебе треном, стану на колени и коснусь лбом пола. — Барсина сделала движение, чтобы встать.

— Это не подойдет — ты ведь вдова Мемнона. Мне нужно, чтобы ты совершила этот обряд в другом месте, а точнее, в своей спальне, и сделала это таким образом: разденешься и ляжешь в постель на спину, вытянувшись во всю длину.

Барсина посмотрела мне в глаза долгим спокойным взглядом. Затем ее губы скривились в безнадежной улыбке.

— Я подчиняюсь тебе, царь Александр. Ты повелительный монарх той страны, в которой я теперь живу. Может, ты пойдешь со мной?

## 5

Барсина не скупилась на объятия, но, по правде говоря, ее поцелуям не хватало жара, и она почувствовала мое неудовольствие. И во время нашего соития ее прекрасные ноги сомкнулись вокруг моей талии: этой позой наслаждались родосцы знатного происхождения, чья страстность питалась бодрящим климатом. Возможно, этот обычай

дошел до наших времен от сладострастных минойцев. Итак, я все еще мог оказаться в роли ее избранника; и если мое удовлетворение объяснялось окончательным торжеством над могущественным врагом, так и не побежденным мною на поле битвы, то все же оно было полным.

После завершения афродизианского ритуала я встал, оделся и немного поговорил с нею.

— Я не намерен посещать тебя снова, — сказал я ей. — Мои дела с тобой, проистекающие из моих дел с великим Мемноном, теперь закончены. Я буду считать тебя верно-подданной, пока не удостоверюсь в обратном. И я имею желание прислать тебе кошелек с сотней статеров золотом, чтобы ты имела запас на крайний случай, а также для оплаты за военное и всякое другое обучение сына Мемнона — чтобы не пропало то, что он, возможно, унаследовал от великого отца. Можно спросить, не назвали ли его тоже Мемноном?

— Так и есть, царь Александр. И спасибо тебе за щедрый дар.

— Пожалуйста. А теперь я оставляю твой дом.

— Удостою меня чести проводить тебя до галереи.

Я вышел, сел на Букефала и в сопровождении своей небольшой охраны вернулся во дворец. В нашей спальне я увидел Таис: возможно, она мирно дремала или, скорее всего, притворялась, что спит, за что, в любом случае, я был ей благодарен, зная, что женщины ведут себя странно, когда чувствуют себя брошенными. Я спокойно разделся без помощи слуги и занял свое место рядом с ней, легонько проведя губами по ее глянцевою плечу.

Утром я не заметил в ней никакой перемены в отношении ко мне, и, поскольку она не осмеливалась допрашивать царя, я решил, что вряд ли она когда-либо узнает о моем ночном приключении. Она сделала одно замечание, которое мне не показалось существенным.

— Жаль, царь Александр, что ты не разбудил меня, когда пришел прошлой ночью. Это последняя ночь перед теми тремя днями, когда у меня бывают... головные боли... двенадцатым, тринадцатым и четырнадцатым после начала моих «цветов», и я надеялась, что мы займемся любовью.

— Возможно, так было лучше. Я уладил одно давнишнее дело и здорово устал. Я не мог бы составить тебе подходящую компанию в эротическом союзе. Твой подсчет дней после начала цветения напоминает мне любо-



пытный и, возможно, очень важный факт, на который нам указывал Аристотель. Не думаю, чтобы он знал то, что известно тебе, что в те три дня матка открывается для оплодотворения, и, как правило, только в эти дни и ни в какие другие. Он, конечно, не читал об опытах учившегося в Египте мага, о котором ты мне рассказывала, но он заметил, что у нормальной, совершенно здоровой женщины месячный цикл длится ровно столько времени, за которое луна делает полный обход вокруг земного шара,— двадцать восемь дней с небольшим. К этому заключению после долгих исследований пришел один биолог, имя которого я забыл, хотя он и допускал, что исключениям из этого правила нет числа: одни вызываются простудами, другие — недоеданием, третьи — наследственностью. Он заметил, что в более примитивных племенах, например, в Африке, где женщины безмятежно трудятся на полях, и в одном очень древнем племени с множеством первобытных черт, которое обитает в горах между Италией и Галлией и называет себя басками, этот цикл остается почти неизменным. Когда он услышал о высоких приливах за Воротами Геракла, он с восторгом узнал, что их полный цикл, когда между двумя необычайно высокими приливами бывают приливы необычайно низкие, также равняется двадцати восьми дням с небольшим. Разумеется, эта схожесть в поведении между женщинами и Океаническим морем сильно возбудила его любопытство и побудила искать причину. Ничего удовлетворительного он не нашел, но наполовину в шутку предположил, что, должно быть, женщины были русалками до того, как стали жить на суше, и по какой-то непонятной причине ритм их тел остается верным ритму морей. Я полагаю, твой собственный месячный цикл — двадцать восемь дней.

— Я скажу тебе кое-что, чего ты не знаешь, потому что не замечал этого. Мои месячные начинаются в тот день, когда полная луна впервые начинает идти на убыль. Иногда на закате солнца, а иногда в полночь. Я могу только предполагать, что мои предки по женской линии дольше оставались русалками, чем у большинства женщин.

Я легко мог представить себе Таис в виде русалки, загорающей на камне: поблескивает чешуя на хвосте, она расчесывает свои длинные мокрые золотистые волосы морской раковиной.

— Ты хорошо плаваешь, Таис?

— «Хорошо» не то слово.

— А есть ли у тебя по отношению к морю какие-то особые чувства, спрятанные в глубине души?

— Когда я стою на берегу и гляжу на море после долгого пребывания на суше, у меня появляется такое чувство, что я снова вернулась домой. Может, потому я так переживаю за безопасность кораблей — из-за чего ты однажды пришел в ярость. Возможно, я не выношу открытого океана, который, по-моему, явился причиной смерти стольких моих братьев и сестер; а они, если в шутке Аристотеля есть крупица истины, были когда-то русалками и «русалами», и смерть их, следовательно, равносильна убийству детей своей матерью.

— Таис, жаль, что ты тоже не была ученицей Аристотеля. Его рассуждения дали бы столько пищи твоему тонкому уму.

— Мне бы не хотелось резать лягушку после того, как она так весело квакала под дождем, а тем более милую пташку или даже мышку. К тому же, царь Александр, если бы я посещала лицей в Афинах, а не школу для куртизанок госпожи Леты, вряд ли бы мы когда-нибудь встретились, особенно в обстоятельствах, благоприятных для таких отношений, как наши.

Теперь я был убежден, что у Таис не зародилось никаких подозрений в отношении происшедшего в середине ее месяца. В большинстве случаев она проявляла доверчивость. И в последующие четыре недели наши отношения, как мне казалось, достигли наибольшей степени близости. Она, похоже, пользовалась любой возможностью, чтобы поцеловать меня, и обижалась, если я уходил, даже ненадолго, без этого обмена нежностями. Я стал подумывать, что если смотреть фактам в лицо, а не позволять дурачить себя мальчишеским мечтам, то я, по всей вероятности, уже потерял Роксану навсегда. Ей теперь двадцать три года и вот-вот исполнится двадцать четыре, а поскольку ее отец настаивал на ее бракосочетании с Сухрабом в семнадцать, то она уже шесть лет как замужем и, скорее всего, нарожала ему детей. А кому еще принадлежит женское сердце, как не мужчине, с которым она зачала детей.

Сухраб насмерть забил плетью лошадь, проигравшую на скачках — а Роксана любила лошадей. Я, бывало, тоже был бы не прочь казнить военачальника, который проиг-

рал сражение из-за случайной халатности или по глупости, так что вряд ли стоило придавать значение тому, в чем она обвиняла Сухраба, и не исключено, что он стал ей строгим мужем, в котором она готова видеть своего кумира. Более того, я не мог забыть жизнерадостность Роксаны, ее храбрость, импульсивность, ее юную красоту. Она восхищала всех, кто ее знал: ее дядя, знаменитый маг, так восторгался общением с нею, что заручился им на четырехгодичный срок путешествия на запад и назад на восток. И мне всегда казалось, что царь Аида жаждет иметь у себя таких очаровательных людей, избранный цвет земли, и склонен забирать их молодыми в свое мрачное царство безнадежности под землей.

Да я даже не знал, жива ли еще Роксана. Мне так и не подвернулся случай поговорить хотя бы с одним бактрианцем — среди пленных, взятых в сражениях, их не было. Она могла отважно и беззаботно на своем пони, как тогда на могучем Букефале, въехать в раздувшуюся реку и погибнуть в бурном потоке. Ее со спутниками мог погresti под собой даже небольшой снежный обвал или земляной оползень в горах Гиндукуша. В таком случае мне бы хотелось сохранить при себе Таис до конца моей жизни, беря, конечно, молодых наложниц, когда она начнет стареть, но все же любя ее. И несмотря на отсутствие в ее жилах царских кровей, я, возможно, мог бы сделать ее своей царицей. Верно, она говорила мне, что не желает долго оставаться моей любовницей, но это, может, потому, что она хотела заставить меня больше дорожить ею, и я не сомневался, что смогу убедить ее изменить свое решение. И еще она сказала мне, что ни за что не хочет быть матерью моего ребенка. Если бы она не уступила, если бы я не возбудил в ней желания совокупиться со мной в одну из тех ночей, когда ее чрево открыто для зачатия, я бы, возможно, смог бы добиться своего хитростью — например, фальсифицировал бы календарь в какой-нибудь медленно тянущийся бесцветный период времени, когда дни с трудом поддаются счету. И уж если бы она забеременела, я бы не позволил ей сделать аборт, широко распространенный в Греции. Когда плод за несколько месяцев сжился бы с ее телом, особенно когда она почувствовала бы его жизнь, полюбив все его шевеления и толчки, как это бывает с беременными, она была бы рада своему раздувшемуся животу; а когда стала бы кормить его грудью, то

полюбила бы его глубокой и беззаветной любовью и в результате полюбила бы и меня. Ясно, что острое удовольствие, которое она испытывала в моих объятиях, и то, что мне казалось нашей растущей близостью, все это лишь на шаг отделяло нас от супружеской любви.

В течение трех недель, в подкрепление моих мечтаний, мы были счастливы как никогда. На четвертой неделе случилось нечто, снявшее розовую пелену с моих глаз. Один из самых доверенных моих слуг с чрезвычайной секретностью передал мне запечатанный свиток. Его не вскрывал ни один из моих секретарей с целью проверки, не докучают ли мне жалобами и нет ли там тарантула или какого другого смертоносного насекомого, или даже детеныша кобры. Очевидно, тот, кто посылал свиток, сумел внушить моему слуге, насколько важно для меня содержащееся в нем послание. А оно было следующим:

«Царю Александру Великому,  
Дважды Победителю над Дарием,  
Абсолютному Властелину Восточной Персии.

Приветствую тебя.

Я, Барсина, вдова Мемнона, считаю своим долгом поставить тебя в известность относительно истинного факта исключительно важного значения, который ты имеешь право и, по мнению твоей верноподданной, пожелаешь знать.

В ту ночь, когда ты посетил меня и мы возлежали вместе, я зачала. Подтверждение этому в том, что в должное время у меня не начались мои цветы, тогда как до этого много лет они наступали с той же регулярностью, с какой восходит солнце. С тех пор минуло две недели, и у меня появились другие признаки беременности, знакомые мне по прежним, которые повитухи считают верными знаками: например, зуд в сосках и сонливость.

Ты должен знать, что я с радостью буду ждать ребенка и возвращу его с той же любовью, что и других своих детей, и без твоего согласия не доверю никому тайну о том, кто его отец, а те немногие, кто знал о твоём посещении: мой брат и сестра да надежные слуги,— будут крепко хранить эту тайну.

Твоя послушная подданная  
*Барсина».*

Письмо это я прочел в полном уединении. У меня слегка закружилась голова, сильно забилося сердце — ведь это была действительно сногшибательная новость, которая в той или иной степени повлияет на всю мою жизнь на земле. Этот младенец, если роды пройдут успешно, будет моим первенцем. И тут же меня озаботила мысль: когда придет срок, я пошлю к ней лучших своих врачей, чтобы они помогли родам и обезопасили их.

И вдруг мне захотелось сжечь свиток, но я подавил в себе это далеко не лучшее побуждение, решив, что сохраню его среди своих самых личных бумаг как свидетельство, на тот случай, если когда-либо возникнут сомнения в отцовстве ребенка, и для историков после моей смерти. Так случилось, что в палате, где я обычно диктовал Абруту и писал письма матери, а иногда и другим близким мне людям, стоял персидский письменный стол, искусно сработанный и отделанный. Я чисто случайно обнаружил в нем секретный ящик под выдвижной панелью, которым и решил временно воспользоваться для хранения свитка.

Прошла примерно неделя. Однажды я поздно вернулся из лагеря, где инспектировал нашего интенданта. Уже несколько недель ходили слухи, что в глубине Персии ведется массированный набор в армию, и эта сводка почти столь же определенно, как и предсказание оракула Зевса-Амона, обещала новое сражение с Дарием. На сегодня у меня скопились уже десятки таких сообщений отовсюду, куда я послал своих шпионов. И не оставалось никаких сомнений, что собирается и обучается огромнейшая в мире армия. Тяжелые потери, понесенные Дарием на Гранике и в Иссе, не сильно отразились на количестве молодых мужчин обширной империи, лежащей к востоку от Таврских гор и узкой прибрежной полосы, завоеванной мною на нашем Внутреннем море. До сих пор война охватывала только Эгейское море, Малую Азию и южный берег Эвксинского моря. За ними лежали основная часть Сирии, Кавказ, Месопотамия, Ассирия, обширная область Каспийского моря, Мидия за Персидским заливом, Парфия и такое множество других когда-то великих царств, что от их перечисления у меня болела голова. И я намеревался захватить их все. Напрашивался вопрос, уж не сошел ли я с ума.

Таис встретила меня в большом зале, взяла за руку и повела в довольно маленькую, но роскошно обставлен-

ную интимную комнату. Я заметил на ней один из самых лучших халатов и на изящной шейке — нитку жемчужных бус из Аммада. В волосах ее поблескивали другие жемчуга того же размера, поднятые со дна Персидского залива. Их она связала нитью только сегодня вечером и обвязала вокруг головы в классическом эллинском стиле. Голос ее был глубоким и теплым, на лице сияла улыбка, блестели глаза.

Пока мы потягивали светло-золотистое вино Лаконии, я передал Таис кое-что из полученных сегодня новостей.

— Остается только гадать, где и когда точно произойдет сражение, — толковал я ей. — Я постараюсь выбрать место и время, но у напавшего на чужую страну почти всегда мало на это шансов, а дело мне предстоит посерьезней всех прежних.

— Какое это имеет значение? Ты всегда побеждал и будешь побеждать. Можно мне снова наполнить твою чашу, царь Александр? Кувшин от меня недалеко, и к тому же для меня будет большой честью налить ее собственной рукой.

— Спасибо, Таис. Но как тебе могло прийти в голову, что если боги были ко мне благосклонны до сих пор, то так будет и впредь? Все наши знаменитые теологи отмечали их переменчивый характер. Зевс, если сможет, будет поддерживать меня даже против воли своей сестры и жены Геры, но ей то и дело удастся перехитрить его, когда он погружен в какой-нибудь могучий замысел. И, рассуждая практически, что всегда предписывал нам Аристотель, конечно же, персы извлекут урок из прежних ошибок. Армия Дария будет лучше обучена, более сплоченной; возможно даже, он заменит своих родственников в высшем командном составе на опытных вояк с деловой хваткой типа Пармениона. Не забывай и то еще: на мне нет Ахиллесовых доспехов, все мое тело целиком уязвимо, не только пята. Метко пущенный дротик или стрела, удар копья или кривого персидского меча — и моя жизнь на земле будет окончена. Это в конце концов случится и положит конец моему походу на Восток, сорвет мои широкие честолюбивые замыслы, и моим завоеваниям будет далеко до завоеваний Ксеркса, Дария Великого и многих других полководцев.

— Я допускаю такую возможность, царь, хотя это и кажется невероятным. Мне невыносима такая мысль, как

я говорила тебе еще раньше в новорожденной Александрии.

Мне показалось, что выражение ее лица слегка изменилось, хотя я и не понимал, в чем дело.

— А разве это не было бы печально — мрачной шуткой богов, может быть, — если бы ты вдруг умер, не оставив сына, который бы носил твое имя?

Я неторопливо отхлебнул вина, притворяясь, что задумался над этим обстоятельством. Я не смотрел на Таис, она на меня — тоже. Казалось, она погрузилась в свои мысли.

— Тогда, Таис, роди мне сына, чтобы уменьшить эту опасность.

— Первое право носить твое имя будет иметь твой первенец, — медленно проговорила она. — Возможно, он уже родился и ты не сказал мне об этом, или какую-нибудь другую женщину, занимающую более высокое положение, чем мое, уже воспламенило твое семя.

— У меня нет ни одного ребенка на свете.

— Это, царь Александр, звучит двусмысленно.

— Что напоминает мне об одном или двух ответах на мои вопросы, обращенные к оракулу Зевса-Амона. Ведь эти ответы были точно так же двусмысленны.

— Ты настаиваешь на своем желании? — спросила она после долгого молчания.

— Это мое право, если я желаю.

— И ты этого желаешь? Бедь ты же Александр Великий, а я всего лишь Таис, твоя любовница, бывшая куртизанка.

Да, я был Александром Великим. Уже во всей Европе и Западной Азии я сильно отличался от других Александров, многие из которых были могущественными царями. По правде говоря, еще когда удлинялся мой подбородок, я догадывался о своем величии, по крайней мере, о своем превосходстве во многих отношениях над всеми, с кем я встречался; и даже у Аристотеля голова не работала так быстро и уверенно, как у меня. Но в то время об этом другие только смутно догадывались; требовалось доказать это не менее чем великими достижениями. Кое-что было уже позади. Я нанес Дарию два крупных поражения при значительном численном превосходстве его армии над моей, и я первым завоевал Тир. Чувство величия волной поднялось в моей душе. Появилась уверенность, что я в третий,

и в последний, раз разобью Дария, как предсказал мне великий оракул. И все же меня беспокоила одна маленькая деталь: что, если каким-то образом Таис проникла в мою тайну, а коли так, как она себя поведет? В моей личной жизни пустяк ли это или нечто неизмеримо важное? Однако я оставался Александром. Я не мог спастись перед Таис, как и перед военной мощью всей Персии.

— Это не имеет значения, — ответил я наконец. — Если хочешь задать мне вопрос, я честно отвечу на него.

— Ты делаешь мне величайшее одолжение. Я все же до конца не рассчитывала на это, несмотря на твое величие, которое я полностью признаю и вижу отчетливей, чем кто-либо из прочих смертных, ведь я знаю тебя лучше других.

Ее глаза встретились с моими, и в комнате стало как-то необычно тихо. Я отчетливо различил звук обычно почти неразличимый — звук медленно текущей струйки воды в часовой склянке, стоящей на столе возле дальней стены. Она, возможно, говорила мне, что этот час для меня роковой.

— Да, царь Александр, я, Таис, твоя до сей поры любовница, желаю задать тебе, мой господин, один испытующий вопрос — непристойный, когда он обращен к царю.

— Не заботься о пристойности. Но почему ты говоришь «до сей поры»?

— Потому что я не уверена, что наши прежние отношения уже не пришли к концу.

Я пожалел, что не знаю Таис так же хорошо, как она меня. Я бы тогда знал, есть ли хоть малейшая опасность того, что наши отношения прекратятся, как бы я ни ответил на ее вопрос. Мне такое казалось почти невозможным. Я был Александром, она — всего лишь Таис. Моему имени предстояло прогреметь в истории; ее же, если и будет известно, то только благодаря тому, что оно было связано с моим. Она уж и теперь была широко прославлена как моя фаворитка. Эта слава быстро поблекнет, если мы расстанемся. Сейчас она занимала высокое место; но было ли хоть в малейшей степени возможно, чтобы она сошла с него вниз из-за того, что я сделал — что делали все цари: мой отец Филипп, Дарий, женатый на прекраснейшей женщине Персии, — да, в общем, все известные истории цари, то есть делили ложе с другими женщинами помимо их жен или возлюбленных? Это считалось одной из при-



вилегий царей, той же самой, которой пользовались боги. Никто этому не удивлялся, никто не сомневался в правильности такого положения дел. Я был вполне уверен, что если отвечу на ее вопрос, который представлял себе не только в общем смысле, но и в полном словесном выражении, и ее гордость слегка будет задета, то боль скоро пройдет.

— Задавай свой вопрос, Таис, если в этом состоит твое желание.

— Это не мое желание. Мне его навязывает моя природа, при условии, что ты услышишь и ответишь на него, как ты уже согласился сделать.

— Спрашивай — и покончим с этим.

— Существует ли женщина, воспламененная недавно твоим семенем?

— Да.

— У меня есть причина полагать, что это Барсина, вдова знаменитого Мемнона.

— Да, это она. Но она обещала мне, что не доверится никому, и я поверил ей. Наверное, ты наняла шпиона.

— Не обвиняй меня, царь Александр, в такой низости. Барсина тоже не нарушала своего слова. Я узнала правду благодаря случайности. Но мне было просто необходимо услышать это из твоих собственных уст.

— Как же ты узнала это, Таис?

— В этом дворце, царь Александр, много людей, не чистых на руку. Так всегда бывает, когда много слуг, а дорогие вещи не спрятаны как следует или не хранятся под замком. Я не осуждаю этих воришек. Если бы я была рабыней и могла купить себе свободу за небольшую сумму золотом и это золото можно было бы взять так, чтобы о нем не спохватились и не обвинили меня в краже, я бы тоже крала. Винить надо не их, а беззаботность их хозяев и хозяек, которым следовало бы быть более осмотрительными и лучше понимать человеческую натуру. У меня есть несколько дорогих украшений, которые ты подарил, когда был особенно расположен ко мне. Я не знала, где их спрятать, пока моя важная служанка Вера, стирая пыль с мебели в одной из твоих комнат, не наткнулась случайно на пустой ящик под выдвижной панелью в старинном письменном столе. Когда она увидела его в первый раз, он был пустой. Сегодня я дала ей эти знаки твоей любви и велела положить их в тот

ящик. Когда она его открыла, в нем лежал свиток. Она не разворачивала его, а принесла мне — и твои дары тоже. Печать на свитке была сломана. Женщина — существо любопытней, чем ворона, поэтому я, преодолев угрызения совести, развернула его и прочла.

— И теперь злишься. Если бы ты понимала...

Она прервала меня, что случалось крайне редко в наших отношениях:

— Я понимаю, понимаю. Возможно, даже лучше, чем ты сам. Я знаю, что у тебя нет никакой преступной страсти к Барсине. И вовсе не злюсь. Только я знаю, что ты нарушил данное мне слово. Я обещала оставаться твоей любовницей, если ты будешь хранить мне верность — в том смысле, что не вступишь в физическую связь ни с кем, кроме меня. И заметь, царь, я была тебе верна.

— Я это знаю.— Говоря, я все еще слышал, словно эхо, ее голос, звучавший у меня в мозгу. В нем не было обвинительных ноток, никакой страстности. Еще никогда она не говорила так спокойно. Но на спокойном ее лице лежала глубокая печаль, глаза потемнели.

— Надеюсь, я могу продолжать. Царь Александр, не в моей природе оставаться верной одному любовнику, иначе я бы не выбрала карьеру куртизанки. Нет, я не жажду объятий других мужчин. Я бы не звала их ради того, что дают они,— мне важнее, что даю я. Боги наделили меня красотой. Мне нужны мужчины, возбуждающие меня и потому способные получить мой дар красоты, пить глубоко из этого источника. Я могу сделать только одно сравнение — с художником, который, нарисовав прекрасную картину, хочет, чтобы на нее глядели все, кто способен оценить эту красоту. Мои губы мягки и гладки, кожа шелковистой самого шелка, запах моего тела кажется сладким для любителей прекрасного. Касаться меня, целовать, ощущать мой запах, вкус моего тела — это чудесно. Даже мой голос, мягкий и мелодичный, называют прекрасным. Жизнь коротка. Такая красота, как уже теперь очевидно, скоро увянет. Потом только художники и люди с особо изысканным вкусом различат в ее остатках ту красоту, что они видят в старой попорченной статуе, в потускневшей картине, в обезображенном лице из мрамора с отбитыми кусками. Тем не менее я стала твоей, желая быть верной тебе, пока ты ценишь меня в достаточной мере, чтобы быть верным мне. Этого, думала я, хватит на

несколько лет — до тех пор, пока твое растущее тщеславие не превратится в эгоманию, а то и в мегаломанию\*, и для тебя ничего не останется в мире, кроме собственной славы. Я поверила твоему обещанию верности. И в данном случае причина твоей неверности заключалась не в том, что ты встретил более красивую женщину, чем я, а в низменном желании отомстить вдове твоего мертвого врага. О Барсине мне кое-что известно. Она сохраняла верность памяти своего замечательного мужа, и может, это кажется глупым, но такова ее натура. Каким-то образом ты заставил ее подчиниться себе. А потому, царь Александр, я больше не могу оставаться твоей. Я сегодня же покину твой дворец и найду себе какое-нибудь другое жилье или уйду сразу же после рассвета, но буду спать в отдельной комнате.

Я не мог ничего возразить. На нее не подействовали бы никакие угрозы, никакие обещания верности в будущем. На этот раз я оказался неспособным не только действовать, но и говорить. Я потерпел поражение.

Мы сели рядом, не говоря ни слова, моя рука незаметно оказалась в ее ладонях, и она тихонько сжала ее.

После долгого молчания я, царь, смиренно задал ей вопрос:

— Может, скажешь мне, что ты теперь собираешься делать?

— С удовольствием. С твоего позволения, я останусь сопровождать твою армию. Но я поеду не в коляске позади тебя с твоими гетайрами, а в повозке, среди сопровождающих армию гражданских. Многие из твоих соратников погибнут, когда ветви станут снова ронять листья. Если кое-кто из них будет искать моего расположения, если они молоды, смелы и сильны и смогут меня взволновать и разбудить во мне страсть, которая так легко возбудима, я не буду им запрещать этого. Я возьму пять статеров золота с каждого, что для сопровождающей армию женщины высокая цена. Среди тех, кого я буду развлекать, если он этого пожелает, твой сводный брат Птолемей. Ты ведь знаешь, мы с ним провели ночь в Афинах, и он вполне оценил, чего я стою.

— Таис, если ты ляжешь с Птолемеем, я твердо знаю, что убью вас обоих.

— Эта угроза не удержит меня. Не думаю, что она отпугнет Птолемея. Он знает, что как мужчина имеет право

на сожительство со мной теперь, когда я больше не твоя фаворитка, а он — большой человек.

— О, великий Зевс! Я, который дважды победил Дария с его несметным войском, терплю поражение от молодой особы, могучей своей таинственной красотой! Беру назад свою угрозу. Ей приличествовало бы звучать только на устах сына бога, потому божественного, а это еще не доказано осуществлением моего богоподобного замысла, хотя в душе я целиком в это верю. Негоже звучать ей на устах просто великого царя. У меня есть еще одна просьба, а не приказ. Я хочу, чтобы ты все-таки ехала в экипаже за мной и моими славными друзьями. Ты должна быть отделена от армейских спутниц, потому что отдаешь тем, чьи принимаешь объятья, не только свое тело, но и ум, и душу. Ты знаменитая куртизанка высшего класса, ты не только проститутка, но и мастер развлечений. Прими экипаж и это место в колонне как знак моей благодарности за то, чего уже не вернуть. Ты понимаешь, в чем тут смысл, ты согласна на это?

— Я не уверена, что вижу в этом смысл, мой царь. Многие из сопровождающих армию — честные проститутки, старающиеся доставить своим гостям как можно больше удовольствия. И все же я благодарна тебе за твою щедрость и заботу.

— Еще один деликатный вопрос. Мне трудно выразить его в словах. Что, если я возжду тебя и приду к тебе в поисках ночного развлечения, наслаждения и восторга соития с тобой? Ты мне не откажешь?

— Я не откажусь от твоей благосклонности, если такое будет случаться с тобой, царь Александр, и не откажу тебе в своей. Но ты не должен приходить ко мне — это было бы недостойно царя. Просто пошли за мной одного из своих слуг, и я приеду в подаренном тобой экипаже. А утром вернусь назад. Буду рассчитывать, что ты дашь мне десять золотых статеров, — я ведь должна как бывшая фаворитка царя жить с некоторой изысканностью. А что касается того, права я буду или не права, принимая тебя, то наш союз разорван и мне нет дела до того, какие там еще другие женщины приняли тех, кто пришел ко мне. Я не связана с этими мужчинами, как и они со мной, никакими контрактами. Почему я должна допустить, чтобы нас навеки разделило нарушение тобой нашей договоренности, столь свойственное твоей натуре? Я помню, как

ты ласкал меня, Александр. Даже Птолемей не дарил мне такого наслаждения, как ты, и именно тебе, и никому другому, давала я так много счастья. Я больше никогда не вступлю с тобой в соглашение, потому что не верю, что ты его вновь не нарушишь. Но надеюсь, ты пошлешь за мной, когда почувствуешь во мне сильную нужду — и ты проведешь блаженную ночь, купаясь в моей красоте. И для меня это будет большая честь.

— У меня еще один вопрос. Я вижу, что наш союз, который приносил нам столько счастья, разорван навсегда. Но сегодня вечером ты мне очень нужна. Я приглашаю тебя, свободного человека, провести ночь не в чужой постели, а в моей. Перед этим мы устроим праздник, ты сыграешь на лире чудесную музыку, я услышу мелодию твоего голоса, потом предъявлю ночные права на тебя и твои ласки и дам тебе не десять статеров, а пятьдесят. Ты принимаешь мое предложение? Умоляю тебя, согласишься.

Ее глаза наполнились слезами.

— Бедный Александр, — проговорила она. Таким тоном она говорила со мной второй раз. Я бы не потерпел его ни от кого другого, если бы только не лежал, побежденный или больной, возложив голову на грудь женщины, которую любил больше самого себя. — Ты разбиваешь мне сердце, когда говоришь «умоляю». Сегодня как раз одна из тех ночей, когда мое чрево открыто и я могу забеременеть, но я рискну. Я буду на эту ночь твоей подругой — хотя почему бы и не возлюбленной?

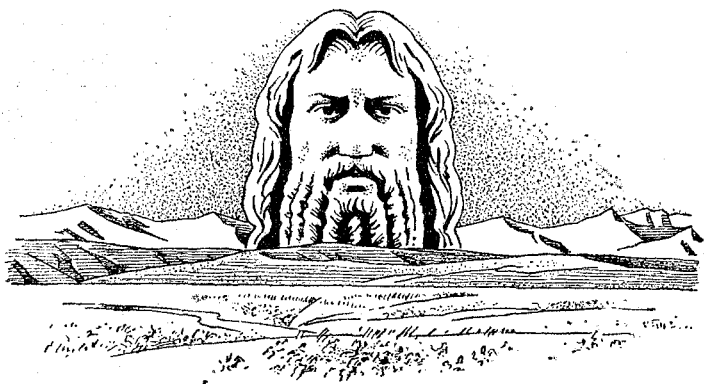
Итак, это произошло. Она пела мне старые, уже слышанные мною песни, но они никогда прежде не звучали так чудесно в моих ушах и никогда еще ее лицо не было так прекрасно какой-то загадочной, печальной, не поддающейся определению красотой.

После ужина она обнажила свое дивное тело, а я обнажил свое, и мы легли рядом, лаская друг друга. Мы оба пришли в такое сильное возбуждение, которого прежде до соития никогда еще не испытывали. Когда ожидание стало невыносимым и мы соединили наши тела в эротической любви, накал страсти достиг такой остроты, что наш экстаз перешел за грань физического, возможно, оттого, что с ним переплелась великая печаль — не лично наша, а печаль самой жизни, подспудно живущая в каждом часе нашего пребывания на земле, ощущаемая каждым человеческим сердцем, от которой свободны только боги; и не

сам ли человек создал этих богов в своем тоскующем воображении, с тем чтобы можно было верить в вечное счастье, в коем ему отказано. Достигнув высшей точки нашего соития, мы оба заплакали.

Придет срок, и я высеку на камне изречение, которое слышал когда-то, не помню от кого — изречение, которое, по-моему, невероятно прекрасно и вместе с тем невероятно печально, ибо истина в каком-то непонятном нам смысле есть красота. В нем выразилась ужасная беда человечества:

**«КАЖДЫЙ ЧАС РАНИТ,  
ПОСЛЕДНИЙ ЧАС УБИВАЕТ».**



## Глава 6

### ГИБЕЛЬ ПЕРСИДСКОЙ ИМПЕРИИ

#### 1

Пока мы находились в Дамаске, меня одолели некоторые заботы в отношении друга моего детства Гарпала. Врожденная косолапость тенью ложилась ему на душу, отсюда ему не хватало самоуверенности, на которую он имел право, обладая быстрым и ярким умом. В Роще Нимф он был одним из лучших учеников Аристотеля, часто первым находил ответы на поставленные учителем задачи, оставляя нас всех в дураках. Мне кажется, уродство сказывалось на его здоровье. Скорее всего, это происходило от беспокойства и подавленности настроения, чем от физической хрупкости — он часто бывал нездоров. Временами он пытался мстить за причиненные ему богами страдания, проявляя неоправданную жестокость, часто бывал непомерно обидчив. Он, похоже, переоценивал наше внимание к его увечности: в действительности мы свыкли с ней настолько, что зачастую совершенно ее не замечали; ему же казалось, что мы только и смотрим на его ногу.

Он умел быстро считать, и я назначил его казначеем, подчиненным только мне одному, но он все еще не был государственным казначеем. Я не послал его с Парменионом для захвата обоза Дария, идущего в Дамаск, накану-

не сражения при Иссе, и он впал в мрачное раздумье, а затем совершил нечто похожее на дезертирство. Его без труда догнали и, если бы не наша детская дружба и его увечность, то без промедления судили бы и предали казни. Вместо этого я поговорил с ним и убедил его снова стать моим верным сподвижником.

Чтобы еще больше успокоить его, я назначил его на пост государственного казначея Македонии и поручил его опеке громадные запасы богатств, накопленных в Дамаске.

В тот же самый период времени я пополнил наши интендантские запасы — в основном зерном, а также сушеной говядиной и бараниной с равнин и рыбой, слегка подсоленной и вяленой на солнце — ценный предмет торговли поморов с городами, лежащими в глубине континента. Даже мысль об этих рыболовецких флотах с их смелыми, стойкими экипажами наводила меня на воспоминание о почти потерянной Таис, как с горящими глазами она говорила о них в тот день, когда на месте строительства Александрии я снизошел до чудовищной глупости.

Выступив на север из Дамаска, мы шагали по богатой, густо населенной территории\*. Заходя в ряд городов, включая Алеппо, известный изготовлением высокопрочной стали, где был выкован и мой собственный меч, получивший от меня прозвище «рубака». Отсюда мы по караванному пути на Восток, к правому, или западному, берегу реки Евфрат. Так мы впервые вступили во внутреннюю Персию.

Я боялся Евфрата. Мои разведчики все еще не обнаружили войска Дария, и, несмотря на сведения, собранные моими лазутчиками и доставленные мне гонцами или, точнее сказать, подкупленными караванщиками, которых мы встречали на пути, я не знал его точного местоположения. Согласно нескольким донесениям, он расположился громадным лагерем в пустыне, недалеко от поселения, известного под названием Арбела, где жили в основном дорожные рабочие. Однако, если бы я был его доверенным лицом, я посоветовал бы ему выступить тайком и внезапно напасть на нас во время нашей переправы по старому мосту через эту могучую реку.

Этот мост сильно пострадал от персидских беженцев из Иссы, но не обрушился. После того, как мои разведчики



после тщательного обследования противоположного берега не обнаружили никаких признаков вражеской армии, я послал для ремонта моста отряд строителей с хорошей охраной. Они заметили за рекой довольно много персидской конницы, и мои люди опасались, что она может переправиться и напасть, но это была только конная разведка, которая быстро умчалась назад. Вскоре я узнал, что персы подожгли поля и житницы на обширном пространстве, а всех молодых мужчин, оказавшихся под рукой, забрали в солдаты, чтобы пополнить и без того уже чудовищно громадную армию Дария. Мы легко переправились через реку и повернули на север, в ту часть Месопотамии, где климат был попрохладней.

Однако продвижение наше замедлялось тем, что приходилось умиротворять или захватывать лежащие на нашем пути укрепленные города, чтобы нам не досаждали с флангов и тыла. С другой стороны, эта дорога позволяла нам сэкономить наши запасы зерна, так как мы шли через область, известную своей питательной пшеницей — лучшим походным фуражом, уступающим только мясу и рыбе. В это время года стояла засуха, и нам приходилось держаться ближе к холмам, переправляясь через малые реки и ручьи, которые утоляли жажду моих потных соратников.

Я опасался реки Тигр, текущей ближе к морю примерно параллельно Евфрату\* и бок о бок, словно они были сестрами, которые родились далеко друг от друга на севере и, одинаково выходя из ущелий, извергались в Персидский залив. Эту реку нам предстояло перейти вброд, несмотря на ее ширину и быстрое течение. На Евфрате удача нас не покинула, но можно ли было предполагать, что она не изменит нам и на Тигре? Когда моя небольшая армия окажется посреди переправы, один хороший налет конницы врага, пока его лучники со скифскими луками будут спокойно целиться в плывущих и конных, вполне вероятно, может привести к нашему разгрому. Если мне с несколькими соратниками удастся остаться в живых, я уже не смогу собрать в Греции или еще где-нибудь новую армию и моя звезда закатится навсегда. В отличие от Дария я не мог, потеряв две армии, найти на обширных территориях человеческие ресурсы для третьей.

Но мои разведчики видели только вражескую разведку, и донесения теперь не оставляли никаких сомнений, что

войско персов действительно стоит лагерем около Арбел, ближе к деревушке Гавгамелы.

Дарий не поднял руки, не отдал приказа остановить нас. Это так удивило меня, что я посоветовался с Птолемеем, чья голова варила лучше всего под моим началом, тогда как моя собственная не всегда была в моей власти.

— Он не только не воспользовался двумя прекрасными возможностями, — объяснял я другу детства, — но дал нам спокойно пройти всю ширь Месопотамии. Он мог бы послать кавалерию, чтобы напасть на наши лагеря ночью, перебить нас одного за другим из засады и устроить ад нашим флангам и тылу. Что удержало его руку?

— Меня тоже это удивляет, — отвечал Птолемей. — Судя по тому, что мы знаем о Дарии, он упрям, медленно усваивает уроки, но если что-то усвоил, то стойко держится этого, даже себе в ущерб. Он дважды потерпел поражение, неудачно выбрав поле битвы. Теперь он считает его чрезвычайно удачным: просторное место, в основном горизонтальное, его легко выровнять для езды на колесницах, в которые он так верит. Он сидит там, как статуя, на своем пьедестале. Никто не может убедить его двинуться: ни родственник, ни сатрап, ни военачальник. Кроме того, он, возможно, дожидается прибытия пополнения из отдаленных областей империи, чтобы его войско раздулось еще больше.

— Если так, то это единственное, чего ему не следует ожидать, ведь, по нашим донесениям, даже если они наполовину врут, его армия уже чересчур велика.

— Персы живут в большой стране — и мысли их велики, а иногда туманны и неповоротливы. Если одна наложница — это хорошо, то десять — лучше, а сто — еще лучше. Сам царь — очень крупный мужчина, выше пяти локтей, это точно — просто великан, и к тому же царь гигантской империи. Значит, его армия тоже должна быть гигантской. Не думаю, что у него есть какая-то стратегическая идея. Его военачальник Бесс имеет славу отличного стратега, Мазей тоже, но он их не слышит. Царь Александр, если тебя когда-нибудь окружит такая стена придворных, что сквозь нее к тебе не смогут пробиться голоса твоих военачальников, я уйду со своего поста.

Это, должен признаться, была бы очень тяжелая потеря. Так же, как и потеря старого, покрытого боевыми

шрами Пармениона, до вступления в битву осторожно, как волк, а потом храброго, как лев. Он учился только на опыте, от него нельзя было ожидать внезапных непродуманных действий. Поэтому мне вновь и вновь приходилось отклонять его предложения. У меня было несколько начальников, хорошо разбирающихся в тактике, и все без исключения умели прекрасно руководить солдатами. Под моим руководством они составили отличный штаб, проверенный во многих сражениях. А Дарий, за исключением двух упомянутых Птолемеем начальников, не располагал военным штабом, стоящим внимания.

— Первые египтяне тоже имели страсть к большим величинам, — размышлял Птолемей. — Представь себе Великую Пирамиду — что за жилище для одного бедного маленького мертвеца с богатыми украшениями, жертвенными рабами, едой и напитками и так далее, и так далее. Тебе не кажется, что они той же крови, что и персы?

— Не думаю. Персия была заселена племенами кочевников. А египтяне, похоже, туземные жители долины Нила.

Я разговаривал с ним учтиво и помнил наше совместное детство, но в моем сердце тлел красный уголек ненависти, возможно, оттого, что он вступал в сношения с моей утраченной прекрасной Таис и, несомненно, делает это снова. Я же не мог этому помешать иначе, как убив его или ее.

Здесь, на севере, мои застрельщики захватили группу персидских разведчиков, которых мы заставили рассказать нам все, что им известно о передвижениях и планах Дария. У моих военачальников челюсти отвисли, когда они услышали, что армия царя намного больше, чем при Иссе и Гранике, и с каждым часом раздувается, как ядовитый гриб. Но это обеспокоило меня не так сильно, как то, что в целом его войска лучше обучены, чем прежде, и в основном находятся под командованием начальников с именем и славой. Похоже, слишком явно сбывалось мое пророчество в разговоре с Таис.

Никем не потревоженные, мы подошли к броду на реке Тигр, достаточно глубокому, чтобы замочить подгрудники у крупных месопотамских волов. Я принял все меры для безопасности переправы не только ради спасения множества людей, но также ради поддержания у солдат

ысокого духа, который упал бы, если бы они видели уносимых рекой товарищей или их выловленные из течения безжизненные мокрые тела. Всадники выстроились в ряд вдоль берега и образовали еще один ряд, ниже по течению, чтобы помочь оступившимся пехотинцам. Когда переправа закончилась без единой потери, вся моя армия разразилась мощным криком ликования.

Во время этой передышки мы наблюдали затмение луны. Меж солдат пошла ходить история, фактически почти не имеющая под собой основания, что луна, которая для персов была Астартой, по какой-то неочевидной причине особо священна для Дария и это служит знаком того, что его войска вскоре также окажутся в затмении. С другой стороны, затмение солнца наверняка пробудило бы суеверные страхи. Я, как бывший ученик Аристотеля, точно знал, что является причиной затмения: тень Земли отбрасывается Солнцем на Луну, когда Земля и ее спутник стоят с ним точно в один ряд. Это событие довольно обрадовало меня, так как греческие и превосходящие их в знаниях и опыте египетские и персидские астрономы иногда могли предсказывать затмения за две недели вперед и пунктуально отмечали время их наступления. Значит, дата предстоящего скоро крупного сражения останется вписанной в анналы истории на все времена, а ведь иначе в суматохе лет и вечно меняющихся календарей она могла бы потерять свою определенность. Это произошло за день до осеннего равноденствия, после моего двадцать пятого дня рождения, в двадцать шестой год от Александра. Я подумал, что эта байка, подбодрившая солдат, родилась в изобретательном мозгу Птолемея. Во всяком случае, она распространилась подобно лесному пожару, и я приказал нашим толкователям, чьи предсказания не всегда бывали толковыми, пройти через фокус ритуального проникновения в смысл данного явления и дать ему истолкование.

Тем временем я воздвиг алтари и принес жертвы как Солнцу, так и Луне, а также абстракции, которую мы называли Ге, включающую в себя Солнце, Луну и Землю. «Аристотеля,— подумал я, усмехаясь,— не увидели бы за приношением жертвы Аполлону, или его сыну Гелиосу, или Селене-Луне, но к Ге он относился с явным пристрастием: для него это означало всю Природу в целом.

Отсюда мы двинулись по большому торговому пути, веками служившему маршрутом для караванов и армий царей, купцов и больших партий рабов, и каждый шаг его был орошен кровью и потом. Он проходил по пустынной области с редким кустарником, где обитали несколько львов, изредка встречающиеся стада газелей и небольшие грызуны, служившие пищей для множества змей. Однако один историк в нашей среде, который умел читать на древне-авестском и персидском языках, говорил, что когда-то это место было районом охоты великих ассирийских царей, таких, как Шалманезер I, которые охотились не только на львов, но и на зубров и слонов. Его рассказ подтверждали остатки фундамента какого-то сооружения, которое могло бы быть царским охотничьим домиком, и самое большое из упомянутых животных нуждалось в изобилии густой травы, а львы, в количестве заслуживающем внимания охотников, не могли бы прожить без множества травоядных.

Кто знает, может, эта земля подверглась проклятию Зевса, который обделил ее своими дождями, и плодородная область стала пустыней.

Мне нравилось размышлять над такими далекими от реальной жизни вопросами, чтобы временами дать отдохнуть голове от мыслей о предстоящих событиях следующих нескольких дней. Мы приближались к персидскому войску, и спустя три дня после равноденствия моя разведка донесла, что видела отряды вооруженных всадников. Это тоже были застрельщики, недалеко оторвавшиеся от главных сил армии, поэтому теперь нам приходилось двигаться медленно, колоннами, которые можно было быстро и легко построить в боевые порядки. Тем временем я со своей охраной и подкреплением из всадников поскакал вперед. Букефал был в прекрасном настроении — возможно, потому, что чуял множество коней, а возможно и потому, что по моему собственному возбуждению чувствовал близость сражения.

Мы взяли пленных из персидских застрельщиков и от них узнали, что Дарий стоит лагерем у Арбел и уже выбрал поле сражения, на котором определенно собирается разбить и окончательно уничтожить мою мизерную армию. Я не мог поверить цифрам количества кавалерии и пехоты, которые называли наши пленные, но сомнений не оставалось, что Дарий собрал крупнейшую в человеческой

истории армию. Мы стали лагерем в шестидесяти стадиях от персов, и наши гражданские, в основном рабы, укрепили лагерь валом, окружившим глубокий ров и частокол. Ему предстояло стать нашим лазаретом, местом содержания пленных и хранения нашего багажа и добычи. Теперь мои солдаты могли идти в бой только с оружием и щитами, не обремененные посторонней ношей.

Мы отдыхали четыре дня, и Дарию приходилось ждать, ибо он поклялся больше не оставлять выбранное им благоприятное поле ради такого, которое давало бы преимущества моей небольшой, компактной армии. У меня оставался один выбор — времени начала сражения. Решение это я намеревался принять осторожно.

Лазутчики приносили мне донесения чуть ли не ежеминутно. Полный решимости уничтожить наглых захватчиков, Дарий набрал воинов со всех обширных земель своей оставшейся части империи. Единственная очевидная слабость его войска заключалась в разношерстности его состава. Сатрапы и подчиненные цари прислали ему большое пополнение со всех сторон света. Зоркие лазутчики узнали варваров с севера; лихих всадников, наверное, из Бактрии и Согдианы; высоких светловолосых горцев, называемых родовым именем кафры, с верховий реки Кунар на Гиндукуше; мидян и парфян; воинов со светло-рыжими бородами, похожих на кельтов из далекой северной области Оксиан\*; лучников из Парфии, которые, отступая, делают внезапные остановки, осыпая противника смертоносным градом стрел; и тощих, высоких, загорелых воинов, фанатичных в бою, едущих верхом на верблюдах или быстроногих остроухих лошадях. Больше всего беспокоило меня подразделение не людей, а животных. Это не были военные псы, применяемые на самых западных островах Тин, а отряд из пятнадцати слонов, частично защищенных броней, высотой в восемь-девять локтей. Наездники сидели у них на шее с заостренным металлическим стрекалом в руке, а в огороженной площадке на месте седла с балдахином воины с тюрбанами на головах держали в руках луки со стрелами или длинные копья.

Военачальникам было хорошо известно, что конники не могли противостоять слонам без того, чтобы их лошади не вышли из повиновения. Запах слонов, издаваемые ими то мощные трубные, то резкие высокие звуки, их колос-

сальные размеры, их бормочущий разговор между собой наводили на лошадей панический ужас.

Они были из Индии. Поскольку они не могли перевалить через Гиндукуш, им дорогой сюда, должно быть, послужили горные проходы под Кабулом. Из тех же мест прибыли и чернобородые воины в тюбанах, кожаных плащах и мешковатых брюках под названием «патан», вооруженные кривыми мечами; а также очень крупного роста светлокожие воины из Раджпутаны и Пенджаба. Из-за Оксиана прибыли кочевники, не подчиненные царю, с очень опасным оружием — луками из рога и слоновой кости, стреляющими в позиции, противоположной нашим лукам, и на невероятно большую дальность.

В основном эта огромная армия была вооружена широкими мечами и копьями длиннее, чем те, которыми персы сражались при Иссе. Дарию тот урок пошел на пользу, как, возможно, и другие тоже; но, размышляя над его силой, стараясь не преувеличивать его слабости, я нашел, что его поведение не поддается объяснению: он не напал на нас на Евфрате, не мешал переправиться через Тигр и сейчас не тревожит наши сторожевые заставы, не устраивает демонстраций, чтобы заставить нас перестраивать боевые порядки и лишать нас нормального сна.

После тщательного осмотра всего оружия и доспехов мои начальники выдали солдатам усиленный рацион питания и разрешили им отдыхать с наступлением темноты до полуночи, затем трубач проиграл мою команду выступить. Как только рассвело, мы ступили в поле зрения противника, построившегося в каре, еще не виданные ни на одном поле сражения. Ясно, что они стали в эти порядки до рассвета, поэтому я дал им постоять так как можно дольше, зная, что Дарий не решится позволить своим солдатам разойтись, боясь, как бы я не выбрал этот момент для нападения. Поэтому мы провели весь день, тщательно исследуя место будущего сражения. Скифы славились своим умением устраивать прикрытые ямы с острыми, вбитыми в землю копьями против конных и пехоты, а также и другие ловушки, но мы ничего такого не обнаружили, зато заметили участки выровненной земли для удобства атаки на колесницах с косами.

Вечером ко мне в палатку зашел Парменион и стал убеждать меня напасть на персов ночью. Я ответил ему

пышными громкими словами, которые даже мне самому показались глупыми. Почему я хотел дотянуть до утра? Да потому что ночная атака всегда чревата риском расстрой-ства боевого порядка. Кроме того, персы после бессонной ночи и долгого жаркого дня стояния в строю стали бы еще уязвимей, тогда как мои ветераны, завернувшись в свои накидки с капюшонами, уютно бы себе похрапывали. Я удалился к себе, потосковал о Таис, но, зная, что она не может прийти и наполнить сладостью мои мечты, я сми-рился с мыслью о ее потере и крепко заснул. После сытного завтрака — на голодный желудок нет желания драться — моя армия спустилась по склону холма, покинутому не-большим персидским подразделением, и построилась в боевом порядке.

Перед нами простиралась обширная засушливая рав-нина с ближайшим городом Арбелы\*. Громада персидско-го войска мешала нам видеть то, что было вдали. На левом крыле выстроилась бактрийская конница на косматых низкорослых лошадях. Промелькнула шальная мысль, что многим из этих молодых людей известна на вид дочь их царя Оксиарта, что, возможно, ей приходилось целовать кого-нибудь из молодых военачальников, перед тем как они отправились на Александра, почти истершегося из ее памяти. Я полагаю, что это преломление в мыслях было хитростью моей обеспокоенной души, желавшей, чтобы я чуть подольше взгляделся в строй врага, такого многочис-ленного и опасного.

Какая нужда подробно описывать развертывание бо-евых порядков противника или даже наших собственных? В нашей армии находился историк, который даст полное описание, и его отчет будут копировать снова и снова с растущим количеством ошибок, и более поздние исто-рики в свою очередь возьмутся за пересказ событий сражения, их рассказы не сойдутся, и они обвинят друг друга во лжи. Век за веком будет расти стопа письменных трудов; а если бы меня без лишнего промедления разбили в надвигающейся битве, мало перьев окунулось бы в чернила, чтобы упомянуть о незначительном столкнове-нии между Дарием, императором Персии, и македонским выскочкой, которого судьба сперва ласкала, а затем покинула.

Линия баталии царя была такой, какую я примерно и ожидал. В нее входили лучшие войска, были и кое-какие



удивительные новшества. По грубым подсчетам, согласно сообщениям моих лучших разведчиков, его кавалерия насчитывала сто тысяч, и в ней необычно большая доля приходилась на бактрийскую конницу, отчего я больше заужал это, по моим представлениям, малозначительное подчиненное царство. Бактрийцы поистине были всадниками с рождения, что когда-то продемонстрировала мне Роксана, моментально подчинив себе славного Букефала. Мои лазутчики донесли, что правым крылом командовал Мазей, левым — Бесс, а центром — сам Дарий. Инды и парфяне занимали важное место и явно были у царя в большом почете. Он снова находился в своей царской колеснице из золота и серебра, запряженной серыми в яблоках жеребцами из его великолепной конюшни. Его окружали родственники и царская гвардия, сама по себе составлявшая внушительную армию, приблизительно в половину моей. Слева и справа от центра, разделенные на две силы, стояли тридцать тысяч греческих наемников, его самые искусные воины, беспокоившие моих солдат больше всего. В развернутом строю стояли горцы, смуглые арабы с кривыми саблями, на горячих породистых лошадях, рыжебородые великаны — похоже, кельты из Оксиана, и мидяне — лучники, от которых явно будет мало пользы против моей фаланги или решительного натиска моей кавалерии. Фаланга царя, состоявшая из множества таксисов (отрядов по 1500 — 3000 человек), выглядела внушительно, и, если ее маневренность будет соответствовать донесениям, ее роль в предстоящем сражении может оказаться зловещей.

Новшества состояли в том, что в боевые порядки были включены двадцать боевых слонов и около двухсот с толком расположенных колесниц, каждая из которых имела торчащие по осям гигантские косы с обращенными вниз остриями. Но, как и при Иссе, за линией баталии все так же громоздились большие массы резервов, польза от которых могла быть только в случае прорыва в наши боевые порядки. Вдобавок ко всему у царя было множество прашников и метателей дротиков.

Я отметил, что в памяти Дария хорошо запечатлелся один урок, преподанный ему при Иссе: теперь у персов копья были длиннее, чем тогда.

У меня расстановка сил мало чем отличалась от той, что была при Иссе. Клит командовал моими телохрани-

телями и приданной им в помощь кавалерией; Кратер — всей пехотой слева от моей фаланги; Аттал, в голову которого я когда-то запустил кубком, вел моих агриан; Главкий временно возглавлял мой мощный ударный молот — конницу гетайров, состоявшую исключительно из македонцев. Парменион командовал главной силой моих пехотинцев, находившихся под защитой другого элитарного корпуса — фессалийской конницы.

Фракийские метатели дротиков и контингенты свеженабранных отрядов конницы и пехоты несли охрану обоза и сокровищ позади наших порядков, доводя суммарную численность моей армии до сорока тысяч пехоты и семи тысяч всадников.

Приблизительно десять к одному! Но наши силы были в высшей степени опытные, искусные и дисциплинированные; это была сплоченная армия с крепким моральным духом, солдаты чувствовали себя уверенно после хорошего сна и завтрака и отлично помнили свои победы при Иссе, Гранике и в Тире. Они были армией Александра, а Александр был любимцем богов — и этот фактор оставался главным. Сердце сильно стучало, живот немного свело, но внезапно меня охватила уверенность в своей судьбе, и горнист по моему знаку подал сигнал к наступлению.

## 2

Моя армия маршировала, как на учебном поле, молча, мерным шагом, соблюдая идеально ровный строй. Недалеко от передовой линии врага я приказал солдатам остановиться и медленно проехал перед ними на черном Букефале в своих белых доспехах, сияющих в лучах утреннего солнца. Раздался мощный приветственный клич, затем по-бычьи проревел голос одного рядового македонца:

— Веди нас на врага!

Я переложил копьё в левую руку, а правую воздел к небесам.

— Сын Зевса всех вас приведет к победе! — крикнул я в ответ, впервые открыто, принародно подтверждая чудесную истину.

Возвращаясь назад на свой пост, я заметил небольшое перемещение в передовой линии персов. Дарий поставил

свою гвардию прямо напротив меня, чем желал показать своей армии полное пренебрежение ко мне, будь я бог или человек, но тем самым оставил влево от центра промежуток. Я тут же понял, что его можно увеличить, и с этой целью приказал трубачу дать сигнал моему фронту смещаться вправо наискосок, на что персы ответили соответственно движением влево, вызвав ослабление стыка левого крыла Дария с центром. Мое движение вправо продолжалось до тех пор, пока не стало казаться, что я угодил в ловушку Дария, ибо мои отряды уже достигли участка поля, выровненного персами для их коронного удара — неотразимой атаки колесниц с торчащими наружу косами. Поскольку далее лежала каменистая местность, Дарий приказал всадникам с краю левого крыла объехать мое правое и не дать мне возможность вести его дальше. В ответ я приказал Мениду бросить на них конницу, но скифские и бактрийские всадники так свирепо атаковали, что заставили их отступить. Им на помощь помчались вооруженные пиками всадники Ареты, завязалась короткая и кровавая схватка, в конце которой варвары дрогнули и вернулись на прежние позиции.

Но эта фаза сражения еще не закончилась. К всадникам Ареты приблизился хорошо вооруженный и защищенный броней четырнадцатитысячный отряд бактрийской конницы под командованием Бесса, пожалуй, самого значительного военачальника персов. Отступившие всадники повернули обратно и вместе со своим мощным подкреплением вступили с македонцами в упорное конное сражение со всем его грохотом, рвущимися вперед лошадьми, сверкающими мечами и колющими пиками. Повсюду всадники валились из седел, и мои ветераны дрогнули. Но под криками своих начальников они сплотились и снова ударили, и уж теперь всадникам Бесса пришлось, яростно отбиваясь, отступить.

Дарий выбрал этот момент для того, чтобы бросить в бой свои любимые войска, в которые он так верил. По выровненному участку поля с грохотом помчались его колесницы с косами навстречу с моим легковооруженным заслоном, состоявшим из застрельщиков и метателей дротиков. Но трудно было опытному лучнику или копьеметателю не попасть в лошадь с близкого расстояния, а если одна лошадь падала, другим приходилось останавливаться. Когда подраненная лошадь бросалась вперед,

другие становились неуправляемыми, и мои храбрецы подбирались к ним так близко, что могли перерезать вожжи. Стрелы, дротики и даже камни пращников сбивали с ног возниц и воинов, находящихся на колеснице. Больше всего меня порадовало зрелище того, как кое-кто из наших проворных застрельщиков, в основном из горцев, запрыгивали в колесницы сзади и рубили застрявших и почти беспомощных ездоков. Те, что остались целыми, понеслись дальше на мою фалангу, но хладнокровные и прекрасно обученные фалангисты, занимавшие свое почетное место благодаря своему опыту и уму, «раскрыли» свои ряды так же плавно, как открывают двери, оставив коридоры для обезумевших лошадей, которые предпочитали не бросаться на торчащие копья. Оказавшихся за фалангой колесничих убивали или захватывали в плен фракийцы. Таким образом, атака колесниц, в которую так верил Дарий, стала полной неудачей, и, я полагаю, при виде этого его лицо побледнело, глаза расширились от страха и он увидел, что его ждет еще один Граник или Исс.

Тогда Дарий ввел в действие пехоту в центре, но ее ряды были так тесны, что солдатам нигде было развернуться со своим оружием. Они были плохо обучены маневрировать и шли в атаку медленно и неровным строем. Я отметил это, намереваясь извлечь из этого пользу, и в то же время заметил еще более важное обстоятельство: признаки паники и беспорядка в громадном отряде тяжелой конницы Дария, на которую насадала моя лучше обученная легкая кавалерия. От ее пик персы внезапно обратились в бегство, столкнувшись с задним фронтом, который также, в бешенстве и замешательстве, стал распадаться. Избиение не прекращалось, и сраженные падали рядами лицом вперед, пронзенные пиками сзади. И вот почти наступила пора поработать и моим славным гетайрам.

В крайнем напряжении, с головой, работающей в полную силу, отчетливо видя все перипетии боя, я все еще оставался на своем первоначальном месте, верхом на Букефале застывшем, как статуя. В рядах вражеской кавалерии царил такой беспорядок, ее потери были так велики, что она не могла даже пытаться противостоять моему следующему ходу. Я отдал приказ трубачу. Он поднес трубу к губам, и из ее медной глотки звонко полился сигнал,

который так хорошо знали мои славные гетайры. С какой радостью забились их сердца, и они дали волю своим коням! Отчетливо сквозь шум сражения прозвучала еще одна команда: двигаться уступами для атаки на левый фланг персидской фаланги. Я знал, что произойдет, я видел то же самое в Иссе и во многих мечтах после этого. Вражеская фаланга не могла маневрировать, солдаты в ней не могли расцепить свои щиты и повернуть копья, чтобы защитить себя; они могли только умереть. За моими гетайрами следовала тяжело вооруженная пехота, построенная клином с уступами для нанесения удара по линии врага немного вправо от щели, проделанной моими гетайрами. За ними двигались пять таксисов моей фаланги, также уступами, вклиниваясь в эту щель, и железная стена с безжалостными копьями убивала всех на своем пути, не щадя никого, и солдатам нужно было только идти маршем, чтобы бойня не останавливалась.

Затем мои гетайры повернули налево и стали косить противника, как траву. Это была самая кровавая атака в их истории, их кони скакали по толстому ковру из человеческих тел или перепрыгивали через их кучи; их разящим пикам и мечам не хватало быстроты, чтобы перебить всю орущую толпу, это физически было невозможно, и некоторым удавалось в безумном бегстве найти спасение от беспощадной стали. За гетайрами шли гипасписты, атакуя еще одно скопление врага, а за теми — грозная фаланга. Чем больше они убивают, тем сильнее у них жажда убивать, и каждый солдат, пеший или конный, становился бездумным мясником, убившим слишком многих, чтобы считать, и фалангисты ускоряли свой шаг, чтобы под их смертоносными копьями скорее пришел конец врагу. Теперь я тоже оказался в гуще сражения и чувствовал знакомый пьяный восторг, когда моя пика разила грудь за грудью, и, казалось, врага нужно было только коснуться, чтобы убить, хотя, по правде, бил я с большой силой, и если намеченная жертва увертывалась от пики, я на рвущемся вперед Букефале срубал ее мечом.

Пятнадцать боевых слонов, напуганные боевым кличем фалангистов, забыли все, чему их учили: как сбивать тяжелым хоботом беспомощного врага, как топтать его огромными ногами. Наверное, пропахший кровью воздух бесил их еще больше, поэтому погонщики никак не могли справиться с ними: слоны не обращали никакого внима-

ния на вонзаемые им в кожу стрекала и, вопреки их воле, ломились через персидские ряды, сбивая солдат с ног и наступая на упавших, раздавливая грудные клетки или черепа, оставляя за собой красное месиво трупов.

Именно во время этого панического бегства слонов сердце Дария не выдержало. Он не умер, нет — такой могучий царь, как он, не мог смотреть в лицо смерти, и, видя приближение фаланги, он приказал своему вознице развернуться по телам раненых и убитых и гнать колесницу с поля битвы. В следующее мгновение его колесничий вывалился наружу с копьем в груди, которое едва не угодило в самого царя, и тот, схватив упавшие вожжи и кнут, хлестнул коней, и они, обезумев от страха, понесли.

В этот момент Мазей, опытный военачальник, командующий правым крылом, увидел свой шанс отличиться. Если он не мог спасти всю армию от поражения, то, уж конечно, мог сделать так, чтобы за него было заплачено меньшей ценой. В промежутки, оставленный открытым моей наступающей фалангой, он бросил кавалерию индов и парфян, а его собственная конница с яростью отчаяния надела на левый фланг моих фессалийских всадников-ветеранов. Они повернулись, чтобы встретить врага в полном порядке, но у противника был большой численный перевес, и Парменион, видя, какие потери несут фессалийцы, послал ко мне гонца, прося о помощи. Я отказал ему. Это был самый критический момент сражения: необходимо было продолжать избиение противника здесь, а когда бы это кончилось, я мог вернуть себе любое захваченное пространство. Такой ответ дал я гонцу. Случилось так, что Пармениону и не понадобилась моя помощь. Симмий, командовавший самым задним уступом моей фаланги, получил тот же призыв, и поскольку преследование бегущих персов могло обойтись без него, он повернул в тыл.

Тем временем инды и парфяне прорвались на ослабленном участке нашего фронта и, оказавшись на открытой равнине, завидели частокол моего лагеря. Жадные до наживы, они бросились к нему. Некоторые из фракийских охранников были рассеяны или убиты, но все же оставленные там раненые взялись за оружие и отчаянно сражались. Вскоре фракийцы собрались, построились в ряд и оказали налетчикам стойкое сопротивление, несмотря на

то, что часть содержащихся в лагере пленных вооружилась и напала на них с тыла. Другие пленные захватили столько добычи, сколько могли унести, и надеялись улизнуть, но трое из моих командиров увидели закулисное сражение и бросились на помощь защитникам лагеря. Вскоре налет искателей наживы был отбит, немало их было захвачено или убито, остальные же повернули назад и стали пробиваться к персидскому фронту.

Молва о бегстве Дария стала быстро распространяться по рядам, и, когда достигла стоявшей в резерве огромной массы солдат, все еще далеких от нашего фронта, среди них началось беспорядочное бегство. Теперь вместо одного сражения возникло отдельных четыре, но вскоре и они превратились в избиение, от которого горстками и кучками персы стали улепетывать в диком ужасе.

Центр персов уже начинал разваливаться, поэтому я оттянул своих гетайров с того места, где они избивали противника, чтобы завершить его поражение в центре. Наконец я мог помочь старому Пармениону, еще не справившемуся с врагом, но видя, что он и сам может это сделать, повел гетайров против индов и парфян, пробивающих к себе после неудачного нападения на лагерь. Мы ударили им в тыл, произведя в их рядах большой беспорядок. Однако эти союзники царя, хоть и были ворами, храбрости им было не занимать. Они развернулись и бросились на нас, как полосатые львы из Индии, и дрались с непередаваемой яростью. Дрались врукопашную один на один, и ничего подобного по ожесточенности я еще не видел. Много здесь пало воинов и еще больше было раненых. Но союзники персов оказались зажатыми в клещи, и в конце концов храбрость им изменила: оставшиеся в живых обратились в бегство.

Это было последним серьезным сражением в бою при Арбелах. Персидское войско, которое пока еще избежало резни, теряло всякое сходство с армией, превращаясь в беспорядочную толпу. Когда я приближался на Букефале к войскам Мазея, они уже бежали от фессалийцев. Остальные подразделения рассеялись по всем направлениям. Я одержал величайшую победу в своей жизни, а может быть, и во всей истории.

Я повернул своего славного коня и погнался за Дарием, чувствуя, что чаша моя не будет полна, пока он не будет схвачен или убит.

Парменион остался, чтобы с почестями похоронить всех наших погибших — а их было немало, — которых можно было найти под горами мертвых персов. Я представил, как их несут на носилках к месту похорон, как несут в лазареты раненых, которым еще можно помочь. И скорбно длинными виделись мне эти процессии. Утешало только одно: они храбро погибли в бою за великое дело, что должно было также служить утешениям и душам их, стремительно мчащимся к Реке Скорби и мрачным чертогам Аида. Некоторые из этих душ, души воинов, убитых в схватках, где ими был проявлен особый героизм, возможно, найдут последнее пристанище на душистых полях Элизiums\*, в которые верил Ахилл, а подобно ему, и я.

Рассказывалось — предположительно, живыми, вступавшими в разговор с мертвецами, которым колдуны, вызывая их заклинаниями наверх, давали жертвенную кровь, чтобы пробудить их спящую память и открыть их уста, — что Ахилл не попал на эти душистые поля, потому что был убит стрелой труса, вонзившейся ему в пятку; и он сам предпочел остаться с обычными мертвецами в их безмолвном царстве теней. Если это действительно было так, то он проявил героизм, перед которым меркнет тот, за который он был прославлен при жизни.

Понятно, что искатели и могильщики павших на поле у Арбел работали с величайшей поспешностью. Трупы наших и вражеских воинов пролежали всю ночь на жаре и ожидалось, что утром с восходом солнца сюда стаями слетятся вороны и прочие мерзкие любители падали, и число их будет расти, когда дальних небес достигнет быстрая весть о таком грандиозном пиршестве. Все они будут жадно обжираться, и все же с такого количества костей не много им будет по силам содрать мяса, и груды трупов останутся нетронутыми их алчными клювами, или же они слегка расклюют их, вырвут лакомые куски из отверстий тел и этим удовольствуются. На второй или, самое позднее, на третий день начнут собираться другие любители мертвечины, двигаясь в медленно шевелящихся кучах, а еще через несколько дней сюда слетятся стаи мух со всей пустыни, и пастухи курдючных овец в ее более плодородных областях должны будут бежать вместе со своими отарами, как



если бы они бежали от еще одного проклятия, насланного на Египет; о первом, случившемся во времена Моисея, мне рассказывал Абрут.

Мне со своим отрядом преследователей не удалось догнать трусливого императора Дария, однако погоня была стремительной и упорной. К наступлению тьмы мы перешли через реку Лин, примерно в ста пятидесяти стадиях от поля сражения, передохнули до восхода луны и помчались опять вперед к Арбелам, где Дарий оставил деньги и все царское имущество, но там мы его не застали и не знали, в какую сторону он бежал. Последние обнаруженные нами следы на песке позволяли думать, что беглое войско составляло тысяч десять конных и пеших, но следы быстро затерялись на плотно запекшейся под солнцем земле. Судя по отпечаткам сапог, среди них было немало наемников-эллинов. Мы догадались, что с Дарием был и Бесс с остатками своей конницы, так как их видели удирающими с поля сражения после полного разгрома персидского войска. Следы сворачивали на восток — очевидно, Дарий спешил в Мидию — и мы свернули туда же, полагая, что, если Дарий снова ускользнет от нас, ненадолго, ибо в его прежней империи укрыться ему было негде, мы утешимся разграблением многонаселенных городов в дельте Тигра и Евфрата.

Парменион и главные силы моего войска соединились со мной в Арбелах. Там мы принесли благодарность богам и устроили игры и пиршество, чтобы отпраздновать нашу победу, без сомнения, величайшую в известной человечеству истории. В Грецию были посланы гонцы от нового царя Азии с требованием, чтобы меня объявили таковым всенародно, чтобы все тирании уступили место демократиям — это чрезвычайно способствовало бы моей популярности у народа. И что мне было до того, что творится в маленькой Греции? Она ведь была всего лишь крошечным придатком к моей империи. И тем не менее мне она была безразлична.

После жертвоприношений и празднеств мы направились в Вавилон, самый многочисленный и богатый город во всей Азии, запечатлевший свое имя в истории. Недалеко от Вавилона мы ступили на царскую дорогу, ведущую из Сард в Сузы, и моя армия уже не казалась маленькой благодаря длинным тяжелым обозам, крупным партиям пленных, гонимых для продажи в рабство. На

дорогу к окраинам Вавилона ушло более двух недель: от Арбел его отделяли 2700 стадий.

Неподалеку от города я развернул войско в боевой порядок и выслал вперед конных разведчиков. Это оказалось ненужной предосторожностью, ибо ворота ждали нас открытыми и нас приветствовал Мазей с другими правителями и процессией жрецов из храма Ваала. Люди усыпали дорогу цветами, хотя вести из Арбел у многих болью отзывались в сердцах. Я принял капитуляцию Мазея и не предал его распятию, несмотря на его верность Дарию до бегства последнего с поля сражения, а может, и благодаря ей. К тому же он обладал хорошими военными способностями и мог быть полезен новому царю.

Мы, деревенские олухи, стояли и смотрели на великолепный город разинув рты. Хотя Сузы считались столицей империи, Вавилон оставался все еще крупнейшим городом во всем мире. Его обширная территория, равная полдню маршу что вдоль, что поперек, лежала за стенами высотой около ста локтей и шириной — все пятьдесят. На берегах Евфрата стояли дворцы и другие великолепные постройки, храмы и арсеналы. Два огромных дворца-крепости когда-то входили в число мировых чудес, и над всем возвышался храм, посвященный Митре, бывшему Ваалу\*. Подивились мы и «висячим садам», одному из семи чудес света, представлявшим собой ряд террас, не столь уж чудесных, как я ожидал, ибо последний ряд не превышал высоты стен. Я принес жертвы Митре и его прежней ипостаси Ваалу, чтобы доставить удовольствие жителям города, и поставил Мазея сатрапом Вавилона, поручив двум македонцам наблюдение за ним. Затем мы отправились в Сузы.

Этот город и его казна были взяты без человеческих жертв одним из моих подразделений. Вдобавок к тому, что мы взяли в Вавилоне, мои сундуки стали богаче еще на сорок тысяч талантов серебра и примерно на десять тысяч золотых дариков — монет той же ценности, что и статер.

Мой следующий поход был направлен против горцев в землях уксиев. Свирепые, как снежные барсы, они не только не желали быть подданными Дария, но еще вынуждали его уполномоченных и гонцов платить за проход по их местности. Эти грабители караванов имели наглость прислать ко мне послов, требуя от меня той же

платы, что получали от персов. Я вежливо принял их и обещал, что в первое же утро убывающей луны золото будет им доставлено. Они с важным видом отъехали восвояси, не зная, что в империи Ахеменидов забрезжил новый день.

Стоило им скрыться из виду, как я приступил к действию. Приказав привести ко мне некоторых полуприрученных уксиев, с которыми вели дела персидские чиновники, я предоставил им выбирать: или они ведут меня к проходу, или их незамедлительно обезглавят. Почти все люди испытывают отвращение к такого рода расчленению, а некоторым горным племенам этот вид казни казался особенно ужасным: по их представлениям, в последующей за смертью жизни их головы смогли бы только видеть, но не двигаться, а их неземные тела могли бы двигаться, но не видеть; им трудно было бы найти друг друга, чтобы стать целым духом. По той готовности, с которой они согласились провести меня к проходу, я понял, что они верят в это серьезно. Я соврал им, что у меня есть древняя карта, по которой я могу проверить их честность, и, если я узнаю, что кто-то попытается сбить меня с пути, или завести в ловушку, или предупредить о моем приближении, я его расчленю, отдельные члены тела прибью к разным деревьям, а тело отдам на съедение кабанам.

Взяв царскую гвардию, часть тяжеловооруженной пехоты, конных лучников и прашников, я отправился по старой дороге, ведущей к проходу почти по безлюдной местности. Несколько деревень грозили оказать сопротивление, но быстрая расправа с главарями предотвратила его! Захватив проход с последним лучом лунного света, на утренней заре мы прочно обеспечили его безопасность, расставив лучников и прашников на высотах теснины.

Велико же было удивление уксиев, когда они после восхода солнца прибыли за установленной платой. Они сразу же пустились наутек, но наши длинноногие лошади мчались быстрее их косматых пони, и мы без труда одержали верх, заставив их полностью смириться; лишь единицы этих негодяев заплатили за свою наглость жизнью. Их вождей, трясущихся всю дорогу, я доставил в Вавилон, и, если бы не заступничество престарелой матери Дария, утверждавшей, что уксики всегда сопротивлялись любой абсолютной власти — похоже, она по неизвестной мне

причине питала слабость к живущим на окраине империи дикарям,— я бы отправил их головы к соплеменникам, насадив их на колья. На самом же деле я отпустил их на свободу, потребовав, чтобы их народ ежегодно платил мне дань в сотню хороших верховых лошадей, пятьсот мулов и ослов и двадцать тысяч крупного рогатого скота, а также овец и коз. Оказалось, что в их реках нет золотого песка, иначе я дань в виде животных частично бы заменил золотом.

За этим приключением последовала небольшая, но трудная война, которая именно в тот момент была мне не нужна: мне предстояло решить много мирных задач административного и реорганизационного характера, к тому же, находясь так близко к Бактрии, я желал подчинить себе ее царя Оксиарта, двоюродного брата Дария. Он по меньшей мере послал в армию Дария большое войско, если в действительности не повел его лично. Если же так, то он бежал, когда фронт стал разваливаться — бежал вместе с тысячами своих всадников.

Война, которую пришлось вести мне, не перепоручая ее кому-нибудь из моих военачальников, имела целью захват Ворот Персии, горного прохода, известного также под названием Снежная Крепость. Эти Ворота вели на равнину Ирана, Старой Персии и имели очень важное стратегическое значение. Здесь сатрап воздвиг внушительную стену, перекрывшую горную теснину. Он готов был защищать эту стену с силой, равной моей собственной.

Эта тяжелая кровопролитная война дорого мне стоила. Первый приступ потерпел неудачу. Победа мне далась только потому, что я узнал от ливийского раба о существовании узкой, неровной и опасной тропы, ведущей к противоположному концу теснины, по которой можно выйти в тыл войскам непокорного сатрапа.

Предприняв еще одно, ложное, фронтальное наступление главными силами моей армии, а ночью разведя достаточно большое количество сторожевых костров, чтобы убедить сатрапа в том, что войско в полном составе отдыхает в лагере, я повел его отборные силы в трудный и опасный ночной переход для захвата задней части коридора. На всем пути были расставлены персидские сторожевые посты, которые нужно было уничтожать без шума, чтобы не зазвучал сигнал тревоги. В результате мы зажали

войска сатрапа в тисках трех армий: у него в тылу, справа и слева. Враг очень скоро обратился в бегство, люди, пытаясь спастись, один за другим срывались с крутых обрывов, и возмездия от наших мечей и копий удалось избежать лишь четырем тысячам, включая самого сатрапа.

Оставив Кратера сторожить Ворота, а также взвалив на него неприятную обязанность вытащить из прохода и убрать упавших, я с конницей гетайров и легковооруженной пехотой поспешно двинулся на город Персеполь, столицу этой сатрапии. Такая спешка необходима была для того, чтобы весть о битве за Ворота не достигла ушей гарнизона раньше, чем мы появимся там, иначе охрана уж точно бы расхитила царскую казну и скрылась. Рядом с тем местом, где Кир одержал крупную победу, положившую конец владычеству Мидии, стоял построенный им город. Его главное святилище представляло собой зал для аудиенций Дария I с длинной колоннадой, ведущей к двум пролетам каменной лестницы, каждая ступенька которой была покрыта изумительной резьбой, и на них было начертано следующее божественное изречение:

Говорит царь Дарий,  
Царь этой персидской страны,  
Дарованной мне великим богом Ахурамаздой,  
Прекрасной страны, изобилующей людом и лошадьми;  
В согласии с его волей и моей собственной,  
Я, Дарий, не боюсь никакого врага.

Хранившиеся в Персеполе сокровища были гораздо богаче, чем сокровища Вавилона и Суз. Век за веком сводчатые подвалы дворца служили казной сменяющим друг друга династиям. В них хранились золото и серебро, идущие на уплату дани, захваченные как добыча в войнах, а также золото, намытое в золотоносных песках империи. Выбор места для их хранения представлялся очень разумным. Лежащий невдалеке от устья реки Вавилон мог подвергаться осадам мощных морских сил с военно-транспортными судами — такими, которые Тир и Сидон посылали вверх по Персидскому заливу или которые мог бы еще послать могучий на море Карфаген, если не захватит его Александр. И Египет, стань он опять великим царством, мог бы завоевать Вавилон, но, полагали персидские

цари, их мощные армии смогли бы сорвать долгий поход на Персеполь. Когда царю нужно было золото на новый дворец, новую войну, на чеканку монет для торговли, ему оставалось только спуститься в сводчатые подвалы Персеполя.

Мы обнаружили золото и серебро в количестве ста тысяч талантов — стоимость многих тысяч лошадей. Добыча из этой крепости и царских дворцов: отделанные золотом предметы роскоши, ковры, каждый из которых ткали целый год, бесценные гобелены — все это было навьючено на всех верблюдов и мулов, которых нам удалось только достать и которые растянулись в такой длинный караван, что глаза уставали смотреть.

Крупнейший в городе дворец был построен Дарием I, но особенно он был связан с именем Ксеркса, когда-то победителя Эллады, которого она все еще помнила с горькой ненавистью. Этот дворец стал для всей империи символом мощи и славы персов. Я приказал убрать из его комнат все самое ценное, оставить только в приличном виде палату Ксеркса для аудиенций. Затем, после прибытия в Персеполь главных сил моей армии и тех, кто следовал за ней, я, сам находясь в занятых мною палатах дворца, послал за Таис.

С тех пор как она перестала быть моей фавориткой, я посылал за ней не однажды. По правде говоря, я ни разу не звал к себе и не желал других женщин, исключая Роксану, ставшую теперь туманной мечтой. Таис я призывал часто, и это приносило мне острое наслаждение; ей, по всем признакам, тоже. Внешность ее и манеры почти совсем не изменились. Ее красота все еще оставалась схожей с красотой морской нимфы под тонким слоем воды или нимфы лесной — в темной чаще в облачный день. Она была неяркой, но поэтичной и очень трогательной, несколько не огрубевшей от многих любовных ночей. Таис поистине все еще выглядела девственницей. Верно и то, что ее всеохватывающая эротичность проистекала из неиссякаемого источника. Она снова напомнила мне Киферу, которая была стихийной силой в природе, зовом, заставлявшим самцов высокоорганизованных видов животных, включая человека, совершать акт, служащий делу продолжения рода. У нее был мягкий и тихий голос. Она обращалась ко мне, когда мы сживали вдвоем на кушетке, с уменьшительно-ласкательными словами и дважды,

вдруг припомнилось мне, она назвала меня «бедный Александр». Теперь я был богаче самого Креза и к тому же хозяином всей Персии, за исключением нескольких непокорных племен, повелителем всей Азии, в значительной степени величайшим монархом на земле. Тем не менее время от времени она все еще, возможно, думала обо мне как о «бедном Александре».

Но меня, как ни странно, это нисколько не задевало. Я помнил ее полные слез глаза, иногда даже смутно чувствовал, что она хотела сказать этим обращением. Возможно, она считала, что не сила, а таящаяся в моей душе хрупкость побудила меня стать богатым, как Крез, хозяином почти всей Персии, повелителем всей Азии и в значительной степени величайшим монархом на земле.

— Ты победил при Арбелах, в третьем большом сражении с Дарием, как я и предсказывала.

— Победил.

— Теперь много потребуется любви, чтобы возместить миру все эти груды мертвых.

— Не той, что даешь ты, избегая зачатия ребенка. У самой Афродиты были дети — так нам говорят — Эрос и Гермафродит.

— По-моему, эти двое есть одно лицо.

— Почему бы тебе не родить от меня ребенка? Побудь со мной те три дня, когда твое чрево готово к зачатию, и ты родишь.

— Это дни, когда я не могу прийти, царь Александр. Я говорила тебе почему.

— Говорила, и это меня здорово потрясло. Сегодня один из твоих дней?

— Нет, мой царь. Однако ты и твои солдаты должны иметь детей от других женщин. Ты когда-нибудь задумывался, царь Александр, над тем, сколько сотен тысяч ты отправил в Аид? Теперь ты должен быть любимым племянником царя Аида, брата Зевса.

— Ты веришь, что я сын Зевса?

— Мой царь, верю ли я — мне трудно сказать. Я только знаю, что подобного тебе создания в человеческом обличье еще не было во всей истории, и сомневаюсь, что будет. После того, как ты уйдешь из этого мира — не знаю куда, — тебе будут поклоняться как богу, больше, чем Гераклу. Ты куда великолепней Геракла. Сними с Геракла одежды детского мифа, и останется герой культуры, осушитель

болот, сжигатель ядовитых гадов, плавильщик железа и, кроме того, человек сверхнормальной, я бы сказала, сверхъестественной силы — телесной силы, тогда как ты отличаешься сверхнормальным, а возможно, и сверхъестественным блеском ума.

— Оставим это. Вот ты говоришь о множестве людей, которых я отправил в Аид. Ты ведь имела в виду, что их отправила туда моя армия.

— Нет, я говорила именно о тебе, Александр Великий. Армия — всего лишь твоя собственная тень. Если бы не ты, ее никогда бы не существовало. Не было бы побед в этих великих битвах, как и самих битв, Азия не стала бы царством одного завоевателя. Говорить, что ты сын Зевса — это слишком поверхностное объяснение. Тайна гораздо глубже. Я рада, что жила в твоё время. Рада, что первую для нас обоих любовную ночь мы провели друг с другом. Но я была бы более счастлива, если бы ты совсем не родился на свет.

— Только ты можешь сказать мне такое и остаться в живых. А разве в этом есть смысл? Разве Греция не отомщена за обиды, нанесенные ей Персией? Разве она не стала столицей половины известного нам мира?

— Нет. Это слабое оправдание не достойно тебя, мой царь. Греция — всего лишь придаток твоей азиатской империи. Ты делал все это не ради Греции, а ради Александра, ради приумножения его славы — чтобы заполнить какую-то пустоту в твоей душе.

— Твои слова звучат правдоподобно, и все же я им не верю. Я верю в то, что осуществляю волю богов.

— Разве это еще нужно, Александр? Я думала, что после Арбел в этом уже не будет необходимости. Мое простое объяснение — недоказуемое, возможно, ошибочное — куда больше должно льстить тебе, нежели твое представление о себе как о сыне бога и орудии божественных существ. Ну почему бы тебе не стоять на своих собственных ногах — одному, несравнимому ни с кем из смертных? В божественности происхождения ты нуждался когда-то как в костыле, но теперь он тебе не нужен.

— Трудно объяснить, что толкает человека на те или иные дела. Ты сказала, что я обрек тысячи на смерть для достижения своей цели, но я не знаю, почему эта цель мне так желанна. Вот ты, например, принимаешь многих



любовников по причине желания, которое тебе непонятно. Ты бы не могла убить никого. Я же, со своей стороны, не могу делить ложе ни с кем, кроме тебя. Если не считать той одной ночи с Барсиной, которую я так бестактно навязал ей, у меня кроме тебя не было ни одной женщины. Правда, когда мне было шестнадцать, я изведal эротические чувства к тринадцатилетней девочке, но до любовной связи не дошло.

— Однако она еще помнится тебе.

— Верно, но я не об этом.

— Я понимаю, о чем. Ты убиваешь, чтобы достичь цели, необходимость которой тебе непонятна. Я отдаю свое тело преходящим любовникам по столь же непонятной причине. Да, трудно понять человеку, что им движет. Я полагаю, что ответ скрывается в фривольности души.

Я промолчал. Мы посидели немного, не двигаясь, каждый думая о своем.

Затем я заговорил:

— Ты заговорила о Роксане, девушке, которую я встретил в юности. Я же хочу поговорить о Птолемее. Как ты думаешь, если бы он стал наследником Филиппа, он бы осилил столько дел?

— Нет, не осилил бы, я уверена. Ни одному человеку не удалось бы совершить так много. Я знаю Птолемея лучше, чем раньше — он большой человек, но по сравнению с тобой все же пигмей.

Ее последние слова не смягчили и не заставили меня забыть того, что она сказала чуть раньше: что теперь она знает Птолемея лучше, чем прежде. Слишком уж хорошо я понимал, откуда появилось у нее это знание. Я почувствовал растущее во мне напряжение, в голове помутилось, в сердце зашевелился черный комок ярости. Я взглянул на ее прекрасную шейку, и у меня возникло — нет, не совсем желание — побуждение пройтись по ней лезвием меча от уха до уха. Но мое желание оставалось рассудочным, оно было за то, чтобы Таис продолжала жить. Эта красота — пиршество для моих глаз, а порой и не только для них. Мне бы хотелось, чтобы боги даровали ей бессмертие вместе с вечной юностью и красотой. Чудесно было бы созерцать богиню с нежным сердцем; такой непременно следовало бы украсить наш Пантеон. Народ считал, что Деметра обладает нежным сердцем, хотя она все еще принимала человеческие жертвы в землях варва-

ров. Дионис, пользующийся большой народной любовью и боготворимый женщинами, принимал это с удовольствием и поэтому щедро сыпал благодетия.

Но женщины не очень-то поклонялись Афродите — ни в этом лице, ни в лице Киферы. Юные девы молили ее послать им возлюбленного, но, получив его, они ревновали к ней. Только относительно небольшое число замечательных женщин способны были признавать красоту другой и склоняться пред ней — если это признание в действительности не означало, что они как-то ухитряются считать эту красоту принадлежащей себе, а не другой.

Так я размышлял, чтобы не дать образу Таис в объяснениях Птолемея завладеть моим воображением.

— Почему же ты не сделал этого, царь Александр? — спросила Таис спокойным тоном.

— Не сделал чего?

— Не перерезал мне горло.

— Было бы трудно объяснить почему. Я не мог разрушить образ Афродиты, которую ты видела на Мелосе.

— Тем не менее ты можешь обречь на смерть сотни тысяч молодых мужчин.

— Если бы не мог, я бы не был повелителем Азии.

— Мой царь, ты все еще любишь Олимпиаду?

— Очень.

— Наверное, ты слышал об убийствах, совершенных ею как временной правительницей Македонии?

— Она убивала врагов государства. Или же тех, кто мог бы стать его врагами после моей смерти. Так что делала она это для меня. Я не сомневаюсь, что и к убийству Филиппа она приложила руку — с тем, чтобы я мог овладеть короной. За это я люблю ее еще больше.

— Мой царь, не благородней ли совершить убийство из ненависти, нежели ради честолюбия? Если боги справедливы, вот как следовало бы смотреть на преступления. Недавно ты говорил об отмщении за зло. Ни одно зло не может быть отмщенным; оно продолжает жить, даже если сотворивший его умирает.

— Это я мог бы допустить, а также и то, что многие преступления, совершенные во имя возмездия, являются в сущности преступлениями честолюбия — чтобы убрать препятствие со своего пути или достичь какой-то цели. Это напоминает мне о том, что явилось одной из причин,

почему я сегодня послал за тобой. Другая причина — желание соединить наши тела в эротической любви. Может, пойдем теперь в мою спальню?

— Так скоро? Ведь только недавно тебе приходила в голову мысль перерезать мне горло.

— Эта мысль и сознание того, чего бы я мог лишиться, тем более возбуждают во мне аппетит. Вернее сказать, разжигают во мне желание.

— Мой царь, это какой-то кошмар. Вся история Александра кошмарна. И во мне зажглось желание, и я не могу этого объяснить. Да и не нужно мне никакого объяснения, если оно не может пролить свет на человеческую природу, на душу человека. Ты, конечно, знаешь, что в древнейших пантеонах богиня плодородия является также и божеством смерти. Сейчас такое есть в Индии. Имя богини Дурга-Кали, она одновременно хранитель и разрушитель. Мой царь, мне страшно. Я хочу, чтобы ты сжал меня в своих руках. Пойдем же, скорее.

Когда мы оказались в моей спальне, Таис никак не могла справиться со своими одеждами, пытаясь торопливо раздеться, она все больше и больше запутывалась в ней. Я тоже лихорадочно сорвал с себя одежду и сразу же рухнул на постель. Не обмениваясь обычными ласками, Таис улеглась на спину и втащила меня на себя. Необычайное возбуждение охватило меня, и я спешил как на пожар. На этот раз не потребовалось никакой чарующей подготовки: она была, как невинная невеста, истомившаяся по любви, впервые ощутившая прикосновение возлюбленного в своей сумрачной и одинокой девичьей горнице.

И все же мы побороли свое нетерпение, стоило только нашим телам прийти в тесное соприкосновение. В победе можно было не сомневаться, мы уже задолго с наслаждением предвкушали ее приближение; результат был неизбежен. Мы шепотом высказывали друг другу наши тайные пожелания.

После того как все кончилось, когда она лежала, положив головку мне на руку ближе к плечу, я спокойно задал ей вопрос:

— Таис, а тебе хотелось бы, чтобы твое имя звучало в веках? Не так, как будет звучать мое, а как вдохновение для поэзии и музыки?

— Какой настоящей куртизанке не хотелось бы этого!

— Могу подсказать тебе, как этого достигнуть. Ни одна душа не должна знать, что этот план задумал я; все должно выглядеть так, будто ты действуешь под влиянием порыва. Лишнее говорить, что это послужит моим интересам.

— Лишнее говорить, — повторила она.

Итак, я сказал ей, чего от нее желаю. Она полежала какое-то время с округлившимися глазами, затем улыбнулась мне той же грустной улыбкой, что и на строительной площадке будущей Александрии.

— Хорошо, я сделаю то, что ты желаешь. Не для того, чтобы завоевать себе славу в грядущих веках, а потому, что сегодня ты отдался мне весь целиком и я отдалась тебе вся без остатка, и ты принял мой дар. К тому же ты не перерезал мне горло за то, что я такая как есть и не могу быть другой — творенье красоты, а значит, и правды.

#### 4

Примерно тридцати своим предводителям я послал приглашения на торжественный прием, который назвал по-персидски «дурбар», во дворце Ксеркса накануне седьмого дня текущей недели — так произвольно на четыре части разделялся один полный цикл луны. Обычно на седьмой день, если не было чего-то срочного, мы давали солдатам как следует отдохнуть, за исключением тех, кто нес сторожевую службу и занимался снабжением и питанием. «Дурбар», кажется, первоначально было словом в языке хинди и могло означать любой вид приема, устраиваемого принцем. В списке предводителей были мои старые друзья, в основном македонцы, хотя было несколько человек родом из городов, освобожденных мною из-под власти персов. Все говорили по-гречески. Каждому разрешалось привести с собой подругу — не из тех, что сопровождали нашу армию, а прекрасную мидийку, парфянку или женщину из какого-либо еще государства, лежащего за пределами собственно Персии. Допускались гости и с персидскими наложницами, проверенными в любви и верности. Хозяйкой приема предстояло быть Таис.

Спустя час после заката я присмотрелся к погоде. Как обычно в это время года, ночь стояла безветренная и звездная; легко дышалось холодным разреженным воздухом.

Я приказал устроить пир в зале для аудиенций, а поскольку не хватало кушеток и низких столиков, я распорядился, чтобы их принесли из других помещений дворца. Плащи и меховые куртки можно было оставлять в прихожих, примыкающих к главному portalу, так как от пылающих угольных жаровен в зале будет тепло. Богато разодетые гости прибыли спустя два часа после захода солнца и составили поистине прекрасное общество. Вряд ли хоть одному из мужчин было за тридцать, а их подружкам — в основном около двадцати или меньше, и все они были красивы как на подбор; все находились в веселом настроении — ведь это был первый торжественный прием, «дурбар», устроенный новым повелителем Азии, и им выпала честь присутствовать на нем. Сын Пармениона Филот находился среди присутствовавших, но самого старого бивуачного медведя не было — настороженность превращала его скорее в брызгу, отравляющего другим удовольствие на пиру, чем в дружелюбного весельчака. Не был приглашен никто из семьи Дария, все еще находящейся у меня под стражей, хотя, возможно, они и согласились бы присутствовать на пиру, желая мне польстить. Среди них были Статира-старшая и Статира-младшая, за которыми закрепились слава — и, возможно, небезосновательно — двух самых красивых женщин Старой Персии.

Был тут, конечно, и Клит со своей возлюбленной, мидянкой. Птолемей привел парфянскую принцессу, женщину диковинной красоты, Филот — свою наложницу-персиянку с очень бойким языком, пересказывавшим его хвастливые рассказы, что делало его заметным человеком. Таис надела свои самые роскошные драгоценности и прекрасный белый хитон, обнажавший одно из ее лоснящихся плеч. Впервые я облачился в персидскую мантию из золототканой материи, накинув ее поверх той формы, которую я носил на торжественных парадах.

Во время пира гости то и дело сновали от скамьи к скамье, обмениваясь любезностями и поцелуями, все громче становился разговор и смех, по мере того как чаши вина опустошались одна за другой. Когда флейты и лиры заиграли прелестную мелодию, Неарх попросил моего разрешения исполнить танец, которому, как он сказал, научила его пленница из Тира, клявшаяся, что ее отец научился ему на самом западном из Оловянных Островов.

Танец не отличался красотой, но требовал замечательной ловкости и проворства ног и так захватывал, что кое-кто попробовал подражать, рассмешив окружающих. Спустя примерно два часа, когда выпитое гостями вино начало действовать, каждой даме выдали по железному рычагу, на которые они взирали с большим удивлением: эти штуки были такой же редкостью на пиру, как начиненные жемчугами огурцы, поданные царю в старинной народной сказке в Египте.

Когда барабанная дробь призвала к тишине, поднялась Таис и сказала, обращаясь к гостям:

— Вон там вы увидите трон, заменивший трон Ксеркса, когда в свое время Сузы стали столицей царства. Он, конечно, не может сравниться с тем, что стоял там прежде, — ведь сделан он из слоновой кости, а не из золота, но его ручки инкрустированы тридцатью крупными драгоценными камнями: алмазами, изумрудами, рубинами и жемчугами, которые имеют немалую ценность. Начиная с ближней скамьи слева от трона, дама возьмет свой рычаг и постарается извлечь выбранный ею камень, и так как слоновая кость мягка, а рычаги — закаленная сталь, то это будет делом нетрудным. Как бы то ни было, если по неловкости она повредит камень, то выбрать еще один ей не разрешается. Это не только испытание искусства рук, но также и трезвости — или, по крайней мере, того, насколько рука сохранила твердость, несмотря на щедрый дар Диониса. За первой, после ее успеха или неудачи, пойдет вторая, сидящая на следующей скамье, и так далее до тех пор, пока не дойдет очередь и до меня, на дальнем конце круга справа от трона. Пожалуйста, первая, выходите.

Все наблюдали за игрой с радостным интересом, отпуская добродушные шутки. Первая дама заработала свою награду примерно за минуту. Она подняла вверх руку, чтобы все увидели зеленый изумруд величиной с орех, затем подскочила ко мне, моментально посерьезнев, и коснулась коленом ковра.

Я заметил, что она не выбрала роскошного алмаза, который был намного ценнее всех остальных тридцати камней, и, следуя ее примеру, все остальные также сторонились его, оставляя его для Таис. Та с большой осторожностью поддела алмаз рычагом и аккуратно извлекла из оправы. Он ярко заиграл в ее бледной руке, отражая

неровное сияние сотни масляных светильников и красный накал жаровен. Меня порадовало то, что она завоевала драгоценнейшую награду благодаря любезности моих гостей, которые сдерживали в себе естественную женскую страсть к восхитительным драгоценностям — хотя, возможно, в этом не последнюю роль сыграло желание сохрания благосклонность Александра.

После того как отзвучала еще одна барабанная дробь, я встал и предложил тост за мою подругу этого вечера, выразив его в довольно красивых и изящных словах, но не вложив в них ни большого ума, ни оригинальности. Когда выпили за этот тост, я обратился к остальным дамам с краткой речью:

— Надеюсь, что каждая из вас будет дорожить заработанным призом как напоминанием об этом пире. Что же касается трона, лишенного его главных сокровищ, то я отдам его какому-нибудь хромому попрошайке, который, возможно, будет сидеть на нем возле стены и просить милостыню.

После получасового пиршества, во время которого молниеносно опустошались кувшины с вином и дух виноградной лозы, слегка было ослабевший, пока гости наблюдали за игрой, снова заиграл в полную силу, и евнух-сенешаль, как мы условились заранее, повелел музыкантам отдыхать, Таис снова поднялась на ноги.

— Царь Александр, можно мне задать вопрос в присутствии твоих гостей?

— Разрешаю.

— Ты говорил о троне из слоновой кости, который теперь лишился своих драгоценностей, как о подходящем даре для нищего.

— Да, говорил.

— Какие еще заслуживающие внимания сокровища остаются в этом зале?

— Очень мало, и ценность их невелика. Казначей считал каждую драхму, когда меблировал эту палату после того, как из нее унесли бесценные украшения, большинство из которых теперь лежит в моих сундуках. С виду обстановка кажется вполне роскошной, но столы и скамьи второсортного качества, а золотой орнамент — тонкая позолота. А почему ты спрашиваешь?

— Я подумала, а не отдать ли их в чьи-то лучшие руки, чем у нищего?

— Не могу разгадать твою загадку, прекрасная Таис.

— Я усложню ее, задав еще один вопрос — с твоего высочайшего позволения.

— Продолжай.

Теперь уже весь зал затих.

— А как с другими палатами в этом великолепном дворце?

— Все, что из них стоило взять, унесено. Простенькие драпировки и занавеси остаются, а также дешевые ковры и дубовая мебель без драгоценных камней или золоченой инкрустации.

— Это бывший дворец Ксеркса, и, учитывая его огромные размеры и славу Ксеркса, а также выбитую на ступенях похвальбу Дария Первого, дворец все еще является символом господства уже не существующих персов. К тому же ни одному эллину вовек не забыть, что Ксеркс захватил Афины, мой родной город, и превратил его почти в развалины. Везде на своем пути он разрушал и священные храмы. Теперь догадываешься, как бы я хотела распорядиться этим дворцом?

— Возможно, догадываюсь. Но продолжай.

— Царь Александр, мне бы хотелось отдать его в руки пожирающего пламени.

Последовало несколько секунд молчания ошарашенных гостей, затем я сказал:

— Таис, это было бы для нас избавлением. Мы могли бы смотреть на это как на мощный жертвенный огонь в честь Зевса, Бога Пылающего Солнца. Я даю тебе свое разрешение.

Эти слова были встречены ревом восторга моих илархов, таксиархов и лохагов. Они тут же встали. Только занавес отделял залу от прихожих около портала и от него самого. В этот момент музыканты грянули бодрый марш, известный моим воинам как марш победы. Таис с пылающим лицом вскочила на ноги и схватила светильник. Завидев мою поощрительную улыбку, поднялись и остальные дамы. Они тоже взяли по светильнику и выстроились в ряд за спиной Таис, смеясь и крича в сильном возбуждении, и она повела их через еще один задернутый занавесом портал к величественному лестничному пролету. Я тоже взял светильник, и все военачальники последовали моему примеру.



Мы вошли в задние комнаты и поднесли желтые языки пламени к занавесям, покрывалам кушеток, к обивке кресел и, перевернув большой кожаный сосуд со светильным маслом, к самому полу. Повара и слуги с криком бросились врассыпную. Мы уже слышали, как на верхнем этаже все громче трещит огонь, и когда спустились в гостиную палату, к нам вниз по лестнице с истерическим смехом и визгами прибежали и женщины. Все мы, следуя друг за другом, совершили полный обход гостиной залы, поджигая занавеси и скатерти и поливая горящим маслом ковры. Оркестр все еще играл свою бодрую музыку, мужчины плясали и топали ногами, а девушки поспешили в передние комнаты за своей верхней одеждой. Только тогда музыканты вышли вперед, дую во флейты и со всей силой ударяя по лирам и цитрам и, подскакивая от безумной радости, стали спускаться вниз по резной наружной лестнице с выбитыми на ней хвастливыми словами Дария.

Мы собрались в стороне от жаркого все разгорающегося пламени, в длинной галерее, ведущей к резной лестнице. Все еще ходили меж нас кувшины с вином, музыканты по-прежнему играли бравурную музыку, но им приходилось напрягать все силы, чтобы можно было их расслышать за ревом пламени, рвущегося прямо вверх, в безветренное ночное небо. Вместе с треском оно стало приобретать ровный низкий гул, захватив целиком всю постройку, ставшую теперь одним огромным бездымным костром, мечущим в небо огненные стрелы. Мы услышали глухой удар, когда третий этаж обрушился на второй, и еще один, мощный, когда оба верхних этажа рухнули на первый. И вот балки и несущие стены, которые скрепляли наружные каменные стены, прогорели, и одна из них отвалилась с грохотом горной лавины, который нам довелось однажды услышать среди снежных вершин Кавказа. Объятые благоговейным страхом, музыканты перестали играть. Из кувшинов больше не наливали, и никто не касался вина, уже налитого в чаши — все стояли, молча уставившись на пожар.

В конце концов огонь, а с ним и его гул, стал ослабевать. Еще одна стена обрушилась внутрь, ослабив третью, которая также рухнула. Две или три перепившие женщины отбежали в сторонку, где их вырвало, а несколько качающихся мужчин начисто протрезвели.

«Такое зрелище протрезвит любого,— подумал я,— рушится древний символ персидской власти; и известие об этом настигнет Дария там, где он от меня прячется. Он задаст вопрос, другой, покачает головой и постарается отгородиться от всех, кто бы его ни окружал. Однако это был всего лишь еще один удар, как от погонщика партии рабов, чтобы поторопить его на теперь уже недолгой дороге к смерти. Может, с трудом уже вспоминалось ему, что он был когда-то царем, малейшее слово которого считалось непреложным законом, который не мог перейти дороги без того, чтобы ее не покропили ладаном и миррой, перед кем другие цари должны были становиться на колени и класть земной поклон.

Возможно, ему казалось, что это и все остальное — бессмысленный ночной сон».

От надменного дворца могучего Ксеркса остались только задняя стена, громадная куча золы и две витые лестницы, ведущие к главному входу. Они почти не пострадали, и при свете масляных светильников, которые мы все еще сжимали в руках, так как мысль поставить их на землю просто не приходила нам в головы, отчетливо можно было различить и легко прочесть — а многие из нас учились персидскому языку — хвастливое изречение Дария:

...В согласии с его волей и моей собственной,  
Я, Дарий, не боюсь никакого врага.

Дрожат и стучат теперь кости в его гробнице — вот какая мысль пришла мне тогда в голову.

## 5

В этот вечер расставание с Таис было для меня невыносимо, поэтому мы вместе с ней зашли во дворец бывшего сатрапа, и здесь она впервые рассмотрела доставшийся ей в придуманной мною игре алмаз. Размер его — не менее ста пятидесяти каратов — навел меня на мысль, что этот камень носил Дарий в своей короне «Гора Снега», которую нашли в песке одной реки в Центральной Азии — у большинства древних персидских историков есть его описание. Теперь я увидел, что у него розоватый оттенок, тогда как «Гора Снега», как его раньше

характеризовали, ослепительно бел, как снежный сугроб в лучах солнца. Кроме того, «Гора Снега» был почти бесценным сокровищем, и мне не верилось, чтобы его могли использовать для украшения трона не из золота, а из слоновой кости и оставить во дворце, где царь в последнее время не бывал. Однако опасность воровства была очень мала ввиду того, что имя царя вызывало благоговейный трепет, и я оценил его в двадцать талантов, равноценных примерно сорока окам золота.

— Если ты хотел, чтобы этот алмаз достался мне, не было ли слишком рискованно позволить, чтобы двадцать девять женщин опередили меня в выборе камней? — спросила Таис.

— Я не думал, что риск будет серьезным. У меня была уверенность, что если первая не возьмет его и вторая тоже, то все остальные просто не осмелятся.

— Согласна. Если риск и был, то он ограничивался только этими двумя. Первая из них Астарт, названная так в честь богини; ее отец, военачальник Смерсис, сейчас находится у тебя в плену. Вторая — сестра Аркасы, царского правителя в Аринесте — и он твой пленник, к тому же раненый. Судьба так здорово служит тебе, царь Александр! Ни одна из этих женщин не оскорбила бы тебя ни за что на свете, уж не говоря о великолепном алмазе.

— Твои глаза, Таис, пожалуй, чересчур зорки, чтобы ты смогла стать другом-утешителем.

— Великий Александр! Как я могу осуждать твою хитрость, твою безжалостность, когда я сама пользуюсь приносимыми ими благодеяниями! Девчонкой я и мечтать не могла о таком замечательном камне. Мой царь, прежде я была состоятельной, а теперь богата, как жена сатрапа. Если я останусь в живых, я буду носить этот камень в Афинах — пусть его видит гвой враг Демосфен! И неважно, редко или часто ты будешь звать меня к себе, покуда ты жив, я никогда не приму от тебя другого дара. Пока ты не женишься или пока я не выйду замуж — может, только через много-много лет — я прежде всего буду обязана только тебе, и никому другому. Жаль, что из-за одного лишь случая, когда ты нарушил клятвенную верность мне — а ведь ты так создан, что не мог поступить иначе, — я отказалась от твоего покровительства и потеряла право быть твоей фавориткой.

— А тебе хотелось снова стать ею?

— Нет, мой царь, я не могу. С тех пор утекло слишком много воды. Может, когда-нибудь в будущем, не знаю.

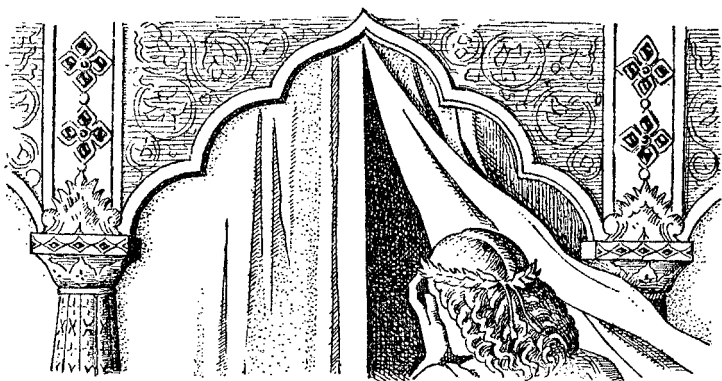
«Наверное, все дело в Птолемеях,— подумал я,— их отношения зашли слишком далеко». Но прежде я уже дважды касался этой темы, поэтому теперь выбросил ее из головы. Мое дело было — воевать и побеждать.

Всю ночь она оставалась прелестной подругой, хотя мы не достигли тех высот, с которых было видно так далеко и так легко дышалось, как при нашем последнем свидании. Что касается спаленного мной дворца, построенного Дарием, в котором хозяйничал Ксеркс, лишь одна мысль не давала мне покоя. Перед собравшимися там гостями я говорил об этом как о жертвенном огне, тогда как это был, конечно, всего лишь прием имперской политики. Я жалел, что не мог взять назад свои слова, ведь, как говорили, Зевс наказывал богов и людей, не говоривших ему правды.

Утром нечто, найденное в пепле пожара, вызвало у меня острое чувство жалости. Это были почти уничтоженные свирепым жаром тела мужчины, женщины и младенца. Они лежали совсем рядом друг с другом. Евнух-сенешаль, который знал дворец сверху донизу, исходя из того, в каком положении находились трупы, предположил, что это был привратник по имени Комаис — может, потому, что он прибыл из этого города — с женой и дочерью; они занимали небольшую палату на третьем этаже. Сенешаль добавил, что царь доверял ему больше, чем, казалось, заслуживало его скромное положение.

Они, без всякого сомнения, задохнулись от дыма и совсем не ощутили опаляющего прикосновения огня. К тому же редко можно воздвигнуть простую стену или выкопать большой котлован без того, чтобы не погибли один или двое людей. Затем евнух обнаружил кое-что еще, и эта находка заставила меня взглянуть на все дело совсем под другим углом. Под останками тела мужчины лежал небольшой медный сосуд почти цилиндрической формы с закручивающейся крышкой. В нем находился чрезвычайно мелко истолченный песок, который, по мнению сенешаля, являлся истолченным кремнем, более твердым, чем стекло. Очевидно, он потянулся за ним, когда проснулся в комнате, полной дыма.

Для чего ему был нужен истолченный кремь, как не для подмешивания мне в еду, когда я опьянею? Другого объяснения не находилось. В таком случае этот парень был убийцей, и, без сомнения, я был его намеченной жертвой. Значит, сам того не ведая, я произнес мудрую речь — ведь пылающий дворец действительно стал огромным жертвенным костром, на котором был принесен в жертву вместе со своими любимыми тот, кто являлся убийственным орудием царя или, возможно, честолюбивого Бесса. Эту жертву Зевс не обойдет своим благодарным вниманием.



## Глава 7

### КРАСНЫЙ ПРИЛИВ

#### 1

Великая битва при Арбелах произошла несколько дней спустя после дня осеннего равноденствия, вслед за моим двадцать пятым днем рождения, в двадцать шестом году от Александра. Когда снова наступила весна и бесконечные стаи водоплавающих птиц потянулись над головой, держа почти прямой путь из дельты Тигра и Евфрата к Каспийскому морю или, возможно, срезая путь к восточному концу Эвксинского моря, когда облагодетельствованная легкими дождями вновь ожила пустыня и стали веселыми даже маленькие птицы, я снова приготовился выступить в поход.

Я все еще не захватил бежавшего Дария и не получил надежных вестей о его смерти. По последним сведениям, он находился в Экбатанах, недалеко от Арбел, и пытался собрать еще одну армию, хотя это ему удавалось с трудом, поскольку его имя потеряло свою магическую силу. Один наблюдатель предполагал, что у него войско в тридцать пять тысяч солдат — жалкая цифра по сравнению с теми, что он сообщал раньше, но не намного ниже той, во что оценивалась совокупная сила моей армии. Я не думал, что он затеет сражение со мной по всем правилам; и все же при умном командовании такое войско могло бы сильно

замедлить мое победное продвижение и занять прочную оборону в тех или иных горных коридорах, которые мне необходимо было пройти на моем пути вперед.

Его солдаты были в числе лучших, которые когда-либо служили под его началом, включая тысячу из пятнадцатитысячной царской гвардии, храбро сражавшейся при Арбелах; остатки эллинов-наемников, превосходных лучников — парфян и индов. Ему остались верными несколько сатрапов и военачальников, но мне приходилось серьезно считаться только с двоюродным братом Дария Бесом, который в последней битве проявил храбрость, настойчивость и изобретательность.

Нет, сам Дарий не осмелится снова ввязаться со мной в сражение. Так заявил высокий жрец в храме Зевса-Амона, причем эту весть сообщил ему сам Зевс.

Моя армия, за исключением оставленных позади гарнизонов, направилась форсированным маршем в Экбатаны. На расстоянии трех дней пути от города ко мне в лагерь прибыл дезертир с хорошей новостью: войско Дария, сократившееся теперь до восьми тысяч, узнав о моем приближении, поспешно отступило в сторону Бактрии. Придя в Экбатаны, я демобилизовал фессалийскую и эллинскую конницу, кроме македонцев, но позволил добровольцам поступить снова ко мне на службу в качестве наемников. Тем самым я формально известил Грецию о том, что больше не являюсь полководцем греческой армии — что у меня собственная армия. Это уже давно было именно так. Однако я оставался главой Греческой Лиги и царем всей Греции, а также всей Азии.

Здесь же я решил и другие административные вопросы. Огромная казна, захваченная в Вавилоне, Сузах и Персеполе, была помещена в крепость в Экбатанах, а казначеем при ней я оставил Гарпала. Пармениона, которому недалеко уже было до семидесяти, я поставил управлять большой территорией, простирающейся к востоку, — должность больше почетная, чем властная. Номинально он считался охранником казны, но настоящая охрана состояла из шести тысяч преданных македонцев из фаланги под началом Клита, который сам в данный момент выздоравливал от серьезной болезни в Сузах. По завоеванным мною землям без труда прошло ополчение из шести тысяч греческих добровольцев и пополнило мою армию, но только как наемники, а не греческие патриоты.

Путь в Раги мы выбрали более длинный, но менее трудный, хотя люди и лошади сильно пострадали от летней жары. Оттуда, все еще гонясь за Дарием, двинулись к проходу, носившему название Каспийские Ворота, — узкому ущелью в Соляных горах. Затем двое знатных персов, дезертировавших из быстро тающего лагеря Дария, принесли нам удивительную новость: предатели, возглавляемые Бессом, арестовали Дария и заковали его в цепи, и только наемники-эллины хранили клятву верности бывшему царю. Я почти не сомневался, что честолюбивый Бесс стремится стать властелином собственного царства в каком-нибудь окруженном и защищенном высокими горами районе.

Оказывается, наемникам-эллинам удалось передать Дарию приглашение перейти в их попечение. Когда же тот отказался, они поняли, что связывающие их узы разорваны и в дальнейшем помочь ему они не смогут; они свернули с большой дороги и ушли в горы, где им, вероятно, предстояло пасть жертвою диких племен.

Теперь моей целью было не захват Дария, а освобождение его из рук изменников. Для достижения ее я ринулся в погоню, не жалея сил, взяв с собой конницу гетайров, легкую кавалерию и несколько выносливых пехотинцев. Кратеру с оставшимся войском я велел идти следом за собой обычным походным шагом. У нас было с собой только оружие и на два дня продовольствия, поэтому мы быстро настигали беглецов, расположившись лагерем недалеко от того места, где стоял когда-то знаменитый храм Зороастра. Наш следующий переход длился восемнадцать часов и проходил меж высокими горами с одной стороны и солевыми болотами и пустыней — с другой. Нам приходилось все время пить воду с соленым привкусом, поэтому, оказавшись у речки с пресной водой, мы остановились немного передохнуть и освежиться. В мертвом городе на равнине — по его улицам бродили только духи — мы слышали, что Бесс надел высокую тиару, древний и странный символ персидских царей. За эту чудовищную наглость, поклялся я себе, он заплатит пыткой и смертью.

Нас разделял всего лишь день пути. В попутном селении нам рассказали о более короткой дороге, чем та, большая, по которой ушел Бесс, лежавшей на пересеченной и совершенно бесплодной местности, которую пешим



солдатам было не осилить. Поэтому я спешил пятьсот всадников легкой кавалерии и посадил на их коней то же самое число тяжело вооруженных пехотинцев и в сопровождении одних верховых проделал с наступления вечера и до рассвета следующего дня четыреста стадий.

На рассвете мы увидели отряд бактрианцев, скачущих в арьергарде армии Бесса и его царского пленника. Горцы развернулись, словно намереваясь оказать сопротивление, но, хорошенько разглядев большого черного коня и его всадника, большинство из них стеганули своих низкорослых лошадей и пустились наутек. Немногие попавшие нам в руки быстро отправились на тот свет. Конец погони был совсем близок.

Говорят, что Бесс понуждал обреченного царя пересест из колесницы на лошадь. Несомненно, эта трогательная забота имела целью поднять престиж Бесса в первом же городе, способном обороняться его уже небольшими силами. Дарий отказался. Так мы и обнаружили то, что осталось от него — в колеснице, все еще прицепленной к четверке бесцельно бредущих лошадей. Он был весь исколот копьями, и в глаза его опустилась ночь.

Но даже в этом истерзанном теле оставалось какое-то величие и великолепия. Дарий был человеком крупных размеров, ростом в семь футов или очень близко к этому, с благородным лицом. Все мои спутники последовали за колесницей, отдавая честь покойнику, я же замер по стойке смирно на своем неподвижном черном скакуне. Затем я завернул тело в свой плащ и распорядился как можно более осторожно отвезти его в Персеполь и похоронить в царской усыпальнице, где были похоронены и другие могущественные цари, сидевшие до него на его троне и один за другим сошедшие с него в темное царство смерти, которая без разбору забирает любого человека — от самого смиренного до самого великого.

## 2

Вскоре после нашего прибытия в Гекатомпилос\*, ближайший город на равнине, к моим экспедиционным силам присоединились солдаты, которые до этого шли по большой дороге. Совершенно очевидно, мои македонцы наде-

ялись и даже осмеливались верить в то, что со смертью Дария их войнам в Азии наступил конец. Что ж, с их точки зрения разумно было бы поставить этот вопрос. Вообще-то говоря, мне и им стала принадлежать вся Персидская империя с ее неисчислимыми накоплениями золота и удивительно прекрасными женщинами. Сыновья всех матерей имели небольшой золотой запас и могли наращивать его до тех пор, пока каждый не мог отправиться разбогатевшим домой. Несомненно, они тосковали по родным пастбищам, по своим грубым холмам и еще более грубым играм, по шумным пьяным ссорам, которые они называли пирами.

Там, вдалеке, думали они, лежит только каменистая пустыня и стоят горные хребты, громадные, таинственные, непроходимые. А к востоку от них колышется Океанское море.

Я должен был пробудить их от этого сна и сделал это, дав им другой, в котором им виделись прекрасные города, богатства и танцующие девы Индии. Но прежде чем они смогут насладиться ими как добычей и развлечением, они должны были помочь мне поймать Бесса, убившего Дария и имевшего наглость носить высокую тиару, на что право было только у Александра.

Под шлемом в моей голове таились и другие идеи, о которых я пока не распространялся. Непокоренными еще оставались различные племена Кавказских гор и в районе Аральского моря. У них над любовью к женщинам преобладала любовь к грабежам и ночным нападениям из засады, и нельзя было допустить, чтобы они беспрепятственно и без страха беспокоили нас с флангов и с тыла. Кроме того, я не был уверен, что служившие когда-то у Дария наемниками эллины, бежавшие в горы, не объединятся с бандитскими племенами и не обучат их военной тактике в достаточной мере, чтобы они могли захватывать горные проходы, затруднять наше продвижение и причинять нам серьезные неприятности.

Мы выступили в поход, и, когда пришло время, я разделил войско на три неравные части: одну я взял под свое начало, другую поручил своему толковому военачальнику Кратеру, над третьей частью, куда вошли повозки с осадными машинами и обоз, я поставил Эригия, дав ему своих наемников-эллинов и конницу. Каждый из трех отрядов пошел по своему маршруту с учетом их трудности.

Я направился к южным берегам озера Гиркания, которое персы называли Каспийским морем. Оттуда мы дошли до столицы Гиркании, где с нами снова соединился Кратер. Теперь мне покорились сатрапы Парфий и Гиркании и другие крупные персидские правители.

Кроме того, я принял эмиссаров, посланных ко мне остатками отколовшихся от войска Дария наемников с предложениями условий сдачи. Я отослал их назад, велел передать своим, что приму только безоговорочную капитуляцию. Блуждая в горах, находясь во власти диких племен, они не имели выбора. Те, кто выжил, пришли ко мне в лагерь беспорядочной толпой — их было полторы тысячи. После небольшой нерегулярной войны с воинственными непокорными мардами мы устроили большое пиршество с играми и принесли жертвы богам.

В Сузах\* до нас дошли первые достоверные сведения о Бессе, и они поразили меня. Оказывается, он в Бактрии объявил себя царем Персии. Он надел роскошное одеяние и царскую тиару и называет себя не Бессом, а Артаксерксом IV. Более того, он собирает армию из бактрийцев и свирепых скифов, намереваясь воспрепятствовать моему проходу. Даже смерть Никанора, младшего сына Пармениона, не могла задержать моего яростно-стремительного броска. Никанору устроили прекрасные военные похороны две тысячи моих солдат под командованием Филота, старшего сына Пармениона, все еще находящегося в тени моего подозрения. Мне в моем нынешнем предприятии эти люди были не нужны.

Вскоре после выступления из Сузии я назвал своим именем многообещающий город в плодородных землях, стоящий на караванном пути. В это время я стал надевать одежду мидийцев, что вызывало некоторое недовольство Птолемея, единственного, кто осмеливался ворчать на меня в моем присутствии. Большинство македонцев за трапезой у костров вели себя подобным же образом, о чем докладывал неизменно преданный мне Гефестион. Это одеяние можно было назвать сочетанием персидского и греческого и оно превосходно подходило для рожденного в Греции повелителя Азии.

Недовольство Птолемея меня несколько не возмутило. Ведь он был слишком давнишним и дорогим мне другом — а я потерял так много друзей детства: кого в сражениях, кого забрала болезнь, а некоторых стубила изме-

на. Мы с ним не говорили о Таис, ставшей теперь фактически его любовницей и потерянной для меня навсегда. Я и не винил ее — ведь уже который месяц я не звал ее к себе, целиком погруженный в свои войны и административные проблемы и ведя целомудренный образ жизни.

Но вновь погоню за Бессом пришлось прервать, как я полагал, ненадолго, на этот раз из-за отречения сатрапа Арии, сдавшегося мне в Сузии. Он убил моих всадников-лучников, которых я там оставил, и призвал сторонников Бесса собраться в городе Артакоане на реке Арий, в сотне стадий к юго-западу. Я с сильной армией пошел к этому гнезду изменников, которые при моем приближении бежали. Там всех, у кого было найдено оружие, я предал смерти, оставшееся население продал в рабство и переименовал город, назвав его Александрия Ариана. Его новым жителям, съехавшимся из окрестных сел, предстояло знать этот город только по этому названию, а прежнему, Артакоана, вскоре суждено было исчезнуть из языка. В новом городе сходилась несколько караванных путей, и я не сомневался, что своим будущим великолепием он будет достоин своего имени.

В этой богатой области я пополнил свои интендантские запасы. Я пошел дальше на юг, чтобы проучить еще одного непокорного сатрапа, и заставил его бежать, решив, что займусь им позже. В этом походе ветер, за который я благодарил Эола, — Зевс не стал бы на такие пустяки тратить свое дыхание — принес мне легкую победу над небольшим племенем, осмелившимся стать на моем пути, за что внезапно последовало быстрое возмездие. После короткого столкновения эти глупцы, спасаясь, устремились вверх по лесистому склону горы, другая сторона которой представляла собой крутой обрыв в пропасть. Я просто поджег сухой лес, а резвый ветер, дующий в ту же сторону, сделал все остальное.

В городе Профтасия, на караванной дороге, ведущей на юг от моего нового города Александрии Арианской, зловеще забрезжил печальнейший в прожитой мною до сей поры жизни день. До дня зимнего солнцестояния оставалось две луны, деревья уже сбросили лиственный покров, и скрежетали оголенные их ветви, раскачиваемые холодными ветрами со снежных вершин Гиндукуша. Вскоре после завтрака я получил информацию из надежных рук, что небольшая группа недовольных македонцев уст-

роила против меня заговор. За этим последовало еще худшее известие: не оставалось никаких сомнений в том, что друг моего детства и сын старого верного Пармениона Филот знал о заговоре, если и не был на деле его участником, и не сообщил мне о нем.

Я ничего не предпринимал весь день и только ближе к вечеру пригласил к себе на ужин военачальников из своего ближайшего окружения, включая Гефестиона, Кратера и Кена. Птолемея я не пригласил, чувствуя, что он будет помехой тому, что я намеревался сделать. Среди приглашенных был и сам Филот.

Около полуночи я отдал неожиданный приказ заключить Филота под стражу. О причине я ничего не сказал, а если он и догадывался, то вида не подал, не осмелился спросить, хотя и вперился в меня странно потемневшими глазами. Когда его увели, я сообщил гостям полученную мной отвратительную новость и распорядился, чтобы они немедленно арестовали служащих под их началом заговорщиков. Один из них, которого я едва знал, бывший, очевидно, их главарем, попросил разрешения сходить за плащом и головным убором перед тем, как его уведут законным в цепи, и, воспользовавшись кратким отсутствием, перерезал себе горло собственным мечом, приняв милосердно быструю смерть. Всех остальных арестовали, днем предали суду и обвинили в тяжком преступлении.

В ответ все они заявили, что невиновны, но это можно было уже не принимать во внимание: самоубийство их близкого друга Димна было равносильно признанию вины. Никогда еще у меня не сжималось так горло, как в тот момент, когда я произнес приказ отвести Филота в другую палатку и подвергнуть пытке. Эту жестокую обязанность поручили Гефестиону и его помощникам — Кену, Кратеру и человеку, который приходился Филоту родным дядей.

Сначала Филот предложил малоубедительное объяснение тому, что не сообщил мне о заговоре: он якобы не поверил в его существование, решив, что это просто слухи, которым не стоит придавать значения. Его продолжали пытать, и он признался, что сам не хотел покушаться на мою жизнь, но предполагал, что вскоре меня убьют за то, что я носил одежду мидийцев, отвернулся от старых друзей — македонцев и соратников, завел себе близких друзей среди персов и усвоил их манеры и образ жизни.

Он сказал, что только принимал участие в разговоре о том, что им нужно предпринять и кому быть за главного, когда это событие произойдет. Гефестион слышал, как он назвал имя своего отца Пармениона в качестве фигуры, более всего подходящей для роли моего преемника, но Филот тут же отказался от своих слов, говоря, что имел в виду Птолемея — что было уж совсем невероятно, поскольку Птолемея всегда возмущало хвастовство Филота и его высокомерное поведение среди равных себе. Как ни странно, ни Кратер, ни Кен, занятые орудиями пытки, не могли вспомнить, чтобы обвиняемый упоминал имя Пармениона. Наконец Филот полностью признался в своей вине.

Не отчет Гефестиона заставил меня спешно отправить письма надежным военачальникам в Экбатаны, где находился штаб Пармениона. На первый взгляд жестокость в действительности являлась проявлением доброты, ибо нельзя было допустить, чтобы старик узнал об измене своего сына и грядущем наказании. Поэтому я приказал своим людям захватить его врасплох и лишить его жизни быстрым ударом меча. Что касается самого предателя, его поразили копьями насмерть на виду у всей армии. Это зрелище привело в уныние моих македонцев, наверное, многие из них зажмурились, чтобы не видеть его, но все же оно было необходимо, чтобы подавить их недовольство, и, несомненно, поубавило опасность мятежа.

Для меня эта зима оказалась самой тяжелой в моей жизни. Она уже настолько вступила в свои права, что я не мог перебраться через Гиндукуш в Бактрию. Восстание ариев вынудило меня к еще одному походу, и в этом, в основном, был виноват Бесс, вознамерившийся беспокоить меня с тыла и флангов. Я разбил его отряды, и моим единственным вознаграждением за эту задержку, единственным утешением было основание нового города, Александрии-Арахосии, откуда мой гарнизон мог бы защищать от налетчиков проходы в восточных горах.

Зима тянулась уныло и бесконечно долго, и ранней весной мы приготовились к тому, чтобы перевалить через Гиндукуш. В своем нетерпении я слишком поторопился отдать приказ взбираться на эти кручи, труднодоступные холодные горы, возвышающиеся более чем на пять тысяч локтей над высоким плоскогорьем. Мы стремились к северо-восточному проходу в верховье реки Окс, где Бесс вряд

ли мог воспрепятствовать нашему продвижению. Но глубокий снег, неумолимый холод и ледяные ветры были соперниками пострашнее. Немало моих солдат умерло от обморожений, у других солнце, отражаясь от снежных покровов, вызвало временное ослепление, некоторые погибли в лавинах или сорвались вниз. Больше всего хлопот доставил нам вещевой обоз. Нередко большие команды из солдат, рабов и пленников должны были поднимать их по крутым скатам. Телеги и повозки, в которых было немало девушек и женщин — жен, наложниц и сопровождающих армию, чье присутствие служило утешением многим начальникам и рядовым и предотвращало открытый мятеж, — также причиняли нам серьезные беспокойства, от которых немного спасали доблесть возниц и то обстоятельство, что они выносили все это без жалоб.

Один раз перед моими глазами предстало восхитительное зрелище. Посреди крутого склона, где под жгучим солнцем уже растаял снег, обнажив траву, такую же молоденькую и нежную, как весной в Греции, я увидел неподвижно застывшего на верхушке скалы большого дикого барана, которого готов был принять за властелина горных вершин. Голову его венчала корона из выющихся рогов. Такая же корона, только из золота, оказавшись на голове великого Дария, сломала бы ему в конце концов шею. Я назвал его Искандером — именем, которым меня нарекли в горных цитаделях Центральной Азии. Зная мое пристрастие к дикой баранине, вероятно, лучшему мясу на свете, кое-кто из моих телохранителей попросил разрешения подкрасться к нему и меткой стрелой сбить этого владыку с его трона, но я отклонил их добрую заботу обо мне.

Как мы радовались, когда оказались за высоким перевалом и начали спуск к верховьям реки, порой называемой Желтой Рекой. Теперь, вместо того, чтобы толкать и поднимать повозки и, налегая на них с бычьей силой, тянуть их вверх по дороге, нам приходилось сдерживать их напор и иногда подкладывать камни под колеса, чтобы они не загремели вниз, увлекая за собой лошадей. Пешим приходилось идти на негнущихся ногах, вгоняя каблуки в землю, чтобы не скользили ноги, и от этого у армейского строя был комический вид. И только немногие из моей вспомогательной кавалерии, выросшие в горах, отваживались спускаться вскачь на своих крепконогих пони. В этом

развлечении мои славные гетайры не составили им компанию. Они оставались угрюмыми с тех самых пор, как казнили Филота, их когда-то горячо любимого начальника. Я надеялся, что они воспрянут духом, когда мы, наконец, вступим в схватку с войском Бесса, на чью голову возлагалась вина за все наши беды.

У моих людей появилась причина клясть его еще страшней, чем прежде, когда мы достигли засеянных по весне полей у подножия горы и увидели, что они почернели от огня, зернохранилища уничтожены, земли опустошены. Голодные и разъяренные, мы поспешили в Драпсаку, все еще идя по следам Бесса, а затем в Аорн. Это был обнесенный стеной и удобный для обороны город, но преследуемые нами там не остались.

Было совершенно очевидно, что ои<sup>1</sup> направляется в Мараканды на границе Согдианы, который легко оборонять, но трудно взять. К югу местность, где горы перемежались пустынями, давала ему все преимущества, особенно если он смог бы привлечь под свои знамена, в чем я не сомневался, местных воинов — сильных, отважных наездников и бойцов. Более того, мы получили хорошо обоснованные, но еще не проверенные сообщения, что там к нему присоединились царь Бактрии Оксиарт и могущественный сатрап Спитамен со значительными силами и достаточным довольствием.

Отсюда мы резко свернули на запад, затем на север, затем снова на запад, чтобы попасть в Бактры, столицу Бактрии, лежащие на главном пути в Мараканды. Здесь я намеревался реорганизовать свою армию, разделив старые подразделения и создав новые, лучше приспособленные для схватки с Бессом среди гор и пустынь. Здесь же я надеялся узнать, как обстоят мои личные дела и, возможно, добиться какого-то успеха.

Я поселился во дворце царя Оксиарта, и никто этого не оспаривал — одно мое имя служило прекрасным ключом и средством, способным подавить любой голос протеста. Царь отсутствовал, он находился на севере — так сообщили мне его слуги, когда встали с колен. Я вызвал к себе только Клодия, самого надежного своего лазутчика, которого заранее отправил вперед под видом персидского купца с караваном ковров из Экбатан.

Стоило только мне со слугами устроиться поуютней, как появился мой человек, которого сразу же провели ко



мне. Он ответил на мое приветствие на безукоризненном греческом — он был сыном грека-раба, и его жена натерпелась от персидского сатрапа, и его самоотверженность у меня на службе, а может, и его собственные силы происходили оттого, что он ненавидел все персидское, и эта ненависть подстегивала и дисциплинировала его ум.

— Говорят, царь Бактрии сейчас на севере, — сказал я ему. — Ты знаешь, где именно и что он там делает?

— Мой царь, нет сомнения — он в Маракандах, где держит совет с царем и высокопоставленными властями относительно совместных действий по защите своих земель.

— Я слышал об одном, наделенном большой властью. Он весь кипит ненавистью ко мне. Это родственник Дария и зять Оксиарта. Его зовут...

— Сухраб, мой повелитель, — подсказал Клодий, когда я сделал вид, что не уверен.

— Да, да, его зовут именно так. Он в Бактрии?

— Нет, мой повелитель. Он и его жена Роксана уехали с Оксиартом в Мараканды. Отец Сухраба приходился Дарию дядей, а его мать — скифская царевна. Поскольку Оксиарт надеется заключить союз со скифами против тебя, его связь со Скифией и родственные отношения с ее царем будут иметь большой вес в этих делах.

— Так ты полагаешь, они скоро вернутся в Бактрию?

— Нет, мой царь. Сомневаюсь, что ты сможешь увидеть Оксиарта или Сухраба до тех пор, пока не встретишься с ними в сражении и не победишь.

— Хороший совет. Мой казначей встретит тебя у главного входа; ты можешь идти.

Мое прибытие в город и эта краткая встреча произошли ближе к вечеру. Царским охранникам, стоявшим у входа во дворец, я послал мой приказ не впускать никаких послов — пусть приходят и просят об аудиенции на следующее утро. Это распоряжение распространялось на всех потенциальных посетителей, за исключением Птолемея и Гефестиона, хотя я не предполагал, что кто-то из этих двух должен посетить меня. Так как я заранее принимал это в расчет, я не удивился, узнав, что Роксана находится в Маракандах. Согласно тому, что она говорила мне в Додоне, в это время года ее обычно не бывало на севере, зато ее любимый дядя, маг Шаламарес, обитал

там в большом храме, и я подумал, что она, наверное, все еще старается навестить его там при любой возможности. До обеда мне хотелось изучить хорошо прорисованную, подробную карту Бактрии, изготовленную магами и доставленную мне парфянским лазутчиком. После этого я предполагал вызвать к себе Гефестиона, который лучше всех понимал мои цели и который стал моим доверенным лицом в большей степени, нежели Птолемей, и, возможно, моим ближайшим другом.

Тут, слегка раздосадовав меня, вошел дворцовый охранник. Он прервал мое занятие, сообщив, что меня срочно хочет видеть женщина в глубоком трауре, прибывшая ко дворцу, как и ее единственный слуга, верхом на осле.

Я ответил ему с раздражением, приказав отослать эту женщину прочь: я не сомневался, что это вдова или мать какого-нибудь знатного бактрийца, убитого или захваченного в плен при Арбелах, которая пришла что-то просить.

— Я так и сделаю, царь Александр, если таково будет твое желание, когда ты услышишь все. Она назвалась Ксанией, подругой девушки, с которой ты обращался к оракулу в дубовой роще в Додоне много лет назад. Она хочет передать тебе что-то на словах.

Начальника охраны, должно быть, очень удивило, как резко изменились мое поведение и голос.

— Она молодая или старая? — задал я бессмысленный вопрос, чтобы только перевести дух.

— Это я не могу сказать, царь Александр: на ней плотная вуаль, какую у персов положено носить при трауре. Она довольно резко спрыгнула с мула, и ее голос показался мне молодым. Узнав во мне грека, она заговорила по-гречески, но, судя по росту и персидскому платью, она, я думаю, персиянка.

— Впусти ее одну, без сопровождающего, в переднюю у входа и вели ей подождать.

Прежде чем покинуть палату, являющуюся библиотекой, состоящей из книг и свитков, написанных в основном магами, я прицепил на пояс свой меч, который перед этим удобства ради снял. Есть много способов совершить покушение на жизнь царя, и в моей империи было не счесть тех, кто жаждал моей смерти любой ценой; среди них могла бы оказаться и обезумевшая вдова важного перса

или бактрийца, убитого при Арбелах. Она могла бы выведать, какие слова могут послужить паролем для проникновения в мое жилище, благодаря доверительным отношениям с Роксаной, которые пришли ей на память, когда она узнала о моем прибытии.

Я скрепил застежкой плащ, чтобы не было видно меча, и вошел в переднюю. Там ждала женщина под густой вуалью и, как мне показалось, была совершенно спокойна, чего вряд ли можно было ожидать от убийцы. Но мне не хотелось, чтобы она рассказывала мне о Роксане, пока не подойду к ней вплотную — ведь у передней комнаты вместо двери висел лишь роскошный занавес, а дворцовые слуги, в большинстве своем рабы Оксиарта, несомненно, имели длинные и любопытные уши.

— Что тебе надо?

— Во-первых, царь Александр, чтобы мне было разрешено приблизиться к тебе или чтобы ты сам подошел поближе ко мне, потому что новости, которые я принесла тебе, совершенно секретны.

— Я подойду к тебе, но сначала я должен достать свой меч. Это мера предосторожности, которую царь вынужден принимать, имея дело с незнакомцами.

— Достань его, если желаешь, и приставь к моей груди.

Когда она это говорила, ее голос насторожил меня: слышал ли я его раньше? Я не мог ответить на этот вопрос. Я вытащил меч и держал его наготове, не касаясь ее острием. Зачем? Я мог нанести ей удар с быстротой змеи, если бы она попыталась выхватить кинжал.

— Что же за важный секрет, из-за которого ты пришла сюда без моего вызова? — осведомился я.

Правой рукой очень медленно она подняла вуаль. Я взглянул на ее лицо — и кровь бросилась мне в голову, рука расслабленно опустилась, и я едва не выронил меч. Эта молодая женщина на три больших пальца была выше моей спутницы на дороге в Додону, которая позже задавала вместе со мной вопросы в дубовой роще, а еще позже, перед костром, унеслась со мной в колдовском полете, но я точно знал, кто она такая, и у меня не было ни тени сомнения.

После тридцати тысяч стадий боевого пути и одиннадцати разделявших нас долгих лет я наконец-то нашел Роксану.

Роксана заговорила, конечно же, весело щебеча, как она обычно делала, когда не присутствовала на церемонии, и я вдруг вспомнил этот веселый щебет во всей его жизнерадостности, но вынужден был строго ее прервать:

— Ступай за мной в библиотеку, женщина, и там я выслушаю твою просьбу.

Она подчинилась и пошла за мной скромно и степенно. Я не сомневался, что слуги Оксиарта заметили ее, но вряд ли они могли узнать ее под густой вуалью и, по всей видимости, в трауре. Вероятней, они приняли ее за одну из моих фавориток, скрытую под этим облачением, а когда мы вошли в библиотеку, они, конечно же, подумали о смежной с ней спальне, запирающейся на крепкий засов. Я радовался этому обстоятельству и жаждал воспользоваться им так, как мог бы представить себе любой маломальски искушенный наблюдатель, и сила этой жажды удивила меня — ведь с тех пор, как мы виделись в последний раз, промчались долгие годы, было много битв, у меня в мозгу и в душе, а также в светском положении постепенно произошли изменения огромной важности. Однако я отнюдь не был уверен, что результат нашего сегодняшнего свидания будет именно таковым. Я помнил, что имею дело не с какой-нибудь юной простушкой, а с женщиной необычной, чьи ближайшие действия и слова были для меня совершенно непредсказуемы.

Я провел ее в комнату, где пахло старой кожей книжных переплетов и папирусом, убедился, что обе двери заперты на засов, и повернулся к ней. Она уже сбросила с себя капюшон, вуаль и черное облачение, которое обволакивало все ее тело. Под ним она носила цельный шерстяной халат, как и тогда в Додоне, но только этот был тончайшей выделки из ткани, которую купцы называли «кашмир» — по имени страны под Гиндукушем, известной нам, грекам, как Парси. Юбка была длинней, чем раньше, так как теперь ей не нужно было вскакивать на косматого пони и прыгивать с него, а меховые подштанники с чулками отсутствовали или были не видны. Она носила персидские туфельки. Никаких украшений на ней не было. Теперь прежде скрытые под капюшоном светлые волосы цвета пшеничной соломы свободно ниспадали на плечи.

Пока я рассматривал ее, она молчала. Она подросла, но в остальном физически мало изменилась; груди увеличились и стали рельефней — возможно оттого, что ей пришлось рожать,— но лицо осталось почти прежним. Ее красота сохранила свою свежесть и необычную живость: в ней было что-то пугающее и завораживающее. Мне показалось, что косящий разрез ее глаз — оттого, что их наружные края слегка были вздернуты вверх — стал более выраженным, но синяя кайма вокруг светло-серой радужной оболочки осталась неизменной, и в свете многих светильников они горели живым блеском. Под расстегнутым воротом траурного одеяния, слишком теплого для такой мягкой погоды, я разглядел изящество тонкой шеи и ключиц, имеющих совершенное очертание под обтягивающей их тонкой кожей.

У Таис и Роксаны шейки были удивительно схожи, и, возможно, именно поэтому я вспомнил о Роксане, когда впервые встретил Таис. Во всех остальных отношениях, касающихся физической гармонии, они довольно сильно отличались друг от друга. В красоте Таис было что-то таинственное, замечательное в ее неопределенности; а в красоте Роксаны не было никакой загадочности. Да, обе были молодыми и красивыми, но помимо этого между ними не замечалось никакого сходства. Душой и умом они, по-моему, были совершенно разными.

— Да, долго же ты добирался сюда,— вдруг заметила она бойким, как я и ожидал, тоном. Таис не осмелилась бы обратиться ко мне с каким-либо замечанием прежде, чем я сам первым не заговорил бы с ней, и такое отношение к царю со стороны подданного и впрямь казалось оскорблением, заслуживающим наказания.

— Я сказал тебе, Роксана, что через два или четыре года я не смог бы прийти. Признаюсь, я не ожидал, что на это путешествие уйдет одиннадцать лет.

— Ты откусил больше, чем смог прожевать,— резко заметила она.

Как ни странно, подобное выражение существовало у греческого народа, с той только разницей, что греки говорили «больше, чем можешь проглотить». Я так думал, что это местное выражение. На самом же деле что-то схожее, так чудесно характеризующее человеческие зубы и глотки, известно многим народам, за исключением, может быть, только катаян, где еда мягкая и мелко нарублена — хотя,

как известно по крайней мере, их большие начальники грызут кости. Мне об этом во время паломничества рассказал маг, который ужинал со мной вместе, и с тех пор я ловко исключал страну этого народа из своего представления об Азии, так как считал, что она лежит далеко за намеченными пределами моих завоеваний.

— Как я и говорил тебе, мне пришлось прокладывать путь сюда мечом.

— И, как я ответила, в таком случае я сотворила большое зло, пригласив тебя к себе.

— Не согласен. Я твердо убежден, что боги вложили тебе в уста это приглашение.

— Впредь я была бы благодарна богам не говорить моим языком, а оставить это дело мне. Ты не разрешишь мне присесть, Александр? Мое седалище слегка побаливает от этого осла, на котором я приехала — у него нескладная поступь.

Итак, как подданная, обращающаяся к царю, она совершила еще две крайне дерзостные ошибки: попросила разрешения присесть до того, как я сам предложил ей это, и обратилась ко мне по имени без должного титула. Я понял, в чем дело: просто наше общение возобновилось в том месте, где оно прервалось одиннадцатилетним молчанием. Моя надежда на то, что наконец я препровожу ее в смежную комнату, стала несколько радужней.

— Можешь сесть, Роксана, — ответил я довольно высокомерно.

— Умоляю тебя, не надо этого повелительного тона в обращении со мной. Я только попросила тебя быть вежливым. Ты еще не завоевал Бактрию; я все еще подданная моего отца Оксиарта. Теперь он более независим, чем тогда, когда мы были в Додоне, потому что Дарий умер и ему больше некому подчиняться. К тому же большинство его земель по праву завоевателя находятся в руках чужака, не принадлежащего древней династии. Если ты настаиваешь на церемонии, подобающей императору, и тем самым не хочешь быть тем Александром, которого я знала на дороге в Додону, тогда я тоже буду не Роксаной, а царевной Бактрии, чья династия намного древнее твоей, и сразу же распрощаюсь с тобой.

Я и представить себе не мог, что кто-то из людей снова будет говорить со мной подобным образом. К тому же она закончила свою дерзкую, если не сказать наглую, речь

внушительной угрозой. Я не мог и мысли допустить, чтобы она сразу же ушла. Я совсем не хотел, чтобы мы снова расстались с ней. Она мне нужна была такой, какая есть, жизнерадостной и неукротимой. Я нуждался в ней — вот как, по более трезвом размышлении, обстояло дело, если это действительно была необходимость, а не преходящая блажь.

— Я слышал, что ты вышла замуж за Сухраба. Это, несомненно, произошло, когда тебе исполнилось семнадцать лет, как требовал Оксиарт, ты ведь так говорила. А может, еще раньше, как только ты вернулась в Бактрию.

— Нет, до семнадцати лет я ждала тебя, как и обещала.

— Ты родила ему детей?

— Мой ребенок родился мертвым. — Голос ее упал, и блеск глаз помутился от дымки слез.

— А теперь он хочет быть на самом переднем плане сражения, чтобы помешать моим завоеваниям.

— Несомненно, так оно и будет. Более того, он опасный соперник.

— А тебе грозит опасность стать вдовой.

— Возможно. Не счесть тех женщин, что стали вдовами, потому что их мужья стали на защиту родных земель и пытались помешать твоим завоеваниям. Да, не к добру я звала тебя к себе, в то время я и представить себе не могла, чем это может обернуться, и, пожалуйста, не говори мне больше, что все это внушили тебе боги. Мой бог, Заратустра, который был когда-то таким же смертным, как мы с тобой, не вложил бы подобные слова в мои уста. Я должна принять их нечестивость на свою душу и, по возможности, искупить свой грех. Хуже то, что этому злу суждено еще долго жить на свете. Если ты думаешь, что битва за Бактрию будет лишь небольшой стычкой, ты ошибаешься. Бактрийцы, в чем ты, возможно, уже убедился, всегда были прекрасными воинами.

— Да, я в этом убедился.

— Они как один встанут против тебя под руководством сильного персидского военачальника Бесса. Они не будут воевать с тобой вполсилы, как сражались за персидского царя. Теперь они встанут на защиту своей собственной любимой и самой прекрасной в мире родины.

— Ты хочешь, чтобы они победили, Роксана? — Задав этот вопрос, я боялся, что она мне ответит.

— В каком-то смысле хочу, в каком-то нет.

— Ты, наверное, догадалась, что, если они победят, Бактрия не будет свободной, и Оксиарт не останется царем. Бесс станет абсолютным монархом всей Бактрии, всех земель к востоку от Оксиана и к северу от Амигрийских гор, к югу от степей и к северу от Паропании.

— Эта территория охватывает земли скифов. Не думаю, чтобы они склонились перед Бессом.

— Забыл, что твоя мать — скифская царица.

— Как ты об этом узнал, Александр?

— Осторожно навел справки. Это от нее у тебя такие раскосые глаза?

— Нет. У скифов прямо посаженные глаза.

— А может быть, у нее под кроватью прятался паломник с раскосыми глазами, пришедший откуда-то из-за Туань-Таня\*?

Когда я это говорил, я снова серьезно задавался вопросом, суждено ли мне лежать в постели Роксаны, а не под ней, или она будет лежать в моей, и опять мои надежды слегка померкли, хотя резко возросло желание. Но ведь не затем она пришла, чтобы говорить со мной о защите Бактрии от захватчика или о чем-то, связанном с политикой. У нее на уме было что-то еще.

— А впрочем,— задумчиво заметила она,— если Бактрия не будет свободной, то какая разница, кто ею правит: изменивший царю перс или варвар-завоеватель из какой-то дикой глуши — как она называется? Македония?

— А может быть, все наоборот, Роксана? Это мы, греки, цивилизованный народ; варвары — это менее значительные народы, которые живут за ее пределами.

— Неужели! Уж тебе-то, Александр, следовало бы лучше в этом разбираться, коль ты прошел такой длинный путь. Когда всю Грецию — я исключаю большой остров посреди Внутреннего моря, где обитали минойцы,— заселили безграмотные пастухи, Персия уже имела древнюю документированную историю, ее аристократия могла читать, писать, вычислять большие суммы, рисовать чудесные картины, вырезать статуи, сочинять стихи, возводить великолепные храмы и дворцы, строить замечательные большие города, решать сложные технические проблемы и устраивать оросительные системы в засушливых землях. Верно, вы сравнились с нами, а потом превзошли в скульптуре и в украшении храмов. Некоторые ваши мудрецы нашли



ответы на вопросы нравственности и науки, которые в Персии мог решить только один великий человек — нам он известен как Заратустра, а вам как Зороастр. Эллинская цивилизация нова, как только что вспыхнувший огонь, по сравнению с цивилизацией Персии, Египта, Тира и Индии.

В голосе и рассуждениях Роксаны проскальзывала нотка педантичности. Можно было бы подумать, что это перед классом сорванцов ведет урок молодой и усердный педагог, а не дочь скифской женщины говорит, обращаясь к Александру Великому. Я громко рассмеялся, потому что мне стало весело и просто от удовольствия.

— Где ты всему этому научилась?

— И не только этому. Я посещала школу в небольшом храме Заратустры здесь, в Бактрах, и в большом храме в Маракандах, где мой дядя Шаламарес служит главным жрецом.

— Как и прежде, твоя речь была несколько длинной и многословной. И в связи с этим у меня возник вопрос. Сколько времени ты можешь здесь оставаться?

— Столько, сколько нам обоим хочется. Мой муж Сухраб повез меня в Мараканды, потому что я играю при дворе значительную роль и могу поддерживать оживленный разговор. Мы вместе отправились назад: он, чтобы встретиться с Бессом и, мне кажется, тайно сговориться с ним насчет желанного дела — как тебя убить. Узнав, что Бесса там нет, он остановился в Симиситлури, потому что там должны состояться большие скачки и он собирался участвовать в них на своем серо-стальном жеребце из конюшни покойного Дария. Он будет отсутствовать сегодня весь вечер и приедет завтра днем.

Я не стал комментировать эту удивительную новость и задал ей еще один вопрос:

— Что же Сухраб ожидает от Бесса в качестве вознаграждения за соучастие в моем убийстве и в поражении моей армии?

— Лучше спроси, что Бесс может ожидать от Сухраба. Ни Бесс, никто другой не знают Сухраба так хорошо, как я. Он какое-то время может довольствоваться положением сатрапа Согдианы, но ведь он же двоюродный брат Дария, как и мой отец Оксиарт, только безжалостней и честлюбивей, и, если тебя убьют, а твою армию уничтожат — не забудь, что ты будешь сражаться в углу между горами и

пустыней, знакомом бактрийцам и незнакомом тебе, — он станет претендовать на корону.

Я ненадолго задумался. То, что она мне сказала, в какой-то степени развязывало мне руки; а что касается непосредственно данного момента, зачем она рассказывала мне это, если, конечно, не питала ненависти к Сухрабу? Чтобы разбудить эту, возможно, спящую ненависть, я, словно бы случайно, бросил шутливую фразу:

— Надеюсь, если его серый жеребец проиграет скачки, он не захлещет коня до смерти.

— Я тоже на это надеюсь. — Тут глаза ее заблестели, на бледных щеках выступило по красному пятну, и я понял, что допустил ошибку. — И не тебе такое говорить, Александр. Разве не ты позволил прибить гвоздями к деревьям две тысячи отважных молодых людей, которые сражались с тобою в Тире?

— Я это сделал, когда был взбешен, в горячке сражения. Мне тогда служило оправданием то, что один жестокий удар спасет жизнь тысячам других отважных людей в том смысле, что это послужит примером тем, кто пожелал бы воевать со мной: пусть видят, что им нечего ждать от меня, кроме поражения и смерти.

— Для меня этому нет оправдания. Когда мы говорили об этом с дядей Шаламаресом — он уже все знал, иначе я бы от стыда хранила это в тайне, — он не мог поверить, что юноша, который ездил со мной из Пеллы в Додону, мог опуститься до такой жестокости.

Я справился с нарастающим гневом. Необходимость в этом, похоже, была больше, чем я понимал.

— Война — безобразное и жестокое дело, хотя и в ней бывают моменты жуткой красоты.

— Она особенно безобразна и жестока, когда ведется ради самопрославления одного человека.

— Ты говоришь, как Таис, одна молодая женщина из Афин, моя хорошая знакомая, правда, у тебя получается смелее.

— Я знаю о Таис. Она замечательная красавица. Караванщики приносили нам новости о ней с той самой поры, как ты воевал на Гранике. Та битва сделала тебя очень известным, Александр. Они за ужином у костра обсуждали все, что ты делал и говорил. Потом были Исс, Тир и Арбелы. Народ едва мог поверить правде, но я поверила легко. Видишь ли, я чувствовала что-то в тебе,

когда мы были в Додоне. Я не знала, что это такое,— да и сейчас еще толком не знаю — но это заставило меня отнестись с доверием к тому, что казалось рядом чудес. Чему я не могла поверить, так это той чудовищной расправе в Тире. Но все же в конце концов пришлось поверить.

— Я уже объяснил это. Теперь снова поговорим о Додоне. Помнишь, что ты мне обещала в качестве победной награды, если я приду в Бактрию?

Блеск исчез из ее глаз, в них возвратилась мягкость, и она тихо произнесла:

— Как будто я могла забыть!

— Это было истинным обещанием, Роксана?

— Да, Александр, истинным. Я докажу это сегодня ночью, если ты так желаешь — а твой голос и выражение лица меня не обманывают.

— К этой комнате примыкает уютная спальня. Нужно только войти в дверь.

— Мы должны пойти дальше этого, а именно — во дворец Сухраба, где я живу.

— Разумно ли это?

— Разумно, если ты хочешь избежать покушения, готовящегося в великой тайне, и если должны произойти другие вещи, которые были мне желательны. Доверься мне, Александр. Я одиннадцать лет размышляла о твоём приходе, так как знала, что ты придешь — если не будешь убит. Я составляла планы, совершенно надежные. Я сейчас уйду, даже без поцелуя. О, Заратустра! Как мне помнились, как оживали на моих губах те поцелуи! И я хочу начать все сначала в моей собственной спальне. Я отпущу свою прислугу, она моя наперсница, а Сухраб думает, что его.— Неясная улыбка, немного жестокая, как мне показалось, скривила ее губы.— Она приведет тебя ко мне.

— Только мы двое? И никого больше?

— Я все забываю, что ты новый царь. Если ты захочешь, то можешь приказать, и за тобой на виду у всех последует отряд всадников. Но, уверяю, в их присутствии нет необходимости, оно могло бы очень навредить, если бы один из мужчин доверил секрет своей возлюбленной, а та оказалась бы болтливой. Надень простую персидскую одежду — ее в жилье для прислуги тебе найдет какой-нибудь слуга, которому ты доверишь,— и поезжай не на

Букефале, а на другой лошади. У нас на улице к прохожим не пристают. Оксиарт держит Бактры в строгости; к тому же они хорошо освещены жаровнями.

— Тогда, Роксана, уходи. Не медли.

— Александр, моя истинная любовь, если мне придется ждать еще час, я уж точно не выдержу и умру.

#### 4

Я не сомневался, что слуга без труда найдет подходящий мне персидский наряд, включая широкую персидскую шляпу, затеняющую лицо. Он же провел меня через заднюю дверь во двор, где, уже взнузданная и оседланная, ждала лошадь с царского ипподрома. С ним ждала седовласая женщина, которой предстояло меня сопровождать. Я не был уверен, что это не та же служанка, которую я видел на пути в Додону и которая была с ней всегда в палатке.

Я решил не брать с собой отряд телохранителей отчасти потому, что покойный Филот был их товарищем, но в основном помня слова Таис, что нужно кому-то доверять, и я решился полностью довериться маленькой девочке, которую нашел и потерял за полмира в стороне отсюда и вот нашел снова.

Служанка Роксаны на осле и я на доброй кобыле выехали со двора на тихую улицу. Затем мы проехали несколько кварталов по довольно оживленной улице, свернули еще на одну тихую небольшую улочку. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания, что для меня явилось довольно непривычным ощущением, и мне самому с трудом верилось, что в этой чужой одежде едет Александр. Затем мы заехали в какой-то тупик, и моя спутница велела мне остановиться у решетчатой двери. Она покинула меня верхом на своем муле и уводя мою кобылу и, очевидно, вошла в дом через другую дверь, так как спустя одну-две минуты решетчатая дверь отворилась, отпертая изнутри, и в дверях стояла она, ожидая меня. Прикоснувшись пальцами к губам и не произнося ни звука, она повела меня к покрытой ковром лестнице. Теперь я заметил, что этот дворец невелик, но роскошнее царского. Очевидно, Сухраб обладал большей властью, чем я думал.

Я открыл дверь, указанную мне моей проводницей, и увидел комнату с мягкими коврами, мебелью, инкрустированной золотом и серебром, кровать с балдахином, поражающую своим богатым видом, и одну зажженную лампу, но разглядывать все это было мне недосуг — мой взор обратился к той, что ждала меня за порогом. Босая, в халате из светло-золотой пряжи под стать ее волосам, там стояла Роксана с чудесно сияющими глазами.

— Ты быстро приехал, Александр, и поэтому я не умерла, — сказала она мне. — Теперь я притворюсь, что я одна из твоих служанок, совсем ненадолго, ибо если ты Александр, то я Роксана, с которой ты обменялся обетом и хранил этот обет. Как служанка, я помогу тебе снять персидское одеяние, которое тебе не к лицу — иначе ты можешь запутаться в его пуговицах и застежках.

Однако снять с меня одежду ей удалось не скоро, ее руки, случалось, медлили, теряя уверенность и проворство. Наконец, я стоял обнаженный и был благодарен Таис за высказанную так давно похвалу моему телу — будто оно так хорошо сложено и мускулисто, что бессмертный скульптор Пракситель мог бы использовать его как модель для самой знаменитой из своих работ. Я не верил этому комплименту, но был рад симметрии, вдохновившей ее на такие слова — ибо теперь и Роксана, расстегнув пояс на талии и уложив халат на кушетку, явила мне все свои многочисленные прелести. Она чуть улыбнулась, увидев, как мои глаза загорелись от удовольствия и острого предвкушения.

— Роксана, ты прекрасна, как Афродита! — воскликнул я.

— Слава небесам, что не такая пухлая, какой ее изображают скульпторы, — отвечала она, сделав попытку развеселиться, которая не совсем удалась из-за широты раскрытых и торжествующих глаз.

Ей бы больше подошло сравнение с богиней верховой езды. Скачки по неровной местности и длинным дорогам, прыжки через ограды и ямы ради чистого развлечения придали еще больше очарования ее туземной грации. Длинными конечностями она была обязана персидской крови, но дикая кровь скифов была причиной необычной красоты, и если Таис напоминала нимфу, то Роксана — гибкое существо могучих гор, подобное тому, которое может встретиться путешественнику в похожей на берлогу хижине.

не, возможно, отпрыска Юоны, брошенной Парисом возлюбленной, который сам отправился в путь, чтобы украсть Елену. В нашем мифе Юону постарался утешить зверь с извилистым телом. Наверное, мое воображение вышло из-под моего контроля, но в ее нагом теле явно была извилистость, может, потому, что при каждом ее движении в нем играли небольшие сильные мышцы. Таис для меня надолго осталась в забвении, а если я и вспоминал о ней, то только как о потерянной и ушедшей красавице. Ее заменила Роксана, и заменила — еще не то слово.

Я медленно пошел к ней, и она вытянула руки, чтобы принять меня в свои объятия. Она поцеловала меня, сперва робко, чтобы не раскрывать силу своего желания, но наши тела слишком сблизилась, и в этом случае наше первое соитие могло бы быть не таким совершенным, как мы оба желали, учитывая, как сильно тянуло нас друг к другу и как долго мы пребывали в жизни друг друга без полного единения.

Предчувствуя опасность, она вырвалась у меня из рук, в несколько прыжков оказалась в постели и легла на бок. Там мы с блаженной медлительностью стали обмениваться поцелуями, почти не касаясь друг друга телами. И когда моя рука украдкой заскользила по ее бедру, она крепко схватила ее в обе руки.

— Не сейчас, еще рано, — шепнула она мне. — Во дворце моего отца наши рты так наговорились словами и мой так изголодался, что даже теперь он еще не насытился. Александр, я не видела тебя так давно! Я столько ночей пролежала одна или, что еще хуже, рядом с Сухрабом, возвращавшимся поздно от своей любовницы-эфиопки, стараясь не думать о тебе, когда я засыпала, не мечтать о тебе, ведь время тянулось так долго и твой приход казался таким невероятным; однако я так часто теряла власть над собой. Будь со мною нежным, Александр. Мне тоже страшно не терпится поскорее дойти до разрядки, но пусть она придет постепенно, чтобы мы не упустили на этом пути ни одного сладостного момента.

Однако далее все развивалось стремительно, и мы не могли бы этому помешать, даже если бы старались; вскоре мы оказались в крепких объятиях друг друга, сомкнувшись телами, ее прекрасные ноги переплелись с моими, и, если бы сама Афродита украдкой невидимо вошла бы в спальню, ей бы так захотелось любви, что она унеслась бы в

поисках любовника — высокого, стройного юноши-пастуха, и ложем им послужила бы не иначе как просто трава. Раз я разомкнул сцепление ее рук, чтобы приподняться верхней частью тела на локте и взглянуть на нее сверху вниз — и я едва мог поверить, что это уже происходит, если бы не острое ощущение, почти боль.

— Я люблю тебя, Александр,— прошептала она.— Я люблю тебя, Александр,— повторила она чуть позже в полный голос. А затем она уже прокричала: — Я люблю тебя, Александр! — И когда дыхание ослабло и восторг утих, она вдруг расплакалась.

Мне тоже пришлось вытереть глаза — так чудесно сбывлся давний, часто повторявшийся сон моей юности. Так мы плакали в тени храма Додоны, под торжественными, величественными деревьями, пока бурно метались несущие пророчество голуби.

— Я жажду выпить бокал вина,— сказал я ей, когда мы успокоились. Я устал больше, чем от упорной рукопашной схватки, и в этом сравнении нет натяжки, ибо есть какое-то эзотерическое родство между битвой, несущей смерть, и любовной схваткой, творящей жизнь.

— Тогда натяни над нами одеяло,— отвечала Роксана,— и дерни за тонкий шнур, не за толстый; он висит в голове постели. Этот колокольчик никто не услышит, кроме Ксании, которая привела тебя сюда, потому что он звенит только у нее в комнате.

Я сделал, как она указала, и служанка вошла через наружную дверь, ведущую в ванную Роксаны, к которой, несомненно, имела ключ. Она еще больше просветлела лицом, когда взглянула на нас: она прекрасно знала, что произошло, ведь она ждала этого с тем же долгим томлением, что и Роксана. Но ее манеры были так же точны и казались столь же спокойными, как если бы она пришла по нашему вызову к столу, где мы обедали.

— Слушаю тебя, моя госпожа?

— Мой возлюбленный желает вина. Можешь достать самую лучшую бутылку, не пользуясь своим тайным ключом к шкафам моего мужа?

— Если ты имеешь в виду шкафы Сухраба, то он вовсе не твой муж, если мне будет дозволена дерзость выразить это в словах. Он никогда ничем не был, кроме контрабандиста, а ты теперь лежишь рядом со своим мужем, который одиннадцать лет пропадал на войнах.

— Я согласна с тобой, Ксания, но ты не ответила на мой вопрос.

— Моя госпожа, у меня есть неначатая бутылка золотистого вина с озера Байкал, которую доставил караван, только богу известно, из какой дали; оно такое дорогое, что только цари и царевичи могут пить его, и эту бутылку я похитила из его шкафа, когда доставала ладан, чтобы надушить эту спальню.

— Принеси его, пожалуйста, и два бокала.

Мы поцеловали друг другу наполненные бокалы и пригубили вино.

— За гораздо большее,— предложил я тост.

— Только между тобой и мной и никем больше, и до тех пор, пока не состаримся,— отвечала она.

Вино было восхитительное, но я не обладал достаточно утонченным вкусом, чтобы оценить его более чем изысканный аромат. Женщина оставила бутылку у кровати, и ей было позволено уйти.

— А теперь, Александр, я хочу рассказать тебе о своих планах на завтрашний вечер.

— Но ведь к тому времени вернется Сухраб.

— Он приедет сюда только спустя два часа после захода солнца. По прибытии в Бактры он всегда сперва идет к любовнице, красивой чернокожей девушке из Нумидии, которую он зовет Шеба и за которую заплатил сто дариков. Но в указанное время он обязательно вернется во дворец. Понимаешь, Ксания встретит его заранее и шепнет ему, что ты был здесь сегодня ночью.

— Великий Зевс!

— Я говорила тебе, что он считает ее своей наперсницей и шпионкой, хотя на самом деле она моя наперсница и шпионка. Она скажет ему точно то, что я велю ей сказать, а когда он придет, ты будешь ждать его. И не думай, что я подставляю тебя ради своей цели. Мы с Ксанией сотни раз прорабатывали этот замысел, пока не добились совершенства во всех его деталях. А теперь я покажу тебе клеймо позора на своем теле — ты его не видел. Это тот же знак, который работоторговцы иногда ставят на красивых рабынях: он невидим, когда они стоят голыми перед возможными покупателями, и приносит удовлетворение владельцам этих рабынь: ведь если они попытаются сбежать, это облегчит их поимку. Но я никогда не была рабыней, это Сухраб считал меня таковой — своей соб-



ственностью, именно он, когда я лежала, связанная его слугами по рукам и ногам, прижал раскаленное докрасна железо к подошве моей ступни.

Согнув ногу в колене, она показала мне все еще красное и зловещее клеймо в виде буквы Х, которое как на арамейском, так и на греческом языках обозначает первую букву слова «раб».

Меня проняла дрожь, и только спустя долгое время я смог наконец заговорить:

— Ты не сказала об этом царю Оксиарту?

— Он только числился царем. К Сухрабу прислушивались Дарий и царь Согдианы. Я любила отца. Он гордился своим тронem, и нет ничего печальнее, чем низложенный царь. Кроме того, я знала, что ты наконец придешь. Я не сказала ему.

Оставался еще один вопрос, задать который мне было страшно неудобно; но все же я задал его:

— Почему твой младенец родился мертвым?

— Это из-за того, что Сухраб сделал со мной, когда я выпалила, что лучше бы его отцом оказался любой работник на поле, а не он. Мне больно говорить о том, что он сделал.

— Что же еще он убил из того, что было твое?

— Собаку, котенка, маленькую птичку в клетке, пони и ягненка от большой овцы с Памира, которого нашли паломники и отдали мне на попечение.

— Я буду у решетчатой двери спустя полтора часа после захода солнца. Это время будет достаточным для того, что потребуется сделать?

— Более чем достаточным. Наша встреча назначена точно спустя два часа после захода солнца, по обычным водяным часам. Несколько предварительных минут не повредят, но не опаздывай, если я дорога тебе.

## 5

Роксана дала мне строгие наставления относительно завтрашнего вечера. Я должен был одеться в царское платье и подъехать ко дворцу Сухраба сзади в закрытой повозке. Плащ следовало надеть черный, а не белый, как обычно, с простыми застежками. В повозке будут градуированные часы, время по которым можно будет читать от установ-

ленной на полу свечи. Трем моим спутникам — одному с коротким копьём и двоим с мечами — следовало ехать со мной в повозке, а четвертому, хорошо одетому — на сиденье возницы. Я должен был выйти в тени недалеко от решетчатой двери, которая будет незапертой, а повозке следовало оставаться в густом сумраке до тех пор, пока я не подзову ее. С обнаженным, но скрытым под расстегнутым плащом мечом я должен был распахнуть дверь и смело войти.

— Будет ли Сухраб ждать меня со своими людьми?

— Он будет тебя ждать, и не один. Но ручаюсь, Александр, у него не будет преимуществ над тобой. Оставь все остальное мне.

— С тех пор как мне исполнилось семнадцать и я участвовал в битве при Херонее, я никогда еще так не доверялся ни одному человеку, за исключением Пармениона, Птолемея и Таис.

— Никто не держал свое слово тверже или хотя бы так же верно, как Роксана, царица Бактрии. Наши с тобой жизни связаны воедино с тех пор, как мы целовались и плакали в дубовой роще Додоны, и эта связь была скреплена печатью, когда ты положил руку на врата моей девственности. С тех пор я всегда молилась Заратустре, чтобы ты побеждал и твои победы стоили тебе самой малой крови, которая только угодна судьбе. Теперь же уходи от меня, иначе я засну прямо на ногах, и тебе желаю крепкого сна и приятных сновидений. Там, за дверью, ждет Ксания; она выведет тебя из дома и проводит в твой дворец.

На следующий день я со своими военачальниками занялся окончательной реорганизацией командного и рядового состава для предстоящего на завтра похода в Мараканды. После короткого легкого ужина на закате солнца я вызвал к себе одного командира знатного происхождения, родом из Пеллы, который учился у Аристотеля, но оказался непригодным для того, чтобы командовать большими силами в моей армии. Однако он вполне подходил для второстепенных обязанностей и несения нарядов. Ему я поручил выбрать крытую повозку и позаботиться о том, чтобы внутри у нее были занавески, а также отобрать трех сообразительных, зорких и проворных пехотинцев из его отряда для поездки со мной в повозке, тогда как сам он должен будет ехать с возницей. Одеться им нужно в плащи, позаимствованные у гражданских, чтобы

не привлекать внимания. Одевшись точно так, как называла мне Роксана, с водяными часами и зажженной от сторожевого костра свечой, мы отправились во дворец Сухраба.

Укрывшись в тени, падающей от стены, за пятнадцать минут до назначенного момента мы осмотрелись. Нужная мне решетчатая дверь была примерно в пятидесяти шагах и отделялась от нас пространством, тускло освещенным жаровней, установленной на шесте у входа во двор. Конечно же, здесь ко мне не мог подкрасться ни один убийца без того, чтобы не быть замеченным четырьмя телохранителями, наблюдающими с облучка и сквозь занавески, с обнаженными мечами. Вода в стеклянном сосуде показывала пятнадцать минут с тех пор, как его перевернули в последний раз, а это было спустя ровно час, как солнце скрылось за холмами. Я задул свечу, расстегнул плащ, вынул меч и, держа его скрытым под плащом, пошел к решетчатой двери.

На этом коротком пути я успел поразиться тому, что так доверился Роксане, тогда как уже много лет такого за мной не водилось. Да и тем, которых я перечислил Роксане, я, в сущности, доверял не полностью. И тем не менее теперь я доверил саму жизнь той, которую не видел одиннадцать лет, жене опасного врага. Но оттого, что я оказался способен на такое доверие, сердце мое возликовало.

Я подошел к двери и толкнул ее. Она открылась в тускло освещенную переднюю, где никого не было. Я взглянул пристально на тяжелый занавес коридора в трех шагах от двери. Он немного выпучивался, но эта вздутость не наводила на мысль о стоящем в рост человеке: высотой не более фута, но зато шириной футов шесть. Затем я различил темную вязкую жидкость, сочащуюся из-под занавеса и скопившуюся на полу прихожей в небольшую лужицу. При лучшем освещении, подумалось мне, эта лужица наверняка бы отливала красным цветом.

В этот момент в комнатной двери, открывающейся в прихожую, появилась Роксана. У нее в руке был длинный нож, какие носят на поясе варвары-пастухи, в сущности, тяжелый кинжал, клинок которого загадочным образом наполовину был запачкан.

Слегка улыбнувшись мне, она отодвинула занавес. Там лежало тело высокого мужчины в богатой одежде, светло-

волосого, с худым красивым лицом. Он лежал на левом боку, на руке, согнутой в локте; рядом с правой, отброшенной в сторону рукой — рукоятью к кисти — лежал меч. Я не видел раны, но видел, откуда сочилась кровь, и знал почему.

— Сухраб тебя ждал, как ему велела Ксания, чтобы пронзить тебя мечом, когда ты откроешь решетчатую дверь,— сообщила Роксана каким-то призрачным голосом,— но ты пришел позже того времени, когда тебя ожидала увидеть Ксания, а потом стало слишком поздно.

— Это я вижу.— Я сказал первое, что пришло мне на ум, лишь бы что-то сказать.

— Я пойду вымою нож. В Бактрии считается, что жене непозволительно всаживать нож в бок своему мужу, пока он ждет за занавесом, чтобы расправиться с ее любовником. Пока я буду отсутствовать, хорошенько окровавь свой меч в ране и вытащи тело из-за занавеса, чтобы оно лежало в луже крови, а затем позови своих спутников. Ты найдешь, что им сказать. Ты — Александр, повелитель Азии, и, кто знает, может быть, ты тайно навестил меня, чтобы посоветоваться о государственных делах, и тут враг совершивший на тебя покушение. Впрочем, говори им что хочешь. Я скоро.

Я открыл решетчатую дверь и тихо позвал телохранителей, ждущих в повозке. В тот же момент вошла Ксания и опустила на подставку масляный светильник, чтобы вход освещался ярче, и быстро удалилась. Вошли трое телохранителей с начальником, увидели труп и устали на него. Затем посмотрели на мой окровавленный меч и перевели взгляд на меня.

— Сидел в засаде с обнаженным мечом,— пояснил я.— Но я его опередил.

— Благодарение богам! — с жаром произнес начальник охраны.

— Командир, его зовут Сухраб, он приходится зятем царю Оксиарту, который сейчас в Маракандах. Сходи к военачальнику Птолемею и попроси его прийти к главному входу в этот дворец. Пусть его проводят ко мне.

— Слушаюсь, царь Александр. Я вмиг доставлю его.

Войдя с двумя спутниками в длинный коридор, я попросил перепуганного слугу проводить меня в гостиную его бывшего хозяина. Когда прибудет военачальник Птолемей, я желал принять его как полагается.

Меня провели в великолепную палату, где Сухраб принимал знатных людей и, разумеется, эмиссаров Дария и других царей, которым больше приличествовало бы обращаться к Оксиарту. Фактически это был зал для аудиенций, и я с полчаса разглядывал его ковры, мебель и украшения, лампы и курильницы для фимиама. В основном, несомненно, это были дары его кузена Дария, что заставило меня задуматься вот над чем: какие же политические соображения позволяли Оксиарту оставаться так долго царем? Я догадывался, что тут не обошлось без влияния магов, а они пользовались огромным авторитетом во всей Центральной Персии и, конечно, в Бактрии, где в Маракандах стоял их величественно-прекрасный храм и монастырь. Его главным жрецом был брат Оксиарта Шаламарес.

Птолемей со своей фавориткой Таис жил в домике для гостей при царском дворце. Когда его провели ко мне, он оставил своего единственного слугу в комнате для ожиданий. Коснувшись коленом пола, он приветствовал меня с сардонической улыбкой.

— Что скажешь, Птолемей? — начал я с вопроса.

— Мой царь, я слышал, ты сюда пришел с тайным делом и избавился от того, кто воспротивился твоему приходу, — отвечал Птолемей.

— Да, верно. Сходи-ка с одним из моих солдат взглянуть на его останки. Сначала обрати внимание на мой окровавленный меч, а оружие напавшего на меня ты увидишь лежащим у него под рукой.

— Сейчас же иду, царь Александр.

Он отсутствовал совсем недолго, и я слышал, как он насвистывает в коридоре, приближаясь к моей двери. Войдя, он снова коснулся коленом пола.

— Я видел его, мой царь. Я заметил, что рана у него в левом боку. Ты, должно быть, захватил его клинок своим и заставил его развернуться вполоборота. Помню, ты сделал то же самое с моим клинком во время того поединка — ни один из нас его никогда не забудет.

— Да, я не забыл. И верно, ты с тех самых пор соблюдаешь условия нашего договора.

— Царь, это мое правило — соблюдать договоры. Но у меня возникает вопрос, который я задам, с твоего согласия.

— Согласен. Спрашивай.

— Когда это царю Александру полюбілось входить в двери, открывающіеся во двор, а не с главного входа?

— Я желал поговорить с царевной Роксаной и не хотел, чтобы о моем посещении стало известно, потому что вопрос, который мне хотелось обсудить — как перетянуть царя Оксиарта на нашу сторону,— пока хранился в секрете. Но я явился на встречу в парадном обмундировании, как сам видишь. Мне приходилось когда-то очень давно встречаться с царевной.

— Таис рассказывала мне об этом, царь. Ты не держал от нее это в секрете.

— Ситуация была щекотливой, поскольку муж Роксаны, Сухраб, заодно с Бессом. Мое достоинство не пострадало оттого, что я вошел в заднюю дверь.

— Бесспорный факт, что повелитель Азии вправе войти и выйти где и когда пожелает. Я не сомневаюсь, империя и наше дело выиграли от тайного посещения тобой этого дворца, о чем я и доложу другим военачальникам.

— Так и сделай, мне это будет желательно. Не выпьешь ли вина? Вот шнур от колокольчика.

— Это успокоило бы нервы нам обоим, царь Александр. Несмотря на присутствие телохранителей, твой визит был-таки сопряжен с немалым риском.

Я потянул за шнур, и появился слуга. Когда я отдал распоряжение, в гостиную вошла Роксана. Она была в роскошном одеянии и носила черную вуаль — единственный, чисто символический знак траура,— прикрепленную к головной повязке в верхней части лба и скрывающую сзади ее светлые волосы.

— Царевна Роксана, я желаю представить тебе моего военачальника и старого друга, Птолемея Лага.

Птолемей, как подобало, коснулся коленом пола. На этот знак почтительности она ответила грациозным поклоном.

— Я помню, что слышала о тебе, военачальник Птолемей, когда познакомилась с ныне великим Александром, тогда еще юношей, на пути в Додону. Действительно, вы всегда были верными друзьями.

И это говорила Роксана, царевна, принадлежащая старинной династии, женщина царственной красоты. Я велел задержавшемуся слуге принести три бокала вместо двух.

— Царевна, я выражаю свои соболезнования по поводу твоей недавней потери, — сказал Птолемей.

— Принимаю их с благодарностью. Военачальник, как вам понравились Бактры? Не правда ли, прекрасный город?

— И в прекрасной оправе, царевна.

Роксана пустилась рассказывать ему о древних храмах города, особенно о храме Ахурамазды, но ее прервал слуга, принесший вино. Когда он разлил его по бокалам, первый он предложил своей госпоже, которая передала его мне. Второй она предложила Птолемею, третий твердой рукой взяла сама. От глаз ее исходило то же сияние, какое я уже видел прежде, и мне хотелось, чтобы оно не стало тем, что уже давно прошло.

— За владыку Азии, — сказала она, поднимая бокал.

Птолемей с большим достоинством поднял свой, и они выпили. Я в ответ выпил за них. Это было бесценное золотистое вино с озера Байкал — я не сомневался, что его достала Ксания.

— У меня совещание с другими военачальниками, — нараспев произнес Птолемей, — поэтому прошу у каждого из вас разрешения уйти.

Мы кивнули, и после ритуального прикосновения коленом к полу Птолемей удалился. С Роксаной произошла перемена, странная, возможно, немного пугающая даже меня. Ее величавость куда-то исчезла, сменившись неожиданной веселостью; глаза заблестели необычайно красиво и ярко. Она живо подскочила ко мне и взяла за обе руки.

— Эта вуаль мне не к лицу, Александр. Я желаю сбросить ее как можно скорее. Что мне нужно — так это венок из цветов, но сейчас неподходящее время года.

— Ты должна уважать общественное мнение, Роксана, — укорил я ее.

— Я еще не могу этому поверить. Вдруг рассеялась мрачная завеса, которая висела над этим дворцом. Александр, я приказала унести то, что мы оставили в передней, для подготовки к похоронам. Так велит обычай — сразу же после смерти знатного бактрийца. Его дух, если он сегодня ночью поднимется, сюда не придет: он отправится к своей любовнице из Нумидии. Это верно, Александр, что завтра ты начинаешь свой поход в Мараканды?

-- Да.

— Бесс, возможно, сдастся тебе, но, даже если и так, мой отец со своей армией отойдет к намеченному месту обороны. Я знаю, где оно находится. Оно почти неприступно. Ты дорого заплатишь за свою победу.

— Если ты скажешь мне, что это за место и где оно, я попытаюсь сперва захватить его.

— Я не скажу тебе. Не забывай, что я бактрийка и мой отец, Оксиарт, номинальный командующий бактрийской армией, но станет действительным, если ты перед этим догонишь Бесса. При штурме бактрийцы совсем не понесут потерь или же потери будут незначительными, но если они убедятся, что их сопротивление безнадежно, они уступят — и Оксиарт присягнет тебе на верность и будет соблюдать присягу, особенно если... если... — а почему бы мне не быть смелой, тем более что недавно я в этом немного поупражнялась? — если ты не откажешься от чести стать его зятем.

— Поистине, это была бы великая честь.

— Обещай мне, что, если я пойду к отцу по короткому пути, который мне известен, за мной не будут следить. После этого договора ты получишь мое приглашение.

— Я даю тебе торжественную клятву, Роксана.

— Тогда приглашаю тебя провести со мной ночь. Тебя могут убить в сражении с бактрийцами, но умоляю, будь осторожен и опасайся их пущенных с горы камней, быстрых стрел и смертоносных копий. А меня могут казнить родственники Сухраба. Да что там гадать! Ты устал, и дворец будет пустым. Мы с тобой сообщники по заговору — так почему бы нам не быть и сообщниками по постели?

— Роксана, это чудесное приглашение. Я вымою руки, и ты вымой свои, если уже этого не сделала, но в спальне не надо ни ладана, ни мирры — там будет аромат потоньше.

— Какая прекрасная речь из уст бивуачного медведя! Только поспеши.

Она покинула меня совсем ненадолго, но за это короткое время, пока девочка-рабыня наливала теплую воду в алебастровый чан, ко мне пришло странное предчувствие вместе с пророческой болью. Если это вообще возможно, только Роксана, одна на всем свете, смогла бы спасти меня от какого-то ужасного рока.



Частично из-за моей собственной нерадивости — я думал о чем угодно, кроме суровых военных дел — мои обозы с довольствием не были готовы с восходом солнца выступить в поход на север. Оставалось выполнить кое-какие небольшие, но существенно важные задачи часа на два или три, и, разбранив некоторых начальников, которым следовало бы исправить мои собственные упущения, я с небольшой охраной посетил огромный рынок в Бактрах, где покупались и продавались товары со всего известного нам мира и из-за его пределов. Я хотел купить Роксане прощальный подарок, что-нибудь необычное и прекрасное, чтобы в том случае, если я задержусь дольше, чем предполагал, ей было бы, глядя на него, приятно лелеять мысль о моем возвращении.

Среди владельцев прилавков было немало армян, а также несколько персов, исповедующих культ Зороастра в Индии. Я подошел к ларьку, торгующему только драгоценными камнями, и попросил показать мне что-нибудь необычное, сказав, что размер и великолепие — для меня дело второстепенное. Отклонив несколько дорогостоящих камней, отличающихся только своей величиной и яркостью, я заметил два идентичных камня неизвестного мне еще вида.

Торговец сказал, что это парные сапфиры, разнообразность которых он тоже встречает впервые. Когда я осведомился, не из Индии ли эти камни, потому что большинство товаров поступало к нему именно оттуда, он туманно объяснил, что они из страны, лежащей за Индией\*, их искусно вырезали знаменитые ювелиры Голконды. Я никогда не слышал ни о какой восточной стране, лежащей за Индией, ибо, по сведениям географов, к северу от Индии громоздились горы, а восточная граница страны, как меня убеждали, омывалась Океаническим морем. Но торговец повторил рассказ о том, что в Голконду их привез караван одного торговца драгоценными камнями. И этот торговец купил их у другого скупщика драгоценных камней, прибывшего на парусном судне небывалого типа, который отчалил от морского берега, лежащего за дельтой гигантской реки. Этот берег шел прямо на юг, и сами камни были добыты в верховьях еще одной реки, за высоким горным хребтом.

Нижняя половина каждого камня являлась полусферой, верхняя половина сферы была стесана в форме мелкой опрокинутой чаши, и если бы камни находились в глубокой оправе, они напоминали бы видимую часть человеческих глаз. В каждом камне светло-серый круг соответствовал белку глаза. Внутри круга синий ободок окаймлял кольцо серого цвета, а в центре круга была заметна крошечная темно-синяя, почти черная, точка. Два concentрических круга чудно соответствовали радужной оболочке глаза, а маленькая точка внутри — зрачку. Эти два сапфира поистине напоминали мне — и не без причины — глаза Роксаны.

Эта резьба, без сомнения, говорила о причудливой игре фантазии ювелира из Голконды, но сапфиры так сильно отличались от привычных драгоценных камней, что торговец-индус, сообщивший мне, что он из царства Марвар в государстве Раджпутана в Западной Индии, явно почти отчаивался, что продал их, ибо я купил оба камня за пятьдесят золотых дариков.

С почетной охраной я отправился во дворец покойного Сухраба и, когда приблизился к главному входу, заявил, что желаю немедленно переговорить с царевной Роксаной. Слуга, заикаясь, объяснил мне, что она с Ксанией и охраной из всадников отбыла по большой дороге, ведущей на север, но не сообщила никому, куда направляется.

— На какой лошади поехала царевна? — поинтересовался я, надеясь, что еще догоню ее.

— Великий царь, она верхом на большом сером жеребце из Дариевой конюшни, который принадлежал Сухрабу.

Я не оставил камней, поскольку надеялся, что после короткой и стремительной погони схвачу Бесса, после чего Мараканды тут же сдадутся и я одержу быструю победу над Оксиартом и Спитаменом и, наконец, буду иметь удовольствие собственноручно передать Роксане этот подарок.

Мы выступили в поход, и первым препятствием на нашем пути стала река, известная нам как Яксарт — так ее называл пленный из области Маргиана. Иногда ее называли Желтой рекой, из-за песка, который несли ее воды; а жители многолюдной территории\*, обогащенной ирригацией, звали ее Окс. Ни мы, ни греческие географы, ни жители пустыни не знали, в какое море она впадает. Большинство слуг-греков считало, что она впадает в Кас-

пийское море, но они также полагали, что у Персидского залива есть водная связь с тем же самым морем, ни одного признака которого мы еще не видели. Каллисфен, сопровождавший мою армию историк, сделал смелое предположение, что ее устьем является море Оксании, малоизвестный водоем, лежащий за бескрайними пустынями, который, возможно, являлся тем же самым таинственным Аральским морем.

В милю шириной, река разбухла от талого снега, а у нас не было лодок. Поэтому мы прибегли к нашему старому и испытанному средству, грубоватому, но эффективному: из палаток соорудили плоты, набив их соломой. Мы переправились за пять дней вплавь на лошадях. Вполне вероятно, подумал я, что, если Роксана шла этим путем, она со своим немногочисленным сопровождением переправилась, ухватившись за хвост лошади. Для моей любительницы приключений это не составило бы особого труда, чего нельзя было сказать о ее вечно хмурой служанке Ксании. В любом случае, догнать ее мне было уже не по силам.

С народом страны Даранга, на берегу реки, мы расправились сурово, зная, как ему не нравится наше вторжение и что для обеспечения безопасности наших флангов и тыла мы должны это сделать. Наши разведчики обнаружили значительные силы противника в предгорьях между нами и Маракандами, и я приказал снабженцам пополнить наши запасы, а затем выступил на врага. Это были войска Бактрии и Согдианы. Воинов храбрей и свирепей их мы еще не встречали, к тому же у них было преимущество выбирать поле сражения, поэтому нам пришлось отступить с небольшими потерями. Покорение этой северной области оказалось для меня задачей более трудной, чем я предполагал, поэтому, как ни печально, встреча с Роксаной откладывалась. Потом, когда враг отступил к крутой горе и мы пытались выбить его с позиции, в меня угодила стрела, пробив ногу ниже колена и повредив кость. Пришлось спешиться и ехать в колеснице, а Букефалу трусить рысцей рядом со мной и ржать от обиды — ведь теперь весь его мир перевернулся вверх ногами.

Когда враг, не выдержав нашего напора, побежал, мы не стали его преследовать, потому что получили новости о Бессе. До его лагеря было все еще далеко, но эту досадную новость смягчало сообщение о том, что бактрий-

ский и согдианские союзники покидают его. Они больше не верили в него, видя, что он постоянно избегает встречи со мной, тогда как его северные союзники вряд ли имели понятие о страхе и вряд ли возражали против схваток верхом на конях. Истинность сообщения подтвердил го-нец, устно передавший мне послание от Оксиарта и Спитамена: они решили уйти от Бесса и оставить его на нашу милость. Я тут же отправил туда Птолемея с шеститысячным отрядом, вполне способным справиться с остатками войска Бесса. Как мне хотелось самому взять его в плен, но колеснице не успеть за конницей, и я уступил здравому смыслу.

Птолемей обнаружил закованного в цепи Бесса в селении, недалеко от его лагеря. Он дождался моего прихода — именно я должен был подвергнуть Бесса заслуженному наказанию. Мера наказания ускользнула из-под моего контроля: когда я подошел к селению, один простой солдат стал умолять меня, чтобы я позволил ему нанести Бессу один легкий порез мечом, который не лишит его способности двигаться; он хотел отомстить за младшего брата, которого при Арбелах Бесс пронзил копьем у него на глазах. Я дал разрешение. Но вместо одного режущего удара, он, прежде чем я смог воспрепятствовать этому, нанес еще три: один — перед лицом, отсекавший большую часть его носа, и два — с придирчивой точностью с обеих сторон головы — лишив его ушей. Я не мог упрекнуть этого солдата так, чтобы слышала вся армия, которая ненавидела Бесса жгучей ненавистью и громко возликовала, увидев, как жестоко он обезображен. Но начальнику солдата я велел сурово наказать обманщика.

Вся моя армия прошла перед искалеченным Бессом, насмехаясь над ним, а потом его подвергли бичеванию. После всего я был склонен предать его быстрой милосердной смерти, но Гефестион убедил меня отправить его в Экбатаны, чтобы там его судили по персидским законам, а чем кончился бы суд — было известно заранее. Так я и поступил, и там он принял смерть цареубийцы — самую жестокую смерть, какую только способны были придумать персидские цари.

Над нравственной стороной этой казни я не задумывался, но и не сомневался, что ужасное зрелище заставит многих потенциальных цареубийц отказаться от самого гнусного из преступлений.

Несколько дней я промедлил на богатых равнинах реки Окс, чтобы найти новых лошадей взамен потерянных при переходе через Гиндукуш и фуражировать наши запасы довольствия. Затем двинулся на Мараканды, снова верхом на Букефале — у меня были опытные врачи, и рана быстро и хорошо зажила. Этот древний город не оказал никакого сопротивления, и я чуть не поддался сильному искушению остаться здесь на несколько дней по двум причинам: во-первых, навестить дядю Роксаны, главного жреца знаменитого храма; а во-вторых — встретиться с Роксаной, которая, я имел основание полагать, дожидалась меня здесь, в надежде положить конец этой короткой войне. Если бы я знал, какие трудности ждут меня впереди, если я возьмусь за покорение этого незначительного уголка Персидской империи, я бы пошел навстречу обоим желаниям.

Но вместо этого я отправился на самую дальнюю окраину владений Дария, чтобы внушить благоговейный страх двум городам, лежащим на краю безграничных степей. Я также дал им свое имя. Это было утешительно для моей души, и, кроме того, города стояли на важных торговых путях. Но этим походом я серьезно ослабил свою линию подвоза подкреплений и продовольствия, что не преминули заметить такие грозные соперники, как Оксиарт и Спитамен. Возможно, раньше они думали, что выдача мне Бесса удовлетворила меня и я не стану вмешиваться в дела старых режимов Бактрии и Согдианы. Теперь, поняв, что это не так, они начали войну на измор, и одновременно у меня в тылу восстали многие города и селения, уничтожая мои гарнизоны.

Чтобы проучить их всех, я нанес удар по приречным городам, опустошив их, уничтожив их защитников и отдав своим солдатам их белокурых красивых молодых жен и дочерей. По правде говоря, я сожалел об этой обусловленной войной необходимости — отчасти потому, что об этом непременно узнает Роксана, и за последствия я не мог поручиться. Этот народ произошел от скифов, самого варварского народа из всех степных варваров, но я совсем не находил утешения в словах Платона, повторенных Аристотелем, его учеником, в которых заявлялось, что варваров нужно уничтожать или превращать в рабов. По всей видимости, я научился большому: зачастую варвары не только не уступали грекам, но и превосходили их во многих отношениях. Кроме того, из семи жен Оксиарта

самая любимая, родившая мою прекрасную Роксану, была сама скифкой.

Я послал на подавление восстания на юге отряд, но только убедился, что недооценивал его размах и решительность и что у меня совершенно недостаточно сил для нападения. Спитамен осадил Мараканды после того, как они мне сдались, и за рекой, в новом городе, который я строил, собрал значительное войско из степных жителей, только и дожидавшихся, когда я отступлю на юг, позволив им разграбить ненавистные им города.

Я понимал, что необходимо сокрушить это войско перед тем, как заняться чем-то другим. После того как мои строители соорудили легкие катапульты для пробивания стен близлежащих городов, мы прогнали врага с берега реки камнями, железными копьями и стрелами, затем переправились на уже готовых больших плотах. Нам не приходилось долго их искать или долго ждать их бешеных налетов. Это были дикие скифы, не те, оседлые, которых мы сокрушали в их городах, окруженных глинобитными стенами, и таких искусных стрелков из лука я еще не знал. Они умели стрелять с чрезвычайной быстротой и точностью, и у нас только небольшая горстка людей имела представление о мощи их сильно изогнутых луков из рога и кости, и среди них был я, поскольку имел такой лук с юношеских лет.

Когда в их колчанах кончились стрелы, они кидались на нас с ножами, дрогнув, отступали, чтобы броситься на нас снова, строя ужасные гримасы и издавая пугающие вопли. Они прежде всего нападали на нашу вспомогательную кавалерию и фалангу, которые несли тяжелые потери; им на помощь приходили другие всадники и цепляющиеся за стремена пехотинцы, но и эти тоже не могли обратить в бегство этих белокурых демонов, наводивших ужас на караваны и города. И только насеяв на их левый фланг пехотой и кавалерией, я добился перелома в ходе сражения. Успех быстро разрастался, мы косили их направо и налево, пока наконец они не поняли, что мы им не по зубам. Те, кто остался в живых, дрогнули и побежали.

Я еще полностью не осознавал, как эта победа может отразиться на моем положении в Бактрии и Согдиане. Гонясь за скифами по жаре, я пил скверную воду, от которой заболел желудком, и, когда прибыло посольство от скифского царя, я лежал слабый и больной. Это был, конечно,

не истинный царь, просто главный вождь сотни кланов, и какой-то раб, умевший писать по-гречески, начертал его многословные извинения за нападение тех, кого он считал степными разбойниками, и просил принять себя и свои кланы под мое начало. И что еще важнее, быстро разлетелась весть, что я нанес сильное поражение численно превосходящим меня диким скифам, которых все азиатские народы считали непобедимыми. Этот поворот событий принес мне внезапное излечение от дизентерии, против которой мои лекари оказались беспомощными.

Я прекрасно понимал, что скифы снова нападут при моей первой же кажущейся слабости; но мое положение было ненадежным, что мог бы сообразить любой даже тупоголовый военачальник: с севера подступали пустынные степи, на юге широкий размах приобрело восстание, и я был заперт в горах.

Поэтому я отвечал учтиво, что буду рад сохранению мира на границе. Тем временем Спитамена, осадившего маракандскую крепость, один раз отбросили, что не помешало ему навалиться на нее снова, и только когда я лично пошел к ней на выручку, он снял осаду и ушел в Базары\*, столицу Согдии.

Тут опять фортуна повернула свое колесо или любящие меня боги занялись другими делами, ибо большое подразделение моей армии — всадники и фаланга под неумелым руководством Фарнуха — подверглось на открытой равнине нападению согдийцев, которыми командовал талантливый Спитамен, и я потерпел самое кровавое поражение за все годы войны. Вина была моя: я назначил Фарнуха командующим этого подразделения по какой-то причине, мне самому неизвестной, если не считать того, что он был среди первых македонцев\*, которые воздавали мне все царские почести.

Если бы три сотни пехотинцев из фаланги не объединились и не пробились в леса, где стрелы были для них не так опасны, все войско было бы уничтожено.

Города и небольшие фермы этой области снабжали Спитамена довольствием, поэтому, заставив его бежать в степи, я опустошил ее, перебив множество варваров.

Я вернулся в Мараканды с очень слабой надеждой найти там Роксану и обрести счастье, а вместо этого проникся ненавистью к себе за чудовищное злодеяние. Мы отказались от идеи покорения Бактрии и Согдианы до следую-

щей весны. Страдая от бездействия, я сам и мои военачальники осушили слишком много чаш, что всегда было бедой македонцев. Ужасная кульминация наступила на пиру, устроенном после приношения жертвы Кастору и Полидевку. Зашла речь относительно отца этих братьев-близнецов, который для греков был Зевсом; поднялся один льстец и стал уподоблять их мне, а затем объявил меня их единокровным братом. Другие гости, разгоряченные вином, заявили, что я превзошел близнецов; это огорчило моих македонцев и разозлило Клита, который был мне близким другом с самого детства.

Он был тоже разгорячен вином и настроен воинственно. Нетвердо поднявшись на ноги, он стал осуждать меня за мое убеждение в том, что Зевс — мой родитель, начав бесчестить меня, и, не в силах уже остановиться, он заявил, что своими победами я целиком обязан армии, которую дисциплинировал и обучил мой отец Филипп. Я воздержался от немедленного ответа, стараясь подавить в себе ярость, а возбужденный разговор продолжался, перейдя на сравнение воинских качеств македонцев и моих новых союзников. Затем один перс с едкой насмешливостью отозвался о македонцах, потерпевших поражение от согдиан, явно имея в виду, что они трусы.

В сильном гневе Клит ответил на эти насмешки и заступился за храбрых ветеранов. И тут я поступил неразумно, открыв свой рот, который поклялся держать на замке.

— Очевидно, Клит ходатайствует сам за себя.

Это так его взбесило, что он свой гнев направил прямо на меня, насмешливо заметив, что он сам спас мне жизнь на Гранике, и это было чистой правдой, но утверждение, что своей славой я обязан македонцам — это было правдой только отчасти. Однако я чем-то запустил ему в голову, кажется, каким-то фруктом, он же схватился за кинжал и рванулся ко мне. Какая-то более трезвая голова позаботилась о том, чтобы Клит остался без кинжала. И все же я бросился к нему, однако увидел, что мой телохранитель уже принимает меры обуздания. Тогда Клит заорал, что он в том же положении, что и Дарий, преданный своими единомышленниками. Тут его друзья, чувствуя нарастающую опасность ситуации, поспешили вывести его из зала.

Я все еще был взбешен, и меня терзала маниакальная мысль: как это Клит осмелился поднять руку на Алексан-



дра Великого; Клит же был разъярен не меньше меня. Он ускользнул от друзей, пытавшихся вывести его на свежий воздух, и бросился назад, к другому дверному проему, где и встал под занавесом. Издевательским тоном он стал декламировать отрывок поэмы одного из наших великих драматических поэтов:

Несет нам, грекам, мир не то, что надо:  
Не помнит подвигов сынов своих Эллада,  
Добычи нет для тех, кто землю спас,  
Зато цари гребут все про запас.

Клит опустил занавес. Медленно уяснив смысл стихотворения — вино и ярость туманили мне голову — я выхватил копье у одного из моих охранников и метнул его туда, где только что стоял Клит. Опьянение и расстройство чувств не позволили мне промахнуться. Я услышал, как за занавесом что-то тяжело упало.

Первым на месте оказался Птолемей. Он поднял занавес, и мы увидели лежащего на спине Клита, из груди которого почти отвесно торчало копье.

— Боги Олимпа! — закричал я в ужасе. — Клит умер?

— Царь Александр, чего бы ты ожидал еще, когда сталь на полфута вошла ему в грудь?

Я закрыл лицо руками и, в ужасе похолодев, протрезвел, чувствуя себя несчастным и безутешным. Мне подумалось, что я понял смысл страшного предчувствия, снизошедшего на меня, когда я мылся во дворце Сухраба. Я мог вспомнить эту сцену во всех ее живых подробностях: большие горшки, лицо и фигуру девочки-рабыни, когда она наливала воду в алебастровый чан, и смутно различимые, темные и безобразные привидения, скачущие у меня перед глазами. Я любил Клита — и убил его. Кого еще из любимых людей суждено мне было уничтожить? Кто на земле мог бы спасти меня от этого проклятия?

## 7

На торжественных и величественных воинских похоронах, устроенных Клиту, я сидел в стороне верхом на неподвижном коне, и, когда кто-нибудь приближался ко мне, как бы желая что-то сказать, я отрицательно качал

головой. После похорон я удалился в свою комнату, из которой не выходил три дня, не прикасаясь к еде и вину, никого не принимая, и не было со мной ни одной женщины, которая бы любила меня, на чьих нежных коленях могла бы успокоиться моя лихорадочно возбужденная голова.

Со временем это наваждение прошло. В те краткие минуты, когда горе отступало, я вспоминал о своей великой миссии, и эти минуты все удлинялись по мере того, как душевная боль ослабевала. Ведь недаром я все же был Александром Великим, победителем при Гранике, Иссе и Арбелах. Мне следовало бы сместить Клита с должности, а не убивать его в приступе бешенства, хотя, если рассудить, он бы не говорил такое в пьяном состоянии, если бы трезвым не таил те же самые мысли. Мои македонцы выходили из послушания, они забыли о славе и золоте, завоеванных под моим знаменем, жаловались, не желая идти дальше в неведомые глубины Востока; вполне вероятно, что им хотелось бы оставить Бактрию и Согдиану непокоренными, способными поднять восстание в Центральной Азии, если я уступлю их желаниям, откажусь от продолжения войны и отправлюсь в обратный путь, на родину. Но им наперекор я твердо решил не отступать от прежнего решения — покорить своей власти все земли, платившие Дарию дань, — и был уверен в успехе.

Моя империя будет в точности такой же великой, какой была его, а возможно, и много больше.

Я поразмышлял над этой мечтой, понимая, что сбудется она еще не скоро, затем решил вызвать к себе ближайшего друга. Им больше не был Птолемей: в голосе его, когда он стоял над телом Клита, я слышал горький упрек. Я послал за Гефестионом.

Мы поговорили о разном, в основном о военных делах, и распили небольшой позолоченный кувшин вина. Перед тем как уйти, он сказал, положив руку мне на плечо:

— Нелегкое это дело — быть царем Азии. Даже мелкий царек должен стоять высоко над своими подданными, а иначе к нему будет такое же отношение, как к черни; а уж об Александре Великом и говорить нечего. Клит забыл свое место, а может, никогда его и не знал, и, оскорбив тебя, он заслужил смерть.

В начале весны я повел свою армию в столицу Бактрии, в стратегическом плане являющуюся базой, откуда можно было наносить удары по вражеским силам пустыни и степей; поблизости я намеревался построить ряд крепостей. Но предательству не было еще конца. Оно опять подняло свою отвратительную голову, когда после пира и игр хороший оратор, которого я недавно возвысил, оплатил мне самой высокой монетой: не называя Клита по имени, он довольно прозрачно дал понять, что Клит получил только то, что ему причиталось. Более того, оратор провозгласил, что я совершенно справедливо настаиваю на земных поклонах и чтобы ко мне относились так, будто я равен Гераклу и Дионису, если не выше их, ибо в своей жизни я совершил больше, чем каждый из них. Какой человек, рожденный от человека, мог бы сделать так много? А поскольку уже сейчас ясно, что после смерти меня станут почитать как бога, почему бы не делать это сейчас?

Мои македонцы нахмурились, а племянник Аристотеля, историк Каллисфен, поступил намного хуже. Он всегда мнил себя особенно привилегированным из-за родства с учителем и теперь в своей речи, произнесенной в ответ предыдущему оратору, позволил себе непростительную вольность. Суть его замечаний сводилась к тому, что он готов воздать мне честь как смертному человеку и герою, но поклонение мне как божеству — дело другое, и два этих понятия нельзя смешивать. Он даже намекнул, что сами боги были бы недовольны, а возможно, и наказали бы меня за подобное святотатство.

Я не ответил на его речь и даже притворился, что не слышу, что он говорит. Единственно, чем я удостоил его оскорбление, это тем, что отвернулся от него, беседуя с другим, когда он подошел ко мне и подставил щеку для дружеского поцелуя. После такого приветствия персы поклонились мне до земли и отошли, пятясь назад. Каллисфен же не только не поклонился, но еще отпустил оскорбительное замечание.

После этого собрания Гефестион тайно передал мне небольшую записную книжку в обложке из черной кожи. Первое имя, которое я занес в нее, было именем Каллисфена. Мне нужно было только дожидаться, когда он замыслит убрать меня, а я знал, что это должно скоро случиться, и это действительно случилось, когда шестеро моих па-

жей, одного из которых я велел публично высечь плетью за то, что он на охоте метнул копье в дикого кабана, предназначенного мне, устроили заговор с целью убить меня, раскрытый одним из моих шпионов. После этого они жили недолго, и, наконец, я вычеркнул из маленькой черной книжки имя «Каллисфен».

Теперь, в разгаре весны, мне захотелось совершить поход в Индию, взяв с собой Роксану. Я больше не видел ее, не знал, где она находится, и не сомневался, что она нарочно избегает меня, возможно, оттого, что я так сурово расправился с окрестными городами и сельскими жителями, помогавшими Спитамену.

Этот военачальник снова ступил на стезю войны. Пока моя армия там и тут подавляла восстания, он пошел на юг, в Бактрию, и уничтожил один из моих гарнизонов. Затем он стремительно двинулся к Бактрам и, хотя на самую столицу не напал, сделал налет на сдавшиеся мне небольшие города и спалил окрестные села, которые должны были поставлять мне довольствие. Мой маленький гарнизон сделал вылазку и, захватив налетчиков врасплох, обратил их в бегство, но возвратиться в крепость не смог, будучи сам уничтожен превосходящими силами врага. Против этих сил выступил Кратер и загнал их в пустыню.

И тут я вдруг оценил одно обстоятельство, настолько очевидное, что я не понимал, каким образом оно до сих пор ускользало от моего внимания. Мои македонцы, находясь среди врагов, имея за плечами опыт тяжелых боев и зная, что в будущем им суждены новые сражения, чувствовали себя совершенно счастливыми, пели и шутили вокруг бивуачных костров, весело шагали на марше, и их совсем не волновало, бог я или человек. На самом деле ими руководила жажда приключений, просто им нравилось сражаться; и мне не следовало считаться с их ворчанием от безделья и воздерживаться от похода с ними в Индию или от массовых расправ с предателями и заговорщиками, даже если это старые друзья. Что бы они делали без меня? Если бы не я, они бы проживали обычную жизнь и умирали обычной смертью. Война была делом кровавым, скольких она унесла и скольких заставила страдать, но она была лучше, чем любое другое занятие, для людей духа и с авантюрным складом ума. Все это в глубине души они знали.

Точно так же было правдой и то, что они меня любили, даже ворчуны, ведь если б не я, они бы не приняли участие в величайшем приключении всей истории и вместо этого полусонно влачили бы свои скучные дни, живя только наполовину. И Роксану я надеялся заполучить, в основном, потому, что она тоже обожала приключения, иначе не отправилась бы в такое далекое путешествие в Додону.

Множество полей сражений открылось передо мной, несколько различных направлений удара, по которым я мог бы развивать осуществление своего грандиозного замысла. Основываясь на донесении, в котором не мог усомниться, я внезапно сделал бесповоротный выбор. Наконец-то я получил новости об Оксиарте, порвавшем со Спитаменом и давно уже пропадавшем неизвестно где. Выяснилось, что все это время он занимался укреплением горной крепости, называемой Скалой Аримаза, и навез туда много съестных припасов с расчетом на длительную осаду. Несомненно, именно это место имела в виду Роксана, когда говорила, что Оксиарт отойдет туда, где мне его не взять. Наверняка, думал я, она там с ним, ведь они отец и дочь, оба бактрийцы царской крови, доблестные защитники своей родины даже против вторгшегося к ним врага, которого Роксане выпала доля полюбить.

Я подошел к Скале. И действительно, крепость казалась неприступной. Послав Оксиарту предложение сдаться и получив вызывающий ответ, в котором, мне казалось, я узнал руку Роксаны, я решил брать крепость приступом как только позволит погода.

Пролетела осень, зима перевалила за середину, и времени ждать оставалось мало. Тогда я вознамерился совершить один из самых захватывающих подвигов в своей жизни, чтобы удивленно раскрылись полураскосые очи моей полудикой возлюбленной.

Я не давал своим солдатам отсиживаться в холодных палатках и жаловаться на свою судьбу. Я постоянно заставлял их шевелиться, будь то дождь или снег, делал ночные налеты на твердыни врага, и нередко им приходилось переносить холод, сырость, голод и сильную усталость, но мой интендант знал свое дело, и кое-где их ожидали горячая еда и заслуженный отдых. Они становились такими же жизнерадостными, как на первом марше из Македонии семь лет назад.

Оксиарт не располагал большими силами. Это подтверждали наши пристальные наблюдения за крепостью, подсчет числа входящих и выходящих через главные ворота за дровами, водой и по другим надобностям. Мы вскоре пришли к заключению, что всего в крепости не более трехсот человек, причем свыше половины из них — женщины и дети, и все они, без сомнения, родственники царю по крови или по браку. Прочность крепости заключалась в почти отвесных склонах огромной высокой скалы, на которой она стояла.

Разглядывая местность с окружающих холмов, мы заметили другие, менее крутые скалы, накладывающиеся на главную скалу, и сквозь них проходило узкое ущелье, ведущее к форту, выложенному из тесаных камней на самой вершине утеса. Его мы смогли бы взять в результате упорного штурма, но для этого требовалось взобраться на высокий уступ, что оказалось бы не по силам и четвероногим горным баранам, уж не говоря о людях. Моим скалолазам предстояло взбираться вверх с помощью вбитых в трещины скалы железных костылей, к которым можно было бы прикрепить короткие веревки.

Я велел объявить солдатам, что мне нужно триста добровольцев, чтобы попытаться влезть на скалу. Первый, кто одолеет подъем, получит в награду двенадцать талантов золота — состояние, которого бы не нашлось у многих, считающихся богатыми жителей в Македонии. Следующий за ним получит одиннадцать талантов, третий — десять, и так далее. Последнему же из двенадцати достанется всего лишь один талант. Добровольцами вызвались более половины имеющихся в стане солдат, и начальники отобрали из них нужное мне количество.

Некоторые из этих трехсот добровольцев, как часто бывает в военных прожектах, пожалели о своей безрассудной храбрости и честолюбии. К счастью, причитания их слышались недолго, всего несколько секунд. Время от времени кто-то, не в силах удержаться руками или теряя равновесие, падал на первый уступ или в сугроб. Страх падения есть стихийный страх, присущий в той или иной степени каждому человеку, и те, кто, упав, каким-то чудом уцелели, рассказывали мне следующее: когда впервые осознаешь, что опора подвела и ты летишь вниз в пустом

пространстве, тебя охватывает благоговейный ужас, стирающий ощущение собственной индивидуальности; зачастую падающий беспомощно вопит, а некоторые зовут своих матерей. Этот ужас быстро проходит, если падение затяжное; падающий почти примиряется со своей скорой смертью и испытывает странное, жуткое любопытство относительно того, куда именно и на что он упадет.

Однажды мне удалось поговорить с любителем взбираться на скалы, который сорвался с уступа над пропастью с высоты шестисот футов. При скорости падающих тел, которая по грубым подсчетам первых эллинских математиков составляла около двадцати футов в первую секунду, сорок — во вторую, восемьдесят — в третью и сто шестьдесят — в четвертую, его падение в целом длилось по меньшей мере пять секунд, а может, и больше, если учесть сопротивление разреженного на большой высоте горного воздуха падающему с такой страшной скоростью телу. Последнее, говорил он, что запомнилось ему в его умственном состоянии, было ощущение бесстрастного любопытства, врежется ли он в снежный сугроб или ударится о соседние камни, и, в любом случае, думалось ему, смерть неминуема. Так случилось, что именно этот сугроб представлял собой рыхлый снег с чуть подтаявшей под летним солнцем ледяной коркой. Он вошел в снежный ком ногами и скрылся в его глубине от взоров стоящих неподалеку спутников, и они, лихорадочно работая, откопали и вытащили его наверх, и, как только он снова задышал, разлившийся по лицу темный оттенок исчез. Он переломал кости ног и таза, но искусный лекарь вправил кости, и благодаря его молодости они срослись; он снова стал ходить, правда, уже с тростью.

Я поверил этому рассказу — отчасти потому, что рассказчик был человеком живого ума, снедаемого любопытством в отношении всех явлений, и я сам не раз стоял возле смертельно раненных воинов, видевших, как кровь хлещет у них из ран, и прекрасно понимающих, что секунды оставшейся жизни сочтены; они ощущали холод неминуемой смерти, но почти всегда голова у них оставалась ясной, последние слова звучали разумно, и ни один из них не боялся — я знаю это по всему своему военному опыту.

Вот оборвалась веревка, вот вылез костыль — так двадцать человек из всей этой группы сорвались вниз, и

ни одному из них не посчастливилось остаться в живых, падая и ударяясь о камни; треть же погибших оказалась на каменных уступах или в недоступных снеговых сугробах, поэтому мы не могли оказать их только что окрыленным душам удовольствие видеть почетное погребение их телесных останков. Вместе с другими потерями это составило один погибший из десяти на всю эту группу из трехсот добровольцев. Мои военачальники сочли это дешевой ценой за одержанную победу. Так оно, конечно, и было с военной точки зрения, ведь форт казался совершенно неприступным, но мы не могли спросить уже никого из этих тридцати, каков его личный подсчет цены победы, который, без сомнения, сильно бы отличался от командирских выкладок.

Если бы моя нога не потеряла упругости после той раны, полученной от стрелы два года назад, я бы сам повел этот отряд.

Когда остальные взобрались на вершину огромной скалы, Оксиарт убедился, что ему не миновать поражения. Его честь как бактрийского патриота была спасена, поэтому он встретил меня у главных ворот крепости, земно кланялся мне и просил о милости к ее обитателям, что я ему с радостью обещал.

Оксиарт выглядел царем что надо. Высотой шесть с половиной футов (под два метра), гибкого телосложения, он выглядел очень молодо для своих пятидесяти с небольшим, и все в нем говорило как о прирожденном всаднике, включая сильные запястья и кисти рук, изящную сбалансированность движений. Я также знал, что Спитамен, который не тратил бы чувств на человека ниже себя, испытывал к нему ревность: ведь Оксиарт умело управлял своим царством и завоевал себе любовь и преданность народа. Теперь, когда я взгляделся в его лицо и услышал его мужественный голос, я начал осуществлять свой тщательно продуманный план.

— Царь Оксиарт, не окажешь ли ты мне честь призвать сюда свою дочь Роксану?

— С радостью.— Он тут же отправил слугу.

Роксана не заставила себя ждать, хотя на такую дерзость она, по-моему, была способна; несомненно, она ждала где-то рядом и появилась немедленно. Она с достоинством приблизилась ко мне, и, поскольку ее отец уже положил мне земной поклон, ей ничего не оставалось, как сделать



то же самое, что, разумеется, было ей не по нутру. После поклона она поднялась и встала передо мной в совершенно вольной позе. Я не видел ее почти два года и, кроме костюма, не заметил в ней не малейшей перемены. При серьезном выражении лица глаза ее все же горели живым огоньком.

— Царь, я еще и прежде встречался с твоей дочерью, — сказал я ее отцу.

— Она мне этого никогда не говорила, но мой брат Шаламарес сообщал мне об этом факте, царь Александр.

— Царь, я позволю тебе править и Бактрией, и Согдианой, и чтобы прежний царь Согдианы стал твоим сатрапом, но при двух условиях. Во-первых, ты признаешь меня повелителем Азии и продолжаешь платить в мою казну ту же дань в золотом песке, какую ты раньше платил в казну Дария III.

— Принимаю его с благодарностью и радостью.

— Второе мое условие личного характера. Я прошу руки твоей дочери Роксаны, чтобы она стала царицей моих владений.

Оксиарт быстро посмотрел мне в глаза, будто не веря собственным ушам. Кровь бросилась ему в голову, заставив покраснеть лицо, и он не знал, какие слова найти для ответа до тех пор, пока мысли немного не успокоились: тогда он заговорил, и очень хорошо.

— Великий царь, я не осмеливался и мечтать о такой чести! Я всего лишь мелкий царек; Бактрия и Согдиана составили бы незначительную часть твоей империи. Воистину, я покорен. Тебе и не нужно было бы спрашивать моего согласия, хотя надо отдать должное: это высшая степень учтивости.

— Нет, ему следовало спросить согласия, ведь я княжна, — горячо вмешалась Роксана.

Оксиарт побледнел из страха, что она «бросила кота в котел с супом» — эту поговорку любили сельчане у меня на родине. На эту дерзость я вовсе не обратил внимания: я этого как раз и ждал от своей храброй возлюбленной, и этот дух притягивал меня к ней еще больше, чем красота.

— Тогда будем считать дело решенным. Как только приедем в Мараканды, попросим ее дядю Шаламареса совершить брачный обряд, как предписывал Заратустра, а когда будем в Бактрах, где есть небольшой храм Артеми-

ды, построенный членами ее культовой общины, мы принесем ей жертву и попросим ее благословить наш союз.

— Хорошо, мой царь.

— Тем временем на пути я хочу, чтобы она составила мне компанию в моей царской палатке, она сама и ее любимые слуги, потом в моем жилище в Маракандах и в Бактрии, а позже как сопровождающая меня царица в тех войнах, которые я должен буду вести в Индии.

Я не облачил это приглашение в вопросительную форму. Оксиарт прекрасно понимал, что это приказ, подчиниться которому было для него высшей степенью радости. Он поспешил ответить прежде, чем могла вмешаться Роксана. Впрочем, я не думаю, что она вмешалась бы, если только меня не ввело в заблуждение выражение ее глаз, показавшихся мне более удлинненными и раскосыми, чем обычно, и несколько мечтательными. На этот раз, я полагаю, в ней сработал надежный инстинкт, приказывавший ей держать язык за зубами.

— Мне было бы это чрезвычайно приятно, Александр Великий, хоть я и буду скучать по шалунье.

Будучи человеком тонким, он ни словом не упомянул о внезапной кончине своего зятя Сухраба, я тоже.

Пока царь Оксиарт, его семья и сторонники готовились оставить высокую крепость на скале, я уединился в палатке и задумался надо всем, что сказала или сделала Роксана с тех пор, как мы впервые обрели друг друга в Бактрах.

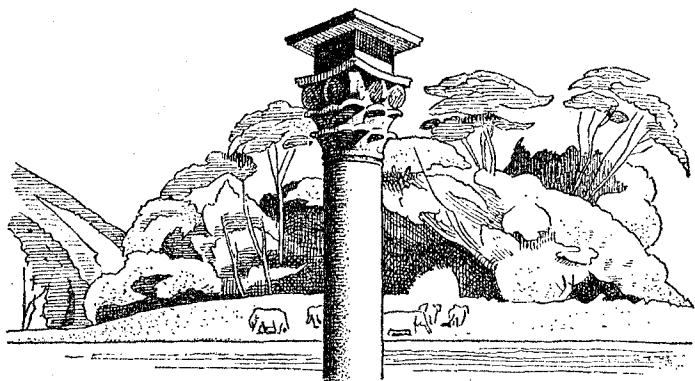
Все события казались произвольными, не связанными между собой, но теперь я задался вопросом, правда ли это? Разве мне только почудилось, будто все увязывается в единый рисунок поведения, более сложный, чем желание выразить себя импульсивной, ищущей приключений, страстной натуры с врожденным чувством независимости и жизнерадостным духом? Уж это-то мне было хорошо известно. Она с удивительной ясностью поняла мою собственную сущность в возрасте тринадцати лет, когда мне самому было только шестнадцать, во время наших дел в Додоне. Там она влюбилась в меня, как и я в нее, и с ее стороны это не было просто девическим слепым увлечением, ведь в Персии девушки созревали рано, крестьяне отдавали дочерей замуж в двенадцать-тринадцать лет. В Бактрии, столица которой находилась так же далеко на юге, как самый крайний греческий остров Кифера, на

большей высоте с бодрящим воздухом, и продувалась ветрами с горных снегов, ранняя зрелость тела могла сопровождаться ранней зрелостью ума. Были и другие факторы, заслуживающие внимания: ее мать — скифская княжна, отец — мудрый правитель из древней династии, дядя — обладающий глубокими знаниями верховный жрец великого храма Зороастра. Она относилась к своему положению царевны Бактрии с большой серьезностью, несмотря на свой живой и веселый характер.

В мое долгое отсутствие, большую часть которого она была женой и зависела от милости человека, которого ненавидела и к которому испытывала отвращение, она уповала на меня. Она дорожила тем, что мы сказали тогда друг другу, верила в это, ее любовь ко мне не только не угасла, но разгорелась еще сильнее, и я не сомневался, что она давно бы уж разделалась с Сухрабом, если бы не решилась дожидаться моей защиты. С тех пор как я пришел в Бактры, она делала то, что больше всего могло привлечь меня к ней, позволяя своему телу выразиться со всей полнотой страсти за те две ночи, что мы провели вместе, сообщая моему телу высшую степень возбуждения, при этом обращаясь со мной как с равным, а боги знают, что уже тогда это стало для меня чем-то новым. Затем она избегала меня мучительно долгое время. Если это входило в заранее продуманный план, то он удался.

Но какова была ее дальнейшая цель? Я не сомневался, что таковая у нее имеется. Она стремилась стать большой, влиятельной силой в моей жизни, ни в коем случае не принимая пассивной роли, на которую были согласны многие царицы Востока. И в душе я не сомневался, что ее толкала на это жажда моего блага, ее собственного и блага всей бескрайней империи, уже покоренной мною и ждущей моих новых завоеваний.

Роксана мне всегда казалась не такой нежной, обладающей не таким ярким умом, как Таис, и не такой героической натурой, как Барсина. Возможно, что в этом отношении я ошибался.



## Глава 8

### ИНДИЯ

#### 1

Вынудив к сдаче еще одну крепость, я был готов приступить к завоеванию подчиненных Дарию государств Индии. Правда, в пустынях и горах позади оставались воинственные племена, которые, если б осмелились, могли бы напасть и разграбить мои недавно завоеванные владения. Но я полагал, что могу разобраться с этими племенами и позже — ведь за своей спиной я оставлял в крепостях гарнизоны верных мне людей, на ответственных постах — как можно больше бактрийцев и согдиан, а на подчиненном мне троне — Оксиарта с сильной охраной из местных воинов.

В течение зимы после моего двадцать восьмого дня рождения, в год двадцать девятый от Александра, я, насколько помню себя, был счастливее, чем когда-либо в жизни. В дневные часы я занимался укреплением занятой мной территории со всеми вытекающими отсюда административными проблемами. Ночью я принимал Роксану, мою прекрасную жену, которая в свои двадцать пять лет находилась в возрасте расцвета молодой женщины. Это цветение очаровывало больше, чем тот бутон, который я видел в Додоне. Любовь сильно увлекла нас обоих, и мои воины шутливо замечали, что горнисты трубили вечер-

нюю зарю на час раньше, чем это было до моей женитьбы, а утром я требовал к себе Букефала на добрый час позже.

В начале этого отрезка времени Роксана поинтересовалась, правда ли то, что один из моих лучших предводителей отрядов Диамен раньше был учеником замечательного греческого скульптора Скопаса. Я это подтвердил.

— А сам по себе он хороший скульптор? — продолжала любопытствовать она.

— Да, так считают. Его храмовая статуя Деметры в Лариссе является гордостью всего города.

— Что же он тут делает, этот глупец, мозоля себе руки рукояткой меча и рискуя лишиться глаз под дождем стрел?

— Он прибыл сюда с последним пополнением и пробыл у меня всего лишь год. Ему совершенно справедливо захотелось повидать белый свет, окунуться в мир приключений и приобрести опыт, который Греция ему дать не могла.

— Ты мог бы освободить его примерно на две недели, каждое утро часа на два перед полуднем?

— Его заместитель мог бы занять его место. Но в чем дело?

— Не скажу. А еще мне потребуется талант золота и две... нет, лучше три оки слоновой кости. Ты не должен заходить домой, пока он будет со мной. Это будет сюрприз.

— Если я случайно застаю его в компрометирующем положении, я из него сделаю чучело.

Этот разговор изгладился из моей памяти до тех пор, пока я не пришел в наше жилище после игр и жертвоприношения накануне своего похода на Восток. Прекрасная и просто одетая, Роксана встретила меня у входа, провела в баню и собственноручно вымыла — обычно это входило в обязанности ее строгой домохозяйки. Но в этой роли царица моей империи не чувствовала себя ущербной. И я несколько раз делал то же самое для нее, хотя вряд ли только ради нее — ради себя тоже, и считаю, что поистине это, должно быть, один из обрядов Афродиты, готовящейся к главному обряду, которым богиня восхищалась больше всего.

Роксана провозилась больше, чем нужно, ее руки то деловито хлопотали, то вяло замедляли движение, при этом глаза становились какими-то сонными и косили больше,

чем обычно, и речь звучала не совсем связно. Только большим усилием воли взяв себя в руки, она успела все сделать вовремя, и мы не опоздали к обеду.

Когда я облачился в богатую персидскую одежду, она завязала мне глаза большой косынкой и ввела в трапезную, поставив за спинкой стула, затем сняла повязку.

Я не знал, что ожидать в качестве «сюрприза» Роксаны, но то, что я увидел, потрясло меня. Молодой скульптор Диаман сделал свою работу с потрясающим мастерством. На столе стоял бюст Роксаны, выполненный в золоте и слоновой кости. Я не мог вообразить, где он достал такой большой слоновый бивень, что смог вырезать ее лицо почти в полный разрез из цельного куска. У самых крупных из виденных мною азиатских слонов не было бивней такого размера, поэтому я решил, что он взял самую объемистую часть гигантского бивня, завезенного из Африки, где слоны вырастают выше и массивней и кости у них намного мощнее, чем у их азиатских братьев. Шея также была из слоновой кости и смыкалась с головой под челюстями так искусно, что совсем не было заметно линии стыка. Золотистая масса волос, приобретшая благодаря его искусству светлый оттенок, была перехвачена сзади золотистой лентой и венчала всю головку, смыкаясь со слоновой костью на висках и в верхней части лба. Ее брови были изваяны из того же светлого золота, а губы — из бледно-красного камня, возможно, коралла, а в ушах сверкали две сияющие жемчужины.

Но главной достопримечательностью этого бюста были все же ее глаза. Я тут же узнал в них те два сапфира, что поразили меня схожестью с ее глазами. Теперь у меня совсем не оставалось сомнений, что ювелир из Голконды обработал их для того, чтобы они стали глазами идола какой-нибудь богини в индийском храме, но их, к моей великой удаче, отвергли жрецы, и так они оказались у меня в руках. Конечно, только благодаря капризу случайности их концентрические круги так напоминали эту особенность Роксаниных глаз.

И только благодаря блестящему мастерству скульптора веки из слоновой кости оказались удлиненными и слегка вздернутыми вверх к наружным уголкам глаз.

— Роксана, этому следовало бы быть одним из семи чудес света! — воскликнул я.

— Ни в коем случае. Однако это отличная работа, если

учесть, что она выполнена за три месяца. За первые две недели Диамен сделал модель из мягкого дерева. Он, как ты видишь, схватил планиметрию моего лица. После этого он сделал то, что ты видишь — и сделал это в свободное от учебного плаца время, а будучи настоящим художником, он с радостью отдавался работе вместо того, чтобы бездельничать, пить и болтать о женщинах и войне со своими друзьями. Очень похоже?

— Так здорово, что я дам ему талант золота.

— Прошу тебя, так и сделай, если ты вполне доволен. Он ведь другой талант пустил на мои волосы. Я пожертвовала двумя жемчужинами, а у него были пластины из слоновой кости, накладывающиеся на дерево — для плеч. Весь бюст с пьедесталом из серебряных плиток весит больше семи ок.

— Я установлю его на почетном месте в палате для аудиенций.

— Ты этого не сделаешь, если прислушаешься к моим желаниям. Я хочу, чтобы ты поставил его на стол для карты в своем военном штабе.

— Его там никто и не увидит, кроме военного начальства, неспособного отличить искусство от капусты.

— Его будешь видеть ты, Александр, а я буду видеть тебя.

— Пользуясь камнями вместо глаз?

— Ты ведь можешь вообразить себе, что это мои глаза. Затем, когда тебе покажется, что твоя стратегия требует опустошить поля крестьян или уничтожить народ, осмелившийся не подчиниться, ты задумаешься, уж такая ли это и в самом деле военная необходимость. И если после этого ты позволишь людям жить, а нежной траве расти, мой бог Заратустра благословит меня за этот подарок, а все боги твоего пантеона, которым дорог простой народ, благословят Александра Великого.

Мне не совсем понравилось то, что на первый взгляд показалось ее вмешательством в мои военные дела. Но потом я заглянул в эти серьезные глаза, поцеловал эти мягкие губы и понял: она сделала то, что естественно для нее, что было бы естественным для всех хороших женщин, в которых я не сомневался, ведь, в муках давая жизнь, они учатся состраданию, и им невыносимо, когда ее отнимают бесцельно; учат их также мягкость и беспомощность младенцев, лежащих у их груди.

Поэтому я быстро справился со своей досадой, и мы пировали, выпили вина, а когда пришло время — одарили друг друга нежной любовью, супружеской в ее священном смысле, и после этого уснули друг у друга в объятиях, и в эту ночь у меня с самого первого погружения в глубокий сон были счастливые сновидения до тех пор, пока я не пробудился, твердо зная, что увижу ее рядом с собой. А ведь не раз меня мучили кошмары, будто я все еду и еду, все убиваю врагов, все ищу что-то и не могу найти и все ближе подъезжаю к глубокой черной пропасти в голых заснеженных горах. Этой пропасти нет на моих картах, но для сидящего на ее черном троне царя в черном головном уборе я первый любимчик из всех ныне живущих и в прошлом обитавших на земле царей, ибо я так щедро увеличил число его подданных. Они безгласны, лишены памяти, вечно ходят толпами, не зная, почему жмутся друг к другу в его бескрайних тусклых и мрачных залах.

## 2

Как и просила Роксана, я поставил бюст на стол для карт. Во время весенней кампании я почти всегда смотрел в эти сапфиры, воображая, что это ее глаза, перед тем, как подписать приказ о суровой расправе с непокорным народом, с их городами и селами. Иногда я откладывал перо в сторону, но чаще подписывал приказ, потому что южнее Гиндукуша нам попался народ глупый и упрямый, неспособный понять неотвратимость моего наступления, что только мирная капитуляция может спасти их от сурового наказания. Вместо этого они снова и снова нападали с отчаянной яростью, тем самым по собственной воле обрекая себя на уничтожение.

Теперь моя армия сильно увеличилась. Отчасти последнее пополнение составили греки из наших городов Малой Азии; они благополучно прибыли, прошагав по завоеванным и усмирненным мною обширным землям; но гораздо больше с этим пополнением в армию влилось персов, и немало их прибыло из Парджи, Арии, Бактрии и Согдианы. С учетом женщин в нашем обозе, рабов, несших багаж, и всех других гражданских лиц, за моим знаменем шло войско в сто пятьдесят тысяч человек. Все виды немощи, болезни, несчастные случаи, смерть в бою



катастрофически сократили число македонцев — первоначальную прочную сердцевину моей армии. Армия, которую я вел за собой, не была греческой: уже ряд лет она не являлась таковой ни на деле, ни по названию; никто бы уже больше не смог принять ее по ошибке за греческую армию — это была армия Александра. Теперь я мог разделить ее на крупные части, направить их по разным маршрутам и таким образом подчинить себе гораздо большую территорию.

В горных районах севернее Инда вражеские воины внешне выглядели более похожими на греков, чем мы, кто шел на них войной. Этот народ состоял из высоких белокурых людей, и мои историки считали, что они ничем не отличались от своих арийских предков, мигрировавших сюда из неизвестных регионов Центральной Азии, и что их племена повернули на запад: они-то и стали предками нынешних греков. В верховьях реки Каспис\* мы обнаружили народ, называвший себя кафирами; в словах их языка были те же корни, что и во многих греческих. Мои македонцы сделали предположение, что здесь со своей армией побывал Геракл и его воины обильно посеяли семена, но я думал иначе: язык этих дикарей и наш, греческий, были когда-то одним языком на земле, которая тогда была нашей родиной, так что мы были с ними дальними родственниками. Настало время, когда мне нужно было отправить на покой свыше двух тысяч моих ветеранов. Обремененные женами или наложницами, они, вероятно, уже не могли вернуться в Грецию, но и я больше не мог вести их с собой: они мешали мне двигаться дальше. Поэтому я поселил их в Кафиристане, плодородные речные долины которого вполне могли бы обеспечить пропитанием это добавочное население. У некоторых при нашем расставании в глазах стояли горькие слезы обиды, но, уж поистине, им больше повезло, чем многим другим солдатам, которых и прежде я увольнял из армии, ведь они могли быстро научиться местному языку, так схожему с нашим, вести энергичную жизнь, охотясь на диких овец, рыбача на бурных реках и нымывая золото в речном песке.

Родственники этих людей, живущие в окруженном стенами городе, оказали упорное сопротивление, но в конце концов дрогнули и бежали в горы. В этой недолгой схватке я был легко ранен в плечо дротиком, вонзившимся через

панцирь, и это так разъярило моих солдат, что они, преследуя бежавших, перебили всех, кого им удалось схватить, а затем уничтожили город. Такого приказа я не отдавал, но и не вмешивался, зная настроение моих солдат-греков, особенно македонцев. Когда они роптали, недовольные тем, что я все дальше углубляюсь в неведомые края, то тут же и спрашивали себя: а что они будут делать, если меня убьют? Птолемей и еще кое-кто имели славу отличных военачальников, но македонцы не хотели довериться им в долгом пути на родину.

Отчасти чтобы завоевать большее уважение солдат, частично потому, что он чрезвычайно гордился своим искусством владения мечом, и еще по той причине, что он, как и я, боготворил Ахилла, Птолемей в местечке под названием «Крепость Героев» вступил в потрясающий поединок с царем тамошних горных индов и, наконец, одним мощным режущим ударом отсек тому голову.

Нас окружали громадные горы; говорят, что некоторые возвышались более чем на двадцать пять стадий — во всяком случае, слишком высоко, чтобы измерять их в локтях. В долине пасся крупный рогатый скот, поразивший меня своим внушительным ростом и красотой. Я позаботился о том, чтобы отправить на родину, в Грецию, большое стадо, поручив его уволенным из армии ветеранам, тем, которые предпочли рискованные перипетии тяжелого пути возможности поселиться в Индии. Если они дожили до возвращения домой, то, верно, здорово отъелись по дороге, ведь не стали бы они колебаться, приносить ли им в жертву богам здоровенных быков или нет и стоит ли самим насладиться хорошим куском мяса.

Сделав вид, что отступаю от мощных стен города Массаги, я выманил его защитников на открытое пространство, затем внезапно развернул войско и ударил по ним. Они с большими потерями бежали, чтобы снова укрыться за стенами, а на следующий день от раны, полученной в схватке, умер их вождь. Тогда они выслали глашатаев, прося мира, но Гефестион не хотел, чтобы я их принял. Он советовал подвергнуть город суровому наказанию и предать мечу семь тысяч индов-наемников, больше всего отличившихся в сражении.

Гефестионом, как мне казалось, двигала больше ярость, чем разумная мысль стратега, ярость оттого, что во время упорного сражения я был легко ранен в лодыжку; во всяком

случае, его преданность мне не могла сравниться с преданностью любого другого военачальника, если оставить в стороне резкого на язык Птолемея. Понятно, что и небольшая рана могла бы стать опасной, а в зависимости от обстоятельств и смертельной. Но из тактических соображений я все же отверг совет моего дорогого друга. Я никогда еще не вступал в схватку с более упорным, смелым противником, чем эти рослые, мускулистые светло-волосые горцы. В случае отказа принять их капитуляцию я бы должен был осадить город и потерять много времени и солдат, прежде чем мы смогли бы ворваться в пробитые стены и перебить защитников.

Поэтому я принял их капитуляцию на том условии, что инды-наемники вольются в мою армию. Они с радостью согласились. Наемники вышли из города и направились на вершину холма, чтобы расположиться там на ночь лагерем, а на следующий день явиться в мое распоряжение. Я полагаю, что они боялись расправы за свое дезертирство со стороны горожан, а может, желали умиловить жертвой своего бога, клятву которому они нарушили.

Я сожалел, что сегодня вечером не смогу рассказать Роксане о своем решении, ведь она была бы уверена, что я сделал это ради нее. В этот непродолжительный, но трудный поход в суровые горы мы не смогли взять никого из наших милых спутниц, оставив их под защитой крепких стен Нисы на попечении гарнизона и городского главы, жаждущего снискать мое расположение. Когда я увижу ее снова, подумал я, уж наверное, и не вспомню об этом эпизоде или до нашей встречи успею натворить что-нибудь пострашней того, что сегодня предложил Гефестион, и тем самым сведу на нет проявленную в этом случае мягкость.

Но правда оказалась жестокой: Гефестион давал мне правильный совет. Один пленный, которого он нанял в качестве шпиона, принес ему донесение, с которым он тотчас же пришел ко мне. Оказывается, расположившиеся лагерем на холме наемники вовсе не избегали гнева горожан и не помышляли об оказании услуги своему богу: они лишь ждали темноты, чтобы под ее покровом потихоньку убраться и предложить себя Пору — царю, приславшему мне вызывающее послание. Я немедленно приказал окружить холм и напасть на предателей. Так уж получилось,

что был дан сигнал к резне, и все наемники были перебиты, а город уничтожен до основания.

Когда я снова взглянул в лицо бюста на моем столе, мне показалось, что я вижу в раскосых глазах немой упрек. И все же я не испытывал никакого сожаления: жестокий удар диктовался военной необходимостью. В этом состоянии, когда побаливала рана и еще не утихла ярость, вызванная намерением индов-наемников обмануть меня, я решил, что стану относиться к Роксане не как к гречанке, а как к восточной женщине: ласкать ее, любить и распоряжаться ею, ожидая в ответ преданности, благодарности за свои объятия и безмолвной покорности.

Но принять решение — одно дело, а привести его в исполнение — совсем другое. Спустившись в менее суровую страну, полностью подчиненную мне, я намеревался послать за обозом из крытых и открытых повозок, оставленным в Нисе, так как тосковал по Роксане, а моим солдатам не удавалось поймать быстроногих горных дев, удиравших с быстротой лани, стоило им завидеть кого-нибудь из солдат, поэтому и они пребывали в состоянии мучительного беспокойства. Но я отложил вызов обоза до тех пор, пока пепел Массаги не останется далеко позади нас, пока не утихнут разговоры о резне, — Роксане вряд ли захочется слышать об этом. И вот когда она наконец приехала, то была такой свежей и прелестной, такой оживленной и вместе с тем такой великолепной бактрийской княжной, а теперь уж царицей Александра, что я как-то и забыл о своем решении и относился к ней так же, как и прежде — на условиях равенства, выходящих за пределы тех, о которых я договорился с моим сводным братом Птолемеем. И никаких жестов почитания с ее стороны, даже вставания передо мной на одно колено в присутствии моих командиров или подчиненных царей.

### 3

Один царь небольшого племени, которого звали Офис, сдаваясь мне, вел себя так мужественно и при сдаче проявил такую свободу и щедрость характера, что завоевал полное мое восхищение. В ответ на посланный с гонцом приказ он прислал в огромном количестве довольствие и мне, и Кратеру, а когда мы прибыли к нему, он закатил на три

дня пир для меня и моих военачальников, во время которого предложил мне выбрать любую из его наложниц и она будет ждать меня в моей роскошной спальне. Для восточного царька такое уважение, даже к своему сеньору, было далеко не пустяком, ибо хорошо известно, что такие царьки не хотели делиться благосклонностью своих женщин. Я под благовидным предлогом отказался, хотя действительная причина моего отказа от девушки, превосходной красавицы, крылась в заботе о ее будущем: я знал, что, если соглашусь принять его дар, он больше никогда не допустит ее к своему царскому ложу, она будет считаться рабыней, которую станут грубо третировать его жены и другие наложницы. Возможно, и мысль о Роксане имела какое-то отношение к этому отказу.

Затем, чтобы показать Офису и другим царям, что я могу быть щедрым с теми, кто меня жалует, и суровым с упрямыми, после пира я утвердил его на троне и дал ему в дар талант золота.

Этот мой поступок на следующий вечер привел к досадному происшествию, когда я ужинал со своими старшими военачальниками. Осушив слишком много чаш, Мелеагр, отличный предводитель фаланги, язвительно поздравил меня с тем, что я нашел в Индии подданного, столь заслужившего мою благодарность, что я наградил его по-царски. Я так и вскипел, но одумался, вспомнил Клита и Каллисфена — Филот, который и на словах, и на деле был предателем, не заслуживал ни капли моего сожаления — и только ответил, что язык человека — самый опасный орган его тела.

— Даже опасней, царь, чем его фаллос? — с улыбкой осведомился Птолемей.

Раздался смех. Решив, что Мелеагр получил должное предупреждение, я забыл об этом инциденте и не стал вписывать в свою черную книжку еще одно имя.

Когда я поведал об этом Роксане, она сложила ладони и склонила голову в знак молчаливой благодарности некоему существу в небесах, и я не сомневался, что это ее бог Заратустра.

Примерно в это же время я встретил людей, отрицавших мою власть над ними, с которыми я ничего не мог поделать. Использовать против них силу было бы так же бесполезно, как рубить мечом пустой воздух. Это сборище принадлежало к одному из бесконечных культов

Индии и называло себя саннаяси. Это были странники, не имевшие никакой собственности, кроме своих лохмотьев и пустых мисок: последние наполнялись едой набожными крестьянами. Когда я приказал одному из них положить мне земной поклон, он ответил, что не выражает почтения ни одному земному царю, что будет говорить со мной, только если я разденусь донага и лягу рядом с ним под солнцем, а если я желаю убить его, обязательно так и сделать, ибо тогда его душа освободится от ненавистной ему плоти. Он согласился признать меня сыном Высочайшего, но добавил, что таковым является самый скромный пахарь в поле.

К моему большому удивлению, один из их старейшин по имени Калан, говоривший на персидском так же хорошо, как на хинди, попросил разрешения присоединиться к моему обозу. Цель у него одна, объяснил он, совершить паломничество. Когда же я ответил, что не знаю еще своего маршрута, не говоря уж о том, где закончу свой поход, он все же предпочел идти со мной. Этим обстоятельством я был очень обрадован: судя по его лицу и речи, я решил, что это человек высокого ума и от него я мог бы узнать о верованиях и философии касты брахманов. В походе он не причинял нам никаких хлопот, сам готовил себе еду на собственном костре, редко заговаривал с людьми и, казалось, постоянно был погружен в состояние медитации. Для моих солдат он стал довольно приятным зрелищем — в своем тюрбане и скудном одеянии, и никто никогда не слышал, чтобы он жаловался на неудобства. Однако в каждом селении, где мы останавливались на отдых, он был центром лестного внимания местных жителей: они становились перед ним на колени и просили дать благословение их посевам, несмотря на его рваную и, несомненно, вшивую одежду и растрепанную бороду. Его внешность поистине вызывала большее почтение, чем моя, и по всем признакам было похоже, что его считают более важной персоной. Тот искренний трепет, с которым кланялись ему цари, приводил меня в немалое замешательство.

Так случилось, что мне пришлось провести крупное сражение, чтобы подчинить упрямого Пора. Его силы расположились на противоположном берегу реки Гидасп, в данный момент разлившейся из-за паводка. У него была внушительная армия, состоящая из четырех тысяч отлич-

ных всадников на прекрасных лошадях, тридцати тысяч хорошо обученных пехотинцев, трехсот колесниц, не внушавших мне никакого страха, и двухсот боевых слонов, встречи с которыми я опасался, потому что лошадей нашей кавалерии нельзя было заставить приблизиться к ним даже плетками. Даже для самых непрозорливых моих военачальников было ясно, что фронтальная атака будет пагубной. Приходилось рассчитывать только на военную хитрость.

Изучив за несколько дней близлежащие броды, я пустил слухок специально для шпионов Пора, обретающихся в нашей среде под видом простых крестьян, торгующих птицей и фруктами, что я решил стоять здесь лагерем до тех пор, пока не пройдут дожди и не спадет паводок. Чтобы это выглядело убедительней, я приказал подвезти и разгрузить большие запасы провианта, собранного моими фуражирами в сельской местности. С Инда мы привезли по суше лодки, в которых мои люди устроили отличное представление, делая замеры глубин и изучая течения реки около брода. Когда я направлял части своих сил по берегу в обе стороны, Пор посылал подразделения для их отражения в том случае, если они предпримут попытку переправиться.

А тем временем я тайно обследовал реку и ее берега на целых сто пятьдесят стадий вверх и вниз по течению.

Наконец, поисковики сделали утешительное открытие. На расстоянии четырех часов пути они нашли заросший лесом мыс, направленный в сторону лежащего неподалеку от противоположного берега острова. На всем пути до мыса я расставил часовых на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли перекликаться. Несколько ночей мы жгли яркие костры и делали то, что на вид казалось дополнительной подготовкой к фронтальному наступлению и что не только удерживало армию Пора на месте в состоянии повышенной боевой готовности, но и маскировало передвижение нескольких тысяч моих солдат, переносивших разборные лодки к густо заросшему деревьями мысу. А тем временем появился еще один фактор, которого нельзя было не учитывать: мы не могли затягивать с наступлением, потому что царь Кашмира Абисар нарушил наш договор о перемирии и вел мощную армию на соединение с Пором.

Кратер командовал силами, которым предстояло противостоять Пору, но ему не разрешалось переправляться через реку, если Пор оставит слонов для охраны брода. Если узнав, что я переправился и иду на него, Пор разделит свою армию и двинет своих гигантских животных против меня, Кратер должен был начать переправу, получив сигнал, передаваемый голосом по цепочке расставленных часовых. Чтобы еще больше ввести Пору в заблуждение, я велел Атталу облачиться в мои серебристые доспехи и шлем, чтобы он думал, будто я команду противостоящими ему силами. Под свое непосредственное начало я взял гетайров, три других отряда тяжелой конницы, легкой кавалерии из Бактрии, Согдианы и Скифии, тысячу конных лучников, тяжеловооруженную пехоту и два таксиса фаланги — в целом двадцатитысячное войско.

Разгулялась непогода, дул сильный ветер и хлестал дождь, и темнее ночи я еще не видел. Насколько мы промокли под дождем, было неважно, ибо нам еще предстояло промокнуть до костей при переправе на протекающих, захлестываемых волной лодках или верхом на лошадях, кроме того, за островом, оказывается, протекал узкий канал, который для лодок не годился.

Покров ночи то и дело раскалывался огненными трещинами: это Зевс метал свои молнии в окрестные скалы и многие из них расщеплялись; и после страшного удара грома долго еще слышались его затихающие раскаты. Я не сомневался, что раскаты посланы мне небом, чтобы заглушить шум от лошадей, лодок и людей, а яркие вспышки молний — чтобы я видел место переправы и мне было бы легче командовать. Однако в громе слышалось гневное роптание, не утихающее между отголосками эхо, и яростен был вид молнии с ее зигзагообразной стрелой, направленной на восток. Поэтому я рассудил, что эта ярость предназначена Пору за попытку помешать осуществлению судьбы последнего сына Зевса, которому было предначертано в завоеваниях превзойти Геракла и Диониса.

Возможно, «рассудил» — не то слово. Я не рассуждал, созерцая божественность. Рассуждение же могло бы повести меня по ложному пути, и я не хотел никакого вмешательства Аристотеля с его логикой. Вместо этого я слышал голоса, они звучали у меня в душе почти явствен-



но. Его племяннику Каллисфену был показан путь, но он отказался от него и потому встретил свою смерть.

Мы живо доставили лодки и бессчетное множество плотов всех видов к берегу реки. Когда, загрузившись, мы начали сталкивать их в проток, буря внезапно улеглась, гром затих, больше не вспыхивали молнии, даже облака попридержали заливающий глаза дождь, и сердце мое радостно забилося: это было явное предзнаменование того, что победа моя предрешена и ничто ей теперь не помешает; и все же я должен был драться со всем усердием, не щадя ни своих, ни чужих, чтобы доказать, чего я стою, и выразить свою благодарность богу.

Когда все мое войско собралось на острове, в первых лучах рассвета нас заметили часовые, которых и Пор расставил вдоль берега реки. Они живо повскакали на лошадей и понеслись в стан своего царя. Остров оказался больше, чем мы думали, а когда мы подошли к его противоположному краю, я понял, насколько суровое испытание выдалось нам сегодня ночью, ибо вместо узкого и мелкого водного протока пред нами предстал широкий и опасный канал, вздувшийся от сильного, не прекращавшегося всю ночь дождя. Люди заметались в поисках самого мелководного участка, и даже когда он нашелся, им, пешим, пришлось идти по шею в воде. Головы лошадей едва были видны над потоком, а круглые булыжники очень мешали им ступать по дну.

Когда мы переправились на противоположный берег, я приказал главным силам кавалерии следовать за Букефалом, а остальным стараться двигаться как можно быстрее. Мы уже давно начали наступление, а Пор, видя за рекой наш стан с множеством костров, и не догадывался о правде.

Я думаю, что, когда видевшие нас часовые примчались к Пору на взмысленных лошадях и, задыхаясь, рассказали о большом войске, переправляющемся через реку, он не поверил, что это может быть Александр. Он видел, что за рекой готовится переправа через брод, поэтому то, что видели часовые, должно быть, спешащие к нему на помощь воины Абисара из Кашмира; только как они оказались не на той стороне реки? Это недоразумение быстро разрешилось, когда он послал навстречу нам разведчиков и застрельщиков, которые понаблюдали за нами издали и пустились назад с убийственной новостью, что всадник на

черном жеребце в авангарде и есть сам Александр, а за ним следуют десять тысяч конных.

Пор, смелый человек, способный драться до последней капли надежды, быстро разделил свою армию, одна часть которой должна была отражать нападение из нашего стана, другая — сформировать сильнейшую линию для отражения моей атаки. Однако при ближайшем рассмотрении я убедился, что линия обороны передо мной имела много слабых сторон, поэтому я велел кавалеристам отдохнуть перед сражением, а сам стал выбирать, куда направить острие атаки. Слоны с множеством стрелков на их спинах, расставленные в ста футах друг от друга, трубили и свивали в кольца свои хоботы; отряды конницы Пора на флангах находились слишком далеко друг от друга, чтобы в нужный момент соединиться для мощной атаки; короче, его линия была слишком растянутой. Вот уже подтянулись мои конные лучники, на которых я возлагал главную свою надежду; их задачей было меткими стрелами разъярить слонов и сделать неуправляемыми для их погонщиков.

Другая цепь слонов стояла лицом к реке, вынуждая Кратера откладывать переправу со стороны лагеря, и в этом он как военачальник был прав, так как нельзя лошадей, уже утомленных борьбой с течением, бросать на схватку с этими чудовищами. Мне Кратер был нужен для нанесения удара по речному фронту Пора после того, как я сам уже прорву противостоящий мне фронт.

Мой горнист протрубил сигнал к наступлению. Тяжелая кавалерия пошла в эшелонированную атаку, а легкая кавалерия на флангах, подняв ужасающий крик, нанесла индам смертельный удар. В первой же атаке был убит сын Пора и погибли четыреста его воинов, остальной же фронт был безнадежно прорван. Часть стоявших перед нами слонов стойко держали свою позицию, издавая яростные трубные звуки, но мои солдаты в основном избегали их непродолжительных выпадов и многие из чудищ бежали, визжа от боли, с торчащими у них по бокам и на ногах дротиками и стрелами, их седла опрокидывались и валялись наземь, откуда мертвых и живых воинов вытаскивали их охваченные паникой соратники. Колесницы Пора не сыграли серьезной роли в сражении: стрелы и дротики поразили многих возниц, некоторые тяжелые машины завязли в липкой грязи, и их невозможно было вытащить оттуда.

Я дал сигнал фаланге. Сомкнув щиты, солдаты создали стену из ошетилившихся наконечников копий, движущуюся на упорно сражающегося врага и боевых слонов, одни из которых были убиты, а другие обращены в бегство. К этому времени Кратер переправился через реку, и мы взяли остатки армии Пора в мощные тиски. Пор храбро сражался, пока у него оставались еще боеспособные силы; затем он был ранен в плечо, и погонщик его слона повернул животное, вынудив храброго царя с горечью отступить.

Меня восхитило его доблестное сопротивление. Именно поэтому я послал вдогонку за ним всадников с предложением почетной сдачи. Глашатаям не удалось убедить его в моих добрых намерениях, но тогда я послал Калана, этого нищего святого, при первых же словах которого Пор остановился и повернул коня навстречу мне. Я подъехал к нему и, клянусь, что никогда не видел царя с такой прекрасной внешностью; даже Дарий, пожалуй, уступал ему в этом, хотя оба были примерно одного роста — футов семь, крепкого телосложения и с благородными чертами лица. Дарий принадлежал к персидской династии, Пор был чистокровным арием, со спокойными глазами цвета голубой стали и ярко-золотистыми волосами.

— Я сдаюсь тебе безоговорочно, царь Александр, — заявил он мне твердым голосом на безупречном персидском языке, несмотря на то что ослабевал от раны.

— Я принимаю твою сдачу, царь Пор. Не хочешь ли попросить какой-нибудь милости?

— Только одной: чтобы со мной обращались как с царем.

— Может, все-таки ты тайшь какое-то желание, которое я с радостью исполню.

Он немного подумал и ответил:

— То, что я сказал, это все.

Собственно я уже решил оставить Пору его царство, конечно под моей верховной властью, а остатки его армии поставить под македонское знамя. Поэтому я распорядился прекратить преследование бегущих индов.

Но еще до встречи с Пором высоким богам было угодно взвалить мне на сердце тяжелую ношу печали. Букефал получил незначительную, как мне показалось, рану за плечом от вражеского копья, но, очевидно, она была глубже, чем я полагал, и вызвала внутреннее кровотечение. Вне-

запно он издал последнее, триумфальное ржание и пал подо мной наземь.

Я сразу же встал на ноги, подскочил к его массивной бычьеподобной голове, положил ее к себе на колени и погладил мягкие ноздри. Похоже, он знал, что я здесь, ибо широко открыл свой великолепный глаз и долго смотрел мне в лицо. Но вот появилась пленка, и глаз стал постепенно меркнуть по мере того, как Букефал медленно погружался в объятия смерти.

Я не мог удержаться от слез, хотя мои военачальники, собравшись вокруг меня, говорили о том, как он долго жил, какая великолепная это была жизнь и сколько долгих дорог мы отмахали с ним вместе. Но когда Гестеион предложил в отместку за мою потерю предать жестокой смерти тысячу соратников Пора, взятых мной в плен, принеся их в жертву богу лошадей и моря Посейдону, я отрицательно покачал головой, и по лицам Птолемея и остальных военачальников я увидел, что они со мной согласны.

Я устроил славному скакуну почетную церемонию похорон, с трубами и парадом, а затем переправился через реку в свой стан. Выложив всю правду Роксане и увидев ее округлившиеся глаза, я попросил ее оставить меня наедине с самим собой, и в одном из закутков палатки я обратился мысленным взором вспять, на сужающуюся и теряющуюся в дальней дымке дорогу, и вот, наконец, увидел длинный луг недалеко от дворца Филиппа в Пелле — меня с ним теперь разделяли полмира. На этом лугу впервые предстал перед моими глазами прекрасный черный жеребец с сияющей белой звездой на лбу, там я объездил его и он стал моим.

Я вспомнил Херонею, Граник, Исс, Арбелы. В одной славной победе за другой Букефалу отводилась благородная роль, и теперь мне как-то не верилось, что я уже больше никогда не пушу его вскачь, ведя за собой в атаку моих славных гетайров. Приближалось мое тридцатилетие; Букефал умер примерно в возрасте двадцати четырех лет — довольно значительном для лошади, но тридцать лет для человека, как бы активно он ни жил, являются коротким отрезком жизни. И все же в целом я осуществил то, что задумал: завоевал Персидскую империю, если не считать нескольких окраинных ее земель, которые мне предстояло еще подчинить. А что я буду делать дальше?

То, что было вначале моей армией, сильно поистрепалось, к тому же оставшиеся у меня македонцы с большой неохотой делали каждый шаг, уводящий их глубже в Индию. Они ненавидели хлещущие дожди, от которых промокали палатки и одежда, но не меньшее отвращение у них вызывали страшные пустыни. Сырость вызывала лихорадку, иногда со смертельным исходом; они боялись полосатых львов, крадущихся на участках густо разросшейся зелени; им приходилось защищать свои постели от змей, которые распускали нечто вроде капюшона прежде, чем сделать выпад. От их укусов наступала быстрая смерть; и даже маленькие, едва различимые на земле змейки были страшно ядовиты. Я бы натерпелся с этими солдатами, и они бы могли взбунтоваться прежде, чем их можно было бы заставить пойти в Синд, где кое-кто платил дань Дарию, но ни в коем случае не все.

Я оторвался от своих бесполезных раздумий, пошел и поцеловал Роксану, удостоившись в ответ нескольких восхитительных поцелуев. А когда я смыл с себя грязь, пыль и кровавые пятна сражения, она спросила, сколько человек потерял я и сколько Пор.

— Только мои потери имеют значение. Их, я полагаю, около тысячи, включая смертельно раненных.

— Мне трудно представить себе тысячу трупов, лежащих в ряд, — сказала она с легким содроганием.

— И не пытайся. Пор не потерял бы ни одного, если бы вовремя образумился. А так он потерял в десять раз больше, чем я, и это было бы еще не все, если бы я не остановил резню. Он смелый человек и, думаю, окажется верным царем в моем подчинении.

— И ты горюешь о Букефале больше, чем обо всех остальных, вместе взятых

— Мне казалось, Роксана, что ты любишь лошадей.

— Не так сильно, как людей.

— Ладно, что об этом говорить. Мне больше никогда не найти такого превосходного скакуна, он был мне слугой и другом с отроческих лет. Не могу, Роксана, объяснить тебе этого. Звезда у него на лбу являлась символом моей звезды, той, за которой я иду по воле, а скорее, по велению богов.

— Бедный Александр!

— Не надо так говорить! Я уже дважды слышал это от Таис и простил ее, но от тебя я этого не потерплю. Умоляю тебя, никогда не говори так снова.

— Я люблю тебя, Александр.— Ее голос был одновременно и грустным, и нежным.

— И я люблю тебя, моя чудная Роксана.

Однако, сославшись на головную боль и начинающуюся простуду, она этой ночью спала в другой комнате моего большого шатра, несмотря на то что я мучительно нуждался в ее тепле, в ее мягких, шелковистых руках, в наших святых поцелуях в темноте.

Только на следующий день я рассказал ей о своем намерении построить новый город на реке, неподалеку от места сражения, где теперь стояла всего лишь деревня, и назвать его Букефалы. Я был несколько удивлен, когда глаза ее вспыхнули, как звезды, и она взяла мои руки в свои.

— Прекрасная дань верному слуге! Насколько она благородней жертвенной резни тысячи людей, которую предлагал Гефестион.

— Разве я говорил тебе это? Что-то не помню.

— Нет, мне рассказала Ксания. Она узнала от одного обозника, который приносил оленину и другую еду для нашей кладовой. Я так горжусь тобой: ты отказался от ужасного поступка, и я верю, что все боги, кроме Ареса, бога войны, кому величайшая радость видеть мертвых и калек, тоже гордились тобой.

— Даже мой отец Зевс?

— Да, даже Зевс.

И странно: во мне проснулось смутное подозрение, что Роксана, возможно, права. По крайней мере, те, кого я пощадил, принесли жертвы Зевсу и помолились Брахме, то есть Зевсу под другим именем. И это, не знаю почему, заставило меня вспомнить поговорку, которую мы слышали из уст Калана:

«Когда Брахма перестанет видеть сон, земля и небо исчезнут» (или «Когда прекратится сон Брахмы, не будет ни земли, ни неба»).

#### 4

После пышных военных похорон павших в Нисе воинов мы устроили спортивные игры и совершили жертвоприношение, и, понимая, что армия измотана, я даровал солдатам тридцать дней отдыха, хотя самому мне это было не по душе. В этот промежуток времени Кратер с большим войском отправился к реке Инд, чтобы построить суда для

речного и морского плавания из отличной древесины гималайского кедра — так назывались эти деревья в местных краях.

Когда долгий отпуск солдат подошел к концу, я повел армию к реке Гидраот, второму большому притоку Инда, протекавшему ниже моего нового города Букефалы. К счастью, большинство царей и их наместников в городах, лежавших на моем пути, открывали мне ворота, а нередко и посылали дары, среди которых было много слонов, доблестно отличавшихся в работе или в бою. Только раз мы наткнулись на упорное сопротивление, его оказали Кафеи. Они совершили глупость, устроив заграждение из телег, из-за которых осыпали нас стрелами и дротиками. Увидев, что это не поможет им остановить меня, они бежали в свой город. Здесь завязалось жестокое сражение и я потерял убитыми и тяжелоранеными тринадцать сотен лучших своих воинов. Эти воинственные обитатели верхней долины Инда явно еще не постигли простого урока: нужно просто сдаться и тем самым спасти свою жизнь и большую часть своего имущества.

Однако несмотря на устроенную здесь резню — не знаю, сколько тысяч там было перебито и сколько еще взято в плен, — жители двух ближайших городов не подчинились моему приказу сдаться, предпочтя бегство. За большинством из них мы не могли угнаться, так как они знали дороги, тропы и обходные пути, еще не изученные моими разведчиками; и все же мы поймали около пятисот их более медлительных собратьев — в основном это были люди пожилого возраста, которым следовало бы посоветовать своим сыновьям уступить моей воле, — и мои воины их всех перебили.

Отсюда мы направились к Гифасису, еще одному большому притоку, и мне не терпелось переправиться через него: по рассказу царя лежащей на моем пути области, там находились плодородные земли и богатые города. Кроме того, переправившись через эту реку, я бы зашел за пределы последних слабых сторожевых застав империи Дария. Та же земля, по которой мы теперь шли, не радовала нас ни плодородием, ни богатствами — ее обильная растительность не могла насытить желудки людей, а лишь служила пищей для их недовольства.

В сочных, пропитанных испарениями от дождей джунглях обитали чрезвычайно агрессивные носороги и очень

крупные свирепые парнокопытные — черные, белоногие, с широко расставленными рогами. Еще хуже были пиявки, огромные пауки, сплетавшие свою паутину поперек тележной дороги, и крупные ядовитые змеи. Чтобы уберечься во время сна от проникновения этих смертоносных гадов в свои постели, солдаты подвешивали гамаки. Их настроение с продолжением утомительного похода все больше портилось. Дрова, срубаемые ими для костров, слишком отсырели и не хотели разгораться, из-за ржавчины не удавалось содержать в порядке оружие, еда покрывалась плесенью, изношенные плащи недостаточно защищали их от мощных ливней, которые, как по заказу, начинались спустя два часа после полудня. Многие покидали ряды от слабости и болезни, некоторых даже уносили назад, в лазареты, на носилках; нередко люди падали и умирали.

Я разрешил солдатам изымать продовольствие в деревнях этой покорившейся мне земли, но их это не удовлетворило. С приближением к широкому и бурному Гифасису я чувствовал, что в моих делах назревает кризис.

Мы стали лагерем на берегу. У всех на лицах было одно выражение: не гнева, не отчаяния, а холодной решимости. Вскоре, передаваясь в докладах от младших к старшим начальникам, до меня дошло настроение масс: солдаты не желали переправляться через реку, не желали делать ни шагу вперед.

— Сколько потребуется предать мечу, чтобы подавить бунт? — спросил я.

— Каждого македонца из рядовых и большинство их младших начальников, — сурово прозвучало в ответ. — Точно могу сказать: каждого грека — наемника или патриота — и огромное число персов.

— Сколько из них, чтобы подавить мятеж, нужно распять на деревьях, где коршуны выклюют им глаза прежде, чем они умрут? — спросил я еще суровей.

— Царь Александр, так много, что ты не смог бы найти достаточное число послушных тебе людей, чтобы осуществить это гнусное дело.

Я повернулся спиной к маленькой делегации военачальников, и они тихо удалились. В качестве следующего шага я послал сказать женам и любовницам, сопровождающим своих мужей или любовников, что, если армия продолжит поход, я увеличу их рацион, а также ежедневно



они станут получать денежную поддержку в соответствии с тем жалованьем, которое получают их мужчины. Это не подействовало. Тогда на следующий день я созвал сход всех экспедиционных сил и напомнил им о многих победах и пообещал им еще невиданных славы и богатств. Они слушали меня, как деревянные истуканы, и, когда я с воодушевлением заканчивал речь, не раздалось ни одного ликующего крика, никто не зааплодировал.

Теперь, уж действительно испугавшись да и разъярившись тоже, я прибегнул к отчаянному средству: призвал всех военачальников к откровенному разговору, обещая, что никакого наказания не последует, но при этом втайне надеясь, что никто не осмелится выступить против меня. Но моя надежда оказалась напрасной. Выступив вперед, заговорил Кен, один из самых высокопоставленных военачальников, бесстрашный и надежный македонец, покрытый многочисленными шрамами, мой близкий друг.

Поистине, я и представить себе не мог, чтобы военачальник высшего ранга мог произнести такую речь. Он начал с того, что его положение и седины не позволяют ему скрывать свое отношение к данному вопросу и что перенесенные им опасности и ратные труды дают ему право говорить, ничего не боясь. Он признавал, что на долю главного полководца больше всего выпадает риска и труда, но каждый военачальник, как бы велик он ни был, должен знать границы своих завоеваний. Он говорил о том, как много было тех, кто отправился со мной в поход и умер от болезней, или погиб в сражениях, или остался жить поселенцем среди чужаков; и все ослабли от ран и тяжелых трудов, и все жаждут увидеть еще раз своих родных и близких и любимую землю. Если бы я сейчас прекратил свой поход, они бы с радостью отправились в обратный путь на родину, сражаясь, если возникнет необходимость, с чувством благодарности ко мне за приобретенные ими богатства. Но он осмеливался предупреждать меня, что, если я попытаюсь заставить их идти дальше, я не увижу в них прежних сподвижников, преисполненных духом, полным отваги и высокой надежды, и не победа меня будет ждать, а поражение.

Он все говорил и говорил, ясно, спокойно и красноречиво, а мне так и хотелось, чтобы какой-нибудь простой солдат выскочил и полоснул его по горлу. Но никто

этого не сделал. И когда он закончил говорить и отдал мне честь, все — начальники и рядовые — наградили его аплодисментами. К несчастью для меня, Гефестион отсутствовал, выполняя экспедиционное поручение.

Разгневанный, я удалился в свою палатку. Мне ничего не оставалось, как назначить на следующий день еще один сход. Но на этот раз моей речи не хватало прежней убежденности и легкости по причине жестокой головной боли. Откровенно говоря, я в бешенстве заявил, что, если те, кого я вел к славе и богатству, бросят меня, я пойду дальше один!

Никто не крикнул: «Я пойду с тобой, царь!», чтобы вслед за этим разнеслось во все концы сборища «и я», «и я». На деле никто не издал ни звука, не переступил неловко с ноги на ногу. Тогда я снова удалился в свою палатку и не выходил оттуда три дня, не допуская к себе никого; армия все еще дулась на меня или, вернее, стояла на своем. На следующий день я потребовал к себе нашего прорицателя Аристандра для истолкования предзнаменований в отношении того, что ожидает меня на дальнейшем продвижении на Восток — если эти предзнаменования окажутся неблагоприятными, я охотно поверну назад, решил я.

Конечно же, я полагал, что боги поддержат меня сейчас, помня все мои жертвоприношения и пиры в их честь, или если судьба неумолимо заявит о неудаче либо полном поражении в случае продолжения пути, мой отец Зевс вмешается, хотя бы один раз за свое долгое правление, хотя существовало широко распространенное убеждение, будто сам Царь Небес не может изменить пряжу Трех Вещих Сестер — парок. Прорицатель понаблюдал за полетом птиц, прислушался к отдаленным раскатам грома в горах, бросил на землю кости орла, ворона, совы и павлина и пригляделся к тому, как они легли.

— Великий царь, знаки неблагоприятны, — вскричал Аристандр.

Боль пронзила мне голову от виска к виску, заставив ее закружиться, и глаза чуть не вылезли из орбит.

— Прочти их еще раз, — велел я.

Прорицатель проделал это с величайшим усердием, и в долгом ожидании его приговора безмолвно стояла моя армия, напоминая беззвучные толпы в мрачных чертогах Аида.

— Царь Александр,— наконец проговорил он,— знаки еще хуже, чем раньше.

Я попытался что-то сказать и не мог — отчасти от тяжести в голове и на сердце, а отчасти оттого, что нечего мне было сказать. Я вошел в палатку, где меня встретила Роксана, бледная и вся в слезах. Она протянула ко мне руки, но я медленно покачал головой. Я не отвергал ее; я хорошо знал, как радовалась она вестям, приносимым высокими богами, но не хотел, чтобы ее сострадание еще больше ослабило мой дух, и решил побыть немного в одиночестве. Как раз сейчас надо мной нависла ужасная опасность сойти с ума. Хрупким было мое равновесие над бездной Стигийской тьмы.

Я велел принести мне чашку восстанавливающего силы напитка под названием каффа — арабы в моих войсках знали, как его варить — и мои боль и стыд немного отступили. Этим же вечером я созвал совет старших военачальников. Я сказал им, что как сын бога я не могу послушаться предупреждения богов, поэтому, как только все будет готово, мы отправимся в обратный путь.

Все они встали на одно колено, когда я покидал палатку для совещаний, и склонили головы, ибо, как мне кажется, чувствовали горечь моего поражения. На следующий день я разделил свою армию на двенадцать частей; каждая получила свою долю пленных и рабов и приступила к строительству алтаря высотой с парус пентеры, на каждом из которых были начертаны следующие слова:

Отцу моему Амону  
Брату моему Гераклу  
Афине премудрой  
Зевсу Олимпийскому  
Кабирии Самофракийской  
Гелиосу индийскому  
Брату моему Аполлону.

Я оставил небольшое пространство между шестым и седьмым алтарями и в нем воздвиг бронзовую колонну на вечные времена и на золотой пластине выбил следующую надпись на греческом, персидском и санскрите:

Здесь Александр сделал привал.

Это ведь так и было, и я выбрал этот глагол ввиду его истинности вместо ложного глагола «остановился». Теперь, когда я стал размышлять над этим, я понял, что привал в этом месте явился хорошим военным решением, отражая при этом мою готовность прислушаться к предупреждению свыше. Меня еще ждали великие победы. До своего тридцатилетия я еще расширю пределы своей империи во все стороны, за исключением восточной.

Однако в голове не прекращалась стреляющая колючая боль, и удары пульса отдавались в мозгу.

## 5

Дела следующих нескольких недель не заслуживают подробного описания, ибо не Александром совершались они, а сумасшедшим.

На протяжении этого отрезка времени я целиком или отчасти находился в состоянии умственного расстройства. Несомненно, на моем психическом здоровье сказалось мое поражение на западном берегу реки Гифасис и я стал более подвержен токсину ядовитого паука, забравшегося мне под одежду, когда я продирался сквозь густые заросли в первый день нашего пути на запад, и укусившего меня в бедро. В тот момент я только почувствовал резкую боль, словно от жала осы, и, тут же спешившись, я раздавил эту тварь через одежду, так что индийцы по телу не могли узнать, что это за существо. Хорошо известно, что укус тарантула вызывает временное безумие. Это большой коричневый паук, а тот, что укусил меня, был с кончик моего большого пальца, и все же он вполне мог бы принадлежать к тому же семейству.

Абрут запишет то, что я помню об этом периоде — я имею в виду действительные события, а не вымыслы безумной фантазии. Так, например, в нашей крепости, построенной Гефестионом на реке Акесин, первом большом притоке ниже Букефал, я принял вождя крупной страны, прибывшего с царскими дарами, и заместителя и брата царя Абисара — последний был слишком болен, чтобы явиться лично. Они просили принять их под мое покровительство. Абрут сообщает мне, что мои слова и поведение на этих приемах казались вполне разумными, как и названная мной хорошо просчитанная сумма ежегодной

дани, которую они должны были впредь мне выплачивать. Однако бывший монарх мне все время представлялся львом, стоящим на задних лапах; он приглаживал рукой свою гриву и, улыбаясь, скалил огромные клыки. Заместитель же Абисара представлялся мне Каллисфеном, историком, отказавшимся верить в мое божественное происхождение, чье имя я внес в свою черную книжицу, а затем вычеркнул, и казалось, что каким-то образом он родился заново уже в виде индийца и брата царя.

Глядя на меня со стороны, я был по-прежнему царем Александром, когда из горной страны ко мне с великолепной процессией прибыл царь Софит, привезя средь прочих даров слонов и большую свору охотничьих собак, самых рослых и свирепых из всех, что я видел: их использовали в охоте на леопарда и на полосатого зверя из разряда кошачьих, которого местные называли баг; кроме того, как мне сказали, они могли перекусывать поджилки здоровенным диким буйволам и гигантским черным парнокопытным из джунглей. Но мне в голову пришла мысль, что это не собаки, а компания уже негодных к воинской службе македонцев, оставленных мною где-то на пути, и появились они здесь не иначе как с целью отомстить мне.

Но мое безумие принимало более неистовую форму, когда я натыкался хотя бы на самое слабое сопротивление в прибрежных городах. Раньше я со всей жестокостью расправлялся с непокорными народами, видя в этом военную необходимость; теперь же для этих индийских племен я стал мясником. Зачастую я отдавал приказ перебить все население, совершенно потом не сознавая, что я такое натворил, однако выражением своего лица я при этом настолько походил на прежнего, разумного Александра, что мои военачальники беспрекословно подчинялись, хотя наверняка в глубине души испытывали угрызения совести. Со всем искусством военной тактики я разворачивал свои силы для перехвата бегущих из городов жителей и полного их уничтожения, хотя нескольким небольшим группам удалось скрыться в густых лесах.

Как-то раз на какое-то мгновение я, должно быть, ощутил возвращение ко мне здравого рассудка. У речного брода скопилась большая толпа индов, за которыми я гнался, сам не знаю почему. Помню, я услышал, как кричу, отдавая приказ:

— Погоняйте коней и догоните их, а не то они уйдут!

Я увидел, как заалели воды реки, когда ее быстрый поток понес, крутя и переворачивая, зарубленных мечами, пронзенных копьями людей, а зачастую и обезглавленные тела, причем отрубленные головы тонули не сразу — этому мешал воздух в плотно намотанных на них тюрбанах. «Боги всемогущие, что я натворил!» — пробормотал мой язык; но тут же безумие снова заволокло мой разум, и мне уже стало казаться, что плывущие головы — это кокосовые орехи, сладкого молока которых так жаждало мое небо, а окрашенные кровью воды — это фессалийское вино из какого-то гигантского разбитого чана.

Бесполезно шли мои войска, бесцельно истребляли они людей по моему приказу. Я снова оставил Роксану в одной из крепостей, и иногда мне кажется, что, если бы она была со мной и я видел бы упрек в ее глазах, печаль на ее бледном лице, особенно если бы хоть одну ночь провел в ее нежных объятьях, я бы излечился от своего губельного безумия. На самом же деле я приказал Абруту достать из моего личного багажа ее прекрасный бюст и разбить его топором на куски, черепки же бросить в реку, чтобы не видеть больше удивительных сапфиров в странной оправе, изображавших ее чудесные глаза. Он вынес статуэтку из моей палатки, и я услышал, как в темноте он со смаком рубит топором, а вскоре вернулся с пустыми руками.

Именно в этот период времени произошло событие, которое я не могу приписать целиком искажению моего сознания. Весь день у меня отсутствовало ощущение, что моя голова как в тисках, или, лучше сказать, как в «персидских клещах» — так называли орудие пыток, которым подвергли одного моего лазутчика, отчего он и умер. При этом на голову надевали обруч с железными наушниками и затягивали винтом до того, что глаза буквально вылезали из орбит. И все же, несмотря на это кажущееся здравомыслие, я в тот день приказал сжечь на костре храброго мятежного сатрапа и две сотни его сторонников.

Тогда же я и обнаружил пропажу бюста Роксаны, который держал на рабочем столе в своем штабе. Я спросил одного адъютанта, куда он мог запропасться, и тот ответил, что не видел его уже несколько дней. Я бы допрашивал его и дальше; если бы не смутное воспоминание

нение о темноте, если бы в сердце не заполз какой-то неясный страх, но, как только появилась возможность, я задал этот же вопрос Абруту и получил ответ, от которого заняло сердце:

— Мой царь, несколько дней назад ты ночью приказал мне вынести его из палатки и уничтожить, что я и сделал.

Что я мог на это сказать? Голова отказывалась соображать. Наконец я открыл рот и с трудом выдавил из себя:

— Это из-за укуса того ядовитого паука у меня помутилось в голове. Я велю сделать еще одно изображение, вот только нет больше драгоценных камней, чтобы изобразить ее прекрасные глаза. Придется их нарисовать закрытыми или сделать из дымчатого камня. Женщине не нужны глаза, чтобы видеть своего мужа. Она и так всегда чувствует когда он рядом.

Бледный, сильно опечаленный Абрут удалился, а я сидел, представив себе, как в ту проклятую ночь, когда уничтожили ее изображение, она наполовину проснулась в комнате, воздух которой был пронизан холодом зла, ей померещились в полусне жестокие удары, дробящие ей череп, оставляющие глубокие порезы на ее лице, отчего погибла ее красота и она наполовину умерла; и затем она ощутила, как ледяной поток реки подхватил ее погребальные останки.

Сон отказывался смежить мои веки, поэтому я встал, и мне показалось, что я узнаю себя, Александра, знаю, что я делаю и чего хочу. Я оделся, прицепил к поясу меч и вышел в ночь, залитую тусклым светом луны. У двери ко мне обратился встревоженный часовой:

— Мой царь! Сейчас полночь, страшное время, когда вся власть у злых духов. Луна бледная и больная и с каждым часом тает и слабеет, а воздух порождает болезнь в тех, кто выходит наружу. А еще, мой царь, свет ее неверен, и хотя тебе кажется, что ты можешь видеть далеко, даже вон та чаша, не более чем в сотне шагов, расплывается в темное пятно. Нельзя ли мне позвать надежного гонца, чтобы ты мог ему перепоручить свое дело?

— Я не мог заснуть, Актеон, и меня потянуло на свежий воздух. Теперь хочется поразмышлять о следующем походе. Я немного посижу на камне, а уж дальше чаши не пойду. Она ведь в границах лагеря, а он надежно охраняется.

Когда я шел к чаще, я понял, что она была у меня в мыслях еще до того, как я встал с постели, и что я должен идти туда обязательно, хотя я пока не знал почему. Подходя к ней я увидел, что это, в сущности, только круглый участок, густо заросший небольшим количеством молодняка под редко растущими деревьями. Я быстро нашел то, что, сам не зная того, хотел найти: ямку величиной не более двух квадратных футов, вырытую, наверное, медведем, охотящимся за каким-то землеройным грызуном. Теперь я вспомнил, что заметил эту дыру накануне днем, когда приходил сюда, чтобы вспугнуть и снова увидеть роскошного павлина, посвященного Гере, сестре и жене Зевса и Царице Небес. И теперь в тусклом лунном освещении размер этой ямки навел меня на мысль о могиле, вырытой несчастным отцом для гробика, в котором лежит крошечное тельце его перворожденного ребенка.

У греков с незапамятных времен сохранилось верование, что, если в вырытую в земле ямку пролить жертвенную кровь, она может просочиться к возлюбленным мертвецам в Аиде, которые, с жадностью осушив ее, на короткое время могут вспомнить свою жизнь на земле, прервать долгое молчание и поговорить друг с другом, пока выпитая ими кровь не остудится в их холодных и бледных телах, после чего они снова немеют и лишаются памяти. И если в определенные ночи убывающей луны, когда крепнет слабая связь между живыми и мертвыми, дающий кровь называет имя любимого человека, он может пройти во врата, охраняемые Цербером — полупсом, полудраконом с тремя головами. И при этом не нужно звать громко, ибо пьющие кровь слышат тихий шепот с места жертвоприношения.

И вот я вытащил из ножен свой меч и слегка провел им по тыльной стороне левой руки, сделав легкий надрез на коже и задев мелкий кровяной сосуд. В ямку пролилась тонкая струйка крови.

Немного выждав, я назвал имя: «Клит».

Почти моментально он предстал предо мной: собственно, это была тень моего друга из раннего детства, младшего брата моей няньки Ланис. В оболочке его астрального тела на груди темнело пятно.

— Александр, царь всех царей! — проговорил он голосом низким, но безошибочно принадлежавшим ему. — Зачем ты вызвал меня наверх?



— Я желал бы попросить у тебя прощения за то, что в гневе метнул в тебя копье, которое оборвало твою жизнь на земле и перенесло тебя в Аид, где ты теперь живешь.

— С тех пор у меня не было никакой другой жизни, великий царь! Только та, что во чреве матери, та, где мы в детстве играли с тобой, и та жизнь солдата, сражающегося под твоим знаменем. То, что было потом, это не жизнь, а только ее отдаленное эхо. Но я прощаю тебя ради той любви, которую испытывал к тебе, когда был одним из живых.

— Я тоже любил тебя, Клит.

— Нет, мой царь. Я думал временами, что ты любишь меня, я жаждал добиться твоей любви, ибо даже тогда не было равного тебе мальчишки, а потом мужчины: боги одарили тебя дарами, каких никогда еще не давали сыну, рожденному от женщины, но также и страданием. Ты не был способен ответить ни на одну любовь, и теперь не способен, если не считать любви к Роксане, не желающей кланяться тебе и тем самым не потакающей твоей чудовищной самовлюбленности. Вспомни-ка свое страдание и надежду спастись от какого-то ужасного рока. И этим роком может быть то, что ты уже понемногу отвечаешь на любовь Гефестиона, который обильно вскармливает чудовищную самовлюбленность, о которой я говорю, и тем самым толкает тебя на дела, подсказанные тебе твоей больной душой. И все же я никогда не думал, что умру от твоей руки. Я благодарен за то забытье, что обволакивает меня в темных залах внизу, ибо иначе я бы бесконечно оплакивал мир людей. И умоляю тебя, царь, больше не вызывай меня наверх, чтобы хоть на краткий миг разбередить глубокую рану в моем сердце. Прощай!

Его тень быстро растворилась, и там, где он стоял, осталось пустое место. Моя кровь на порезе уже запеклась, поэтому легким прикосновением меча я вновь открыл ранку. Снова выбилась струйка крови и, стекая по пальцам, закапала в ямку. Немного выждав, я снова назвал имя:

— Филот, сын Пармениона.

Тотчас же возникло очертание прозрачной фигуры, оно сгустилось, утратив прозрачность, и я отчетливо разглядел его мундир военачальника со срезанными знаками отличия и множеством черных пятен в тех местах, где безжалостные копья терзали его тело. Сначала я едва узнал это

лицо — так его изменила пытка, которой подвергли Филота, чтобы он сознался в измене, и плетью висела одна искалеченная рука.

— Александр, зачем ты вызвал меня наверх? — спросил он. — Когда вниз проливается жертвенная кровь и тени расталкивают друг друга, чтобы немного попить, я остаюсь в стороне от этой толпы, потому что не желаю, чтобы ко мне вернулась хоть толика памяти о моей жизни на земле. Но это была твоя собственная кровь, кровь моего убийцы, и я, следуя какому-то побуждению или закону, которому обязаны подчиняться мертвые, вынужден был испытать ее.

— Я надеялся, что теперь, когда тебе нечего терять, ты признаешься, что действительно виновен в измене своему царю и другу детства, и этим избавишь мою душу от печальной тяжести и вернешь моим снам сладкую безмятежность.

— Нет, мне нечего терять, кроме этой короткой и обреченной на скорое забвение радости оттого, что ты обременен печальным грузом вины и что во сне тебе являются привидения. Только потому я и буду говорить. Я не изменял тебе, Александр. Ни в помыслах, ни в делах я никогда не стремился причинить тебе зла, ведь ты был моим великим вождем и когда-то близким другом. Да, я выступал против растущего разрыва между тобой и верными тебе македонцами, против твоего безумного настаивания на своей божественности, и за этот вызов твоему тщеславию тебе захотелось признать меня виновным и заслуживающим смерти; и когда моя смертная плоть не могла больше выдержать пыток, я сказал, что виновен, и это была единственная ложь, которую ты когда-либо слышал от меня. К тому моменту я уже хотел умереть, и не только из-за телесных мук, но, что еще хуже, из-за душевных, ведь я следовал за тобой с такой верой, я всего себя посвятил твоему делу, я жил ради тебя. Ты совершил ради меня милосердное дело: предал моего отца Пармениона внезапной смерти, но милосердие заключалось не в том, во что ты хотел верить — что будто бы он никогда не узнает об измене своего сына, — а в том, что он никогда не узнает о твоей измене мне, о твоем гнусном обвинении и жестокой казни, на которую ты меня обрек. Умоляю тебя, никогда не зови его наверх. Он пьет кровь вместе с другими во времена больших жертв на земле, и я вижу,

как шевелятся его губы, хотя и не слышу голоса, и теперь я догадываюсь, что он говорит о своей смерти от рук твоих людей, такой странной и неожиданной, и, несомненно, он верит, что ты предал их смерти, немедленно отомстив за его убийство, и, думаю, он ищет своих убийц в бесчисленных толпах теней, чтобы спросить их, почему они его убили. Несомненно и то, что он хвастается твоими победами, ведь ты когда-то был его юным новобранцем и он безумно гордился тобой.

— Больше ни слова, Филот, прошу тебя!

— Я ничего больше не скажу. Вместо этого я оставлю тебя с моей ненавистью, во власти той судьбы, которую ты заслуживаешь и которой не будешь стремиться избежать, принеся некую жертву в оставшееся тебе короткое время, и тем самым спастись.

— О какой жертве ты говоришь? Умоляю, скажи мне. Я построю богам большие храмы с алтарями из золота. Я принесу в жертву много зверей — или рабов, если так пожелают боги.

— Нет, Александр, этого я тебе не скажу. Такова моя месть.

Через несколько секунд я увидел просвечивающие сквозь него луну и звезды, потом его очертания растаяли и я остался один.

Я вернулся в свою тихую спальню, разделся и лег, ощущая стреляющую от виска к виску боль, но даже она не могла помешать мне заснуть, и я погрузился в царство быстро сменяющих друг друга кошмаров; в промежутке между ними я мечтал о таком глубоком сне, чтобы в нем не было никаких сновидений.

## 6

Когда я проснулся утром, я решил, что возвращение на землю Клита и Филота мне только приснилось. Правда, я вставал с постели, судя по тому, что моя одежда лежала там, где я сбросил ее, и не в том порядке, в каком слуги обычно складывали ее, пока я мылся перед сном. Было очевидно, что я ходил во сне, что со мной иногда случалось в детстве, и каким-то образом я слегка порезался тыльной стороной руки о свой собственный меч: на его лезвии были видны засохшие пятна крови.

Все это я обдумывал, ощущая пульсацию в мозгу и боль в висках, и снова мое сознание заволокло туманом безумия, с течением дня все более сгущавшимся, и я не понимал, где нахожусь и как сюда попал. Однако я знал, что я Александр, победитель на Гранике, в Иссе, Тире и при Арбелах, повелитель Азии и урожденный сын Зевса.

Приступ безумия, вызванный укусом паука и отягченный срывом моих планов на реке Гифасис, внезапно прекратился во время сражения. Хотя я этого не знал, местом сражения оказался столичный город маллов при слиянии рек Акесин и Гидраот\*. Я только что совершил великий подвиг — так о нем будут помнить мои соратники — или поразительный акт безумия. Очевидно, мы пытались одолеть крепость штурмом; я очнулся как бы от долгого мучительного сновидения, в котором участвовал в жестоком бою, и вот оказалось, что я стою один на полу цитадели в своих ярко-серебристых доспехах, на голове шлем с белым пером, в руке — мой длинный меч. Смутная память подсказывала мне, что только что я стоял на стене, залитый солнечным светом, бился там — на мече была кровь. Теперь же я стоял у стены лицом к орущим врагам, взявшим меня в полукруг, но не осмеливавшимся переступить ту грань, за которой я мог достать их острием своего меча. Они метали в меня камни и дротики, которые я отражал щитом.

Раз я не упал, значит, ясно, что спрыгнул с парапета стены прямо в гущу врагов, несомненно, меня вынудили на это, ведь я был хорошей мишенью для дротиков и стрел. Я шел впереди штурмового отряда, который по какой-то причине отстал от меня, и воины не прыгнули со мной внутрь крепости. Прямо под парапетом слышался рев голосов, немного дальше — вой и тяжелые удары: очевидно, мои солдаты пытались пробиться через наружную стену. Передо мной лежал инд со знаками отличия командира, пронзенный моим мечом.

В этот момент трое моих телохранителей взобрались на стену и сразу же спрыгнули ко мне вниз, а немного погодя и четвертый. Но нам было долго не продержаться без подкрепления: инды метали в нас все, что только можно было метнуть. Мой старый товарищ Абрей пал, пораженный стрелой в лицо. Мне в шлем угодил камень, от ошеломляющего удара я на какое-то мгновение ослабил

свою защиту, и тут же мне в грудь, пробив панцирь, вонзилась стрела.

Несмотря на это, я еще несколько минут отбивался, призвав на помощь всю свою ярость, но затем от потери крови у меня закружилась голова, и я упал.

Однако я не потерял сознания и все происходящее вокруг воспринимал как во сне. Теперь уже многие мои соратники, взобравшись на стену, тут же прыгали вниз, чтобы отбить противника и попытаться спасти меня, полуживого. Это была поистине жесточайшая схватка, тут и там падали раненые и убитые, но вот через разбитые ворота в крепость хлынули мои тяжеловооруженные пехотинцы и с воем бросились к нам на помощь.

Затем началась резня, которую я бы остановил, если бы дыхание позволило мне говорить. Думая, что я умер или умираю, обезумевшие от ярости солдаты перебили всех индов — мужчин, женщин и детей, — которые нашли убежище за стенами крепости. Я стал быстро погружаться в забытие и уже не чувствовал, как с окончанием битвы и резни меня положили на носилки и понесли в поспешно найденное помещение, где о моей ране могли бы позаботиться врачи.

Когда врач Критодем изучал мою рану, ко мне не раз на какое-то мгновение возвращалось смутное сознание. Он без труда высвободил стержень стрелы, но ее железный наконечник застрял в моей груди. Ему нужно было проникнуть в глубь раны, чтобы вытащить его наружу, и он спросил моего разрешения, можно ли слугам крепко держать меня, чтобы я вдруг не дернулся у него под ножом. Я ответил что-то, желая похвастаться своей выносливостью, и тут же провалился в какую-то глубокую яму. Когда я снова пришел в себя, это было похоже на чуть наметившийся просвет в тяжелой туче, и я не мог понять, что делается вокруг меня, что со мной произошло и где я нахожусь. Поистине, я оказался у самого края Реки Печали\*.

Казалось, я слышу журчание ее потока. Несколько дней я пребывал там в неопределенности, а потом Атропос, протянувшая ножницы к нити моей жизни, медленно отвела их назад, ибо жребий, брошенный ее сестрой Лахезис, выпал так, что я должен жить, а не умереть. Я почувствовал прикосновение нежных рук — чьих именно, я не знал, — а также, по слабым звукам, присутствие недалеко за сте-

нами моей комнаты множества людей, и кое-как догадался, что это мои солдаты: они ждут последних новостей, то сраженные горем слухами о моей скорой кончине, то воспрянувшие духом от известий, что я еще жив, что состояние мое не ухудшилось, а может, даже немного улучшилось. В нем действительно наступил перелом, и я осознал это раньше моих врачей.

Примерно на седьмой день после моего ранения я полностью очнулся и огляделся вокруг. Я был слаб, как малое дитя, но голова работала, хоть медленно, но ясно и трезво. Я сразу же узнал Ксанию, и сердце наполнилось радостью: значит, и Роксана где-то неподалеку. Потом я увидел нечто невероятное, но это был не бред, и я все же поверил в реальность увиденного. Рядом со мной на столе стоял бюст Роксаны — не копия, а любимый мной оригинал с лицом из слоновой кости, светлыми волосами из массивного золота и глазами из сапфиров с концентрическими кругами.

Я все еще с изумлением смотрел на него, когда Ксания выскочила из комнаты и тут же вернулась вслед за Роксаной и Абрутом. Я еще думал о чудесном возвращении бюста, поэтому первые мои слова были именно об этом.

— Мне приснилось, что эту прекрасную вещь уничтожили.

— Царь Александр, — отвечал Абрут с присущими ему точностью в выборе слов и спокойствием тона, — я опасался, что ей грозит уничтожение, когда однажды ночью ты пришел в бешенство от ядовитого укуса паука. Поэтому я спрятал ее в надежном месте до твоего выздоровления.

— Благодарение богам! — Я перевел взгляд на Роксану. Лицо ее было бледным и утомленным, зато глаза горели восхитительным светом. Ее красота ворвалась ко мне в душу, заговорила с ней и благословила меня.

И вскоре после этого нужно было убедить моих сподвижников, что я еще жив, ибо в войске ходили слухи, что я уже умер. Солдаты подозревали, что военачальники скрывают правду ради какой-то бесчестной цели или боясь, что закаленная боями армия превратится в беспорядочную толпу и станет неуправляемой в этой враждебной земле, вдали от знакомых мест. Военачальники пообещали им, что завтра они убедятся в этом собственными глазами, когда меня вынесут из дома на носилках.

Наутро солдатам приказали построиться в шеренги и меня пронесли вдоль их рядов. Увидев, что я поворачиваю голову и даже приподнимаю руку, они разразились такими неистовыми криками ликования, что, наверное, сам Зевс услышал их и, посмотрев на землю, снова подумал о своем посещении Олимпиады, о полученном наслаждении и его плоде. И возможно, подумал, усмехнувшись про себя, что ревнивая Гера, его сестра и жена, так и не узнала об этом или, по крайней мере, не имела доказательств, чтобы обвинить его в этой измене, хотя по моим невиданным по масштабам завоеваниям она, должно быть, догадывалась, что породил меня вовсе не смертный человек.

В нашем главном лагере до большинства также дошли слухи о моей смерти, ведь плохие новости распространяются быстрее хороших. Их нужно было успокоить, ибо они отлично понимали, с каким сопротивлением встретятся по пути на запад, как будут избивать их в горных теснинах мятежные или не полностью покоренные племена и каково им придется без моего руководства во льдах и снегах Гиндукуша, или как будут они падать и умирать в горячих песках пустынь. С помощью Роксаны, поддерживающей кисть моей руки, я написал им короткое письмо, быстро доставленное в лагерь, однако они считали его подделкой и хотели увидеть собственными глазами, что я еще жив. Поэтому, как только врачи дали свое согласие, меня перенесли на судно, и оно отправилось в сторону лагеря. Войско с берега увидело, как я поднимаю руку, приветствуя его, и встретило меня таким ревом радости, какого Индия еще не слышала с рождения Кришны, который, несомненно, был Дионисом, богом, обреченным жить рядом с людьми, а не в таком отдаленном жилище, какое было у Шивы, не говоря уж о Брахме, который был Зевсом. И Кришна сам воспламенил чрево несчетному числу молочниц, чтобы скот тоже плодился в невиданных размерах и вся земля была благословенной.

При высадке на берег я отверг носилки и сел на лошадь, чтобы проехать верхом небольшое расстояние до моей палатки, доставив общую радость всем, кто это видел: Роксане, военачальникам и врачам, Абруту и рядовым солдатам.

И теперь, когда плохие новости о моей смерти оказались ложными, или, скорее всего, сладкая ложь обернулась горькой правдой, все непобежденные враги в округе

стали присылать ко мне послов. Они отказывались от свободы, которой пользовались с рождения Кришны, и готовы были объявить меня своим царем и подчиниться любым назначенным мной наместникам, ибо им стало ясно, что я божественного происхождения и власть моя продиктована волей и моих богов, и их собственных.

Я потребовал тысячу заложников, которых, если мне будет желательно, я мог бы включить в состав своей армии. Мне их прислали, а с ними более ста боевых колесниц. Подумав, я решил, что одни инды никогда не будут воевать против других, что присланные заложники не станут умиротворять вождей, если те захотят восстать, и что нынешний мир можно будет сохранить только моими собственными силами — если я оставлю в их городах свои гарнизоны. И службу в этих гарнизонах должны нести не греки, тоскующие по родине, а персы, которые, будучи и сами восточным народом, легко усвоят язык и образ жизни индов.

Тем временем другие мои дела быстро продвигались вперед. Большой отряд, отправленный на строительство судов, которому в помощь я дал прекрасных мастеров корабельного дела из индов, строил за день, по меньшей мере, одно прочное судно с мачтой и парусом с одним или несколькими рядами весел. Их прислали мне партиями вместе с большим количеством барж с высокими ограждениями для перевозки лошадей. В знак благодарности богам за свое избавление от болезни я основал город у того места, где река Гифасис впадает в Акесин, и дал ему имя, которое народ никогда не забудет, — Александрия.

Я думал назвать город именем Роксаны, но, к моему удивлению, она отказалась от этой чести. Она объяснила, что не оставила на этой земле ничего памятного, однако это могло бы увековечить память о ней, и что во время похода по этим местам она не была счастлива, если не считать самого счастливого для нее дня, когда я оправился от свалившей меня раны. Однако ей будет приятно, если ее имя будет носить какая-нибудь милая деревушка в Бактрии. Я начал подозревать, что она тоскует по родине, поскольку во время индийской кампании мы так редко были вместе, а потом, раненый, я долго провалялся в постели. Поскольку я не мог в ближайшем будущем привезти ее в Бактрию, я задумал привезти Бактрию в лице



ее царя-отца к ней. Множество жалоб и даже угроз мятежа со стороны оставленного мною там гарнизона было достаточным основанием для вызова ко мне этого отважного воина.

Мои гонцы добрались до него, пользуясь почтовыми станциями и ханами, которые я поставил между городами Ортоспания и Александрия через Гиндукуш, и в должный срок он прибыл в мой стан. После радостной встречи с дочерью, я выслушал подробности заговора, который вынашивался в его царстве начальником греческого гарнизона; он был убит другим греком по имени Битон, замышлявшим вместе с нанятым им убийцей кровавую расправу над начальниками, пытающимися предотвратить мятеж, но оба справедливо получили по заслугам, и все успокоилось под рукой Оксиарта.

Настаивая на том, чтобы эта рука была твердой в обращении с непокорными горными племенами, я поставил его сатрапом еще одной территории. Мы обменялись дарами, лучшим из которых с моей стороны было мое полное доверие, а с его — твердость характера, гарантирующего это доверие. Теперь меня не удивляло то, что у него и скифской княжны хоть и варварского, но гордого, воинственного и храброго народа родилась такая замечательная дочь, как Роксана.

В нашем лагере у слияния рек я соединился с Гефестионом, командовавшим большой группой войск, и Кра-тером, поставленным командовать флотом. Гефестион сделал только одно замечание по поводу бунта македонцев на верхней реке — это когда я спросил его, что бы он сделал, будь он там.

— Царь Александр, я бы посоветовал тебе разоружить македонцев — у тебя для этого достаточно персидских солдат, — а затем каждого второго пригвоздить к дереву, чтобы это послужило предостережением всем остальным. Тогда твоя армия шла бы полным шагом к реке Хакра, которая бы стала разумным пределом твоей империи; а там ты уже по своей воле мог бы приказать войскам повернуть назад.

Случайно находясь поблизости, Роксана услышала то, что сказал Гефестион, и после его заявления она поспешно выбежала из комнаты.

Если мои македонцы, одержав надо мной победу, были чересчур довольны собой, то один случай, произошедший

в этом лагере, несколько поубавил их непомерную гордость. У меня в войсках был афинский боксер по имени Диоксипп. Македонцы часто поддразнивали его, говоря, что он хорош, когда упражняется, натирается маслом и массирует свои мышцы, а вот в настоящей схватке его редко кто видел. Я устроил пир, на котором один македонец по имени Горрат хватил через край, стараясь очертить афинянина, и, в конце концов, вызвал его назавтра на поединок. Корпусу старых ветеранов эта перспектива показалась заманчивой, и я не стал мешать.

Выбрали поле, собралась большая толпа, македонцы заключили много пари с греками и персами. Македонский боец вышел в полном вооружении — с мечом, щитом, дротиком и длинным копьем. Когда же появился афинянин, все так и вылупились от изумления: на его теле, кроме пленки масла, ничего не было, а в руках он держал единственное свое оружие — дубину. По всем признакам нам предстояло стать свидетелями зрелища, равноценного убийству.

Афинянин пошел на македонца, легко ступая на подушечки пальцев ног, и тот метнул в него дротик. Рука его была верна, но, когда снаряд пролетел разделяющее их пространство, мишени перед ним не оказалось: атлет слегка отклонился в сторону, и дротик даже не задел его. Только македонец перехватил копье, готовясь к новой атаке, как афинянин прыгнул к нему быстрее пантеры и ударом дубины сломал древко. Пока пославший вызов доставал меч, гимнаст захватил ногой нижнюю часть ноги противника, одновременно сильно толкнув его. Тот рухнул на спину, и атлет моментально выхватил у него из руки меч, отшвырнул его в сторону и встал над ним, замахнувшись дубиной для последнего смертельного удара.

В наступившей тишине я как раз вовремя успел крикнуть: «Постой!»

Этот случай имел печальное завершение. Македонцы отомстили: стянув красивую золотую чашу и спрятав ее в багаже афинянина, они обвинили его в воровстве. Будучи под арестом, он написал мне письмо, в котором клялся в своей невинности, а затем лишил себя жизни.

Если это трагическое происшествие имело какой-то смысл, я не понимал, в чем именно он заключается. Я видел, что ловкость может в бою соперничать с яростью или, по крайней мере, этому следует обучать солдата, но

почти ничто не могло сравниться с хитрой и злой уловкой. Все, что я мог сделать во искупление, это послать весь македонский корпус по какому-то бессмысленному заданию на двести стадиев в глубь пустыни к юго-востоку от нашего лагеря, где водилось много гадюк и стояла несносная жара, — всего четыреста стадий пути. Когда они вернулись, шатаясь от усталости и тяжело дыша, я решил, что не скоро им захочется снова прибегать к низменным фокусам, чтобы гнусно отомстить честному и достойному победителю.

Весной мы снялись с лагеря и отправились вниз по реке Инд. Более половины всей армии вел Кратер по западному берегу, остальные силы вел Гефестион по восточному, я же командовал флотом. Минул мой тридцатый день рождения, то есть шел тридцать первый год от Александра. Я правил уже десять лет. Двенадцать лет прошло с тех пор, как я впервые возглавил кавалерию гетайров в Херонее.

Чтобы отметить эту дату, я недалеко от устья большого притока Вахинды\* основал город Александрия-Опиана. Река была столь же многоводна, как и сам Инд, и место для города было очень подходящим.

На ее берегах жили малорослые темнокожие крестьяне, и вождь их не торопился прийти ко мне на поклон, но как только я в гневе пошел на него, он тут же прислал мне слонов, нагруженных дарами, и приветствовал меня как Зевса-Шиву. Я смилостивился, но в его главном городе оставил сильный гарнизон. Мы напали на следующий стоявший у нас на пути большой город, разграбили его и оставили в нем сатрапом местного вождя, после чего все большие и малые города в округе широко открыли нам свои ворота. Так мы избежали ненужных жертв.

В Паталах, богатом царстве в дельте Инда, княживший там предводитель сдался мне с большим почетом, сохранив свои земли и народ, и обеднел только на то, что пополнило продовольственные запасы моей армии. А вот глава какого-то маленького городка, напротив, сначала закрыл свои ворота, а затем вывел свою армию мне в тыл, когда я притворился, что отступаю. За это он поплатился уничтожением пятой части своего войска и пленением третьей, причем это можно назвать еще малой ценой за такое легкомысленное высокомерие. Позже предводитель Патал почему-то решил, что я не намерен

выполнить условия его сдачи, ибо когда мы подошли к его городу, то обнаружили, что он сбежал в джунгли вместе со всеми жителями. Вместо того чтобы пуститься за ними в погоню и перебить их всех, как горячо посоветовал бы верный Гефестион, я отправил глашатаев, чтобы убедить их вернуться в город, и большинство из них так и сделало.

Этот милосердный поступок привел Роксану в восторг, но зато ее расстроила моя жестокость по отношению к нескольким обществам брахманов, которые, похоже, полагали, что принадлежность к высокой касте дает им право обсуждать поступки сына Зевса. По существу, они спокойно оскорбили меня в лицо и предсказали, что моя великая империя скоро падет, оставив мне едва ли достаточный клочок земли для могилы. Потребовалось многих повесить и немалое их число пригвоздить живьем к деревьям, прежде чем они поняли, что маленький кружочек краски у них на лбу не дает им особого права открыто высказывать свое пренебрежение.

У меня снова проснулась страсть к исследованиям, поэтому с небольшим, но сильным отрядом я на лучших судах отправился вниз по юго-западному рукаву дельты, приказав девятитысячному войску следовать за мной по берегу. Но вскоре мы получили известие, что они не могут продолжать свой путь в страну, настолько забытую богами. Это донесение и мои собственные наблюдения породили во мне сомнение в том, что царь Аида имеет свои владения под землей, а не в дельте Инда. Здесь то и дело встречались глубокие и вонючие болота и лагуны, а дебри джунглей были почти непроходимы, если не считать троп, проложенных дикими слонами, буйволами, полосатыми львами, пантерами, оленями и кабанами. Везде попадались змеи, включая змей с капюшоном, которые были в два-три раза длиннее тех, что мы встречали на севере. Агрессивные, с недобрый взглядом, и укус их вызывал столь же быструю смерть, как и пронзившее легкие копье. Там обитала пятнистая змея обычного размера, часто нападавшая из засады; ее длинные клыки несли жертве верную смерть. И были там еще удавы длиной в десять шагов и в поперечном объеме равном объему крупного человека в бедрах. Эти, однако, на нас не нападали, а просто лежали, свернувшись в темные, если в лесной тени, или в мерцающие, если на солнце, кольца. Пиявки и прочие

отвратительные ползучие твари, а также огромные рои летучих насекомых превращали жизнь в кошмар.

Наше плавание к морю оказалось чрезвычайно трудным и опасным. Река сильно вздулась от муссонов, дующий против ее течения ветер взбивал сильные волны, и жертвы, приносимые нами Посейдону, нисколько не успокоили ее. Если человек падал за борт, помочь ему было невозможно: на него тут же нападали гигантские крокодилы. Только захватив лодку полную местных жителей, которых мы заставили стать нашими лоцманами, мы нашли путь к защищенному от ветра бассейну. Отсюда мы вошли в устье реки, где ощутили полную силу ветра и волн, мотающих нас в разные стороны. Я почти уверовал в то, что мой отец сердится на своего сына.

Мы приблизились к берегу, и некоторые высадились. Здесь мы впервые узнали, что такое мощные приливы, неизвестные на нашем Внутреннем море. Я имел представление о приливах и отливах из учения Аристотеля, но даже не догадывался об их истинной силе. Сначала, когда вода отступила, наши суда сели на дно, а потом, когда она снова прихлынула мощным потоком, нас чуть не затопило, а некоторые суда столкнулись друг с другом, причем одно затонуло, а несколько получили серьезные повреждения. Между тем люди на берегу вынуждены были бежать в леса от аллигаторов, выползающих из моря, и единственное удовольствие, которое получила моя душа от нашего познавательного плавания, было доставлено мне нашими маленькими темнокожими пленниками, которых мы использовали в качестве лоцманов: они трескали между собой, как обезьяны, и улыбались во весь рот. Их боги, думали они, могущественнее наших, и я почти поверил в это, потому что от наших молитв и жертвоприношений не было никакого толку.

Починив суда, мы тут же направились к острову, лежащему от нас на расстоянии полного дня пути на веслах. О нем рассказал нам захваченный лоцман, в основном посредством языка знаков и немного хинди, понятного одному индийскому гребцу. Мы шли в открытом море, во владениях брата моего отца, и он знал, что я не боюсь. Высадившись на острове, мы купили у местных жителей волов, принесли жертвы Посейдону и Зевсу за наше благополучное плавание в такую даль и, вылив из золотых кубков вино в воду, бросили кубки в морские глубины.

Отсюда лоцманы вывели нас на глубокую воду, за что в положенный срок мы их отпустили. С помощью приливов и непрестанных ветров, дующих к берегу со стороны моря, мы быстро добрались до Патал. Закончив здесь строительство крепости, мы построили небольшую морскую базу, но я не знал, какую пользу мы извлечем из этого в будущем. И теперь, когда дальнейшее пребывание в Индии не могло уже больше принести нам ни новых земель, ни богатств, я стал обдумывать наш поход на запад.

Под моей властью оказалось множество завоеванных земель, нам платили богатую дань и еще больше было захвачено в качестве военной добычи. Однако мне не хотелось вести подсчет цены, уплаченной за все это, в изнуренных солдатах, оставленных в чужих селеньях, в тех, кто погиб в сражениях или от несчастных случаев, и в огромных цифрах жертв, унесенных болезнями. Долго ли устоит моя индийская империя? Народ нас ненавидел, трудно будет снабжать наши гарнизоны и защищать наши крепости, и я носом чуял неприязнь и мятежи в недалеком будущем. Я чуть не потерял веру в свое великое назначение.

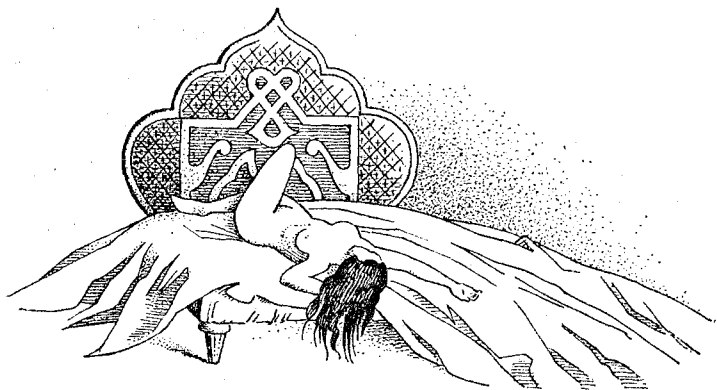
Но вскоре я увидел возможность доказать это еще раз. Кратер с главными силами моей сухопутной армии давно уже отправился в поход через Дрангиану. Имелся и более короткий путь, через пустыни Гедросии, и мне было открыто заявлено, что ни одна армия не может там пройти, не будучи сокрушенной жаждой и другими тяжелыми испытаниями. Разве свидетельством тому не были беды, постигшие при переходе через эти пустыни сказочную царицу Семирамиду из Ассирии и великого Кира, основателя персидской империи?

И все же я решился: я покорю любую пустыню, которая вздумает преградить мне путь; я возьму с собой отборное войско с легким вещевым обозом и тяжелыми повозками с сокровищами и поспорю с глубокими песками — я сотворю новую историю. Ибо я был зачат богом, и это могущественное семя исключало малейшую способность уступать или сдаваться до того, как пробьет мой час умереть и занять свое место рядом с Дионисом и Гераклом, рожденным от смертных матерей. Я уже сожалел, что уступил моим македонцам на западном берегу Гифасиса, но я бы этого не сделал, если бы не видел, каким образом

я смогу расширить свою империю за счет походов на север, юг, а возможно, когда придет время, и на запад, за пределами Греции.

Я вспомнил еще одну пустыню, дождь и явление мне двух богоподобных фигур, восседавших на тронах немного ниже других тронов, занятых смутно различимыми фигурами более древних богов, но я знал, насколько прекрасно их общество. И эти двое богов немоложе смотрели в сторону на того, кто к ним приближался, и отмечали его деяния.

Я сильно встряхнул головой, и боль, стреляющая в висках, прошла.



## Глава 9

### ТЕНИ И ПРИЗРАКИ

#### 1

Только богам известно, сколько караванов, кочевых племен или банд грабителей пытались пройти по пустыне Гедросии только для того, чтобы погибнуть от жажды, жгучего зноя, песчаных бурь, самоубийств от невыносимых страданий, убийств со стороны спутников за несколько капель воды или от потери ориентации в этих безлюдных пространствах. Две царские особы, бросив вызов раскаленным пескам, пускались в поход в сопровождении множества солдат, слуг, рабов, а в конце пути у них оставалась лишь горстка полумертвых, падающих с ног людей. Одна из этих особ была царица Семирамида, единственная женщина, ставшая великим завоевателем, согласно как историческим сведениям, так и мифическим преданиям, и Аристотель рассказывал нам, ученикам, что история ее жизни является смесью того и другого.

Она попыталась пройти по этой жуткой земле на восток, чтобы завоевать Индию, и ее до того непобедимая армия потерпела сокрушительное поражение. Согласно легенде, она являлась дочерью Диасуры, богини рыбаков — так ее знали в Греции, особенно в приморских городах, а культ ее принесли туда сирийские купцы. После своего долгого царствования сама царица была возведена в божественный



сан, ее отождествили с Астартой и изобразили с голубем в руке.

Второй монархической особой, усомнившейся в силе песков, был не кто иной, как Великий Кир, родившийся за два века до меня. Согласно легенде, он был сыном второстепенного бога, вскормленным молоком собаки и выращенным пастухом. Абрут готов был молиться на него, потому что он освободил евреев из вавилонского рабства и позволил им вернуться в Палестину для восстановления иерусалимского храма. Уступая только мне, он был величайшим из всех известных в мире завоевателей.

Однако попытка победить эту пустыню до меня окончилась его поражением, и, когда он достиг ее западной окраины, от его огромного войска остались в живых только семь человек.

Мне предстояло еще раз превзойти Кира, одолев этот необитаемый океан песка. Я предполагал идти вдоль берега моря, где наверняка можно было найти подземные источники пресной воды. Выслав вперед людей, чтобы они накопили колодцев, я надеялся обеспечить Неарха, командовавшего флотом, достаточным количеством воды, когда самому мне придется углубиться внутрь страны.

Под ослепительным солнцем конца лета я за девять дней преодолел путь из Патал в Крокалы\*. Еще через пять дней я подошел к реке Арабий, обитатели ее долины немедленно и добровольно сдались мне. Переправившись по мелководному броду, мы обнаружили пустые дома и заброшенные фермы, ибо жители бежали в пустыню. Я преследовал их всю ночь, не желая оставлять у себя в тылу непокоренный народ, который мог напасть на мои повозки с казной; оказавших сопротивление перебили, некоторых взяли в плен, но большинство ушло в теснину, где вместе с другим племенем из этих пустынь они намеревались остановить меня. Однако, увидев мою марширующую армию, их вожди вышли мне навстречу, сдавая окружающую их дома территорию. Я пощадил их и велел вернуть беглецов в деревни, обещая, что если они не потревожат меня, то и я их не потревожу. Здесь я оставил Леонната с небольшим отрядом для сбора припасов, необходимых моему флоту под командованием Неарха. В этих же местах со мной соединился мой горячо любимый Гестеион, строивший до этого цитадель в пыльной столице этого племени.

Я отправился по короткому пути назад к берегу моря, пройдя небольшой участок пустыни и цепь бесплодных холмов. Перед тем в последний раз взглянул я на пальмы в оазисе, не зная, когда увижу их снова, на их прекрасные листья, отбрасывающие тень, на ветви с восхитительными на вкус питательными финиками. В пустыне единственным полезным деревом был тамариск, дающий мирру. Росло там еще дерево с очень длинными острыми колючками, которое солдаты прозвали «фалангой».

Мы вышли к берегу и там, где он превратился в соляные болота, увидели мангровые деревья с сочной листвой, несмотря на ядовитую соль, всасываемую их жадными корнями. Но вскоре после этого мы вынуждены были расстаться с берегом: на пути вырос горный кряж с такими крутыми склонами, что казалось, он нависает над водой; убедившись в его полной непроходимости, мы повернули на север — это был единственный выход из положения. Трудный путь по каменистой земле привел нас к сухому руслу реки, каменное ложе которого так слепило глаза, что больно было смотреть. Здесь я справился у нашего прощателя, стоит ли идти на запад вдоль этой унылой могилы того, что недавно было живой рекой с очаровательно журчащими струями воды, или же искать другой маршрут, по которому мы могли бы выйти к берегу моря. Знаки оказались благоприятными, и хотя я мало им доверял с тех пор, как они солгали мне на берегу Гифасиса, тем самым приведя Александра к поражению и отчаянию, я пошел этим путем.

Это решение оказалось печальной ошибкой. Идя по камню или глубокому песку долины, мы не могли найти ни одного источника, а если изредка и попадались водные скважины, они были испорчены животными и покрыты вонючей пеной, да и воды в них было далеко не достаточно, чтобы хватило на всех. Наши бурдюки почти опустели. Невыносимым зноем дышала каждая дюна и мертвая трава. Чем дальше мы удалялись на запад, тем реже попадались такие скважины и меньше в них было воды, и вскоре мы уже не могли отыскать ни одной.

У солдат появились признаки сильного обезвоживания. Мы не могли вернуться назад и поискать лучшего маршрута, нам ничего не оставалось, как только двигаться вперед. Животные быстро теряли силу, они страдали, но не могли об этом сказать; люди тоже не говорили о

своих муках — им этого не позволяла солдатская гордость; и ни тем, ни другим нельзя было ничем помочь. Нет, можно было все-таки сделать нечто такое, что склонило бы чашу весов от смерти к жизни для многих тысяч людей.

Это было бы равноценно принесению чудовищной жертвы пустыне. Это в огромной мере затмило бы достигнутый мной до сих пор успех. Прежде чем решиться на такое отчаянное средство, я взобрался на холм, существование которого можно было объяснить только тем, что какая-то кочка стала задерживать надуваемый ветром песок, холмик рос, и бураны не могли разрушить его благодаря тамариску, глубоко пустившему корни у него по бокам. С его вершины мне открылся вид, в котором, несмотря на яркий солнечный свет, было больше скорби, чем в тусклых залах Аида.

Насколько хватало взгляда и куда бы ни устремлялся взор, ничто не говорило хоть о малейшем изменении в характере местности: о пальмах оазиса, о зеленом окаймлении живой речки, о маленьком пятнышке зелени, указывающем на подземный источник. Все дюны этого бесконечного множества дюн выглядели совершенно одинаково. Не было ни холмов, ни деревьев или кустов, сочных от влаги, ничего, отличающегося от песка, кроме длинных гряд выветрившегося камня и гравия, нигде не было видно ни одной длинной тонкой линии иного оттенка, что могло бы оказаться караванной дорогой, ни одного живого существа, кроме крадущегося шакала, хищных птиц, зорко следящих с высоты, да случайно занесенного сюда ворона. Все до горизонта плавало в волнах зноя, а солнце висело испепеляющим огненным шаром.

Со мной на холм взобрались только двое: Птолемей и Абрут. Наконец я заговорил:

— Мы должны отказаться от лишней ноши на спинах людей, выючных животных, от багажных повозок и колесничных телег для женщин.

— И от солдатских доспехов? — спросил Птолемей после продолжительного молчания.

— Да.

— До прихода в Карманию мы можем наткнуться на неприятеля.

— Схватимся с ним и без доспехов.

— Каким оружием?

— У каждого будет одно, по его выбору. Оставьте па-латки, все инструменты, без которых можно обойтись, все, что имеет вес и не способствует нашей надежде прожить еще две недели.

— Ты представляешь себе, что войдет в это число?

— Представляю.

— Великий царь!

— Нет, отчаянный.

Мне показалось, что Роксана догадалась о моих мыслях прежде, чем я намекнул о них в разговоре, или же мы пришли к одинаковым выводам каждый своим путем. Я увидел, как она хлопчет у одной из багажных повозок, затем открывает сундук. И не успел я сбежать вниз с холма и преодолеть разделяющее нас пространство, как она извлекла из сундука дорогой мне бюст, взяла в руки железный инструмент и принялась выковыривать сапфировые глаза из мягкого материала слоновой кости. Спрятав их в карман, она зашвырнула бюст с головой, покрытой сплошным золотом, в пески.

— Роксана, ведь после тебя это самое дорогое, что у меня было. Я бы мог заставить раба нести...

— Он бы просто умер. И другие вслед за ним тоже. Александр, если ты умрешь, бюст тебе не понадобится. Если же будешь жить, то любой хороший скульптор сможет сделать тебе еще один.

И вот я отдал слугам лучше всего охраняемых повозок приказ, от которого глаза у них полезли на лоб, оставить в море песка все наши казначейские сундуки с монетами и золотыми художественными изделиями: кубками, чашами, ларчиками для благовоний и духов, древними идолами, имен которых мы не знали, — в целом весом в пятьсот тысяч талантов и ценностью более двухсот пятидесяти миллионов статов. За ними последовали сундуки с серебром, и шестеро мускулистых солдат, взгромоздив их друг на друга, устроили небольшую платформу. Поднявшись на нее, я обратился к солдатам, которые уже не соблюдали строя.

— У каждого воина моей армии есть кошель золота весом от одной оки и выше. Я советую — не приказываю — оставить его в песках, когда мы продолжим свой поход. — Затем, перефразируя то, что сказала мне Роксана, я добавил: — Если вы умрете, это золото вам не понадобится. Если же будете жить, каждый из вас получит

свою долю казны из подвалов Персеполя, Вавилона, Суз и Экбатан, а там вы сможете наскрести куда больше.

Подавляющее большинство солдат, услышав мой голос, сразу же бросили в растущие кучи свои кожаные кошель с золотом. Стоящие в отдалении увидели, что происходит, и многие только сделали вид, что бросают, но тут же до них доходило, в какое исключительно отчаянное положение мы попали. Персы и бактрийцы легче других отказывались от своего добра, македонцы же — неохотней всех. Вполне естественно, подумал я, ведь они воевали дольше остальных корпусов ветеранов. Кроме того, существовала поговорка, над которой я посмеивался, несмотря на то, что в ней была доля правды. «Возьмите сирийца, армянина, еврея: никто из них не любит так золота, как грек». Наверняка та же самая по смыслу пословица, только относящаяся к другим национальностям, существовала во многих языках.

Продолжая путь, люди то и дело оглядывались назад. От главной кучи сокровищ протянулась как бы ведущая к приманке тропа, по мере того как солдаты один за другим выбрасывали свои кошель; однако находились и те, кто надеялся сохранить сбережения и насладиться ими в зелени какого-нибудь далекого края. Но нещадно палящее солнце и растущая жажда умели хорошо убеждать.

Чтобы не думать о том, что ждет впереди, я праздно задавался вопросом, будут ли когда-нибудь найдены эти громадные кучи сокровищ. Мои инды рассказывали мне, что этой пустыней, насколько помнится, не проходил никто со времени похода Кира на Восток, когда до Инда добрались только он и семеро его спутников — все, что осталось от его несметного войска. Может, во время коротких дождей поджарые обитатели пустыни на одnogорбых верблюдах станут объезжать ее по краю и часть из них, как и мы, собьется с пути и наткнется на наши сокровища. Может, они отбросят бурдюки с водой и нагрузят верблюдов этим добром так, что эти ценные животные не смогут подняться с колен, и они тогда станут разгружать их понемногу, пока не убедятся, что те смогут идти, и, может быть, они благополучно доберутся до своих деревень, а возможно, и погибнут — умрут богатыми в этих безжалостных песках.

К концу еще одного перехода — не более десяти миль по изнуряющей жаре, по глубокому песку или рыхлому

гравию — одно кажущееся безрассудным мероприятие оказалось совершенно необходимым, чтобы вывести значительную часть моего войска и его сопровождение к морю. Не имея достаточного количества продовольствия, солдаты могут идти до тех пор, пока под туго натянутой кожей не проступят скелеты, но без воды они долго не протянут. Ужасы этого похода через пустыню только начались. Позади остался только наименьший из предполагаемых мной, впереди нас ждал настоящий ужас, которого я всегда боялся, и опасность встречи с которым возросла безмерно.

На следующий день отдельные солдаты стали выбиваться из колонн, но все еще тащились позади, дорожа своей жизнью, пока без сил не падали на песок. Идущие в арьергарде пытались заставить их идти дальше, но безуспешно, и вскоре они отказались от этих попыток. В рядах стали появляться безобразные бреши, как если бы нас атаковал невидимый враг.

Наши вьючные животные также страдали и также умирали, и теперь к их мучительной жажде присоединилось неистовство голодных людей, которые убивали животных, чтобы пить их солоноватую кровь, пока внимание их начальников отвлекалось на что-то постороннее. Многие сходили с ума и, бормоча, брели в пустыню, и никто не шел за ними, даже не окликал их. Из-за нехватки перевозочных средств больных и раненых оставляли умирать. Мы были в положении персов на Гранике, только косили нас не копья и мечи, а зной, жажда и измождение; притом персы умирали быстро, многие испытав лишь раз острую боль от вонзившегося в тело оружия, тогда как мои солдаты умирали в долгих мучениях. Мне невыносима была мысль о подсчете числа погибших; Гефестион полагал, что оно составляет половину моего войска. И все коршуны, грифы и вороны в этих необозримых небесах уже узнали весть об ожидающем их пиршестве, уже слетались и обжирались до пресыщения, до тех пор, пока не могли подняться с земли, но когда снова ощущали сильный голод, летели вслед за нами мрачной, навевающей ужас стаями. Вскоре они поняли, что упавшие не в силах отбиваться, и выклевывали глаза еще живым. Обернувшись, невозможно было не увидеть бесконечную цепь усевшихся небольшими кучками пирующих стервятников; некоторые отделились от стай, намечали цель и плавно спускались на

только что упавшего солдата; другие поднимались с едва отведенного угощения, чтобы присоединиться к орущей компании в безжалостном пекле небес.

Обитающие в пустыне шакалы тоже сбивались в невероятно большие стаи и в нападении на еще не умерших проявляли больше дерзости, чем коршуны. Когда опускалась тьма и все были сыты, они переговаривались на языке вампиров, издавая дикие зловещие крики и визги, сопровождаемые отвратительным хохотом.

Единственная вода, которую мы обнаружили в большом количестве, оказалась нам врагом, а не другом. Мы расположились лагерем у ручья с несколькими застоявшимися лужами, и в это время некий бог пустыни, ненавидевший меня или свою подчиненность Зевсу, совершил по отношению к нам низкий поступок. Посредством кратковременного и сильного ливня в его верховьях он вызвал мощный приток воды, ручей быстро переполнился и настолько вышел из берегов, что утонуло много ослабших мужчин и еще больше женщин и детей; но все же лучше было умереть вот так внезапно, чем в медленных муках, брошенному в песках, от клювов и клыков хищников. Немало людей погибло и оттого, что пили без меры и их иссушенные почки не могли выдержать такой тяжелой нагрузки. Они умирали в конвульсиях.

Из наших женщин и детей оставались в живых менее чем каждая пятая: это были жены, любовницы или отпрыски нескольких вышестоящих начальников, которым удавалось раздобыть воды сверх положенного рациона, или надсмотрщиков за багажом, которые имели доступ к тому небольшому запасу, который у нас имелся. Что до меня, я выпивал свой рацион и ни капли больше. Так же поступала и Роксана, хоть я и настаивал на другом.

Большей частью женщины и дети умирали, когда последнее впряженное в телегу животное падало от изнеможения и уже не могло подняться. Обычно тех, кто на ней ехал, нельзя было заставить сойти с телеги, и они оставались, глядя вслед уходящим, постепенно превращающимся в смутные пятна, зной и жажда высасывали из них последние жизненные соки, сознание меркло и погружалось в полную темноту. Роксана ехала на своем двугорбом верблюде, которого я пригнал из Бактрии вместе с другими ездовыми и выючными животными; бактрийский верблюд не столь хорошо выносит сильную жару и

долгую жажду, как одnogорбый арабский дромадер, тем не менее этот держался лучше, чем лошади. Раз вечером я увидел, что она отдает свой водный рацион плачущему ребенку.

— Зря ты это делаешь, — попробовал я образумить ее. — Ребенок обречен, это видно по тому, как темнеет его лицо. Ты только зря переводишь воду.

— Александр, я видела, как ты вылил в песок целый шлем мутной воды, которую принес тебе солдат. Ты, наверное, сделал возлияние своим богам.

— Таис бы так не сказала. Она бы это назвала жестом тщеславия и, возможно, была бы права.

— Тебе, наверное, стоило на ней жениться. Может, она смогла бы принести тебе больше пользы, чем я.

— Вряд ли. Она меня не любила.

— Уж в этом я сомневаюсь. Но вот что я хотела сказать. Твои боги совсем не нуждаются в воде. Они пьют нектар. Во всяком случае, они живут над туманом на горных вершинах, где журчат чистые горные ручьи, как в Бактрии. Так что, уж конечно, от жажды они никак не могут умереть. Да они и вообще не могут умереть, бедняжки.

— Роксана, любимая моя, царица моя, неужели тебе хочется умереть?

— Да, если я вижу, как все другие умирают — в таком бесчисленном количестве. Я бы хотела умереть, если б не ты. Я не знаю, что бы случилось с тобой и миллионами подвластных тебе людей, если бы я покинула тебя.

Возможно, я учел ее слова на следующий день, когда вынужден был принять поистине отчаянное решение. У нас оставалось сил, чтоб двигаться дальше, дня на два — не больше. Мы ступили на нечто смутно напоминавшее древнюю караванную дорогу. Ею не пользовались, наверное, сто лет. Из случайных человеческих останков, служащих вехами всех караванных путей в самых глухих пустынях, остались только черепа с отделенной или иногда отсутствующей нижней челюстью: верхняя часть черепа, возможно, является самой долговечной из человеческих костей, поскольку внутри него самого есть нервные волокна, придающие ему особую прочность, если учесть тонкость кости. Кое-кто из моих военачальников считал, что нам следует взять больше на юг, куда отклонялась караванная дорога, другие предпочитали держаться прежнего курса. Я принял критическое решение.



Я приказал отобрать шестерых лучше всего сохранившихся лошадей и дать им как следует напиться из оставшегося запаса воды. На их крупы мы прикрепили пустые бурдюки, в достаточном количестве, чтобы привезенной в них воды хватило бы всем на глоток в случае крайней нужды. Затем я выбрал себе в попутчики пятерых самых крепких военачальников: двоих самого высшего ранга и остальных рангом пониже. На закате солнца, а иначе — с восходом луны, мы пустили наших коней вскачь и продолжили путь по берегу пересохшего русла реки. Если бы обнаружили воду в изобилии, часть нас вернулась бы назад с некоторым ее количеством и с огромным запасом надежды, чтобы вдохновить остальных на последний рывок.

А пока они должны были идти по нашим следам; но если к закату второго дня никто бы из нас не вернулся назад, им стало бы ясно, что наше предприятие не удалось, и тогда каждый был бы волен решать сам, куда ему идти в поисках воды. Но я прекрасно отдавал себе отчет, что они вместо воды смогут найти в действительности.

Мы шли то галопом, то рысью, то шагом, то снова пускались в галоп. Спустя три часа после полуночи мне показалось, что лошади учуяли воду — уж больно резво они устремились вперед. Спустя еще два часа один из младших командиров младшего ранга, обладавший исключительно острым слухом, поклялся, что слышит шум прибоя на каменистом берегу, а через полчаса, на рассвете, мы все услышали попеременно то нарастающий, то затихающий ропот волн, и мы дали волю своим лошадям. Вот уже стали видны низкие, вспыхнувшие огнем облака. Снова пришел мне на память древний миф о Тифоне и Эос, а когда мы взобрались на вершину невысокого холма, то увидели впереди бледную волнистую линию. Ошибки быть не могло: это белела пена на берегу океана.

Благодаря тому, что морская дымка заволакивала солнце, глубокие трещины в речном русле ближе к стоку сохранили достаточное количество воды, чтобы мы могли наполнить все наши бурдюки. Мы умеренно напились сами и также умеренно напоили своих лошадей. Четверо из нашего отряда взяли столько воды, сколько они отваживались довести, и отправились в долгий путь назад, к нашему в беспорядке бредущему войску. Мы с Птолемеем, забыв о том, что один из нас император, а другой — военачальник, выбрали место и с мальчишеским азартом, взяв лопаты,

стали вкапываться в гравий, затем еще глубже — в песок, и через час непрерывной работы наткнулись на воду без всякого привкуса соли.

Александр перешел смертоносную пустыню Гедросии\*, но какой непомерной ценой!

## 2

Дав отдохнуть своему уцелевшему лишь наполовину войску, я отправился с ним в Карманию, где воссоединился с Кратером и его отрядом, который он провел длинным путем, пролежавшим к северу от значительно более короткого, но губительного пути, которым прошел я. Все еще не поступили сведения о Неархе с флотом, и я опасался, что его постигла беда.

Что за нужда говорить о том, что я предвидел уже не один месяц и что уже зафиксировано в прогнозах Абрута? Моя империя в Индии начала распадаться, что сопровождалось убийствами и должностными преступлениями. И хотя мои македонские гарнизоны старались ее подпереть, у меня мало оставалось надежды, что она сохранится надолго. Я посылал курьеров на быстрых дромадерах, перемещая или смещая сатрапов и военных правителей, расширяя или сужая владения сатрапий и назначая на командные посты самых способных и надежных людей. Это все, что я мог сделать. Кратер арестовал двух персидских градоначальников, виновных в предательстве, и я приказал незамедлительно казнить их, проткнув копьями.

Но кое в чем мне повезло. Из Гиркании и Парфии прибыло сильное подкрепление, а Кратер из Индии привел и другие силы. Снова под моим началом было сильное войско, но тем из нас, кто пережил поход через пустыню, до конца наших дней предстояло мучиться в снах кошмарами. В области, куда мы теперь вступили, цари и сатрапы снабдили нас в изобилии продовольственными припасами, включая вина, которых было чересчур много. Я позволял себе обильные возлияния и не особенно мешал заниматься тем же самым военачальникам и рядовым солдатам. Подтверждались сведения, что с Неархом и моим флотом все обстояло благополучно и следует ожидать их скорого прибытия; это послужило предлогом для пьяной пирушки, подобной тем, которым когда-то предавался мой отец

Филипп. Я не отрицаю, что скакал и орал вместе с остальными.

Я велел Гефестиону с большей частью войска идти из Кармании побережьем в Персию, а сам с легкой частью своей пехоты, всадниками и частью лучников, не обремененный тяжелым вещевым обозом, женщинами и детьми, пошел в Пасаргады, древнюю столицу Персии, находящуюся на расстоянии однодневного пути от Персеполя, построенного Дарием I. Может быть, единственной действительной причиной этого предприятия явилось желание снова посетить могилу Кира. С тех пор как я посетил ее в первый раз, ее разрыли и разграбили, но я привел все в полный порядок и в одиночестве на восходе солнца совершил жертвоприношение перед ее дверью. И вновь я прочел трогательную надпись на ней:

О Человек, кто бы ты ни был и откуда бы ни пришел,  
Ибо я знаю, что ты придешь,  
Я есть Кир, основатель Персидской империи.  
Поэтому не завидуй тому, что я занимаю этот клочок земли,  
В котором скрытым от глаз покоится мое тело.

Когда я ушел с этого места, то снова почувствовал сильную боль в голове: она стрелой пронзала лоб от виска к виску.

Во время моего пребывания там явился сатрап Мидии с пойманными им изменниками, которыми были не кто иной как бывший сатрап, осмелившийся носить высокую тиару и объявить себя царем Мидии и персов, а с ним множество его сторонников. Не ждал он, что я все-таки вернусь из Индии и накажу его за незаконный захват власти! Я рывкнул, отдавая приказ, и всей компании тут же пришел конец, а исполнителям приказа пришлось потоптаться в лужах крови.

Я также велел пригвоздить к дереву узурпатора сатрапии Персеполя, который захватил этот пост после недавней смерти законного сатрапа. Затем я пошел в Сузы, жажда отомстить другим сатрапам и правителям, изменившим мне в мое отсутствие. По дороге ко мне примкнул Гефестион, который в своем постоянстве уже построил для меня мост через реку Паситигрис. Верный Неарх тоже прибыл на эту встречу трех старых друзей, слегка приглушившую мою головную боль.

Пока я находился в Сузах, меня известили о двух событиях, которым уместно быть в моей летописи; о третьем же и моем участии в нем мне бы очень не хотелось говорить.

Первое из них касалось Гарпала, моего казначея в Экбатанах. Я всегда был склонен проявлять мягкость по отношению к нему: он все же учился со мной у Аристотеля и к тому же был косолапым. Эта снисходительность явилась серьезной ошибкой. Я не нуждался ни в каких шпионах, чтобы узнать о его поведении: об этом много судачили в Сузах и, без сомнения, по всей Персии, которую трудно было удивить по причине издревле вьезавшего в нее фатализма — наследия разделяемого ею когда-то культа Ахурамазды.

Полагая, что я уже больше никогда не вернусь из Индии, он стал разматывать царскую казну: окружил себя пышностью монарха, строил дворцы, держал большой гарем, учредил сады наслаждений и, широко практикуя взяточничество, ухитрился избежать возмездия. Только узнав о том, что я иду из Индии на запад, он задумался о своей судьбе, а затем с множеством слуг, наложниц и рабынь и с пятьюдесятью тысячами талантов краденого золота он подался в Грецию. Прошел слух, что во время своего недолгого пребывания в Киликии он заставил сановников этой области преклонить колена перед любимой блудницей.

Но что еще хуже, он опустил до предательства. Наняв тридцать судов и несколько тысяч наемников, он отправился в Афины и там попытался поднять против меня восстание. Если он и пытался подкупить Демосфена, то, наверное, предложил недостаточно, чтобы утолить жадность старика, и последний велел задержать его, а то, что осталось от ворованного золота, поместил на сохранение в Акрополь.

Согласно последним новостям, он сбежал на остров Крит.

Нечто лучшее или, по крайней мере, поднимающее настроение сулил запечатанный свиток, переданный мне в совершенной секретности доверенным слугой. Я прочел в нем следующее:

*«Александру,  
Повелителю Азии,  
низкий поклон и привет.*

Тебе, я надеюсь, приятно будет узнать, что ребенок, зачатый во время твоего последнего пребывания в Дамаске, благополучно родился в добром здравии и с хорошим весом и не имеет отметин.

Когда я заметно располнела, то поехала к близким друзьям в Гамат и жила там в уединении. По возвращении в Дамаск я рассказала, что моя родственница родила ребенка, но сама умерла от родовой горячки и я взяла ребенка себе. Этой истории легко поверили.

Я и мои дети любим его, он быстро растет, но его больше тянет к наукам, а не к военным делам, и особенно он отличается в математике. Так что солдатом он не станет, но тем не менее прекрасно послужит своей стране. По характеру он нежный, доверчивый и скромный.

Думая, как назвать его, чтобы это было почетно для отца, я остановилась на имени Аристотель, которого ты почитал. Я и думать не могла, чтобы ты назвал его своим именем — с тем, чтобы он не привлекал внимание, когда после ухода из жизни его отца ему будет грозить опасность, чтобы избежал гибели от меча ли, кинжала, копья или отравленной чаши, поднесенной ему теми, кто будет бороться за твой высокий трон.

Умоляю тебя, не ищи с ним встречи, никому не поверяй своих тайных желаний на его счет и еще прошу твоей милости: не отвечай на это письмо, а сразу же предай его огню.

Твоя верноподданная  
*Барсина».*

Невзирая на ее наставления, я все-таки хотел показать письмо Роксане, но потом передумал, решив, что хоть вреда это, уж точно, не принесет никакого, но зато и пользы не будет ни на грош. Поэтому я бросил письмо в жаровню и смотрел, как красные угли сперва опалили его, затем смяли и, в конце концов, поглотили языками огня; и остался от него лишь невесомый серый пепел, да и тот скоро исчез.

Но содержание письма нелегко было забыть. Роксана пока еще не забеременела, а других детей у меня не было. Если бы она родила мне сына, то и ему пришлось бы

бояться меча, копья, кинжала и отравленной чаши. Поэтому вполне может так случиться, что на земле не будет ни одного прямого потомка Александра, или жизнь его будет столь коротка, что он не успеет продолжить мой род. А вот потомки ученого парня, названного Аристотелем в честь моего великого школьного учителя, могли бы дожить до далекого будущего, пережить его бури и потрясения, заслужить славу небес, быть незаметными или добиться ограниченного успеха и поклоняться богам, чьи имена пока неизвестны. Однако, возможно, время от времени, со сменой поколений на любой из расходящихся ветвей посеянного мной дерева будет рождаться дитя непомерно гордое и высокоодаренное, которое, повзрослев и окрепнув, будет держать голову чуть склоненной к левому плечу, и его родители станут дивиться, от кого он мог унаследовать свое величие среди людей. И мне хотелось, чтобы у величия не было ни своей ахиллесовой пяты, ни перекоса в какую-либо сторону, ни налета безумия.

Третье событие произошло во время суда над двумя изменниками: своим поведением здесь я оставил еще одно темное пятно в истории своей деятельности. Это были сатрап и его сын, которые, как и Гарпал, считали, что я никогда не вернусь из Индии, в силу чего старший взял на себя царскую власть и сместил одного из моих правителей, передав этот пост своему сыну. Когда я опрометчиво принял на себя роль обвинителя при допросе сына, которого звали Оксатор, он своей наглостью пробудил во мне бешенство. Мне бы вообще не следовало вмешиваться из-за мучительной головной боли, стреляющей от виска к виску.

— Почему вы с отцом нарушили данную мне присягу на верность? — задал я вопрос.

— Царь Александр, мы с отцом получили известие о твоей смерти от раны в груди, причиненной стрелой, и поверили ему, — отвечал молодой человек. — А в этом случае наше соглашение утрачивало силу. Кроме того, мы думали, что, как только это известие распространится в народе, повсюду начнутся беспорядки и борьба за власть. Нам хотелось опередить своих соперников.

— Это сообщение пришло к вам из первых рук — от кого-то из близкого мне окружения или от дезертировавшего из моей армии?

— Нет, из вторых рук: от караванщика, который получил его от дезертира из твоей армии.

— Не слишком ли вы поспешили принять его за правду?

— Мы так не думали, царь.

— Действительность доказала, что поспешили. И разве не исключено, что этот слух шел навстречу вашим тайным желаниям, отчего вы и стали действовать со столь непристойной поспешностью?

— Царь, какой человек не думает о себе и собственной выгоде прежде, чем о выгоде своего правителя? Ты надолго исчез из нашего поля зрения. Повсюду тлели очаги мятежа. То, что мы сделали, было только по-человечески, и твои самые высокие военачальники и ближайшие друзья докажут это, когда ты спустишься вниз в объятия смерти.

— Я еще туда не спустился и все еще владею копьем. Это будет полным опровержением той приятной лжи, которой ты предпочел поверить.

Ярость мешала мне говорить, она требовала более полного выражения, чем просто слова. Выхватив у телохранителя копье, я метнул его в Оксадора с такой силой, что оно пробило ему живот и на целый наконечник вышло из спины рядом с позвоночником.

Если не считать битв, этот случай был одним из немногих в моей жизни, когда я собственноручно наносил смертельный удар. Одно дело — приказать казнить, даже большое число людей, и совсем другое — расправиться самому. Не знаю, почему на меня это так подействовало, может, потому, что меня поразила вся жестокая яркость этого зрелища. Парень рухнул на спину, и лицо ~~его~~, казалось, выражало скорее удивление, чем ужас или боль. И это вполне могло бы так и быть, ибо всего лишь мгновение назад он считал, что наказание еще где-то далеко впереди, и, возможно, он выйдет сухим из воды, как вдруг обнаружилось, что он у самых дверей смерти и уже входит в них. Я заметил, что торчащий из спины наконечник не позволяет ему лежать плашмя на полу, заставляя тело крениться набок; и в этом нелепом положении он издал несколько тяжелых вздохов, а затем прошел в те ужасные двери, которые закрылись за ним навсегда; и жизнь, которую он так остро чувствовал, больше ему не принадлежала.

Однако вина его отца была гораздо тяжелее, ибо ему я доверял и назначил его на самый высокий пост в об-

ширном плодородном районе моей империи. Моя ярость оставалась неутоленной, даже более того, она возросла, и меня вовсе не устраивала его быстрая смерть с мгновенно проходящей болью. Подумав, я наконец нашел наказание, которое он вполне заслужил своей изменой. Мой начальник военной стражи недавно получил табун из двухсот с лишним полудиких лошадей из северной Мидии. Я велел связать сатрапа по рукам и ногам и поместить его в загон, слишком тесный для такого табуна, и табунщики загнали в него лошадей. В этом тесном пространстве лошади стали метаться, лягаясь и кусая друг друга, топча человеческое тело до тех пор, пока не разmozжили копытами его голову. Когда вынесли из загона его труп, в нем было трудно узнать сатрапа, столь самоуверенного, что он осмелился нарушить клятву, данную Александру.

После этого я пил крепкое вино до тех пор, пока немного не успокоился и не притупилась резкость пульсирующей во лбу боли. А вечером я доверил Роксане придуманный мной великолепный план, который намерен был скрывать до более тщательной отработки его деталей и решения всех связанных с ним проблем. По ее опечаленному лицу я догадался, что она уже слышала о моих утренних выходках, но вместо того чтобы рассердиться на нее за то, что она не понимает их справедливость, не понимает, что такое наказание вполне соответствует гнусности преступления, я решил развеселить ее: пусть услышит об одной из самых поразительных идей, когда-либо приходивших в голову любому завоевателю. Более того, эта идея могла бы вызвать огромную радость людей во всей моей империи, и никто бы не пролил ни капли крови.

— Роксана, послушай, я хочу сочетать браком Восток и Запад,— сообщил я ей.

Сперва она, кажется, не поняла того, что я сказал, погруженная в свои печальные мысли, затем попробовала вникнуть и заговорила, правда, в ее голосе не было свойственной ей обычной веселости:

— Я не совсем понимаю, Александр, что ты имеешь в виду.

— Еще невиданный в мире праздник. Он состоится в Дионисии. На нем мы сыграем массовую свадьбу десяти тысяч моих солдат, независимо от их ранга, с десятью тысячами персиянок. Тебе не нужно объяснять, какая от этого будет польза. Нет причин, по которым моя империя



должна быть разделена какой-то произвольной границей на Восток и Запад. У персов те же расовые корни, что и у нас, греков. Вообще говоря, их женщины — самые красивые в известном нам мире. Дети от этих браков не будут знать той границы, о которой я говорю, она просто перестанет существовать. Это так широко отразится на всех народах империи, что в ней исчезнет обостренное чувство национальной принадлежности. Со временем завоеванные мной земли станут единой нацией вместо того, чтобы быть группой государств, не объединенных ничем существенным, кроме подчиненности моему трону. Эти государства уже поклоняются одним и тем же богам, хоть те и именуются по-разному. Со временем они все заговорят на одном языке — разумеется, греческом, самом богатом из всех этих языков. Объединение облегчит торговлю, положит конец межнациональным ненужным войнам. Боги всевышние, это будет единственный величайший подвиг во всем моем деле.

— Я останусь в Бактрии. Однако мне ужасно нравится смотреть, как сияют твои глаза, вот как сейчас, а не сверкают каким-то жутким блеском, когда ты хочешь выступить в карательный поход против взбунтовавшегося племени.

— Я уже послал курьеров в Грецию, чтобы собрать атлетов для игр, а также гимнастов, музыкантов, хоры, актеров для постановки великих драм и комедий, клоунов и шутов, чтоб смешили людей, поэтов, художников и скульпторов, чтоб запечатлели увиденное на вечные времена. Я построю огромный павильон. Праздничные церемонии продлятся пять дней, они будут незабываемы. Правда, помимо технических трудностей, связанных с тем, как разместить и угостить двадцать — а то и больше — тысяч человек, помимо заботы о веселых развлечениях для солдат, которые не смогут лично принять участие на свадьбе, и о празднествах для горожан и окрестного люда, который толпами съедется в город, остается без ответа только один трудный вопрос.

— Может, скажешь мне, что это за вопрос? — полюбопытствовала Роксана, поняв мой намек.

— Все это предприятие может показаться половинчатым, не от всего сердца, если и я не возьму себе жену-персиянку. Ты бы осталась старшей и моей самой любимой женой. Любой ребенок от тебя имел бы преиму-

щество над детьми от второй жены, как это принято на всем Востоке. Независимо от того, которая из двух жен родит мне сына первой, твой ребенок унаследует трон. Я не забыл, что ты — царица Бактрии. Если какой-то из двух браков считался бы морганатическим, то таковым являлся бы мой второй, а не первый брак. Ты моя законная царица. Однако мне не хотелось бы этого делать без твоего согласия.

— Что тебе до моего одобрения или согласия? Ты, Александр, властелин половины мира. Но раз уж ты просишь его — пожалуйста. Конечно, ты должен взять себе вторую жену, если так поступают твои военачальники и близкие друзья на грандиозном празднике. И думаю, ты уже выбрал себе что-нибудь особо подходящее.

— Я думал выбрать Статиру, старшую дочь Дария. До сих пор я видел ее только мельком, но запомнил: это красивая девушка. К тому же, если она станет моей второй женой, это поможет рассеять все то недовольство и возмущение, которое испытывают некоторые персы из-за того, что ими правит завоеватель из Греции, а не потомок Кира.

— Я видела ее, она прекрасна, как мечта. Отличный выбор, Александр!

— У Статире есть младшая сестра, Дрипетида. Я хочу отдать ее в награду Гефестиону. Тогда мы с ним станем шуринами.

— А как насчет Птолемея?

— Есть одна красавица по имени Артакама. Думаю, ему понравится. Она младшая сестра Барсины, вдовы Мемнона.

— Надеюсь, он не откажется от Таис.

— Этого опасаться нечего.

— Но зато Таис может уйти от Птолемея.

— Вряд ли. Птолемей — один из лучших военачальников Александра и его близкий друг.

— И все же она могла бы это сделать. Никому бы не следовало держать пари там, где ставка — свобода ее духа. Разве она не отделалась от самого Александра, когда он провел ночь с Барсиной?

Я был ошарашен и совершенно не знал, что сказать. Роксана никак не могла бы увидеть письмо Барсины, поскольку я сжег его. Поверить в то, что проболтался Абрут, я просто отказывался. Если бы было доказательство, что он это сделал, я бы... я бы... Но мне ничего не приходило

в голову, что бы я мог сделать: просто рухнула бы еще одна стена моей цитадели.

— Не надо выглядеть таким озадаченным и расстроенным, Александр, — мягко успокаивала меня Роксана. — Если позвонишь в Афинах, чтобы тебе принесли ночной горшок, то звон слышен и в Маракандах. Но эта история малоизвестна. Весь мир знает, что Таис оставила тебя, что ты сильно горевал, но лишь немногие пронюхали о Барсине, о том, что у нее появился ребенок спустя девять месяцев, как ты ушел из Дамаска. Зная, что она была женой Мемнона, и зная тебя так, как никакой другой смертный не знает, я догадалась о правде. Вот и все. Ничего сверхъестественного. Если ее сестра выйдет замуж за Птолемея, твой ребенок и его дети будут двоюродными братьями и сестрами. Дети Гефестиона тоже. Этим браком ты подготавливаешь почву для появления в будущем большого клана родственников, которые станут бороться за твой трон, когда ты умрешь.

— Как по-твоему, долго ли еще до этого?

— Не очень. Ты слишком много пьешь вина и подвергаешь себя непосильным тяготам, непосильным даже для Геракла. Александр, где ты предполагаешь поселить ее? С нами вместе?

— Нет, у нее будет отдельный дворец.

— Тогда после женитьбы ты должен оставаться с ней весь лунный месяц, не покидая ради чьей-то любви или ради сражения. Это право новобрачной.

Больше Роксана ничего не сказала, промолчал и я. Этой ночью она одарила меня нежностью, незабываемой по глубине чувства и сладости ощущения.

Когда я обдумывал детали грандиозного праздника, произошло событие, явившееся столь резким контрастом к ожидаемому мероприятию, что оно поразило меня с невероятной силой. Калан из бродячей компании индийских нищих, следовавший за моей армией, сильно состарился. Кроме того, он сильно страдал от какой-то болезни, которую не позволял лечить врачам, и возжаждал смерти. Его жизнь теперь бесполезна, говорил он; он желал сбросить бремя плоти, с тем чтобы душа могла вернуться к месту своего рождения, хотя не в состоянии был объяснить, где оно находится и какова его природа. Поскольку он не хотел, чтобы кто-то еще нес бремя греха его ухода из жизни, он сообщил мне, что намерен распрощаться с

ней в соответствии со своим культом — похоже, тем же способом, каким любящие жены в Индии имели обычай совершать самоубийства, то есть на погребальных кострах своих мужей, и эта церемония называлась «сати». Однако Калан настаивал на том, что между этими двумя обрядами нет никакой связи.

Я пытался отговорить его, но напрасно. Он прямо заявил мне, что, если я не позволю ему это сделать, он все равно покончит с собой, но таким способом, какой будет менее угоден его душе. В конце концов, не желая, чтобы он не подчинился мне, я дал свое согласие.

Птолемей получил задание соорудить погребальный костер в соответствии с желаниями старого мистика. В назначенный день я приказал своей армии устроить в его честь шествие и украсил ярусы бревен дорогими тканями. Сам я отказался присутствовать на церемонии, не желая видеть, как корчится в бушующем пламени этот совершенно невинный старик, но Птолемей сообщил мне о ней во всех подробностях. Калана принесли на носилках, он снял все разостланные мной на его смертном ложе шелка, обрезал себе волосы, сжег немного на только что разгоревшемся огне, затем взобрался наверх и завернулся в хламиду, прикрыв ею глаза.

И вот что было поразительно: когда бревна костра охватили высокие языки пламени и горнисты заиграли нашу похоронную музыку, а затем в унисон затрубили слоны, он не пошевелился, а когда пламя уже обжегло его, никто не увидел, чтобы он сделал хоть одно движение или как-то иначе выразил боль. Это был подвиг самообладания, равного которому в моем войске еще никто не видел, и солдат это зрелище странно отрезвило: уже покинув строй, они собирались в группы и тихо переговаривались. Это событие заставило меня задуматься: действительно ли я покорию Индию? А может, просто навязал ей силой свое военное владычество? И не вернется ли скоро она к той жизни, которой жила издревле, с ее древними правилами и традициями? О нашествии же Александра расскажет ее дивная поэзия вместе со сказаниями о других завоевателях, которые приходили и уходили; а тем, кто видел его своими собственными глазами, это покажется ночным сновидением.

Через несколько дней я с эскортом нанес официальный визит во дворец, где со своей престарелой бабушкой

жили Статира и ее сестра. Тогда я впервые внимательно присмотрелся к юной женщине, наследнице сказочной красоты ее матери, выбранной Дарием из всех персидских красавиц — сама же она умерла в родах после смерти мужа. Я вполне мог убедиться, что наследие ее красоты действительно перешло к дочери. Полных четырех локтей ростом, Статира имела гибкое и изумительно стройное тело. Верилось с трудом, что из человеческой глины боги могли слепить женщину столь безукоризненно прекрасную. У меня напрашивалось сравнение только с Афродитой Праксителя в Книде, прославленной на всю Грецию: при виде этой скульптуры женщины, говорят, падали в обморок, а мужчины погружались в несбыточные мечты.

Вспоминая то, чему учил нас Аристотель, я задумался о причине этого явления. Хотя сам Дарий не был прямым потомком Дария Великого, он принадлежал ветви этого рода; многие века его предки выбирали себе в жены лучших персиянок, по сути, самых красивых на земле. Он выбрал себе родственницу по той же линии, далеко славящейся своей несравненной красотой. У него в семени и у нее в яичниках накопился потенциал одинакового божественного дара, который воплотился в Статире, старшей его дочери. Но не только ее красота привела меня в состояние робости, а также ее непоколебимая безмятежность — даже когда она простерлась ниц предо мной. Лишь вспомнив, что я заслуживаю этот обряд приветствия как победитель Дария и волею отца моего Зевса, я смог собраться с духом и произнести тщательно отрепетированную речь.

— Я пришел сюда как твой поклонник, Статира, и тем самым предлагаю тебе быть моей женой.

— Это действительно великая честь, царь Александр. Но у меня такое впечатление, что у тебя уже есть жена — бактрийская княжна из древнего рода.

— Это так, но обычай и религия позволяют всем персам иметь больше одной жены, и такая полигамия особенно распространяется на царей при их обязательстве добиться от их чресел ребенка-мальчика, с тем, чтобы короны попадали в надежные руки, а не захватывались узурпаторами. У тебя будет собственный дворец с полной свитой, тебе будут оказываться все знаки покорности и любви, какие положены царице: в этом отношении те же самые, что и моей первой царице, Роксане. Благодаря браку со мной, ты, возможно, примешь от богов великую обязан-

ность продолжить род твоего отца Дария и мой собственный древний род царского дома Македона. Очень прошу тебя, дай мне ответ сейчас.

Она долго смотрела мне в глаза, как когда-то Барсина, потомок тоже какого-то древнего и знатного рода, а затем спокойно проговорила:

— Царь, я приму эту честь.

Я надеялся услышать слова «с гордостью и радостью», но напрасно. Все же, как бы там ни было, она согласилась; наверное, чувство своей принадлежности высокому роду помешало ей сказать больше того, что она сказала.

— С твоего согласия, церемония и свадебный пир состоятся во время весеннего праздника в честь Диониса.

— Это меня устраивает, мой повелитель.

Тем временем ее бабушка смотрела на меня так, словно видела во мне выскочку, каковым я и был в некотором смысле. Поэтому я не затягивал своего первого визита, сделал только пару замечаний да задал несколько вопросов — например, какие драгоценные камни она предпочитает, — на которые она ответила с полнейшей учтивостью. Только когда я уже уходил, она сказала несколько изменившимся тоном — более мягким и теплым:

— Царь Александр, мне хочется выразить свою благодарность за то, с каким благородством ты отнесся к моей сестре, матери и бабушке как к пленницам после поражения и смерти моего отца. К этому я хочу еще добавить свою благодарность за твою попытку вызволить его из рук изменника Бесса и за справедливое наказание, которое ты отмерил ему за предательство и цареубийство.

— Ты и дорогие тебе люди всего лишь получили то, что заслужили — так же, как и Бесс. А теперь я прощаюсь с вами.

И снова она с непередаваемым изяществом склонилась в земном поклоне и, не поворачиваясь ко мне спиной, удалилась. Я же с эскортом и свитой отправился восвояси.

#### 4

Шатер, раскинутый мной для того, чтобы отпраздновать в нем свадьбу Европы и Азии, был, вероятно, самым великолепным в истории сооружением. Он опирался на столбы высотой в тридцать футов, каждый из которых

был покрыт листовым золотом и серебром и усеян драгоценными камнями. Огромная площадь его пола была застелена изысканнейшими персидскими коврами; не было видно ни дюйма палаточного материала, потому что под крышей укреплялись многоцветные ткани и стены драпировались гобеленами, вышитыми золотыми и серебряными нитями, на которых были изображены небесные сцены встречи персидских и эллинских богов или исторические события из моей собственной жизни. Для изготовления этих тканей и гобеленов потребовался шестидесятидневный труд не менее чем двадцати тысяч искусных швей.

Вдоль одной стороны шатра составили в ряд сотню кушеток, на каждой из которых могли свободно разместиться жених и невеста и, откинувшись вбок, угощаться с отведенного лично для них столика. Все эти кушетки обильно отделали серебряными украшениями и задрапировали роскошными тканями. Кушетка царя и его новой царицы, Статиры, была отделана не только серебром, но и массивным золотом. На противоположной стороне стояли кушетки и столы для первых лиц моей империи и их любовниц, приглашенных гостями на свадьбу.

Я выбрал девяносто девять старых друзей и военачальников и каждому определил невесту из знатной или влиятельной семьи — главным образом из Вавилона, Суз, Экбатан и Персеполя, но также из Парфии и даже из Ассирии. Но так случилось, что восемь пар не смогли появиться на свадебном пиру: или невеста не успела вовремя приехать, или жених занемог именно в этот день. В трех или четырех случаях женихи, наверное, просто прикидывались больными по велению любимой жены, наложницы или рабыни, поэтому, когда все собрались, насчиталось девяносто две брачные пары.

Все женихи расселись по своим местам и под музыку флейт и лир в шатер ввели невест. Протрубили трубы, и строй прекрасных юных женщин и дев распался: каждая направилась к предназначенному ей месту. Женихи вставали, приветствуя их, и пары целовались под долгое ликование труб и грохот барабанов, чем, собственно, и заканчивалась церемония бракосочетания. Затем все, как это принято у персов на пиру, приняли полулежачую позу, музыканты заиграли нежные песни, подали вино, все громче звучали разговоры и смех, и великое веселье началось.

На протяжении последних часов после полудня и ранних часов вечера гимнасты и акробаты демонстрировали замечательную силу и гибкость своих тел, всюду расхаживали клоуны, смеша публику, пели знаменитые певцы, мужчины и женщины, хор евнухов, воспевали богов, героев, любовь и мир, и в основном это были баллады, давно уже пользовавшиеся любовью персов и греков, но прозвучало и несколько недавно сочиненных песен, посвященных Статире и мне. Замечательным событием праздника, доставившим огромное удовольствие собравшимся, явилась постановка труппой актеров с хором, прибывших из далеких Сард, пьесы Еврипида «Андромеда».

В ней были стихи, в издевку надо мной процитированные Клитом, когда он стоял за занавесом, где и встретил мгновенную смерть. Я узнал их по первым строкам, и кровь бросилась мне в лицо. Я тут же хотел остановить представление, не дожидаясь, когда будут произнесены и остальные строки, связанные с жутким воспоминанием, но, к счастью, я преодолел это побуждение, хотя как и почему — не знаю; возможно, я боялся, что эта сидящая рядом со мной юная особа, чья несравненная красота дышала такой безмятежностью, принадлежавшая царскому дому Кира, Дария, Ксеркса и Артаксеркса, отнесет меня к варварам. Она слушала и смотрела с таким вниманием, что, кажется, забыла о моем существовании.

Я не запомнил, в каком действии трагедии прозвучали эти ненавистные мне строки, но прежде, чем я узнал их, за ними уже последовали другие. Мне пришла в голову мысль, что Клит цитировал их не с оригинала мастера, а с искаженной копии или с нарочитого заимствования у Еврипида. Никто в зале не заметил этих строк и не вспомнил, что, в общем-то, это были последние слова Клита.

В перерыве я спросил царицу, нравится ли ей пьеса. Она ответила, что это не лучшее произведение Еврипида, хотя и доставляет удовольствие. Ее намного больше привлекала другая пьеса — о дочери царя, полюбившей простого солдата и навлекшей на себя смертельный гнев своего отца, а к самым лучшим она отнесла «Электру», «Орестею» и «Медею».

Статира едва прикоснулась к своему вину. Не могу сказать, чтобы она проявила хоть чуточку экзальтации по поводу того, что является избранницей Александра. Зато она была исключительно учливой и обходительной: не



скупилась на похвалы развлечениям, без всяких побуждений с моей стороны рассказала о некоторых подвигах древних персидских героев, таких, как Рустам и Джамшид. С приближением к концу праздничных развлечений я вдруг почувствовал, что мне все больше становится неловко. Не мог я представить себя в роли ее жениха, претендующего на право супруга. Я нисколько не сомневался в ее покорности, но меня одолевали сомнения насчет того, действительно ли роль невесты приносит ей огромное удовольствие. И в этих обстоятельствах я не был уверен, что смогу сыграть свою роль.

Я не мог удержаться от усмешки, когда подумал о старом Кратере: он находился в том же положении, что и я, только по другой причине. В жены ему досталась племянница Дария Амастрина — молодая резвушка, в достаточной мере наделенная красотой, свойственной всем женщинам по линии царского рода, энергичная и пылкая. Наверняка его тоже беспокоила мысль об исходе надвигающейся ночи.

Наконец подошел момент, когда нужно было решать этот вопрос. Поэтому я обратился к Статире рассудительным тоном, стараясь говорить медленно и не выдать своей неловкости:

— Тот дворец, который я освободил для тебя, Статира, еще не готов принять свою хозяйку. Моя первая царица, Роксана, поехала навестить родственников в Габиахах и Пасаргадах и вернется не раньше чем через две недели. Я подумал, не провести ли нам эту ночь в моем царском дворце.

— Это была бы великая честь, царь, но, с твоего позволения, я бы предпочла, чтобы мы провели ее во дворце у моей бабушки, в опочивальне для царских гостей.

— Пожалуйста, я удовлетворю любое твое желание.

Мы поехали в моей повозке, сопровождаемые верховой охраной. Слуги дворца пали ниц, когда мы входили в парадную дверь. В палате для аудиенций Статира замешкалась.

— Мой царь, в это время года на улицах много пыли. Я прошу позволения ненадолго удалиться в свои покои. Перос, наш дворецкий, проведет тебя в царскую опочивальню.

Я подумал, что Статире как жене следовало бы действовать иначе: предложить мне провести с ней ночь в своей спальне, где ее хозяйские заботы согрели бы меня

и сняли с души то необъяснимое напряжение, под влиянием которого я все еще находился. Как бы там ни было, я решил не противиться, и вот, идя вслед за старым мажордомом, очутился в великолепных, роскошно убранных апартаментах. Сразу же появились степенные служанки, раздели и выкупали меня, умастив после купания ароматическими маслами. Одна из них принесла мне роскошный атласный халат и персидские шлепанцы. Чувствуя себя необычайно посвежевшим, я выбрал кресло, выходящее на балкон, и сел, чувствуя приятный ветерок, дующий с гор.

— Одна из вас может позвать царицу,— бросил я вдогонку уходящим служанкам.

Ждать пришлось недолго. Дверь медленно открылась, и в мягкий свет лампы вступила... но нет, не Статира, а какая-то юная особа, которая с первого взгляда показала мне похожей на Амастрину, молодую жену стареющего Кратера, но я тотчас заметил, что на ней костюм и головной убор царской княжны. Но это была и не Дрипетида, сестра Статиры, отданная в жены Гефестиону. Я совершенно не знал, кто она такая. Очевидным было только одно: никто еще с таким усердием не клал мне земной поклон.

— Ты можешь подняться,— сказал я ей,— и передать мне свое сообщение.

Она вскочила на ноги проворно, как кошка.

— Во-первых, мой царь, прошу тебя отнестись ко мне снисходительно за то, что вошла к тебе без разрешения, но я пришла от моей кухни, царицы Статиры.

— Добро пожаловать; и может, скажешь, кто ты такая?

— Мой царь, я Парисатида, дочь Артаксеркса III.

— Я не знал, что у великого завоевателя есть юная дочь.

— Я родилась у него, когда он был уже далеко не молод, от его парфянской царицы Апамы, в пятнадцатый год от Александра.

— Откуда тебе, княжна, известно об этом летоисчислении? Я-то всегда считал, что это тайна между мной и моим писарем Абротом.

— Мой царь, ты упоминал об этом не раз во время обильных возлияний, и эта... последняя сенсация пронеслась по всему свету. Ну, а я приняла ее как календарь для отсчета времени.

— Позволь узнать, почему?

— В двух словах не объяснишь. Не позволишь ли своей служанке присесть? Я вернулась в Сузы только сегодня утром и еще немного не отошла от усталости. Когда ты был в Вавилоне, я находилась в Сузах и никак не могла тебя видеть. А во время твоего последнего пребывания в Сузах я была в Вавилоне. Царь Александр, сегодня я вижу тебя в первый раз.

— А я тебя. Да, ты можешь присесть. Но прежде, чем объяснять, почему ты оказала мне честь, приняв мой личный календарь, не скажешь ли ты мне, что тебе велела передать Статира?

— Да, конечно. Она просила извинить ее.

— Извинить?

— Да, мой царь. Сегодня ночью она к тебе сюда не придет, если ты не распорядишься иначе.

Потребовалось некоторое время, чтобы усвоить и обдумать это удивительное заявление. Не отрицаю, что в первый момент, как услышал его, еще до того, как задумался о сказанном, я испытал облегчение. По правде говоря, у меня не было ни малейшего желания проводить ночь с этой полубогиней красоты и богиней спокойствия. Чувство облегчения было так велико, что я не сразу увидел ее отказ в том свете, что его можно принять за дерзкий вызов мне как царю Азии. Она, возможно, больна — это все, что пришло мне в голову; могли быть и другие причины для отказа, которые со временем мне предстояло рассмотреть.

А пока я был чрезвычайно обрадован, что эту весть принесла мне бойкая девушка лет семнадцати, а не торжественный слуга или неприветливая старая орлица, ее бабушка. Я поймал себя на том, что больше обращаю внимание на посланницу, чем на послание. Ростом она сильно уступала Статире, красотой тоже, и, слава богам, в ней не было заметно ни капли холодной величавости. Собственно говоря, это качество отсутствовало напрочь. Она, как котенок, уютно свернулась в кресле, не очень заботясь о положении ног. Своей жизнерадостностью она напоминала Роксану в тринадцать лет, но уступала ей в красоте и силе характера. Ее собственной красоте недоставало глубины, ее можно было бы назвать чрезвычайно хорошенькой и беззаботной девчушкой и на этом поставить точку.

Я же не поставил на этом точку. Она не была уже ребенком. Под плотно сидящим на ней костюмом в парфянском стиле, с двумя застежками: одна под левой рукой, другая у основания правого плеча — проступала прекрасно развитая грудь. Рельефность бюста дополнялась рельефностью ягодиц, и по этим признакам, как и по другим, более тонким, я решил, что под этой живостью и кошачьей грацией, возможно, скрывается чувственность, которой, как мне часто доводилось слышать, отличаются молодки в Парфии, ибо в них скифские кочевники смешались с персами. Поскольку царские дочери всегда находятся под зорким присмотром, она, вероятно, была еще девственницей, но такое положение вещей ее больше не устраивало.

— Объяснила ли царица Статира причину, по которой желала бы отступить от брачного обязательства, заключенного со мной сегодня вечером? — спросил я.

— Обязательство! Что за слово для брачного приключения! Но я должна ответить на вопрос его величества. Нет, царь Александр, она не объяснила причины, но, мне кажется, я догадываюсь, в чем дело. — Парисатида не заботилась о том, чтобы напускать на себя торжественность. Я не мог отделаться от впечатления, что самой ей поведение Статире ужасно по душе и что на этот счет у нее есть свои планы.

— Послушай, Парисатида, ты говоришь, что догадываешься о причине странного поведения Статире, странного, по крайней мере, для меня. Может, скажешь мне, в чем тут дело?

— Я бы предпочла не говорить тебе, царь, что я думаю на этот счет, хотя как дочь Артаксеркса III я стою выше дочери Дария III, который был младшим сыном царского дома Персии. Но я очень люблю ее и предпочла бы, чтобы ты угадал.

— Она не считает себя моей женой?

— Здесь ты промахнулся. Ей весьма льстит быть царицей Александра Великого, но, по-моему, ей нужна только честь, а не то, что требуется жене на самом деле. Попробуй еще раз, может, вдруг да угадаешь.

— Тогда, должно быть, у нее есть любовник.

— Мог бы ты винить ее, царь, если это правда? Ей уж двадцать четыре года. Когда у нее появился любовник, она ведь и думать не думала, что ты предложишь ей,

дочери твоего злейшего врага Дария, стать твоей царицей. Конечно же, ты не можешь винить ни ее саму, ни ее любовника.

— Да, полагаю, что не могу. Но ведь она могла бы отказаться от моего брачного предложения.

— Никто не посмеет отказать тебе в чем-то, царь Александр. И потом, разве этот брак с твоей стороны не продиктован интересами государственной политики?

— Да, ты права.

— Кроме того, сегодня у нее сложилось впечатление, что ты вовсе не жаждал... обладать ее телом, и поэтому она решила, что вы оба будете счастливей, если этот брак будет таковым только по названию, как и многие царские браки, особенно между братом и сестрой — например, в Египте.

— Она мне никак не дала понять, что у нее есть такое намерение.

— Это было невозможно — без царского разрешения. И все же она сделала намек, которого ты не заметил. Она сказала тебе, что у Еврипида ей больше всего нравится трагедия, в которой царская дочь полюбила солдата.

— Статира любит бедного солдата?

— Я этого не сказала, царь, но ты можешь догадаться. Охрана Дария состояла из высоких молодых персов, красивых и храбрых, хоть многие из них были бедны, без имени. Ей было четырнадцать, когда они впервые встретились в домике для садовых инструментов — том, что в царском саду дворца, где ты сейчас живешь.

— Постой, Парисатида, я не могу представить себе царицу Статиру, которая встречается даже с богом Митрой в домике для садовых инструментов.

— Великий царь, теперь-то ты должен понимать, что внешность часто бывает обманчивой. А от правды никуда не уйдешь: у нее страсть только к одному человеку, и в этом смысле другие для нее не существуют. Если бы Дарий узнал, он бы нанял моряка, чтобы убить ее — как в трагедии Еврипида. Я же всегда побаивалась, что это она убьет Дария, если он начнет подозревать ее в любовной связи. С твоей стороны, царь, было бы весьма милосердно, если бы ты взял этого молодого человека себе в телохранители. Они встречались бы крайне осторожно, никто бы никогда не узнал, и она присутствовала бы на всех твоих торжествах, блистала бы своей ослепительной кра-

сотой и царственной осанкой и помогала бы тебе осуществлять все политические планы, ради которых ты и выбрал ее в жены.

— Вот так предложение! Таких Александру еще никто не делал.

— Мне оно кажется очень разумным, мой царь. И ты еще не выслушал его до конца.

— Что же там еще, скажи на милость? — Я не знал, рассмеяться ли мне с искренним весельем или рассердиться.

— Моя кузина предлагает, чтобы ты взял меня на ее место и, по существу, сделал бы своей третьей женой, отчего бы ты стал еще теснее привязан к древней царской династии Персии. Что же касается закулисных дел, я бы играла роль Статиры и свою собственную. Я на самом деле девственница, как ты мог бы убедиться; и все же я бы взяла на себя смелость предсказать, что с царицей Роксаной и царицей Парисатидой тебе бы больше не понадобились другие служанки.

## 5

Парисатида замолчала и сидела неподвижно, поэтому я смог разглядеть ее получше. Более того, я мог воспринять ее как человека, который, возможно, вскоре войдет в мою личную жизнь, а не просто как живую привлекательную девушку, волей случая оказавшуюся на моем пути, чье имя я вскоре забуду. Она пользовалась приемом, известным Таис — возможно, Таис научилась ему в афинской школе для куртизанок, — состоявшим в том, что девушка выбирала расслабленную грациозную позу, полностью открывала лицо, но не фокусировала взгляд на глазах оценивающего ее человека, а смотрела чуть в сторону, и сидела, как бы погруженная в спокойное созерцание, тем самым позволяя ему внимательно рассмотреть себя, можно бы даже сказать, проникнуть в душу, при этом затянувшееся молчание не вызывало у посетителя неловкости или суетливости. Я теперь вспомнил, что и Барсина позволяла без труда рассмотреть себя, используя тот же прием. Являясь вдовой Мемнона, она сознавала, что я для нее — потенциальный враг. Парисатида же не видела во мне врага; она как бы без слов говорила: «Раз-

глядывай меня, царь Александр, чтобы понять, хотелось ли бы тебе делить со мной ложе».

Она знала, что меня нелегко будет ублажить. У меня был большой, буквально бесконечный выбор среди юных и привлекательных дев. Даже жрицы Артемиды, давшие обет девственности, нашли бы, как им обойти священную клятву, за исключением немногих, настолько одержимых фанатическим поклонением, что они скорее предпочли бы умереть. Если бы я домогался прелестной дочери подчиненного мне царя, ему бы ничего не оставалось, как делать вид, что он этого не замечает, но из политических соображений я всегда старался не потакать себе в этом. Существует легенда, что Секста из царского рода Тарквиниев за полтора века до моего рождения лишили трона и изгнали из Рима за то, что он изнасиловал неуступчивую жену римского патриция.

Мне сразу же стало очевидно, что Парисатида — далеко не обыкновенная молодая княжна. Сидя в расслабленной позе, она все же оставалась дочерью дома Ахеменидов. Похоже, я полностью заблуждался в оценке другой дочери этого дома, Статирь, и что-то мне подсказывало, что и в оценке Парисатиды я тоже могу легко ошибиться. Только в одном я был уверен: она бесстрашно добивалась того, что хотела, и, если бы боги сотворили ее мужчиной, а не женщиной, и она ограничивала бы свою склонность к слишком большому риску, ей бы, вероятно, удалось сесть на трон Персии и стать великим завоевателем — разумеется, еще до того, как я решил этот вопрос. Под этим платьем скрывалось крайне чувственное женское существо. В отличие от Таис, ее чувственность не претворялась в форму, напоминающую дар богини. Парисатида принадлежала к той породе женщин, которые брали, а не давали, но брали с таким лютым жаром, что для их любовников это было тоже бурным переживанием. Она похотлива, размышлял я, гораздо в большей степени, чем Таис. Союз с ней не приведет к возвышенным чувствам, скорее, ближе к непристойности, хотя не хотелось мне употреблять это слово.

Так подсказывало мое воображение, которое всегда обладало мощной силой и, как правило, не обманывало. Однако опытного развратника удовлетворило бы и то, что он мог прочесть по ее лицу: высокие скулы, глаза навывкате, губы красиво очерченные, но все же слишком пол-

ные по греческим канонам классической красоты. Настоящее чудо, размышлял я, это то, что она сохранила хотя бы номинальную девственность до семнадцати лет. Она объявила себя девственницей, и если это неправда, то было бы рискованно заявлять такое царю, с которым она со всей серьезностью вознамерилась заниматься любовью.

— Ты говорила о своей девственности, так что и мне хочется поговорить об этом,— продолжил я разговор.— Трудно понять, как это девушка с такой чувственной привлекательностью могла оставаться невинной целых четыре года после первого цветения.

— Не четыре, а семь. Величественный царь, мне было десять, когда оно началось.

Меня это не удивило: в теплых странах подобные вещи не являются чем-то необычным. Я слышал о многих подобных случаях в южной Греции. Удивила меня форма ее обращения ко мне. Она была первой из старинной персидской династии, кто приложил такой титул к моему имени. Однако мне было известно, что с этим титулом обычно обращались к великим царям рода Ахеменидов. Я этого не требовал, не хотел, чтобы представители высокого дома, находящиеся теперь в моей власти, думали, что для меня это хоть сколько-нибудь важно. Даже Барсина, ища у меня милосердия, не пользовалась им.

— И все же ты не дала никакого объяснения тому чуду, о котором я говорил.

— Это вовсе никакое не чудо, царь Александр. Да, за мной зорко присматривали, но это еще не весь ответ.

— Не потрудишься ли ты дать мне полный ответ?

— Конечно, если ты велишь. Я не уверена, что этот ответ удовлетворит покорителя Азии. Он даже может назвать меня самонадеянной.

— Я выслушаю тебя, говори. Ты разожгла мое любопытство.

— Ну что ж, если я должна... Я ждала тебя, царь Александр.

— Сколько же времени?

— Думаю, эта идея впервые пришла ко мне в голову как детская мечта, когда мне было лет восемь. Девочки, только что осознавшие свою женственность, мечтают чаще, чем ты думаешь. Конечно, это была романтическая мечта. Недавно ты победил великое персидское войско на Граникс. Один начальник, которому удалось спастись, при-



ехал к нам во дворец и рассказал моему больному дяде об этой битве, и я тоже слушала. Он рассказал о мощной атаке твоих гетайров, которые расстроили наш фронт. Он говорил об их командире с золотисто-рыжеватыми волосами, совсем еще молодом — двадцать с небольшим — на стремительном черном жеребце. Дарий III только недавно взошел на трон. Мой отец, Артаксеркс III, уже умер примерно четыре года назад, и я помнила его лишь смутно, но со временем стала поклоняться его памяти. После этого я прислушивалась ко всем сообщениям о твоём продвижении на восток. Для меня ты был еще один Артаксеркс III, и даже более великий.

— Я сам заметил некоторое сходство между нами, но вот только не понимаю, как это могла разглядеть совсем еще малышка.

— Я быстро превращалась из малышки в подростка. Ты хорошо знаешь, величественный царь, что такое дворцовые сплетни. Я быстро поняла, что на персидском троне после Артаксеркса III не было еще поистине более великого царя. Дарий начал хорошо: он заставил евнуха Багоя, убившего моих отца и брата и принявшего на себя царскую власть, выпить яд, но он скоро проявил нерешительность своей натуры и нежелание настаивать на своем, или, говоря иначе, предать смерти всех, кто был против него. Ты ведь знаешь, как он прислушивался к лъстецам и сатрапам из его родственников. Он не хотел прислушаться к мыслящему трезво Мемнону, а после него к Харидему. На Гранике ты разбил его войско, при Иссе ты победил это войско, которым командовал Дарий, и в обоих случаях он упустил свой шанс встретиться с тобой на удобной для него местности. К нам пришло сообщение, что при Арбелах он сам выберет место для сражения, не отступит оттуда ни на шаг и разгромит тебя; но я знала, что ты все равно победишь.

— Ты была права, — отвечал я ровным голосом. — Я и в самом деле победил.

Я заметил, что по ее телу пробежала как бы дрожь от сильного возбуждения. Это мне напомнило юное деревце: тронутое нарастающим дыханием ветра, оно все громче шумит листвой, пока, наконец, не затрепещет в полную силу. Но ветер, трясший Парисатиду, зародился в ее бедрах и, набрав штормовую силу страсти, так и не улегся. Она только старалась лучше его скрывать.

— Дело в том, величественный царь, что я желала твоей победы,— наконец заговорила она опять, взволнованно переводя дыхание в конце каждого предложения.— Мне хотелось, чтобы Персией правил настоящий царь... Не думай, что это была измена. Царь даже более... более великий, чем мой отец... Я хотела лежать ниц перед ним... И я никак не могла расстаться со своей детской мечтой...

— Кажется, тебе не хватает дыхания, Парисатида. И мне тоже, немного. Я скажу тебе, в чем, по-моему, заключалась твоя мечта. Поправь меня, если я ошибаюсь.

— Я не верю, что ты можешь ошибаться.

— Тебе хотелось стать моей царицей — я, Александр, и ты, дочь Артаксеркса III,— и слиянием моей династии с твоей основать новую, величайшую из всех известных нам в мире династий. Не слишком ли я самонадеян?

— Нелепо: Александр Великий — и самонадеян! Но прекрасная Роксана меня опередила. После ты выбрал Статиру, но она предпочла своего солдата, потому что, несмотря на весь ее ум и красоту, у нее та же слабинка, что и у Дария. Я знала, что ты не слаб. Я знала это еще задолго до Арбел — когда ты перебил жителей Тира, которые осмелились не подчиниться твоему приказу сдать город. Величественный царь, дела великих правителей нельзя судить в том же свете, что и дела простых смертных, и в этом отношении великие цари богам подобны. Разве бог проявляет милость, когда ущемляются его права или когда бросают вызов его власти? Кстати, о богах: я никогда нисколько не сомневалась, что ты родился от Зевса-Амона. И пойми, величественный царь, большинство персов находилось в неведении насчет того, что боги иногда посещают смертных женщин, даже Кир этого не знал. Первыми это открытие сделали греки, а не мы. Однако если одной из своих цариц ты сделаешь меня, Роксана все же будет первой. Она старается привить тебе милосердие к врагам. Так поступала и Таис, которая когда-то была твоей любовницей, а это знает весь мир. Если бы Статира заслуживала бессмертного почета, она бы делала то же самое. Но если, царь, ты предпочтешь меня, я должна буду предупредить тебя, что не смогу стать такой, как те, другие. Я всегда помню, как мой отец перебил всех своих родственников, которые могли бы претендовать на его трон. Я не смогу забыть, что он сотворил с Сидоном, после чего

этот город перестал быть соперником Тира. А потом с Египтом. Тебе удивительно и теперь, мой царь, то, что я до сих пор оберегала свое девичество?

— Сегодня ночью твое долгое одиночество закончится.

— Вот слова, достойные истинного царя! Но как насчет Роксаны? Я, Парисатида, дочь Артаксеркса III, не могу уступить, если ты не сделаешь меня одной из своих цариц.

— Это дело простое, Парисатида, и к тому же чрезвычайно приятное. Я еще не встречал никого более подходящего, чтобы быть моей царицей.

— Даже Роксану?

— Роксана не имеет никакого отношения к тому, что есть между тобой и мной.

— Статира стала твоей царицей — только на словах — по праву твоего поцелуя. Можно мне стать твоей царицей — не только на словах — по тому же праву?

— Разумеется. Тот поцелуй был для свидетелей, этот же будет искренним. Сейчас?

— Немедленно.

Она поднялась с кресла, я последовал ее примеру. Поцелуй начался с легкого прикосновения губ, после чего они с силой прижались друг к другу. Потом мы поочередно позволили друг другу исследовать языком свой рот, и Парисатида стала покрываться румянцем: с лица огонь, подобно занимающейся заре, переметнулся на шейку и обнаженное плечо. Ее рука прокралась ко мне за шею, скользнула вниз, помедлила, затем поползла за воротник. Недолго мог я выносить столь утонченные ласки. Она высвободилась из моих объятий, быстро заперла дверь в коридор на засов и, забыв обо всем на свете, потянула меня за руку через арочный проход в спальню. Я занялся своей одеждой, а когда снова взглянул на нее, она уже лежала обнаженная, раскинувшись в той же позе, что и Олимпиада, когда к ней в спальню с небес спустился Зевс. И вновь повторилось то же, что и в ночь моего зачатия, за тем лишь исключением, что я все еще был в чувствующей плотской оболочке смертного человека. Впрочем, Парисатида не нашла в этом ничего дурного.

Наконец, она затихла, закрыв глаза и глубоко дыша, я же смог снова собраться с мыслями и спуститься с небес на землю — в отличие от Зевса, который, наоборот, поднялся к себе в заоблачные выси. Я не сомневался, что Парисатида зачала ему внука.

Зато я питал кое-какие смутные сомнения в отношении другой стороны того же вопроса: была ли до меня Парисатида стопроцентной девственницей или, в каком-то смысле, полудевственницей — так называли в Тире и Карфагене девушек, которые потворствовали разнообразным плотским желаниям, иногда принимая от своих партнеров вознаграждение, а на брачном ложе умели-таки убеждать своих женихов в том, что они совершенно невинны. После пережитых с ней чудных мгновений я не заметил обычного признака дефлорации; правда, вход в ее тело был очень узким, в нем ощущалось сопротивление, хотя это можно было бы объяснить сжатием эластичных мышц.

Решив, что, скорей всего, ее приласкал какой-то чересчур неуклюжий юнец, я выбросил эти мысли из головы: она бы, это уж точно, могла пробудить бурю страсти и в самом Еврипиде, этом суровом и желчном старике.

В брачную ночь Александра и Парисатиды народилась новая луна. Четырнадцать дней будет расти ее маленький рог, пока не станет абсолютно круглым. Поэтому я велел передать Кратеру, что в течение этих четырнадцати дней не буду присутствовать на пирушках и развлечениях, которые последуют за вчерашним свадебным пиром, и ему надлежит сменить меня на посту главного распорядителя. Эти дни я хотел пожить ради плотских удовольствий, а если и думать о чем-то еще, то совсем недолго и как можно реже. В результате более недели ни я, ни Парисатида не выходили из роскошных покоев с отделанными ваннами и всем, чего только могли бы пожелать персидские цари с их любовью к роскоши.

Только раз я отправил послание Неарху, требуя ускорить строительство множества новых галер и судов с двумя, тремя и четырьмя рядами весел и мощными таранами, которое велось на нашей базе в устье реки Тигр. Время от времени Парисатида звонком вызывала слуг, чтобы они принесли к нам в комнаты все необходимое для пирушки, или когда у нас разыгрывалась фантазия и нам вдруг хотелось отведать какое-то изысканное яство или редкое вино такого-то года урожая. Именно в это время я приобрел вкус к очень кислому вину, приготавливаемому в Армении из мелкого синего винограда.

Впервые у меня была супруга, с которой я мог говорить свободно — которая, в сущности, вынуждала меня к этому, ибо хотела знать не только о больших событиях, но и о незначительных происшествиях в моей жизни, особенно о тех, где я был главным действующим лицом. Когда я рисовал картины осад и сражений, ее глаза так и загорались; когда я рассказывал о резне, она не затыкала уши; когда я описывал жестокое подавление восстания, она хотела слышать подробности, как осуществлялось наказание, и по какой-то непонятной причине это возбуждало ее, и она прижималась ко мне, покрывала меня поцелуями, сладострастно разжигала мою страсть до тех пор, пока я не удовлетворял ее и свое собственное желание.

Редко говорил я о Роксане и, по правде, старался не допускать ее в свои мысли, но ближе к двенадцатому дню нашего брака Парисатида сама подняла эту тему, задав вопрос по существу:

— А Роксана любит слушать о твоих походах?

— Боюсь, что нет.

— Значит, она не одобряет тех строгих мер, которые ты должен принимать, чтобы добиться своей цели?

— К этому у вас совершенно разный подход.

— Величественный царь, разве не мне надлежит быть первой по отношению к Роксане? Она — княжна маленькой страны, а я — царского дома Персии.

— Роксана — моя первая жена. А первенство и старшинство обычно идут рука об руку. Но ты не переживай: причин для жалоб у тебя не будет.

— По крайней мере, со мной ты будешь чаще, чем с ней. Она становится старухой. В тридцать мужчина только приближается к своему расцвету, а женщина в двадцать семь начинает уже увядать. Я на десять лет моложе ее.

— Если родишь мне первенца — у меня есть родной сын, но он не может унаследовать моей империи, — твое положение будет намного выше. Разумеется, он будет законным наследником.

— К тому же в его жилах будет течь кровь великого рода Ахеменидов, — заметила она с нескрываемой гордостью. — Роксана еще не беременна?

— Нет.

— После стольких лет брака? Да она, наверное, бесплодна, и тебе никогда не дожидаться от нее ребенка.

В этих обстоятельствах такой великий император, как ты, просто обязан устранить ее. Она может окружить себя пышностью, иметь свиту и собственный дворец, но делить с тобой ложе она больше не вправе, и тогда ты сможешь экономить свою мужскую силу, чтобы иметь от меня много сыновей.

— Пойми, Парисатида, Роксана любит меня всей глубиной души, несмотря на то что и не одобряет кое-какие из моих поступков, в военном смысле необходимых.

— Я сомневаюсь в глубине ее любви по этой же самой причине. Настоящая жена старается поддержать мужа в его делах, а не расхолаживает его. Да, несомненно, ты должен ее устранить: ведь пока она разделяет с тобой ложе, она влияет на тебя больше, чем ты думаешь, и связывает тебе руки.

— Во всех других отношениях Роксана всегда была хорошей и верной женой. Она не отходила от моей постели, когда я был в ужасном состоянии. Если бы не ее забота, я бы умер.

— Ты же не умер. Подобные события из прошлого не должны отражаться на твоём будущем.

— Я бы не хотел причинить ей боль. Ты должна это понимать. Если я отдаю ее от себя, она будет в глубоком отчаянии.

Парисатида на время замолчала, но я чувствовал, что мысли ее не знают покоя. Лицом ее незаметно завладело выражение, которое я еще не наблюдал во всей его полноте; я видел только намеки на него, когда рассказывал ей о некоторых жестоких расправах с предателями и раскольниками.

— Величественный царь, когда ты счел необходимым устранить Пармениона, он не горевал, — сказала она очень тихо.

— Не вижу тут связи.

— Я могу понять, почему тебе невыносимо думать, что Роксана страдает. Парменион не страдал, потому что ты действовал очень быстро и правильно.

— Может, он страдает в Аиде, когда вниз проливается кровь. — Я слишком хорошо помнил дух Филота, восставший предо мной в тусклом свете луны, и то, что он мне поведал.

— Те, кто в Аиде — всего лишь тени. К тому же, мой царь, с Роксаной ты можешь обойтись помягче, чем с

Парменионом. Меч тут совсем не обязателен. У меня есть нянька, египтянка; она вдова одного мудрого аптекаря. Я знаю один безвкусный яд: если его выпить с вином, то наступает быстрый и безболезненный конец. Тебе нет необходимости делать это собственноручно. Я, твоя настоящая жена, избавлю тебя от этой обязанности.

Какое-то время я был в растерянности и не мог найти вразумительного ответа. Конечно же, мне хотелось сказать, что я не хочу терять Роксану, что непременно желаю сохранить ее при себе как первую царицу и друга; я чувствовал, хотя и не хотел распространяться об этом, что очень нуждаюсь в ней. Разумеется, я не хотел, чтобы какая-то молодая княжна, сладострастная, ревнивая и безумно влюбленная в меня, тайно посягала на ее жизнь. Однако мне что-то инстинктивно подсказывало не грубить и не упрекать ее. В постели Роксана была столь же хороша, как и Парисатида, если не лучше; она не была такой же похотливой и неистовой, но зато более нежной и менее жестокой — в ее объятиях было больше материнского, нежели чувственно-плотского. По правде говоря, мне хотелось сохранить их при себе обеих: Роксану навсегда, а Парисатиду надолго.

То, что Роксана не родила мне наследника за все годы нашего брака, было действительно странно, даже унижительно. С другой стороны, я не сомневался, что Парисатида зачала от меня с первого же раза. Меня несколько не ошарашило ее заявление, будто она может хладнокровно убить Роксану, чтобы убрать ее со своего пути, ведь она была дочерью Артаксеркса III, убившего близких родственников сразу же с восхождением на трон; да и мне, знают боги, пришлось обагрить свои руки невинной кровью, когда в начале моя судьба лежала на шатких весах, а позже не все мои расправы, если как следует подумать, оказывались военной необходимостью и не все расстроенные состояния моего ума были расплатой за гениальность. Некоторые случаи резни вызывались божественной яростью, но многие диктовались соображениями удобства, так что большой кочерге от печей, осветивших мировые небеса, негоже было ругать маленькую печную трубу\*, называя ее черной.

Поэтому я заговорил, воздерживаясь от эмоций:

— Видишь ли, Парисатида, я понимаю твои побуждения, они похвальны. Ты хотела бы углубить связь между

нами, вдохновить меня на великие деяния и тем самым расширить мою империю. Но я поклялся Роксане, когда мне было шестнадцать, а ей — тринадцать.

— Александр, мой царь, я не знала, что в этом возрасте ты уже побывал в Бактрии. Я и вправду ничего не слыхала об этом.

— Не был я ни в Бактрии, ни даже к востоку от Гелеспонта. Зато Роксана побывала в Греции.

— Не знала я, что она была такой заядлой путешественницей, и в таком раннем возрасте.

— Так ей было уготовано судьбой. Наш брак оказался очень удачным. Если бы ее не стало со мной, я бы чувствовал огромную печаль и утрату. Я бы хотел, чтобы это не вызывало никаких сомнений.

Разговор этот начался сразу же после окончания любовного акта. День был теплый, и мы лежали на постели нагишом. Протянув руку, она натянула покрывало на нижнюю половину тела и лежала, уставившись в потолок, ничего не говоря, без всякого выражения на лице.

— Не хочешь ли вина? — предложил я.

— Не сейчас, мой царь. Спасибо.

— Тогда я налью себе.

— Можно мне? Для меня это большая честь, царь Александр.

— Спасибо, но я сам дотянусь до кувшина.

Я был уверен, что она кипит от злости за свое поражение, но она так хорошо владела собой, что ничем не выдала себя: ни глазами, ни губами, ни изменившимся тоном. Ее дыхание было ровным и глубоким.

Я встал, надел персидский халат и тапочки и присел на край постели.

— Скажи-ка мне, Парисатида, вот что: когда появятся доказательства того, что ты зачала? А я в это очень верю.

— Видишь ли, мой царь, последнее цветение у меня было в новолуние. Совокупление произошло в ночь народившейся новой луны. Теперь она почти полная, а когда снова станет узенькой лодкой, то для меня опять настанет пора цвести. Если этого не случится, может, ты пересмотришь свое решение насчет Роксаны?

— Ты должна знать, Парисатида, что почти всегда мои решения необратимы; их может изменить только очень серьезное происшествие, в корне меняющее предыдущую ситуацию.



— Разве, оплодотворив меня, ты не будешь смотреть на это, как на очень серьезное происшествие?

— Конечно, буду — как на серьезное и чрезвычайно для меня счастливое; а если ребенок благополучно родится и окажется мальчиком, твое положение весьма упрочится. Ты стала бы матерью законного наследника. В глазах людей ты была бы первой царицей. Однако мое решение первой царицей считать Роксану остается неизменным.

И тут она расплакалась. Мне ничего не оставалось делать, как наклониться и поцеловать ее в губы, ощутив привкус слез.

— Мне невесело, Парисатида, когда я вижу тебя такой расстроенной. Если я уйду, ты быстрее придешь в себя и трезво поразмыслишь над всем, что ты обрела по сравнению с той малостью, что ты потеряла. Я пойду в штаб. Туда должны уже поступить вести от Неарха о том, как идут дела со строительством новых кораблей. Думаю, они заплывут далеко, прежде чем их весла улягутся на долгий отдых или паруса перестанут надуваться океанскими ветрами. Я вернусь на закате и отужинаю с тобой.

Я вышел из покоев и, забрав телохранителей, дежуривших в коридорах, покинул дворец. В штабе я прочел пухлую кипу донесений, поступивших со всех концов моего царства за те две недели, когда я не интересовался делами. Просто не верилось глазам, сколько всего произошло за это короткое время или чуть раньше в более отдаленных районах.

Когда мне грядущей осенью исполнится тридцать три года о. А., мой флот, с гордостью думал я, будет намного мощнее, чем у греков в битве при Саламине. Моему требованию ко всем греческим государствам, за исключением Македонии, не состоящей в Союзе, чтобы мне воздавались божественные почести, включая жертвоприношения, наравне с Гераклом и Дионисом, как правило, все подчинялись, хотя у престарелого Демосфена это вызывало приступы сарказма, а у оратора Кисурга — жалобы. Косолапый Гарпал получил свое наказание, отправившись, хромая, прямой дорогой в Аид, и для этого не понадобилось длинной руки Александра: его убили на Крите, хотя мои шпионы пока не знали, кто это сделал и почему. Афины не очень-то спешили выполнить мое распоряжение о возвращении всех изгнанников в родной город, ибо им пришлось бы тогда потерять остров Самос, заселенный

греческими изгнанниками, и появились признаки зреющего мятежа, которые, впрочем, всегда можно было обнаружить, если покопать как следует. Как раз сейчас ближе к моей столице, но на расстоянии утомительного пути от меня среди коссеев бродило недовольство. Сперва мне пришлось поскрести в затылке, соображая, что это за народ, затем я вспомнил, что живет он по соседству с уксиями, обитающими в землях южнее региона Аральского моря, и состоит из кочевых племен более воинственных и диких, чем скифы. Я также вспомнил, что их вождь сдался мне, когда я был в Согдиане, и заплатил дань в виде золотого песка, шерсти, бактрийских верблюдов, на удивление прекрасно выкованных мечей и нескольких сотен ок конской кожи, ярко лоснящейся благодаря особому способу дубления.

Повозка с этой кожей преодолела с нами весь долгий путь в Индию и назад. Несомненно, какой-нибудь представленный к обозу начальник охраны глаз с нее не спускал и полагал, что без этой его заботы поход окончился бы неудачей. По возвращении в Сузы нашелся здравомыслящий человек, который отправил кожу в Экбатаны, где жили лучшие седельщики и сапожники во всей Персидской империи. Как ею потом распорядились, я уже не знал.

Старому Антипатру, которого я оставил в Пелле, моя мать Олимпиада доставляла обычные неприятности. Он писал, что она вечно вмешивается в государственные дела; она писала, что он лишает ее полагающихся ей привилегий и почестей царицы-матери. Я не сомневался, что и он, и она писали то, что им казалось правдой. У моей матери желание вмешиваться во все было врожденным качеством, даже сильный характер Филиппа не мог помешать ей мутить воду во дворце до тех пор, пока он не развелся с ней, чтобы жениться на племяннице Аттала, Клеопатре, и не усладил ее в Эпир. Теперь же, когда Олимпиада вернулась в Пеллу, я был уверен, что бедняге Антипатру хватало с ней хлопот по горло. Кроме того, по природе он был бережливый, как и большинство старых македонцев, и отказывал ей в золоте, которое ей было нужно на содержание многочисленной свиты. Неужели она все еще держит змей и крыс, подумал я. Если это так, а скорее всего так оно и есть, то старику выпало тяжкое испытание.

С большим удовольствием я прочел прошение Селевка о проведении большого парада и смотра новых военных формирований, которые мы называли «эпигонами» (буквально, «последователями»), состоявших из тридцати тысяч лучших персидских юношей, обученных военным приемам моей старой македонской гвардии, когда-то главной опоры моей армии. Конечно, подумал я, парад возмутит этих раздраженных ветеранов. Больше всего недовольства вызывало у них — помимо того, что я долго тянул с возвращением в Грецию — то обстоятельство, что я по собственной воле перестаю быть монархом Македонии и становлюсь монархом мира. Верно, что я перенял восточное одеяние, большей частью парфянское, но на свадьбе Европы и Азии я носил полный персидский костюм. Зачисление персов и прочих варваров по лохам в конницу гетайров и другие элитные корпуса вызвало их сильное недовольство, и они чуть было не взялись за оружие, когда узнали о формировании отличных новых корпусов, получивших название Последователей или «эпигонов».

Взяв верх надо мной на берегу Гифасиса, они теперь поняли, что это пустая победа, потому что до Греции так же далеко, как от Суз до Индии. Брак Европы и Азии благотворно повлиял на прочих моих греков и новые пополнения со всех уголков покоренных земель; и только македонцы смотрели сердито, считая, что это празднество — лишь еще одна приманка, чтобы отбить у них охоту возвратиться на родину. Я решил: пусть они варятся в собственном соку. Вот уже десять лет все они ведут жизнь, полную славных приключений и побед. Теперь я прочно сижу на троне и не склонен все так же уступать их желаниям и терпеть их недовольство, как на Гифасисе.

Прежде чем вернуться во дворец, занимаемый Статирой, Парисатидой и их бабушкой, я ненадолго зашел в царский дворец. Там я обнаружил письмо от Роксаны, в котором она сообщала, что по просьбе друзей и родственников она решила остаться в Пасаргадах еще на две недели — в целом, на месяц. В одном отношении это вызвало у меня чувство облегчения, так как я еще не вполне наслаждался медовым месяцем с Парисатидой, но в другом — я почувствовал себя покинутым. Перед уходом из дворца я отдал наставление сенешалю, чтобы по возвращении Роксаны за ее едой и питьем было установлено более строгое

наблюдение и чтобы к ним допускались только те слуги, которые давно заслуживают доверия. Она не должна принимать женщин в чадре, а главное, никогда не должна встречаться наедине с Парисатидой.

Несколько обеспокоенный в отношении того, в каком настроении я застану мою новую жену, я направился во дворец ее бабушки. Слуга сказал мне, что новая царица ожидает меня в тех же самых роскошных покоях, где мы провели с ней двенадцать ночей. Там я и застал ее в прекрасном одеянии и украшениях, с лицом, излучающим приветливость, а в нашей обеденной комнате был уже накрыт стол с эпикурейским ужином, куда входили грудка золотистого фазана, форель с горных рек, устрицы с Персидского залива, восхитительное разнообразие улиток, которых я никогда еще не пробовал, осетровая икра, пирожные из взбитого теста, настолько воздушные, что они просто таяли во рту, охлажденная дыня; яйца, приправленные кэрри\*, и восточные сладости. Все это сопровождалось несколькими сортами вин, в основном бледно-золотистого оттенка, но я распорядился принести полюболюбившегося мне темно-красного кислого вина.

После ужина мы разделись и немного полежали под освежающим ветерком, дующим сквозь раздернутые занавеси балкона. Но близость наших тел действовала на нас далеко не охлаждающим образом, как и маленькие ласки, которыми мы поневоле дарили друг друга, или легкие взбивающие движения ее конечностей, которые она не могла остановить.

Она нежно укусила меня за мочку уха и прошептала:

— Ты устал после работы в штабе?

— Нисколько.

— Или после того, что случилось, когда мы проснулись сегодня утром?

— Нет. Твой плач утомил меня гораздо больше.

— Величественный царь, я была непростительно самонадеянной. Однако, возможно, ты простишь меня: мне невыносима была мысль о том, что какая-то другая женщина заключает тебя в свои любовные объятия. Нехорошо было так думать. Конечно, ты должен делить ложе с двумя царицами, да и с наложницами тоже, если они необходимы тебе, чтобы у тебя рождались сыновья, стоящие твоего божественного семени. Больше я никогда при тебе не

заплачу. Если у меня и появятся слезы, никто их не увидит. Царь Александр, я уже вся в огне. Если ты его не потушишь, я умру. Этот голод посильней, чем у львицы, когда она охотится за намеченной ею жертвой. Во имя Митры, бога-быка, прими меня в свои объятия. Видишь, я уже готова.

— Я тоже весь горю, прекрасная Парисатида. Мы только мучаем друг друга этими ласками.

— Тогда не церемонься со мной. Докажи себе, что ты мой любовник и мой царь.

Когда, наконец, она легла рядом, ее губы изогнулись в милой и трогательной детской улыбке, и она почти мгновенно заснула.

Я натянул на себя покрывало — от ветерка становилось холодно — и вскоре тоже уснул. И должно быть, почти две недели излишеств утомили меня больше, чем я предполагал, ибо мне снились беспокойные сны и порой я ощущал тупую боль в висках. Утром я чувствовал себя бодрым, и в этот день мы решили показаться на людях. Она ехала рядом со мной как моя царица на своей красивой рыже-золотистой арабской кобыле, за нами следовала наша свита, и встречные приветствовали нас радостными криками. Мы заехали на базар, и там я купил ей большой рубин стоимостью в два таланта, горевший темным огнем: он мне показался подходящим подарком.

Следующие восемь дней мы вели себя поумеренней, и не потому, что в ней хоть сколько-нибудь поубавилось желания — это во мне нарастало утомление. В сумерках восьмого дня, то есть двадцатого с тех пор, как Парисатида впервые разделила со мной брачное ложе, я уловил прощальный блеск заходящей луны в последней стадии убывания — тоненького серпа, и подумал, что больше ее не увижу до рождения новой луны.

Утром я проснулся спустя два часа после восхода солнца. Я лежал один, моя новобрачная ушла принимать ванну. Когда же она, наконец, появилась оттуда, походка ее была вялой, красивое тело скрывалось под халатом, и она энергично терла мокрые от слез глаза.

— Что случилось, Парисатида? — спросил я, глядя на это бледное и опечаленное лицо.

— У меня язык не поворачивается, чтобы сказать тебе, мой царь.

— Не нужно слов. Я могу догадаться. Ты не зачала. Она повесила голову, постояла так немного, затем проговорила:

— Это правда, мой царь.

— Не переживай. Из-за легчайшего недомогания матка может отвергнуть семя, не принять его даже в те дни месяца, когда она больше всего предрасположена к этому. Не велика беда: еще много других лун, прибудет и убудет.

Я говорил с непривычной легкостью, и по существу запутался в смешанных чувствах. Потакая ее сладострастию, я довел себя до измождения, однако у нее ничего не вышло. По какой-то неизвестной мне причине я был даже рад этому и в то же время испытывал легкое отвращение, смешанное с яростью. Возможно, во время наших оргий — а слова поприличней я не находил — она пила слишком много вина, хотя на каждую выпитую ею чашу я осушал две. В любом случае, она упала в моих глазах и потеряла некоторую долю моего расположения.

За завтраком я говорил о веселых вещах и пересказал Парисатиде грубоватую шутку, которая облетела наш лагерь, быстро, как дикий голубь. Эта, несомненно, чья-то выдумка относилась к брачной ночи стареющего Кратера с его новой женой. Затем я надел на себя полную военную форму, серебряные доспехи и оперенный шлем, с принужденной веселостью попрощался с Парисатидой и, оседлав великолепного арабского жеребца, в сопровождении охраны и свиты направился в лагерь, находящийся в получасе езды.

Но новостью, преподнесенной мне Парисатидой, удары судьбы сегодня не ограничивались.

Мы скакали проворной рысью по довольно пустынной улице и нагнали царский кортеж всадников — это было видно по их лошадям и одежде. Подъехав ближе, я увидел, что впереди ехала высокая молодая женщина, в которой, сильно вздрогнув от неожиданности, узнал я Статиру, мою последнюю, вышедшую за меня против своей воли, новобрачную. Я знаком приветствовал ее, она отвесила поклон, затем обратилась к начальнику моих телохранителей, который ехал сразу же за мной. Мне не составляло труда услышать то, что она сказала:

— Командир, не испросишь ли для меня разрешения царя Александра проехать с ним немного рядом и рассказать то, что ему очень нужно знать?

Я повернул голову и сказал:

— Я слышал твою просьбу, Статира, и готов ее удовлетворить без лишних церемоний.

— Могу я также попросить тебя, великий царь, чтобы твоя охрана немного отстала, ибо то, что я хочу тебе сообщить, предназначается только для твоих ушей.

— Это тоже разрешается, и все мы переходим на шаг.

Она пристроилась рядом со мной, и я заметил, что ее удивительно красивое лицо немного побледнело и выражает глубокую серьезность. Стража попридержала ненадолго своих коней, затем снова тронулась вслед за мной, но уже шагах в двадцати.

— Мой царь, ты должен знать, что не по своей воле я не пришла в брачную спальню в день нашей свадьбы, — понизив голос, сообщила она.

— Я вижу, что ты говоришь совершенно серьезно. И все же не могу представить, чья воля могла бы подавить твою, которая была также моей царской волей.

— Есть один человек, чья воля подавляет мою. Нарушить данное тебе обещание меня вынудили угрозы, которые я не осмелилась не принять во внимание. Я говорю о своей кузине Парисатиде, дочери Артаксеркса III.

— Что это за угрозы?

— Кинжал или отравленная чаша — для меня и очень любимого мной человека.

— Молодого солдата?

— Мой царь, в моей жизни нет никакого молодого солдата. Если тебе это рассказала она, то знай, что все это ее выдумки. У меня никогда не было никакого любовника. Дорогой мне человек, о котором я говорю и которого хотела уберечь от беды, это моя старенькая бабушка.

— Чтобы развеять сомнения насчет того, что ты мне сейчас сказала, я должен задать тебе всего лишь один вопрос. Она знала, что ты назвала мне любимую тобой трагедию Еврипида. Любимую потому, что, по ее словам, там говорится о твоей собственной истории — истории отчаянной любви к молодому солдату. Каким образом могла бы она узнать о том, что ты мне сказала, если только не предположить, что ты разговаривала с ней, пока я мылся в ванной, готовясь к твоему приходу?

— Величественный царь, Парисатида умна и хитра, как... демон. Она постоянно следит за мной, когда я нахожусь в ее компании, и подмечает и запоминает все, что я делаю

или говорю. Она знает, что я люблю «Крессу» и всегда говорю о ней, если речь заходит о Еврипиде. Она, как и весь город, знала, что в первый день празднества покажут «Андромеду» Еврипида. Она, как всегда, оказалась прозорливой и догадалась.

— Я верю тебе, Статира. Парисатида крепко обидела тебя, и я был к тебе несправедлив, поверив в наговор.

— Царь Александр, у меня стало гораздо легче на сердце. Но умоляю, не говори Парисатиде о том, что я открыла тебе правду: я опасюсь ее мести. Она имеет влиятельное положение как последняя дочь по линии рода Ксеркса. Она уже раз совершила убийство — ради своего преуспевания и ненасытной похоти.

— А что, если я возьму и предам ее мечу?

— Нет, прошу тебя, царь Александр. Мне снова сердце не позволяет. Ведь бабушка обожает ее и не захочет признать в ней ничего дурного.

— Тогда я воздержусь. У меня еще только один вопрос. Ты все еще не против, или, скажем так, есть ли у тебя еще желание, чтобы наш брачный союз завершился на ложе?

— Нет, Александр, больше у меня нет такого желания. Хочешь — приставь ко мне своих шпионов, и ты убедишься, что нет никакого молодого солдата, что я так же девственна, как новорожденная. Когда меня искушали, я помнила, что являюсь старшей дочерью великого Дария, и это помогало мне не поддаваться искушению. Теперь же, когда в твоих объятиях побывала Парисатида, мне уже никогда не быть счастливой в качестве твоей жены, и тебя мне тоже не сделать счастливым. Поэтому вот моя последняя к тебе просьба: выбери подходящее время и отстрани меня по какой-нибудь причине, не задевающей моей чести. И я поищу счастья в пределах своих возможностей: быть может, это будет брак с человеком из нашего рода, добрым и верным, который никогда не стремился жениться на мне из-за моего слишком высокого положения.

— Хорошо, твою просьбу я исполню. Не повезло мне в отношении бракосочетания Европы и Азии, но, верно, это воля богов.

— Осмелюсь попросить тебя еще вот о чем, царь: ни словом, ни делом не позволяй Парисатиде догадаться, что я тебе открыла правду. С земным поклоном и сердечной



благодарностью я подожду, с твоего разрешения, на обочине дороги, пока ты со своей охраной не проедешь мимо.

— Да, разрешаю, царица, можешь ехать своей дорогой.

## 7

В одном отношении большой смотр «эпигонов» под началом Селевка имел поразительный успех. Тридцать тысяч рослых молодых персов промаршировали или проехали верхом на лошадях безукоризненно ровным строем и в такт; они проделали трудные маневры; проходя мимо меня, они повернули головы точно под одним и тем же углом; их оружие было надраено до блеска; они безукоризненно четко отдавали мне честь. Не оставалось ни малейшего сомнения, что они могут стать оплотом моей армии. Мои же ветераны-македонцы собрались на противоположной стороне учебного поля и громко выкрикивали грубые и презрительные насмешки.

Их возмущало образование этого корпуса — пятой гиппархии. Когда я зачислил в конницу гетайров персов, выдававшихся знатностью, храбростью, красотой и верностью мне, ветеранов это не только огорчило, но и оскорбило. Мне, что совершенно очевидно, требовалось принять меры против мятежа — примирительные и вместе с тем суровые — и предстояло заниматься ими несколько дней и ночей. Я решил, что лучше всего провести это время в моем штабе в близком контакте с моими военачальниками и специалистами, а не во дворце у Парисатиды в расслабляющих пирушках, и не в царском дворце, где отсутствие одной молодой женщины заставляло все эти роскошные залы и палаты источать холод одиночества, несмотря на несколько сотен слуг, поваров, музыкантов, чистильщиц ковров и тому подобных его обитателей.

Поэтому я тут же продиктовал короткое письмо, объясняя Парисатиде, что на меня вдруг свалилось много работы и я не смогу вернуться к ней в течение неопределенного периода времени, который, надеюсь, будет коротким; и с письмом я послал ей ожерелье из зеленого нефрита, привезенное мне через Согдиану от монарха Исебонии, неизвестного путешественникам обширного царства на северо-востоке.

Что-то меня толкнуло послать за моим лучшим шпионом, Клодием, который сейчас находился в лагере после разведывательной работы в Северной Мидии. Частично своим успехом он был обязан своей непримечательной внешности. В сущности, я никогда не мог припомнить его лица — так оно было похоже на мириады лиц. Он обладал острым умом и безошибочной памятью, редко доверял языку, а больше глазам и ушам; смертельно ненавидя Персию, он знал больше о ее дворцовых тайнах, чем хозяйки царского дворца в Вавилоне. Я встретился с ним в атмосфере полной секретности, в присутствии лишь Абрута, которого Таис называла моей тенью.

— Клодий, мне нужны сведения, важные для моей личной жизни, но которые будут касаться и моего управления империей,— начал я, как только он совершил обряд приветствия.— Тебе известно что-нибудь о Парисатиде, дочери Артаксеркса III, которую я взял в качестве третьей жены и царицы?

— Я слышал кое-что от караванщиков, сплетни в банях, но ничего такого, что могло бы быть приятным для твоих царских ушей.

— К Ахриману то, что приятно для моих царских ушей! Мне нужна только правда. Я знаю о ее предках, что она родилась у отца под старость, что ей около семнадцати и что нянька ее — египтянка, вдова хорошего аптекаря. У меня есть основания считать ее, мягко говоря, неразборчивой в средствах. Был ли у нее когда-нибудь любовник, о котором тебе что-нибудь известно?

— Не совсем любовник, мой царь.

— Был ли кто-нибудь, кто вызвал сплетни и публичный скандал?

— Маленькие сплетни, царь Александр, и то, что по греческим меркам можно было бы назвать скандалом. Но это известно только немногим.

— Я желаю услышать об этом незамедлительно.

— Говорила ли тебе царица Парисатида, что у этой самой египтянки есть сын по имени Неко?

— Нет, не говорила.

— После смерти Артаксеркса княжна Парисатида устроила свою резиденцию в Пасаргадах, в одном из дворцов, принадлежавших династии Ахеменидов. Вырастая из младенческого возраста, она играла и постоянно общалась с Неко, который был на три года младше. Я думаю, их

более интимные отношения начались как детские эксперименты и исследования — что обычно бывает между зрелой сестрой и ее младшим братом. По слухам, у них это зашло гораздо дальше. Он стал ее любовником и все еще был им — по крайней мере, до тех пор, пока ты не взял ее в жены. Говорят, не было таких штучек в самых низких притонах, каким бы она не учила его. Вот и все, что я слышал, мой царь. Ручаться за достоверность не могу.

— Этот Неко приехал с нею в Сузы?

— Да, но он заболел с прошлого новолуния, возможно, от ревности.

— Его выздоровление будет быстрым, я в этом не сомневаюсь. Благодарю тебя за откровенный разговор. Можешь идти.

Не откладывая разговора с Парисатидой в долгий ящик, я решил сразу же навеститься во дворец ее бабушки с отрядом своих телохранителей. Часть из них вошла со мной в парадные двери дворца, и когда я попросил, чтобы меня провели в покои для гостей, то расставил их в коридоре. Затем я вошел в роскошные палаты и послал за Парисатидой.

Она несколько замешкалась с приходом. Я представил себе, как нянька сообщает ей о моем вызове, как она поспешно одевается. Когда ее допустили ко мне, лицо ее пылало, и она тут же с совершенным изяществом распростерлась ниц. Поднявшись, она заговорила с полнейшим очарованием:

— Великолепный царь! Я получила твое письмо и не ожидала, что ты...

Тут она замолчала, пристально вглядываясь мне в лицо, на котором явно было уже не то выражение, что в начале дня, когда я уходил. С ее лица схлынул румянец, глаза расширились.

— Похоже, Парисатида, ты чем-то обеспокоена, — заметил я.

— Нет, мой царь. Если у меня такой вид, так это только от удивления — лучше сказать, от неожиданной радости, что ты вдруг вернулся.

— Я по делу, Парисатида. Пришел тебе сказать, что ты больше мне не жена и не царица. Это не навлечет на тебя общественного позора, так как поцелуй без свидетелей — единственный знак нашего брачного союза. Нас вместе видели только раз на улице, что вполне могло бы сойти

всего лишь за развлекательную прогулку: новый император проявляет должную учтивость по отношению к дочери великого царя.

Она помолчала, чтобы совладать со своей яростью и убрать все ее признаки, которые могли бы ее выдать. «В этом она имеет опыт», — подумал я. Наконец, она довольно спокойно полюбопытствовала:

— Должна ли я получить свой собственный дворец и свиту?

— Не от меня.

— Даже Александр, царь царей, не может так обращаться с последней дочерью царя из рода Ахеменидов. Все подчиненные цари этого древнего рода по всей твоей империи поднимут... поднимут...

— Против меня восстание? Не думаю, поскольку я правлю мечом.

— И все же это их возмутит, ведь в тайне тебе этого не удержать. Им будет нанесено непоправимое оскорбление. Они уже не будут оставаться такими верноподданными царю Александру. Их семьи были старинными и великими, когда царский дом Македона...

— Прошу тебя следить за своим языком, впрочем, не стану разбираться, к чему вела твоя речь. Я даже могу оказать тебе любезность — небольшую услугу, которая может тебя порадовать. У твоей няни-египтянки есть сын по имени Неко, он живет с вами. Если попросишь, я назначу его пажом в царском дворце.

Мне показалось, что она как бы уменьшилась в размере — наверное, оттого, что сделала полный выдох. Лицо ее утратило красоту, исказилось и побледнело от страха.

— Ну как, Парисатида, тебя бы это порадовало? — спросил я.

— Величественный царь, не мучай меня. Прошу тебя, смилуйся над своей самой ничтожной служанкой.

— Я мучаю тебя, всего лишь упомянув имя зеленого юнца, который на три года моложе тебя, и предложив допустить его ко мне во дворец? Впрочем, я теперь понимаю, что ты не рада этому предложению, и поэтому я беру его назад. Скоро я уеду в Экбатаны, а ты можешь объяснить своим родственникам и друзьям, что не смогла сойтись характером с македонским завоевателем из династии, мало чем примечательной до нашего века, и что мы расстались по взаимному согласию.

— Это великая милость от того, кто не славится своим милосердием, — проговорила она приглушенно-сдавленным голосом.

— Больше нет великого дома Ахеменидов, это только воспоминание. Времена меняются. Чтобы я больше не слышал о твоём верховенстве над Статирой, старшей дочерью моего великого врага. А вообще я советую тебе вернуться к своей кормилице-египтянке и ее сыночку и не принимать никакого дальнейшего участия в делах империи. Это тебе хорошо понятно? — Я мягко опустил руку на рукоять меча.

— Да, о величественный царь. — И она простерлась ниц на полу предо мной.

— Теперь разрешаю тебе уйти и ухожу сам.

## 8

Когда я вернулся в лагерь, я был совсем не в настроении шутить шутки со своими македонцами. Мой первый шаг был крайне либеральным: я уплатил все долги, которые наделали мои македонские солдаты любого звания, просто каждый должен был подойти к столам с деньгами, заявить ведающим раздачей, сколько он должен, и тут же получить деньги; не устраивалось никаких проверок того, правду он сказал или нет, ибо я принимал его честность как само собой разумеющееся, поскольку он служил у меня все эти годы и хранил верность. Но македонцы были так сердиты из-за того, что я не позволил им грабить Персию, а затем возвращаться на родину, грабя на всем пути, что не выказали никакой благодарности за щедрый денежный подарок и продолжали ворчать. А ведь я заплатил по долговым обязательствам без каких-то там нескольких сотен ни много ни мало десять тысяч талантов.

Затем я поручил Кратеру составить список десяти тысяч ветеранов, не годных к военной службе по старости или в связи с увечьями. С ними я собирался щедро расплатиться, после чего их ожидал долгий путь на родину. Я знал, что рядовых македонцев это приведет в ярость, они обвинят меня в том, что я выжал из них все силы и бросил, но ведь увольнение будет почетным: они будут освобождены от налогов и получают ряд других привиле-

гий, кроме того, это было военной необходимостью. Эти солдаты уже не могли сравниться с более молодыми, часть которых прибыла из Греции несколько лет спустя после того, как я переправился через Геллеспонт, или с отрядами молодых персов, бактрийцев, согдийцев, скифов и мидийцев, которые я включил в свою армию. Я еще не знал, какие мне предстоят походы, не решил, в каком порядке буду их совершать. Я зашел на восток так далеко, как позволяли мне мои обширные коммуникационные линии. Непосредственно к северу от моей империи простирались только степи и пустыни, где изредка встречались оазисы, плодородные долины и пастбища кочевников, не стоящие тех денег и сил, которые могли бы пойти на их завоевание. Зато весь юг, за исключением Египта, оставался в неприкосновенности, а к западу от Греции лежали не только незнакомые обширные царства готов и тевтонов, но и богатые города Италии, которые быстро вбирала в себя только что народившаяся энергичная Римская держава.

— Под чьей командой пойдут домой те десять тысяч ветеранов, которых ты намерен уволить из армии? — осведомился Кратер, и голос его был спокоен. — Впрочем, чего спрашивать — и так все ясно.

— Думаю, что ясно, мой старый и верный друг, — отвечал я ему.

— Что ж, я подчинялся твоим приказам десять лет, а то и больше — и тем приказам, которые я считал разумными, и тем, что мне казались неразумными. Привычка подчиняться въелась в меня так глубоко, что я даже не могу возражать против моей насильственной отставки. К тому же в этом есть смысл. Я один из твоих старших военачальников, я уже не молод, мне не хватает былой агрессивности, хотя сомневаюсь, что я стал слаб в своих суждениях; теперь настала пора заменить меня кем-нибудь помоложе, порасторопней; может, я уж больше не люблю грохот сражения и меня не привлекает даже слава победы, за которую приходится платить такой горькой ценой. Я сам прошу тебя об отставке, и пусть она вступит в силу в тот день, когда отпущенные на отдых солдаты вступят на македонскую землю.

— Я принимаю, Кратер, твою отставку, печалюсь и вместе с тем радуясь тому, что ты так долго прожил, так много видел, так хорошо воевал и в свои преклонные годы

заслужил мира и покоя, что ты будешь пользоваться в Греции известностью и почетом и честно заработанным состоянием.

Пока Кратер составлял списки, а другие военачальники реорганизовывали армию в соответствии с моими планами, я мечтал совершить еще одно путешествие с целью изучения неизвестных земель и заодно испытать пригодность моих новых судов к плаванию. Я переделал одну большую тетреру, с тем, чтобы у нас с Роксаной на ней было просторное, даже роскошное жилье и удобные койки для небольшого штата слуг. Каждый день я опасался, что получу от Роксаны еще одно письмо, в котором будет говориться, что она снова откладывает возвращение домой, но в почтовых сумках такового не оказалось, и прибыла она без всякого дальнейшего уведомления как раз в тот день, когда я ее и ожидал.

Тот день я провел во дворце за изучением карт и морских путей, изредка делая краткие перерывы и выходя на балкон, откуда хорошо был виден наружный портал. Ближе к заходу солнца я услышал крики каравана и, забыв о приличии, поспешил к главному входу во дворец. Я успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Роксана на своей белой лошади въезжает в ворота, а низкое солнце, должно быть, полюбило их обеих, ибо ее лошадь вся так и сияла мерцающей белизной, а волосы Роксаны, заплетенные, как и во время нашей первой встречи по дороге в Додону, в косы, мягко излучали светло-золотистый цвет.

Я собственноручно помог ей спешиться, при этом она вскинула брови и ее нежный рот изогнулся в улыбке. Очень скоро мы остались одни, выставив за дверь болтливую Ксанию. Роксана, как я и ожидал, начала с вопроса:

— Почему же ты не со своей новой женой? Я ведь говорила, что ты должен уделять ей постоянное внимание на протяжении полного лунного цикла. Хотя я подумала, что ты не решишься постоянно быть при ней, ты дашь ей день передышки.

— Некоторое время я считал, что у меня две новые жены: Статира и Парисатида,— но оказалось, что у меня нет ни одной, кроме моей прежней жены.

По внезапно изменившемуся выражению глаз я понял, что она испугалась, хотя больше ничто не говорило об этом — она умела скрывать свои чувства.

— Я не буду спрашивать, что случилось. Я только выскажу предположение, что бракосочетание Европы и Азии не прошло столь успешно, как ты ожидал.

— Для меня оно кончилось полной неудачей. А в целом, признаюсь, успех был не так уж велик.

— Я бы не нашла ничего плохого в том, что прекрасная Статира — твоя жена, а Парисатида... после смерти Дария она имеет сан княжны Персии. Но если ты сделал ее своей третьей женой, мне бы следовало либо убить ее, либо никогда не возвращаться к тебе. Я никогда ее не видела, но... мне она не нравится.

— Это, несомненно, предубеждение.

— Ты так говоришь, Александр, а выглядишь как будто пристыженным. Я очень редко видела тебя таким. Не сомневаюсь, что это тебе на пользу.

— Ты мне на пользу, Роксана.

— Ты нуждаешься в ком-то, кто был бы тебе полезен, кто любил бы тебя. На это способна не каждая женщина.

— Таис говорила мне, что ни одна женщина на это не способна.

— Она ошибалась. Разумеется, я влюбилась в тебя, когда мы оба были очень молоды, и я не смогла вылечить-ся от своего чувства.

Это была Роксана, которая, единственная среди людей, открыла мне свое сердце. Хотя, возможно, не совсем единственная, поскольку был еще Птолемей, которому повелитель Азии все еще приходился другом детства. Любовь ко мне Гефестиона была окаймлена сильным желанием, которого он стыдился, и это заставляло его скрываться от меня в других отношениях; его больше всего восхищала во мне та сторона моей натуры, которую Роксана считала самой предосудительной; однако он был верен мне до гроба. Роксана быстро стареет, сказала мне Парисатида, и за эти слова мне следовало бы придушить ее, но я не мог, так как попался на ее лесть, грубее которой мне еще не приходилось слышать, однако я слушал с жадностью, и еще потому, что я размяк от безрассудной плотской страсти к ней. Я надеялся, что Роксана никогда не узнает о постельных баталиях между Парисатидой и мной. Я не думал, что она узнает, ибо отныне куда бы ни пошла эта распутница, она будет следить за своим языком.

Роксана не только не старела, она вступила в долгий период полного расцвета красоты. С момента нашего



воссоединения в Бактрах она совсем не изменилась, да в сущности, и с тринадцатилетнего возраста в ней не произошло почти никаких перемен. Может, благодаря какому-то внутреннему росту она стала прекрасней, чем прежде. Глядя на ее лицо, я вспомнил изящную лепку ее тела, его белоснежную кожу, груди, унаследованные ею от скифских кочевниц, упругую талию и длинные и тонкие, но сильные ноги и руки.

— Ты не слишком устала от езды, чтобы возлечь со мной? — спросил я своим обычным властным тоном, но почти со смирением. — Она ведь была такой долгой.

— А ты не слишком устал, резвясь с Парисатидой, да простят тебя боги?

— Я оправился от этого безумия и телом, и душой.

— Что ж, я твоя жена. То, что ты предлагаешь, разрешается Заратустрой и не запрещается ни одним богом, у которого есть хоть крупица здравого смысла, хотя твоя богиня Артемида относится к этому с пренебрежением — с вершины своей собственной девственности, в которой я очень сомневаюсь.

— Роксана, это кошунство!

— Ничего, потерпит. Так ты хочешь или нет? Если да, то дай мне время помыться, ведь я вся пропылилась в дороге. Я быстро, обещаю.

— Я тоже приму ванну и тоже быстро.

Ожидание распалило меня так, что мне трудно было поверить, а осуществление желания, как всегда, явилось для меня блаженным сюрпризом. Затем я поведал ей о предполагаемом путешествии. «Ты хорошо едешь на четвероногой лошади, — похвалил я, — но скоро увидим, как ты поскачешь на деревянной лошадке с сотней деревянных ног и с хлопающим парусом. Не сомневаюсь, что тебя вывернет наизнанку».

— Рвота? Ерунда! Когда мне было семь лет, я верхом на козле поднималась на Скалистые горы.

Через несколько дней, изумительно счастливых, мы пустились в плавание вниз по Тигру в Персидский залив. Затем вдоль берега мы направились к устью Евфрата. Мы проплыли мимо деревень рыбаков, поклонявшихся богине Ашторет, которую иногда путали с Астартой, посредством чего им удавалось получать хорошие уловы; а также мимо поселков искателей жемчуга, которым лучше всего, по моему, было обращаться за помощью к Посейдону, богу

океана, и к морским нимфам, одной из которых была мать Ахилла, и к Протею, пастуху тюленей. Мной овладело странное сожаление, что я не ловец жемчуга, который погружается в морские глубины на шестьдесят футов или больше — так нам говорили,— задерживает дыхание на пять минут и чувствует себя как дома в этом странном подводном мире, в морских пещерах, где живут зеленоглазые русалки. Кто-то другой мог бы быть завоевателем Азии, проливающим реки крови, а я бы мирно плавал себе в соленом океане, гордясь силой своих рук и ног. Когда у меня возникало бы сильное желание испытать опасность, я бы вступал в поединки с большими осьминогами со множеством щупалец, которые убивали и пожирали моих товарищей — водолазов, или с крупными кривозубыми акулами.

На этом берегу Эол, бог легких ветров, не в силах или не желая поднять большой, губительный для судов ураган и оставив это дело моему отцу Зевсу, зародил на берегу ветер, который задул в сторону моря и устроил нам такую боковую и носовую качку на волнистых отмелях, что многих из экипажа скрутила морская болезнь. Роксана же сохраняла полнейшее равновесие, словно она ехала в горах верхом на козле.

Мы исследовали обширное устье Евфрата, в котором рыбаки и ловцы жемчуга знали каждое углубление и могли найти его самой темной ночью, и самым великолепным зрелищем были тучи водоплавающих птиц, насчитывающих миллионы, которые, если их вспугнуть, поднимали такой гвалт в небесах, что нам приходилось орать друг другу в ухо, чтобы перекрычать их пронзительные жалобно-возмущенные вопли.

Затем мы вернулись к Тигру и поднялись вверх по вяло текущей реке к новому лагерю моей армии, где начальником был Гефестион и где стояла на якоре главная сила моего флота.

— Александр, какая тебе нужда в этих сотнях военных судов? — удивилась Роксана.

— На всякий непредвиденный случай,— ответил я и быстро сменил тему.

Высадившись на берег, мы поселились в просторном павильоне, поставленном специально для нас, и я, повидавшись наедине со старым верным другом Гефестионом, узнал, что уже возник непредвиденный случай, правда,

несколько иного рода, чем я ожидал. Македонцы, услышав, что Кратер поведет домой десять тысяч уволенных из армии, увидев собственными глазами, что армия реорганизуется и что из азиатов формируются подразделения, которые до сих пор состояли только из греков, не на шутку обозлились. Назревал большой мятеж.



## Глава 10

### ПОЛЕТ ФУРИЙ

#### 1

Не много потребовалось времени, чтобы созреть мятежу. На следующий день после моего прибытия рядовые солдаты-македонцы все до одного освободились от учений, сославшись на недомогание, но вместо того чтобы играть эту роль и дальше и оставаться в палатках, они сбились в большие и малые группы, говоря о своих обидах и возбуждая все больше злобы друг в друге, подобно тому, как отдельные очаги жертвенного костра постепенно соединяются в одно огромное пламя. Когда я проезжал мимо них верхом со своими телохранителями, многие из них выкрикивали слова, в которых звучало недовольство и, хуже того, открытое неповиновение. Сквозь крики мне слышались глухие угрозы, словно ворчание в раскатах грома в ту ночь, когда мы готовились к переправе через вздувшуюся от паводка реку, чтобы ударить на Пору.

«Зевс-Амон!» — проорал кто-то с издевкой. — «Ты выжал из нас все соки и выбросил, как объедки», — взвился еще один голос и ему вторил другой: «А был великий царь!» Вот прорвался хриплый от ярости крик: «Давай, повоюй со своими трусливыми персами и увидишь, много ли ты завоюешь». Но больней всего меня задело обвинение: «Ты предал своих!»

Я понимал обоснованность некоторых жалоб и готов к ним был прислушаться с уважением, но я не мог потерпеть клевету или оскорбления в адрес моего происхождения и сана и у меня почти не оставалось надежды решить этот кризис без кровопролития. Да, совершенно верно, эти люди были вынуждены оставить в песках свои сбережения и добычу, награбленную за многие годы тяжелой войны. Если бы не мой безрассудно смелый и губительный поход через пустыню Гедросии, если бы вместо этого я повел их по более длинному, но легкому пути через Дрангиану, они бы могли вернуться домой богатыми. И верно было то, что я предпринял этот поход не ради какой-то военной цели, а чтобы только доказать свое превосходство над Киром; Таис в своей прямоте назвала его безумным выражением колоссального тщеславия. Будущее тех, кто возвращался в Грецию, оказалось под угрозой. После перехода через пустыню им пришлось обойтись совсем скудной добычей и, как и большинство солдат, они мало что отложили из жалований и премий. Обещанная мною доля казны из подвалов Суз, Вавилона и Персеполя пошла в основном на покрытие долгов; расходы по пути домой должны были съесть значительную часть оставшихся у них средств; то, что удалось бы сохранить, и несколько золотых дариков на каждого человека по прибытии в Македонию составило бы все их богатство, которого вряд ли хватило бы на покупку маленькой фермы, не говоря уж о большой, для разведения лошадей. Я и думать не мог о том, чтобы прибавить им еще и вместе с тем браться за осуществление своих планов дальнейших завоеваний.

Но недовольными в этой толпе были не только уволенные ветераны; македонцы, которых я намеревался оставить в армии, были не меньше возмущены, поскольку устали от войны и хотели, чтобы я возвращался с ними на родину, позволив им грабить встречные города и оставить за собой на пути победителей широкую полосу опустошений — в тысячи стадиев длиной. Один из этих смутьянов крикнул: «Если уж отправляешь домой одних, тогда и всех отправляй!» — и этот крик толкнул меня решиться на осуществление своих намерений.

Собственно говоря, я не испытывал в македонцах никакой реальной нужды. Моя родная Македония стала теперь всего лишь далеким полуварварским уголком моей огромной империи. Титул царя Македонии служил лишь не-

большой припиской к великому титулу императора Азии. Я располагал мощной армией, состоявшей из мидян и персов, парфян и бактрийцев, и были они вовсе не трусливыми, как выкрикнул один из бунтовщиков, а наоборот, храбрыми и неистовыми воинами; стоило их немного еще подучить, и это была бы поистине грозная армия. У меня был лучший флот в мире, а возможно, и величайший в истории. Испытания сражениями отсеяли тех моих военачальников и флотоводцев, кто был послабей, и хотя я знал, что мне будет не хватать трезвой головы и грубого, порой дерзкого языка Кратера, его все же было не сравнить с такими яркими фигурами, как Гефестион, Птолемей и Неарх, а несколько других были вполне им под стать. Поэтому, когда я приказал всем македонцам собраться перед трибуной, у меня было то же чувство удовлетворенности своим положением, что и тогда, когда предомной стояли войска Дария на Гранике и при Иссе.

Я не приказывал им строиться, боясь, что они не подчинятся, позволяя им оставаться гудящей, ворчащей, изрыгающей проклятия толпой. Может, это было и ошибкой; мое предчувствие кровопролития явно грозило оказаться правдой. Снова послышались наглые выкрики, теперь они звучали чаще и оскорбительней, и негоже было терпеть их Александру, сыну высочайшего из богов, императору Азии. Вzbешенный, я соскочил с трибуны и, сопровождаемый телохранителями, приказал схватить тринадцать человек из числа подстрекателей и тех, кто выкрикивал непростительные оскорбления. Я уж готов был отдать приказ обезглавить их тут же на месте, но меня вдруг осенила мысль о более подходящем наказании.

— Отобрать оружие у этих изменников, отвести их на реку, связать по рукам и ногам и бросить на дно.

Это изменение формы наказания служило сразу двум целям. Во-первых смерть утопленника страшила македонцев гораздо больше, чем смерть от меча, с которой они то и дело встречались в сражениях. Во-вторых, до сих пор я избегал кровопролития и был намерен, по возможности, поступать так и впредь. Те, кто услышал мой приказ, выглядели ошарашенными. Но, говоря по правде, я был потрясен не меньше схваченных, поскольку разглядел их каждого в лицо, когда их вели на смерть по дороге в мрачное подземелье Аида. Я хорошо знал почти всех, и не только как храбрых воинов, но и как просто людей со своими

чуждачествами, манерами и особенностями, ставшими предметом насмешек. Один из них учился со мной у Аристотеля, хотя и неважно; из четырех других, людей знатного происхождения, двое сражались в рядах моих великолепных гетайров, ходили со мной на прорыв развернутого строя врага на Гранике, при Иссе и Арбелах, а в последний раз — среди отрядов Пора в битве на берегу реки. Один дрался рядом со мной в крепости в Маллах и пытался отбить мечом жужжащую стрелу, которая затем вонзилась мне в грудь. Все они переправлялись со мной через Геллеспонт.

Вот сейчас они придут в себя, мелькнуло в голове, а у них мечи и число их так велико, что они могут смести моих телохранителей, захватить и убить меня. Я махнул рукой трубачам, стоящим за военачальниками на трибуне, и прозвучал сигнал остановиться. Больше в силу привычки, чем из намерения подчиниться, мятежники стали по стойке «смирно».

Я тут же снова вскочил на трибуну, и когда начал свою речь, меня никто не прерывал.

Сперва я говорил о Филиппе, называя его своим отцом, что несколько умиротворило людей, ибо почти никто из македонцев, за исключением Гефестиона, никогда не признавал меня за родного сына Зевса-Амона. Даже Птолемей никогда не говорил это в открытую. Но, называя Филиппа отцом, я ни в коем случае не отрекался от своего права считаться сыном бога, ибо царь Македонии действительно был моим приемным отцом. Я напомнил им о том, что он привел их к победам в Греции и в землях, примыкающих к ее границам, что сделал из них людей, имеющих право гордиться собой, тогда как до этого они были нищими пастухами, зависящими от милости варваров — горцев.

Затем я напомнил им, как повел их через Геллеспонт в империю старого врага Греции — огромной Персии. Пока мы шагали в победном марше на Восток, самые способные из них стали крупными военачальниками, предводителями фаланг и правителями богатых сатрапий. Во время долгих походов я делил с ними трудности лагерной жизни и ел ту же самую пищу, что и они; я всегда был с ними на переднем крае сражения; у меня на теле много следов от глубоких ран; я взял себе в жены восточную женщину только после того, как в трех великих битвах победил армии

Дария и завоевал Тир; только тогда надел я на себя персидский наряд царя Азии.

Я напомнил им, с какими торжественными церемониями я хоронил павших в бою из их числа, о том, как награждал их почестями и повышал в звании, а потом заплатил их долги, не задавая никаких вопросов. Я говорил о множестве захваченных после побед молодых женщин и девушек, которых я мог бы продать в рабство, но вместо этого отдал им для наслаждений. За исключением нескольких крайних случаев, они никогда не нуждались в хорошей пище и питье. С ними обращались как с людьми, а не как с вьючным скотом.

— Теперь же вы — не только ослабленные, но и здоровые — хотите меня оставить, — сказал я им с горьким упреком. — Поступайте как хотите. Идите в Македонию и расскажите, как вы ушли — после того, как я преодолел с вами Кавказ, Окс, Танаис и могучий Инд, через который до меня не мог переправиться ни один завоеватель, кроме бога Диониса, провел вас в неизвестные земли Аральского моря, за большие притоки Инда и даже на берег Гифасиса; под моим знаменем вы одолели бы и это препятствие, если бы не пали духом и не затосковали по дому. Расскажите им и то, как под моим руководством вы остались в живых в гибельных песках гедросов. Расскажите о вашем походе в дельту Инда, куда до вас проникло всего лишь несколько обитателей джунглей. И наконец, расскажите им, как, ступив на безопасную дорогу в Грецию, завоеванную и умиротворенную Александром и его армией, вы оставили его, его знамя, свои ряды и посты и превратились в толпу дезертиров. Заслужите ли вы этим рассказом почести перед богами, станете ли выше в глазах своих соотечественников? Тьфу! Ступайте!

Я повернулся, без всякого салюта сошел с трибуны и вернулся к себе в шатер, где меня ждала Роксана. Я попытался улыбнуться ей, но не смог, а когда направился в спальню, она не коснулась моей руки, чтобы остановить. Зашла Ксания и спросила, что бы я хотел на ужин, но я отрицательно покачал головой.

— Так не годится, царь Александр, ты должен поесть. Откуда у тебя возьмутся силы, если ты не будешь есть?

— Не могу, добрая Ксания. Так и скажи своей хозяйке. Единственно, что мне нужно, это уединение. Попроси ее позволить мне побыть в одиночестве.



Я бы мог попросить ее еще об одном желании: чтобы поскорей прошла ужасная боль в висках.

Весь следующий день я едва притронулся к моему любимому блюду после того, как Ксания поставила его на стол и быстро удалилась. На другой день, как и в предыдущий, я никого не принимал, хотя слегка поел; острая боль прошла, и, когда стемнело, я пригласил Роксану к себе в постель, и, хотя мы говорили мало, я нашел сладкое утешение в ее любящих руках и милом тепле ее тела. Утром третьего дня я вызвал к себе самых способных персидских военачальников, одного бактрийского, с превосходными воинскими достоинствами, двух умелых командиров от парфян и замечательного вождя согдийцев. Им и еще горстке македонских старших военачальников предстояло приступить к созданию армии, сплошь состоящей из азиатов, включая конницу гетайров и другие элитарные корпуса. Начальнику моих телохранителей я послал письмо с почетным увольнением и денежный подарок; я писал, что, к моему глубокому сожалению, не могу доверять большей части своей охраны, хотя и тех немногих, кому доверяю, должен уволить из-за дезертирства их собратьев-македонцев. И наконец, я отправил письмо Каллину, до сих пор надежному илиарху конницы гетайров, который не был зачинщиком мятежа, но и не выступил против него; я ставил его в известность, что он с остальными командирами меньшего ранга и всеми рядовыми македонцами должен покинуть лагерь, а иначе им придется взяться за оружие и выступить против меня.

Как я и предполагал, для мятежников это явилось сокрушительным ударом. Они вдруг задумались, их кровь превратилась в воду, и дерзкая непокорность покинула их; они примчались к моему шатру, одни встали на колени, другие бросились ничком на землю, взывая ко мне, чтобы я позволил им увидеть свое лицо, умолая меня о прощении и о том, чтобы я вновь принял их под свое знамя — ради любви богов и ради их доброй службы под моим началом до того, как они взбунтовались.

Я дал им немного повопить и попричитать, потом вышел из шатра и дружески поцеловал Каллина. Тут же все остальные бросились ко мне, пытаясь поцеловать или просто коснуться моих одежд и рук; видя, что я их не упрекаю, они зааплодировали, затем засмеялись, точно мальчишки, и пустились вокруг меня в дикий пляс, прыгая и крича

в безумной радости, а когда многие из них заплакали от счастья, заплакал и я сам. Видя это, они поняли, что прощены, и когда, наконец, я отпустил их, они вернулись к своим палаткам, распевая гимн в честь Аполлона, обычно звучащий только в дни вознесения благодарственных молебнов Далекому Стрелку\*. Он являлся идеалом и особым хранителем греческой мужественности и справедливым богом, всегда говорящим только правду и славящимся тем, что прощал мужчинам их преступления и не был мстительным, как великий Зевс, его сестра и жена Гера и мудрая, но неумолимая Афина Паллада.

И наверное, когда они пришли в лагерь, более образованные принесли жертву Артемиде, сестре-близнецу Аполлона, а близнецы эти родились у Леды после того, как ее соблазнил Зевс, принявший образ лебедя. Аполлон же страстно любил свою девственницу сестру, всегда принимал ее сторону и больше был склонен мстить за всякое неуважение к ней, чем к себе. Они хорошо помнили, как он вместе с нею пускал свои смертоносные стрелы, поражая насмерть многочисленных сынов и дочерей Ниобы, хваставшейся своим превосходством над Ледой, родившей только одного сына и одну дочь.

Так что даже великодушный Аполлон мстил самонадеянным смертным, и, по сути, в этом все боги видели и развлечения для себя, и свой долг.

Но иногда высшие боги быют по своим, а в чем тут причины, смертным умам понять невозможно. Обычно их жертвы прожили какое-то время на земле и родились у смертных женщин. Ярким примером этому был Геракл, сын Зевса и Алкмены. Геракл убил кентавра Несса стрелой, смоченной кровью Гидры — многоголового чудища, более ядовитого, чем индийская змея с капюшоном вокруг головы. Когда Несс умирал, он дал немного своей крови жене Геракла, сказав ей, что у нее есть свойства любовного амулета. Жена Геракла, испугавшись, что теряет благосклонность героя, пропитала этой кровью его одежду и дала ему надеть ее на свое могучее тело. И тут же от яда у него начались такие страшные муки, что он разложил большой погребальный костер и умер в его пламени.

И ведь ни один бог не предупредил его жену и его самого о том, что в рубаше — яд. Мне часто приходило в голову, что Зевс, знай он правду, так бы и поступил, и

оставалось только предполагать, что его великие мысли были заняты чем-то еще, или же он потерял голову от любви к какой-нибудь прекрасной нимфе или смертной. Помимо Зевса его могли бы спасти, предсказав правду, какой-нибудь провидец или сивилла. Еще один герой, жестоко сраженный судьбой, ради спасения которого Зевс и пальцем не пошевелил, это великий Ахилл. Из одного рассказа следует, что его мать Фетида окунула новорожденного в Стикс, которую мы зовем Рекой Печали, чтобы тело его, целиком смоченное водой, стало неуязвимым для оружия; но она держала его за пятку, и пятка осталась сухой. Во время Троянской войны он сперва потерял своего любимого друга Патрокла, и эта потеря чуть не разбила его сердце. После победы греков ему в пятку попала стрела малодушного любителя красть чужих жен Париса, и от этой раны он умер.

Ни одна богиня не явилась Фетиде и не предупредила ее, что Ахилла следует целиком окунуть в воду, чтобы полностью защитить его тело от ран. Хотя ранняя смерть Патрокла была предсказана никогда не ошибающимся оракулом в Дельфах, ни один бог не вмешался, чтобы спасти его и позволить ему остаться при своем великом друге в последний год его жизни. Порой я задумывался над этими событиями и ловил себя на мысли, что и мне неумолимой судьбой будет нанесен жестокий удар, несмотря на мое божественное происхождение.

В середине тридцать второго года о.А., в возрасте тридцати одного года, я вместе с Роксаной, телохранителями, царским двором и крупным отрядом отправился в Экбатаны, летнюю столицу персидских царей, думая, что, если сменю влажный климат Суз; мои частые и сильные головные боли ослабнут или пройдут совсем. Это путешествие не заняло много времени, хотя пришлось идти отрогами горы Загрос; там Роксана, казалось, снова стала сама собой, возможно, потому, что кедровые чащи, журчащие ручьи и часто встречающиеся фазаны с роскошным оперением напомнили ей Бактрию.

Я же был удручен: мне постоянно снились дурные сны, и я чувствовал, что мои ночные страхи могут предвещать недоброе. Я думал, что это, скорее всего, случится в пути, ибо дорога в горах была извилистой, случалось, там падали большие деревья, наш путь не раз преграждали оползни, вызванные сильными дождями, а по окрестным лесам

бродили свирепые львы. Так что когда мы в целости и сохранности прибыли в Экбатаны и мы с Роксаной и нашим двором устроились в летнем дворце, я решил подождать полнолуния и устроить празднество с играми и жертвоприношениями. А тем временем я заказал для Роксаны прекрасный паланкин, чтобы она могла ездить по горным дорогам с большим удобством.

Вот тогда-то я и вспомнил о партии сильно лоснящейся кожи, которой коссей заплатили мне дань: ее ведь отправили в Экбатаны, чтобы по возможности использовать в изготовлении седел и сапог. Я тут же послал за тем, кто отвечал за кожаные изделия. Он сообщил, что высококачественная конская кожа так и осталась неиспользованной, поскольку оказалась недостаточно гибкой, что ее хранят в небольшом каменном сооружении на территории лагеря. Я немедленно пошел вместе с ним, чтобы взглянуть на нее, ведь она находилась совсем рядом, в каких-нибудь ста шагах от штаба. Осмотрев материал, я решил, что он хорошо подойдет для крыши и частично для стенок паланкина между золотыми и серебряными распорками.

Строительство паланкина привлекло к себе мое любопытство. Я с трудом представлял себе, какой пользе он может послужить. Он напоминал собой небольшую тюрьму и с последней мог сравниться даже прочностью: на двери снаружи — железная решетка, точь-в-точь как в тюрьме, пол выложен каменными блоками, крыша как у подземной темницы, а в качестве окон — отдушины менее фута шириной. Ответственный за работу не мог удовлетворить мое любопытство.

Луна все прибывала, и после полудня, перед тем как ей взойти абсолютно круглым диском, я устроил праздник благодарения. Я не сомневался, что высоким богам понравятся принесенные им жертвы, что игры удались: диски бросались далеко, отлично выполнялись прыжки, наездники показали высшее искусство верховой езды, и в первых сумерках бег с факелами явился достойным завершением игр. Но еще лучше удался пир на открытом воздухе, гостями которого были мои старшие военачальники, правитель Экбатан и мои старые друзья чином пониже. Подсчет показал, что собрались почти все мои товарищи и союзники по старым временам в Пелле, которые еще были в живых.

Гефестион сидел справа от меня, Птолемей — слева. Мы говорили о старых временах, настроение у меня поднялось, и я не чувствовал никакой боли в висках. Но после нескольких чаш вина Гефестион пожаловался на боль в груди. Он, наверное, простудился, подумал я, это может вызвать воспаление и раздражение в легких. Еще одна чаша вина не принесла ему облегчения, и он, в конце концов, заявил, что в постели ему станет лучше, и попросил моего разрешения уйти.

Я разрешил, и он ушел после прощального тоста за меня. После этого мы разговаривали с Птолемеем. Это был один из редких случаев наших интимных бесед, и он горячо заговорил о Таис. Ему нельзя жениться на ней теперь, — сетовал он, — когда у него есть жена знатного происхождения, сестра Барсины Артакама, но ему хотелось бы дать ей статус наложницы. Он вспоминал храбрость Таис во время жестокого испытания в песках гедросов.

Прошло время, и я уж было решил послать человека, чтобы узнать, не стало ли Гефестиону лучше или сон для него высшее благо, как вдруг к моему столу торопливо подошел врач Главкий, умоляя меня немедленно пойти к постели моего старого друга.

— Ему хуже? — спросил я с замиранием сердца.

— Хуже, чем в первый раз, когда он послал за мной. Тогда мне не понравилось его состояние, хотя пульс был нормальный и жара не было. Царь, он выглядит очень плохо: бледное лицо, ввалившиеся глаза. Я смешал ему лекарство из части возбуждающего средства, части слабительного и части смягчающего для воспаленных легких. Возбуждающее средство на него не подействовало, и, похоже, он погружается в забытие. Я послал за твоим врачом, Филиппом Акарнанским, но он ушел на охоту и еще не вернулся.

Я вскочил, и мы оба пустились бегом: тут было недалеко, а требовать лошадей значило терять время. Я страшно жалел, что не пригласил Филиппа на пир, тогда бы он был под рукой, а Главкий был путаником, недостойным звания врача. Когда мы приближались к жилью Гефестиона, его слуга услышал наши шаги через открытую дверь и выбежал нам навстречу.

— Царь, боюсь, что ты опоздал, — пробормотал он, и в голосе его звучал страх.

— Что? Ты соображаешь, что говоришь?

— Можешь убедиться сам, о величественный царь. У него открыты глаза, но мне их вид не нравится. И еще... не заметно, чтобы он дышал...

Мы добежали до двери и ворвались в комнату. Мне достаточно было одного взгляда: слишком хорошо я знал, как выглядит мертвец. И тут я понял, к чему меня вело предчувствие непоправимой беды.

Я склонился над Гефестионом и приложил ухо к его губам, но не различил никакого дыхания. Прикоснувшись к его запястью, я не ощутил пульса. Я прижался головой к его груди, но не расслышал ни малейшего биения сердца. Утратившие блеск глаза уже сказали всю горькую правду.

Я схватился руками за голову: ужасная боль завладела висками и заскакала по лбу — стремительно, как искры, высекаемые крутящимся кремневым кругом из железного колеса. Из груди моей вырвался вопль отчаяния. Я увидел вбегающего Птолемея и одной лишь фразой попытался выразить всю неизмеримую печаль своей души: «Ахилл потерял своего Патрокла!» И упал, обессиленный, на безжизненное тело своего лучшего и самого верного друга.



## Глава 11

### ЦАРИЦА РОКСАНА

#### 1

Следующая глава этого повествования написана Элиабой, известным под именем Абрут, на греческом языке и моими собственными словами, не под диктовку моего господина, монарха Азии.

Сломленный горем, а позднее и немощью, Александр не мог и не хотел продолжать вести эти записи, но позволил мне ежедневно присутствовать при нем, кроме часов, когда он нуждался в уединении. И моя госпожа, царица Роксана, попросила меня вести и дальше запись его слов и действий — в общем, всего, что имело отношение к его жизни и деятельности — чтобы история располагала по возможности наиболее полным материалом о нем.

Она смогла дать мне краткое изложение событий, происшедших в часы моего отсутствия, которые я введу в сей рассказ в соответствующей последовательности. Впрочем, ей и не нужно было просить меня заниматься этим делом, которое входило в мои прямые обязанности. Но особая ее просьба заключалась в том, чтобы я вел эту летопись в стиле предшествующих глав, и, более того, предоставила мне право давать собственное обоснование мотивов некоторых его действий, мыслей и чувств, которые я способен был предугадывать, проведя много лет в обществе царя в

качестве его личного историка и зная его настолько хорошо, что меня обычно называют его тенью.

Царь почти без чувств упал на смертное ложе друга и, коленопреклоненный, лежал у него на груди поперек постели. Зная, что Гефестиону уже ничем не поможешь, врач Главкий перенес свою заботу на царя, делая попытки привести его в чувство. Царь не отзывался на свое имя, и тогда врач решил уложить его в удобное положение, чтобы голова находилась вровень с телом и приток к мозгу крови не был затруднен. Но когда Главкий попытался приподнять Александра, тот наполовину вышел из транса и, выражая свое неудовольствие, властно потряс головой. Без слов было ясно, что он в своем полусознательном состоянии желает остаться со своим мертвым другом, и чем ближе, тем лучше.

Главкий сделал еще несколько попыток, но с тем же результатом. Самое большее, что он смог сделать, это подложить подушки царю под колени, чтобы кости не так жестко упирались в пол. Царь часто стонал в том состоянии, которое можно было назвать трансоподобным сном, порой произносил неразборчивые слова, хотя один раз мы отчетливо услышали: «Гефестион, Гефестион!» Главкий не осмеливался вводить ему в рот возбуждающее средство, боясь, как бы он не задохнулся.

Наконец, он заплакал, почти неслышно, но видно было, как грудь его сотрясается от рыданий. Для всех присутствующих было мучительно видеть, как такой великий человек плачет во сне, но все, что мог сделать врач, это вытереть слезы, осторожно касаясь его лица. С течением ночи он все чаще пытался что-то сказать, и мы уловили слово «Пелла», немного погодя имя «Аристотель», а еще позже ясно прозвучавшее предложение: «О, это была славная атака!» Потом, пробормотав что-то неразборчивое, он отчетливо задал вопрос: «Почему ты умер, Гефестион?» Приступы слез участились. Время от времени он, очевидно, ощущал себя во сне Ахиллом, судя по тому, что обращался к умершему, называя его Патроком.

После полуночи в жилище Гефестиона вбежал вернувшийся с охоты в близлежащих холмах личный врач Александра Филипп из Акарнаны. Только мельком взглянув на мертвого, он сразу же положил руку на лоб Александра и сосчитал его пульс, глядя на маленькую минутную склянку, которую носил в своей поясной сумке. Александр все



еще не позволял положить себя в более удобное положение, несмотря на то что труп уже начал остывать, а хорошо известно, что холод мертвого человеческого тела — это не то что обычная прохлада и быстрее абсорбируется в жизненно важных органах тех, кто имеет дело с трупами: мумификаторов, бальзамирующих тела, саванщиков, — и может оказывать губительное действие, иногда со смертельным исходом. В Египте, например, профессиональная смертность среди тех, чье искусство состоит в сохранении тел и некоторого подобия внешности умерших царей и знаменитых персон, является намного выше, чем в среде людей, занимающихся любым другим искусством или ремеслом; кстати, это одна из причин, почему мумификация трупа стала такой дорогостоящей роскошью.

Филипп попросил одного из слуг Гефестиона расстелить на полу соломенный тюфяк и затем с помощью Птолемея, Главкия и других, находящихся в помещении, снял царя с тела его друга, причем царь не хотел оторваться от умершего, тряс головой и что-то бессвязно бормотал, но у него не было силы, чтобы противостоять решительности лекаря. Почувствовав, что его разлучили с телом друга, он окончательно потерял самообладание, плача, рыдая и стenea в своем разрывающем сердце безутешном горе. И все же его, наконец, уложили на тюфяк, и он сразу же погрузился в глубокий сон.

Ближе к рассвету он немного очнулся и, очевидно, узнал врача, так как посмотрел на него и спросил, как мог бы это сделать ребенок:

— А где Гефестион?

— Он лежит мертвым, царь Александр, на постели, которую ты видишь справа от себя.

— Мне снился сон, что он умер. Я надеялся, что это только сон.

И снова царь заснул, но уже не так глубоко; Филипп еще раз проверил его пульс и дыхание и успокоился. И все же временами он плакал во сне, и Главкию приходилось вытирать ему лицо; иногда он что-то невнятно произносил и раз даже сложил ладони и забормотал нечто такое, что мы приняли за молитву, в которой Александр просил Зевса позаботиться о том, чтобы тень Гефестиона не спускалась в Аид, за Реку Печали, а поднялась вверх в душистые поля Элизиума, обиталище героев. Уже давно взошло солнце, а он все еще не ел и не пил. Однако сознание быстро

возвращалось к нему; он вдруг попросил подать бритву, и это напугало Главкия, заподозрившего, что царь вознамерился перерезать себе горло. Не знаю точно почему, но я в этом усомнился, а Филипп и вовсе ничуть не встревожился, и по его распоряжению слуга принес бритву Гефестиона. Тогда царь потребовал зеркало. И вот, глядя в зеркало, которое перед ним держал слуга, Александр стал срезать курчавые пряди волос, свисавшие ему на лоб, и золотисто-рыжие кудри, выющиеся по его шее.

— Царь Александр, сегодня теплый день,— твердо сказал Филипп, собрав отстриженные локоны, чтобы сделать подарок своим друзьям.— Не сомневаюсь, что слуги Гефестиона кое-что припрятали для продажи на рынке, чтобы за один его волосок получить серебряную драхму, а за прядь — золотой дарик, или чтобы носить в талисмানে на счастье. Тело Гефестиона нужно отнести в лазарет и подготовить для погребения.

— Не сейчас,— возразил Александр.

— Немедленно, мой царь, иначе оно начнет разлагаться.

— Дай мне четверть часа.

— Четверть часа, но ни минутой больше.

— Тогда мне нужно кое о чем распорядиться.— Александр приподнялся на тюфяке.— Вызвать начальника моей стражи и четверых охранников.

Когда они вошли, лицо Александра горело — но не от жара, а от черной ярости, всем нам уже знакомой.

— Взять этого человека,— скомандовал он, указывая на Главкия.— Он получил свою должность обманным путем, выдавая себя за врача, тогда как на самом деле он просто вахляк и обманщик. Крепко свяжите его, а потом пригвоздите к дереву — пусть на нем попируют вороны.

— Царь Александр, по твоему собственному закону он имеет право на суд.

— Он его получит. Собственная совесть будет ему судьей, и пусть он задумается над тем, что его ждет. Заточите его в темницу на десять дней. Для этого вполне подойдет каменное строение недалеко от моего штаба, там есть хранилище для кожи. Дайте ему одеяло, чтобы не умер от холода — там каменный пол, снимите с него веревки и оставьте ему помойное ведро; потом крепко закройте дверь снаружи на железный засов и подавайте ему еду и воду через отдушины в стене. На десятый день в полдень, когда

хищные птицы несут свою стражу высоко в небесах, а лично сам посмотрю, как его будут казнить.

Главкий, пожилой седовласый человек, стоял бледный, дрожащий, с вытаращенными глазами, до тех пор, пока его не увела стража.

Мне его было жалко, но и царя тоже, ибо по его дико сверкающим глазам я догадался, что к нему снова вернулось его прежнее безумие. Впрочем, далее его речь звучала довольно разумно.

— Филипп, мудрый лекарь, если бы только ты, а не этот самозванец, лечил Гефестиона, ты бы спас ему жизнь. Он дал ему лекарство! Да небось этот идиот подсунул ему склянку с ядом!

— Нет ни только полной определенности, царь, но даже и вероятности того, что я мог бы его спасти. Он жаловался на боль в груди; кроме того, Главкий сказал мне, что у него не было жара, а это вполне может указывать на недостаточность работы сердца.

— У такого молодого?

— Он недавно вернулся после многих лет войны, и среди них были годы, проведенные в неблагоприятном климате. Это вполне могло отразиться на его сердце. А онемелость в членах перед самой смертью могла бы означать либо сбой в работе нервной системы, либо неполадки в кровообращении. Я очень прошу тебя, царь Александр, отменить жестокую казнь, которую ты назначил Главкию, потому что он сделал все, что мог.

— Он обманул моего главного хирурга, когда выдал себя за знающего врача. Впрочем, я никогда не пересматриваю своих решений.

Филипп отдал честь, круто повернулся и приказал слуге быстрее бежать в лазарет и передать дежурному, что нужно прислать носилки и носильщиков.

Когда носильщики прибыли и приготовились унести тело Гефестиона, царь велел им подождать. Он встал рядом с носилками и долго не сводил глаз с безжизненного лица своего товарища, говоря:

— Гефестион, если твоя душа где-то рядом и может слышать меня, слушай внимательно. Уж больше никогда не дашь ты мне доброго совета и одобрения тому, что я сделал, а ведь ты их давал; там, где другие не могли или не доросли до понимания и одобрения моих дел, ты видел их абсолютную необходимость. Ты был первый из маке-

донцев, кто приветствовал меня как сына Зевса-Амона. Я же первый из всех твоих старых друзей из Пеллы и товарищей по оружию, кто приветствует тебя как героя того же ранга, что и Патрокл с Гектором, уступающего только Ахиллу, и ты будешь погребен как герой, и в честь твоего героизма будут возведены памятники, и гробница твоя будет такой великолепной, каких еще не было у смертных людей, намного величественней, чем эта огромная груда камней — великая пирамида Рамзеса, и твоя гробница в славе своей переживет века. Такова моя клятва, которую я принимаю перед отцом своим Зевсом и перед всеми высшими богами. И пусть взлетят их фурии и опустятся на меня, если я не исполню своей клятвы.

Затем он странно, как ребенок, с полными слез глазами повернулся к Филиппу и жалобно проговорил:

— Филипп, ты не можешь составить лекарство для моей больной головы?

## 2

Церемония похорон Гефестиона проходила по всем воинским правилам. От большинства воинских похорон она отличалась явно только тем, что в ней приняли участие все вооруженные силы, стоявшие тогда в Экбатанах. В водонепроницаемом гробу, сделанном из прочного кипариса, его останки опустили в глубокую могилу, где им предстояло оставаться до тех пор, пока в Вавилоне для них не построят величественный мавзолей.

Погребение длилось четыре часа. Каждое подразделение в порядке старшинства, определяемого отчасти тем, как оно отличилось в сражениях, а отчасти традицией, промаршировало мимо могилы пешим или конным строем — конные, салютуя мечами, пешие — поворотом головы. На протяжении всей церемонии Александр неподвижно сидел на своем будто окаменевшем жеребце, лучшем из того, что он мог купить после смерти Букефала. Он не допустил ни одной ошибки, отдавал точные и четкие команды, которые передавались войскам трубачами.

Но, приглядевшись внимательно, можно было обнаружить одну странность. Хвосты и гривы лошадей были коротко подстрижены, то, что осталось от хвостов, было увязано в плотный пучок, а гривы превратились в щетины холки. Я-то знал, что он разослал приказ, обя-

зывавший обработать всех лошадей в империи точно таким же образом, ибо, по велению его расстроенного ума, и лошади должны были носить траур по Гефестиону.

Он также распорядился, чтобы хилиархия Гефестиона вечно звалась его именем, а не именем какого-нибудь следующего хилиарха. Строительство мавзолея по проекту царя было поручено Сасикрату, тому самому архитектору, который однажды предложил вырезать из целой горы Афон статую Александра, левая рука которого держала бы крупный город, а из правой выливалась река, далее стекающая вниз по одному из ее глубоких ущелий. К счастью, это предложение было сделано до того, как медленно прогрессирующее безумие затемнило царский рассудок, и он от него отказался.

Но грандиозность планов строительства мавзолея не знала границ. На него предстояло израсходовать десять тысяч талантов — общая стоимость строительства множества людных городов — и место ему было определено сразу же за стенами Вавилона. Над нижним этажом в тридцать комнат предполагалось построить еще пять этажей высотой в сорок футов каждый с постепенно сужающейся площадью каждого этажа и стенами с невиданными доселе украшениями. Первый этаж предполагалось украсить выступающими из его стен позолоченными носами кораблей — их в плане насчитывалось больше сотни — со стоящими на них фигурами вооруженных людей; второй этаж являл собой битву кентавров; третий изображал на своих стенах людей с факелами и позолоченных змей; четвертый — стены из индийских джунглей с множеством диких зверей; и пятый — буйволов и львов, с которыми были связаны религиозные верования Александра: быки символизировали персидского бога Митру, а львы — Зевса и самого Александра.

Над этими пятью этажами предполагалось вознести украшенный колоннами храм — на высоте двухсот футов над землей.

В Египте в честь Гефестиона намечалось соорудить два огромных мемориала: один в стенах Александрии, другой — снаружи. А средства на их строительство сатрап, согласно царскому наставлению, обязан был найти любыми доступными ему способами. На деле это, несомненно, означало, что он получил косвенный приказ разграбить все царство. Одновременно он отправил гонца в храм Амона с письмом, в котором спрашивал, разрешается ли ему поклоняться

Гефестиону как богу, или только как герою. Не было никаких быстрокрылых голубей, поэтому Александру пришлось, набравшись терпения, ждать.

В том же неистовом духе он приказал выстроить пирамиду, равную по достоинству пирамиде великого египетского фараона, над могилой Филиппа Македонского, отца Александра для тех, кто не верил в его божественное происхождение, и приемного отца — для верующих. Помимо этого он предложил возвести шесть храмов: в Диуме в Македонии, в Додоне, Афине Палладе на месте бывшей Трои, той же богине в ее любимом городе Кирене. Предполагалось возвести храм Аполлону в Дельфах, на том месте, где действовал его знаменитый оракул, и еще один на острове Делос, где, согласно легенде, он родился.

Однако на следующий день после похорон Гефестиона он задумал и другие планы, какие только могли прийти в голову умному и находившемуся в своем рассудке властелину Персии. В тот день, после полудня, он впервые с момента неожиданной смерти Гефестиона возвратился во дворец, где его, несомненно, в невыразимой тревоге ждала царица Роксана. Он казался совершенно спокойным, хорошо владел своим голосом, не жаловался на головную боль, и человек, не знавший его как следует, мог бы предположить, что произошло чудо и он излечился от своего умопомрачения. Но Птолемей и все его близкие и преданные друзья боялись, что это совсем не так. Их мнение разделял и я.

Он приветствовал Роксану поцелуем, и они, обнявшись, вошли в палату для аудиенций, отпустив сопровождающих их слуг, кроме меня, которого называли «тенью» царя Александра. Ни один из супругов не обращал на меня внимания: Роксана, я думаю, считала мое присутствие излишним, желая, чтобы в летописи о великом завоевателе было бы поменьше белых пятен, а он, по-моему, замечал меня не больше, чем собственную тень на поле, освещенном солнцем.

Она рассказала ему о стае диких уток, севших на садовый пруд, о поздно распустившихся цветах, которые он непременно должен посмотреть, и о том, как Ксания потеряла передний зуб, отчего в ее улыбке появилось что-то от домового. Он упомянул о еще не разработанном плане исследования берегов Каспийского моря с целью установить раз и навсегда, связано ли оно с Океанским

морем. Был такой момент, когда он долго молчал с выражением глубокой озабоченности на лице, затем неожиданно вымолвил:

— Ужасно подумать, что он лежит в холодной земле.

— Да ведь не счесть людей, которые до него легли в холодную землю, — возразила царица.

— Среди них не было друга Александра.

— Может, не было лучшего его друга. Но среди них были солдаты, служившие под твоим знаменем. Они помогли тебе завоевать величайшую империю на земле.

— С этим я согласен. Много их поумирало, моих старых и верных соратников.

— Придет день, и я лягу в холодную землю. Но только в ней я и хочу лежать.

— Покуда я жив, я этого не допущу. Когда придет такой день, я построю тебе величественный мавзолей.

— Не думай об этом, Александр. Мне он будет не нужен. Что в нем сохранится, кроме жалкого праха, бывшего когда-то человеком? Земля — вполне подходящее место для этой пустой ракушки. Я люблю землю, которую пахут крестьяне, волов, которые тянут плуги, крестьянок, которые бросают семя и помогают собирать урожай. Если мы не мертворожденные, каким оказался мой ребенок, мы в свою очередь ходим по этой земле, а затем приходит черед других людей.

— Надо полагать, ты бы не одобрила строительство великолепного, вечного мавзолея, который я намерен воздвигнуть в Вавилоне в память Гефестиона?

— Я об этом не слыхала.

— Очень скоро услышишь. О нем узнает весь мир и толпами сбежится, чтобы посмотреть на это чудо из чудес.

— Чудо из чудес, сотворенное человеческими руками. И все же оно не будет чудесней матери, дающей грудь своему ребенку. Люди склонны не замечать великие чудеса мира, потому что они совсем рядом и такие вроде бы обыкновенные. Но послушай, Александр, ведь как бы ни возвышались богини этого мавзолея, сколь ни были бы замечательны украшенные колоннами его залы и галереи, прекрасными и дорогостоящими его украшения, он не простоят вечно. Даже горы не вечны. Они разрушаются от времени и, наверное, образуются новые.

— Может, и не вечно. Не надо понимать это буквально. Вспоминаю, как один старый индус — забыл его

имя — который сам себе разложил погребальный костер и сгорел на нем, говорил: «Когда Брахма перестает видеть сон, земля и небо исчезают». Я хотел сказать, что мавзолей Гефестиона простоят столько времени, сколько люди будут ходить по земле.

— Тогда уж поистине он должен быть построен из несокрушимого камня, а мне такой неизвестен.

— Если ты думаешь, что этот мемориал обратится в пыль, я воздвигну ему памятник другого рода. Он простоит всего лишь несколько часов и от него останется только пепел, но в людской памяти он будет жить вечно.

В ее лицо прокралось странное беспокойство, возможно, лучше сказать — выражение ужаса, мне-то известное как нельзя лучше, но которого не видел погруженный в свои грезы Александр. Тем не менее голос ее звучал спокойно.

— Что же за памятник ты задумал, Александр?

— Жертвенный костер, каких еще не видывал мир. Его разложат посреди нашего учебного поля: двадцать футов в высоту, сто в ширину и несколько сот футов в длину. На этот огненный алтарь мы положим тысячу рабов, связанных по рукам и ногам. Его пламя взметнется почти до небес, и рев его будет таким громким, что заглушит их вопли. Я принесу эти жертвы не только Зевсу, но и всем богам. — Голос Александра осип, задергалась губа, сверкнули глаза под золотистыми бровями.

Лицо Роксаны побледнело, но немного погодя она заговорила ясно и вполне убежденно.

— Если ты это сделаешь, Александр, совершишь это ужасное зверство, то, клянусь Заратустрой, я уйду от тебя навсегда.

— Мне ли, Александру, переживать, что ты уйдешь от меня?!

— Но ты не должен забывать, что я — Роксана, с которой ты пятнадцать лет назад обменялся клятвой в Додоне.

— Я возьму к себе Статиру. И верну Парисатиду, которая понимает, что я должен богам, что я должен своему другу и что должен я Александру Великому. Она не будет придирается к незначительной потере человеческой жизни, так быстро восстанавливаемой вечно жаждущими чреслами мужчин и вечно голодными чревами женщин. Я люблю тебя, Роксана, но если ты желаешь уйти от меня, уходи.



— Ты кое-что забываешь, Александр.

— И что же я забыл?

— Ты любишь меня так же сильно, как можешь любить всякую женщину, но при этом забываешь, что и я люблю тебя. Какая еще женщина дарила тебя в жизни своей любовью, если не считать Олимпиады, которая тебя родила, и кормилицы Ланис, чью грудь ты сосал? И найдется ли такая в будущем?

С искаженным лицом Александр смотрел на нее. Мне стало страшно: казалось, он сейчас вытащит меч и убьет Роксану, и кровь ее зальет пол, и будет она лежать мертвая, и тогда я попытаюсь убить Александра единственным своим оружием — кончиком пера. Но вот оскаленные зубы медленно скрылись за дрожащими губами, зеленоватый блеск голубых глаз потихоньку растаял, и лицо обрело спокойствие. Затем, немного подождав, он ответил одним только словом:

— Нет.

— Больше не будем об этом. Лучше позволь мне сказать, как ты можешь почтить память Гефестиона в тысячу раз сильнее, чем массовым уничтожением людей, и неважно, в каком количестве. Гефестион был тебе в Македонии другом детства. Устрой в его память македонский пир, пригласи всех, кто переправился с тобой через Геллеспонт, когда ты только начал поход на восток. Сколько бы их набралось? Тысяч пять?

— Не больше трех.

— Устрой пир прямо под небом — ты ведь рассказывал мне, как пируют в Македонии. Ночи еще довольно теплые; через две ночи на западе народится новая луна, тоненький серебряный месяц, но, если ты разложишь достаточно сторожевых костров, лунный свет тебе не понадобится. Поле перед штабом для этого подойдет?

— Что ж, оно, пожалуй, достаточно велико для трех тысяч моих ветеранов, если каждый будет с любимой, будь то жена, наложница или рабыня. Но каким образом я почту этим память Гефестиона?

— Сейчас я расскажу тебе как. Этот пир покажет также твоим солдатам, которым ты обязан больше всего, что ты их чтишь и уважаешь. Не так давно они взбунтовались. Твоя гордость была задета, и ты приказал им убираться из лагеря, а иначе им придется поднять оружие против тебя. Но ведь именно их гордость не выдержала напряжения и

сломалась. С каким смирением они выпрашивали твоего прощения. Да, ты дал им то, что они просили, но разве ты не можешь дать им что-нибудь еще, например, хорошую пирушку только для них одних, на которую не пускают опоздавших? Ты раскинь столы под открытым небом, еду они будут есть руками, и пусть у каждого будет своя чаша из дерева или серебра, которую в походе он носит в заплечном мешке. Когда пир будет в разгаре, ты можешь совершить один обряд, о котором мне в детстве рассказывал мой дядя, великий маг Шаламарес.

— Отлично задумано, Роксана. Только я не понимаю...

— Ты поднимешься, и твои трубачи проиграют команду, чтобы все умолкли, и каждый наполнит свою чашу вином. Ты предложишь тост за душу Гефестиона в Элизиуме, жилище героев.

— Я не знал, что последователи Зороастра верят в Элизиум.

— Верят, но не все; только высшие жрецы и другие посвященные знают о нем, ибо это знание дается только тогда, когда верующий обретает мудрость. Цель состоит в том, что они обретают мудрость без всякой надежды за это на какую-либо награду, кроме самой мудрости. Таким путем они ищут правду, а не просто нечто правдоподобное, во что бы им захотелось верить. Но не только именно мудрый обретает Элизиум; туда попадают и другие за свои геройские дела на земле, во что так давно уже верят греки, и эта вера истинна. Потом, когда все осушат свои чаши и ты вместе с ними, ты прокричишь вопрос. Но я не должна говорить тебе, что это за вопрос, если ты не веришь в посланные знамения.

У Роксаны, когда она ждала ответа Александра, глаза казались еще более раскосыми, чем обычно, и к тому же они лучились.

— Я вовсе не олух, Роксана, хотя и родился в Македонии,— наконец заговорил Александр.— Какой образованный человек не знает мудрости магов? Я поверю в знамение.

— Тогда, Александр, ты прокричишь: «Гефестион! Твоя душа, она там, в душистых полях Элизиума?» Если ее там нет — а бывает, что и для героев это трудный путь, с того берега Реки Печали до благословенного острова, хотя даже Шаламарес не уверен, что это остров: однажды ему придалась зеленая долина среди красивых гор, над которой

вита́л аромат асфоделей, где в мягкой т́раве извивалось много ручьев, где были пруды для купания, где дни и ночи были нежаркими и успокаивали своим ароматом, где иногда танцевали Грации, когда бы ни призывали их к себе,— так вот, если душа Гефестиона действительно там, то будет дано знамение.

— А что за знамение?

— Иногда это большой метеор, иногда звук, напоминающий отдаленный бой барабана. Но чаще всего это пронзительный свист совы из ближнего леса, поскольку сова — это птица, посвященная Афине Палладе, птица Мудрости.

Лицо Александра просветлело, он заговорил звенящим голосом, так хорошо мне когда-то знакомым, но который я так редко слышал в последнее время.

— Я устрою этот пир, Роксана. Я произнесу тост и задам этот вопрос. Ты будешь моей подругой, Птолемей может привести Таис, ведь Артакама только появилась, а Таис уже давно с нами. Неарх может привести свою новую жену — персиянку, которой он так гордится. Может, отдашь распоряжения моему главному интенданту насчет того, где и сколько поставить столов и какой их уставить едой?

— С превеликим удовольствием, Александр. Я также позабочусь о вине. А пока, умоляю тебя, старайся сохранять мир в душе. Я знаю, у тебя горе, и все же я уверена, что знамение будет благоприятным, и ты убедишься, что боги признали его героизм и его душа вознеслась на эти душистые поля. Я чувствую это всем своим сердцем.

### 3

Пиршество должно было состояться в ночь рождения новой луны, считающейся временем добрых предзнаменований в Греции, Персии и Египте. Как ни странно, но в древней летописи иудеев мало упоминаний о новой луне или о луне в любой стадии; можно было бы подумать, что в те времена это небесное светило не освещало земли Палестины. В других упомянутых мной странах рождение новой луны знаменовало начало времени сева как осенью, так и весной, ибо считалось, что с ростом луны растут и семена. Зато с новой луной нельзя было начинать никаких земляных работ, иначе стенки выкопанной в земле ямы обрушатся; а вот для посадки виноградной лозы

и посева дынь, а также всех культур, дающих сферические плоды, это время считалось благоприятным. Дети, рожденные в новолуние, имели склонность к избыточной полноте как в детстве, так и в зрелом возрасте.

Путешествие, предпринятое в новолуние, имело шансы на успех, но неблагоприятно было отправляться в путь, когда луна начинала идти на убыль.

Хотя в области Экбатан стоял сухой сезон, царица Роксана наблюдала за погодой с плохо скрытым беспокойством и в то утро, что предшествовало пиру, сердито провожала глазами каждое проплывающее облако. Погруженный в мрачные размышления, царь Александр обращал на облака внимания не больше, чем на нее, и только тогда вернулся к действительности, когда на северных небесах выросла тяжелая темная туча и Роксана нечаянно воскликнула: «Ой, неужели будет дождь!»

— А что, если и будет? — отвечал царь. — Попируем не хуже и в полнолуние.

— Верно, Александр, — быстро согласилась Роксана.

Так случилось, что ей на радость чуть позднее поднялся юго-западный ветер, сухой, дующий из пустынь южной Мидии и, насколько мне известно, из обширных безводных песков района Табикан. Облачная гряда на севере исчезла бог знает куда.

— Должно быть, боги тебя любят, Роксана, — улыбнулся ей Александр. — Как ты думаешь, любят потому, что ты жена Александра, или только ради тебя самой?

Итак, расставили столы, правда, не на учебном поле, а на месте, выбранном Роксаной — на бывшем пастбище. Она объяснила, что там гости смогут сидеть на траве, а не на пыльной земле. Его местоположение было удобно для всех: напротив штаба Александра, примерно в центре лагерной территории. На протяжении всего утра наряды солдат таскали эти столы из городских домов, помечая их мелом снизу, чтобы потом вернуть владельцам; и еще около сотни сбили из досок наши плотники. В целом их было триста, один на десять человек с их подругами. Забили целое стадо скота, и мясо его запекалось в ямах; множество ошипанной птицы висело над длинными мангалами с угольями для медленного поджаривания. Буханок хлеба было не счесть, а вдобавок к этим основным продуктам питания к столам подавались блюда с копченой рыбой и огромное количество фруктов: сушеные финики и инжир,

яблоки, которых в это время года было в изобилии. Попадались и орехи, которые греки называли фисташками, а также целые возы миндаля.

Все это изобилие должно было появиться на столах только после произнесения тоста за душу Гефестиона. Но у солдат не было бы причины жаловаться, так как початые уже бочонки вина, без втулок, стояли наготове — только подставляй чаши.

Сбор гостей намечался на один час после захода солнца. Вот уж опустился вечер, но более двухсот костров изгнали его тени с пиршественной площадки. Этого количества было более чем достаточно для освещения пяти акров поля, а чтобы постоянно поддерживать их яркое горение, к ним приставили множество рабов. Солдаты явились в лучшем одеянии, вымыв ноги и лица и приведя в порядок волосы, а их подруги, заслышав, что на торжестве будет царица, надели свои праздничные наряды; все это прекрасное созвездие красоток в основном состояло из персиянок, парфиянок и мидянок.

Воины с подругами приходили в приподнятом настроении, гордые собой, ведь их присутствие здесь говорило о том, что они не новички, что они еще в старой гвардии Александра переправлялись с ним через Геллеспонт и что именно они, ветераны, покрытые шрамами, знают толк в истинной дружбе, когда долгие годы делишь с товарищами радость и горе походной жизни. Мужчины поспорили, что младший военачальник, грек Пелий, не сможет найти подругу, которая сопровождала бы его на пир. Тому действительно не везло в делах с противоположным полом, и никто не знал почему. Возможно, тут играла роль его крайняя невзрачность: он был чрезмерно высок и костляв, с вытянутым унылым лицом и длинным носом; он всегда отказывался взять себе ту или иную пленницу, если видел, что не нравится ей, и, по его словам, предпочитал оставаться холостяком, нежели силой навязываться нежелающей его женщине. В результате так оно в общем и было — вплоть до этого вечера, когда он вдруг гордо появился в паре с одной из самых красивых девушек во всей этой компании.

Если час спустя после заката солнца новая луна и стояла над горизонтом в виде крошечного серебряного рога, то все равно ее никто не видел, так как она была скрыта от глаз ярким светом костров. Зато взоры гостей привлек расположившийся на специально выстроенной площадке

мощнейший из виденных или когда-либо игравший на воинских пирушках оркестр. В него входили, как обычно, лютни и флейты — их было около двадцати — и примерно то же количество духовых инструментов, но не таких, как рожок. Некоторые являлись разновидностью рожка, но только с более богатым звучанием, а некоторые напоминали флейту, с той только разницей, что при игре дуть приходилось в мундштук, а не в дыру. Был там еще никем из нас до той поры не виданный ударный инструмент, представлявший собой ряд небольших металлических пластин, по которым ударяют маленькими молоточками; говорили, что это изобретение за пределами Экбатан никому не известно. И наконец, ко всем прочим музыкантам оркестра следует еще добавить десять барабанщиков с барабанами разного размера и резонанса.

Когда царь с царицей вышли из своего жилища, при-  
мыкающего к штабу, оркестр грянул «Привет, Македония» — мелодию, которую можно было бы назвать национальным гимном этой страны, настолько она была воодушевленной и ликующей. Ветераны тут же подхватили ее.

Вот приблизительный перевод первого куплета и припева:

Привет, Македония, северный край,  
Сынов твоих к славе ведет Архелай\*.  
Завидев лицо его, меч и коня,  
Бегут от нас варвары, как от огня.  
Грозой он и градом идет на врага,  
Здесь наши равнины, здесь наши луга.  
Замолкнул противник, поверженный в прах,  
Лишь плач не смолкает на вдовьих губах.  
Привет, Македония, мать-земля,  
Мы славим победу, добычу деля  
И дев белокурых для сладкой любви.  
О, Зевс, наше воинство благослови.  
Привет македонским парящим орлам!  
Царю ее слава! И слава богам!

В конце песни все солдаты подняли мечи, отдавая воинскую честь Александру Великому.

Затем все собравшиеся приступили к кутежу. Воины пили за своих спутниц, потом друг за друга. Не было еще ни танцев на площадке, ни непристойного поведения — из уважения к присутствующей царице. Эти македонцы, вскормленные вином вместе с молоком матери, славились как самые крепкие винохлебы во всей Греции и знамени-

тые пьяницы и, как известно, могли выпить залпом два хуса неразбавленного вина; ходит даже легенда, что один чемпион заглотал сразу треххусовую чашу, правда, на следующий день скончался. С самого начала поднялся сильный шум, который теперь переходил в грохот.

Единственные четыре стула, которые были на поле, стояли прямо напротив царского штаба. Здесь же стоял покрытый скатертью стол с персидской лампой из серебра, и за ним сидели царь, царица Роксана, Птолемей и его прекрасная наложница Таис. На расстоянии десяти шагов позади стола и по его бокам было расставлено шестеро телохранителей, а за спиной Роксаны стояла Ксания. Я находился непосредственно за Александром, но ближайший от нас костер с пирующими рядом бражниками находился примерно в сорока шагах. Разумеется, по всей территории лагеря ходили часовые, а у двери небольшого каменного строения, где сидел взаперти врач Главкий, торчал еще один — видимо, больше для проформы, чем в силу необходимости, поскольку надежней тюрьмы я еще не видел. Часовой с тоской смотрел на пирующих и жалел, что не может к ним присоединиться. Одна персиянка принесла ему графин вина, и, поскольку это происходило за спиной у Александра, он осушил графин в один прием, вернул сосуд девушке и бодро зашагал назад и вперед.

Птолемей принялся описывать то, что солдаты называли их «храмом», — большую палатку, расположенную параллельно штабу, в сотне шагов от него. В ней находились изображения двенадцати Олимпийских богов. Птолемей сообщил, что к ним недавно прибавилось еще одно — фигура быка, вырезанная из дерева и сплошь покрытая золотыми пластинами. Это было изображение Митры, в котором царь видел одно из проявлений Зевса.

— А не дело ли это рук Диамена, который вырезал из слоновой кости мой бюст? — поинтересовалась Роксана. — Ты тогда им восхищался.

— Да, Диамена.

— Царь Александр, мне бы хотелось увидеть этого золотого быка, и, если рука Диамена все так же тверда и искусна, как прежде, мне бы хотелось заказать ему копию того бюста — в качестве подарка ко дню рождения.

— Проводи ее туда, Птолемей, — приказал Александр. — Роксана, у тебя есть фимиам, чтобы бросить на жертвенный огонь?

— У Ксании золотая коробочка для фимиама, твой подарок. Она держит ее у себя в сумочке, вместе с моей косметикой и духами. Нужная вещь для придорожных святилищ. Она проводит меня вместе с Птолемеем. Нам не придется проходить мимо гуляющих.

Они втроем зашагали в сторону «храма». Царь сидел, обхватив подбородок ладонью, и задумчиво смотрел на Таис. Она чуть улыбнулась ему и снова сосредоточила внимание на оркестре, заигравшем буйный скифский танец.

— Прошло уже двенадцать лет, Таис, с тех пор, как мы встретились с тобой в Афинах,— заметил царь.

— А ведь и не подумаешь. Ты был тогда царевичем, а я училась в школе госпожи Леты.

— Ты почти нисколько не изменилась. Казалось бы, такое хрупкое тельце, а в Гедросии в нем проявилось столько силы.

— Умоляю тебя, царь Александр, не надо вспоминать этот ужас. Когда мы с тобой познакомились — как раз после твоего знаменитого удара по фиванцам при Херонее, — ты был простым предводителем конницы гетайров, а не властелином Азии. В тот вечер я предсказала, что тебя ждут большие дела. Какая недооценка!

— Ты предсказала кое-что еще, но в этом ты ошиблась.

— Помню. Я говорила, что ни одна женщина не сможет тебя полюбить — ведь даже тогда ты был слишком властный. Но я была не права.

— Уже тогда меня любила одна девушка. Видишь ли, мы с Роксаной встретились еще раньше, в Додоне.

— И это я знаю. До нашего отъезда из Суз княжна Парисатида рассказала об этом не одному человеку. Говорила, что ты ей не запрещал.

— Это правда.

— Она говорила, что именно по этой причине вы так скоро расстались — ты слишком сильно любил Роксану, любил все свои зрелые годы и уже не мог бы найти супружеского счастья ни с одной другой женщиной.

— С тобою, Таис, я был счастлив. Хотя это счастье и не было в полном смысле супружеским, зато оно было очень реальным.

— С тобою, царь, я тоже была счастлива — в полной мере. Однако мы правильно сделали, что расстались, уж позволь мне это сказать.



— Разве я когда-нибудь запрещал говорить то, что просилось тебе на язык? Так будет и впредь.

— Это огромная уступка, о величественный царь!

— Каковы твои дальнейшие планы, если не секрет?

— Останусь с Птолемеем, пока я ему нужна. Я говорила тебе — он большой человек, хотя и не гений. Я была его любовницей, теперь я его наложница. Если ты когда-нибудь назначишь его подчиненным тебе царем, хотя бы над пастбищем для овец, тогда, я думаю, он сделает меня своей морганатической женой. Я уже пережила свою раннюю мечту со многими поделиться своей красотой — возможно, это был только предлог дать волю своей природной эротичности. Надеюсь, я смогу родить Птолемею ребенка. Никогда не думала, что захочу родить какому-нибудь мужчине, но я ошибалась.

— Таис! Я хочу задать тебе вопрос, на который ты можешь ответить, не страшись. Ты по-прежнему не веришь, что я родной сын Зевса?

— Царь, ты ставишь меня в неловкое положение.

— Это и есть ответ на мой вопрос. Разве это не замечательно, что две самые близкие в моей зрелой жизни женщины не верят в это? Или хотя бы то, что они открыто заявляют о своем неверии, чего никто больше не осмеливается делать.

— Вторая из них, может быть, и чудо. Первая же нет. Мы были теми двумя женщинами, которые любили тебя сильнее всех, не считая царицы Олимпиады. Ты должен понимать, что ни одна женщина не способна любить живого бога. Она может поклоняться ему, но ей желательно, чтобы ее бог был невидимым, без свойственной людям хрупкости, чтобы он пребывал где-то вдалеке, а не в ее постели. Женской натуре желательно видеть на супружеском ложе мужчину, к которому она может испытывать сострадание. Женская любовь — это всегда сострадание, по крайней мере, наполовину.

— Это задача для философов.

В этот момент в далеко простирающемся свете костров появились фигуры приближающихся к ним царицы Роксаны, Птолемея и за ними — Ксании. Когда они оказались в свете лампы, Птолемей опустил на одно колено. Александр встал и спросил:

— Ну и как тебе эта новая статуя?

— Этот бык просто чудо! — отвечала Роксана. — Он кажется квадратным — короче, самый убедительный образ из всех, которые мне доводилось видеть в современной скульптуре.

— Роксана, а не пора ли трубить горнистам, чтобы все замолчали, и провозгласить тост за душу моего друга?

— Да, пора. Твои гости уже проголодались, они ждут ужина.

Александр просигналил четверым горнистам, стоящим сразу за телохранителями. Они выступили на двенадцать шагов вперед, вскинули медные трубы и проиграли команду «вольно». Чистые высокие ноты прошли сквозь шум, поднятый пирующими, как брошенные дротики проходят сквозь пыль, поднятую сражающимися. Все поле объяло какое-то неестественное напряженное молчание. Сидящие на земле тут же встали и повернулись лицом к царю, рядом с которым стояла царица Роксана, а позади — главный военачальник Птолемей и Таис.

Александр был одарен голосом с удивительным тембром, над которым он имел полную власть. В его спокойных интонациях всегда чувствовалась сила. Когда ему было желательно, он, без малейшего напряжения, мог заставить голос звучать на невероятно далекое расстояние. Я не сомневался, что на поле площадью в пять акров его отчетливо слышали все.

— Воины и гости! — заговорил он. — Этот праздник — в честь всех тех, еще живых ветеранов, которые переправились через Геллеспонт со своим царем десять лет назад, а также на радость жен и подруг, которых вы привели с собой. Наше братство никогда не угаснет. Дела его останутся жить в истории. И особую честь мы воздаем этим праздником вашему великому военачальнику и моему прекрасному другу Гефестиону, который недавно ушел от нас. Возможно, его душа сошла в молчаливые, сумрачные и унылые чертоги Аида. Но вы-то помните, как он водил вас в сражения. Вы не забудете, что он всегда был одним из первых в бою. Для меня он герой, и я верю, что и высокие боги относятся к нему так же; а потому, может быть, его душа скрылась в Элизиуме, вечном месте упокоения героев, и возлежит он там вместе с другими героями, ушедшими туда до него, такими как Агамемнон, Одиссей, Патрокл, укротитель лошадей Гектор, Филипп Македонский и множество других героев

нашей любимой Греции, хоть я и не назову величайшего из всех, Ахилла, ибо ходит молва, что он остался в Аиде с простыми умершими, оттого, что горько сокрушался над тем, каким образом его настигла смерть. В Элизиуме есть также герои из других стран, на которые простирается власть наших богов — на земле они были врагами Греции: это Кир, Ксеркс, Рустам, Бахрад и великое множество других, ушедших туда в прошлые века. Теперь, когда я подниму свою чашу, поднимите и вы свои, и выпьем мы за душу Гефестиона, но, когда вы опустите свои опорожненные чаши, не надо никаких криков, ибо сразу же, как мы выпьем, я обращусь к Гефестиону с краткой просьбой, задам единственный вопрос, на который, мне сказали, может ответить какой-нибудь всеведущий бог.

Царь Александр поднес золотую чашу к губам, и все, кто его слышал, сделали то же самое. Когда царь опустил свою чашу, то же самое сделали и все остальные.

— Гефестион! Гефестион! — в полный голос воззвал Александр. — Молим тебя, ответь: нашла ли душа твоя покой и вечное блаженство в душистых полях Элизиума?

Нам пришлось ждать всего лишь столько времени, сколько понадобилось на один долгий вдох и выдох. Затем из небольшого леска, росшего неподалеку, раздался протяжный жутковато-таинственный свист, очень похожий на крик совы, посвященной Афине Палладе как Птица Мудрости.

— А вот и ответ! — продолжал Александр своим далеко разносившимся голосом. — Теперь мы можем быть уверены, что душа Гефестиона обрела вечное счастье в Элизиуме. Теперь будут накрыты столы и все мы почествуем ушедших в мир иной и то великое братство, что остается с нами. Будьте веселы, и спасибо богам.

На царском столе появились блюда, и Александр, к великому удовольствию Роксаны, ел с большим аппетитом. До этого он свыше двух дней не ел ничего существенного и, судя по его лицу, в этот период он совсем не страдал от головной боли, хотя на сердце и было тяжело от горя.

Когда все поели и еда прекратила доступ крепким парам алкоголя к мозгам, солдаты со своими спутниками расселись в круг тут и там на траве, переговариваясь и смеясь, но без прежней шумливости. А после царь сказал так:

— До моего ухода никому не покидать празднество. Через несколько минут, Роксана, мы с тобой пожелаем нашим дорогим друзьям, Таис и Птолемею, доброй ночи и пойдем к себе во дворец. Но перед тем я должен выполнить одну небольшую обязанность.

— Может, поручишь это мне, мой царь? — спросил Птолемей.

— Нет, старый друг, я предпочитаю позаботиться об этом сам.— И он сделал знак рукой, подзывая начальника своих телохранителей.

— Слушаю, мой царь!

— Вон там, в небольшом строении, сидит запертый под стражей врач Главкий. Возьми головню, чтоб было посветлей, и сходи туда. Вели часовому на посту стать рядом с обнаженным мечом, пока ты будешь отпирать дверь. Затем убедись лично, что Главкий еще там, а не сбежал.

— Слушаюсь, мой царь,— прозвучало в безмолвии, настолько глубоком, словно кругом лежала пустыня, где не ступала нога ни зверя, ни человека и стоял последний час ночи, когда воздух не шелохнется и звезды горят в несказанной тиши.

Охранник отсутствовал не больше двух минут, отмеренных по минутной склянке. Пока он ходил, Александр сидел в тихой задумчивости. Раза два Роксана открывала рот, как бы желая что-то сказать, но так и не произнесла ни слова. На ее щеках ярко вспыхнули два пятна, и лицо от этого казалось еще более бледным. Таис сидела в изящной расслабленной позе. Птолемей как-то неестественно долго разглядывал оркестрантов, которые после еды снова взялись за свои инструменты. У меня самого отчего-то в тревоге забилося сердце.

Охранник подбежал к царскому столу и был рад необходимости отдать салют, ибо это давало ему возможность перевести дыхание. Затем он выпалил:

— Царь, заключенный Главкий сбежал.

— Говори потише. Ты выяснил, каким образом?

— Нет, царь Александр, не выяснил. Отдушины для воздуха слишком узки, чтобы в них можно было пролезть. Дверные засовы были нетронуты с тех пор, как туда посадили арестованного. Пол и потолок в полном порядке. Похоже, его тайно похитили.

— В каком-то смысле так оно и было. Ему оставили одеяло. Было ли оно расстелено на полу?

— Да, царь, около стены.

— Если ты заглянешь под одеяло, то увидишь отверстие на том месте, откуда вынут один из каменных блоков, а под отверстием — тоннель. Можешь идти.

Начальник царской охраны отсалютовал, и через несколько секунд мы услышали, как он отдал своим подчиненным приказ стоять смирно. Тем временем Александр пробовал пальцами серебряные щипцы, с помощью которых извлекал содержимое орехов кешью, поданных с десертом, и в моем воображении эти щипцы стали оружием ужасных пыток. Но даже я не мог ничего прочесть в его лице. В лице Роксаны ясно читалось одно — вызов. Он был начертан в ее раскосых глазах: они блестели точно так же, как глаза виденного мной однажды леопарда, на которого наседали собаки.

Александр едва заметно вздохнул, посмотрел на нее и заговорил:

— Вы с Таис взяли на себя столько хлопот, чтобы спасти одного незнакомого вам человека.

— Он был невиновен, — защищалась Роксана.

— Был приказ Александра: пригвоздить его к дереву, чтобы он умер в мучениях.

— А я — жена Александра, царица, и его честь — моя честь.

— Птолемей, ты тоже был одним из заговорщиков?

— Он не был... — вмешалась Таис.

— Пусть мой военачальник и старый друг говорит сам за себя.

— Я уж как следует постарался, чтобы не быть заговорщиком, царь, — мрачно усмехнувшись, отвечал Птолемей. — Не отрицаю: я знал, что царица и Таис замышляют какую-то военную хитрость, но я не пытался отгадать, в чем она состоит.

— Мне эта загадка показалась несложной, — сказал царь. — Роксана, ты выдала себя, когда упомянула, что, по словам великого мага Шаламареса, посвященные в культ Зороастра верят в Элизиум. Ты справедливо утверждала, что это знание не для всех. Ты говорила, что постигающим начала этих знаний не рассказывают о существовании Элизиума, так как лучше всего постигать мудрость ради самой мудрости, а не ради какого-то вознаграждения здесь или в ином мире. Я считал обязательным для себя знакомиться с основными учениями всех великих религий, с

которыми мне пришлось столкнуться в завоеванных мною землях, и после некоторых размышлений я увидел обман. Ты предложила устроить для всех ветеранов, кто был со мной во время переправы через Геллеспонт, шумную пирушку — хитрость не слишком тонкая. О твоём намерении явно говорил выбор этого места, рядом с местом заточения доктора, к тому же травянистое, а не такое голое, как поле учебного плаца; а также приглашение такого большого оркестра, и это множество костров, ослепительный свет которых не позволял видеть, как в темноте движутся какие-то тени. Ты думала, что громкий крик совы вызовет к моей суеверной натуре, а это хорошо всем известно, а уж найти бактрийца, который мог бы в совершенстве подделать свист этой птицы, было парой пустяков для того, кто общался с командирами моих бактрийских отрядов и их женами. Не стану доискиваться, кто эти дамы и господа. Вполне очевидно, что тебе нужен был момент, когда все пирующие кричали бы одновременно, это был критический момент освобождения: удаление одного из каменных блоков, сцементированных вместе, никак не могло бы обойтись без шума. И к тому же ты не сумела скрыть наступившего вслед за этим облегчения. Я полагаю, основная часть тоннеля, который начали рыть вон в том леске, была уже почти закончена, а рыть его начали на другую же ночь после того, как я вынес приговор врачу. Возникает вопрос: куда подевалась вся эта гора выкопанной земли? Подозреваю, что возле трассы тоннеля находился брошенный колодец, и это наводит меня на мысль, что тут замешаны опытные специалисты по подкопам — очевидно, из моей собственной армии. Их имена мне тоже ни к чему. Однако я позабочусь о том, чтобы наружная охрана лагеря была бы впредь более внимательной. А один из начальников получит выговор.

Александр помолчал, расколол щипцами орех и съел его сердцевину. Роксана и Таис сидели не шелохнувшись. Птолемей снова взглянул на оркестр, который теперь играл нежные любовные мелодии Персии.

— И наконец, нужно разобраться с обеими зачинщицами заговора: моей царицей Роксаной и моей бывшей фавориткой Таис, — продолжал Александр. — Однажды, когда Таис оказала мне большую услугу, я дал ей слово, что она может совершить один проступок против меня, и он останется безнаказанным. Был ли уже такой просту-

пок, за которым последовало прощение, я не могу припомнить, но, так или иначе, я буду считать сегодняшнее дело происшествием, исчерпывающим наш договор. Роксана, в том здравом уме, в каком я сейчас нахожусь, у меня рука не поднимается наказать тебя за поступок, оспаривающий мою власть, но совершенный мне же на пользу, к тому же продиктованный одним из самых обожаемых мною в тебе качеств — женским состраданием. Но все же позвольте мне предупредить вас обоих: когда я в здравом рассудке — а вскоре после похорон Гефестииона я в нем пребываю постоянно — не пробуйте больше шутить со мной. Это предупреждение будет в равной мере значимо и для тех случаев, когда я не в себе, поскольку даже тогда сохраняются некоторые силы моего ума, не ослабленные расстройством, и рана, нанесенная моему колоссальному, как однажды сказала Таис, тщеславию, может привести к ужасным последствиям.

Александр сделал паузу, лицо его оставалось спокойным, пока его слушатели раздумывали над только что прозвучавшей страшной угрозой.

— Хочу сказать еще об одном, — наконец продолжал он. — Еще до того, Роксана, как ты предложила устроить празднество для ветеранов, которые переправились под моим знаменем через Геллеспонт, я уже решил простить врача Главкия. Ваш с Таис заговор привел лишь к тому, что он изнывал в мучительном беспокойстве лишних два дня. А сейчас я велю протрубить наш с царицей уход. Мы благодарим вас с Таис за приятную компанию. Я разрешаю вам уйти, а если хотите еще немного послушать эту чудесную музыку, которой мы обязаны царице, можете оставаться сколько желаете.

Зазвучали трубы, и зов их разнесся по полю, и эхо неоднократно повторило его. Все воины тут же стали по стойке «смирно», повернувшись к царю лицом. Вместе с Александром из-за стола поднялись царица и двое их гостей. Последние коснулись коленом земли, и к некоторому, но не слишком большому моему удивлению, то же сделала и царица.

Царская чета удалилась. В присутствии стоящей навытяжку охраны оба оседлали ждущих неподалеку лошадей и вернулись во дворец.

Окончилась поздняя осень — пала под ударами крепких морозов наступающей зимы. Царю перевалило за тридцать два — это был тридцать третий год о.А. В этот период времени те, кто любил его больше всех, чрезмерно обнадеженные устроенным для македонцев праздником, снова стали терять свои надежды. С приближением ранней зимы усилилась и его мегаломания. В общественных делах это не проявлялось так сильно, как в его поведении перед своим двором. Особенно это выразилось в его костюме, имитирующем, например, одеяние, в котором Зевс-Амон изображен в своем храме в Египетской пустыне, включая широко расходящиеся рога, служащие эмблемой быка. Наряжался он и как Гермес — с жезлом в руке и в крылатых сандалиях на ногах; в других случаях он имел при себе лук и охотничье копьё — по образу и подобию Артемиды; а его любимым костюмом стала львиная шкура, наброшенная поверх персидского платья, и в руках в подражание Гераклу — дубина.

Снова ожила в нем печаль по Гефестиону, и его больная душа жаждала выразить себя в убийственной ярости. Предлогом тому послужило еще одно донесение из района, лежащего ниже таинственного Аральского моря: малоизвестное дикое племя коссеев, занимавшееся грабежами на караванных путях, чей вождь сдался когда-то Александру, снова восстало. Персидские власти на севере пытались укротить их, но впустую: при всяком приближении карательных войск они уходили высоко в горы и скрывались там в потаенных местах. Но теперь, покрытые глубоким снегом, эти места были недоступными для человека, и этот путь к спасению оказался для них закрыт. Во время одной кратковременной вспышки ярости царь приказал экспедиционному корпусу кавалерии идти на коссеев и сам повел их вперед.

Я надеялся, что поход в те края через земли уксиев, вид холодных зимних ландшафтов, больших отрядов диких бактрийских верблюдов и трудности пути, напоминающие кое-какие прежние его походы, остудят и успокоят его. Но этого не случилось. Поход длился сорок дней. Когда они наткнулись на зимнюю стоянку коссеев, Александр приказал вырезать их всех поголовно, чтобы эта земля на веки веков осталась опустошенной. Не пощадили никого: ни воина, ни бородатого старца, ни сморщенной старухи, ни



женщины, ни ребенка, — и его выдавших виды всадников мутило от этой бессмысленной резни, страшнее которой не было даже в Индии. Чистая белизна снегов Коссеанской пустыни превратилась в еще не виданное богами зрелище — в целые поля, залитые алой кровью, и, наверное, по душе оно было богу войны Аресу, ибо радовало его кровопролитие, хотя сдается мне, что другие боги, даже суровая Афина, должны были отвести свои взоры.

«Это моя жертва душе Гефестиона, — так, говорят, он сказал. — Вместо одной тысячи рабов, сожженных на погребальном костре, десять тысяч варварских трупов, замерзших в снегу». Я не слышал этих его слов, и то, что передают, возможно, ошибочно, но никакого сомнения не могло быть в том, что им владела безумная ярость и жажда убийства.

Вскоре после его возвращения наступил новый год, и я осмелился надеяться вопреки всему, что этот год образумит его. Эта надежда загорелась немного ярче, когда он решил перенести свою резиденцию из Суз в великий Вавилон, где множество храмов, памятников и разного рода античные произведения искусства могли возбудить его интерес; ведь что ни говори, а в новом окружении его состояние обычно улучшалось. То, что он распорядился о дальнейшем исследовании берегов Персидского залива и Каспийского моря, действительно было правдой и хорошим знаком. Но он также приказал добавить к своему уж и без того огромному флоту большое количество судов, похоже, намереваясь своей морской мощью превзойти все морские силы, которые только могли бы объединиться против него. Его начальники хорошо понимали, какие морские державы хотел он разрушить.

Более того, оказалось, что исследование Персидского залива диктовалось не научным любопытством, а желанием увидеть Аравию, которая — а в этом никто не сомневался — была его следующей целью.

Возвращаясь в Вавилон, он встретил множество посольств, которые клали ему земной поклон. На берегах Тигра он встретился с халдейскими предсказателями, хотя как страны Халдеи уже не существовало, но эти люди все еще называвшиеся ее именем, являлись в действительности астрономами, астрологами, прорицателями и колдунами. Они стали уговаривать царя не входить в Вавилон — это будет для него не к добру. На это пророчество он ответил шуткой; однако они так горячо убеждали его, глаза

их были так встревожены видениями, что он обещал им войти в город не через восточные ворота, над которыми им виделся злой рок, а через западные. Но когда он с войском приблизился к этим воротам, оказалось, что дорога к ним непроходима из-за сильной заболоченности: прорвался или вышел из берегов большой канал. Так что в конце концов ему все-таки пришлось войти в восточные ворота.

— Болота, с вами я еще разберусь,— услышал я его слова, когда он, расстроенный и злой, повернул назад.

Этот въезд в город случился за несколько недель до весеннего равноденствия.

В Вавилоне он устроил свой штаб в просторном роскошном павильоне, где также была и спальня на тот случай, если ему придется работать допоздна и не захочется возвращаться в царский дворец. Этот великолепный дворец стоял на берегу Евфрата, его время от времени занимали цари и их близкие родственники. Поведение Александра в Вавилоне не отличалось неистовством, но было крайне экстравагантным. Он продолжал вести строительство обширного мавзолея, в котором телу Гефестиона предстояло найти окончательное успокоение. Иногда он спал на золотой кушетке, по виду весьма далекой от соломенного тюфяка первых его походов, и рядом с ней всю ночь напролет ему играли флейтисты, чтобы уластить его страшные сны. Тем не менее Роксана оставалась его царицей, а если он не слишком напивался, чтобы разделить ее незапятнанное ложе, то и женой.

В ночь весеннего равноденствия, тайну которого астрономы еще до конца не разрешили и к которой Александр питал великий интерес, он был нежным и любящим с Роксаной и казался более самим собой — тем Александром, которого она знала еще до заболевания,— чем в течение многих последних недель. И это придало ей смелости сообщить ему нечто очень важное для него самого и для мира, заставившее сильно забиться сердце раба его Абрута, ибо я решил, что это известие отрезвит его и он, возможно, найдет дорогу назад к полному здравомыслию.

Она внезапно сообщила ему эту новость, когда он нежно поцеловал ее и они поговорили о своем воссоединении в Бактрии, а это в свою очередь привело его к воспоминаниям о их первой встрече по дороге в Додону.

— Александр,— сказала она ему спокойно,— у меня будет ребенок.

Похоже, царя эта новость сильно взволновала. Он уж, думаю, и не надеялся, что Роксана сможет зачать, тем более было ему удивительно, что все последние месяцы он делил с ней ложе считанное число раз. Он выглядел очень гордым, и это дало мне пищу для размышлений, ибо мало было у человека возможностей более обычных, чем способность мужчины зачинать с женщиной детей. Жены большинства простых грубых крестьян, работающих в поле, рожали детей с той же регулярностью, что и коровы телят. Почему же это не получалось у Александра, ведь его тело не было искалечено в битвах; если не считать множества шрамов, такой физической силой и выносливостью мог похвастать далеко не каждый смертный. Это был зрелый мужчина, который когда-то мог бы послужить моделью для Гермеса Праксителя и еще бы послужил, если бы не те самые шрамы, сильнее врезавшиеся в лицо морщины, вызванные сильными переживаниями, глубокими размышлениями и, возможно, в какой-то незначительной степени попойками и развратом.

— И когда же теперь мне ожидать сына и наследника? — поинтересовался он с мальчишески-жадным любопытством.

— Дитя может оказаться девочкой и княжной — шансы почти равны, — отвечала Роксана. — Однако он расположен низко в моем чреве, слегка левее, и заставляет меня раздаваться вширь сзади, а это предвещает, что ребенок может оказаться мальчиком. Он, по моим подсчетам, должен родиться где-то совсем близко к дню осеннего равноденствия.

— Еще столько ждать — шесть месяцев! Если родится девочка, я буду любить ее так же сильно, как любил бы сына, или даже еще сильнее. Я с нетерпением стану ждать ее первых шагов. Мне бы хотелось, чтобы у нее были волосы цвета пшеничной соломы, а глаза чуть-чуть раскосыми и чтобы вокруг серой радужки был синий ободок. Обещаешь?

— Я ничего не обещаю. — Она произнесла это легко, но в ее лице появилось сосредоточенное выражение, и я подумал, что ей припомнились первые роды, с мертворожденным ребенком.

— Выходит, что ты зачала три месяца назад. Ты уже чувствуешь толчки?

— Кажется, да, но не уверена.

На какое-то время семейная жизнь Александра изменилась немного к лучшему. Он уже не столь часто рядился в фантастические костюмы и меньше страдал от головной боли. В его делах появились и разумные предприятия: например, он решил заделать брешь в канале недалеко от западных городских ворот и велел строителям сделать доклады о возможности осушения болот. Нередко он и сам посещал заболоченные места, возвращаясь физически изнуренным и промокшим до колен.

На пользу или во вред всему человечеству он непрестанно продолжал готовиться к покорению арабских земель, за чем должны были последовать дела еще более великие. Для солдат изготовлялось новое оружие, в Дамаске выковывались доспехи, которые были легче и прочней, на юг и на запад отправлялись лазутчики, а войска учились быстро высаживаться на вражеском берегу. Появились разборные лестницы нового типа; отряд персидских и бактрийских всадников-копьеносцев, называвшийся «эпигонами», стал теперь элитным корпусом наравне с конницей гетайров. Фалангистов обучали новым способам быстрого маневрирования, а также защите против вражеской фаланги. Я заметил, что новая воинская форма одежды стала более облегченной, и это указывало на то, что походы предполагалось проводить в полутропических областях, а не на пустынном севере. Помимо всего прочего, он заставлял конников учить своих лошадей подступать к слонам, не испытывая перед ними страха, причем слоны в его армии уже составляли значительную силу.

Он пришел в ярость и потемнел лицом, когда получил ответ от жрецов храма Зевса-Амона, в котором говорилось, что нельзя чтить Гефестиона как бога, но только как героя, правда, от этой вспышки он скоро оправился. Он также не на шутку рассердился на Кассандра, сына престарелого Антипатра, регента Македонии, из-за некоторых обвинений, выдвинутых против них обоих — отца и сына. И в этом случае вспышка его прошла, но Кассандр так и не оправился от своего испуга. Очевидно, он полагал — но это мое личное мнение — что чудом избежал смерти от царского меча, если не чего-нибудь еще пострашней. А дело было так: Александр сбил его с ног, и он сильно ударился головой об пол. После этого случая Кассандр не мог приблизиться к царю, не испытывая внутреннего трепета.

Поистине, к нему стало очень трудно пробиться из-за его многочисленного двора, включая персидскую царскую охрану, облаченную в кричащую форму, а также и его собственную, к тому же его неизменно окружала кучка друзей, курьеров и льстецов.

Когда он проводил ночи в своем огромном павильоне, он неистово работал весь день и часто пиршествовал большую часть ночи либо со своими застольными друзьями, либо с танцовщицами, правда, я никогда не слышал, чтобы хоть одна из них делила с ним ложе. Если бы не частые ночи, проводимые им с Роксаной, он мог бы просто свалиться с ног. С нею он обходился ласковей прежнего, проявлял острый интерес новобрачного к тому, как растет и развивается в утробе его дитя. А оно уже стало заявлять о себе, хотя и нельзя было понять, насколько хорошо ему в этом теплом жилище, где оно набирается силы, питаясь соками матери, и ему еще не приходится самому искать себе пропитание. Но если бы оно могло ощутить опасности и горе, существующие в бескрайних пространствах наружного мира, чего понять оно было еще не в силах, не умея отличить света от тьмы, оно бы вовсе не спешило поскорее прийти в сей мир. Вслед за равноденствием пошли месяцы, когда ребенок энергично проявлял свою жизнеспособность. Часто Роксана предлагала царю положить руку на свой вздувшийся живот и почувствовать, как он сучит ножками. В таких случаях Александр хохотал, как мальчишка.

В конце весны, примерно за месяц до летнего равноденствия, Александр несколько дней подолгу, с восхода до темноты, пропадал на болотах у западных ворот, наблюдая за тем, как идет окончание работ по выкапыванию дренажных канав перед тем, как болото, разбуженное летним зноем, начнет издавать зловоние — причину частых простудных заболеваний и лихорадки во всем городе. По завершении этого проекта он побывал на званой пирушке, устроенной его новым другом по имени Медий. Выпив на ней большое количество неразбавленного вина, он большую часть следующего дня проспал, поднявшись только часов в девять вечера. На все вопросы он отрицательно качал головой и, облачившись во все доспехи, надев на голову украшенный перьями шлем, вышел из своей палаты.

Моя раскладушка стояла у стены его комнаты, чтобы я был под рукой в случае надобности, но он, не взглянув

на меня, зашагал по коридору. Когда он проходил под светильником, я хорошо разглядел его: лицо красное, видимо, от жара, в глазах неестественно сильный блеск. Тут же вслед за ним вышла царица Роксана в наброшенном на ночное платье персидском халате и с босыми ногами.

— Быстро поднимайся и ступай рядом с ним, — сказала она мне тихим, безумно встревоженным голосом. — Если он откажется от твоего присутствия, оставайся позади него. Он весь в жару от болотной лихорадки, а кроме того, совсем не в себе. Не знаю, что он натворит. В двухстах шагах за тобой я поставлю четверых его охранников с носилками. Не принуждай его ни к чему — может, только в крайнем случае — в общем, старайся развеселить его; но если он упадет, позови людей с носилками — они отнесут его домой.

Царь немного пошатывался на ходу, и я догнал его как раз вовремя, чтобы услышать его разговор с часовым у входа во дворец.

— Я нездоров. Хочу немного прогуляться. Вечер такой теплый и такая великолепная луна.

— Мой долг перед тобой, величественный царь, не велит мне молчать, — отозвался один из часовых. — Если ты нездоров, не лучше ли тебе лечь в постель?

— Нет, мне нужно совершить паломничество. Мне предписано так поступить — по велению моей властной души.

Он пошел дальше. Я снова догнал его и последовал за ним и чуть в стороне.

— Это ты, Абрут? — спросил он вялым голосом.

— Да, мой царь.

— Можешь идти со мной. Ты пробыв у меня уже так долго, что действительно стал частью меня самого. Ты мне годишься, потому что я иду в Пеллу, город, где я родился, и пойду по той же дороге, по которой тебя вели в цепях в Византии. Ты вспомнишь, как я купил тебя у надсмотрщика за семь золотых монет, которые он спрятал в свой кошелек.

— Я все хорошо помню, мой царь.

— Как чудесна эта мягкая ночь для нашего путешествия! Воздух почти не колыхается. И луна на ущербе будет освещать наш путь. Она начала убывать после того, как стала совершенно круглой, но помутнела еще совсем немного: ее мягкий и нежный свет не будет резать мне глаза. Есть, Абрут, красота и в убывающей луне, и в

прибывающей. Есть красота в старом возрасте, когда мужчина и женщина идут по дороге к смерти и волосы их побелели, и глаза потускнели, а на лицах и руках появились морщины. Но убывающая луна, хоть и обреченная, все же плывет по небесному своду. Она остается царицей ночи.

Мы приблизились к наружным воротам территории дворца, но стоявшие на часах персидские рекруты только стояли смирно и салютовали, не осмеливаясь заговаривать с Александром.

— Посмотри на звезды,— сказал мне Александр, когда мы вышли на почти пустынную улицу,— только немногие сегодня ночью жгут свои лампы, это великие властелины небес. Звезды поменьше тоже, наверное, зажигают свои светильники, но мы не видим, как они горят — так велико сияние быстро умирающей луны. В какой стороне запад? Голова еще не прояснилась от сна, не могу сориентироваться.

— В этой стороне, мой царь,— указал я.

— Тогда мы пойдем по этой тихой улочке. В нескольких домах еще горит свет, и добрая жена смотрит, все ли дети в постели, а добрый муж заботится обо всех мелочах, которые необходимо сделать на ночь: чтобы двери были надежно заперты и выпущен кот,— а там он вознесет ночную молитву Астарте, каким бы именем он ее ни называл, и сам будет искать милости сна. Радуюсь я, Абрут, тому, что волею судьбы и богов не пришлось мне разрушить Вавилон. Три тысячи лет до моего рождения здесь находился поселок. Наверное, тут жили рыбаки и, может, некоторые из них держали стада, а другие переправляли через реку караваны. Мы пойдем к западным воротам города — там больше нет затопленной земли, вместо нее через болото проходит насыпь, которая потом сворачивает на север и соединяется с царской дорогой.

Он молчал все время, пока мы не вышли за ворота и не прошли через заболоченный участок, а затем указал вперед.

— Разве там не огни Опа?

— Может быть и так, мой царь.— На деле это были разбросанные огни пригорода Вавилона.

— Нет, мы забрели дальше, чем предполагали. Это огни Тарса, который сдался мне в великом походе на Восток. Но теперь, после стольких недель пути, я устал и не хочу

встречать делегации, так что давай свернем на эту проезжую дорогу и немного отдохнем в душистых полях.

Мы вышли на луг, изрезанный вдоль и поперек ирригационными канавами, где росла зеленая трава и на ночь расположилось большое стадо крупного рогатого скота, голов сто, которое мирно спало, не боясь львов, так как находилось совсем рядом с городом.

— Сколько, по-твоему, нам придется ждать встречающих из Пеллы?

— Может, и недолго.

— Абрут, вон там это не бог Митра, который возлежит со своими женами? — Александр указал на быка коровьего стада.

— Может и он, мой царь, но только мне кажется, что его рога не так длинны и шея тонковата. Я не вижу, какая у него мошонка, но судя по размерам тела, это обычный бык.

— Надеюсь, что это не Митра. Он потребовал бы кровавой жертвы. Во всем мире боги хотят, чтобы на жертвенный алтарь проливалась кровь. Часто это делается тайно, потому что наши учителя и философы называют это варварством, а женщинам такое очень не по душе, потому что они женщины. Кровь! Кровь! Она создана, чтобы согревать тело после того, как сама разогреется в печени, а в печени есть нечто вроде огня, но без пламени. Кровь не предназначается для пролития. Она существует для поддержания жизни, а не для потери ее. Даже теперь членам моим холодно. Может, уже холодает?

— Не думаю, царь Александр, или, по крайней мере, я этого не чувствую.

— Луна у себя на небе выглядит ледяной. У звезд холодный блеск. Абрут, как тебе известно, я вызывал из Аида душу Филота, которого обвинили в измене мне. Он стоял предо мной с искалеченной рукой и клялся, что не виноват в измене; он обвинял меня, что это я изменил ему, его любви и вере и его отцу Пармениону. И перед тем как снова сойти в Аид, он сказал мне, что есть одно кровавое жертвоприношение, которое я мог бы совершить и в некоторой степени искупить пролитую кровь и ту, что еще пролью, и что это жертвоприношение спасет меня от какой-то ужасной судьбы. Я сказал ему, что построю великие храмы богам и принесу в жертву целые стада скота или толпы рабов, если этого желают боги, но Филот отвечал,



что никакие такие жертвоприношения никогда не смогут меня спасти. И когда я просил его сказать мне, какое жертвоприношение он имеет в виду, он отвечал — и глаза его горели потусторонним светом в тусклом сиянии луны, — что не скажет мне этого, что в этом заключается месть.

— Я хорошо помню, царь Александр.

— Теперь сдается мне, что он имел в виду принесение в жертву чего-то или кого-то очень мной любимого, а не быков и рабов, до которых мне не было никакого дела. Может, он имел в виду Роксану, мою истинную любовь, которую я обожал с отрочества?

— Нет, вряд ли он мог иметь в виду ее.

— Через считанные недели она родит. Может, он подозревал ребенка?

— Думаю, что нет, царь Александр. Какая бы польза была богам от орущего младенца?

— Возможно, Абрут, он имел в виду тебя. Чик-чирик моим мечом по твоему горлу. Тебя именуют моей тенью. Ты все эти годы день и ночь бывал со мной, ты ходил со мной в Додону. Ты ездил за мной при Херонее, ты мой настоящий историк, даже сейчас твоя рука снует по страницам записной книжки. Награда тебе — это награда правой моей руке. Да, Абрут, он, наверное, имел в виду тебя. Как ты думаешь, эта ночь подходит для жертвоприношения? Что-то позвало меня с постели и заставило пуститься в паломничество. Есть ли здесь поблизости прекрасное святилище? Вон там, недалеко, что это за строение? Разве это не великолепный храм? На вид невелик, но, может, это игра лунного света?

— Это, мой царь, овчарня.

— Ты знаешь о каком-нибудь храме поблизости? Если не знаешь, мы могли бы устроить небольшое святилище здесь в присутствии одного из сыновей Митры.

Я погнал свои мысли со стремительной скоростью, я не позволял своей голове отупеть от страха, а голосу задрожать.

— Если Филот имел в виду меня, твоего писаря, чтобы ты принес мою кровь в жертву, он, конечно же, не подозревал такого скорого жертвоприношения. Ты отправляешься завоевывать арабские земли, уже стоят наготове суда с экипажами и провиантом и нужно записывать твои слова и дела. Так что рука моя должна успокоиться только после этого.

— Но после этого будут еще завоевания. Абрут, тебе и не снилось то, что я намерен был совершить, ибо мир шире, чем мне когда-то казалось, и весь он, способный платить дань, должен быть в моих руках. Ни один независимый царь не должен иметь власти. Не должна существовать ни одна империя, кроме моей. Тот рок, которым пугал меня Филот, еще далеко. Мне всего лишь тридцать два года. У меня самая сильная армия, которой я когда-либо предводительствовал. Моя мать Олимпиада говорила мне... а это не она ли идет сюда по траве?

— Да, может, и она.

— У нее все такая же гибкая походка. Но что ей от меня надо, Абрут? Я иду в Пеллу, где решу все споры между нею и Антипатром. Может, она идет, чтобы опять рассказать мне о великом Зевсе, как он побывал у нее в спальне, после чего появился я. Не желаю, Абрут, слышать об этом снова! Чтобы быть достойным этого божественного наследия, я сделал все, что возможно, и только иногда бывал нерадив. Нечего ей говорить мне, что еще следует сделать — я и сам прекрасно знаю! Олимпиада! Олимпиада! Зачем ты сюда явилась?

Наступило долгое молчание, во время которого Александр вытягивал шею, напряженно прислушиваясь.

— Не расслышал, что она сказала, — шепнул мне царь. — Она стоит далеко от меня, но зачем? Думаешь, я рассердил ее тем, что давно не был в Пелле, или тем, что недостаточно твердо принимал ее сторону против Антипатра? А она со своей здоровенной змеей, которая обвилась вокруг ее талии и уткнулась ей мордой в горло — ты не видишь?

— Да, с нею.

— Я распорядился, чтобы гробницу Гефестиона украшали золотые змеи, потому что змеям покровительствует бог Гермес, но я проклял их в дельте Инда — они укусили нескольких моих солдат, отчего те умерли, и, может, теперь она явилась, чтобы упрекнуть меня за мою ошибку. Да, должно быть, потому она и пришла; а иначе зачем это ей вдруг взять и исчезнуть... А вот вслед за ней другой. Как мне знакомы эти доспехи, этот шлем, эта твердая поступь! Абрут, это Филипп вышел наверх из Аида. Я его не звал, но кто-то это сделал, или же ему удалось как-то осилить стражника у ворот подземного царства, ужасного Цербера. Он пришел отомстить, Абрут. Он знает... он знает, что я мог бы спасти его от ножа Павсания, но не спас. Вели ему

немного помедлить, Абрут. Это приказ Александра, императора Азии!

— Не подходи, Филипп. Величественный царь, Александр, хотел бы поговорить с тобой.

Александр вытащил свой меч.

— Филипп, я не боюсь тебя! — крикнул он. — Я не состоял в заговоре, у меня не было планов убивать тебя — планов, которые вынашивала Олимпиада. Да, я подозревал это и знал, что у нее был сговор с Павсанием. Так почему же я не предупредил тебя? Я скажу. Нить твоей жизни была уже сплетена и готова для ножниц Атропос. Чик — и душа твоя перенесется в мир иной. Ты был слишком стар, чтобы вести войско через Геллеспонт. Да, верно, ты хорошо его обучил, и за это я тебе многим обязан, ибо без вымуштрованных и бесстрашных воинов я бы не победил даже при Гранике, в первом из великих моих сражений. Однако скажу тебе, что уже настала тогда пора принять мне на себя царскую корону. Самое большее, ты бы только отвоевал греческие города на побережье Малой Азии, а завоевать всю Персидскую империю и углубиться в долину Инда ты бы не смог. Я сделал то, что было уготовано мне судьбой. А теперь вытаскивай свой меч, если хочешь; я без страха дождусь твоего нападения — и ты умрешь, уже не один раз, а дважды. Ха! Какой это царь умирал дважды! Я вижу, что ты медлишь, но не слышу, что ты там говоришь.

— Он сказал, великий царь, что не может скрестить оружие с собственным сыном.

— Каков глупец! Не видит дальше собственного носа! Он, кажется, уходит? Уж теперь я не построю над его могилой большой пирамиды; лучше построю гробницу Павсанию, который в нужный момент избавил от него мир. Ну, вот он и ушел в свою ничтожную могилу. Но мне не нравится вид той женщины, что приближается сюда. Она горько плачет и закрывает лицо одеждой. А! Теперь я узнаю ее. Ланис, моя кормилица, сестра Клита. Она пришла упрекать меня за то, что я мучил его и казнил. Абрут, я не могу с ней встретиться. Я убил Клита в припадке ярости, хотя он был другом моего детства и я любил его. Что ей осталось кроме как выть?

— Мне кажется, она пытается говорить.

— Что она говорит? Начинается ветер, он относит ее слова. Сильный ветер, холодный.

Не было ни дуновения ветерка. Стояла мягкая ночь. По необозримому своду небес в полной безмятежности проплывала луна. Она восходила к своей вершине, за которой ей предстояло начать свой спуск.

— Я слышу ее, царь Александр, но ветер и впрямь сильный и холодный; она плачет от разбитого сердца,— отвечал я.

— Что она говорит? Скажи, не щади меня.

— Больше не убивай, Александр! Больше не убивай!

— Тьфу! Хорошая женщина, но дура. Как мне покорить, не убивая, хотя бы арабов? Этих темных тощих людей пустыни не устрашат мои угрозы: всю свою жизнь они бросают вызов смертоносным пескам и теперь не поддадутся мне. Что мне еще остается, как не убить их? И разве они не заслуживают этого по справедливости? Ступай от меня, Ланис. Не внемлю я твоей слезной мольбе. Не забывай, что ты была только нянькой, а я сделал твоего брата великим до того, как он сошел в преисподнюю, и даже теперь твой сын занимает высокий пост в моей армии. Я любил тебя, Ланис, признаюсь в этом. Может, и сейчас еще люблю. Но все же уходи. И вытри глаза. Я убью не больше, чем необходимо.

— Она исчезает, царь Александр.

— Вижу. Вот только ветер что-то не прекращается. Холодный и безжалостный, он все дует и пронимает меня до костей. Где мы, Абрут? Это, должно быть, какой-то горный луг в долине Гиндукуша. Да, высоко мы взобрались по его могучему хребту. Но перед нами еще маячат бескрайние пески, и нам нужно идти дальше. Что с моими солдатами? Они что — умирают в этом белом снегу, покрывающем землю? Падают, лежат, не желая двигаться, и их покидает душа? А что с обозом? Повозки поднимают на кручи, как я приказал? Давай-ка взберемся немного выше, Абрут. Там остановимся, повернемся и окинем взором обширные земли за предгорьями — мои завоевания. Пойдем со мной, мы опередим войско.

Он с трудом зашагал вперед. Ему стало не хватать дыхания. Я хоть и последовал за ним, но подумал, что скоро настанет час, когда придется звать на помощь.

— Это было трудное восхождение,— сказал он мне, когда остановился, сделав около пятидесяти шагов по ровному пастбищу.— Теперь оглянемся и обозрим мое царство.— Царь повернулся и посмотрел назад.— На какой

головокружительной высоте мы стоим! — прокричал он. — Посмотри, Абрут, далеко, насколько хватает глаз, все тянутся селенья, плодородные поля, несчетные дома, окруженные стенами города. Но я замечаю нечто странное. В начале каждой маленькой лощины бьет источник, но выходит из него не вода, а какая-то другая жидкость, которую земля не приемлет. Возникает ручеек, и там, где две лощины сходятся, ручеек становится чуть шире; и вот эти ручьи уже сливаются с дерзкими потоками, которые бурно выбегают из ущелий и каждый принимает в себя эти разрастающиеся ручьи; потоки разбухают, становясь небольшими реками, они сбегает вниз по горным долинам. Но, Абрут, эта жидкость не похожа на воду: она не блестит под луной. И теперь эти речки впадают в большую реку, а та движется медленно, с неумолимой целеустремленностью к еще большей реке. Смотри, она не может вместить такого широкого потока, она выходит из берегов, разливается, и это озеро все растет. Смотри, Абрут, смотри. Разлив затопляет весь берег, всю землю. Это не пресная вода, которая сверкает под луной, в ней нет величавости. Ради всех богов, скажи мне, что это такое? Почему у нее красный цвет? Говори, не таи от меня правду, каким бы невыразимым ужасом она ни была.

— Царь, не могу я сказать наверняка.

— Тогда я скажу тебе. Я, Александр, повелитель всей Азии, величественный царь, сын великого Зевса. Абрут, это кровь! Да, море крови, человеческой крови, крови моих товарищей по оружию, женщин и детей. О, почему они не подчинились моему властному приказу и не сохранили себе жизнь? Им нужно было только пасть предо мной ниц, и я бы пощадил их. Безбрежный океан крови, крови, крови — она льется, течет, капает, затопляет всю мою империю. В этом разливе кровь тех, кто погиб при Фивах. «Гоните лошадей! Не дайте им уйти!» Зачем я только издал этот клич?! А те индийские крестьяне не смогли уйти от меня, и вода на переправе окрасилась в ярко-алый цвет, и теперь она вздымается волнами в этом красном чудовищном море. Даже те две тысячи храбрецов, которых пригвоздили к деревьям в Тире, не отказали мне в своей крови: она сочилась из-под гвоздей и тонкой струйкой стекала по телам, чтобы влиться в общий разлив. Населения целых городов, преданные мечу. Несчетные множества людей, согнанных в одну толпу и перебитых. А те

старики, которых мы догнали на дороге, когда они бежали из непокоренного города! Их сыновьям и дочерям удалось скрыться, но им самим не удалось — слишком стары и немощны они были, а некоторые к тому же держали за руку начинающих ходить малышей. По какому велению Зевса перерезал я их всех, или моя божественная душа побуждала меня сделать это? А те варвары на севере, коссеи — они падали замертво один за другим, сбившись в орудие толпы, и многие, стоя на коленях, валились под ударами окровавленных мечей. Заалел девственно-чистый снег, и я подумал, что мороз удержит эту кровь у себя в плену, но, должно быть, снега растаяли, и она тоже влилась в безбрежное алое море.

Стадо коров, разбуженное звучным голосом царя, поднялось сперва на колени, затем на ноги и стояло, уставившись на него в немом удивлении.

— Боги, зачем вы мне это показали? — прокричал Александр, и в голосе его было столько тоски. — Я сделал только то, что велено было судьбой, чтобы вступить в право, данное мне рождением. Почему вы так ко мне безжалостны? Я — сын величайшего бога! Почему вы мучите меня? — Тут снова голос его окреп, в нем появился звон стального клинка, бьющего по железу щита. — Но тогда я тоже бросаю вам вызов! Я буду ходить по колену в крови, плавать в ней, но добьюсь своих целей; мне станут поклоняться во всем мире, которым я правлю, и, если понадобится, я столкну вас с ваших собственных тронов! Да, да, как Зевс вышиб Титанов, чтобы занять свое место, так и я поведу с вами войну и вы отведаете моего копья, острого, как жало змеи, вы отведаете моего непобедимого меча. Я плачу, но это не от слабости. Это от жестокой боли, которой терзает мой лоб какой-то ваш прихвостень. Боги, великие и малые, Зевс-Амон, отец мой, все остальные, слушайте мой вызов. Я вызываю вас на бой! Ну, как ваши троны: не дрожат, не качаются от звука моего голоса? Ты, Зевс, породил меня, как тебя породил Кронос, но как ты восстал на отца своего, так и я восстаю на тебя! И не надейтесь на то, что я нынче слаб. Это скоро пройдет. Дай-ка руку, Абрут, чтоб мне не упасть. И все же я еще стою. Мечите в меня стрелы своих молний. Мне они не страшны, как не страшны были когда-то Аяксу. Я еще отражу их своим щитом.

Александр упал мне на руки, и казалось, что душа его отходит, однако, положив его на траву, я заметил, что

грудь царя еще вздымается. Спазмы постепенно перешли в спокойное дыхание. Он забылся глубоким сном.

Тогда я крикнул людей с носилками — они стояли у кустарниковой изгороди, окружающей луг, — и те подошли. Мы уложили царя и понесли его во дворец. До наружных городских ворот было совсем недалеко. Охранник, видя носилки, спросил дрожащим от волнения голосом:

— Царь... он что... умер?

— Нет, просто спит. Перепил на дружеской пирушке.

Было уже за полночь. На улицах нам встретилось только несколько полуночников: хромой нищий, проститутка, спешащая к себе в каморку, уцепившись за руку пьяного, и сторож. Часовые у наружных ворот дворца снова промолчали, а Роксана встретила нас у входа во дворец вопросом:

— Абрут, царь жив?

— Да, царица, — ответил я.

— Тогда уложи его в постель и укрой покрывалом. Позови двух музыкантов — с флейтой и лютней, — и пусть они тихо играют в спальне, может, это и прогонит его дурные сны.

— Я сделаю это, царица, и то, что ты говоришь, может быть, правда.

Но сам я мало верил в это лекарство.

## 6

Лихорадка у Александра началась на семнадцатый день македонского месяца даисий, хотя он еще не вызывал врача. На следующий вечер, восемнадцатого числа, его беспокоила головная боль, но зато он оправился от бешенства, овладевшего им предыдущей ночью, и казался в своем уме. На следующее утро он не испытывал боли, поэтому вымылся, оделся и, как обычно, принял участие в утренних жертвоприношениях. Говорят, что в этот день он играл в кости с Медием, но я могу поручиться, что он несколько часов работал, читая отчеты и донесения и заботясь об устройстве в своей армии новоприбывших отрядов из Кари, Лидии и горных районов, общей численностью около сорока тысяч воинов. Несомненно, их предстояло использовать в покорении арабских земель, которые, как он уже знал, были намного обширней, чем это представ-

лялось ему ранее, и соперничали с Индией — по протяженности, но не по богатствам.

Царь спросил дорогу от устья Нила до северо-западной окраины Африки, которая, с самым южным полуостровом Иберии, оканчивающимся большой скалой, была известна как Столбы Геракла. Кроме того, он продолжал наращивать мощь своего флота, и так уже чрезвычайно великую, и строить для него бухты и гавани на побережье Северной Африки. В тот день он хорошо пообедал, но ночью снова началась лихорадка и продолжала усиливаться на следующий день. Ему ничего не оставалось делать, как отложить отплытие флота в Аравию, а на следующее утро его уже пришлось нести в храм, где он принес полагающиеся жертвы.

В этот день ему вдруг пришло в голову, что это, возможно, его последняя болезнь. Тогда у него родилась фантастическая идея, которую он поведал Роксане: он предлагал, чтобы его тайно вынесли из дворца и бросили в Евфрат на съедение крокодилам, и люди бы тогда поверили, что он вдруг перенесся на небеса, где пребудет вечно как Бог.

Роксана выслушала его фантастическое предложение и с хорошо знакомой ему твердостью, дошедшей до его расстроенного ума, отказалась.

— Если ты умрешь — а я вовсе не уверена, что твоя болезнь смертельна, — твое тело положат в гробницу, как и тела других великих царей, что царствовали до тебя.

Он разбушевался, наговорил Роксане массу оскорбительных и несправедливых слов, слишком необдуманных, чтобы упоминать о них в моем рассказе.

Эта вспышка вызвала новый подъем температуры, и по армии пошел слух, что их царь при смерти. Так думал и я, ибо он уже не мог говорить, лицо покрылось мертвенной бледностью, только лихорадочно горели глаза. На одиннадцатый день его болезни солдаты потребовали, чтобы им дали возможность увидеть своего царя в последний раз еще живого. Им позволили, и они весь день шли и шли, прощаясь, по его комнате.

Новые отряды, которые еще не сражались под его знаменами, не принимали участия в этой процессии, а первыми прошли ветераны, возглавляемые македонцами. Он не мог говорить с ними, но слегка шевелил руками и лежал так, что мог заглядывать им в глаза. Многих он узнавал,



в этом не было никакого сомнения. По их грубым, покрытым шрамами лицам катились слезы, и некоторых сотрясали ужасные рыдания, какие бывают у мужчин, потрясенных глубочайшим горем — они мучительней для слуха, чем женский плач.

Все, проходя, поднимали руку, приветствуя его салютом. Их сердца очистились от всех прошлых обид. За македонцами пошли сравнительно молодые воины, которые, однако, делили с ним тяжесть индийских походов, а кое-кто побывал и в кошмарных джунглях дельты Инда и шел за ним по смертоносным пескам Гедросии, которые им было не забыть до последнего часа. Не забыть им было и то, как бились они под его победным знаменем, как величественно восседал он на своем коне в серебряных доспехах, в шлеме с развевающимися перьями, как дивно сияло его лицо и из-под шлема выбивались золотистые кудри. И все они понимали, что уж больше никогда не увидят подобие Александра и никогда с такой силой не ощутят своего существования, жизни в ее крепчайшей эссенции, текущей по их венам.

Вечером царь был спокоен и в здравом уме, хотя лихорадка не прекращалась, и к нему позвать на прощание руку пришли друзья его детства. Появились Птолемей с Таис, Неарх, Пердикка, Кен, новый его любимчик Медий, Кассандр и замечательный предводитель Никанор. Пришли отдать последний салют Певкест и Леоннат, которые стояли рядом с ним спиной к стене в крепости в Маллах, где стрелой в лоб был убит его старый друг Абрей, а сам он получил тяжелую рану. Хотя Александр не мог говорить, прощающиеся догадались — я думаю, по меняющемуся выражению его глаз, — что он еще слышит и понимает, и врач его Филипп разрешил им говорить сколько хотят, особенно о старых днях, проведенных в Пелле, когда все они были молоды. Они вспоминали об Аристотеле и его школе в Роще Нимф, вспоминали, как вместе ловили рыбу в озере с глубокой водой, как однажды какое-то чудище клюнуло на его наживку и потащило в воду и как Александр уцепился за свою удочку и держался, пока не лопнула леска. Может, кто-то из этих посетителей только и ждал того момента, когда царь распрощится со своей душой, чтобы захватить власть, но такого намерения не читалось в их лицах, голосах, манере поведения с царем.

Когда наступили сумерки, они стали уходить, и врач Филипп попросил их не возвращаться, поскольку Роксана желала провести наедине со своим мужем последние его часы и Александр кивнул в знак согласия. Ночью его лихорадило, но слабости не прибавилось, и утром Филипп ушел, сказав, что больше уже ничего сделать не может. Я же по приказу Роксаны, с которой, мне кажется, согласился и сам Александр, остался на небольшом расстоянии от его постели в большой и роскошно убранной спальне.

— Записывай все, что говорится и делается, — велела мне Роксана.

Затем, усевшись на край постели, она заговорила мужу на ухо тихо, но отчетливо:

— Александр, мне знакома эта болезнь. Она сродни той, что персы называют болотной лихорадкой, другие — малярией, а вызывается она дурным воздухом с болот. Но тебя поразила та ее форма, которой прежде я не встречала за пределами Бактрии, а в Бактрии она была распространенной в болотистом районе в низовьях реки Бактр. Те же симптомы, включая крайнее изнеможение, то же время развития болезни, но иногда страдающие ею выздоравливают, даже когда маги уже потеряют надежду. Теперь мне известно одно возбуждающее средство, и оно у меня есть. Это никакое не лекарство, по сути это не более чем средство, чтобы убедиться, выживет больной или умрет. Лепешка этого возбуждающего, как мне говорили, в основном состоит из мускуса, получаемого из железы, находящейся в половых органах самца кабарги, или «мускусного оленя», когда у него наступает любовная пора. Мускус смешивают с очищенной эссенцией кофейных зерен — ее употребляют в Аравии и получают так: берут зерна и уваривают в воде до тех пор, пока не остается густой черный сироп. Для здоровых людей это средство совершенно безвредно — только ненадолго вызывает ускорение пульса и радостное настроение. Если его дать страдающему, когда болезнь перешла за критическую черту, оно может совсем не подействовать. В этом случае больной умрет через несколько часов. Но если оно все-таки подействует и больной уже в состоянии говорить, узнавать окружающих его людей и осознавать себя, значит, возможно, худшее уже позади, и у него есть хороший, по существу, вероятный шанс на полное выздоровление. У меня с собой есть такая

лепешка. Я разломлю ее в своей руке пополам, и ты, чуть пошевелив рукой, сможешь выбрать любую из двух половинок, а другую я приму сама у тебя на глазах.

Александр сделал слабое движение головой, безошибочно означающее согласие.

Роксана достала лепешку, разломилась ее пополам, встряхнула половинки в руке, как игрок кости, и раскрыла ладонь рядом с правой рукой царя. Я по ее указанию приподнял его руку, и царь коснулся указательным пальцем той из двух половинок, что лежала дальше.

— Положи ту, что он выбрал, ему в рот, — подсказала Роксана, сама же взяла другую и положила себе. Из склян-ки, принесенной недавно Филиппом, что стояла на тумбочке у постели, я влил Александру в рот немного воды, и он с большим усилием разжевал и проглотил свою долю. Роксана глотнула из той же склянки и проглотила свою.

Мы молча просидели не менее десяти минут. Вдруг Александр сделал резкое движение рукой. Могущественное лекарство начало уже действовать на Роксану: ее бледное лицо порозовело, глаза ожили, дыхание участилось. Александр реагировал медленнее, но не менее заметно. С его лица постепенно сошла мертвенная бледность, и на скулах появился легкий румянец. Но больше всего изменились его глаза. До того, как он принял возбуждающее, они выглядели тусклыми и ввалившимися, как у смертельно раненного солдата, когда его душа уже воспарила над телом, прежде чем очень скоро расстаться с ним навсегда; но у Александра эта тусклость в глазах исчезала, и в них возвращался свет самосознания и узнавания окружающих его вещей и людей. И пока мы, затаив дыхание, наблюдали за ним, его горло напряглось, и он заговорил:

— Роксана!

— Александр!

— Абрут!

— Мой царь.

— Я могу говорить. Смутные формы вокруг становятся отчетливей! Чувствую пульс в ушах: он не частый, но сильный! Я спасен!

— Еще нет, Александр, любимый мой. Но уже есть надежда. А если бы лекарство так не подействовало, то не было бы никакой.

— Не вызвать ли тебе врача?

— Какая от этого польза. Он сделал все, что мог. Теперь все зависит от тебя.

Эти последние слова она произнесла с безотчетным, но безошибочно различимым ударением. И, не знаю почему, но форма выражения меня немного озадачила.

7

Она взяла его руку и прижала к своей груди. Ее глаза казались более раскосыми, чем обычно, и блестели — несомненно, в результате действия на нее снадобья, но лицо ее источало нежность, словно не руку царя держала она на груди, а головку грудного ребенка при кормлении.

— А ты не думаешь, что это лекарство может повредить еще не рожденному малышу? — тихо, но совершенно отчетливо с беспокойством спросил Александр.

— Ни в коей мере. Может, он и будет больше обычного сучить ножками и биться головкой о стенки своей спаленки, а возможно, и смещаться в разные стороны, но это не причинит ему никакого вреда.

— За это я благодарен богам!

— Но ты, Александр, в случае выздоровления должен избегать болот, особенно в жаркую летнюю погоду и после захода солнца. Второй приступ именно этой болезни — верная смерть.

— Если я буду жить, то всю работу на болотах оставлю моим строителям. И, к счастью, в Аравии, куда я отправлюсь в следующий поход, нет никаких болотистых мест. Собственно, там и воды-то для моей армии будет трудно найти в достаточном количестве. А теперь мне вода не нужна. Вот если бы немного вина. Но не будет ли оно противодействием твоему возбуждающему средству?

— Нет, никакого заметного противодействия не будет, если ты выпьешь только одну чашу. Но подожди немного. Поговори со мной о своих походах — ведь там лежит твое сердце, если оно не рядом с моим. Когда ты завоюешь Аравию и присоединишь ее к своей и без того уже громадной империи, будешь ли ты тогда вполне доволен?

— Не спрашивай этого, Роксана. Я никогда не смогу быть вполне довольным, пока к западу от Гифасиса, в Европе и Африке останется хоть один царь, который не платит дани Александру.

— Великий город Карфаген находится в ближайшем соседстве с Египтом. Разве ты не хотел бы заключить договор о мире с Карфагеном, в силу которого этот великолепный город мог бы сохранить свою свободу, унаследованную им с древних времен? Ты можешь направить к ним посольство. Я почти не сомневаюсь, что они примут твоё предложение установить с ними дружеские отношения.

— Ну уж нет, я направляю туда военные корабли, весь свой огромный флот, ведь Карфаген кичится тем, что он великая морская держава. К тому же, когда я вел осаду Тира, он послал на помощь их флоту один из своих кораблей — в знак любви и братства с Тиром. Да он бы послал туда и целую армаду, вот только помешала война с Сицилией. Карфаген должен быть уничтожен. Я не могу позволить себе иметь такое сильное государство на берегу Внутреннего моря. Посмотри, Роксана, твоё снадобье сделало меня новым человеком. Наверное, я мог бы встать и походить.

— И думать об этом не смей. Примерно через час его действие прекратится, и тебе придется лежать еще недели, если ничего худшего не случится. Ну, а после Карфагена ты успокоишься? Будешь ли в полном довольстве править своей великой империей и налаживать мирную жизнь людей?

— Нет, Роксана, после этого еще рановато, после этого меня ждет еще одно великое завоевание, которое потребует напряжения всех моих сил, и это мне будет в радость. Потом еще два-три небольших похода — и можно будет отдохнуть.

— Уж не Рим ли ты имеешь в виду, Александр?

— Вот именно, подрастающую Римскую державу. А иначе он останется угрозой всему, что я завоевал — этот торчащий посреди Внутреннего моря сапог. Примерно за тридцать лет до моего рождения Рим разграбили кельтские варвары, но цитадель его устояла. И с тех пор он присоединил к себе Этрурию, покорил самнитов. Рим должен попасть мне в руки. Я должен быть хозяином Италии.

— Ты слишком много говоришь. Это не утомляет тебя?

— Буду говорить тихо, но говорить я должен. Мне ужасно хочется говорить — ведь я решил, что мне уж больше никогда не осуществить того, что я задумал.

— Ты, конечно же, не пошел бы на Галлию, на северо-запад от твоей чудесной колонии Массалии?

— Римляне первым же делом захотят отнять у меня Массалию. Галлы — варвары очень гордые и упрямые, и прежде, чем склонить свои головы, они могут оказать мне упорное сопротивление.

— А потом Иберия? — очень спокойно спросила Роксана.

— Иберия вдается в Океанское море. Тот, кто правит Иберией, в конце концов, должен получить власть не только над нашим Внутренним морем, но и над всеми землями, нам еще неизвестными, которые выходят к Океанскому морю. Покорить их все мне не удастся и за долгую жизнь, так что часть из них придется оставить нашему сыну, у которого будут замечательные дела и великая судьба. У меня пересохло в горле. Можно мне выпить чашу вина?

## 8

Роксана будто и не слышала просьбы Александра. Она поднялась и, отойдя шагов на десять к кушетке, села в глубокой задумчивости. Затем, чуть вздрогнув, вернулась к действительности.

— От чаши вина хуже не будет, — заметила она. — Хотя она и может слегка нейтрализовать действие возбуждающего — совсем незаметно. Какого вина ты хочешь?

— Кислого армянского, которое я так любил.

— Обслужи-ка царя, Абрут. В шкафу с инкрустацией из золота, серебра и слоновой кости есть несколько бутылей. Но тщательно проверь печать на бутылки. К вину не могли прикоснуться, не сломав печати Александра. В том же шкафу кубки и личная золотая чаша царя. Но ее лучше наполнить только наполовину — это большая чаша.

Я подчинился. Царская печать, изображавшая львиную голову, была оттиснута на воске, а к воску был прикреплен кружочек папируса с подписью дворецкого. Я налил полчаши.

— Не выпьешь со мной вместе, Роксана? — предложил царь.

— Пить твоё вино — все равно что уксус. Но у меня есть полкубка своего собственного — сладкого мидийского вина, которое я пила с фруктами до того, как ты проснулся. Бутылъ у меня в комнате за письменным столом. Ксания к нему тоже неравнодушна, а у меня его совсем мало.

Эй, Абрут, у царя все еще жар. Смажь ему рот внутри и снаружи тем маслом, что оставил врач, у него, наверное, губы и язык пересохли. Я живо вернусь.

Я нашел масло там, где оставил его врач, на тумбочке, и с помощью кусочка шелковой ткани сделал то, о чем просила меня царица. У него действительно был жар, но не такой сильный, как прежде. Слабым кивком головы царь дал мне знать, что душистое масло устранило сухость во рту и он доволен. Царица вошла с кубком в руке, на две трети наполненным светло-золотистым напитком. Когда она вернулась на свое место на кушетке, я решил, что и она смазала губы бальзамом — так ярко они алели, и тут в голове у меня мелькнуло страшное подозрение, а не заразилась ли она тоже лихорадкой, но потом я подумал, что, скорее всего, она нанесла на губы немного косметики, ведь до этого они были очень бледные. Она поставила бокал на хрустальную стойку, где до него можно было легко дотянуться.

— Давай выпьем вместе, — предложил Александр.

— Нет, сначала предложи мне небольшой тост, а потом я поцелую чашу, из которой ты пьешь.

— За Роксану, княжну Бактрии, — тихо, с любовью произнес Александр. — За ребенка от чресел моих, которого носит она в своем чреве. Долгого царствования моей царице, а после меня — долгого царствования моему сыну. Да будет на это благословение богов.

— Прекрасный тост. Абрут, ну-ка принеси мне золотую чашу царя. Я поцелую ее в знак своей благодарности.

«Поцеловать чашу» — это выражение означало отпить глоток. Она пристально посмотрела на темно-красное вино и немного поморщилась, представив себе его кислый вкус. С этой гримасой она быстро протянула руку за своим собственным кубком и сделала долгий глоток его желтого содержимого, очевидно, для того, чтобы ощущением сладости во рту защитить себя от кислого вкуса царского вина. Поставив кубок на прежнее место, она быстро подняла золотую чашу царя и, как мне показалось, едва попробовала вино, хотя и сделала вид, что отпивает изрядно. Скривив лицо, она вернула мне чашу, и я отнес ее к царю. С моей помощью он поднес ее к губам и осушил до дна. Роксана отвела свой взгляд в сторону.

— Хорошее вино, Роксана, — похвалил он. — Намного ароматней твоих сладких. Это вино эпикурейца, правда,

раньше я как-то не замечал его горьковатого привкуса. Это то, что сластолюбцы в Коринфе называют здоровым вином — вином, в котором все идеально уравновешено. А отчего ты выглядишь такой одинокой, такой несчастной?

— Я надеялась, Александр, что, если ты оправившись от тяжелой болезни, ты будешь вполне доволен размерами своей обширной империи, будешь править ею во благо народа, принимая лесть и иногда поклонение и не пытаясь покорять новые страны.

— Как это не покорять! Мой флот должен был отплыть уже сегодня. Я отложил его отплытие до сегодняшнего дня, чтобы оправиться от болезни, а теперь оно снова откладывается. Но кое-что я обещаю. Если где-то я смогу по возможности пощадить город или народ и при этом иметь твердую уверенность, что у меня за спиной он не восстанет, я так и сделаю. Знают боги, что больше мне не хочется видеть этой страшной картины — не знаю, сон это был или видение, — которая открылась мне в ту ночь, когда у меня началась лихорадка. Но предупреждаю тебя, Роксана: мало надежды, что я смогу пощадить Карфаген. Он соперник моего молодого растущего города — первой Александрии, уже теперь стоящей только на втором месте после Карфагена на всем африканском континенте. Народ Карфагена — семиты, двоюродные братья и сестры тирийцев. Только семитским народам Палестины хватило ума сдаться мне, и посмотри, как благожелательно я правлю там до сих пор! А тирийцы? Уж так они были мудры в астрономии и астрологии, так искусны и умелы в морском деле и торговле, а в своих отношениях с Александром показали себя такими безмозглыми, такими непроходимыми дураками! Боюсь, что и правители Карфагена будут не лучше.

— Александр, я не верю, что ты разрушишь этот древний город.

— Не исключено, что он покорится мне. Победы сицилийцев несколько поубавили его спеси. А кстати, именно Сицилия после Рима будет моим следующим шагом. Подойди-ка, царица моя Роксана, и присядь на край моей постели. Не думаю, что болезнь моя заразна.

— Да, конечно, иду. Никогда еще не слышала, чтобы кто-то заразился ею от другого человека.

Но когда, с бокалом в руке, она сделала в его сторону несколько шагов, ей под ноги попался стульчик для ног.



Она споткнулась и выронила из руки свой маленький хрустальный бокал, который вдребезги разбился на кафельном полу.

— Пусть лежит,— сказала она мне.— Позже я вызову подметальщицу. Поддай-ка мне другой бокал и наполни его фессалийским вином — там еще осталось в шкафу. Это не самое мое любимое, но все-таки очень хорошее вино.

Я выполнил ее распоряжение. Присев рядом с Александром, она поинтересовалась, действует ли еще на него возбуждающее средство, которое она ему дала.

— Да, действует. Но мне кажется, что оно оттягивает кровь от конечностей, и кровь собирается в голове и сердце. Я чувствую онемение в ступнях и в кончиках пальцев. И во рту.

— А я ничего не чувствую, кроме возбуждения. Так бывает, когда слишком быстро выпьешь первый графин вина.

— Отчего ты думаешь, Роксана, что карфагеняне покорятся и тем самым заслужат пощаду? — По голосу Александра, хоть и тихому, чувствовалось, что ему очень хочется это знать.

— Может, их боги смилостивятся над ними.

— Их боги те же, что и у тирийцев, а Тиру не было явлено никакой милости. Должно быть, эти чужие боги, которых я часто принимал за наших, только скрытых под другими именами, бессильны против Александра. Теперь я убежден, Роксана, что твое средство перестает действовать. У тебя найдется еще одна лепешка? Могли бы мы принять ее без вреда для себя?

— Да, у меня есть еще одна. Половинка ни тебе, ни мне не повредит. Абрут, она у меня в узелке, завернута в золотую фольгу. Принеси, разломи пополам, и пусть снова выберет царь. Я поддержу его руку.

Когда вскоре он сделал свой выбор, я подлил вина в его золотую чашу, чтобы он смог запить им свое снадобье. Роксана приняла свою долю с фессалийским вином.

Лицо Александра снова немного порозовело, благодаря действию возбуждающего снадобья, но уже не так заметно, как раньше. Он помолчал немного, затем с тревогой обратился к Роксане:

— Я чувствую его тепло, но онемение в руках и ногах не проходит, скорее, даже усиливается.

— Средство не действует сразу. Нужно чуть подождать.

— Оно не помогает. У меня по конечностям поднимается омертвление, они «засыпают», как мы говорим в детстве. Ты внимательно осмотрел печать на бутылки с армянским вином, Абрут?

— Да, очень внимательно, царь. Она была в целости.

— У тебя есть еще полбутылки,— вмешалась Роксана,— а моего фессалийского уже не осталось. Налей-ка мне красного, Абрут, и я выпью, хоть оно кислое и мне не по вкусу — пусть царь знает, что оно не отравлено.

Александр хотел было что-то возразить, но какое-то новое ощущение внутри заставило его сдержаться. Роксана осушила свой бокал и снова состроила гримасу отвращения.

— В чем же тогда причина этого нарастающего онемения? — спросил он.

— Может, это из-за твоей болезни?

— В таком случае твое снадобье только обманывает мои надежды. Впрочем, яда в нем быть не могло, иначе ты бы тоже почувствовала... Я вот ощущаю что-то такое... очень странное... жуткое... совсем не болезненное... но для моего выздоровления это не предвещает ничего хорошего. Роксана! А не значит ли это, что я скоро умру?

— Александр, любимый, может, оно и так.

— Но как же мне ввели яд? Вино было запечатано, вода была чистой, никто в комнату с рассвета, кроме Абрута, не входил.

— Предположим, Александр, что в маленьком кубке, который я оставила на столе, находился яд. Предположим дальше, что я, прежде чем поцеловать твою чашу, набрала его себе в рот, а уж оттуда он попал в твое вино.

— Роксана, и ты это сделала? Говори как есть, лучше тебе не врать.— Напрягая все силы, Александр поднял руку к шнуру колокольчика и схватился за его конец.

— Я никогда не лгала тебе, Александр. Может, только по пустякам да еще в деле с Главкием — но это было не на словах. Дерни за веревку, если хочешь, дерни. Обличи меня как убийцу. Меня тут же обезглавят или пригвоздят к дереву, чтобы я медленно умирала, и вороны выклюют глаза, которые ты так любил и, может, все еще любишь. Разве мало и до меня умерло вот так же — на дереве? На дереве, растущем для того, чтобы радовать наш глаз своей соразмерностью, с листьями, трепещущими на легком ветру, и ветками, стонущими в непогоду; на дереве, созданном

богами для того, чтобы давать тень или плоды или ронять семена, из которых произрастут другие деревья, которые тоже раскинут ветви, когда их родители умрут от старости и повалятся наземь. На дереве, родственном додонскому дубу, листьями которого говорит Зевс. На дереве, куда садятся и откуда взлетают голуби, где они выют свои гнезда. Вряд ли украсит его ветви такой фрукт, как мужское или женское тело. Однако из-за тебя сколько уже висело таких плодов и сколько повисло бы еще, если бы ты оправился от болезни, а это было вполне возможно, хотя ты так ослаб, что даже Филипп отчаялся в твоём выздоровлении.

— Но ты не отчаялась, Роксана? — немного помолчав, спросил Александр, и рука его, отпустив шнурок звонка, упала на постель.

— Отчаяние — это не то слово. Я молилась, чтобы тебя унесла болезнь прежде, чем еще шире разольется океан крови. Я знаю, ты видел этот океан, и думаешь, что видел его в своем помешательстве. Нет, не Абрут рассказал мне. Это ты сам проболтался во сне. И это не только порождение расстроенного ума — это был последний крик твоей совести. Но твое страдание аннулировало твою совесть. Я не скажу, что оно уничтожило твою душу — душа, возможно, еще поживет и искупит свои грехи где-нибудь в иной жизни.

— Теперь я знаю, о какой жертве говорил Филот, когда я вызвал его наверх, жертве, которая могла бы спасти меня от страшного рока. Самоубийство — вот что он имел в виду. И если бы я это сделал, я избежал бы и тяжкого помешательства, из-за которого погибли многие тысячи людей, и чаши с ядом, поднесенной мне той, которую я любил сильнее всего.

— И той, которая всю жизнь сильнее всего любила тебя.

Немного поразмыслив, он снова заговорил, голосом слабым, но совершенно отчетливым:

— В данный момент я чувствую удивительную ясность ума. Что это был за яд?

— Один из индийских, называется бих. Говорят, что его делают из красновато-коричневого корня, который находят на Гиндукуше.

Зрачки его глаз сжались так, что стали яркими точками. Он немного полежал в покое, затем слегка вздрогнул. Заговорил он с легким затруднением, но голосом негром-

ким, так хорошо знакомым нам с Роксаной, напоминающим о его юности и первой мужской зрелости. Он говорил в полной ясности ума.

— Сдается мне, Роксана, что это твоя рука сразила Гефестиона.

— Да, моя.

— Как же, не стыдясь богов, ты могла сделать такое? Ведь он же был самым близким мне другом.

— Наоборот, твоим худшим врагом. Не тебя он любил, Александр, а твою жестокость. Она была его вожаемой страстью, а ты стал его орудием, с помощью которого он претворял эту страсть в действительность.

— Скольких еще ты убила?

— Только Сухраба, потому что и он был оголтелым убийцей и убил моего еще не рожденного ребенка. Ну, вот и вся история.

— Что же остается делать? Вызвать стражу или даровать тебе мое прощение?

— Поступай так, как велит душа, Александр.

— Будет ли твой поступок известен кому-нибудь еще, кроме Абрута?

— Думаю, что нет. Но все равно я долго не проживу, как и твой ребенок, если он родится. Мы — наследники слишком больших богатств, слишком огромной державы и слишком глубокой ненависти к тебе. Впрочем, это не имеет значения. Я хорошо послужила в дни мои на земле, и мой ребенок — это моя жертва, но не богам, которые не знают человека и не беспокоятся о нем, заботясь только о своей славе, о том, чтобы их почитали и приносили им жертвы, не богам, сотворенным по отвратительному образу того порочного, что есть в человеке. Нет, не им, а некоему Богу, имя которого я еще не знаю; не богу Абрута в его нынешнем виде бога-мстителя, а, возможно, такому, который пойдет рядом с людьми, будет знать их сердца, но сейчас еще не родился.

— Роксана, я ускользаю в небытие. Мне уже трудно дышать. Умоляю, говори свободно, чтобы я мог принять свое последнее решение как император Азии.

— Я, Роксана, царица Бактрии, жена и возлюбленная Александра, совершив одно злодеяние, которое беру на свою душу, спасла жизни тысяч и тысяч людей и своею рукой остановила реку крови, которая иначе текла бы, вздувалась и затопила бы еще не тронутые кровавым по-

топом участки мира. Придут и другие завоеватели. Человек будет продолжать убивать ради целей, которые он сочтет праведными, или ради собственного тщеславия, или в неистовстве безумия, или во имя ложных своих богов, или — что хуже всего, трагичней всего — в наивной простоте. Но в свой собственный срок, что отводится всякому смертному, я сослужила великую службу. Я не прошу твоей милости, Александр, ведь я замышляла содеянное и отдавала себе полный отчет в том, что делаю, а делала я это ради любви к человечеству, и больше всего — ради любви к тебе. Решай.

— Я, Александр, повелитель Азии — и уж больше не скажу, что урожденный сын Зевса, ибо сомнения в этом застилают мне ум, — я, завоеватель и царь, дарую тебе свое полное прощение. А поскольку ты принесла жертву, которую я принести не мог, то с прощением я приношу тебе свою благодарность и любовь, которая удивительным и непостижимым образом — и все же в глубине души я в это верю — переживет века!

Роксана закрыла лицо руками, поплакала, вытерла слезы и попросила меня, Абрута, чтобы я наполнил свой кубок вином из виноградников Фессалии, встал с нею рядом и коснулся краем кубка ее бокала.

— За Александра Великого, — спокойно предложила она тост. Мы выпили.

А потом мы сидели с обеих сторон у постели умирающего царя, и она держала в руке его правую руку, а я — левую.

Он заговорил еще раз, но слова были неразборчивы. В какой-то момент, когда слабеющим взором созерцал он лицо Роксаны, губы его слегка искривились, и я не знаю, была ли то улыбка или слабая мышечная судорога. И вот зрачки его стали быстро расширяться, мощно поднялась и опустилась грудь, рука слабо затрепетала в моей ладони, голова повернулась немного в сторону, и взгляд неподвижно остановился на чем-то, что лежало далеко за пределами нашего видения. Свет медленно померк в его глазах — и встретил он смерть.

## КОММЕНТАРИИ

**ЭДИСОН МАРШАЛЛ** (1894 — 1967) — ученый-антрополог, окончил Орегонский университет.

Необычайное дарование Э. Маршалла завоевало ему устойчивую репутацию писателя и прекрасного рассказчика. Маршалл всегда тщательно исследовал исторический материал, тем самым придавая своим книгам силу и достоверность. Среди его исторических романов завоевали заслуженный успех «Викинги», «Американский капитан», «На запад с викингами» и другие, публиковавшиеся в изданиях популярной библиотеки.

Текст печатается по изданию: Marshall Edison. The Conqueror. Popular library. New York, 1963.

Стр. 23. *Эпир* — небольшое государство на северо-западе Греции. *Летосчисление греков.* — Смотри греческий календарь.

Стр. 29. ...*в храме бога Виноградной Лозы*.... — так греки часто именовали бога Диониса, покровителя виноделия.

Стр. 30. ...*оратор Демосфен произнес свою первую филиппику.* — Демосфен (384—322 гг. до н. э.) — самый знаменитый оратор Древней Греции, был непримиримым врагом монархии и, следовательно, Македоний. Последовательно отстаивал в своих речах, направленных против Филиппа, царя Македонии (отсюда — филиппика), свободу и независимость греческих городов — полисов.

Стр. 31 *Панэллинизм* — историческая концепция союза греческих городов для организации военного похода против варваров — персов. Концепция противопоставления греков не грекам сформирована философом и оратором Исократом и использована царем Македонии

Филиппом II на Коринфском общегреческом конгрессе 338—337 гг. до н.э., создавшем Панэллинский союз во главе с Македонией, объявивший Персии священную войну.

Стр. 31. *Понт Эвксинский* — древнегреческое название Черного моря.

Стр. 33. ...как у *Афродиты Праксителя*.— Афродита — богиня любви и красоты у греков. Пракситель (390—330 гг. до н.э.) — великий скульптор.

Стр. 34. *Абрут* — брови.

Стр. 35. ...одна из трех *Парок, Лахезис* (правильнее *Мойр*.— *Примеч. ред.*).— *Мойры* (греч.), *Парки* (римск.) — три Парки, или три богини судьбы. Парка — Клото — прядет нить жизни, определяя ее срок, Лахезис — вынимает жребий, который предназначен человеку, и никто и ничто уже не может избежать предназначенной Парками судьбы, так как третья — Атропос — заносит все, что предназначили ее сестры, в свиток. А что занесено в свиток, то неизбежно.

Стр. 42. ...вернуться из *царства Аида*.— Царство Аида — потусторонний мир, в представлениях древних греков, куда попадают души всех умерших людей.

Стр. 44. *Парфенон* — знаменитый и красивейший храм в Афинах, построенный в 447—437 гг. до н.э. архитекторами Иктином и Калликратом. Его строительство и роспись начинал еще Фидий.

Стр. 53. ...от *Тиры до «Ворот Геракла»*.— Тир — город на побережье Малой Азии. Ворота Геракла — древнегреческое название Гибралтарского пролива. Иные названия Гибралтара — Геркулесовы столбы; Столбы Мелькарта.

...из *Мараканды*. — Мараканд — современный Самарканд.

Стр. 56. *На авестском языке*...— мертвый язык, принадлежащий индоевропейской группе, на котором совершались богослужения поклонников зороастризма — Заратустры.

Стр. 57. ...на огромных конях *Посейдона*.— В верованиях древних греков Посейдон — бог моря, выезжал в колеснице, запряженной морскими конями, и тогда мог разыгаться шторм.

...где пасутся большерогие овцы *Памира*.— Историки Александра называли Памир и Гиндукуш Кавказом. Возможно, Абрут, сын ученого иудея, разбирался в этом лучше; так что для удобства читателя взяты правильные названия. (*Примеч. авт.*)

Стр. 69. ...*Бактрия не является частью Персидской империи*...— Ошибка автора Э. Маршалла. Бактрия фактически не была уже самостоятельным царством, почти потеряв свою независимость. И хотя формально управлялась царями, правильнее именовать их наместниками, или сатрапами, так как персидский царь мог вмешиваться в дела Бактрии и смещать неугодившего ему правителя.

Стр. 70. ...сам *Митра*.— В древних восточных религиях бог солнца, один из главных индоиранских богов.

Стр. 86. ...главы Дельфийской амфикионии...— Межполисные древнегреческие коалиции классифицируются на три основных типа: амфикионии — религиозные союзы для защиты святынь; симполии — объединение населения, живущего на одной территории (образ федеративного государства); симмахии — военно-политические союзы.

...*Сатрап Кари* — государство в Малой Азии; находилось под властью персов.

Стр. 101. ...*моими гетайрами*.— Гетайры («конные друзья») — отряды тяжеловооруженной конницы из представителей македонской знати, иначе — гвардия.

Стр. 103. *Священная Ленга Фив* — отборный отряд тяжеловооруженных воинов, строившихся фалангой.

Стр. 111. ...*семи чудес света, как, например, «висячие сады» Вавилона*...— Со времен эллинизма существует традиция выделять семь античных произведений архитектуры и искусства, не имеющих себе равных благодаря неповторимости. Самый древний перечень включает в себя: стены Вавилона; статую Зевса в Олимпии, созданную скульптором Фидием из золота; так называемые «висячие сады» в Вавилоне, ошибочно приписываемые царице Семирамиде; колосса Родосского; египетские пирамиды; мавзолей в Галикарнасе; храм Артемиды в Эфесе, сожженный Геростратом. В более позднее время к семи чудесам света стали относить другие постройки, в частности маяк на острове Фарос в Александрии.

Стр. 112. *Апеллес* — выдающийся мастер греческой монументальной живописи второй половины IV века до н.э.; стал придворным художником Александра Македонского.

Стр. 114. ...*царицей Сыновей Гедона*...— в буквальном современном смысле королевой бала. Сыновья Гедона (от *hedone* (греч.) — удовольствие, наслаждение) — люди, для которых удовольствие — цель жизни.

Стр. 115. ...и *Ахилл поссорился с царем*...— Имеется в виду эпизод из «Илиады» Гомера; ссора Ахилла с Агамемноном, возглавлявшим греческое войско, из-за наложницы (Брисеиды).

Стр. 116. *Пан* — соответствует римскому Фавну; бог — покровитель пастухов, лесной царь, получеловек; изображался с козлиными рогами, копытами и бородой. Довольно похотливое создание.

Стр. 123. ...*пиры сибаритов*...— Сибарис — греческий город на берегу Тарентского залива. Жители Сибариса считались изнеженными любителями наслаждений; отсюда произошло слово «сибарит».

Стр. 136. ...*ходила в бой Бессмертная Семерка... великий Дом Кадма*.— Кадм — сын мифического финикийского царя Агенора, пришел в Беотию (область Греции), где основал крепость Кадмею, вокруг которой потом вырос город Фивы. Первый фиванский царь. Впоследствии семь легендарных греческих героев во главе с Адрастом и Полиником приняли участие в походе на Фивы, где царствовал брат



Полиника\Этеокл. Легенда «Семеро против Фив» нашла отражение в сочинениях великих греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида.

Стр. 137. *Оловянные острова* — так греки называли Англию.

*Массилия* — современный Марсель.

Стр. 139. ...*зятя Дария Митридата*... — греческий перевод неизвестного персидского имени.

Стр. 143. *Пропонтида* — так греки называли Мраморное море.

Стр. 147. ...*под ударами Борея*. — Борей — бог северного ветра.

Стр. 157. ...*убить детей Ниобы*... — Ниоба — дочь царя Тантала и жена царя Фив Амфиона. У нее было четырнадцать детей, семь сыновей и семь дочерей. Гордясь ими, она смеялась над богиней Лето, родившей только двоих, Аполлона и Артемиду. За это Аполлон и Артемида убили детей Ниобы, поразив их стрелами. Образ Ниобы — символ надменности и страдания.

Стр. 161. ...*не верь клятве сводни*. — Сводня — хозяйка публичного дома. Но, может быть, здесь лучше сказать «публичной девки».

Стр. 172. ...*выступили на Анкиру*. — Анкира — современный город Анкара.

Стр. 179. *Солецизм* — синтаксическая ошибка.

Стр. 185. ...*брат Дария Оксиарт*... — Не путать с Оксиартом Бактрийским, отцом Роксаны.

Стр. 203. ...*их тараны погубили пентеру*. — Пентера — гребное судно с пятью рядами весел.

Стр. 207. ...*и тут я догадался, каков был мой ответ*. — Этому эпизоду читатель поверит с трудом, хотя борьба и сострадание никогда не ходят рядом. Если бы как Диодор, так и Курций, историки, не засвидетельствовали его истинности, о нем не упоминалось бы в этом романе. В пользу Александра можно сказать то, что ни один из этих историков не считается надежным источником сведений. Автор полагает, что Александр вполне мог бы совершить такую жестокость в разгоряченном от битвы состоянии и опьяненный победой.

Стр. 227. ...«*Сын Зевса*» и «*мой мальчик*» звучат похоже — *Pai dios* и *Pai diou*.

Стр. 248. *Мегаломания* — мания величия.

Стр. 253. ...*мы зашагали по богатой, густо населенной территории*. — Теперь эта местность представляет собой безлюдную пустыню.

Стр. 254. ...*реки Тигр, текущей... параллельно Евфрату*. — Это было так во времена Александра. В наше время у этих двух рек одно общее устье.

Стр. 259. *Оксиан* — так греки называли Аральское море.

Стр. 261. *Арбелы* — современный город Эрбиль в Иране.

Стр. 269. ...*поля Элизиума* — мифическая страна блаженных на западном краю земли; райские поля, где живут герои, праведники и благочестивые люди.

Стр. 271. *Вaal* — семитское божество плодородия. Ведал государственно-культовыми функциями (право, война). Отождествлялся греками с Зевсом.

Стр. 294. *Гекатомпилос* — полагают, что это город Дамган.

Стр. 296. ...в Сузах.— Пишется так же, как Сузы (*Susa*), но, наверное, это Сузия — город Арии. (*Примеч. ред.*)

Стр. 309. *Туань-Таня*.— Имеется в виду Монголия.

Стр. 326. ...из страны, лежащей за Индией.— Этому описанию отвечает страна в долине Иравади, в Бирме, в которой находятся древние залежи сапфиров и рубинов.

Стр. 327. ...жители многолюдной территории.— В настоящее время берега реки Окс (Амударья) представляют собой безлюдную песчаную пустыню.

Стр. 332. *Базары* — вероятно, Бухара.

...он был среди первых македонцев.— Ошибка автора — Фарнух не был македонянином. (*Примеч. ред.*)

Стр. 350. *Каспис* — сейчас называется Кунар.

Стр. 377. *Акесин и Гидраот* — реки Джелам и Чинаб, северные притоки Инда.

Стр. 378. *Река Печали* — река Стикс в подземном царстве Аида.

Стр. 384. ...большого притока Вахинды...— из-за перемещения земли и ее вод эта река перестала существовать.

Стр. 390. *Крокалы* — современный Карачи.

Стр. 399. *Пустыни Гедросии* — современный Белуджистан.

Стр. 428. ...большой кочерге... негоже было ругать маленькую печную трубу.— Это парафраз пословиц: «Кто бы говорил, а ты бы помалкивал», «Горшок над котлом смеется, а оба черны». (*Примеч. пер.*)

Стр. 433. *Кэрри* — приправа из куркумового корня, чеснока и разных пряностей.

Стр. 455. ...Далекому Стрелку — так иногда называли бога Аполлона, которого часто изображали с мощным, далеко разящим луком.

Стр. 475. *Архелай* — внук македонского царя Александра I (498—454 гг. до н.э.), впоследствии, с 419 г. до н.э., царь Македонии.

## ГРЕЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

В Греции год начинался с летнего солнцестояния, т. е. 21 июня.

*Гекатомбеон* — июнь—июль

*Метагетнион* — июль—август

*Боедромион* — август—сентябрь

*Пианепсион* — сентябрь—октябрь

*Мемактерион* — октябрь—ноябрь

*Посидеон* — ноябрь—декабрь

*Гамелион* — декабрь—январь

*Антестерион* — январь—февраль

*Элафеболион* — февраль—март

*Мунихион* — март—апрель

*Таргелион* — апрель—май

*Скирофорион* — май—июнь

С IV века до н.э. греки начали вести счет по олимпиадам, т.е. промежуткам от одних Олимпийских игр до других. Так как промежуток этот равнялся четырем годам, то дата обозначалась так: 1-й, или 2-й, или 3-й, или 4-й год такой-то олимпиады. Вот как переводят эти годы на годы нашей эры: битва при Саламине была в 1-й год 75-й олимпиады:  $(75-1) \times 4 = 296$ . Эту цифру вычитают из 776 (начало олимпиад):  $776-296 = 480$  г. до н.э.

У македонцев год начинался осенью.

## ГРЕЧЕСКИЕ И ПЕРСИДСКИЕ МЕРЫ ДЛИНЫ

*Стадий* — 180 м  
*Оргия* — 1,8 м  
*Плефр* — 30 м  
*Подес или фут (ступня)* — 0,3 м  
*Сажень* — 6 футов — 180 см  
*Парасанг* — 5 км

## ГРЕЧЕСКИЕ МЕРЫ ЖИДКОСТИ

*Метрет* — 89,5 л  
*Хус* — 3,28 л

## ГРЕЧЕСКИЕ МЕРЫ МАССЫ

*Талант* — 26 кг  
*Мина* — 600 г  
*Фунт* — 327 г  
*Драхма* — 6 г

## ГРЕЧЕСКИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ

*1 талант* — 60 мин — 6000 драхм — 36 000 оболов  
*1 обол* — 6 халков (т.е. «медяков»)  
*1 халк* — 2 лепты (лепта — самая мелкая монета).  
*1 дарик* — золотая монета более 8 граммов веса, равнялась 20 греческим серебряным драхмам, появилась в Персии при Дарии I.  
*1 статер* — золотая или серебряная монета, равнялась двойной драхме.

## ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

*Агема* — отборное войско у македонян, конная гвардия. Гоплиты — тяжеловооруженные воины-пехотинцы.

*Иларх* — командир илы — конного отряда из 300 всадников, позднее именовался гиппархом, отсюда — гиппархия.

*Наварх* — командующий флотом.

*Лохаг* — предводитель лоха, отряда из 100 человек.

*Таксиарх* — командир отряда (таксиса) численностью 1500—3000 человек.

*Бегуны, продромы*, иначе *застрельщики* — пешие или конные разведчики.

*Фрурарх* — начальник стражи. *Стража* — промежуток времени в 3—4 часа.

*Тетрархия* — отряд, состоявший из четырех гиппархий.

*Хилиарх* — предводитель отряда в тысячу воинов — хилиархии.

«*Серебряные щиты*», или *аггираспиды* — тяжеловооруженные отборные части македонского войска.

*Гипасписты* — связующие пехотные части между флангами тяжеловооруженных гоплитов и конницы.

## **ХРОНОЛОГИЯ ЖИЗНИ И ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО**

**356 г. до н.э.**

Рождение Александра.

**338 г. до н.э.**

Битва при Херонее. Александр командует конницей «друзей».

**338 г. до н.э.**

Коринфский конгресс. Образование Панэллинского союза во главе с Филиппом II Македонским.

**336 г. до н.э.**

Смерть Филиппа II. Воцарение Александра.

**336 г. до н.э.**

Александр, глава Панэллинского союза.

**335 г. до н.э.**

Война с пограничными Македонии племенами. Разрушение Фив.

**334 г. до н.э.**

*Весна.* Начало похода в Персию.

**334 г. до н.э.**

*Май.* Битва на реке Граник.

**333 г. до н.э.**

*Осень.* Битва при Иссе. Разгром Дария III.

**333 — 332 гг. до н.э.**

Осада и разрушение Тира.

**332 — 331 гг. до н.э.**

Александр в Египте.

**331 г. до н.э.**

*Осень.* Битва при Арбелах. Окончательный разгром персов. Бегство и смерть Дария III.

**330 г. до н.э.**

Сожжение Персеполя.

**329 — 327 гг. до н.э.**

Поход и война в Бактрии и Согдиане.

**327 г. до н.э.**

*Весна.* Поход на юг в Индию. Последнее большое сражение Александра при Гидаспе с армией царя Пора. Отказ греко-македонской армии двигаться дальше в Индию.

**324 г. до н.э.**

Возвращение в Вавилон, новую столицу державы Александра Македонского.

**323 г. до н.э.**

*10 июня.* Смерть Александра. По энциклопедии «Британика» это случилось 13 июня.

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |     |
|--|-----|
| Александр Македонский. <i>Биографическая статья</i> .....      | 5   |
| <b>Э. Маршалл. ПОБЕДИТЕЛЬ. Роман</b>                           |     |
| Глава 1. Небесные знамения .....                               | 23  |
| Глава 2. Знамения и события .....                              | 68  |
| Глава 3. Победа и опасность .....                              | 126 |
| Глава 4. Исс и древний Тир .....                               | 164 |
| Глава 5. Приобретения и утраты .....                           | 209 |
| Глава 6. Гибель Персидской империи .....                       | 252 |
| Глава 7. Красный прилив .....                                  | 291 |
| Глава 8. Индия .....   | 345 |
| Глава 9. Тени и призраки .....                                 | 389 |
| Глава 10. Полет фурий .....                                    | 449 |
| Глава 11. Царица Роксана .....                                 | 460 |
| <b>Комментарии</b> .....                                       | 515 |
| <b>Хронология жизни и царствования Александра Македонского</b> | 522 |

**К ЧИТАТЕЛЯМ!**

*Издательство просит отзывы об этой книге  
и Ваши предложения по серии «Великие властители»  
присылать по адресу:*

**125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 376  
Издательство АРМАДА**

**А 46 Александр Македонский: Маршалл Э. Победитель:**  
Исторический роман / Коммент. В. М. Мартова; Художник  
В. Н. Любин. — М.: АРМАДА, 1997. — 524 с. — (Великие  
властители).

**ISBN 5-7632-0442-5**

Роман Э. Маршалла «Победитель» об Александре Македонском в  
присущей только этому писателю традиции рассказывает о человеке, чья  
страсть к любовным победам шла рука об руку с его ненасытной жадной  
славы и власти. Александр начертал свое имя кровью и пламенем на  
страницах истории, создав величайшую монархию древности.

Поставив весь мир на колени, он стал Победителем.

**ББК 84.7 США**



РЕДАКЦИЯ  
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

---

*Литературно-художественное издание*

**Великие властители  
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ**

**ЭДИСОН МАРШАЛЛ  
ПОБЕДИТЕЛЬ**

Заведующая редакцией

*Е. В. Леонова*

Редактор

*В. М. Мартов*

Художественный редактор

*Л. П. Копачева*

Технический редактор

*В. И. Кулагина*

Корректоры

*О. Е. Костюкова, М. Г. Лобанова*

Изд. лицензия ЛР № 040627 от 12.05.93. Формат 84x108 1/32. Бум. кн.-журн.  
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Изд. № 1199. Заказ № 556

Издательство АРМАДА,  
125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 376

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»  
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32

# ВЕЛИКИЕ ВЛАСТИТЕЛИ

*в романах*



АЛЕКСАНДР  
МАКЕДОНСКИЙ

356 - 323 до н.э.